ДЕНЬ *и* НОЧЬ

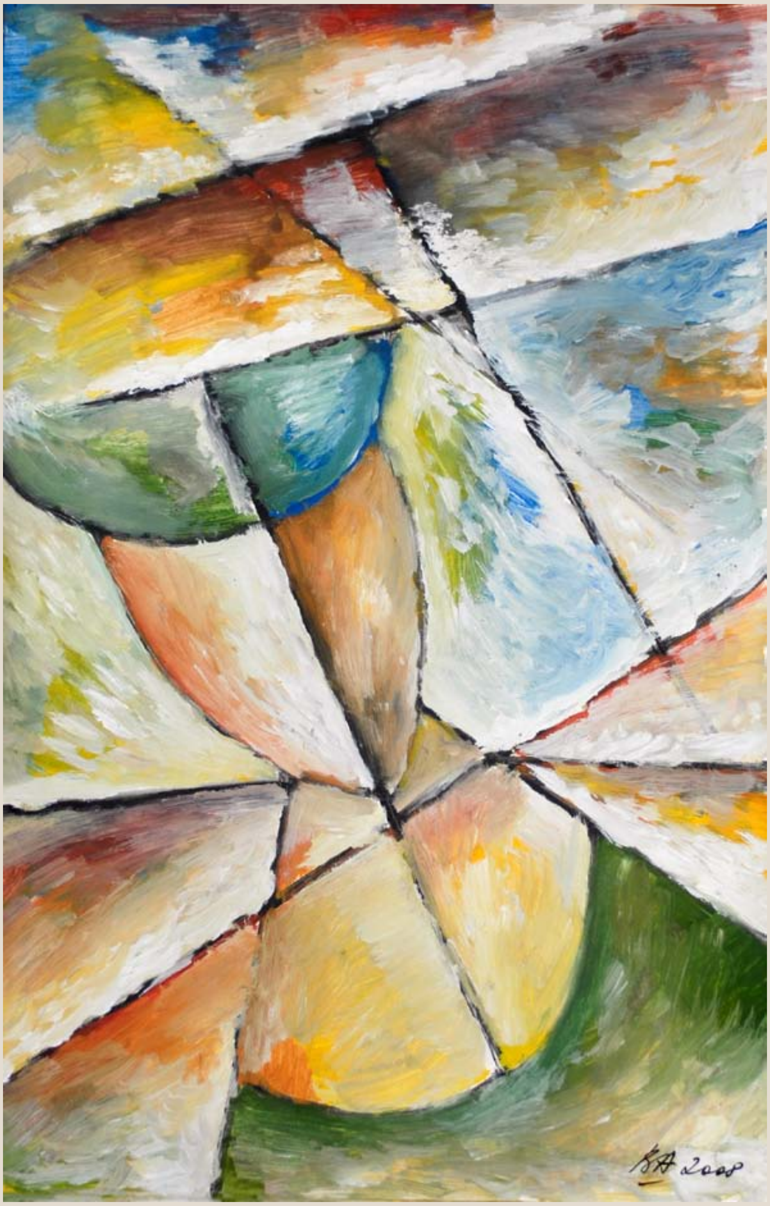
Литературный журнал для семейного чтения *№ 6 | 2012*

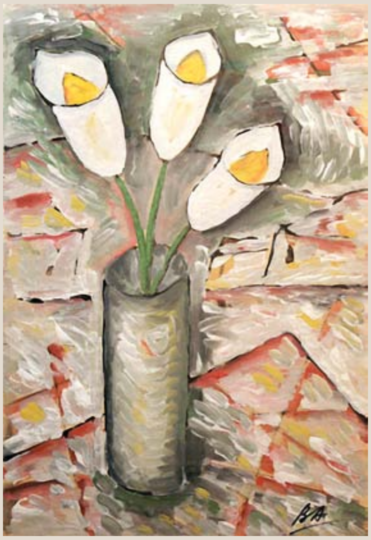
6
19.
2
8
2
Сниму
КУП

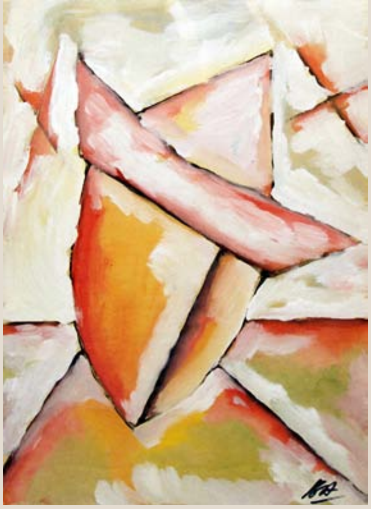
Кирилл Анкудинов
Улицы разбитых фонарей

Владимир Алейников
Святая гора

Александр Матвеичев
Две жены матадора







О живописи *Владимира Алейникова*

«Форма потока» не влечёт художника каким-то однообразным и прямолинейным руслом. У него то и дело намечаются стилистические излучины. Он, несмотря на всю свою нелюбовь к чересчур экстремальным новациям, всё же очень любит экспериментировать. Так, в композициях 1990-х годов вместо женских ликов появляются более отвлечённые и геометричные головы в масках, придающие листам оттенок метафизического карнавала. Пространство, сохраняя прежнее обаяние картины-палитры, заметно дробится на плоскости, на «фаски грани», образующие переливчатый кристалл. Но натура всегда, так или иначе, вкрадчиво присутствует,—укажем хотя бы на букетик из кистей, часто виднеющийся в центре. Всюду, так или иначе, подразумевается артистический сад, а «предстателями сада» (слова эти—из стихотворения «Горечь неба жемчужно-бездонна», 1979) оказываются все зрители. Во всяком случае, зрители небезразличные и искренне убеждённые, что здесь живопись действительно «как поэзия».

Михаил Соколов
«Живопись как поэзия» с. 91

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения *№ 6 | 2012*

В номере

МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Марина Саввиных
3 «Быть может, за стеной Кавказа…»

Д*и*Н МОНОЛОГ

Миясат Муслимова
20 Русские, берегите свой язык!

Д*и*Н БЕНЕФИС

Владимир Алейников
23 Святая гора
Владимир Алейников
27 Вокруг самиздата
Михаил Горевич
88 Избранник
Михаил Соколов
91 Живопись как поэзия

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Игорь Дуардович
95 В боли штормовой
Владимир Коркунов
181 Компания фаталистов
Серафима Маркова
211 Возвращаясь к Татьяне Толстой

Д*и*Н ЮБИЛЕЙ

Александр Матвеичев
96 Две жены матадора
Ян Бруштейн
128 Между севером и югом

Д*и*Н СТИХИ

Марина Генчикмахер
127 Смотритель маяка
Владимир Мялин
134 О муза крохотного века…
Пётр Чейгин
156 Мой опыт не вместит земные звуки…
Мартин Мелодьев
158 Зимняя торговля
Олег Ващаев
160 Эффект воронки
Николай Ерёмин
162 Так пели провода
Алексей Чернец
203 Октябрьская пристань
Александра Вайс
205 Зарифмованная игра
Наталия Черных
207 Медведковская тетрадь
Михаил Свищёв
209 Пятый элемент

Д*и*Н ВСТРЕЧИ

Юрий Беликов
130 Море было большое, или Нечаянный визит в Империю
135 Будем жить!

Д*и*Н РЕВЮ

Зинаида Кузнецова
139 Обгоняющие солнце
Борис Марковский
206 Мне имени не вспомнить твоего
244 Лучшие стихи 2010 года

Д*и*Н мемуары

Владимир Скруберт
140 Член КПСС

СТРАНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА ПИСАТЕЛЬСКИХ СОЮЗОВ

Владимир Спектор
146 Боль кричащих поездов

Геннадий Сазонов
149 Тяга к алтарю

Константин Мунтяну
152 Окна далёкого поезда

Валерий Черкесов
155 Трава, пробившаяся сквозь бетон

Д*и*Н публицистика

Людмила Поликовская
164 «Наплевать на общественное мнение…»

Д*и*Н память

Эдуард Хвиловский
172 Воздушный круг

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Александр Орлов
178 Парабеллум

Людмила Коль
182 Тайный знак

Наталья Гарбер
184 Бабочки

Марат Валеев
189 Особенности произношения

Сергей Аринчин
198 Девочка и Ангел

Д*и*Н перевод

Яна Гильмитдинова
188 Зыбучие пески

Д*и*Н артефакт

Виктория Момде
226 Бубен радости

Д*и*Н ирония

Юрий Гладышев
230 Конец света

Д*и*Н критика

Кирилл Анкудинов
234 Улицы разбитых фонарей

Д*и*Н полемика

Валерий Скобло
239 «…Возьмите абзац из моих произведений—и объясните…»

Алексей Антонов
243 Призвание Фемистокла

Д*и*Н дети

245 Синяя тетрадь

246 Д*и*Н авторы

Марина Саввиных

«Быть может, за стеной Кавказа…»

Престолы природы, с которых, как дым, улетают громовые тучи,
кто раз лишь на ваших вершинах творцу помолился,
тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье гордился он ею!..

Лермонтов

I.

Конец августа. Владикавказ. Я живу в университетской гостинице—прямо напротив филологического факультета—и вечером, когда начинает темнеть, с удовольствием наблюдаю, как постепенно оживают, наполняются электричеством его этажи. Уже совсем скоро в аудиториях и кабинетах, где спешно заканчиваются ремонтные работы, сверяются списки и оформляются какие-то срочные документы, необходимые к началу учебного года (свет в окошках не гаснет до глубокой ночи), жизнь будет бить ключом, зазвучат голоса преподавателей, смех и реплики старательных (и не очень!) студентов. А пока всё это напоминает затаившийся в ненастной ночи призрачный дворец.

В одном из окон моего номера днём в хорошую погоду светится Казбек—блистающий белый клык над синими вершинами, похожими на застывшее бурное море. Кавказ пронизывает меня совсем другим электричеством, но оба эти потока както особенно соединяются во мне, и я чувствую, что вне этой энергии мне теперь всегда уже будет трудно дышать…

Это—любовь. Никуда не денешься.

> Как сладкую песню отчизны моей,
> Люблю я Кавказ…

II.

Из дневника. Август, 2012

<…> Владикавказ—преимущественно старинной застройки, по крайней мере в центре. Всё преисполнено памяти о середине 19-го века, о тогдашних кавказских войнах… Вся прелесть южного города; купы деревьев… мои любимые чинары-платаны—с морщинистыми стволами, огромными круглыми листьями и пучками длинных стручков-плодов… очаровательные кафе с внутренними двориками, полными цветов…

Мне показали дом, где жил Коста Хетагуров,—я, конечно, достала фотоаппарат и начала снимать уже всё подряд. Так, мимо магазинчиков, кафешек, мемориальных досок и памятников, мы прошли до центрального парка—редкого по красоте и натуральности…

В духе современной «уличной скульптуры»—маленький, худенький—бронзовый?—Коста на скамеечке. Скульптура очень выразительная и чудесно вписывается в образ парка.

Дивный, почти дикий пруд—с утками и лебедями (тут я от умиления уже чуть не плакала); птички совершенно ручные, лебеди кормятся из рук гуляющих; много молодёжи. <…>

Владикавказ—город-сад, город-парк. Сказать, что он утопает в зелени,—значит, ничего не сказать. В нём всё настолько при-родо-сообразно, так по́лно глубокой гармонической связи истории, культуры и растительного царства, что диву даёшься, как местные власти всё это умудрились сохранить. Плюс ещё феерическое, роскошное двуязычие, звучащее повсюду и само собой разумеющееся… в общем, город совершенно волшебный. <…>

Осетины очень любят своих культурных героев-просветителей. Почитают их чрезвычайно. Наравне с воинами-защитниками. А может, и больше. А выше всех—конечно, Коста. При жизни человека власти его не то что ценили мало, но и гнали (при том, что народ и в самых отдалённых ущельях распевал его песни),—а посмертная слава Коста такова, какой он точно не ждал. Во Владикавказе везде Коста.

К осетинской православной церкви идём по улице Хетагурова. Поднимаемся к церкви по каменной лестнице между стенами старинной кладки. От каждого камня—крик. Энергия из этих камней идёт такая, что тело человека к ним притягивается, как железо к магниту. Руку кладёшь на камень, оттуда—звон!

Вверх по лестнице—там, наверху, некрополь. И храм, построенный в классической православной манере. Всё такое камерное, миниатюрное… и при этом—значительное.

Спустились—или поднялись?—опять к Тереку. К мосту с барсами. Прошли по бульвару. Во Владикавказе, кажется, ни одна улица не обходится без бульвара. Прелестный образчик уличной пластики — горец и мещанин, играющие в нарды. Вообще, «малая городская форма» здесь исключительно тонка, одухотворённа и эстетична. В отличие, допустим, от нашей. За редким исключением, отменно пошлой, к сожалению.

Перед мостом — памятник основателю первого осетинского поселения в этих местах, Дзаугу Бугулову. Осетинское название этого места — по имени Дзауга — Дзауджикау (Дзаугово село).

Терек я нафотографировала с разных точек. Удивительная река. Не Дон и не Енисей, конечно (сравнить — речка). Но… Терек сам — как памятник. Как всё во Владикавказе — при миниатюрных размерах производит впечатление чего-то исторически колоссального. <…>

По Владикавказу бегают очаровательные трамвайчики. Тоже — своего рода чудо. Никакого сравнения с нашими, красноярскими. У нас — банальный транспорт. А здесь… что-то среднее между аттракционом и колесницей богов. Трамвайные маршруты пролегают в таких местах… я не удивлюсь, если тут живут феи. <…>

III.

Древоград

1.

Дзауджикау… свет моих нежных чинар,
Строгих сестёр на дольней тропе серебра…
Руны вершин сквозь медленный утренний пар —
Рваной ли раны края или нервный росчерк пера?

Дзауджикау… твой ствол непреклонен и прям…
Звук из-под сердца, которое стало струной…
Рог полумесяца дерзок. Но Терек — упрям.
И золотистые барсы играют со мной.

Дзауджикау… сила твоих мертвецов…
Шум твоих крон… голоса премудрых камней…
Вечно желанная чаша на пире отцов…
Вечным заклятьем сплетённые пальцы корней…

Дай обниму тебя, брат, бархатистый орех.
Липа благая, позволь прижаться щекой
К светлым морщинам твоим…
Остуди мой праздничный грех…
И надели моих пчёл целебной строкой…

2.

> *Камни, со мной говорите!*
> Гёте

В хранилище костей, во глубине корней —
Громоподобный гул клубится и клокочет…
И травы вплетены в изложницы камней,
Откуда стройный хор заслуженных теней
Всё гуще и темней струится и стрекочет…
Ладонь моя течёт, как лист течёт с куста,
По розовой стене, сатин ласкаю вдовий…
О луковицы глав… о золото креста…
О мраморные волны изголовий…
О чернота цветов, обвивших колесо,
И горькое вино необратимых оргий…
И бронзовый Коста… и каменный Васо…
И в красных облаках витающий Георгий…

IV.

За несколько дней до моего отъезда Елена Коваленко, журналист республиканской ежедневки «Северная Осетия», попросила меня об интервью. Я охотно согласилась и даже ещё успела подержать в руках пахнущие свежей типографской краской цветные странички с этим интервью и захватить газету с собой.[1]

Я рассказала Елене о нашем проекте — «Мосты над облаками». Его цель — заново сблизить читателей, писателей, деятелей науки и культуры, живущих в разных уголках нашей общей Родины, бывшего СССР. Двадцать лет назад эти связи фактически были разорваны. А ведь культура может полноценно жить и развиваться только в постоянных взаимообогащающих контактах творческих людей, в перекличке идей, в живой полемике. Мы будем приезжать в разные города, встречаться с людьми, получать непосредственные целостные впечатления о жизни регионов — в первую очередь, конечно, культурной жизни. А потом — печатать материалы, полученные в результате этих поездок, в журнале «День и ночь» под специальной рубрикой. Мой приезд, собственно, — органическая часть проекта.

Лена тут же спросила: а почему — Осетия?

Действительно — почему? Как завладел моим воображением этот горный край, его народ, его культура, его язык? Вспомнить ли о прозе осетинского филолога Ирлана Хугаева, которую мы, в «ДиН», считаем своим открытием? Или, может быть, о фильме Аслана Галазова «Ласточки прилетели», созданном по одноимённому рассказу Ирлана? Фильм вышел на экраны в 2007 году, но до сих пор поклонники и критики из-за него ломают копья. Очарование Владикавказа и «буйного Терека», трагические судьбы героев и световая вертикаль надежды, пронизывающая это кино, — всё здесь есть и вызывает острый интерес, стоит только прикоснуться мыслью и взглядом.

Доктор филологических наук, сотрудник Владикавказского научного центра Ирлан Сергеевич Хугаев помог нам организовать «круглый стол» о русскоязычной литературе, полный текст которого был опубликован в одном из номеров 2012 года и имел достаточно широкий резонанс.

Оказалось, подобные темы на Кавказе давно уже переросли рамки филологии, эстетики и даже общефилософские границы. Занятия литературой здесь порой смертельно опасны. В мае прошлого года под Владикавказом убит народный поэт

---

[1] http://www.sevos.ru/2012/12-08/12-08-31/08-kultura.htm

Осетии, декан факультета осетинской филологии, профессор Шамиль Джикаев, близкий друг отца Ирлана — известного писателя Сергея Хугаева. Убит за стихи, действительно очень резкие; конечно же, задевающие религиозные чувства мусульман, но — вырвавшиеся из глубины потрясённого и оскорблённого сердца...

Я была в Беслане. Там до сих пор всё кровоточит. Джикаев, натура, чуткая к тонкостям родного менталитета и поэтически пламенная, свои стихи буквально выдохнул, выплюнул, как закупоривший аорту кровяной сгусток... Помню, в каком ужасе я листала тогда Интернет, убеждаясь: нет мира на Кавказе... нет даже замирения. Цепочка шатких равновесных противостояний между религиями, идеями, языками. И регулярные разрывы цепи — взаимные претензии, стычки, убийства, оскорбления, угрозы.

Ирлан Хугаев сам время от времени втягивается в «околополитические» литературные споры, возникающие то по поводу наследия выдающегося учёного Васо Абаева[2] (ругал Абаев Сталина, или «та рукопись» — подделка?), то из-за статуса осетинского языка: что делать, если большинство современных осетинских писателей пишут по-русски?

На форуме сайта «Iriston.com — история и культура Осетии» я окунулась в дискуссию, от которой мурашки побежали по коже:

«Осетинский язык может исчезнуть, говорят в Европе. А что мы делаем для того, чтобы он не исчез? Мы даже не знаем, что именно делать. Некоторые даже подвизались ускорить его исчезновение — например, Ирлан Хугаев, который в своём филологическом труде предлагает отстаивать неосетиноязычные виды осетинской литературы. Это ли не шаг к исчезновению осетинского языка в осетинской литературе? На мой, может быть, даже циничный, взгляд, осетинскую печать прежде всего нужно ориентировать на тех осетин, которые как раз владеют родным языком. А те, что не владеют, либо будут вне новостей в прессе, либо им придётся выучить родной язык для того, чтобы понимать, о чём, так сказать, ныхас».

«У осетин всегда была дурная привычка бежать впереди паровоза. Это прослеживалось всегда: и когда к России присоединялись, и когда революцию делали, и во Второй мировой... и сейчас, когда паровоз летит под откос, тоже».

«Пока не будут созданы объективные условия для «спроса» на родной язык, никакие решения, программы, призывы, методики, учебники не помогут. Любой осетин должен твёрдо знать, для чего ему нужно изучение и владение осетинским. Вот на эти меры наше руководство никак не решается и не решится. Значит, выход только один. Необходимо надавить на это руководство снизу, массой многочисленных патриотов».

Вспоминаю Ирлана, с его глубоким (хотя и не бросающимся в глаза) горским патриотизмом, и... мне становится страшно за него.

Не нужно обладать сверхзорким взглядом, чтобы видеть, как всё здесь кипит, бурлит и клокочет. И, как говаривал Лев Толстой, отдавший молодость Кавказу, «кто определит мне, что свобода, что деспотизм, что цивилизация, что варварство? И где границы одного и другого? У кого в душе так непоколебимо это мерило добра и зла, чтобы он мог мерить им бегущие запутанные факты?»

С прилежным вниманием я несколько месяцев исследовала захватившую меня проблему. И поняла: нужно ехать, видеть собственными глазами, слышать из первых уст... А контакты с представителем главы РСО-Алания по Красноярскому краю Русланом Челохсаевым перевели мою мечту, так сказать, в практическую плоскость. Руслан помог связаться с администрацией главы РСО-Алания во Владикавказе — и мой приезд, таким образом, получил все необходимые официальные «визы».

V.

Из дневника. Август, 2012

<...> Беслан. Нас туда возил чудный таксист — Слава (он представился по фамилии, но очень просил в случае публикации её не называть). Работает во Владикавказе. А сам родом из Грузии, родился там и вырос. Человек исключительной образованности. Осетин. Рассказывал много интересного.

В Беслане вокруг школы — хоть восемь лет прошло — всё до сих пор кричит. Первого сентября — очередная годовщина этого кошмара. Который не укладывается ни в сознании, ни даже в воображении. У Славы в этой школе погибли сестра и маленький племянник. А вторую сестру, тяжело раненную, спасли русские спецназовцы, которых тоже там много погибло... Слава рассказывает, что во время взрыва сестре его попал осколок в живот. Она вдруг почувствовала толчок, в шоке даже, кажется, боли не поняла, увидела, как хлынула кровь... решила, что всё равно помирать, так уж лучше на воле... приподнялась, подтянулась до подоконника и «выбросила» себя наружу. К ней подбежали трое спецназовцев, быстро осмотрели... один остался с ней, а двое побежали за носилками... побежали двое, вернулся один...

---

[2] Васо Абаев — выдающийся учёный, иранист-осетиновед, академик АН России, профессор, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания АН СССР, действительный член Азиатского Королевского общества (академии) Англии (1966), член-корреспондент Финно-Угорского общества в Хельсинки (1973), дважды лауреат премии им. К. Хетагурова, заслуженный деятель науки Грузии и Северной Осетии, лауреат Государственной премии СССР.

тот, кто с ним был, убит... в общем, парни спасли девушку. Она осталась жива.

Благодарность ребятам из группы «Альфа» здесь, в Беслане, безмерна. Как и неутихающая боль, которой прямо стены истекают в спортивном зале, где всё это происходило.

У Славы слёзы на глазах... Он говорит, что в эпицентре взрыва всё горело. Некоторые тела опознали только по ДНК. Знакомому Славы отдали останки дочки-первоклассницы — обугленные куски. Тот чуть с ума не сошёл. Ветеран Афганистана, повидавший, кажется, все мыслимые и немыслимые ужасы. Тот же Слава рассказывает, что едва ли не всех взрослых мужчин и ребят-старшеклассников почти сразу же бандиты увели и расстреляли — буквально в течение первых часов. Так что говорить, что их спровоцировали и якобы поэтому они стали убивать, не приходится.

Люди до сих пор несут в школу и в Город Ангелов — воду и мягкие игрушки.

Мы оставили в школе цветы, побыли на кладбище. Всё это я ещё обдумаю и напишу.

А потом у нас очень интересный разговор развернулся с Ирланом и Славой.

— Да, — сказал Ирлан, — за последние двадцать лет осетины страшные жертвы понесли. Может быть, это и расплата.

— За что? — изумилась я.

— За то, что в чём-то лучше, сильнее, умнее...

— Нет, — вмешался Слава, — за то, что с русскими.

Комментарии, как говорится, излишни. <...>

В университете — а здание старое, даже, наверное, с привидениями, — пахнет краской, и всё сверкает только что законченным ремонтом. У входа в рекреацию факультета осетинской филологии — огромный выразительный портрет Шамиля Джикаева в позолоченной раме. Вообще, он — стихийно и всенародно — уже стал в Осетии национальным героем. На выезде из Беслана — огромный цветной рекламный щит с портретом Джикаева и надписью: «Шамиль Джикаев — краса и гордость осетинского народа».

Что за страна! Что за народ! Не устаю удивляться и всё больше проникаюсь почтением и любовью!

VI.

Монолог владикавказского таксиста

Мой род — осетинский род. А фамилия — грузинская. Меня всю мою сознательную жизнь интересует, почему у меня, осетина, такая фамилия. И я узнал, что моему предку фамилия была дарована. Когда даруют фамилию, даруют землю и титул. Этот дар мой предок заслужил в войну. Война была с турками, а он командовал конницей. Этот эпизод есть даже в фильме «Георгий Саакадзе»... он совершил какой-то хитрый манёвр — заманил в ущелье турецкую конницу, и всю конницу турецкую там положили. А царь, который смотрел за ходом сражения, увидел это и сказал: «Это не человек, это — лиса!» От грузинского слова «лиса» и пошла наша фамилия.

И вот, как человек, носящий такую фамилию, я счёл себя оскорблённым. Оскорблённым ещё потому, что я вырос среди грузин, родился в Грузии, всегда знал грузин как высококультурный народ, народ, который отличается своей толерантностью, терпимостью... прекраснейшая культура... доброжелательные люди. Я всегда знал их с такой стороны. А когда из-за какой-то политической моды вопрос поставлен так, и первое лицо государства говорит, что осетины — мусор, который надо поганой метлой из Грузии вымести... я, естественно, почувствовал себя оскорблённым. Как только провели референдум тридцать первого марта девяносто первого года, второго апреля я загрузил свою машину и уехал. Видит Господь, уехал не озлобленный... я и сейчас общаюсь со своими друзьями-грузинами. У меня есть очень хорошие друзья-грузины. Но я посчитал: раз вы так решили, ну и ладно... а я поехал на свою историческую родину. Всё очень просто и ясно. Зачем мне там... а я жил в самом центре, можно сказать, в географическом центре Грузии — Тбилиси и Гори. И думал: зачем мне эта война? Война с моими друзьями? С народом, который я уважаю? И я уехал.

...Я даже благодарен Гамсахурдиа. Ведь те, кто когда-то уехали, многие обратно вернулись. Дело ведь не в национализме, нет. Мы — слишком малочисленный народ и не имеем права легкомысленно относиться к своему генофонду. А он как-то поспособствовал тому, чтобы мы собрались. И как-то свой генофонд укрепили. Который был на грани расползания. Как когда-то. Уже давным-давно. Знаете, что самое главное? Многие плачутся: ах, как тяжело! Я говорю: да, вам тяжело. Но завтра — вашим детям будет легче. А детям ваших детей — будет совсем хорошо. Это — наша историческая родина. Мы вернулись на родину. Не ропщите, что вам трудно. Пройдёт время, и в общей сложности будет легче всему осетинскому народу нашему. Мы ведь тоже имеем право на существование, элементарное, правда ведь?

VII.

Нынешний глава республики, Таймураз Дзамбекович Мамсуров, кандидат исторических и доктор политических наук, профессор, — личность, без преувеличения, героическая. Если пользоваться термином Льва Гумилёва — типичный пассионарий. Уроженец Беслана, он в начале 1990-х годов, во время войны в Южной Осетии, будучи депутатом Верховного Совета Северной Осетии, в числе других политиков Северной Осетии инициировал обращение-ультиматум в адрес руководства России с требованием принять меры по предотвращению кровопролития. В противном случае авторы обращения грозили выходом Северной Осетии из состава Федерации. А в августе 2008 года, после встречи с президентом непризнанной Южной Осетии Э. Кокойты в посёлке Джава, Мамсуров попал на дороге под грузинскую бомбёжку.

Двое его детей (сын и одна из дочерей) находились в первой школе Беслана, когда её захватили бандиты. Дети были ранены. Так что боль родной земли высшее должностное лицо республики, без всякого сомнения, чувствует как собственную. Вообще, по моим наблюдениям, интеллигентность и пассионарность в самом позитивном смысле этих слов весьма свойственны представителям верхнего эшелона власти РСО. Более того, о каждом — или почти о каждом — из них можно сказать, что своими корнями он глубоко уходит в родной народ.

Во Владикавказе есть, например, улица Мамсурова. Кто такой? Чем славен? Делаю выписку из соответствующей статьи Википедии:

«Мамсуровы верой и правдой служили Отечеству. До наших времён дошли сведения о героизме и мужестве всадников известного Осетинского дивизиона Дзамбулата и Бекмурзы Мамсуровых, проявленных во время русско-турецкой войны.

Эрнест Хемингуэй, восхищавшийся смелостью и отвагой «полковника Ксанти» и сделавший его героем романа «По ком звонит колокол», не знал, что настоящее имя легендарного разведчика — Хаджи-Умар Мамсуров.

За годы советской власти и в новейшей истории из фамилии Мамсуровых вышли не только военачальники, но и писатели (первый осетинский поэт Темирболат Мамсуров, видный писатель Дабе Мамсуров), живописцы и целая плеяда партийных и государственных деятелей.

В с. Даргавс находится боевая башня Мамсуровых — памятник архитектуры XVII в.».

Передо мной — книга Таймураза Мамсурова «Построй свою башню». Не могу удержаться, чтобы не выписать несколько цитат:

«Что необходимо сделать, чтобы нация не растворилась в глобальном «человеческом муравейнике» и не затерялась на второстепенных дорогах истории? Прежде всего, надо подготовить свой внутренний мир к восприятию невероятных внешних перемен. Самый короткий и верный путь к этому — вернуться к своим корням, обрести силу духа в наследии наших предков, в их нравственной чистоте».

«Осетины — страстные интернационалисты и горячие противники самоизоляции — должны в то же время осознать, что при всех вариантах развития общества труд и талант нации смогут найти полнокровное применение только здесь, у себя дома, в непосредственном духовно-культурном окружении. Веками осетины, каждое поколение которых сталкивалось с угрозой быстрого или медленного исчезновения, обеспечивали своё выживание только благодаря самодисциплине, порядку и послушанию, умению воспитывать и культивировать в себе и своих младших безупречные нравственные и социальные стандарты поведения. Этим мы похожи на другие заметные и узнаваемые народы планеты и должны таковыми оставаться и сегодня, и через десятилетия, и через века».

«Ты бы вызвал восторг и восхищение, если бы тебе удалось воплотить в себе лучшие черты характера мужчины, которые века и тысячелетия бережно хранила национальная культура, исторические предания, осетинский уклад жизни. Бойся охладеть к ним в условиях современного миропорядка, на пороге неизвестности и непредсказуемости XXI века».

«Согласись, какая историческая нелепость — начинать всё сначала каждые двадцать-тридцать лет, когда есть опыт тысячелетий. Поэтому будь терпелив и усерден, воспитывай в себе, пока молод, каждое из достойных качеств. Построй из них свою боевую башню — символ крепкого духа и нравственной красоты».

«Стремящийся к гуманизму не должен быть немощным. Ты обязан реализовать и защитить своё благородство перед лицом невежества, экстремизма и несправедливости. Но помни: злые силы, как правило, сплочены и организованны. Они всегда вместе, потому что слабы, тщедушны и трусливы. Иди мимо них гордо и независимо. Они знают деликатность и тактичность благородного человека и играют на этих чертах его характера, чтобы ослабить его».

«Учись в молодости лучшим образцам достойного поведения. Упустишь время — уподобишься тем, кто претендует на роль старшего в доме, в фамилии, пытается всех поучать на том лишь основании, что он погрузнел, постарел и облысел. Такой становится настоящим посмешищем и позорит звание старшего».

«Даже самый голодный орёл не станет клевать зерно вместе с курами».

«Поднимаясь на вершины эмоционального духа, не упускай малейшей возможности открывать для себя культуру других народов, чти их гениев. Только тогда ты откроешь подлинное единство человечества, оценишь силу общечеловеческого братства. Если ты не научишься уважать другие народы, кто будет уважать тебя и твой народ?!»

«Семья — это твоя первая Родина. Поэтому надо научиться чтить, любить и строить свой очаг — самое первое гнездо свободы и совести, вечных основ духовной силы, столь необходимых человеку в его земной жизни».

Когда, готовясь к общению с руководителем такого уровня, открываешь в его деятельности высшие духовные горизонты—начинаешь глубже понимать происходящее: и по части предпосылок, и ввиду неизбежных следствий.

Я очень надеялась получить интервью у Таймураза Дзамбековича, но он, к сожалению, в те дни, когда я была во Владикавказе, не смог меня принять. Зато Сергей Таболов, заместитель председателя правительства РСО-Алания, кандидат исторических наук, журналист, специалист по этнополитическому анализу и прогнозированию, уделил нашей беседе около часа. Беседовать было легко и интересно. Причина—та же. Мой собеседник—интеллигент и умница. Родители Сергея—люди, оставившие в истории Осетии глубокий и яркий след. О его отце, Солтанбеке Таболове, выдающемся учёном, государственном и общественном деятеле, осетины с благодарностью вспоминают спустя двадцать лет после его трагической гибели. Мать—Ирина Таболова—известнейшая российская тележурналистка, чьи репортажи из «горячих точек» снискали ей славу отважного и честного корреспондента. Сам же Сергей, несмотря на молодость (ему нынче летом исполнилось сорок),—опытный руководитель и деятель культуры, уже очень много хорошего сделавший для республики.

С удовольствием воспроизвожу наш разговор.

VIII.

Интервью заместителя Председателя Правительства РСО-Алания Сергея Таболова литературному журналу «День и ночь»

МС. Кавказ—то самое место, где пересекаются геополитические интересы самых разных современных сил. Цивилизация вступила в тяжелейший кризис, может быть, за последние двести лет. Это касается всех. Я живу в Сибири, где более или менее спокойно, но чем ближе к Кавказу, тем ощущение кризиса, напряжения становится острее. Чувство «горячей территории» не исчезает. Как в этих условиях удаётся сохранять стабильность? Тем более что сейчас Россия вступила в ВТО. Готова ли республика к ответу на вызовы, которые с этим обстоятельством связаны?

СТ. Республика Северная Осетия слишком мала, малозначительна с экономической точки зрения в масштабах России, поэтому вступление России в ВТО на экономике республики вряд ли скажется. ВТО—в основном экспортно-импортные процедуры, а такие небольшие регионы, как РСО, в этом процессе не так значимы. В отличие от крупных регионов, которые заняты в транснациональных экономических процессах, связаны с экспортом энергоносителей, других каких-то серьёзных видов продукции. И—что более важно в данном случае—с импортом. Регионы—крупные сельхозпроизводители, производители традиционных для России товаров... вот эти регионы, конечно, в большей степени ощутят на себе последствия вступления в ВТО. У нас такой прямой зависимости нет.

Что касается собственно того, с чего вы начали... физическое приближение к Кавказу даёт ощущение нестабильности. Не знаю, как вы добирались—может быть, через другие республики Кавказа, но здесь, в Осетии, чего-то серьёзно отличающегося в этом плане от того, что вы привыкли наблюдать у себя в Сибири или в центральных регионах России... серьёзных отличий нет. Не ездят бэтээры, не стоят танки...

МС. Заметен повышенный уровень охраны...

СТ. Дело в том, что мы, как и наши соседи, да и, собственно, столичные города—Москва, Санкт-Петербург, пострадали, конечно, от терактов. Но терроризм приходит к нам извне. Ни один теракт из тех, что произошли за последнее десятилетие, не был подготовлен на территории республики. Всё было извне, и, конечно же, многое зависит от слаженности работы спецорганов, органов государственной власти, органов внутренних дел, отвечающих за безопасность, за экономическое положение субъектов не только и даже не столько Северной Осетии, сколько соседних субъектов, на территории которых всё это готовится. И иногда нашим спецслужбам удаётся получить информацию и упредить... и много терактов таким образом было предотвращено. Но, к сожалению, мы можем констатировать, что не всегда это удаётся. Часть задуманного террористами осуществляется. Но, слава Богу... по дереву постучать... последние два года у нас не было террористических актов.

Мы единственный субъект на Северном Кавказе, который за эти два года не допустил подобных инцидентов—слава Богу... если бы так было и дальше. Но над этим надо серьёзно работать. Это такое зло, такая беда, от которой никто не застрахован. В любой точке земного шара это может произойти. В Норвегии. В Америке каждый день в кого-то стреляют. Гибнут люди, ни в чём не повинные. Это цель любого террора. Поэтому здесь, в Осетии, к сожалению, люди научены эпизодами собственной трагической истории и относятся к этому с большей ответственностью, что ли, к возможной беде, нежели там, где не происходило подобного рода страшных событий. И, в принципе, это хорошо, потому что если люди будут мобилизованы всегда, то они в меньшей степени рискуют попасть под действие террористических групп... и у нас даже есть установка—не ослаблять бдительности. Даже если пять-десять лет ничего не произойдёт, всегда людям напоминать, чтобы они были бдительны. Как только спадает уровень бдительности, люди свыкаются, что всё нормально,—случается событие, которое опять всё переворачивает, случается трагедия… поэтому постоянная мобилизованность очень важна. Это, пожалуй, важнейшее из того, что можно противопоставить терроризму. Самый красноречивый пример—Израиль, который в таком режиме живёт уже на протяжении многих десятилетий. Не снижая планку мобилизованности. И при этом живёт, развивается. Имеет одну из самых крупных по численности туристов соответствующую инфраструктуру. Ко всему человек может приспособиться. Хорошо, когда никто не мешает.

И в этом смысле один из показателей того, что осетинский регион России—это регион, которому доверяют,—наличие инвестиций извне. Если никто ничего не вкладывает, не имеет каких-то активов здесь—это самый печальный показатель. Показатель депрессивности региона, знак того, что выходить из депрессивного состояния будет очень сложно, потому что тебе никто не доверяет, потому что в твои дела никто не будет вкладываться, кроме государства, которое и так обязано сохранять какую-то стабильность на этой территории, поэтому вынуждено вкладывать деньги.

Наличие частных инвестиций извне—ключевой показатель доверия региону. Так вот, есть крупные компании, которые работают здесь. Держат здесь свои активы, причём активы серьёзные. Вложено немало средств—с помощью государства, конечно, но основная часть всё же—собственность этих компаний. Мы очень трепетно к этому относимся. И если потенциальный инвестор хочет вложиться в какой-то проект, первый вопрос: а кто у вас там работает? И если слышит название известной компании, тогда этот потенциальный инвестор совершенно иначе начинает смотреть на возможность вложений на территории Северного Кавказа.

Например, у нас работает тот же ОГМК, «РусГидро»… В своих сферах эти компании входят в тройку крупнейших. «РусГидро»—вообще первая в Европе по производству гидроэлектроэнергии. Они строят у нас крупную ГЭС, первую очередь уже ввели практически. И малые ГЭС проектируют. В общем, они надолго сюда пришли. Тот же ОГМК здесь работает, входит в тройку крупнейших металлургических предприятий России, а следовательно, и Европы… Это вот так, навскидку… эти команды, зарабатывая здесь себе капитал, помогают нам весьма и весьма. В первую очередь, конечно, экономически—за счёт налогообложения серьёзную базу формируют. И, конечно же, репатриационно…

МС. Буквально вчера мы с Л. А. Чибировым[3] говорили об истории осетинского этноса, о тех проблемах, которые возникают во взаимоотношениях с соседями, и прежде всего—с Южной Осетией. Как сейчас складываются эти связи?

СТ. Я вчера только приехал оттуда. Возглавлял делегацию Северной Осетии на праздновании годовщины признания РФ независимости Южной Осетии. Я, в принципе, там часто бываю. Наверное, чаще всех из состава правительства. Когда я возглавлял министерство по делам национальностей, оно было уполномоченным органом государственной власти Северной Осетии, на базе которого строились отношения с югом. На нас были возложены основные функции взаимодействия с Южной Осетией. И плюс ещё работали с местной контрольной комиссией по урегулированию грузино-осетинского конфликта—при той грузинской власти, в то время, когда не было войны. В связи с этим часто приходилось бывать в Южной Осетии, принимать и готовить более высокие визиты. На сегодняшний день, конечно, условия изменились. Теперь это признанное государство. В девяносто третьем году парламент Северной Осетии первым принял решении о признании Южной Осетии… и хотя это не вполне укладывалось в законодательные нормы государства нашего, но тогда это было необходимо сделать, важно с политической точки зрения, и Москва, тогдашнее руководство России в целом не стали мешать. Это всё было сделано ради одной цели—сохранить мир. С девяносто второго года было принято решение о вводе трёхсторонних миротворческих сил в Южную Осетию, и, в принципе, кровопролитие было остановлено на тот период. По прошествии двадцати лет понятно, конечно же, что авантюра Саакашвили восьмого года не оставила Грузии никаких шансов иметь хоть какое-то влияние на Южную Осетию. И на Абхазию. Это всё перечеркнуло раз и навсегда.

Сейчас картина такова, что Южная Осетия—независимое государство, признанное несколькими странами, входящими в ООН. Но самое важное, что перекрывает всё остальное,—это признание России. Больше, собственно, нам никто и не нужен, как говорится. И вот сегодня мы, как субъект РФ, напрямую взаимодействовать с этим государством не можем. Как бы со стороны это ни звучало странно. Но, тем не менее, так оно и есть. Все наши действия по сотрудничеству с Южной Осетией мы согласовываем с министерством иностранных дел.

---

[3] Л. А. Чибиров—этнограф, доктор исторических наук (с 1978 года), профессор (с 1981 года), ректор Юго-Осетинского государственного педагогического института; первый президент Южной Осетии (в 1996–2001 годах).

Сейчас готовятся документы о сотрудничестве, наши соглашения межправительственные… старые документы потеряли легитимность, всё надо делать заново, в свете новых геополитических реалий. Поэтому такая работа ведётся, но, с точки зрения постоянной связи и рабочих моментов, всё, что происходит в Южной Осетии, естественно, происходит в Северной Осетии даже чисто физически, географически. Часто возникают моменты, даже бытовые… операцию надо срочно сделать — сюда везут… многое делается в режиме повседневного, постоянного общения. Потому что мы все друг друга давно знаем. И руководство… и не руководство… это всё на бытовом уровне осуществляется ежедневно, независимо от государственных действий. Совершенно ясно, что мы один народ…

Хотя я не думаю, что в ближайшем обозримом будущем появятся ещё какие-то новые документы, изданные российским руководством, направленные на изменение статуса Южной Осетии. Сейчас это совсем невыгодно. Нет никакой необходимости. Есть независимое государство, есть базовые документы, соглашения в области безопасности, в области экономического сотрудничества и так далее. Там всё прописано. Это нормативные акты, легитимные, признанные, подготовленные так, как это делается в любом цивилизованном современном обществе. И не противоречат никаким уставным документам оон и других международных организаций. Делать сейчас какие-то дополнительные шаги по интеграции Южной Осетии в Россию, в первую очередь, — это несвоевременно и не нужно. Рано или поздно это произойдёт, но это произойдёт естественным путём. И если завтра провести какой-нибудь очередной референдум в Южной Осетии, поставить два вопроса: хотите ли вы быть в составе рф или хотите остаться независимыми, — конечно, на первый вопрос положительно ответит абсолютное большинство жителей Южной Осетии. Это понятно всем, в том числе и северо-осетинским властям. Но делать это сейчас — значит, провоцировать в свою сторону дополнительные стрелы со стороны наших западных партнёров…

мс. «Заклятых друзей»?

ст. Да. Они же задушат в объятиях сразу. Нельзя этого делать. И сейчас никто не будет этого делать. Ничто и никто не мешает Южной Осетии формироваться, становиться как самостоятельное государство. Есть какие-то вещи, которые ещё можно было бы подшлифовать, но это всё детали, которые при возникновении тех или иных проблем можно быстро решить. Сейчас проблем особых нет. Но всё равно… чисто психологически. Например, наличие государственной границы между Северной и Южной Осетией. Между Россией и Южной Осетией! Но по географии, по сути своей, получается, что между двумя Осетиями — государственная граница. Чисто психологически это играет определённую роль. Но это… настолько несущественные вещи… о которых на высоком государственном уровне даже и говорить не стоит. Всё это можно решать спокойно, по мере появления проблем.

мс. Анатолий Кусраев, председатель Владикавказского научного центра, говорит: чтобы закрепиться в Южной Осетии, чтобы поднять Южную Осетию, необходим очень серьёзный кадровый «вброс», причём желательно даже не только из Северной Осетии, но и со всей России. Учителя, врачи, учёные, инженеры… он даже мечтает в горах Южной Осетии построить пансионат, в котором можно было бы проводить постоянно какие-то школы, научные семинары… такой вот «кремлёвский мечтатель» Анатолий Георгиевич Кусраев… Действительно, как обстоит дело с подготовкой национальных кадров?

ст. Кусраев в этих вопросах прекрасно разбирается. Он был в Южной Осетии министром образования. Он понимает, что без «вброса», как вы сказали, очень сложно. Причём не только руководящего состава республики, но и действительно работников образования… это очень важный момент. Конечно, такую программу надо делать. Самим, в первую очередь. С нашей помощью, если они обратятся. Но прежде всего — самим. На самом деле нужны не один и не два таких объекта. Привозить туда людей и проводить мероприятия. Причём на разные темы. Это правильно. Это важно. И, в принципе, я думаю, что так оно и будет. Со всех точек зрения — это очень доступное и в то же время красивое место. Единственное место на южном склоне Кавказского хребта, которое сегодня доступно для любого российского гражданина. Много очень причин, почему это нужно делать. И в первую очередь, может, даже политических.

Вообще, проблема с кадрами существует, и не только здесь, в Осетии, и не только на Кавказе. Куда девать людей, которые в большинстве своём учились на юристов и экономистов и больше ничего не умеют? Их уже столько, что некуда девать. А те специальности, которые нужны, и перечень их большой… для трудоустройства сейчас есть возможности… относительно неплохие, на неплохую заработную плату… но — нет кадров. Работодатели вынуждены обращаться за рабочей силой даже за пределы страны. И привозят из-за границы людей, которые с удовольствием идут на эту работу и на эту зарплату… потому что здесь, у нас, образование получают вот такое… а дальше стоят толпами в очереди на трудоустройство…

мс. Здесь же есть замечательный агроуниверситет…

ст. Да. Хороший. У нас и горно-металлургический институт… кстати, у вас в Красноярском крае как минимум половина людей, выходцев отсюда,—выпускники гми, который когда-то входил в первую тройку институтов этой направленности. Они все инженеры, и в становлении того же Норильского комбината выпускники нашего гми сыграли одну из ключевых ролей. Комбинат, собственно, многие из них и сделали. Многие именно там сделали карьеру, кто-то вернулся сюда. Эти специальности, инженерные, до сих пор востребованы.

То же самое и сельхозинститут. Он назывался Горский в советское время, но, по сути, был—как и гми—Северо-Кавказский. Учились в нём не только с Северного Кавказа, но и из Закавказья в советское время… и агроуниверситет—готовил кадры от Дагестана до Карачаево-Черкесии… для всех. Многие руководители министерств, крупнейших производств—выпускники нашей высшей школы. В этом смысле подготовку эта школа вела хорошую.

мс. В связи с этим… я постоянно слышу, что необходимы специальные меры по поддержке осетинского языка, литературы на национальном языке, издания книг на осетинском языке. Тем не менее, катастрофически падает набор на филологические специальности.

ст. Абсолютно верно. Это проблема большая. Что осетинская филология, что русская филология… хотя на русскую филологию всё-таки больше молодёжь идёт. И на журфак идут. Хотя там бюджетных мест всё меньше и меньше. Идут сокращения постоянные. Федеральные власти ведут их постоянно. Непонятно почему. На русскую филологию всего десять мест бюджетных в год. А заявок бывает больше. А осетинская филология—конечно, большая проблема, потому что люди не идут. Там даже специальные меры принимаются. Стипендии сделали… гранты, преференции… посмотрим—может быть, что-то удастся. И демографический спад последних лет мы как-то преодолеем.

мс. А как в школах поддерживается осетинский язык?

ст. Есть учителя. Это ещё одна инициатива главы—доплачивать учителям за преподавание осетинского языка.

мс. Дети-то говорят по-осетински. Идёшь по улице—и слышишь. Совершенно очаровательное явление—этот владикавказский, осетинский билингвизм. Дети говорят—значит, в семьях говорят по-осетински.

ст. Ну да. Наша интеллигенция… она любит либо приукрашивать, либо—драматизировать. Всё! Умирает язык. Язык умер. Как—умер? Иди на улицу—послушай. Как минимум пять из десяти человек будут говорить на осетинском языке. Нет, язык умер. А чуть-чуть деньгами поможешь, издаст человек книжку свою… оживает язык! Издаётся литературы на национальном языке немало. Другой вопрос, что она не востребована.

мс. Жанна Григорьевна Козырева, директор государственного книжного издательства «Ир», говорит: можно бы и больше!

ст. Не знаю, осталось ли где-нибудь ещё государственное издательство! По-моему, нигде нет. Это уже просто анахронизмом стало. Государственное издательство. Что это такое? Это всё, что ты запланировал, ты должен на тендер поставить… Но нам важно сохранить издательство, людей прежде всего. Из-за этого мы его держим. Вопрос другой—если бы их раскупали, эти книги. А то они пылятся на полках, никому не нужны. Родственники автора купят… и всё. А то, что мы сами издаём на свои деньги, мы всё это, естественно, распределяем по библиотекам.

мс. И по-русски же пишут писатели здесь.

ст. По-русски пишут. Выходит журнал «Дарьял». Руслан Тотров—человек интеллигентный, с широким кругозором, и может распознать литератора, поэтому набор у него, как правило, бывает очень неплохой.

мс. Очень многие «дарьяльские» авторы и у нас печатаются.

ст. Это же тоже показатель долгого взаимодействия. Проблема—с писателями, пишущими на осетинском языке. Большая проблема. В Союзе писателей сейчас самому молодому—чуть ли не пятьдесят лет. А кто виноват? Разговариваю с руководителями сп: а почему вы не готовите смену? Должны готовить, отбирать… смотрите по сёлам, смотрите по университетам… Есть проблема авторства на осетинском языке. А на русском языке пишут многие—и молодые, неплохо очень пишут.

мс. Мы стараемся и в журнале переводческую линию осуществлять. И рядом с журналом. Будем осетинских поэтов переводить. Это ведь так интересно! Осетинский язык сам по себе очень красив. Он очень древний. И фонетически чрезвычайно созвучен русскому слуху, ритмике русского стиха.

ст. Да, да. Это действительно так. Семья индоевропейская. И иранская группа самая распространённая была и охватывала многие аспекты взаимодействия с большими группами языков, нежели автохтонные кавказские языки. Особенно—с восточнославянскими языками. И, естественно, на протяжении многих веков бесследно все эти соприкосновения пройти не могли. Чисто фонетически осетинский язык более созвучен русскому, чем языки других кавказских народов.

мс. Скажите, с осетинами в других регионах вы как-то поддерживаете отношения?

ст. Да, конечно. У нас есть министерство по делам национальностей — миннац, как мы его называем, — в полномочиях которого прописано, в том числе, официальным документом, взаимодействие с диаспорами…

мс. Вот если мы с Русланом Челохсаевым составим программу культурного взаимодействия Красноярского края и рсо-Алания на несколько лет, мы можем рассчитывать на поддержку?

ст. Конечно, конечно. Есть разные варианты взаимодействия. Обмен ансамблями, коллективами. Театрами.

мс. Визитами учёных с лекциями?

ст. Разумеется. Давайте сделаем такую программу.

мс. Сразу, как только приеду в Красноярск, встречусь с Челохсаевым, и мы посмотрим, какой сделать широкомасштабный долгосрочный проект.

ст. Я скажу вам, что когда Александр Хлопонин был губернатором вашим, мы ещё тогда говорили, что надо какие-то события межрегиональные организовывать… Теперь, конечно, когда он здесь, он будет всячески поддерживать всё это.

мс. А, кстати, как он вам, наш Александр Геннадьевич?

ст. Александр Геннадьевич — высокопрофессиональный человек. Это сразу было видно. Очень серьёзный экономист. Практический экономист, не просто в теории. Очень многого человек добился на этом поприще. Конечно, на Кавказе такой вот нужен был в первую очередь. Нужен человек, который знает — что, как. Куда вложить, кого привлечь. Собственно, его участие, его имя немаловажную роль сыграло и играет в деле привлечения сюда инвесторов. На его имя очень многие идут, и идут смело, зная цену его слову, его гарантиям. Когда рядом с губернаторами, с главами республик стоит Хлопонин, это играет важную роль… ему здесь тоже, наверное, нравится. Поначалу, может быть, и не очень. Но сейчас уже прикипел. Везде был, побывал во всех регионах. И в столицах, и, что называется, на земле. Для нас для всех, по-моему, очень удачный выбор.

мс. И последний вопрос касается спорта. Мы знаем, что Северная Осетия — кузница олимпийских медалей. Как это удаётся?

ст. На последней Олимпиаде в сборной России было двенадцать наших спортсменов. Это большой процент для республики с населением семьсот тысяч. А всего на Олимпиаде было наших спортсменов — в том числе и выступающих за команды других стран — двадцать два человека. В общей сложности наши ребята завоевали две золотых медали, шесть серебряных и три бронзовых. Если бы мы выступали отдельным государством, то заняли бы тридцать шестое место из двухсот семи команд, обогнав Италию, Испанию… Самая сильная наша победа была, конечно, в Афинах, когда мы заняли в общем зачёте семнадцатое место, но на этой Олимпиаде ребята тоже прекрасно выступили, практически по многим видам спорта… не только в борьбе — как мы привыкли. У нас два серебра в тяжёлой атлетике, серебро — в фехтовании… в классической борьбе — золото и два серебра… вольная, естественно, золото. То есть, в принципе, выступили наши спортсмены очень удачно. И здесь, конечно, традиции, в первую очередь, сыграли роль. Последние годы стараемся спорту помогать. Принимаем дополнительные меры стимулирования. Появляются новые спортивные залы, спортивные площадки. Всё это незаметно не проходит. Главная причина — это, конечно, традиции, талант самих ребят. Но мы стараемся им помогать. Если это получается — результаты высокие. И, что ещё более важно, за последние пять-шесть лет увеличилось количество людей, занимающихся массовыми видами спорта. Это самый важный момент, конечно. Профессиональный спорт — главный показатель, но если количество людей, занимающихся спортом, физкультурой, увеличивается, то это, безусловно, сразу отражается и на результатах спорта высоких достижений. Количество переходит в качество.

IX.

Монолог экс-президента Южной Осетии, доктора исторических наук, главного научного сотрудника соигси*, профессора Л. А. Чибирова*

Во время грузино-осетинского противостояния грузинские политики утверждали, что мы — гости на юге, а гость должен знать своё время и уходить обратно. Вот так они считали. И, кроме того, начали утверждать, что Южную Осетию создали большевистские власти… «Большевики, убирайтесь отсюда» и тому подобное. А если посмотреть в анналах истории, получается, что мы — такие же коренные кавказцы среди других кавказцев.

Сейчас всё очевиднее становится, что скифы были нашими отдалёнными этногенетическими предками… и, несмотря на то, что прошло две тысячи семьсот с чем-то лет с тех пор, как исчезли скифы, очень многие элементы скифской культуры сохраняются в осетинском быте. Я потому это говорю, что осетинский элемент на Кавказе всегда присутствовал. Миллер, наш классик, говорит о том, что грузины помнят осетин именно на Кавказе с тех пор, как они сами себя узнали. Так что ещё надо посмотреть, кто раньше пришёл на эту землю. Предки грузин или предки осетин. Аланские раскопки пятого—седьмого веков, двенадцатого века самих же грузинских археологов свидетельствуют о том, что осетинский элемент на Кавказе, на юге всегда присутствовал. Учёные считают, что Южная Осетия образовалась в итоге переселения с севера на юг. Я склоняюсь к той точке зрения, что массовое переселение осетин на юг произошло во время монголо-татарского нашествия. Тимур полностью разгромил алан. Произошла в буквальном смысле слова катастрофа Алании, весь Северный Кавказ, вся равнина Алании была опустошена в итоге. В некоторых районах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии сохранились немногочисленные группы аланов, остальных согнали и уничтожили. Одна часть, более двухсот тысяч, ушла на восток. Третий поток—в современные венгерские Яссы. Это тоже переселенцы тринадцатого столетия. Остальная масса населения в течение этих двухсот лет при столкновении с татаро-монголами постепенно всё дальше и дальше уходила в горы. Люди заполняли горные ущелья. Самым доступным оказалось Алагирское ущелье. А потом началось постепенное вытеснение—одной волны другой. И поселения всё выше и выше поднимались.

К семнадцатому веку северные склоны переполнились беженцами… в районе селения Нар, на этом крошечном пятачке, было двадцать шесть населённых пунктов, где проживали сотни людей. Люди жили буквально друг на друге. Это были самые тяжёлые времена в истории нашего народа. С пятнадцатого по семнадцатое столетия. Земля, на которой лежал бык, стоила столько же, сколько сам бык. Много легенд создано относительно этого. Когда северная сторона переполнилась окончательно, люди уже стали переходить через главный хребет. Это я наглядно вижу на примере собственных предков. Так что Южная Осетия является такой же нашей родиной, как и другие земли, и сказки грузинских историков, что осетины там гости, ломаного гроша не стоят. Сами грузинские источники, начиная с начала семнадцатого века, говорили об Осетии. Шах Аббас в начале семнадцатого века вошёл в Никози, это южнее Цхинвали, и оттуда в Осетию. Значит, страна, которая была выше Никози,—Цхинвали—уже тогда считалась Осетией. Так что я в своих статьях доказываю, что если люди, двести лет назад колонизовавшие Америку, считают её своей страной, то мы здесь четыреста лет пребываем и не имеем права называть свою страну Южной Осетией? Это наша земля! Когда я был руководителем Южной Осетии, будучи историком по профессии и слыша вот такое искажение исторической истины, много раз предлагал грузинской стороне: давайте сядем за «круглый стол», и докажите нам, что мы являемся пришлым народом.

Вот так наши предки в Южной Осетии и жили. Когда в тысяча восемьсот первом году Грузия вошла в состав России, то и Южная Осетия вошла в состав России. В двух губерниях—Тбилисской и Кутаисской—жило в основном наше население. Бывали случаи в девятнадцатом веке, что численность осетинского населения на юге даже превышало север. Иногда возникали вспышки эпидемий—и население уходило то от холеры, то от других эпидемических болезней. Это очень сильно сократило население севера. А на юге этих эпидемий не было. К счастью.

За нашу независимость нас всегда укоряли. В двадцатом году произошёл первый геноцид. Осетины были изгнаны в итоге. Благодаря советской власти в тысяча девятьсот двадцать первом году была восстановлена Южная Осетия, и двадцать второго апреля тысяча девятьсот двадцать второго года возникла Юго-Осетинская автономная область. Вот там мы и жили. Сказать, что всё было плохо в этой АО, я не могу. Законы советской власти распространились на Южную Осетию, и—хотели или не хотели—грузины этим законам подчинялись. У нас была своя интеллигенция, свои образование, культура и так далее. Мы ничуть не отставали от других регионов в целом. Проводилась достаточно разумная экономическая политика. И всё же уровень жизни в Южной Осетии был ниже, чем в Грузии, по всем показателям. А после развала Советского Союза нам стало очень плохо. Развалился Союз, грузины развязали у себя шовинистические силы… «Грузия для грузин»—и всякие шовинистические лозунги против Абхазии и против Южной Осетии. Вот тогда началась настоящая борьба за свободу и за независимость. Уже в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году стали сгущаться тучи. Стали насильно насаждаться грузинский язык и письменность. В официальной сфере, в делопроизводстве и так далее. Это вызвало сопротивление. Ответные действия. И постепенно разгорелся пожар.

В восемьдесят девятом году избрали меня… я, кстати, был первым избранным ректором Юго-Осетинского государственного университета… и всё, что происходило там, происходило на моих собственных глазах. С тех пор по две тысячи первый год. Так что теперь мы добились очень большой победы. Когда в две тысячи восьмом году произошла последняя война и двадцать шестого августа я уже слушал указы Медведева о признании Южной Осетии, я свои ушам и своим глазам не верил. Как во сне. Никак не верилось, что после всего этого… после переговорного процесса, когда Россия убеждала нас, чтобы мы сами заняли какую-то нишу в составе грузинского государства... конфедеративного государства... разрабатывались различные проекты конституции. Но никто даже в России в это не верил. Мирные решения только в составе Грузии. И вдруг вот после этого... Но... я уже понял, почему Россия пошла на это. И великое ей спасибо.

Есть, уважаемая Марина, два великих события в истории нашего народа. Им цены нет. Первое — присоединение Осетии к России. Это было великое событие. И осетины знают и отдают должное. Осетины никогда не были враждебным элементом России на Кавказе. Начиная с шестнадцатого века, после монголо-татарского нашествия, они жили в основном в горах. И эта жизнь была мучительна. Мучение, а не жизнь. В горах жизнь в пятнадцать раз тяжелее, чем на равнине, посчитали учёные. Перенаселённость, а земли нет фактически. Поэтому с шестнадцатого столетия начались российско-осетинские отношения. Россия тоже заинтересовалась этим. Начались экспедиции Ванявина, Бабурина... Приезжали, изучали недра. Недра были богатые. Сама Россия была заинтересована, чтобы установить отношения с Осетией. С восемнадцатого столетия, используя грузинскую православную религию, русские через грузинских православных миссионеров стали распространять христианство на Кавказе. А через христианство — ближе расположить к себе народ. И в середине восемнадцатого века дело дошло до того, что было сформировано осетинское посольство в Петербург. Туда собрались представители Алагирского, Дигорского ущелий, были представители Южной Осетии... и три года они ходили в Петербург. С сорок девятого по пятьдесят второй годы. Это посольство прибыло к Екатерине Второй и заявило о том, что осетины полностью готовы быть вместе с вами... их хорошо приняли, с подарками они вернулись, и их уверили в том, что это будет сделано, но в тот период были очень натянутые отношения у России с Турцией и с Персией. Посольству дали понять, что как только будут соответствующие условия, вопрос будет решён. Обе стороны были заинтересованы в сближении. Осетинская сторона, во-первых, потому, что в лице России получала покровителя по защите от внешних врагов... под эгидой России кто бы ещё посмел выступить против них? Во-вторых, осетинам надо было как-то расселяться на равнину. Древние аланские земли уже были заняты другими. Осетины в течение трёхсот лет... кабардинские феодалы стояли как бы сторожами выходов из ущелий, и ни одному осетину выйти не удалось. Вот в таком жутком положении находился народ. Хотели, чтобы Россия помогла переселиться. Но у России были тоже свои интересы. Осетия занимает очень важное стратегическое место в центре Кавказа... и уже проявились богатства горных недр. Но военно-стратегическое значение было, конечно, важнее. Если Осетия войдёт в состав России, значит, уже и есть доступ к грузинской стороне, и другим северокавказским территориям тоже будет легче. Заинтересованность была общая, и в итоге дело закончилось тем, что после очередной русско-турецкой войны в тысяча семьсот шестьдесят восьмом — семьдесят втором годах Россия одержала верх над Турцией, и большая часть Северной Осетии, за исключением Дигори, вошла в состав России. Тысяча семьсот семьдесят четвёртый год. Эта историческая дата считается очень большой датой для нашего народа. Не будь этого присоединения тогда, возможно, мы оказались бы сегодня в Красной книге исчезнувших народов. В результате всего этого из шестнадцатитысячного населения в середине восемнадцатого века осетин сегодня около шестисот тысяч человек. Не будь России, ничего бы этого не было. И Осетия знает, и благодарна России, и поклоняется ей.

И второе крупное событие произошло на ваших глазах. Будучи руководителем Южной Осетии, я стремился к урегулированию конфликта. Чтобы больше не было кровопролития, решить вопрос окончательно. Осетия потеряла очень много своих сыновей. Достойных сыновей. Молодёжи. Почти четверть века мы воевали с грузинскими националистами. Но всё-таки, слава Богу, благодаря России, после этого сумасшедшего вторжения Саакашвили в Южную Осетию, представилась возможность России признать Юго-Осетинскую республику. На сто процентов и на тысячу процентов могу утверждать, что, не будь России, сегодня Южной Осетии бы не было. Ничего бы мы сами не смогли сделать. И патриотизм был большой, и молодёжь воевала вовсю. Но без содействия российских Вооружённых сил вряд ли мы смогли бы взять верх над ними. И Южная Осетия была бы потеряна, этот замечательный уголок Осетии. Как не благодарить после этого Россию! Мы в вечном долгу перед российским государством, перед русскими.

Вспомним Горького: если я не за себя, то кто за меня? Но если я только за себя — зачем я?

X.

Монолог народного поэта Осетии, главного редактора детского журнала «Ногдзау» Музафера Дзасохова

Россия — а прежде Советский Союз — была самой читающей страной в мире. Сейчас мы превращаемся в свою собственную противоположность. Если вино перестоит, то превращается в настоящий уксус. То есть в свою собственную противоположность. Недавно ко мне пришли на встречу школьники для телевизионной передачи, сели передо мной, и девочка спрашивает соседа, показывая на мою пишущую машинку: а это что такое? Никогда не видели пишущей машинки. А я, как старый представитель советской эпохи, по-прежнему стучу по этой машинке. У меня даже нет сотового телефона. Я родился в селе, где было всего три телефонных аппарата — на почте, в сельсовете и в правлении колхоза. И люди жили. И мудрость свою получали и передавали через печатное слово, через книгу. Думаю, что человек — как вид — со временем не становится умнее. Ум человеческий должен развиваться. А этого нет. Нынешние люди — даже философы — они что, Сократа переплюнули? Или Архимеда? Или Коперника? Если и переплюнули — то не в ту сторону. Человек глупее мыши. Мышь никогда не изобретёт капкан. А человек изобретает такие формы уничтожения самого себя, что ни одна мышь не додумается до этого. Вот куда мысль человека направлена. Что нужно людям для того, чтобы жить на земле? Всё есть. Природа всё дала. Но мы не умеем пользоваться этими дарами. Чем сейчас занимаются лучшие умы? Америка чем занимается? Что ей делать в Югославии было? Что — в Ираке? В Ливии? В Египте? Что — в Грузии, в конце концов? Нет, человечество не становится умнее…

Валентин Распутин правильно сказал: Интернет — это гибель человечества. Что творится в Интернете: что хочешь пиши и о ком хочешь, стравливать можно людей, государства, народы… И поэтому нет читателя. Тем более на таком языке, как осетинский. Языке немногочисленного народа. Вот я перевёл Хайяма на осетинский язык (показывает книгу). Здесь сто рубаи, на одном листе — на осетинском языке, на другом — на русском. В девяносто первом году книга вышла, тираж — двадцать тысяч экземпляров. И у меня нет этой книги, она вся разошлась. А сейчас мой двухтомник вышел к моему юбилею, и посмотрите, тираж какой… пятьсот экземпляров. И будет лежать годами. Так же, как все остальные книги и книги других осетинских писателей. Коста Хетагуров лежит. Нартские сказания, величайший эпос, который наравне со всеми выдающимися эпосами мира, никому не уступает… не читают.

Вот к чему привело разрушение Советского Союза. И это будет ещё продолжаться. Потому что капитализм не имеет будущего. Это — тупик. Куда мы придём? Деньги — не самое главное. Человек состоит из трёх этажей. Голова. Сердце. И — желудок. А сейчас мы перевёрнуты. Голова внизу находится. А живот, который является третьей ступенью человека… это, конечно, тоже необходимо, без этого не обойдёшься, но какая-то субординация, какая-то этажность должна быть.

…Мы не понимаем, что мы погибаем как народ. Есенин сказал: миру нужно песенное слово петь по-свойски так же, как лягушка. А такой язык, как осетинский, который является древнейшим языком на ветви скифо-алано-сарматских языков, — единственный скифский язык, сохранившийся в живом виде. И мы пренебрегаем этим языком. Вот сегодня в газете — статья… не умрёт язык, на котором создан нартский эпос… Умрёт! Латынь умерла. Что — на ней меньше людей говорило, чем на осетинском?

Эх, огорчил я вас.

XI.

Интервью председателя Владикавказского научного центра, доктора физико-математических наук, профессора СОГУ Анатолия Георгиевича Кусраева литературному журналу «День и ночь»

МС. В последнее время достаточно серьёзно обсуждается проблема, связанная с распадом Российской Федерации примерно по той же модели, как когда-то распался Советский Союз. С. Е. Кургинян, который недавно приезжал во Владикавказ, говорит об этом как о проблеме очень насущной, серьёзной и прямо угрожающей. Сибирь, как и Кавказ, для России регион проблемный. У нас очень любят повторять знаменитые стихи Леонида Мартынова, новосибирского поэта:

Не упрекай сибиряка,
что у него в кармане нож,
ведь он на русского похож,
как барс похож на барсука.

При последней переписи населения очень многие, даже некоторые мои знакомые, в графе «национальность» написали «сибиряк». Муссируется тема, что мы вполне можем обойтись без Москвы, жить самостоятельно. То есть активно развивается идея сибирского сепаратизма. Это очень неприятная — для имперского сознания — вещь. Но она существует. С другой стороны, мы постоянно слышим от русских националистов: хватит кормить Кавказ. Понятно, что эти проблемы могут преодолеваться в большой степени только за счёт горизонтальных связей, за счёт живых контактов учёных, деятелей культуры, художников. Как этот круг проблем решается здесь, в Северной Осетии, где эти вопросы сами по себе настолько остры, что, кажется, если здесь не прилагать каких-то специальных усилий, то ситуация вообще выйдет из-под контроля и обернётся глобальной катастрофой?

АК. Ну, во-первых, распад или сохранение территориальной целостности государства — это дело власти. И если наша власть окажется некомпетентной, мы с вами ничего поделать не сможем. Тогда нас ждёт распад, долгое собирание и так далее. После распада Советского Союза двадцать лет прошло, и мы вот только-только начинаем как-то подвигаться к собиранию. Это же на самом деле элементы сборки, механизм сборки. И почему-то я верю, что Путин — тот человек, который не сдастся. Он слишком далеко зашёл, чтобы не думать о своей судьбе и не понимать, что он не гарантирован от чего-нибудь вроде участи Каддафи или Мубарака. Но я почему-то верю.

Но то, о чём вы говорите, единая культурная среда — без этого никакой сборки не будет. Власть может предложить определённые механизмы сборки, технологии. Но собрать можно только собираемое. То, что не собираемо принципиально, — его никак не соберёшь.

И ваша деятельность, как я её понял, направлена на то, чтобы было собираемое, а то, что сборка необходима, в этом тоже никаких сомнений нет, потому что специалисты говорят о том, что минимальное количество экономически состоятельного населения — это триста миллионов человек, лучше — пятьсот миллионов. Остальные — неконкурентоспособны. Современная экономическая, хозяйственная жизнь в странах всей планеты привела к тому, что экономически состоятельными являются только вот такие крупные социальные образования — триста-пятьсот миллионов человек. Почему — понятно. Потому что для следующего рывка к новому технологическому укладу нужны очень большие средства. Большие средства можно собрать только в очень большом пространстве. Экономическом. Поэтому евразийские союзы — это те механизмы, совершенно, с моей точки зрения, адекватно понятые на евразийском пространстве... бывший Советский Союз плюс-минус... невозможно предсказать, как это всё будет, но идея правильная. Может быть, Прибалтика отпадёт, а какая-нибудь... Никарагуа присоединится. Мне кажется, что по существу будет правильно и организационно, если вы привяжете свою идею именно к этой идее — сборки. Важно, что есть государственная, властная воля такая — политическая — это делать. Политическая воля должна на что-то опираться.

МС. А вступление в ВТО?

АК. Вступление в ВТО — вопрос сложный. Я тоже против вступления России в ВТО. Но... скажем так, Кургинян — человек темпераментный. Может быть, даже излишне. Иногда это хорошо. Когда надо встречный пал пустить. Болотная — Поклонная. И тому подобное. Для трезвого, совершенно спокойного размышления это не годится. Он хороший аналитик, но немножко переигрывает... ну что поделать... это Сергей Ервандович. Насчёт ВТО у него крайне категорическое неприятие. Есть другие позиции. Мы же всего не знаем. Я тоже негативно воспринимаю это, но мы тоже не располагаем всей информацией. Дело в том, что идёт торг. Пока ещё все карты выложить рано. Обозначить Америку как нашего геостратегического противника или конкурента можно. А вот как врага — ещё рано. Есть какие-то сдерживающие моменты, и ими как-то пользуются. Но мы же не знаем, что мы выторговали вступлением в ВТО. Нам это неизвестно. Поэтому я не могу однозначно сказать. Я бы сказал: да, это плохо. Но поскольку я вижу точечные действия Путина — они достаточно точные, выверенные и на благо нашей страны. Мне кажется, что что-то позитивное происходит.

МС. Такие научные центры, как ваш, — к «сборке» имеют отношение?

АК. Самое непосредственное отношение. Но не формально и не официально. Что, кстати, наверное, плохо. Мы живём, на самом деле, на окраине Российской империи. И очень многие вопросы мы ощущаем острее... не то, что за чертой Садового кольца вообще ни черта не чувствуют... но даже в России, и даже беру на себя смелость сказать, что и в Новосибирске, и в Красноярске... там всё же спокойно, спокойно... а у нас это остро воспринимается. Когда начались заигрывания с американцами — что они в Грузию пришли. Ну и что такого? Ну и пожалуйста... И нормально. Помните, Путин приветствовал приход американцев в Грузию? А мы дёргались в это время! Потому что граница с Грузией проходит в шестидесяти километрах от Владикавказа. Дарьяльское ущелье — граница Грузии. Северные склоны Кавказа находятся на территории Северной Осетии, а южные склоны — на территории Грузии. И те склоны, которые ещё на территории Грузии, — вот там разместится американская военная база. И американцы будут своими станциями всё просматривать до Воронежа или даже до Смоленска. Мы это остро чувствуем, потому что это наша судьба. Если в Грузии что-то происходит — москвичу до лампочки... москвичи вспоминают хорошее вино, шашлыки-машлыки и прочее... А мы вспоминаем, что там живут наши братья. Я родом из Южной Осетии, и любой писк оттуда у меня сразу вызывает стресс. Потому что я сразу продумываю, а что там будет дальше. А дальше будет... Вы представить себе даже не можете. Вот Лениногорский район Южной Осетии. Там тоже живут наши сородичи. Так вот от центра Лениногорского района до Тбилиси — пятьдесят километров. В ясную погоду с сопки Тбилиси можно разглядеть. Слава Богу, сейчас там российская база. В течение всего существования нашего центра мы поддерживаем Южную Осетию, учёных Южной Осетии, университет Южной Осетии... Разве это не вклад в «сборку»? У нас добрые, хорошие отношения с чеченскими, с дагестанскими коллегами. С кабардинскими учёными. То есть потенциал — большой. Содружество северокавказских учёных-исследователей вполне назрело.

Так что научный центр, безусловно, вовлечён в интеграционные процессы. Официально у нас такой роли нет, в Положении у нас это не записано, потому что Положение наше утверждает Академия наук, но вся наша деятельность, направленная на контакты с окружающими, — всё это работает на «сборку».

мс. А с Московским центром, с Российской академией наук?

ак. Мы — подразделение ран, она нас поддерживает. У ран установка тоже есть. Вот юг России — они создали в Ростове научный центр, в Кабардино-Балкарии. Так что установка есть — поддерживать юг России, Кавказ. И установка такая — насыщение интеллектуальным ресурсом — это путь к стабильности. Это правильная установка. Путь к «сборке». Но. Когда сказал «А», надо говорить «Б». Если мы являемся… ну, пусть малюсеньким элементом стабильности, так его же надо расширять, всё вокруг привязывать, и чтобы системно расползалась эта… «зараза» стабильности. Вот этого нет. Нет адекватного восприятия остроты и значимости момента.

Немного ещё про Южную Осетию. Потому что Южная Осетия — никакое не самостоятельное государство. И никогда она не будет никаким государством. Это сателлит Российской Федерации. Это наша территория. Это наши люди. Это наша политика. И все срывы, которые там происходят, — это провалы российской политики. Это не то, что вот… дикие южные осетины не могут себе государство построить. Мне пришлось вот тут журналисту объяснять… теоретически он правильно сказал, что южные осетины, к сожалению, так и не поняли, какой великий шанс им выпал. Понимаете? Вот представьте голодного человека, который находит слиток золота. Он его выбрасывает, а вокруг говорят: какое ему выпало счастье, а он этого не оценил! Так он с голоду умирает, зачем ему этот слиток? Примерно в таком положении Южная Осетия. Я, кстати, год там работал — был министром образования и науки. Поэтому не только снаружи, но и изнутри ситуацию знаю. Южные осетины настолько истощены — физически и морально, — что никакого государства построить не в состоянии. Я эту точку зрения озвучивал. Нужен кадровый десант. Если не будет мощного кадрового десанта в Южную Осетию, ничего не получится.

мс. Из Москвы?

ак. Почему обязательно из Москвы? Со всей России! В этом ничего сложного нет. Я вам могу рассказать про свой опыт. Когда я понял, что официальных движений не будет, я сделал так. Есть такой фонд — Российский фонд фундаментальных исследований. Мы договорились и подписали договор. Дело в том, что этот фонд проводит конкурсы. Российско-британский, российско-украинский и так далее. А почему не российско-юго-осетинский? Мы подписали договор и провели российско-юго-осетинский конкурс грантов. Объявили. Что бы вы думали? Со всех концов России потянулись люди. В разных научных учреждениях. В разных лабораториях. В Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Петербурге. Это наши люди. Либо этнические осетины, либо выходцы из Осетии, которые неравнодушны к этим проблемам. Одни предлагают медицинские технологии, другие — технологии солнечной энергетики, третьи — технологии переработки пищевых отходов… масса всего. Мы из них отобрали шестнадцать очень интересных проектов. Ведь это тоже «сборка»!

Так вот — всё это потянулось, а задержать, зацепить их было нечем. Ресурсов нет. Миллиарды «распиливают», миллиарды закапывают в землю. А вот на это — нет. Я когда год поработал, ещё такое сформулировал: всё, ребята, надо сказать себе и Москве — восстановление Южной Осетии в основном закончено. Ну, конечно, не закончено. Везде перекопано, везде развалины. Но я говорю: вот пошло уже… и либо… ну, год пройдёт, ну, два, может, три пройдёт, но всё восстановится. Это ясно уже. Надо переключиться на восстановление интеллектуальных потерь. Духовных, интеллектуальных потерь. Без этого ничего не будет.

мс. Да я сама бы поехала с удовольствием восстанавливать Южную Осетию! И взяла бы с собой свою команду. Я — основатель и первый директор Красноярского литературного лицея, у меня более тридцати лет педагогического стажа, я учительница русского языка и литературы… с моими выпускниками мы могли бы много сделать хорошего. Причём совершенно не шутя это говорю. Можно придумать, как это сделать.

ак. Я это так себе и представлял. Что я предлагал? Давайте в горах построим небольшой пансионат, где ежегодно проходили бы не игрища всякие… хотя это тоже надо! Мы это понимаем. Но спорт… Республика спортивная. Нечего доказывать. Посмотрите Олимпиаду. Нам нечего уже доказывать. Это всё уже состоявшееся. Теперь нам вот эту систему, которая порождает олимпийских чемпионов, надо перенести в интеллектуальную сферу. Вот пансионат, где проходили бы семинары, конкурсы, школы — физико-математические, литературные, другие… Вот это будем восстанавливать! Дороги, конечно… дороги—как без них?.. Но—вот этого, к сожалению, нет.

МС. Да, эта особая тема. И, кстати, следующий вопрос, который меня очень беспокоит. Вот сейчас весь мир, чуть ли не вся культурная элита всего мира горько плачет об участи несчастных девушек, которые осквернили в Москве храм Христа Спасителя… Боже мой! Льётся кровь, в Сирии ужас что творится, вообще—на Ближнем Востоке, в Северной Африке… здесь, у нас, без конца теракты, кровавые, страшные… а мы вот плачем-рыдаем по поводу этих девочек…

АК. Во-первых, мы не плачем…

МС. Я имею в виду всю эту вакханалию, которая тут началась. Вот этот список из ста тридцати двух человек, представляющих российскую культурную элиту.

АК. Это не сто тридцать два человека российской культурной элиты. Это не та терминология, извините. Эти сто тридцать два человека—пятая колонна. Чьи бы фамилии там ни были. Пусть бы там были мои учителя, мои самые близкие люди. Это—пятая колонна. Это всё делается синхронно и одинаково. Всё одно и то же. Здесь абсолютно всё прозрачно. И нет никаких секретов. Есть люди—просто несведущие. Бабку вот на улице встретите—она может вам сказать: ой, бедные девочки. Потому что она не понимает. А люди грамотные всё понимают. Если они подписывают—значит, они враги сознательные. Для меня никаких секретов тут нет. Это спецоперация. Идёт война. То, что в Сирии кровь льётся, и эти девочки—звенья одной цепи. Просто разные методы ведения войны. Разные методы теснить противника. Допустим, Путин встречается с Кэмероном. Что бы Путин хотел с ним обсудить, какие-то у него есть серьёзные вопросы, а ему—раз, в лоб: у вас там девочек обижают. И он должен… а что он сделает? Что их надо посадить—ведь уже не скажешь этого. Потому что создан уже весь этот ажиотаж. Информационная среда уже сформирована. Он должен как-то извиняться или сказать, что, я думаю, их не осудят или не будут слишком жёсткими. И всё. А главное, чего он хотел, уже уплыло. Не скажешь Кэмерону, что это ты спецназ в Сирию направил?! Уже не скажешь.

МС. Так у Асада химическое оружие!

АК. Вот, у него химическое оружие, видите ли. Будут его там изымать и так далее. Всё это звенья одной цепи. Я бы сказал: вот дурочки, попались просто как орудие. Но этого я теперь сказать уже не могу. Когда я послушал, что они там несли. На суде и после.

МС. Но—вытекает отсюда другой вопрос, связанный с мультикультурацией. Вся Европа уже от этого стонет. Это уже не только чревато кровавыми событиями, они уже и происходят. С одной стороны—мультикультурализм, с другой—стремление малых народов во что бы то ни стало удержать свой язык, свою культуру. Возможно ли вообще это? В таких условиях… Сегодня я была в издательстве «Ир»—я столько слышала горьких слов о том, что уходит осетинский язык, уходит из обихода, истончается литература, она становится никому не нужна. Возможно ли в условиях тотальной глобализации сохранение малых культур? Если возможно, то есть ли у осетин какой-то опыт, на который можно было бы ориентироваться?

АК. Речь здесь идёт о России… О чём бы ни говорили, мы говорим о России. Так вот, люди, которые похоронили Россию… как вообще линейно планируют…если движется с какой-то скоростью по прямой нечто… то через пятьдесят лет оно окажется там-то, а через сто лет там-то… пока не свалится, в конце концов… Так вот, это неправильный подход. Это механистический подход. Россия—организм. Духовная сущность. И она накапливает в себе эту духовную силу. Где, на каком вираже произойдёт какое-то непредсказуемое действие, никто не знает. Можно только предугадывать, что же произойдёт. А произойдёт, мне кажется, вот что. Россия формировалась… понимаете, слово «мультикультурализм»—это западное слово. Это они так назвали свою неудавшуюся попытку из колоний забрать себе свежую кровь. Не получилось. Потому что эта вот свежая кровь оказалась чужеродной. Отторгается. Не приживается. У России опыт совершенно другой. Уникальный. Она, конечно, завоёвывала, колонизировала. Но она никогда не насиловала территории и те народы, которые вбирала в себя. Россия им давала возможность развиваться в едином государстве. Давала им возможность культурно состояться. Вот, пожалуйста, пример Осетии. Советский опыт Осетии, российский опыт Осетии был исключительно позитивным. Осетия была приобщена к мировой культуре через русский язык, через русскую литературу, через российское культурное пространство. Осетия состоялась как культурное явление именно в рамках российского культурного пространства. Осетия познала мировую культуру и Осетию узнала мировая культура через российское культурное пространство. Понимаете? Это—высшие ценности. Если Осетия каким-то образом вдруг от России оторвалась бы, то потери были бы… экономические и прочие… напряжения, связанные с обрывом связей… но это не главное! Самой страшной потерей, самой крупной потерей была бы именно потеря культурного пространства. Это абсолютно недопустимо. Ни сибиряки от этого не выиграют, ни москвичи от этого не выиграют… то, о чём грезят некоторые—либо недалёкие, либо враги. Что самостийная там Сибирь, Дальний Восток… дескать, объявим войну японцам и сразу сдадимся… или там—Запад нам ближе и дороже… Это всё детский лепет! Нормальному, здравомыслящему человеку это совершенно очевидно. Абсолютно очевидно, что эти лоскутки на самостоятельность не способны, это лакомые кусочки—их просто сожрут. Россия может быть только единой. Западному неудавшемуся опыту я противопоставил бы удачный советский опыт. Что бы там ни говорили. Дружба народов была? Была. Мы на кухнях хихикали: «единое советское общество». А ведь сложилось! А ведь была единая общность людей—советский народ. На огромных просторах от Прибалтики до Дальнего Востока я мог… представьте, молодой человек—под любым кустом у меня приют. Ничто в этой огромной стране, никакие национальности, никакие этносы, никакие особые отношения мне не были страшны. Это была моя страна. Какая нужна ещё иллюстрация? Мои родители—крестьяне… мой отец, правда, был уже не крестьянин, он был учитель средней школы, но он вышел из глухого горного аула. Я вырос в деревне. И мой брат тоже. Мы поехали в Новосибирск учиться. Я перевёлся на второй курс, а брат на первый курс приехал. Он закончил физический факультет, а я математический факультет. Он в Петербурге в Институте имени Иоффе возглавляет отделение—он один из пяти директоров, а я работал в Новосибирском институте им. Соболева, мог бы там остаться работать, меня никто не гнал. Я приехал на родину. Какие ещё нужны доказательства, что это единое пространство? Дружба народов и единый советский народ реально существовали. Был и такой предмет учебный в школах и вузах—«Литература народов СССР». В Новосибирске люди, не знатоки какие-нибудь, а просто нормальные культурные люди, знали, кто такой Коста Хетагуров… кто такой Якуб Колас… А теперь не знают и себя.

МС. И ещё вопрос. Я последнее время стала следить за осетинской периодикой и заметила, что часто вспыхивает довольно острая полемика, которая говорит о том, что осетинская интеллигенция тоже переживает раскол на «патриотическую» и «либеральную». Как вы можете охарактеризовать состояние умов в Осетии?

АК. Знаете, когда нет мейнстрима, нет основного русла… когда было произнесено: глотайте столько суверенитета, сколько можете,—вот это было начало кризиса. У осетинской интеллигенции нет достаточного потенциала, чтобы мыслить креативно в серьёзном, большом масштабе. Осетинская креативность была связана с тем, что она была подключена к России. По мере того, как осетинская интеллигенция отходит от этого культурного пространства, она задыхается. Проще говоря, есть второе начало термодинамики. Любая система стремится к энергетическому минимуму. То есть вырождается. И чтобы этого не было, должна происходить подкачка. Развели в печке огонь, дрова не будете подбрасывать—она рано или поздно погаснет. Так вот, как только перестали подбрасывать российские дрова, потихоньку гаснем.

МС. А что делать? Как молодых учёных воспитывать? Как их растить?

АК. Воспитывать на великих традициях русской, российской культуры. На единой культуре. И на великих цивилизационных пластах, которые мы унаследовали. Только так.

МС. А это возможно?

АК. Возможно. Абсолютно возможно. Осетины—осколок древней цивилизации. В генотипе сидит всё это. Но мы маленький народ. У нас нет достаточного потенциала, мы не вполне соответствуем великому наследию, которое мы получили. Как южные осетины не соответствуют тому великому событию, в результате которого они получили государственность. Легко сказать—государственность. А как её построить? Нужны знания, нужны люди с опытом, со знаниями, которых у них нет. И здесь точно так же. Но в ином, конечно, масштабе и в другом ракурсе. Нам нужно единое культурное пространство. Путин говорит о едином экономическом пространстве. Это Таможенный союз, Евразийский союз… Политика и экономика. Вы говорите о культурном пространстве. Не может быть никакого единого Таможенного союза… он может, конечно, работать, но этого недостаточно. Это—звено «сборки». Чтобы было единое государство, нужно единое культурное пространство, культурное и интеллектуальное. Потому я и считаю, что тем, что вы делаете, вы дополняете Путина. План Путина—в действии.

XII.

Мосты над облаками, как и вообще все на свете мосты,—соединяя людей, ведут к Человеку.

Красноярск—Владикавказ—Красноярск, август 2012

Миясат Муслимова

Русские, берегите свой язык!

Русские, берегите свой язык! Спасайте свою литературу! Что с ней сейчас делают! Нам смотреть на это больно! Русская литература не должна уходить из жизни общества. Потому что без этого действительно—полный развал страны. Как они этого не понимают?! Вчера прочитала в новостях, что, слава Богу, изменения произошли в ЕГЭ. Разрешили устную форму экзамена по литературе, по гуманитарным дисциплинам.

Меня очень беспокоит ситуация с преподаванием русской литературы. Не только наша, дагестанская, а вообще—проблема в российской школе. Я считаю, что введение ЕГЭ по литературе—разрушительно. Конечно, есть знания, которые в тестовой форме можно проверить. Но они не образуют ценностное пространство. А то, что невозможно проверить тестами, вот это знание—выхолащивается. Меняется система образования. Отпадает смысл глубокого изучения литературы. Освоения духовных ценностей. Сама эта система натаскивания совершенно извращает нормальные подходы к литературе, поэтому мне кажется, что мы загоняем в кризис саму систему образования, многолетнюю, наработанную традицию преподавания литературы в школе. Мне, например, очень дорога система Евгения Ильина. Многие подходы, которые были в традициях вдумчивого, медленного чтения. Выхолащивается культура читательская! Исчезает та пауза созерцания, которую даёт литература, пауза внутреннего осмысления. Литература сегодня должна стать мощным фактором национальной безопасности. Как никогда. И, как писал Бродский, это система нравственного страхования, которая сегодня, мне кажется,—единственное, на что можно делать упор. Почему? Я не отношусь к тем, кто приветствует триумфальное шествие религии по стране. Я не приветствую это. Религия—это глубоко личное. А когда религия становится общественным явлением и претендует на какую-то политическую роль, то это, к сожалению, больше разъединяет страну, чем объединяет. Когда она становится внешним институтом, то волей или неволей начинает делить людей на «своих» и «чужих». Христианин, мусульманин, иудей… а культура—всегда шире! Культура не разделяет нас всех на национальности, конфессии и веры. Она объединяет нас в том, что нас делает людьми. Поэтому литература сегодня, как никогда прежде, играет роль средства, которое снимает агрессивное начало, в которое вырождается неглубоко, поверхностно понятая религиозная догма. Государство должно сделать максимально много для того, чтобы литература была не только в гуманитарных классах школы… филология должна быть не только в специализированных образовательных структурах, она должна широко пойти в технические вузы, на юридические факультеты—туда, где готовят специалистов повышенной этической ответственности. Я считаю, что литература, как кровеносная система, должна войти во все сферы образования.

Современный человек испытывает тоску по самому себе. Ему нужно говорить о чём-то внутренне важном. Но ты не можешь исповедально говорить о себе с первым встречным. Литература даёт тебе возможность на чужом опыте, на чужих судьбах осмыслить своё реальное и возможное существование. Литература—это такая мощная сфера жизни, которая помогает и жить полнее, и исправлять то, что в этой жизни разрушается на наших глазах. Поэтому я считаю: преступно, когда государство не понимает значимости художественной литературы для его собственного сохранения. Потому что это «человекосберегающий» фактор. Когда-то модно было говорить о «человекосбережении». Вслед за Солженицыным. А они всё это переводят в примитивную плоскость каких-то политических клише. И этим всё заканчивается. А для того, чтобы это вошло в человека и стало смыслом, надо наполнить жизнь ценностями духовными. Это возможно только через литературу. Она так богата, широка, разнообразна, что в ней каждый найдёт ту точку, откуда высекается огонь.

Для меня это больная тема. Я уже много лет работаю на юридическом факультете и ищу способы, как внедрить—хотя бы… контрабандой (улыбается)—русскую литературу. Она так нужна юристам! Они работают в сфере повышенной ответственности за судьбу человека. Человек, не чувствующий дух закона, не сможет и букву закона правильно истолковать. Даже феномен—знаменитый!—русской судебной реформы, взлёт русской адвокатуры, с 60-х годов 19 века это началось и до начала века 20-го… имена блестящих адвокатов… ведь они же в России были поэтами, писателями, критиками! Это же конкретный исторический пример того, как литература благотворно действовала на развитие права. Я разработала спецкурс «Русская литература и развитие правосознания в России». Или спецкурс «Судебная риторика»—тоже позволяет внести те или иные элементы литературы. Мне приходится это делать через спецкурсы. Спецкурсы обычно для узкой специализации предназначены, для того, чтобы глубже дать профиль. А у меня получается общий подход, общие вещи я ввожу в узкую дисциплину… Но ещё А.Ф. Кони говорил, что у юриста общее образование должно идти впереди специального.

Меня ещё очень беспокоит то, что в программах преподавания на факультетах иностранных языков университетов вытесняется литература. Вот на нашем факультете иностранной филологии снят курс зарубежной литературы на русском языке. Якобы зарубежная литература у них преподаётся на иностранном языке. Да у нас нет ещё таких специалистов, безусловно, которые могут преподавать литературу на английском или другом… западноевропейском языке. Не знаю, какой это будет уровень преподавания. Вот этим вытеснением русской традиции филологического образования государство подрывает свою структуру…

И масштабы этого бесчинства настолько широки! Я раньше думала—это у нас только, это случайность, тут случайная картинка… Но масштабы того, что творится, настолько грандиозны, что буквально идёт разрушение личности и народа. Это ослабление духовной мощи народа. А что такое ослабленный, распавшийся народ? С ним всё, что угодно, можно делать. Имитация позитивной деятельности, которая идёт на всех уровнях, игра словами… я её вижу в политике и в реальности. Это ужасает. Ты видишь, что тройка мчится к обрыву… но остановить её не можешь! Что делать? Ты чувствуешь свою беспомощность. На твоих глазах идёт погибельное движение—и ты не знаешь, как его остановить. Ты не способен на это влиять. Что нам остаётся? Делай что должен. И будь что будет. Каждый должен себе это сказать. Не поддаваться общей инерции.

Мне кажется, наша интеллигенция устала. Сдалась. Я считаю, что интеллигенция очень виновата в том, что сейчас происходит. Та же самая система ЕГЭ. Долгие годы сопротивлялись несколько ректоров вузов… но потом уже устали, решили, что бесполезно… не мытьём, так катаньем взяли нас, и мы замолчали… Не надо молчать! Говорил же академик Лихачёв: даже когда голоса нет, когда кажется, что всё напрасно,—надо, чтобы хоть один голос звучал. Всё-таки, как бы мы иногда ни думали, что слово бессильно… Слово имеет свою силу!

Здесь роль творческой интеллигенции, литературной интеллигенции очень велика. Мы так легко понимаем друг друга, но когда возникает дефицит общения художественной интеллигенции—то между народами тоже возникают пропасти. Должны быть какие-то проводники… Поэты—проводники. Миссия проводничества очень высока и значима.

Если сейчас наше поколение среднее это не осознает, молодому поколению и вовсе будет невдомёк. Оно выросло в других условиях. У них нет этих фантомных болей, от которых мы страдаем… Тело разорвано, но отсутствующие части продолжают болеть. Если мы сейчас не примем специальных усилий, то у следующих поколений просто уже не будет возможности консолидироваться, собраться в единую страну. Потому что через нас проросла эта порча… Вот у нас, на Северном Кавказе… русская литература—отдельная мощная сила, она должна сконцентрироваться, должна оказывать воздействие на духовную жизнь общества. Молодёжь—ждёт этого. Молодые люди хотят серьёзного разговора. Им нужны наши ценности. Они отзывчивы на слово.

Глобализацию мы ощущаем на себе—по тому, как она стирает нашу родовую память. И мы так этому поддаёмся, что приходишь в ужас, как легко это получается. Унификация проявляется не только в праве доступа к цивилизационным благам, в возможности уехать-приехать… если наша плотская жизнь и облегчена сейчас, но… наши предки, дагестанцы, жили в ужасных условиях. В камнях, в пещерах… аскетизм и суровость были естественными условиями жизни. И при этом создавали мощную культуру. Каждое село—уникальная культура. Настолько высока была тяга к прекрасному. А сейчас мы выстроили огромные дворцы. Столько тщеславия! Как будто забыли, как жили наши предки. Откуда эта страсть, неутолённость потребления? Разрушительная страсть. Если мы не будем смотреть в глаза прошлому… а мы не смотрим, потому что стыдно смотреть. Прервавшуюся связь времён мы должны восстановить. Таким словом, таким делом. Чтобы это было неотвратимо. Наверное, слово имеет такую силу.

Я ещё думаю о том, насколько велик потенциал русской литературы. Она меня потрясает всё время. Ну вот что такое нынешний радикализм? Если бы мы так же гениально прочли роман «Преступление и наказание», как гениально он был написан! Не было бы почвы для ваххабизма! Потому что это одна и та же идея. Они идут на убийство якобы во имя святой идеи. Проблема цели и средства. Но если её перестрадать, пережить вместе с героями литературы… она даёт эту возможность! То мы имели бы уже какую-то устойчивость, нравственный стержень… детям нужно давать что-то вроде антивирусной программы. Сюжеты, технологии, исковерканные образы — всё это хлынуло отовсюду. Раньше мы знали, что вот это можно, а это нельзя. Плохо ли, хорошо ли, но какая-то система координат была. Постмодернизм, с одной стороны, хорош: он даёт пристанище всему, всему — крышу над головой. Всё можно, ты свободен. Но это и страшно. Особенно для молодёжи. Мы как-то ориентируемся. А молодёжи кажется, что всё это имеет право на существование. Стирается грань между добром и злом. И здесь наличие множества информационных потоков сбивает с толку. Раз всё это существует, значит, оно нормально? И заглушаешь в себе голос совести и идёшь на то, что притягивает. Кажется, наверное, оно допустимо. А литература — это и есть ориентир. Особенно всё-таки русская литература. Никуда от этого не деться. Это антивирусная программа, которая помогает сохранить некую точку отсчёта, откуда можно судить: вот это приемлемо и до какой степени это приемлемо. Даже своя собственная, родная культура — в своих истоках, а не в том, что сейчас тиражируется под видом культуры. Псевдокультура сейчас заполонила всё. И телеэкраны, и всё, что хотите. Когда наш великий композитор Ширвани Челаев приехал из Москвы и предложил своё выступление на телевидении — хотел рассказать о своей новой работе, — ему сотрудник телевидения сказал: слушайте, мы на вас потеряем 200 тысяч рублей. Нет, реклама же идёт в это время. Всемирно известный композитор! Почитаемый везде. У нас в Дагестане его мало кто знает по-настоящему. Современная культура народа, по сути, вытеснена. Мы не знаем тех людей, которые сегодня определяют наш имидж в мире.

Героическое вообще как ценность уничтожается! Я как-то спросила в библиотеке «Как закалялась сталь». Этих книг нет. Их было велено списать! Дефицитом стали книги Островского. А как их из программы можно было убрать?! Ведь это же факт истории!

Как «Молодую гвардию» можно было убрать? Ведь это книги, которые формировали поколения! То есть героическое — отброшено как ненужное...

И ведь это везде! Даже на уровне личного общения, в блогах... господствует стилистика осмеяния. Вот это нормально — пересмешничать, иронизировать. Ирония, конечно, прекрасна. Но когда остаётся только ирония, только стёб... это уже страшно. Мы должны были переболеть этой болезнью в начале 90-х. По закону маятника — нас далеко отбросило. Но уже пора и уравновеситься, найти меру. Понятно, что кому-то очень нужно, чтобы меры не было. Опять раскачивается беспредел.

И как хочется удержать, убедить, что это гибельный путь! Ведь и для этого нужна великая русская литература. Она помогает разобраться. Я как-то выступала в Политехническом институте. Я рассуждала о каких-то внутренних вещах, о жизни... И молодой человек подошёл после этого и сказал: знаете, у нас мозги закипели, так это хорошо! С ними нужно разговаривать о главном! Серьёзно. Радикалы же разговаривают с ними примитивно и тупо. А у молодёжи есть тяга к героическому. У молодых есть жажда смысла жизни. И эту жажду увлекают в свои сети ловцы душ.

Записала Марина Саввиных
Коктебель, 15 сентября 2012

Владимир Алейников

Святая гора

Словно узел

Необычным пусть вам приснится
Этот вечер,—его ли нет,
Если страсти тесны границы
И доступен желанный свет?

Ненасытный и неминучий,
До чего ж ощутим простор!—
То-то щедр для обиды жгучей,
То-то скрытен и впрямь хитёр.

Навестил я сторон немало,
Навидался такого там,
Что единожды въявь бывало—
А потом разбирался сам.

Нарекли меня так—владею
Миром, созданным только мной,—
Не о нём ли ещё радею
Посреди темноты степной?

Щурит очи судьба-неясыть—
Знать, премудрости вдоволь в ней,
Чтобы удаль могла не сглазить
И на убыль уйти грозней.

Через годы по тихим водам
Твой челнок проплывёт, мечта,
Чтоб забытым искали бродом
То, что складкой лежит у рта.

Не о том говорю, что зримо,
Не о том, что на ощупь спит,—
Оттого-то оно даримо
Только тем, чьи сердца скрепит.

Удержу ли я, одержимый
Постиженьем любви в веках,
Символ связи нерасторжимой,
Словно узел, в своих руках?

● ● ●

Не думай, что никто тебе не внял,—
Ты слышал сам и вздохи, и рыданья,—
Но сколько лет продлится ожиданье,
Кто может знать?—того никто не знал!

А годы шли ступенями морщин,
Беседуя с тобой необъяснимо,—
И если был всегда ты рядом с ними,
Корить грешно—и нет тому причин.

Что сделать мне, чтоб, песни вам отдав,
Открыть вам всё?—и, душу растревожа,
Пусть будете и приняты, и вхожи
Туда, где я давно был сердцем прав.

Так соловей весеннею порой
Вдруг замолчит и слушает молчанье—
Не ищет в нём хвалы иль обещанья,
Но, как слепой, прощупывает строй,

Но, как немой, разглядывает звук,
Чтоб выразить, дыша невыразимым,
Всё то, что в мире невообразимом
Чуть ближе к тайне,—там сердечный стук,

Лишь там она, Божественная глубь,
И высота чем дале, тем светлее,—
И он поёт, желая и жалея,—
И песнь его с твоих слетает губ.

Там светло

Там светло от лампы полусонной,
С непривычки режущей зрачки,
Позабытой в гуще невесомой,
Чтобы сад заполнили сверчки.

Там темнот разбросана проказа—
И следит без отзвуков мольбы
Хризопраз прищуренного глаза
За капризом странницы-судьбы.

Там на хорах, эхом наделённых,
Отоспаться птахам не дано,
Потому что в шорохах зелёных
Им, пернатым, счастье суждено.

Позади оставлено былое,
Впереди забрезжило ещё,
Точно полночь вязкою смолою
Пропитала зябкое плечо.

В полумгле, расплёснутой угрюмо,
Окажусь—и, словно сам не свой,
Удивлюсь египетскому Хнуму,
Человеку с козьей головой.

Ты откуда взялся издалече,
Не истлевший образ божества?
Без тебя в заоблачье не легче,
А в заречье грезишься едва.

Ты ответь, запутаннее листьев,
Отчего, как руки ни тяни,
Бьётся сердце, горести исчислив,
И ненастье прячется в тени.

Ты открой папирусов сиротство
Над иссохшей схемою пустынь—
И, вкусив напиток превосходства,
В безысходной скорби не покинь.

И поверь, что в муках окаянных,
Где источник страсти не затих,
Будет запах лилий безымянных
Средоточьем таинств золотых.

И скажи мне: что такое слава—
И дождёшься ль в мире похвалы,
Если ветер жестом костоправа
Выпрямляет гибкие стволы?

Слышен хруст пред осенью, спешащей
На поруки искреннее взять,
Пронизавшей тропкою шуршащей
Голубого лада благодать.

Там тепло—на то и полыханье
В деревах, растущих у дорог.
Там светло—на то и осыпанье,
Чтобы свет дыханию помог.

Воскресая в огне

I.

Многих дней облака проводив,
Поначалу не дрогнет рука—
Но почудится новый мотив
И затронет, коснувшись слегка,
Чтобы в музыке зримой опять
Находить предугаданный ключ,—
А лета не умеем считать:
Весь их путь—точно солнечный луч.

II.

Многих обликов помня черты,
Не рассеяньем живы сердца
Посреди мировой темноты,
Где в колодце не сыщешь лица,—
Но проклюнется слово-птенец,
Уподоблено юной звезде,—
И, как эхо венчальных колец,
Отзовутся венки на воде.

III.

Многих взоров храня волшебство,
Мы смиреннее были не раз,
Чем теперь, осознав торжество
Осязаемых розами глаз,—
И в слезах, закипевших рекой,
Столько будет ещё доброты,
Что приди и меня успокой
Посреди роковой красоты.

IV.

Многих песен постигнув залог,
До скончания века щедры,
Мы судьбе не стирали порог,
Но зажгли в неизбежном костры,
Чтобы, вещим простором дыша
У реки, что и впрямь глубока,
Пить, как равные, лишь из Ковша,
Провожая на юг облака.

V.

Многим звёздам подвержены въявь,
Очевидцами славными быв,
За венками не ринемся вплавь—
Кто из нас не сгорал, горделив!—
Но всегда, воскресая в огне
И в любви обретая приют,
Жил, как Ангел, в родной стороне,
Пел, как птицы пред утром поют.

Из Витаутаса Брянцюса

Ода рябиновой крови

Славословья начального слоги
вашей крови горячими каплями
в эту оду с высот упадут;
ваши гроздья—мониста багряные—
обожгут, пробудят, растревожат
целомудренной девы грудь,
прикасания этого ждущей,
как рождения своего.
Ветры Севера кронам вашим
дикий звон принесут издалёка,
что, подобно закатному зареву,
до зари в наших взорах блуждает…
О рябины, неужто вы родились
из блаженного ожидания?

Да, поистине свято цветенье
в дни, когда на ветвях дружелюбных
защебечут вовсю свиристели,
как и вы, румяно-пестры,
прилетевшие именно к вам
на весёлые празднества свадеб;
и тогда упадают вниз
ваши ягоды буквами алыми
и на песни, и на вино,
чьё броженье пьянит погреба,—
им цыганки, ведуньи лукавые,
грудь пронзившее чувство свободы
по глоточку разделят на всех
в час обряда сплетения рук…
О рябины, неужто вы родились
из реки с именами любви?

Ваши корни каждою ночью
воскресенья надеждой живы,
ибо надо к цветенью грядущему
хоть устами во сне дотянуться
перед самым затменьем очей,
что окажется столь же мучительно-ярким,
как любое из многих начал,
или, может, не будет уже никаким,—
отпылав безмерною страстью
и засыпана пеплом холодным,
наша кровь, сгущаясь, твердеет
в сердцевине древесных жил.
О рябины, смогли бы родиться вы вновь
из поющего сердца людского?

Защитное слово ветрам

О мои молчаливые ветры—
вы, пассаты, бризы, муссоны,
и сирокко, и все другие,—
вы, рождённые в небывалых,
первозданных своих страданьях
иль тугим крылом буревестника,
или смерчем, сверлящим небо,
где из поднятого над миром
золотого венка бытия
осыпаются лепестками
световые годы-скитальцы,—
бесконечные отголоски
непостижной сознанью вечности,
что раскаялась так нежданно.
Пусть сгорают в ней без остатка
все моря изумрудно-жемчужные,
имена позабывшие наши,
но зато уж в который раз
целовавшие лица до боли;
о попутчики наши добрые,
о лазутчики чьи-то злые,
о разбойники страшные,—все,
по морям безудержно гнавшие
можжевельника запах смолистый,
отдалённый младенческий смех,
в исступленье защекотавшие
небольшой кораблик надежды,
петли страха с маху набросившие
на поникшую сразу же шею
задохнувшейся птицы моей,
трепетавшей недавно в полёте,
в грозной бездне мольбу о помощи
утопившие бессердечно,—
о, скажите мне: будет ли вас
кто-нибудь, хоть один человек,
так любить, как люблю вас я,
днесь застывший на притягательном,
презираемом берегу,
где таится в свежих следах
плач седеющего ребёнка?..

* * *

Временами, порывшись как следует
в трезвой собственной памяти,
удивляешься несказанно
поведению странному жизни,
убеждаясь, насколько права она,
сразу всё человеку вручая:
целомудренное касание
робкой первой любви,
заставляющее уверовать
в бесконечную тайну
красоты, пронзающей сердце,
навсегда, покуда ты жив,
разъярённые штормы, SOS,
обречённость кораблекрушений,
голубеющих карт широты,
по которым вприпрыжку
босиком пробежишься,
боль неизведанную мужскую,
что стекает с тебя постепенно,
словно кровь по стенкам мензурки;
но зачем же потом
забывает она человека,
уступая его невозможной рутине,
так разительно схожей с цветущей
сонной августовской водой
в зарастающем ряской пруду
невозвратного детства,
из которого вряд ли поднимутся
колобками памяти нашей
доводящие нынче до слёз
симпатичные головы
мокрых котят?

Полуночный блюз

Руки твои белые отныне,
словно корни редкостных растений,
берега реки соединяют —
ненависть и вечную любовь;
пыльной тайной ящиков почтовых
до сих пор жива на свете моль —
люди же, по чудесам тоскуя,
в треснувших находят зеркалах
отраженья грустных лиц своих,
свечи в изумлении роняя,
ждут, покуда возвратится свет,
выгнанный порогом в щель дверную
иль сквозь прорезь скважины замочной, —
и, синоним имени любви,
сядет в кресло рядом с утешеньем.

Запрудить, быть может, реку мыслей,
мечущуюся в мирской пустыне
в поисках единственного слова,
осудившего знакомых и друзей;
оправдать, быть может, темноту
и людей, что в ней спокойно дремлют,
с трепетом недавно лишь глядевших
в щель чужих расшатанных дверей,
что отгородились в огорченье
от того, что всё-таки узрели,
странствующей зыбкою стеною
предрассветного тумана — сна,
к сожаленью, так и не увидев,
как пред именем бессмертным на коленях
одиночество дежурит их.

Владимир Алейников

Вокруг самиздата

Окончание. Начало в «ДиН» №№ 3–5 / 2012.

Ночь. Грань века и года.
Речь.

Наверное, ода.

Вслед за словом, за звуком, за взглядом, с этим светом, встающим с утра, с этим садом,—а что с этим садом?—с ним давно побрататься пора,—прямо в бездну, за тонкую стенку, прямо в невидаль, в топкую мглу, где, сдувая молочную пенку, настроенье сидит на полу, в ненасытную эту воронку, где ненастье глядит в зеркала, вместе с эхом—за веком вдогонку, прямо в осень—была не была!

…Самиздат.

Звезда самиздата.

Она взошла для меня в октябрьском небе, после Покрова, осенью шестьдесят четвёртого. Взошла—чтобы указать мне духовный путь, чтобы сохранить меня на всех перепутьях, дорогах и тропах земных. До её появления надо мной двигался я куда-то вперёд и вверх интуитивно, после—уже осознанно, ведомый ею, повсюду с нею, на свет её. Так было, так есть—и, конечно же, будет,—я знаю.

Тогда, уже вечером, в час, когда за окном темнело, вдруг позвонил мне Губанов. Голос его—звенел:

— Володя, привет! Это ты?

— Конечно же, я. Здравствуй, Лёня!

— Ты меня слышишь?

— Слышу.

— Хорошо меня слышишь?

— Да.

— Завтра Хрущёва скинут!

— Откуда ты знаешь?

— Знаю.

— И всё-таки?

— Мать сказала.

Сведения исходили от его матери, работавшей в ОВИРе. Там, надо полагать, о многом знали наперёд.

Впрочем, пообжившись в Москве, довольно скоро я понял: просто—страна у нас такая, особенная, сама по себе, из сказок Афанасьева, с волшебной системой оповещения,—ещё и событие не произошло, а о нём все уже знают заранее.

Но тогда я не на шутку разволновался.

Какие перемены грядут? Что будет с нами?

Ясно было: начинается новая эпоха.

Был тихий тёмный вечер в октябре.

Возможно—как затишье перед бурей.

Возможно—как предвестие зимы.

В моей коммунальной комнате на Автозаводской горела настольная лампа, волнами плескалась негромкая музыка из старенького приёмника.

Внезапно я ощутил—зов.

Что это было? Что вело меня? Не объяснить.

Ещё звучал в телефонной трубке губановский голос—но уже смутно доносилось до меня содержание сбивчивого Лёниного повествования о чём-то сугубо московском, для него, возможно, и важном, для меня же второстепенном и не больно-то интересном, характерного для него, тогдашнего, молодого, энергичного повествования, в котором певучие, акающие, полуплачущие интонации смешивались с задиристыми, заковыристыми словечками в озорстве подростковом рискового дворового сорванца,—и присутствие смысла другого, изначально высокого, ясного, стало вдруг для меня очевидным—там, вдали,—но и где-то рядом, прямо здесь—и повсюду, в каждом, полном веры, любви, надежды, неизбежном, земном, юдольном—и небесном, поскольку с небом связь души бесспорна,—мгновенье, за которым встаёт горенье и ведёт за собой даренье духа, света, пути и дома, ну а с ним и речи моей,—и я уже знал, что делать.

— Лёня,—сказал я Губанову,—давай поедем с тобой в Переделкино. Прямо сейчас.

— Куда?—удивился Губанов.

— В Переделкино. Что, непонятно?

— Зачем?

— К Пастернаку.

— Что?

— На могиле его побываем.

Лёня помедлил секунду. Всего лишь. И тут же сказал:

— Я всё понял. Едем! Вдвоём. Немедленно! Слышишь? Едем!

—Где встречаемся?

—Где? В метро.

—На «Киевской»?

—Да. Кольцевой. Посередине зала.

—Во сколько?

—Давай в восемь тридцать. Успеешь?

—Успею. Идёт.

—Ну, я тогда выхожу.

—Я тоже.

—До встречи?

—До встречи!

Я оделся—и выбежал из дому.

По дороге, подумав, что это нам пригодиться может, купил в магазинчике продовольственном две бутылки вина, сигарет.

Быстро дошёл до метро. Спустился по эскалатору вниз, к поездам. И вскоре, в заполненном пассажирами, летящем вперёд вагоне, вовлечённый, с ним вместе и вместе со всеми людьми, в движение, как и все, отражаясь в стёклах оконных, зеркальных, тёмных, и думая о своём, ехал на встречу с Лёней.

Странно всё-таки—для меня—было думать о том, что завтра предстоит. Сегодня Хрущёв—самый главный в стране человек. Начальник. Гонитель искусства. Властитель. Практически царь Никита. Лысый, горластый. Башмаком стучавший в ООН. Формалистов громивший нещадно. Вот и мне пострадать пришлось из-за ненависти его к новизне в поэзии, в живописи. Обошлось. Видно, Бог миловал. Но досталось, впрочем, изрядно. Помню, помню. Статейки в газетах. Проработки во всяких инстанциях. Неприятностей целый воз. Эх, да что там!—всякое было. Есть Хрущёв—сегодня. Пока что. Ну а завтра—его уже снимут.

Сегодня какое число?

Пятнадцатое октября.

И я обо всём, что завтра только произойдёт, этак запросто, по знакомству, почему-то знаю заранее.

До того, как сами события произошли. Чудно!

Тут любой человек удивится: почему это—именно так? И откуда идёт удивление? Где исток его? Где начало?

Но в Москве, как успел я понять, всё бывает, решительно всё,—и такое, что всем потом не покажется, кстати, мало.

Видно, город главный таков. Стольный град. Над семью холмами, над бесчисленными домами, вместо чести витает—весть.

Да и люди живут в нём—разные. И незримая грань меж ними, если вдуматься и всмотреться чуть попристальней, всё-таки есть.

Кто—не ведает ни о чём и понятия не имеет о таком, что незримыми нитями и с людскими судьбами связано, и с судьбою всей нашей страны, о таком, что, пожалуй, давно уже называется коротко—знаковым.

Ну а кто-то—прекраснейшим образом обо всём—неизвестно какими то ли тропками, то ли путями, из разряда подспудных, внутренних, но таких, по которым спокойнее в этой жизни повсюду ходить,—благо, слухи у нас, как правило, под собою почву имеют неизменно,—осведомлён.

Как бы то ни было—даже я о грядущем загодя знал.

Мы с Губановым встретились—там, где назначена встреча была, в середине зала, в метро. Поздоровались. Оба мы были напряжёнными почему-то. Состояние было таким, будто там предстояло выполнить боевое задание некое. Или, может, на что-то решиться непривычно серьёзное, важное. Или—сделать какой-то шаг, пусть один всего, но существенный. Но какой? И зачем? И куда? Мы не знали ещё. Но—чуяли, что куда-то шагнём сегодня, безоглядно и широко. Может, сразу же—в новизну? Может, в область, где всё же сбудутся наши чаянья и мечты? Может быть, навстречу грядущему? Ну а может быть, на мучительный, но единственно верный путь? Мы не знали. Но состояние было нашим—на кромке, на грани, за которой начнётся нечто небывалое, да такое, что сравнить его будет не с чем, и подобий его не будет, и ему аналогов люди никогда уж не подберут.

Мы прошли на платформу. Там дождались электрички своей. И она подошла уже вскоре. И зашли мы в вагон—и там, в герметичном, полупустом и унылом пространстве, присели на скамейку возле окна. Так устроились мы, по привычке. За окном рокотал вокзал, мельтешили огни, звучали объявления о прибытии и отбытии поездов. Электричка тронулась с места, набрала постепенно скорость, вырываясь из круга столицы на простор Подмосковья, за город. За окном разливался вечер темнотой своей, желтизною придорожных рощиц неброских, глубиною далей лесных. Мы смотрели в окно—и молчали почему-то. Мы были—в пути.

Мы знали о том, что завтра предстоит. Весть об этом пришла в этот вечер ко мне от Губанова, а к нему—от его матери, ну а к ней—ещё от кого-то, и так далее, по цепочке, по людскому, всегда достоверному и вернейшему, телеграфу, без всяких там передаточных аппаратов и проводов, на словах, по-людски, по-простому, но слова эти—много значили. Мы—с усилием, правда,—оба понимали, что так всё и будет.

Но—было ещё и другое. Нам не верилось. Ну, не очень-то в чудеса информации верилось. Почему? Да как объяснить?

Как-то очень уж просто всё получалось. Без всякой таинственности. Без малейших признаков нужного, ну пускай хотя бы желательного, не глобального, нет, попроще, поскромнее, много не требуется, но зато с ним появится нечто интригующее, театральное, из миракля, из действа, зрелищного и чудовищного, возможно, посолиднее лучше, да ладно уж, не в солидности, в общем-то, дело, пусть неброского, без особой выразительности, да пусть, наконец, какого-нибудь, потому что, по всем статьям, нужен он, вот и всё, хоть тресни, захудалого драматизма. И тем более — без трагедий.

Мы ехали в Переделкино, на могилу поэта. Ехали к Пастернаку. Так было принято в те года — навещать поэта.

Ночь была, куда ни взгляни, беспросветная ночь, да и только, ночь повсюду и ночь везде, ночь сплошная, — так мне казалось. Но, конечно же, это была никакая не ночь, а просто — слишком тёмный, довольно поздний подмосковный октябрьский вечер.

Мы с Губановым говорили — и молчали. И в перепадах то внезапного и сумбурного, по наитию, говорения, то нежданного и глубокого, по чутью, возможно, молчания — возникало и возрастало необычно сильное, тягостное напряжение, и за ним — состояние несколько взвинченное, будоражащее и душу, и сознание, — то состояние, что предшествует не событию самому, но его приходу, ожидаемому вот-вот, состояние — предстояния: перед тем, что сбыться должно, — и его до сих пор я помню. Состояние — перед гранью. Новой гранью. В который раз. Не преддверие. Проницанье: в глубь эпохи — духовных глаз.

В Переделкине грохот проезжающих мимо станции электричек и поездов дальнего следования разом пропал, будто его просто-напросто взяли и вычеркнули.

Бескрайняя темнота и бездонная тишина, как молчаливые сёстры, возникшие, словно в сказке или во сне, мгновенно, перед глазами нашими, проводницами странными шли рядом с нами вначале, чуть позже — впереди, на какой-нибудь шаг, а потом потеряли вдруг очертанья фигур человеческих, растворились в осеннем воздухе, где-то близко, и стали понятиями — темнотою и тишиной.

Было не просто тихо, в прямом значении этого слова, точней — состояния этого, в мире, в природе, но ещё и глухо, тревожно.

Голоса наши стали гулкими, а потом, по мере удаления от станции, обрели непривычную звучность.

Сосны толпой безмолвной обступили нас, и стволы их высились, разрастаясь, отдаляясь, множась, дробясь, приближаясь почти вплотную и отшатываясь, качаясь, то здороваясь, то прощаясь, точно боль сквозь них прорвалась.

Мы добрались до кладбища.

Было темно. И даже не просто темно, а как-то очень уж мрачно черно, глухоманно, тревожно, пустынно.

Горели в округе — сквозь темень и сквозь глухомань — леса. Пылали — жёлтой, оранжевой, ржавой, багряной листвой, факелами, лампадами, кострами, сплошными пожарами, — леса, перелески, рощи — наверное, всё Подмосковье, да и то, что скрывалось за ним, простиралось за ним, уходило всё дальше, туда, в темноту, на четыре стороны света, вовлекая в горение это всю природу, а с ней и людей.

Неподалёку вечной свечой теплилась и мерцала древняя, патриаршая — диво дивное — церковь.

Только и вспоминалось: «И тихо, так, Господи, тихо, что слышно, как время идёт».

На могиле поэта мы были — одни.

Вообще, казалось, одни, на земле, в целом мире — одни.

Мы оба, взволнованно, сбивчиво, говорили и говорили.

О чём? О том, что, наверное, начинается что-то новое, небывалое в жизни нашей.

Чего нам ждать обоим — от него, от этого нового?

Каким оно явится нам, наше будущее, уже скоро, прямо завтра, с утра пораньше, чтобы стать настоящим нашим?

А потом оба мы задумались — и довольно долго молчали.

Мы решили выпить. И — выпили.

Помянули вдвоём поэта.

Выпили мы — за нас, таких, каковы мы есть, с дарованиями своими и, даст Бог, достойными судьбами, за свершение замыслов наших, за поэзию, за призвание, за грядущее — наше, общее, но и в то же время — для каждого, сокровенное, очень личное, потому что нельзя иначе — только личное в речи русской и становится общим в грядущем для людей, которым поэзия в жизни их как воздух нужна.

Мы пили не только вдвоём — пили и с Пастернаком, — смеялись, плакали оба — и звали, звали его.

Он пришёл. Он, конечно, пришёл.

Мы курили — вместе, втроём.

Говорили — вместе, втроём.

Как не вспомнить было тогда: «…пока я с Байроном курил, пока я пил с Эдгаром По…»?

Так всегда бывает с людьми, которые не умеют, а вернее всего — не хотят, вопреки наветам и злу, в этой жизни, на этой земле, в мире, в яви, и в мире внутреннем, в мире собственном, созданном ими, в чудотворстве своём и творчестве, в просветлении, в таинстве, в празднестве, в детстве, в сказочном волшебстве, с мировою душой в родстве, да и в зрелости, даже в старости, став друзьями добра и радости, почему-то вдруг умирать.

Мы вдвоём тогда—поклялись.

Что за клятва это была, всё—в душе, и конечно же—тайной это было долгие годы.

Но теперь—уже можно сказать.

Мы поклялись в дружбе и верности, поклялись оставаться самими собою в любых обстоятельствах жизненных, какими бы там они в дальнейшем ни оказались, поклялись мы сберечь и продлить дыхание речи русской.

И тогда удивительно чистый, ясный, неизъяснимый звук всем естеством своим, каждой клеточкой тела, хребтом, осязанием, зрением, слухом различил я в осенней вечерней, полной чар и даров, тишине.

Обращённый к душе моей, звук этот был началом той музыки мироздания, в которой, издревле и навсегда, всё сущее взаимосвязано, в которой нет пауз ненужных и бесполезных пустот, а есть только это вот вечное жизнетворное, благотворное звучание, обещание новых дней, только свет и любовь.

Я поднял к небу глаза.

Надо мной, над моей головою—сияла вверху небывалая, таинственная звезда.

И связь свою с этой звездою—осознал я тут же, мгновенно, всей душой и уже навсегда.

Высока, свободна, прекрасна, глубь и даль привычно раздвинув, темноту от себя отодвинув, в откровенье своём пристрастна, как над баховским звучным клавиром, над судьбою моей, над миром, над Словом, над гранью Числа горела она, светла.

Пролетел слишком низко, так низко, что, казалось, навис он прямо над нашими головами, большой, вначале как будто надвигающийся на нас, а потом тяжело начинающий заваливаться всей массой, наискось и по кривой, за кромку дальнего леса, постепенно и неудержимо исчезающий там, за ней, со всем своим гулом, рокотом, со всеми своими сигнальными разноцветными бортовыми пульсирующими огнями, невидимый, но, тем не менее, всеми нервами, не иначе, ощутимый вверху самолёт.

В небе ярко горела звезда. Над юдолью земной. Надо мною. И знал я, под нею стоя—осенней давней порою,—что это за звезда.

...Что же с нами творилось тогда?

Мы то сидели, вроде бы и вместе, но как-то осторонь, отрешённо друг от друга, то вдруг бросались, охваченные странными, смутными предчувствиями ещё неведомой нам, пугающей, притягивающей, долженствующей сбыться завтра, предрешённой новизны, зачем-то—наземь, или вдруг откидывались: я—в своём закутке, Губанов—метрах в двух от меня, съёжившийся, в комочек сжавшийся,—навзничь—и лежали, глядя в тёмное небо, на сырой, холодной земле, среди листьев и венков, рядом с пастернаковской могилой.

Тишь и глушь смыкались вокруг.

Тьма смолою влажной густела.

Ветви сосен вздрогнули вдруг.

А звезда—всё горела, горела.

И оба мы, словно опомнившись, разом встали с земли.

Постояли вместе, в молчании,—под звездой в высоте. И ушли.

Вокруг—были только леса, были просто леса—так мне чудилось, так мне виделось, так это было,—и кричали, кричали поодаль, унося в темноту, в неизвестность, сквозь пыланье листвы, электрички.

И ещё была—тишь. Тишина.

Тишь и глушь—без конца и без дна.

И в стороне от кладбища, близко, в реальной жизни, в яви, в единстве с правью,—не просто виднелась, но как-то пронзительно ощущалась церковь Преображения Господня.

Шестнадцатый век. Тоже—горение. Больше: сияние.

Духа присутствие. Дом его. Храм.

Что-то звало нас—живущее там.

И мы—разом, одновременно,—ринулись туда.

Мы молились, чтобы всё было хорошо.

Как умели, так и молились.

И мольбы наши—были услышаны.

Так мне думалось. Так мне верилось.

Так мне виделось. Вглубь и ввысь.

Вдаль и в боль. Вперёд и насквозь.

Всё—явилось. И всё—сбылось.

Я не был пьян. Какое там! Да и с чего? Вино вином, но дело было совершенно в ином.

Переживал я какой-то особый подъём.

Ощущение было, что вновь я перешагнул некую важнейшую для меня грань.

Я молчал—и было такое чувство, как перед словами чьими-то, свыше, наверное, раздавшимися, для меня, для души моей, для судьбы:

«Да говори же! Время пришло твоё. Говори!..»

В молчании мы возвратились в столицу.

Молчаливо—кивнули друг другу.

Молчаливо—расстались.

Молчаливо—в разные стороны—разъехались по домам.

...Ранним утром—толпы возле газет за витринными стёклами, сдвоенное фото новых правителей, крик, смех,—газеты, распроданы, рвут из рук, метро бурлит,—газеты, «Правда», вытащенная из автоматов и расхватанная, машины с газетами,—

я сорвался с постели, и выбежал на улицу, и бежал, не веря ещё, утром, пораньше, чтобы успеть, пока не увидел всё.

Потом — стало всё спокойно. Спокойнее — не бывает.

Всем — вроде бы наплевать. И на новости, и вообще — на всё, на что только можно, спокойным будучи вроде бы, сразу взять да и плюнуть.

Ничего как будто и не было. Хоть и слишком уж многое — было. И, видимо, вскоре — будет. Многое. Впереди.

Все живут себе и живут. Повсеместно. Здесь и повсюду. Как ни в чём не бывало. Вроде бы. А на самом-то деле — ждут. Но чего? Да кто его знает!..

Ранним утром, вместе с газетными новостями, с людским возбуждением, со всеобщей взволнованностью, взвинченностью, с пересудами, гаданиями о том да о сём, с надвигающимся в упор серым, тусклым, неясным, точно перепачканным типографской чёрно-серой краской, с бегающими глазами, озадачивающим неопределённостью днём — действительно началась новая эпоха.

...И нет его, прощанья. Только — жизнь. Дыши, дыши, жестоко улыбайся и говори. Ты знаешь, что сказать. Мне рифмы надоели. Терпеливость всегда со мной, но — ком в груди моей. Чья музыка, чьё слово в этой муке? Ну что тебе поведать в этот раз? Благословишь, вздохнёшь — а дальше снова разглядывать и полночь, и округу — и понимать. А голос только крепнет, всё нарастает. Я скажу: постой, ну, оглянись!..

Вот и оглядываюсь.
Больше того: вглядываюсь.
Вдумываюсь. Вслушиваюсь.
Мало ли что — там!..
<...>

Когда я в середине шестидесятых подружился с Наташей Горбаневской, она брала у меня стихи и не просто читала их, а перепечатывала. Говорила, что так привыкла, что, перепечатывая сама, она лучше усваивает тексты.

Осенью шестьдесят пятого я закончил книгу «Лето 65» и впервые читал её Губанову.

Происходило это в знаменитой и спасительной тогда для меня, сызнова предоставленной мне для временного жилья знакомыми ещё по Кривому Рогу добрыми людьми, Герасимовыми, комнате на Автозаводской.

Здесь прошлой осенью, по существу, и зарождался СМОГ.

Здесь вели мы с Губановым долгие свои беседы с глазу на глаз — о поэзии и обо всём прочем.

Здесь перебывало немало московского творческого народу — и до сих пор кто-нибудь из них да вспомнит это моё пристанище: окно во всю стену, стол, несколько стульев, два старых топчана, платяной шкаф, складная ширма — вот и вся нехитрая обстановка.

Но что-то в этой комнате было магическое, притягательное — то, что стягивало сюда людей.

Трудно это выразить.

Наверное, было это, скорее всего, ощущение относительного покоя, отъединённости от городской суеты, — вроде и совсем недалеко от метро, но — осторонь, в глубине пустых и тихих дворов, — и ещё, конечно, манила сюда знакомых возможность чувствовать себя здесь совершенно свободно, то есть почти воля, моя независимость от их московского, семейного, квартирного уклада с неминуемыми для молодости сложностями и всяческими, осаживающими излишнее время, родительскими и соседскими, приёмами и мерами воздействия на творчески настроенную молодёжь.

Здесь присутствовал дух — вот что было важнее всего.

И знакомые это — чувствовали. Их тянуло сюда отовсюду, хотя я и делал периодически попытки уединиться.

Срабатывала, разумеется, и привычка. Всем хотелось — общаться.

О, это общение тогдашнее наше! В кипении, в бурлении, в завихрениях его высветлялось, выкристаллизовывалось нечто серьёзное, неповторимое, то, живое, органичное, стойкое — и в жизни, и в писаниях наших, — многое из чего представляется мне ныне поистине драгоценным.

Но уже тогда осознавал я и преимущества, и явную пользу сознательного уединения — что вскоре и стало у меня образом жизни.

А комнату на Автозаводской — вовек не забыть мне. Многое — именно здесь началось.

Итак, я пригласил Губанова послушать новые мои стихи.

Он явился в назначенное время, минута в минуту.

Был напряжён, даже насторожён. Видно было — ждал чего-то нового для себя, и наверняка — серьёзного, а потому и напрягался, и ревновал отчасти, заранее, хотя норовил марку держать, виду особо не подавать, что нервничает, — да куда там! — всё это было написано на его лице.

Я достал переписанную от руки книгу, причём сразу заметил, что Лёня так и впился глазами в эту довольно-таки большую стопу обычной бумаги для пишущих машинок, простой бумаги, на которой привык я записывать свои тексты.

Уже настроившись на чтение, принялся я читать стихи, одно за другим.

Лёня, настроившийся слушать, был, как говорится, весь внимание.

Я читал стихи, увлёкся.

Но иногда искоса поглядывал на Лёню — как он слушает.

По мере чтения матовый цвет его лица сменился необычной бледностью, глаза разгорелись — их жемчужно-серый, чуть голубоватый цвет как-то поблёк, вытесненный расплёснутыми, расширенными, донельзя увеличившимися зрачками, ноздри его раздувались, как после долгого бега.

Минут через сорок он, почти задыхаясь, хрипло вымолвил — нет, скорее взмолился:

— Володя! Постой!

Я прервал чтение. Спросил его:

— Что с тобой? Случилось что-нибудь?

Лёня, тяжело дыша, не сказал, а выдохнул:

— Старик! Подожди. Дай передохнуть.

Он совершенно по-детски, одновременно наивно, растерянно и доверчиво, посмотрел на меня и признался:

— Столько музыки — уши болят!..

Музыки души и времени в стихах действительно было вдосталь.

Я отложил рукопись в сторону. Не всю ведь книгу читать! Ещё успеется, начитаюсь.

Как умел, постарался успокоить разволновавшегося Губанова. И это мне вроде удалось. Он уж за сердце хватался.

Пришлось извлечь из сумки бутылку российского полусладкого, которую мы вдвоём и уговорили на удивление быстро. Причём Лёня вначале залпом выпил полный стакан и жадно закурил, облегчённо откинувшись на скрипучую и шаткую спинку стула, и только потом уже пил вино не спеша, небольшими глотками.

Постепенно Губанов пришёл в относительно ровное состояние.

Однако несомненная ошарашенность услышанным — иначе и не выразишься — сказывалась в его поведении.

Мол, ждал, конечно, чего-то хорошего, но чтобы такое услышать, да на таком уровне, да в таком количестве — тут и в самом деле занервничаешь.

Он механически сцеплял и расцеплял свои длинные, гибкие гипсово-белые пальцы. Спохватывался, пытался даже засунуть руки в карманы брюк. Но ладони его опять взлетали в воздух, сплетались, стискивались, и в движениях их было что-то от мечущейся птицы.

Он с размаху вдавливал недокуренные сигареты в пепельницу, и под напором его нервической энергии пепельница подпрыгивала на столе, а сам стол, довольно устойчивый, глухо скрипел.

Он не знал, куда девать не только руки, но и глаза, — и взгляды его то устремлялись куда-то за окно, во двор со старыми, стоявшими рядом с домом, высокими деревьями с кое-где удержавшейся на покачивающихся ветвях, отчаянно жёлтой, иногда тронутой багрянцем, уже прихваченной ночным морозцем, напоминающей трепещущие флажки, упрямой, но обречённой на осыпание листвой, то обращались на меня — и я читал в них невысказанные слова потрясения, и понимал, что тяжеловато ему такое переживать, и говорил о чём-то совсем простом, не имеющем отношения к творчеству, словно успокаивая его, чуть ли не убаюкивая, — и он несколько успокоился наконец, стал дышать глубже, ровнее, и чёрные уголья зрачков сжались, глаза потеплели — Губанов приходил в себя.

Была у меня, помимо рукописи, и самая первая машинописная перепечатка новой книги, в двух экземплярах.

Один из этих самиздатовских машинописных экземпляров, на больших листах, второй, но очень хороший, чёткий, дал я Губанову с собой, на прочтение.

— Почитай книгу с листа! — предложил я ему.

Он сразу согласился, что это вот — дело.

Мигом завернул мою книгу в газету, соорудив этакий плотный свёрток. Сунул свёрток за пазуху. И заторопился с уходом: надо, мол, уже отчаливать, пора, — книгу он дома внимательно почитает.

Ну, надо так надо.

Я проводил его до двери. Мы попрощались. Закрывая дверь коммуналки, я услышал, как быстро топочут вниз по лестнице губановские башмаки.

Нетрудно было представить, как Лёня выбегает из подъезда, пересекает двор, ныряет в арку, заворачивает за угол, оказывается на улице и движется вдоль чугунной решётки сквера, вдоль полуоблетевших деревьев за этой решёткой к метро, — небольшой, но крепенький, целенаправленный, слегка сутулящийся, в своём сером пальто, со свёртком, в котором — книга моя, за пазухой, — потом, нарушая правила, перебегает улицу на красный свет светофора, по дороге успевает закурить, оказывается у входа в метро, швыряет окурок наземь, толкает плечом тяжёлую входную дверь — и с разбегу врывается вовнутрь, в подземелье метрополитена, в неторопливое движение эскалаторов, уносящих пассажиров, стоящих на их ступеньках то поврозь, то случайно сбитыми стайками, на длинные плоскости перронов с их гулом, ропотом и шарканьем бесчисленных подошв, и вот уже подходит поезд, и Губанов, так же, как и всегда, с налёту, с повороту, врывается в вагон, состав срывается с места, с грохотом набирает скорость — и в чёрном оконном стекле отражается бледное Лёнино лицо...

Через несколько дней я зашёл к Алёне Басиловой, Лёниной жене.

Первое, что увидел, — свою перепечатанную на больших листах бумаги книгу, лежащую посреди низкого столика, за которым обычно мы пили кофе и курили, и все предметы — чашки, пепельницы, спичечные коробки, блюдца, рюмки — были отодвинуты далеко в стороны, моя книга была — в центре внимания.

Губанов, задумчивый, необычайно серьёзный, малоразговорчивый, то подходил к окну, за которым грохотал на Садово-Каретной движущийся непрерывными потоками днём и ночью транспорт, и закуривал, то присаживался в углу, глядя сквозь стены куда-то вдаль.

Алёна налила мне в старую фарфоровую чашечку крепкого, сваренного по-турецки кофе — а варила она его замечательно вкусно.

— Всё думает, думает, — шепнула мне она, кивнув на Лёню, — записывает что-то, в рукописи твоей помечает.

Я покосился на перепечатанную свою новую книгу, к которой сам ещё привыкал, полистал немного страницы.

В самом деле, везде на полях возле текстов стояли загадочные Лёнины значки, пометки, а возле некоторых стихотворений отчётливым его почерком — каллиграфически, с нажимом, только перьевой ручкой, только чёрными чернилами, как всегда любил он писать, — выведено было: «Гениально!»

Для Губанова это было вроде как — «одобряю!» или «разрешаю!».

Перешагнуть барьер соревновательной, жгущей, прямо-таки детской ревности было ему трудновато.

А потом он и сам снова начал писать — и появилась поэма «Козырь», и циклы новых стихов, — и он ожил, воспрянул.

Импульс творческий пришёл к нему — из моих стихов.

Свойство у них есть такое — побуждать людей к творчеству.

Жизнетворность. Свет созидания.

В самиздате — явная самобытность. Посмотрите-ка на внешний вид этих перепечатанных книжек, на то, как они сделаны, «изданы». В них виден был характер каждого «самиздатчика», почерк его, лицо. Самиздатовская книжка — тоже ведь изделие, результат некоего труда, больше творческого, нежели механического.

Вспоминаю аккуратно, на четвертушках бумаги, перепечатанные книжечки Наташи Горбаневской, пронумерованные экземпляры, с подписью автора, надёжно сброшюрованные, в плотной обложке. Бережный подход к делу, само внимание, сама сосредоточенность. Тексты, хоть и напечатаны через маленький интервал, читаются хорошо, потому что экземпляры вовремя перекладываются новой копиркой. Любо-дорого глядеть.

Наташа Светлова — та не забывала подчёркивать: «Копирки не жалею. Через каждые четыре закладки — сменяю». И действительно, книжки у неё получались — загляденье. Вот оно, отношение к работе. Да ещё при наличии хорошей машинки. Долго у меня хранились самиздатовские томики Мандельштама, подаренные ею, покуда не затерялись в семидесятых, в неразберихе моих мытарств, вместе с частью временно оставленных на хранение в каком-то из московских домов моих бумаг.

А вот сборники Генриха Сапгира, перепечатанные тоже на четвертушках бумаги, но уже не почтовой, не хрустящей и полупрозрачной, как у Горбаневской, а плотной, белой, интервал здесь самый большой, потому и бумаги на перепечатку уходит больше, но чего её жалеть, сборники получаются толще, солиднее, тексты мечутся размашисто по листу, соскальзывают на другие листы, чтобы вдруг оборваться, а за ними нарастает уже новый текст. Другой подход, другой самиздатовский почерк. У Сапгира — движение изнутри, из сборника, противоположное самиздатовскому принципу Горбаневской, где ощутимо движение вовнутрь, к тексту, к сути каждой книжечки, — сапгировские тексты прямо вырываются из сборника, словно стихи так и просят, чтобы их услышали с голоса: у Генриха это всегда замечательно получалось — читать свои стихи вслух.

А вот — Питер, и в нём — Володя Эрль, тощий, рыжий, ужасно серьёзный, и если эрлик — это кто-то из русской мифологии, и если «эрл» в его псевдониме, возможно, от гётевского Лесного царя, Эрлкёнига, то в питерском самиздате Эрль, основатель своего домашнего издательства «Польза», — просто король. Любовно, сверхстарательно, аккуратнейшим, педантичнейшим образом перепечатанные им сборники, в которых абсолютно всё — расположение текста на странице, количество знаков в строке и так далее — взвешено, обдумано, рассчитано, иногда с карандашом и линейкой в руках, — продукция эрлевского издательства. «Сделано в Петербурге» — можно писать на них. Смело можно писать и другое: «Сделано с любовью». Оттого и перепечатанные им книжки — произведения искусства. И такое отношение было у Эрля ко всему, что попадало к нему в руки, что требовало сохранения. Помню июль семьдесят второго — и Эрля посреди июля, и наши с ним степенные беседы, и его ночную работу, когда он, высыпав в кастрюльку большую жёлтую пачку индийского чаю — все тогда говорили: пачка со слоном, — потому что на ней был изображён слон, — варил себе чифир, заливал его молоком, «чтобы не тошнило», и невозмутимо садился писать свой роман, строчка за строчкой, аккуратнейшим почерком, набело, ручкой с красной пастой. А потом делал перерыв — и что-нибудь мне показывал. За приоткрытой в комнату жены дверью, на полутёмной стене, являлся вдруг моему изумлённому взгляду великолепный холст работы Бориса Григорьева. Появлялись замечательно выполненные перепечатки обэриутов, которыми Эрль занимался.

Из угла бережно выносил он тяжёлую стопу превосходно оформленных работ Элика Богданова, лежавшего тогда в психушке и писавшего оттуда Эрлю удивительные письма, и каждая картинка Богданова была на отдельном плотном листе, с широкими полями, и, выполненная иногда в полёте, в озарении, всякими попавшимися под руку красками, смешанными с различными таблетками, придававшими красочному слою странную выразительность, фактурность, даже рельефность, действовала неотразимо. Эрль направлялся в другой угол, и оттуда возникали самиздатовские сборники его приятелей — Аронзона, Хвостенко, Миронова. Собиратель и хранитель самиздата, а ещё и творец самиздата, Эрль, чинный, даже степенный, прекрасно осознающий значение своей деятельности, сам любуясь сделанным, всё показывал и показывал мне образцы продукции своего издательства «Польза». Он сам был — сплошная польза, живая польза, — такой вот книжный, домашний, запасливый, загадочный питерский эрлик…

<…>

В шестьдесят седьмом году, аккурат к пятидесятилетию советской власти, горело Останкино.

Жгли старые деревянные дома, целые кварталы. Жгли, рушили, вывозили мусор. Высвобождалась колоссальная ширина, удручающая пустота ведущей к телецентру улицы Королёва.

Саша Морозов жил на этой улице — вернее, рядом с нею, а на Королёва жили его родители, — и это сейчас, в силу разных житейских причин, обитает Саша в родительской квартире.

А я жил неподалёку от него. Мы постоянно общались — и по-дружески, и по-соседски.

Занимался тогда Саша некоторыми своими филологическими изысканиями, коллекционировал стихи о кузнечиках, любил всякие чудачества.

Старое, обжитое, дачное, милое Останкино сжигали прямо у него за окнами.

«Разве мальчик, в Останкине летом танцевавший на дачных балах, это я, тот, кто каждым ответом желторотым внушает поэтам отвращение, злобу и страх?..»

Стихотворение это почему-то звенело в сознании.

«Перед зеркалом». Ходасевич. «Европейская ночь». Плач.

А сейчас? Ощущенье грани. Перед будущим. Перед прошлым. Перед чем-то невыразимым, но уже понятным душе.

Я пришёл к Морозову в гости. Мы поговорили о чём-то — видимо, представлявшем тогда интерес для нас обоих.

А потом решили пойти на пепелище, чтобы попрощаться с уходящим навсегда, с прошлым этого московского района, бывшего когда-то дачным Подмосковьем.

Грустное было зрелище. Бродя среди развалин, мы притихли.

Вот здесь был сад, а здесь двор, ещё остались скамейки, столик, но их тоже скоро сломают. Всё вывезут, уберут. На смену густоте — придёт пустота.

На нелепо, как-то беззащитно открытом пространстве одного из дворов, откуда успели вывезти обгорелые брёвна, остатки вещей, штакетник заборов и всё прочее, то, что составляло когда-то единое целое, было гнездовьем, ночлегом, приютом людским, кровом, оба мы почему-то замедлили шаг.

Вдруг подул ветер. Прямо к моим ногам плеснулась целая россыпь конвертов и выпавших из них бумажных листков. Я нагнулся и поднял один из них.

Ровные строчки, старательно, с нажимом, школьным пером, чернилами фиолетового цвета, приобретшего по прошествии долгого времени ржаво-золотистый отлив, аккуратными рядами выведенные чьей-то рукой.

Я вчитался. И за строками чужого письма встала передо мною чья-то жизнь, та, что была вот здесь, где мы стоим сейчас, что ушла навсегда.

— Посмотри, Саша, как интересно! — сказал я и протянул Морозову листок.

Он взял его и стал читать. И оторвался от чтения, и посмотрел на меня, а потом вновь на листок с письмом, будто прозрел что-то.

Не сговариваясь, мы начали ходить по двору и собирать эти письма. Потом, присев на скамейке, курили, разглядывали их.

— Ты знаешь, Саша, — сказал я, — это ведь книга.

Морозов, человек аккуратный, бережно сложил конверты и разрозненные листки в ровную плотную стопочку — и положил эту стопочку в сумку.

Стал накрапывать дождь. Накрапывать — неторопливо. Но — властно. И — непреклонно. Поэтому он и дождь.

Такой почему-то знакомый. Магически-тихий. Вкрадчивый. Такой бесконечно грустный. Откуда он? Что за дождь? Зачем он пришёл сюда? Конечно же, не случайно. Была в нём некая тайна. Была — живая вода. Пришёл он сюда — открыто. Не ночью пришёл, а днём. За грань минувшего быта. Чтоб встать над сплошным огнём. Чтоб встать — за чертою круга. Незримого? Как сказать! Пришёл — словно весть для друга. Чтоб нити судеб связать.

Ну прямо как в строке Артюра Рембо: «Над городом тихо накрапывает дождь», — которую Верлен поставил эпиграфом к своему стихотворению «Хандра».

Но что это за строка? Откуда она взялась? В немногочисленных сочинениях Рембо исследователи её не обнаружили. Может быть, она просто существовала именно так, в единственном числе, сама по себе?

И Верлен, Поль Верлен, знаменитый, с запозданием, правда, изрядным, всеми признанный, мэтр, кумир молодёжи, любимец общий, завсегдатай кафе парижских, почитателями окружённый, а на деле — старик бездомный, хоть и был он вовсе не стар, — и Верлен, бородатый, лысый, — Фавн? или Пан? — скорее, просто — божок, тотем, усталый, вконец измученный жизнью своей нескладной, в чём-то, возможно, и мудрый, но больше, пожалуй, наивный и, в общем-то, добрый, чистый, по-детски, как встарь, человек, в промежутке между запоями и бесчисленными болезнями, в пору просвета счастливого, по вспышке, вдруг, в озарении, вспомнил приятеля молодости, Артюра, падшего Ангела, — и музыку речи его сквозь время вновь услыхал, — и эту строку одинокую в своём одиночестве собственном, слишком уж долгом и горьком, вздохнув о былом, записал.

А может быть, это всего лишь осколок, «обломок правды давней», как говорил Боратынский, какого-нибудь забытого, исчезнувшего или даже уничтоженного стихотворения своевольного и непредсказуемого в своих поступках юного Артюра? Кто его знает!

Но строка эта странная, магнетическая, колдовская, одинокая, так и живёт. И Пастернак, переводя верленовскую «Хандру», перевёл и этот эпиграф.

И дождь Рембо всё накрапывал.

Над городом. Над Москвой.

Над безвременьем. Над эпохой.

Вот и сейчас он вышел откуда-то — из поэзии, из области слишком таинственной, — и стал потихоньку накрапывать…

На пепелище останкинском остро запахло гарью.

Въедливый, реже — вкрадчивый, чаще — с порывами ветра — быстрый, всепроникающий, неприятный, но торжествующий, обречённый какой-то, пугливый, но как будто бы санкционированный неизвестно какими силами и поэтому — так и присутствующий здесь, повсюду, везде, где можно, где нельзя, в любом направлении продлевающийся, остающийся, вопреки всему, что могло бы не пускать его никуда, но пустило зачем-то — и вот результат: нашествие гари, — вопреки непогоде, осени, расстояниям, здравому смыслу, вопреки душе и теплу, запах этот был страшен и грустен.

Расставание с прошлым в нём было непреложным фактом. Да, так. Расставание с прошлым. Прощание. Ни намёка — на обещания. Только то, что уже свершилось. Расставание. Навсегда.

Останкино, прежде — дачное. Потом, попозже, невзрачное, бок о бок с большими домами, туманное, деревянное, — сады, скамейки, ограды… И этому нет пощады? Выходит, что так. Останкино — всего лишь воспоминание? Для нас? Для других? Для всех? Всего лишь воспоминание. Уже? Почему? Так быстро? Кто знает! Верней, кто скажет? Лишь ветер всплеснётся, стихнет, уйдёт — и опять вернётся. Да тополь сухой качнётся — и сразу же вдруг замрёт. Замрёт и воспоминание? Кто знает! Верней, кто скажет? Сплошная игра в «замри». А может быть, в умирание? И всё-таки не игра, но явь, такая, как есть? Да-да, конечно же. Явь. Но — с призраками. С фантомами. С остатками уходящего минувшего. Мига? Мира? Наверное, мира. Прежнего. Такого уже не будет. С остатками света. Останкино. Останься! Прости. Прощай…

Дождь накрапывал. Пахло то прелью, то гарью.

Мы расстались — пора было нам по домам…

А через некоторое время написал Саша Морозов книгу — «Чужие письма». И она, эта книга, получила хождение в самиздате.

Жанр своей вещи Саша обозначил — этопея. То есть правдоподобные речи вымышленного лица. Ну, не знаю. Этопея так этопея. В филологе Морозове взыграло, видно, гуманитарное университетское образование, забилась этакая филологическая жилка.

Вообще-то письма — подлинные. Я их сам нашёл, сам — читал. И автор этих писем — вовсе не вымышленное лицо, а реальный человек. Хотя нетрудно сменить ему фамилию, кое-что домыслить и вот он превращается в литературного героя.

На мой взгляд, повесть Сашина — скорее, коллаж. Наподобие работ нашего общего друга Вагрича Бахчаняна.

Повесть нравилась многим из богемы. Сашино чтение повести слушали обычно с интересом. Сашу хвалили. Это было, конечно, приятно.

Появился на московском горизонте новый прозаик — Морозов. Хотелось рискнуть, хотелось издания. Но было это делом безнадёжным.

И Саша Морозов, по моему убеждению — родоначальник московского постмодернизма в прозе, поскольку вещь его была написана в шестьдесят восьмом году, до ерофеевской поэмы «Москва — Петушки», поскольку в ней содержались уже все предпосылки этого ныне широко обсуждаемого течения, махнул рукой на издание.

Он вроде бы написал потом ещё три повести, свою тетралогию, в которой «Чужие письма» были начальной вещью, но писания эти так и остались у него в столе…

Через тридцать лет после истории с найденными письмами, в девяносто седьмом, ведомый своим чутьём, которое никогда меня не подводило, я, не сказав ни слова Саше, на свой страх и риск, взял да и отнёс его повесть в журнал «Знамя». К «Чужим письмам» я приложил и другую Сашину вещь, «Общую тетрадь». Но знал твёрдо, что «Тетрадь» не возьмут, а «Письма» возьмут и напечатают. Так и вышло. Только тогда, когда мне сообщили из журнала, что повесть будут публиковать, я рассказал обо всём Саше. Представьте его состояние!

Но это ещё не всё. Когда повесть приняли к печати, я сказал своей жене Людмиле:

— А потом Сашину вещь выдвинут на соискание премии Букера.

И это сбылось. Морозовские «Чужие письма» напечатали в журнале и выдвинули на премию Букера, год спустя.

Тогда я сказал Людмиле:

— А теперь Саша Морозов получит Букера!

И он эту премию—получил.

Такие вот случаются истории, с нашим-то самиздатом.

<…>

Самиздат сыграл несомненную роль и в пробуждении интереса к философии и к религии. Именно он оказался той искоркой, из которой разрослось пламя религиозности людей из нашей среды. Я вспоминаю случаи, когда, из-за невозможности иметь у себя нужные книги религиозного содержания, мои знакомые, раздобыв где-нибудь на ограниченное время такой труд, усаживались за машинку и добросовестно его перепечатывали, целиком, каков бы объём его ни был, для себя и для товарищей.

Таков Игорь Ноткин, оригинальнейший человек, перепечатавший горы таких книг на машинке, взятой им напрокат, а потом приобщившийся к церкви, а позже, по внутреннему своему убеждению, повинуясь особому, услышанному им, голосу, по-своему отошедший от надоевшей ему советской действительности, ставший, как бы осмыслив и воплотив в жизнь давние настроения Юрия Олеши, профессиональным нищим, стоящим у храма,—о нём даже фильм сняли, который так и называется: «Игорь Ноткин—философ нищеты»,—я этот фильм по телевидению видел, Игорь там прямо звезда,—а ещё дорог мне Ноткин тем, что когда-то, в семидесятых, прислушавшись опять-таки к некоему голосу, говорившему ему, что делать, и ещё будучи, в дополнение ко всему, хорошим фотографом, снял он множество сцен из жизни нашей богемы, это сотни и сотни портретов художников и поэтов, быт, пирушки, труды нашего авангарда, и всё это ещё ждёт публикации, и когда-нибудь это произойдёт.

<…>

Осенью шестьдесят третьего года я жил в Москве, познакомился и подружился с людьми, которые дороги мне и сейчас.

Нет уже в живых Вадима Борисова, нашего Димы, Димки.

А сколько замечательных текстов давал он тогда мне, приехавшему из провинции и жадно набросившемуся на доступные наконец книги, на перепечатанные, тогда ещё числившиеся в запретных, тексты.

Весь Мандельштам, пять томиков стихов на четвертушках писчей бумаги, так называемое собрание стихотворений, и проза, и статьи, и даже варианты и черновики стихов и прозы, и письма поэта. Ходасевич, горькая «Европейская ночь». Обэриуты—Хармс, Введенский. Николай Олейников. «Огненный столп» Гумилёва. Ранний Заболоцкий—«Столбцы», «Торжество земледелия», тогда ещё не полностью изданные поздние вещи его. Цветаева—«После России», «Лебединый стан», «Вёрсты», поэмы, пьесы, проза. Конечно, Хлебников—и пятитомник, и старые издания, и перепечатки. Современные авторы. «Доктор Живаго» Пастернака, его «Люди и положения», письма, воспоминания о нём Гладкова. Неизданные стихи Ахматовой. «Синтаксис». И так далее, и так далее.

Я читал, читал, впитывал в себя всё это и многое просто переписывал от руки.

Всё это щедрым потоком шло ко мне от Димы Борисова.

Дима округлял глаза из-под очков, басил при разговоре, округляя и рот, сутулился, воодушевлялся, произносил целые монологи.

Тогда, в шестидесятых, он был нашим лидером.

Был он очень умён, очень образован, талантлив.

Писать он мог всё, кроме стихов. То есть стихи он тоже в состоянии был сочинить, и хорошие, и писал их при случае. Но он слишком хорошо понимал, что такое поэзия, кто такой поэт,—а потому и сознательно отстранялся.

Не только я могу сказать, что это был один из лучших людей России, но и многие его современники и товарищи.

Он был самостоятелен во всём и оригинален во всём.

Немало его словечек, мыслей, даже интонаций в речи прижилось среди нашей братии.

Был он человек подвига, жертвенный человек—и сам шёл напрямую, сквозь опасности.

Когда он, продолжая заниматься самиздатом, стал известным правозащитником, ему и его семье—а у него было четверо детей—немало пришлось хлебнуть горя.

Он—не сдавался.

Он работал за десятерых.

Блестящий историк, которому не дали защитить диссертацию, он вынужден был заниматься всякой подёнщиной, чтобы кормить семью.

Он писал за других рефераты, переводил, брался за любую работу—и совершенно не щадил себя.

От природы крепкий, здоровье своё он за десятилетия нервотрёпок растерял.

Он не любил говорить о болячках. Отшучивался, отмахивался.

Живейший ум его—жаждал деятельности.

Как-то я сказал ему совершенно серьёзно:

— Дима, ты для меня человек уровня Чаадаева.

Он, тоже очень серьёзно, посмотрел на меня и кивнул.

Он это—запомнил.

Невероятная, светлая его энергия была при нём до конца.

И заменить его теперь мне—просто некем…

Однажды, той же осенью шестьдесят третьего, сидя у Володи Брагинского дома, на Кутузовском проспекте, и переписывая «Поэму без героя» Ахматовой, со всеми вариантами, я подумал вдруг: а почему я не перепечатываю?

Рядом стояла Володина пишущая машинка. Я заправил в неё лист чистой бумаги и стал учиться печатать.

Освоил я это дело довольно быстро. Приноровился печатать двумя указательными пальцами.

И печатаю, приходится признаться, этими, уже слегка искривлёнными от многолетней работы, указательными пальцами—до сих пор. И этот текст точно так же перепечатываю. Вот что значит привычка—для меня.

Перепечатав полностью большой ахматовский текст, я уже не мыслил себя без пишущей машинки.

Вот тогда я и втянулся в самиздат, навсегда и бесповоротно.

Помню, как вернулся с занятий Брагинский. Он, самый старый друг и одноклассник Димы Борисова, учился тогда в Институте востоковедения.

Встав из-за стола, я с гордостью показал ему перепечатанный мною текст.

Володя улыбнулся и развёл руками:

— Ну вот, теперь дело пойдёт!

И дело пошло.

Благо, и у Брагинского было что перепечатать.

Он, наш Володя, похожий, как говаривал Дима Борисов, на апостола Петра, автор широко известной в самиздатовские времена, отличной, до сих пор не изданной прозы, крупный востоковед, автор множества книг, переводов, исследований по части своей Индонезии или Малайзии, профессор, доктор наук, давно живёт в Лондоне—а я по старинке вижу его перед собою, рядом, с глазу на глаз читающего мне свои рассказы шестидесятых,—и звучит, звучит, не исчезает никуда негромкий печальный голос его.

Самиздат—самообслуживание: а что делать было? Сами как-то справлялись, не впервой. Сами печатали, сами оформляли сборники, свои и чужие. Достал текст, прочёл. Нужен—перепечатал. Целые библиотеки составлялись из машинописного самиздата. В шестидесятых ещё редкостью были переснятые на ксероксе тексты. Ксерокс вошёл в обиход позже.

Мой киевский старый приятель, писатель Лёня Конызхов, сумел устроиться работать на ксероксе в семидесятых и снабжал переснятыми книгами всех друзей и вообще чуть ли не полгорода. Но кто-то донёс—и Лёня уже в начале восьмидесятых оказался в тюрьме, пребывание в которой выдержал стойко; в лагерной библиотеке случайно оказалась единственная его книжка рассказов «Там у нас, на Куренёвке», вышедшая в Киеве с помощью Виктора Некрасова,—она-то его и спасла: на зоне его зауважали. «Своего» писателя—там берегли.

Самиздат—самоотречение: вот вы попробовали бы!

И самоопределение: это—моё, буду делать так.

Самоотверженность: ещё бы!

Самоотдача: сколько сил было на это положено!

Самооценка: это неминуемо.

Самопожертвование: немалой кровью окроплён сей алтарь.

<…> Старинный мой друг ещё по Кривому Рогу, Слава Горб, Вячеслав Феодосиевич, запорожской крепкой породы, стержневого ума человек, вначале переехал с Украины в Москву. Жил он в коммуналке, но у него—было своё жильё, было где притулиться, отдышаться. А у меня, посреди скитаний и бездомиц, в семидесятых годах никакого угла не было. Периодически я приносил ему свои и прочие тексты, оставлял на хранение. Потом как-то стал забывать, где они, эти тексты, что где находится. Слава Горб переехал из Москвы в Киев. Важно сказать, что писал он замечательную прозу, пока что не изданную, и вещи его я высоко ценю и давно люблю. И вот, уже к середине девяностых годов, он, человек исключительной порядочности и чистой души, но медлительный, стал по частям привозить мне в Коктебель мои бумаги, оставленные когда-то, лет двадцать и более назад, мною у него, надёжного друга. Изумлению моему не было предела. В общей сложности эти бумаги занимали более двух вместительных рюкзаков. И среди них оказались тексты, которые я считал безнадёжно погибшими и невосстановимыми, и много ещё чего оказалось, что так помогает мне теперь в работе. Вот ведь как бывает. Поистине, самосохранение—себя, своего огня, духа прежних героических времён—в текстах, которые вернулись, живут, действуют.

<…> Вспоминаю наши с Сашей Величанским вечерние обсуждения некоторых текстов—у меня ли, в комнате на Автозаводской, с окном во всю стену, за которым густела пронизанная огнями темнота, у него ли, в квартире неподалёку от метро «Университет», где припасов на кухне было маловато, но всегда находилась чашка крепкого чаю или выпивка, а ещё—хорошие книги

и самиздатовские перепечатки. Как горели мы оба тогда написанным нами или прочитанным нами! Как жили всем этим! Как заводился, волновался Саша — и произносил вдруг лаконичную и полную смысла тираду о том, что особенно его поразило, и скулы ходили зигзагами на его лице, и проницательные, с колючими искорками, глаза его смотрели куда-то туда, за окно, будто видели там что-то важное для него, видели насквозь, и вот уже в спонтанной речи возникали неожиданно чёткие формулировки, и нервическая, взвинченная повадка его, напряжённость всей фигуры, худой, поджарой, жилистой, готовность ринуться вперёд, как перед бегом, как перед прыжком, сменялись собранностью, спокойствием, он закуривал и неожиданно улыбался: он понял что-то для себя. Но это была всегда лишь передышка перед новым рывком.

Самиздат — это самоустранение. Из официальщины. Из всего, что было чуждым, а из неё — в первую очередь. Я просто брезговал ею. Она была мне противна. Да и друзьям моим. Довольно долго у нас считалось дурным тоном, чем-то неприличным, если в печати появлялось стихотворение, принадлежащее перу кого-нибудь из общих знакомых, или прозаический текст, или даже статья. Мы не хотели работать на власть. Не хотели сотрудничать с нею. Помню, как иронически морщился Леонард Данильцев, говоря о своём знакомом:

— Ну что с него взять? Он ведь печатается!..

В этом было — всё. Отношение. Отторжение. Позиция. На тех, которые действовали по принципу «и нашим, и вашим», то есть и печатались помаленьку, и по инерции числились в неиздаваемых авторах, смотрели скептически. Жизненная установка, творческая установка у нас была просто железной.

Самиздат — самоутверждение: без этого нельзя. Самочинность — в пику подневольности. Своею волею занялся этим. Вот я, весь как есть. Что хотите со мной делайте — не отступлюсь.

Самиздат — путь.

Это как музыка Нино Рота к фильмам Феллини.

Вот я включаю проигрыватель — и со старой, заметно истёртой, отчасти, пожалуй, от времени, но больше, конечно, по самой простой и понятной причине, оттого, что часто, в охотку, год за годом, слушал её, неторопливо вращающейся гибкой чёрной пластинки — лёгкою птицей взлетает серебряное, волшебное, щемящее, чистое соло зовущей к себе, окликающей по имени, уводящей за собой в невозвратную, грустную, неизбежную, светлую даль, воскрешающей речь, вовлекающей в ритм, в движение, продлевающей путь земной и небесный, спасающей, отрешённо звучащей трубы.

Дорога. Дао. А дорога — это жизнь.

<...> Что за звёзды сияют опять высоко над Святою горою?

Чьи же слышу я там голоса?

Что за книгу читаю в ночи?

— Неужели ты думаешь, друг мой, что время — основное свойство Реальности? Нет, конечно. И мы это знаем. Ты поэт. Значит, призван к тому, чтобы выразить время своё. Что же это такое — время?

— Вот послушай!

— Вот прочитай!

И услышал я то, что услышать хотел. И открылась мне — книга. И я прочитал на страницах её то, что жаждал узнать. И потом — записал: «Время — это сама материя».

И представил себе окружность, на которой расположены три геометрические точки — прошлое, настоящее и будущее. И нарисовал это. Получился — рериховский знак. Знамя Мира.

Ты ищешь смысл бытия?

Говорилось ведь древними: «Познай самого себя — и ты познаешь Вселенную».

Было сказано предками нашими: «Человек — это вечный дух в вечном поиске своей вершины».

<...> В сентябре восемьдесят третьего года я, в который уж раз, вновь жил и работал на Украине, в Кривом Роге. Если и было у меня тогда, среди бесчисленных невзгод лихолетья, слишком обтекаемо именуемого нынче безвременьем, спасительное пристанище — так это родительский дом.

Пришло письмо из Москвы, от жены. Цепенея, с подкатившимся к горлу сердцем, перечитывал я дрожащие строки: «Умер твой друг Лёня Губанов...»

За окнами толпились деревья окрестных садов. По комнатам, вздох за вздохом, шелестел отдающий полынной горечью, искони пронизывающей естество древнего и вольнолюбивого моего края, степной ветер.

В этом доме бывал Губанов. Здесь его любили и помнили, привечали и понимали. Здесь звучали его молодые стихи.

И вот теперь человека не было. Что-то родное, привычное, огромное, важное — такое, чего и не выразить сразу, такое, с чем связано слишком уж многое в жизни, в судьбе, связаны годы, молодые и более зрелые, связаны встречи, события, равных которым нет, нитью незримою связаны души, и биографии, творчество, и вдохновение, и становление духа — всё, чем я жил, чем я жив, личное, вечное, точное, — связано свыше, наверное, — вдруг почему-то, бессмысленно, слишком жестоко, намеренно, — знать бы мне, а не догадываться: так по чьему же умыслу? — безвозвратно ушло.

Остались в мире — и сызнова, как и когда-то, в молодости, сразу пришли, и вспыхнули, и зароились в сознании, и зазвучали по-новому, гордо, трагично, празднично, волшебно, торжественно, яростно, обречённо, светло и властно,—только они, только они, губановские стихи.

Огромное, ещё не изданное собрание. Двадцать лет неустанного горения, взлётов, срывов, упрямства, тоски, возрастающей гордости, за которой всегда неизменно вставала верность своим идеалам, отчаяния, за которым неминуемо следовало вдохновенье, горенье, прозрение, воспарение к небесам, двадцать лет прорывов куда-то в неведомое, тех открытий, в которых—суть, тех наитий, в которых—путь, двадцать лет—на звук и на свет, пусть и вовсе не прямо, кругами, но зато уж—слово зовёт—с твёрдой почвой всегда под ногами—сквозь стихии—вперёд и вперёд, потому что знал он, куда в гуще мрака ведёт звезда, двадцать лет отстаивания собственных, личных, таких уж, какие были, но—его и только его, а не чьих-нибудь там, оправданных всей судьбою творческих принципов, личной, собственной, кровной, своей, не похожей на другие жизненной позиции.

«Под восторженной землёй пусть горит моё окошко…»

С Губановым мы подружились—мгновенно и накрепко, так, что не верится даже сейчас, что такое бывало когда-то, а ведь было, действительно было, потому что было, наверное, кем-то свыше так решено, и не быть не могло поэтому, и сбылось, и осталось редкостным, небывалым, пускай и временным, столкновеньем-оттолкновеньем, неким сложным объединением линий двух параллельных, может быть, судеб двух, биографий двух, душ, всегда окрылённых, двух,—в самом начале неповторимой осени шестьдесят четвёртого. Среди молодых московских поэтов не было тогда, пожалуй, человека известнее, самобытнее, ярче. Не было, должен сказать, дотоле, покуда на столичном горизонте не появились и прочие звёзды минувших лет. Но я говорю—о заре. А Губанов на этой заре—был звездою, и этим всё сказано. В предрассветном небе—сиял. Я приехал в Москву из провинции—и об этом сказали мне сразу же завсегдатаи всяких, в ту пору популярных, бесчисленных, шумных поэтических сборищ. Слава его—особенная, подчёркнуто неофициальная, но зато уж прочная,—зародилась уже в те дни. Он много и с превеликой охотой, трезво понимая, что это способствует его популярности, мгновенно возникшей и стремительно распространившейся моде на него, читал свои стихи—везде, где только предоставлялась такая возможность, и совершенно всем, без особого разбора, кто выражал хоть малейшее желание слушать его, из любопытства ли, по причине ли действительно серьёзной любви к поэзии, или же следуя правилам, общим для многих в столице, хорошего тона, всем, кто настроен был слушать его. Авторское чтение его воспроизвести невозможно, это был поразительный сплав какого-то дремучего, древнего, вовсе не ведической, не просветлённой, а именно языческой, первобытной, смутной, туманной, лесной, бесконечно глухой стариной отдающего плача и совершенно детского, беспомощного, наивного, доверчивого, смущённого лепетания, возрастающего, от низов до верхов, на высоких тонах обречённо дрожащего, боязливого, но и бесстрашного крика и едва различимого, тихого, робкого шёпота, вдруг выплёскивающейся откуда-то изнутри, из души, из биения сердца, из сплетенья набрякших, пульсирующих, кровью творческой хлещущих жил, возникающей столь нежданно, по чутью, по наитью, исподволь, и свободно, привольно, уверенно разливающейся вокруг, очень русской и очень чистой, с колокольцами, с перезвонами, с перебором струнным, с раскатами, в никуда и куда-то, в невидаль, развивающейся, разрастающейся, разлетающейся вдоль осени и на все на четыре стороны, в трансе, в ритме, в порыве, мелодии и немедленно завораживающего всех и вся, с монотонным таяньем, с недосказанностью и с тайною, с неким смыслом, открытым походя, позабытым тут же и сразу же воскрешаемым, чтобы помнился, чтобы длился, речитатива. Впечатление бывало оглушительным. Сравнивать было не с чем. Слушатели буквально обалдевали. И круг приверженцев губановских в очередной раз расширялся.

В годы нашей молодости наши стихи на удивление хорошо воспринимались людьми с голоса. Почему было именно так? Что за звук им хотелось услышать? Что за свет им хотелось—за звуком—в беспредельной ночи различить? Видно, время такое было. И такою была—поэзия. Не случайно она звучала—и спасала, и жить помогала. Не случайно она вставала—над страною, сквозь мрак и хмарь. И вставало за ней—вниманье. А за ним—порой—пониманье. Вот что было—всегда за гранью. На Руси—было слово встарь.

Орфичность поэзии Губанова, её естественное, не скованное никакими рамками существование в стихии речи—открывали счастливую возможность пластичной, многосмысленной, фонетически насыщенной структуре его стихов, их сочной, буйной плоти—и одновременно их одухотворённости, окрылённости—восприниматься и усваиваться окружающими свободно, без натуги; эти весьма сложные тексты, которые читаешь с листа с достаточным напряжением, становились как бы органической частью природы, мира, ибо, сами полные движения, поневоле участвовали в движении жизни.

Несколько позже начали своё триумфальное шествие по всей стране и списки губановских стихотворений и поэм. Число этих самиздатовских машинописных сборников, понятное дело, не поддаётся никакому учёту. Многовековая российская традиция—оказалась на редкость живучей. Отечественные, весьма образованные и очень разборчивые, читатели — давно приняли пришедшегося им по сердцу поэта. Да, впрочем, и не только они. За рубежом и Губановым, и созданным им вместе со мной содружеством СМОГ, а соответственно — и творчеством каждого из нас, вот уже более тридцати лет всерьёз интересуются и издатели, и исследователи. Стихи Губанова — живут, у них своя, никому уже не подвластная, жизнь. И надо лишь радоваться, если где-нибудь они оказываются зафиксированными на бумаге добротным печатным гутенберговским способом. Всем ясно, что русская культура — едина. Потребность в настоящей поэзии ощутима не только в России. На русском языке читают в разных странах. И, кстати говоря, почитают достойных авторов.

Безвременье вызвало расцвет самиздата. Достаточно было напечатать рукопись на машинке в трёх экземплярах и отдать её знакомым, чтобы в кратчайшие сроки число машинописных копий возросло в геометрической прогрессии. Все пишущие люди нашего круга к этому привыкли. Такой способ распространения текстов представлялся и закономерным, и разумным. Надежд на издание не было вовсе. Поэты же и прозаики много работали, духовно росли, как и их читатели; сам процесс такого взаимодействия, такого общения — был плодотворным, необходимым. Только сейчас, поначалу едва забрезжив, что-то вроде бы ещё смутно, а всё-таки высветилось с нормальными, не искорёженными редакторами и цензурой советских времён изданиями на родине. Изданы пока что лишь частицы из написанного в пределах бывшего отечества за несколько десятков лет, из серьёзной литературы. Пресловутая подводная часть айсберга ещё не видна.

...Сентябрьским, полным шелеста листвы, утром шестьдесят четвёртого в комнатке на Автозаводской, где я временно обитал, Губанов впервые прочитал посвящённое мне своё провидческое стихотворение:

«Здравствуй, осень, — нотный грот, жёлтый дом моей печали! Умер я — иди свечами. Здравствуй, осень, новый гроб. Если гвозди есть у баб, пусть забьют, авось осилят. Перестать ронять губам то, что в вербах износили. Этот вечер мне не брат, если даже в дом не принял. Этот вечер мне не брать за узду седого ливня. Переставшие пленять перестраивают горе... Дайте синего коня на оранжевое поле! Дайте небо головы в изразцовые коленца. Дайте капельку повыть молодой осине сердца! Умер я. Сентябрь мой, ты возьми меня в обложку. Под восторженной землёй пусть горит моё окошко».

Уже тогда, восемнадцати лет от роду, он точно предсказал месяц своей смерти, — я бы выразился резче: гибели. С абсолютной уверенностью говорил он, что проживёт тридцать семь лет. Так всё и вышло.

Когда сейчас читаешь его более поздние по времени стихи и видишь, как эта убеждённость, это осознание рока всё крепнут, обрастают подробностями, когда ощущаешь, что к смерти он был постоянно готов, что с трезвейшим пониманием неминуемого уложился в жёсткие рамки творческого двадцатилетия, что выложился весь, без остатка, что отдал поэзии все силы, всю душу, всю кровь, самоё жизнь, — становится не по себе.

Это не мистика, а дарованное поэту свыше умение видеть наперёд — лишнее доказательство правоты и весомости поэтического слова, провидческого, пророческого дара.

Вне всяких сомнений, у Губанова был не просто выдающийся талант. Абсолютно убеждён, что с моим мнением согласится множество достойных людей в самых разных уголках земного шара, на пространствах которого, а не только в границах России, живут и долго будут жить губановские стихи. Таких поэтов, как он, — такого ранга, дыхания, лирического напряжения, эпического размаха — единицы.

Двадцатого октября всё того же шестьдесят четвёртого года услышал я от Губанова ещё одно посвящённое мне стихотворение, весьма важное в его творчестве, — «В этом мире»:

«В этом мире пахнет крышами, мертвецами, гарью с тополя. И стоят деревья — бывшие, и царят — лицом истоптанным. В этом мире камень горбится, распрямляются в гробу. В этом мире мне приходится пять шагов несчастных губ! В этом мире, грубом, временном, всё сгорит, как в Божьих срубах. Покрестясь на лик приклеенный, нас, как вербу, к небу срубят. В этом мире кто-то кается — и, в сентябрь глаза роняя, злым настройщиком купается в недорезанном рояле. Что он хочет — лебедь красная, белый колокол истомы? Или маску? Или Пасху? Воскресение Христово! Я хожу к промокшим девам с грудью траурной резьбы, я кричу им: мажьте телом чёрный хлеб моей избы! В этом мире жрать мне нечего, кроме собственных затей, в этом мире участь певчего — только в сумерках локтей. Всё светлее... всё щекотнее из разбитых ртов корят. Где вы, баба прошлогодняя, муза русая моя? В этом мире вам не латано платье — вечер, платье — путь... Ваши пальцы пахнут ладаном, — как одеть вас, как обуть?!»

Посвящал он мне и другие стихи. Как и я ему — посвящал. Всего не процитируешь.

Первое из приведённых мною стихотворений публиковалось не единожды, с искажениями текста и почти без таковых. Здесь у меня — верный текст. Второе стихотворение, в числе других вещей большой губановской подборки, я опубликовал в третьем номере киевского журнала «Византийский Ангел» в девяносто седьмом году. Издание это, к сожалению, практически недоступно широкому читателю. А в нём—немало текстов, под общим названием «Круг СМОГа».

Поскольку речь у меня часто заходит о сентябре, приобретающем в губановской поэзии такой пронзительный смысл, приведу ещё одно Лёнино стихотворение, тоже—шестьдесят четвёртого года и тоже опубликованное мною в том же «Византийском Ангеле». Называется оно—«Я—скит»:

«Когда сентябрь в узлах тоски дымит лицом прококаиненным, я вам волшебен, словно скит над неожиданным малинником. О лес, лес, лес, замшелый мальчик, зачем ты лесть, как листья, нянчил, зачем не нёс ко мне тропинки, а ночью, когда снег пушил, восторженным сынком Тропинина глазел на живопись души? О, ропот первого «люблю»! О, робот первого «люблю»! Я скит, который во хмелю, я девок лапаю и бью. О, как скрипит моя монашка: ты нечестивец, замарашка! Я—инок, я—иконостас, но мне до лампочки лампады. Целуй меня, целуй и падай в святую прорубь серых глаз. Я знаю, ты ещё не убрана, но всё равно, сметая хаос, твоё лицо—как белый парус над головой моей поруганной. Знобит великой старой тайной—эпоха дёргает кольцо, чтоб приземлиться на крыльцо ещё непризнанной Цветаевой. Я руки белые кляну, когда они, теряя речь, горят в малиновом плену твоих недоумённых плеч. Когда они, от глаз мошенничая, смыкаются с другими вместе, моё лицо бредёт отшельничать, вынашивая план возмездия. О, чем измерить мне измену, когда, срываясь в мысли лисьи, я золотой души размениваю на мелочь почерневших листьев? Я знаю, скоро линька душ. А в ночь мне разбивают голову. Играйте туш… играйте туш за упокой такого колокола».

Пожалуй, не обойтись без ещё двух стихотворений. Оба они написаны в мае шестьдесят четвёртого.

Первое называется—«Ночь»:

«У меня волосы—бас. До прихода святых вёрст. И за пазухой вербных глаз—серебро, серебро слёз. По ночам, по ночам—Бах над котомками и кроватями, золотым табуном пах, Богоматерью, Богоматерью. Бога, мама, привёл опять наш скелетик-невропатолог. Из ненайденного портного вышел Бог—журавли спят. Спрячу голову в два крыла, лебединую песнь докашляю. Ты, поэзия, довела, донесла на руках до Кащенко!»

Второе называется—«Болезнь»:

«Живу в потрёпанной Калуге, меняю лето к алтарю. Меня цитируют хоругви, когда с монашенкою сплю. За красной изгородью рук болею я совсем по-чёрному. Меня укутывает слух и пеленает смех парчовый. Я в жёлтых сенях от простуд развёл костёр, и твой ушиб, подглядывая, как пастух, за табуном ночной души. Смеркается, все тучи в сборе. О, я сегодня тот, кто трусит с огромной свечки тихой боли снимать нагар горячей грусти. И с робостью ученика я—тот, который чает Веком растерянность черновика над захолустьем человека. Я снова с вербой в первом классе, раскрашен репкой мой пенал, он первый, кто на лень пенял. О, мне поклоны парте класть бы! Урок не сорван—так сорвут, соврут, что кровь в больных ушах. О, как тебя теперь зовут, моя сбежавшая душа? Садись ко мне на подоконник, не бойся, я тебя не трону. Я сам твой первый второгодник, чьи дневники никак не тонут. Я жгу себя, как жгут версту с малинником и бабьим лепетом, к ногам сдирая бересту смертельно раненного лебедя. Привет тебе, кончина чувств! О, мне дышать уже немного. Я смерти, милая, учусь. Всё остальное есть у Бога!»

Ну что тут скажешь? И это—лишь начальная губановская пора.

Почему-то становится модным, а на мой взгляд—инерционным, мнение о том, что стихи Губанова, дескать, неровные. Ну и что? При таком количестве текстов—несколько полновесных томов—это неминуемо, создание шедевров требует передышки.

Хотелось бы спросить у доморощенных снобов: а что прикажете делать со стихами Галактиона Табидзе? Шевченко? Блока? У классиков, написавших много, не всё равноценно, как ни крути. Суть здесь совершенно в другом: в единстве, цельности всего губановского творчества.

Ибо поэт всю жизнь писал единую, очень большую, предельно искреннюю, исповедальную, не имеющую аналогов книгу. Ибо страсти вокруг наследия Губанова не утихают. Ибо, давным-давно придя к своему читателю и без наличия печатных изданий, он ещё будет, уверяю вас, грамотно издан на родине, и неизмеримо возрастёт его известность, как и только увеличится его, Губанова, воздействие, влияние на современную поэзию.

Занятно, не правда ли?—тридцать с лишним лет все, кому не лень, из числа тех, у кого собственных способностей не так уж много, в нашей благословенной и густонаселённой стране, у всех на глазах, растаскивают губановские сокровища—его приёмы, ходы, тропы, лад, широчайший образный диапазон, интонации,—и усердно втискивают эти крупицы стихии в собственные, шаткие и невыразительные, версификационные построения, создаваемые отнюдь не на вдохновении, но расчётливо, вроде как на станке, иначе не скажешь!..

Губанов и СМОГ—понятия неразделимые. Морозным январским вечером шестьдесят пятого, в час важнейшей, исторической, как он выразился, встречи, одновременно и с налётом таинственности, и с приливом откровенности, Лёня мне первому рассказал о том, что для осуществления нашей общей с ним идеи—сплотить молодых поэтов, прозаиков, художников, создать творческое содружество—он нашёл точное слово. Слово это было—«СМОГ». Казалось, это было как нельзя более ко времени. В Москве собрались тогда многообещающие силы. Нужны были — выход, действия. Все стремились проявиться в должном масштабе, утвердиться, окрепнуть. Ещё длился несколько затянувшийся раскат последней волны хрущёвской оттепели. Мы все, в достаточной мере идеалисты, а скорее — просто из-за избытка чаяний, замыслов, ещё не осознавали, что вот-вот всё остановится, замрёт, что уже занимается бредовая заря брежневского безвременья, по-русски говоря — бесчасья, которая принесёт с собой столько горя, трагедий. В кратчайший, отпущенный нам судьбою, промежуток времени, перед тем как страну сотрясёт шоковая терапия вандализма, террора, нивелировки общечеловеческих ценностей, поругания человеческого достоинства, а потом захлестнёт мгла бессмыслицы и полулетаргии, за которой будет ощутим близкий общий распад, — мы всё-таки успели сказать своё слово. Расплатились за него — искалеченными судьбами, а некоторые и жизнью. Но это — позже. А в ту пору, по нашим представлениям, перед нами открывалось великолепное будущее, причём всё зависело только от нас самих. И СМОГ начал своё существование. Чингисхан знал, что говорил: если ты хочешь, чтобы мысли твои запомнили, — не ленись их повторять. Посему — повторяю. Сознательно. Упрямо. Чтобы запомнили. Главное в СМОГе — плодотворное общение творческой молодёжи. Наши постоянные встречи, чтение стихов и прозы, споры, задушевные беседы, открытия — были важны для всех. Приподнятость мыслей и чувств, жажда знаний — вот под какими знаками проходили эти бурные месяцы, покуда СМОГ дышал, действовал, покуда нас окончательно не задавили. Формирование характеров, утверждение авторитетов, умение совершать поступки — вот что происходило тогда. Число соратников, единомышленников — росло с каждым днём. Старшие представители тогдашней неофициальной культуры — поддержали нас, и сразу же. Что уж говорить о ровесниках! Студенческая молодёжь, да и вообще молодёжь, ищущая, энергичная, передовая, — считала нас своими. Так получилось, что именно мы стали выразителями её мыслей и настроений. Мы часто, очень часто, даже порою слишком уж часто, выступали с чтением своих стихов. Нас — ждали, нас — очень ждали. И мы — встречались с людьми. И — читали, читали, читали. Особенно мы с Губановым. Выкладывались всегда полностью. То есть — работали на совесть: и вдохновенно, и с трезвым пониманием всей важности событий. Но жертвенный наш порыв — был жестоко подавлен. Круг друзей — разомкнулся. Пришло — время долгих бед…

Леонид Губанов родился в июле сорок шестого года. Коренастый, ладно сбитый, подвижный, он казался живым воплощением клокочущей в нём энергии. Когда Губанов волновался или читал стихи, с лица его спадала обычная несколько тяжеловатая статичность, как будто он срывал разом маску. Серо-голубые глаза его распахивались доверчиво и широко, как бы излучая таинственный, идущий откуда-то из глубин язычества, ранимый, ясный свет. Позже под набрякшими веками поселились печаль, обида, недоумение, затравленность, ещё позднее — скорбь, твёрдое спокойствие, готовность ко всему.

Обаяние Губанова было чрезвычайно велико. Он мог надерзить, набузить, напроказить, но настолько искренним бывало раскаяние, что и прощение следовало незамедлительно, и недоразумение забывалось.

Он маялся один. Кругами колесил по Москве, по всем её кольцам — Бульварным, Садовым, — он был окольцован столицей, закольцован, как певчая птица, вечно — в кольце историй, событий, драм или бед. Изредка — не всегда, тогда, когда удавалось, когда находились средства, а лучше — ещё и попутчик, а ещё, разумеется, лучше — когда сразу и то, и другое, — вырывался вдруг из столицы, из колец её, из кругов её, — в города другие, и — дальше, ближе к солнцу, к теплу — на юг.

Наития, вдохновения — ждал всегда. Когда «накатывало» — исчезал, уединялся, — и появлялся у друзей со свежими вещами, читал их, чутко прислушиваясь к суждениям о новых своих стихах.

В пору СМОГа, которая для нас обоих началась гораздо раньше, нежели официально принято считать, и закончилась гораздо позже, опять-таки только для нас двоих, — он обычно читал всё новое прежде всего мне, как и я ему, — таков был уговор, правила игры, хорошее соревнование, если хотите. Доверялся он мне совершенно, доверие было взаимным.

Я помню всё — и когда-нибудь напишу о важнейшем, но некоторых тем сознательно предпочту не касаться — это не для любопытствующих, а только для двух наших душ, и пусть это остаётся неразглашённым.

Он помнил наизусть множество моих стихов, цитировал их, ревновал к своим, но очень ценил. Внимателен был к стихам Кублановского и всегда верно говорил о них, предсказав, кстати, дальнейший, столь обособившийся и сменивший ориентиры, путь его. Точно предсказал, что к середине семидесятых Саша Соколов станет писать хорошую прозу, — и это сбылось.

Губанова любили женщины — неистово, пылко, самоотверженно. Его романы возникали стремительно и вдруг прерывались, чтобы уступить место новым. Нежность же к Лёнечке, как все его называли, в покинутых женских сердцах не угасала.

Губанова берегли, как умели, друзья. Будучи вовсе не ангелом по характеру, он вечно попадал в переплёты, с ним всё время что-нибудь да происходило — ужасное, или нелепое, или комичное, или такое, чему и определения-то сразу не подберёшь. Он был суеверен. И не просто суеверен, а гипертрофированно, сверх всякой меры, без всякого удержу, везде и всегда, в любую секунду, где бы ни находился, что бы ни делал,—то пугался, то радовался, то терялся в догадках: да что же это такое?—а то и, невероятно мнительный, окружённый целым роем своих, особенных, примет, загадываний, знаков, символов, как будто пчелиным роем, так и виделся—в центре этого вихря, роения, сам волчком закручивающийся в центре своих наваждений, предчувствий, своих, очень личных, условностей, за которыми видел, наверное, незаметную для других, очень странную, зазеркальную, несомненную для него, фантастическую, но и будничную, непрерывную, пёструю, донимающую и тревожащую, но всегда, тем не менее,—зримую, ощутимую ежесекундно, с ним давно уже, видно, сросшуюся, им давно уже, видно, принятую без особых раздумий явь. Он был—фаталист. Сознательно бросал себя в сложные ситуации, чтобы пройти ещё одно испытание на прочность. Загадывая нечто про себя, вдруг, сорвавшись с места, с тротуара, бросался наперерез мчавшимся по шоссе машинам; держась за прутья балкона, повисал на руках на высоте седьмого этажа, а то и повыше; мог очертя голову ринуться в драку. Придя в себя, становился кроток, задумчив.

Разрушая все байки о якобы необразованности Губанова, свидетельствую, что был он как раз весьма образованным человеком. Он, пусть и не слишком усердно, не ежедневно, без всякой, конечно, прилежности, которой и в школе он не особо-то отличался, но зато—увлечённо, порывами, как-то даже восторженно, весь уходя в своё чтение, осознаваемое им как некое действо, весь, целиком, отдаваясь книгочейской, мальчишеской страсти, позабыв обо всём, обо всех, уединившись, запоем, очень внимательно, вдумчиво, целенаправленно, сосредоточенно, много читал. Великолепно знал русскую иконопись и фреску, западную и русскую живопись. Пусть не слишком уж глубоко, а скорее, согласно с каким-то своим настроением, а потом и с желанием вникнуть в существо увлекающей страсти, подумать, понять, а потом—изучая, пусть—то, что, наверное, совпадало с теми творческими частотами, на которых один он работал, со стихами его, со звуком их,—разбирался и в музыке.

Избранный им раз и навсегда независимый, вольнолюбивый образ жизни как нельзя более кстати подходил для необходимых занятий по самообразованию. И он дорожил свободой—для труда, для духовного совершенствования.

Издаваться на Западе, несмотря на всяческие, иногда и заманчивые, предложения, отказывался—верил, что издадут и на родине. Но издания зарубежные, разумеется, были—пусть и нерегулярные, хаотичные, клочковатые, без разбора, без всякой системы, по кускам, по частицам, по крохам, как обычно—неведомо где, и какими путями—кто знает, и всегда—некстати, с последствиями, о которых и вспоминать-то нынче слишком уж тяжело, и без всякой радости, праздничности, где-то там, совсем далеко, не увидишь, не прочитаешь, ничего не знаешь порой, где там что-нибудь появилось,—как в другом измерении, словно на планете чужой, в пространстве, в те-то годы непредставимом,—были, были,—за двадцать-то лет, со времён смогистских ещё, на чужбине,—были издания—без его, разумеется, ведома, точно так же, как и у прочих, никогда не бросавших родину, выживавших, как уж умели, на родной своей почве, спасавшихся только творчеством, только горением, верных речи, верных призванию, сквозь невзгоды к свету стремившихся, поредевших его друзей.

Поразителен провидческий дар Губанова. Примеров его точнейшего угадывания грядущего—сотни и даже тысячи. Очевидцев, свидетелей—вдосталь.

Губанов—это я тоже нередко совершенно сознательно повторяю—был прирождённым, именно прирождённым импровизатором. Таким, каков был импровизатор в пушкинских «Египетских ночах». Однажды в мастерской скульптора Геннадия Распопова, страстного, преданного Лёниного поклонника и старшего его друга, в один из вечеров, когда мы собирались там, в тепле, в покое, среди совершенно своих, по духу, по общей настроенности мыслей и чувств, чудесных, надо сказать, людей, незабвенных, светлых людей шестидесятых, той особой породы людской, которая и могла именно здесь, в нашей стране, и более нигде, появиться, потому что так было, видно, свыше, чтобы всем нам дышалось легче и свободней вместе, в единстве, не напрасно предрешено,—кто-то из гостей читал свою прозу, довольно унылую. И вдруг, в противовес только что слышанному, в некоем трансе, без единой запинки, стройно, живо, ну впрямь как по писаному, заговорил Губанов. Это была чистейшая, пластичная, оригинальная русская проза, только не записанная на бумаге, а просто—звучащая. Все онемели. Много чего всем приходилось видывать и слышать,—но чтобы такое!—такое было впервые. Губанов, полузакрыв глаза свои, сидя в углу, в сторонке, бледный, отъединённый от мастерской, от людей, вообще от всего, весь в себе, в речи, в слове живущий, взвинченный, напряжённый, точно звенящий, как струна, какой-то светящийся,—говорил, говорил, говорил. Импровизация продолжалась около двух часов. Магнитофонов тогда под рукой не было.

Как-то Губанов увлёкся сочинением сказок для детей, писал их прямо набело. Помню зелёную июньскую траву в саду снимаемой нами, двумя семейными парами, моей и губановской, не задорого переделкинской дачи, траву изумрудную, сочную, сплошь, густо, щедро усеянную сорванными ветерком с дощатого старого столика белыми, крупно исписанными листками с чудесными сказками. Где они, эти сказки, сплошь—волшебство, теперь?

Импровизировал Лёня и мелодии—на собственные стихи. Личность поэта отразилась и в выразительных рисунках карандашом и тушью, и в симпатичных, отчасти сказочных, с элементами наива и ясновиденья, лёгких, чистых по цвету акварелях, которые никогда не спутаешь с другими.

Самородок? Да пусть и так! Нас обоих в былые годы называли так—самородками; видно, слова другого не было, а вот это—кстати пришлось. Дворовый мальчишка? Уличный заводила? Вечный какой-то подросток—в жизни своей и стихах? Пусть и так. Всё его—при нём. А то, что был он талант стихийный, глубоко национальный, русский дух в нём был, свет особый,—невозможно никак оспорить. Слишком рано, на грани отрочества и едва начинавшейся юности, в небывало короткие сроки, состоялся он как поэт. И ведь надо же!—сразу же, вовремя,—он сумел заявить о себе, заявить, да так, что столица—изумилась и тихо ахнула: ну и ну!—самородок!—гений!—это он, конечно же, он!—здравствуй, здравствуй!—иди же к нам—как давно мы тебя ожидали!—и теперь мы тебя дождались!—вот и ты наконец пришёл!—как мы счастливы, как мы рады!.. И он, взбудораженный, юный,—ринулся—весь—навстречу публике,—обожателям, поклонникам, почитателям, всем, кто погоду делал, кто создавал мнение,—ринулся—в гущу самую, в бездну, в богему, в сутолоку—к славе своей, к драме своей, к гибели ранней своей... Голос его огрубился, несколько поохрип в хаосе и бессмыслице всех, раскрывшихся картами кем-то умело разложенного, внешне—вроде бредового, а на поверку—трезвого, пёстрого и заманчивого, мистического пасьянса. Был—российским Рембо. Стал—иным. Что же делать! Возраст. Годы. Невзгоды. Беды. Замкнутый круг. Но голос его—звучал. По тону, когда-то взятому, по свету, в нём сохранённому, его различали, вслушиваясь в гул неровный бесчасья.

Губанов стоит в ряду таких русских поэтов, как Кольцов, Некрасов, Клюев, Есенин, Павел Васильев, Клычков. Но его очень русское по духу творчество, в силу своей жёсткой привязанности к трудному времени, уже и какое-то иное, совершенно другой музыкой звучащее, и речью, связанной с прожитым им, отпущенным ему временем, которое мёртвой хваткой держало его, не давая ему возможности встать над ним, несколько отстраниться от него, чтобы видеть его по-особому,—но всё это мне ещё трудно выразить...

Как бы то ни было, был он поэтом—изумительного дарования.

...Какое-нибудь мурло, этакий тип, типус, бес, может быть—мелкий, а может—и покрупнее, провокатор, предатель—оптом—всех и всего на свете, лишь бы только ему как-нибудь в жизни пристроиться, злобствующий, завистливый, может быть—даже из нашей—в прошлом—честной компании, лживый и беспринципный, действующий по принципу гнусному: все средства для достижения цели подлой его хороши,—запросто может, предвижу, и даже довольно скоро, взять да и опорочить, грязью облить и Губанова, и прежних своих товарищей,—поскольку давно он служит, дьяволу душу продавший, мраку и разрушению, маразму, насилию, злу.

Такой вот герой охотно, с ехидством, с бесстыдством, с нахальством, за коим привычно прячутся его же слабость и трусость, с его самомнением липовым, с его лелеемой низостью, с крохой способностей, крохой, раздутой до безобразия, легко, этак походя, лихо, умело, смакуя подробности,—такое, поди, накатает, что имени нет ему,—и думать будет, небось, что вот, мол, он, махом одним, со всеми разом расправился,—поскольку он-то, в отличие от всех, кого он охаял, конечно же, сверхчеловек, а все мы—ну кто для него?—да так, эпизод и только,—и, следовательно, ему и врать, и клеймить позволено любого из тех, с которыми делил он в былые годы и скудную пищу, и кров, любого из тех, которые чистосердечно, искренне ему помогали, верили и даже наивно думали, что он человек, а не бес,—и, краем сознания всё-таки, видно, помня об этом, тем более он, особенный, как он считает, избранный, ожесточится, злобствуя, может, и в раж войдёт, всё потому, что враг он всем, враже, и другом не был он ни для кого, но циником—был, эгоистом—был, был расчётлив, без лирики, стал—неприличен, в жизни ли, в творчестве ли, в поступках ли, в сущности ли своей,—так почему же типусу, бесу—не накатать что-нибудь третьесортное, лишь бы читалось такими же, мелкими и продажными, жадными до подробностей нашего бытия,—к тому же надо учитывать, что сила уходит бесовская, и зло уходит всемирное, вместе с эрою Рыб,—и надо спешить, покуда ещё не пришла иная, с эрою Водолея, сила добра и света, которая типуса, беса разом перечеркнёт,—вот он и накатает опус, типус и бес, и отнесёт сей опус, ни секунды не медля, прямо в издательство, к бесам, дрянь издающим, к своим,—и те, разумеется, тоже незамедлительно, сразу, выпустят этот опус типуса, в виде книжонки мерзостной, дабы успеть им злу на земле послужить.

Предчувствую—так всё и будет. Всякое здесь, в России, бывает—в наши-то дни. Всё это—как бы время. Есть у него—как бы книги. Как бы герои. И даже—как бы сверхчеловеки. В как бы сверхчеловеках—ничего человечьего нет. Есть—как бы низ. А верха—духа, зренья и слуха, мозга людского — нет. И тем более нет всего, что — сверх человечьего верха. Света и созидания. Веры, надежды, любви. Радости, мудрости, счастья. Нет состраданья, участья в творчестве мирозданья. Вскоре простынет их след, кончится как бы время — сгинут сверхчеловеки. Все и вздохнут посвободней: слава Богу, что — так. В небо гляжу — и вижу: нету под ним Парижа. Русь есть — под русским небом. В нём — возрожденья знак.

…И насколько верны ведь бывают прозренья мои!

Но вернёмся в сентябрь, к нашей грустной и радостной яви. К общей прави. Для всех. Потому и зовут её — правь.

…И вот, в своём смятении и в горе, — давно, всё в том же восемьдесят третьем, в сквозном, пустом — без друга — сентябре, в разливах скорбных света золотого, решил я, по наивности своей, но всё же веря, что поможет это Губанову — хотя бы после смерти, преодолев неловкость, обратиться, сейчас же, напрямую, — к Евтушенко, и сразу написал ему письмо.

В бумагах моих сохранился его черновик. Вот моё давнишнее письмо:

«Многоуважаемый Евгений Александрович! В начале сентября нынешнего года в возрасте тридцати семи лет умер поэт Леонид Губанов. Только сегодня узнал я об этом — нахожусь в отъезде. И вот — пишу вам. Сами посудите: а кому ещё написать? Лёня при жизни очень верил в вас и говаривал, что когда-нибудь вы сделаете для него то, чего не смогут другие, и что произойдёт это довольно скоро.

Маленький фрагмент поэмы «Полина», опубликованный вами в «Юности»: «Холст 37 × 37, такого же размера рамка. Мы умираем не от рака и не от старости совсем», — уже обо всём говорил. Была это единственная губановская публикация за двадцать с лишним лет его работы в русской поэзии, и способствовали её появлению именно вы.

Я убеждён, что под этими моими строками, которые трудно нынче писать, поставили бы свою подпись все, кто знали и любили Лёню, его стихи, — а это добрых пол-Москвы, да и порядком наберётся ещё людей со всех концов страны.

Когда-то, осенью шестьдесят четвёртого года, когда Лёню забрали в психиатрическую больницу прямо в разгаре его великолепного творческого периода, а вы выступали на вечере поэзии в зале Чайковского, я передал вам на сцену записку с известием о невесёлом событии и просьбой навестить и по возможности выручить человека, и вы это сделали.

Теперь обращаюсь к вам ещё раз: сделайте что-нибудь для того, чтобы хотя бы небольшая часть стихов Губанова была опубликована, — вы в данное время можете больше, чем другие, — навестите уже не его самого, а его творчество — посмотрите, что написал он за эти долгие двадцать с лишним лет сплошной «психбольницы» своей сумбурной и порывистой жизни.

Написано им много, и среди вещей промежуточных есть настоящие шедевры, стихийные, истинно русские, есть свой мир — на мой взгляд, намного масштабнее и значительнее мира Клюева, — есть, при частой небрежности, тайна, откровение и глубина, каковых не так уж много у пишущих нынче людей.

Стихи его всё скажут сами за себя. Надеюсь, рукописи целы. Из написанного им вполне можно составить большую и серьёзную книгу. Пусть речь идёт сейчас хотя бы о двух-трёх публикациях, и то хорошо.

Губанов был очень значительной фигурой в поэзии шестидесятых годов — и, вовсе не печатаясь, оказал сильное влияние на многочисленных молодых стихотворцев. Работал Губанов неистово, постоянно был в напряжении. В последние годы он как бы «ушёл с горизонта», уединился, завёл было семью — а стихи и поэмы всё появлялись. В чём-то был он схож с Высоцким, недаром в своё время они мгновенно нашли общий язык. Но теперь — что говорить? Человек он был исключительно талантливый.

Вы поэт, Евгений Александрович, и стихи ваши всегда очень связаны с человеческими вашими поступками. И я твёрдо верю, что вы сумеете сделать что-нибудь решительное, важное, светлое памяти Леонида.

Желаю вам всего самого доброго.

Владимир Алейников.

29 сентября 1983 года».

Письмо я написал — и отправил. Ответа — не было.

Ничего, на что я так надеялся, — то есть евтушенковской помощи с губановскими публикациями — тоже не было.

И Губанова, друга, — не было. Но поэзия его — жила.

Жива поэзия — и в ней Губанов жив. Такой, каков уж есть. Чей дар — от Бога. Жива поэзия — и света в сентябре достаточно, чтоб вспомнить о былом и ясно вдруг увидеть: это — живо. Живёт — и всё тут. Существует. Есть. Звучит высокой музыкой былого.

…Вспоминаю зарю свободного книгопечатания.

Послесловия мои к изданным наконец книгам друзей — это, по существу, портреты людей, которых я давно и хорошо знал, творчество которых всегда было мне дорого — и остаётся таковым для меня в нынешние дни, на склоне столетия нашего.

Приведу здесь, пожалуй, некоторые из них.

О Юрии Кублановском.
(Книга стихов «Оттиск». 1990. Издание второе, исправленное и дополненное. Первое издание: ИМКА-Пресс, Париж, 1985. Издание осуществлено за счёт средств друзей автора.)

«В дни, когда возвращается друг…

Нет ни охоты, ни надобности оговариваться — через силу, понимая всю нелепость, даже чудовищность такой оговорки: приезжает на время. Ведь не «из дальних странствий возвратясь», как в неведомые нам мифически-романтические времена, этаким капризным и своевольным баловнем судьбы, навидавшись всякого, вдосталь помотавшись по миру и, конечно же, не на шутку стосковавшись по дому. Какая там романтика! Где она, идилличность, дозволенность ртутного перетекания, передвижения через условные границы? Наша эпоха — иная, скажем так, всё остальное — за этой инакостью, не нужны комментарии, опыт велик, и сейчас не до иносказаний, ибо правда былого и настоящего жива собственным светом.

На родину — не на побывку ведь, не в отпуск, не в роли туриста или «допущенного» до въезда, до пребывания в родных пределах лица. На родину всегда только возвращаются. Впрочем, с нею, несмотря на известные жизненные обстоятельства, и не расстаются — сердцем, душою. Дух един, несгибаем и вечен. Примеров светлого возвращения — при жизни ли, после смерти ли — предостаточно.

И Юрий Кублановский, принуждённый покинуть родину семь лет назад, не мыслит себя вне России. Говорю это прямо, потому что знаю: да, это так и есть.

Словно некое зеркало было разбито вдребезги тогда, в конце сентября восемьдесят второго, — да только не самим поэтом, а кем-то другим, вернее, другими, — разбито так, чтобы неповадно было, чтобы и осколков не собрать, чтобы как в темечко — сзади, негаданно, с маху, дабы рухнул вниз лицом в стёкла, в ошмётки целого, истёк болью и кровью и уже не встал, — но разбивали-то другие, вот и переиначилось жутковатое старое убеждение в семи годах несчастья, обернулось новым, трагическим, конечно, но исполненным крепости, гордости, честности здравым смыслом, — и встал человек, и стал ещё более осознанно жить, и — сказал. Ибо дарованную свыше речь — не отобрать, не убить, не спрятать.

И нынешнее возвращение поэта — обильными публикациями в отечественной периодике, изданными в зарубежье книгами и этой вот первой выходящей на родине книгой, наконец — въяве, вживе, — событие значительное, неминуемое, закономерное.

С Юрием Кублановским мы накрепко сдружились осенью 1964 года. Вместе учились на отделении истории и теории искусств исторического факультета МГУ. Вместе жили в унылой комнате студенческого общежития. Вместе знакомились с представителями тогдашней неофициальной нашей культуры, открывали для себя Москву, иногда путешествовали.

Оба стали лидерами СМОГа — замечательного, уже легендарного содружества молодых поэтов, прозаиков, художников, — а потом, наряду с нашими товарищами, вынесли всю тяжесть разгрома и травли, испили свои немалые дозы из круговой чаши последствий, омрачивших на десятилетия благословенную нашу молодость. Оба мы были приезжими, я — из Кривого Рога, Юра — из Рыбинска, но как-то сразу, буквально с первых же дней жизни в столице, стали мы везде, где любили поэзию, своими, были приняты, вхожи в такие дома, в такие собрания единомышленников, куда чужим вход был заказан, — опять-таки характерная черта той поры.

«Слово звучит лишь в отзывчивой среде», — сформулировал некогда Чаадаев. Такая среда, слава Богу, у нас была. Она поддерживала, питала. Очевидно, и мы питали её, давали импульсы, токи, говоря проще — были позарез нужны. Отсюда и взаимопонимание, и доверие, и определённая раскрепощённость. Типичная для тех лет богемность существования была ещё не отягощена страхом, метаниями по стране, поисками пропитания, пристанища, отклика.

Десятилетие спустя в стихах, обращённых к Юре, словно предвидя грядущее, я писал: «Да прославится зрячее око, из листвы создавая мосты, чтобы впрямь оказаться далёко, где не ждут от кочевий ключей и не мучит кошмар-соглядатай, где не прячется в гуще ночей Кублановский — сверчок бородатый».

А тогда, в шестидесятые, и бороды мы ещё не отрастили, и надежды на то, что всё образуется, перемелется, было побольше. Хотя, убеждён, жертвенность, подвижничество и творчество как единственно верный путь спасения в общей неразберихе каждый из нашей плеяды — Леонид Губанов, я, Юрий Кублановский, Аркадий Пахомов, Саша Соколов и некоторые другие — осознал рано и навсегда.

Годы шли, и Юра, угловатый юноша, наивный и восторженный, ранимый и открытый, вытянулся, возмужал, сформировался как личность, оброс бородою, потом появилась и седина. На смену тонким, грациозным, полным артистичности, тайны, игры, недомолвок, обаяния, предчувствий ранним стихам с их ломким, но таким неповторимым голосом — пришли стихи совсем другие, с их синтезом, с их безмерной болью и с тем уникальным, совершенно особенным реализмом, который становился отныне основополагающим в творчестве Кублановского, ибо в сих строках дышала сама история страны.

Мне хотелось бы подчеркнуть, что Юрий Кублановский, в моём понимании,—истинный россиянин. Другого истолкования его позиции просто быть не может. Знал он свою страну как немногие, знал изнутри. Так уж вышло, что он, книгочей, мечтатель, превосходный собеседник, человек обидчивый и отходчивый, доверчивый и вместе с тем проницательный, «Фауст и фантаст», обладающий ошеломляющим лирическим даром, вёл жизнь то бродяги, то отшельника.

Он работал как искусствовед на Севере. Собирал вместе с бичами какую-то морскую траву на Соловках, подрабатывая впрок. Был сотрудником небольших музеев. Бесконечно, неустанно, при первой же возможности—срывался с места, путешествовал. Маршруты его поездок тоже, кстати говоря, особенные, личностного толка. А ещё он—подолгу пребывал в сторожах.

Ох, эти Юрины сторожки, его ночное одиночество, с неизменной книгой рядышком, с горячим чайком, с краюхой хлеба, с заполненной стихами тетрадкой и всегда заправленной чёрными чернилами авторучкой под рукою!.. Вспоминаю одну студёную зиму, когда, работая в Елоховском соборе дворником, намахавшись ломом и лопатой, заходил я с мороза погреться к Юре, сторожу сего собора, в тесную будку, а Юра, уже заварив чай, ждал меня, сидя в старом ватнике за столом, на котором лежала вышедшая совсем недавно и успевшая добраться к друзьям «Школа для дураков» Саши Соколова.

Навалившуюся после опубликования его статьи о Солженицыне, буквально захлёстывавшую горло травлю Кублановский встретил с редкостным мужеством и достоинством. Поэт был поставлен перед выбором: или стандартно-жёсткие, по сути—гибельные, меры против его «инакомыслия», или санкционированный незамедлительный отъезд на Запад.

Оказавшись в вынужденной эмиграции, Юрий Кублановский внутренне не расстался с родной страной. Ныне становится ясным, что он-то и есть гражданин, патриот. Всё чаще называют всех нас провозвестниками перестройки, смотрят на нас как на героев, чуть ли не мучеников. Но если вдуматься, все мы хорошо знаем, почём пресловутый фунт лиха.

Кублановский издал за рубежом четыре книги стихов. Мнение о нём как об одном из крупных современных русских поэтов всё более утверждается. И это действительно верное определение.

В лирике Кублановского неразрывно связаны эпическое обобщение и точная, цепкая деталь, исповедь и подтекст, гражданская патетичность и целомудренно чистое чувство. Поэтическое зрение его безукоризненно. Весóм свод написанных им произведений. В изданные книги вошло далеко не всё, очень многое ещё ждёт издания. Им создана единственная в своём роде хроника совершенствования души, дана развёрнутая ретроспектива нашего времени. Книга «Оттиск»—лишь небольшая часть обретшего более чем за четверть века ясные очертания собрания стихотворений и поэм Юрия Кублановского, поэта и друга, чьё возвращение—радость».

...Прочитал—и смутился даже. Надо же, как расстарался! Расхвалил на высоких тонах своего старинного друга. (Или, может быть, просто того, кто казался мне долгие годы таким? О наивность моя, вера—с детства—в людей! И—желание видеть упрямо в людях только хорошее. Так ли на поверку они хороши? И сейчас я всё чаще задумываюсь: в годы зрелые, в самом-то деле, без булды, в реальности,—есть ли, как мне прежде казалось, друзья у меня?..) Что написано—то написано. И себе, и другим в назидание, да ещё по одной причине—чтобы Юра припомнил вдруг, что на родине первую книгу его мы издали, с Лейкиным Толей. Чтобы строки мои прочитал, чтобы понял: я-то всё помню. Надо память ему возвратить. Память—это великая сила.

Вот подумал об этом—и вдруг из бумаг моих стайкой выпорхнули и рассыпались на полу сразу несколько писем. Что это? Поднял их и увидел: батюшки!—это письма от Куба. Надо же! Что ж, просмотрим их все—сквозь годы. Не случайно, видать, они оказались здесь—нет, не случайно.

Письма от Кублановского.

«Дорогой Володя! Обстоятельства сложились так, что благодаря щипкам от ГБ (за Ириной приезжали на машине в Останкино) мне пришлось сгинуть из Москвы, так тебя и не повидав. Чудная девушка Галя передаст тебе отобранные мною стихи—если захочешь, можешь договориться с нею и о других (она мне печатает всё моё с 1967 года). Желаю тебе, милый друг, хорошего лета, люблю тебя и всегда помню! Твой Куб».

Август восемьдесят второго:

«Драгоценный друг! Ты меня прямо даже обидел, что подумал, что я в состоянии уехать, с тобой не простясь. Нет, так сердце не обрывают! Напиши, когда вернёшься в Москву и свой новогиреевский адрес (Москва, Г-19, до востребования). Обнимаю братски. Твой Куб».

«Дорогой Володя! Не говорю прощай—до свидания! Верю, что встретимся. В моей душе—ты всегда. И годы это не ослабили. Странно, что в это время завтра я буду уже в ином измерении... Привет Люде. Всегда твой Кублановский. 2.9.82. Апрелевка, Московская обл.».

Репродукция на открытке: Микеланджело Буонаротти, «Святое семейство», из галереи Уффици во Флоренции.

Уехал Куб на Запад, в эмиграцию…

А вот, уже на седьмом году его заграничной жизни, короткая весть от него:

«Дорогой Володя! Недавно вспоминали тебя с Женей Поповым… Здесь — в Мюнхене — вышло собрание стихов Губанова с комментарием Г. Суперфина. Читаю с удовольствием… Но надо умереть, чтобы издаться столь квалифицированно… Твой сборник ещё не предлагал — ибо пока не ездил в Париж. Но журнальную подборку уже составил… Спасибо, что и ты не забываешь меня. Но вот публиковать раннее — времён СМОГа — пока не надо; если это останется в истории литературы, так пусть останется, нет так нет. Сейчас же в моей ситуации обнародовать это не вижу смысла. Стихи же поздние — закреплены копирайтом за издателями. Я сам буду для сов. журналов делать подборки, каждый раз договариваясь о высвобождении копирайта. Первая публикация в «Знамени» меня не очень устроила. Уверен, что автор должен подбирать сам… Впрочем, не сомневаюсь, что в ближайший год мы обнимемся, в Европе ли, в Отечестве ли, и тогда наговоримся обо всём. А пока — без согласования композиции со мною — пробивать ничего не надо… Крепко жму руку! Любящий тебя Юра. 26.1.89. Мюнхен».

Это как раз та пора, когда я написал ему, и предложил ему помочь с изданиями на родине, и спросил его, по наивности, нельзя ли там, на Западе, издать и мне свою книгу, и стихи его публиковал в периодике, где удавалось, и увиделся с Женей Поповым, возвратившимся из поездки за рубеж, и рассказывал Женя и о Мюнхене, и о Кубе, и о том, как они вдвоём записали на видео, с целью эту запись куда-то пристроить, диалог свой, беседу свою — об искусстве, о литературе и о прочем, и слушал я бородатого Женю Попова — и Париж, и Мюнхен, и Куба, как умел, себе представлял…

А вот уже и о Юриной книге, которую я предложил ему издать:

«11.7.89. Мюнхен. Дорогой Володя! Из разговора с Ирой я узнал, что возможность издания «Оттиска» в Отечестве вероятна. Тогда жду условий, чтобы с ними обратиться к владельцу — ИМКА-Пресс (то бишь Н. Струве). Надеюсь, что проблем не возникнет. Прошу указать: 1) Будет ли новой обложка? 2) Нужно ли фото? 3) Будет ли новый набор или факсимильно? 4) Могу ли я сам проглядеть корректуру, ежели набор новый? Если ты хочешь написать что-то, то, пожалуйста, — послесловие, а не предисловие, «жанр», не слишком разнящийся. 5) И — каковы сроки? Одним словом, жду вестей. Я надеюсь приехать в Россию в январе 90-го. Было бы превосходно, если б успеть издать к этому сроку. Было бы что «подписывать» на выступлениях… Жму руку! Юра. P. S. 6) Могут ли издатели указать первое издание, или такая ссылка исключена? 7) Какой тираж?»

Было, было издание, Юра. Издатели — мы с Лейкиным. И как раз к твоему приезду мы успели книгу издать. И тираж её был три тысячи экземпляров. И весь — твой. Для тебя. Для твоих выступлений и для подписей. Для подарков — тем, кому пожелаешь, — друзьям и знакомым, и просто — любителям, здесь, в России, твоих стихов. И когда ты сошёл с подножки вагона, шагнул на перрон, уже — на родную землю, — я шагнул к тебе навстречу и торжественно даже, а в общем-то, радостно, сразу вручил тебе тяжеленную пачку только что вышедшей, изданной нами книги твоей, первой книги твоей — на родине. Первой, той, о которой ты неожиданно как-то и странно, неприлично даже, — забыл…

Вот опять о книге, об «Оттиске»:

«Дорогой Володя! Как жизнь? Как движется набор? Меня охватило сомнение, указал ли я, что по договорённости с издательством на сборнике обязательно должно быть следующее указание: «Издание второе, исправленное и дополненное. Издание первое: YMCA-Press, Paris, 1985». А на четвёртой странице обложки — взять с «Затмения»: «Книги Юрия Кублановского: Избранное (сост. И. Бродский), Ardis, 1981. С последним солнцем, La Presse Libre, 1983. Оттиск, YMCA-Press, 1985. Затмение, YMCA-Press, 1989». Приеду, надеюсь, на Рождество. Черкни до этого хоть пару строк. Обнимаю. Твой Юра. 10.10.1989».

Приехал Юра. Увиделись.

В декабре восемьдесят девятого побывал я в Париже. Недолго. За границей был я впервые. И — единственный раз. Ничего, для меня и этого даже — вопреки сожаленью Кубову, что нигде, мол, так я и не был, — понимай: мол, он-то везде, где возможно, успел побывать, — для меня, говорю, и этого предостаточно. Здесь, в Коктебеле, я живу давно — и работаю, много лет уже, ежедневно, с Божьей помощью, — жив и здрав.

Ну вот и ещё письмецо:

«Дорогой Володя! Вот уже неделю, как я на Западе. И всё острее не хватает друзей, родины. Как жаль, что так мало удалось пообщаться. Но с каким-то особенным теплом вспоминается вечер у тебя, книги, прогулка с собакой, снег. А как подумаю, что вот сейчас у тебя на полках стоят мои фотки, то и самому делается теплее: нет, не одинок. Привет жене, дочкам. Жму руку! До встречи. Юра. 7.3.1990».

Нет больше писем. Всё.

А встреча наша в Москве, за весь-то десяток лет, который он здесь живёт, была — единственной. Больше времени он не нашёл, чтобы со мной пообщаться.

И только в июне нынешнем — приехал ко мне в Коктебель. Приехал — чтоб отдохнуть. А вовсе не для того, чтоб с другом, то есть со мной, здесь повидаться… Друг ли мне он? Да кто его знает! Слишком он изменился. Это я зачастую думаю не о себе, но — о других, о товарищах: как бы помочь кому-то, что же такое сделать доброе для кого-то, кого же успеть поддержать. Юра многие годы — думает не о товарищах. Думает — как бы выжить. Думает — о себе. Думай почаще, Юра. Думай побольше, Юра. Мне не обидно. Мне — грустно. Что же с тобой? Очнись! Или — уже не сумеешь? Вовсе уже не способен — к дружбе, к общенью, к беседе, — так, как в былые года? Что с тобой, Куб? Откуда эти метаморфозы? Что это вдруг за поза? Что за совсем советский твой литераторский вид? Смотришь — и видишь: ну прямо только что из ЦДЛ. Если ты дружбу предал — так и скажи мне, Юра. Если ты дружбе предан — так и скажи мне, Куб.

Кто ты теперь? Ответь мне.

Кто ты — на самом деле?

Друг — или так, знакомый прежний, одно названье, звук, что заглохнул, отсвет, вскоре погасший, былого, оттиск ли полустёртый давнего самиздата, призвук ли чей-то, призрак мрака? Неужто — призрак? Или же — друг? Скажи мне: кто ты? Ответь мне, Куб!.. Ладно уж. Бог с тобою. Выбран и ты судьбою. Слово твоё любое — стынет, сорвавшись с губ…

Об Олеге Хмаре.
(Книга стихов «В часы бессонницы». 1989.)

«О чём говорить сейчас, когда книга Олега Хмары приходит к читателю?

О том ли, что дружба наша с ним длится вот уже добрых двадцать восемь лет, и годы эти наполнены разнообразными, нередко значительными, порою сложнейшими, пережитыми, бывало, и порознь, и вместе событиями?

О том ли, что Олег — личность, по глубокому моему убеждению, исключительная, человек редких достоинств?

О том ли, наконец, что он — замечательный поэт, ценимый и друзьями, и знатоками подлинной отечественной поэзии, более трёх десятилетий существовавшей и имевшей широчайшее хождение по всей стране в списках, выстоявшей, выжившей — и лишь в последнее время пока что фрагментарно, но всё-таки всё более высвечивающейся в виде ярких публикаций?

Немудрено понять, что стихи Хмары скажут о нём куда больше, нежели я ныне, в этих вот, искренних, впрочем, заметках о старинном друге своём.

И всё-таки — надо, важно сказать.

Олег Илларионович Хмара родился в 1936 году. Кровь запорожских и донских казаков течёт в нём, определяя его внешность, повадки, манеру держаться, характер, да и всю, собственно, жизнь.

На Украине, откуда поэт родом, на Днепропетровщине с её холмистыми, овражистыми, словно бы буйными волнами откатывающимися на юг, к морю, степями, с перенасыщенными птичьим щебетом, то пронизанными солнцем, то тенистыми островками лесов и посадок вокруг водоёмов, в селе Вольном, что на реке Самаре, неподалёку от Новомосковска, над которым высится знаменитый собор, предки Хмары покоятся на старинном сельском кладбище вот уже три столетия. Корни рода — уходят в глубь истории Украины и Дона.

Не случайным было название села. Жажда воли, умение отстаивать её в любых жизненных обстоятельствах, обретение воли — сквозь узы внешне монотонного, тяготящего душу существования в общем-то успешно работающего в своей области горного инженера, несколько позже — кандидата наук, незаменимого специалиста по выбросам в угольных шахтах — проблеме острой, наболевшей, — но, согласитесь, существования вынужденного, далёкого от поэзии, хоть и приносящего явную пользу людям, — сквозь рамки быта, сквозь невзгоды личных драм, — неторопливое, поступательное, но осознанно-неуклонное преодоление барьеров, препон, поиск и нахождение выхода, — вот что важно увидеть и в жизни, и в поэзии Олега Хмары.

Не отсюда ли в нём, ещё с малых лет, — тяготение к природе, слиянности с нею, вглядывание и вслушивание и в струение незримых вод времени, и в ток реальных древних рек — Днепра, Самары, Ингульца, а потом — Волги, на берегах которых, смело можно утверждать, и происходило формирование этого человека, этого поэта?

«…но есть покой и воля». Покой — для Хмары — понятие отнюдь не статичное. Ибо, находя отдохновение вдали от городов, будучи заядлым рыбаком, путешественником, бороздя на своём катере воды, прежде — Днепра и притоков, вплоть до моря, нынче — Волги и притоков, он впитывает в себя извечные силы отечества. И только внешне, подчёркиваю, монотонное существование, в котором подспудно идёт неустанная работа души, получает тот мощный импульс, тот крутой замес, каковые уже соприкосновенны с поэзией.

Стихи Олега Хмары — это, как правило, своеобразные резюме, результат выстраданных, осмысленных жизненных периодов, с единственно верным, сразу же точно взятым и до конца выдержанным тоном, с тонким и потому драгоценным лиризмом, но одновременно и с явственными вкраплениями эпики, сдержанной и выверенной в деталях хроники своего времени, с нужными ориентирами в собственной, а не чьей-нибудь судьбе, вне хаоса и лишних для такой поэтики напластований, как бы профильтрованные, очищенные, сжатые до разумного минимума строк и оттого — затрагивающие сердце, западающие в душу, запоминающиеся,—это стихи, я бы сказал, бережные, негромкие, без показной «современности», стихи в русле лучших традиций, но как они свежи, глубоки, чисты!

Внимателен взгляд, спокоен голос. Наитие—и одновременно обдуманность. Проникновение, прорыв—и тактичность по отношению к живой ткани стиха.

Не многоголосие притягивает к поэзии Хмары, а как раз наоборот—возможность услышать точное звучание одного инструмента, но эта партия сыграна всегда мастерски.

И так вот, стихотворение за стихотворением, поступательно, вместе с движением времени, с осознанием своего предназначения, со всеми поворотами судьбы, и складывался свод стихотворений Олега Хмары, некоторая часть которых и образовала книгу «В часы бессонницы».

Многое из неё мог бы я цитировать наизусть.

Потому что—давно сжился с этими стихами.

Потому что—они стали частью моей жизни, и ясный их лад, светлая грусть, редкостная проникновенность в суть чего-то важного, сокровенного, сама душевная настроенность—дороги, необходимы для меня.

Потому что—сам факт присутствия в мире поэзии Олега Хмары значителен, радостен: это поэзия мужественная, строгая, исполненная доброты и любви.

А посему—пусть теперь говорит книга».

...И книга Олега Хмары—действительно говорит с людьми, вот уже добрый десяток лет. Говорит—в Москве, в России. Но особенно задушевный разговор с читателем получается на родине, на Украине, в Кривом Роге, в Днепропетровске, в городах Донбасса, где поэта давно уже знают, любят и по-настоящему ценят. Стихи его любят наши современники, люди совершенно разных возрастов. Особенно любимы они—в обширном кругу наших общих с Хмарой друзей и знакомых. Надо сказать, что и людям помоложе, порою намного моложе нас, близка поэзия Хмары. Исследователь новейшей нашей отечественной поэзии, Владислав Кулаков, например, чьи пристрастия вроде бы несколько иного плана, при случае, в разговорах со мною, непременно подчёркивает свой давно уже, сразу же после выхода книги Олега, возникший интерес к его стихам—и даже пусть и вкратце, в обзоре книжных новинок, в журнале, но всё же писал о нём,—хотя мог бы, давно уже мог бы, при желании, написать обо всех поэтах нашего круга. Но и на том спасибо. Вниманием критики все мы до сих пор не избалованы. И совершенно напрасно. Потому что наша гвардия—это действительно гвардия, а не какие-нибудь там сборища нынешних писак. Потому что давно уже слышат те, кто хотят слышать, голоса наши,—и читают те, кто жаждут этого, вышедшие, общими нашими усилиями изданные наши книги.

О Юрии Каминском.
(Книга стихов «Эти ночи». 1990.)

«В Кривом Роге, странном для приезжих, в чём-то нелепом, но по-своему колоритном, притягательном и, я бы сказал, отчасти мистическом городе, протянувшемся более чем на сто километров пульсирующей, прерывистой полосою вдоль скрытых в почве жил железной руды, живописно и вольнолюбиво раскинувшемся среди холмистых, вздыбленных, крутыми волнами рвущихся на юг, к Чёрному морю, южноукраинских полынных степей, городе своенравном, бывавшем и жестоким, и добрым к своим обитателям, в 1961–1964 годах местная литературная жизнь была на редкость интенсивной—а теперь уже, на расстоянии стольких лет, смело можно сказать, и незабываемой, дарованной нам единожды и навсегда, как и всё самое хорошее на свете.

Существовала тогда в нашем городе и была весьма широко известной группа молодых поэтов: Юрий Каминский, Владимир Пожаренко, Арнольд Бродский, Рудольф Кан, Вячеслав Горб, Савелий Урих, Олег Хмара. Все они были значительно старше меня, опытнее, образованнее. Однако меня в ту пору—в 1962 году—шестнадцатилетнего, неудержимо тянуло именно к ним, людям пишущим, ищущим, очень живым, словом—к единомышленникам, к собратьям. И так уж вышло, что я сдружился с ними тогда же, в славную нашу эпоху дерзновений и окрылённости, радостей и надежд.

Юрий Каминский был среди нас одним из бесспорных лидеров, заводил, нередко задавал тон, увлекал за собою. Отчётливо помню ясный вечер на склоне мая, в шестьдесят втором, со всей его свежестью и щедростью, когда мы, группа пишущих стихи парней, возвращались все вместе с очередного городского литобъединения. Почему-то оказались мы на месте слияния древних степных рек, Ингульца и Саксагани, как раз там, где в XVIII столетии был основан наш город. Каминский был как-то возвышенно порывист, словно в полёте. Поэзия, казалось, переполняла его. Золотистокарие глаза его сияли. Вся его коренастая, очень ладная, поджарая, невысокая, словно точёная фигура, светящиеся в закатном солнце курчавые волосы, как бы обвевающие вместе с тёплым ветерком загорелое лицо с характерными скулами и перекатывающимися желваками, чётко вырезанными губами, упрямый, широко открытый лоб с едва наметившимися морщинками—буквально излучали энергию. Там, среди тополей и верб, среди колеблющейся зелени, сквозь которую смутно просвечивали белые колонны лодочной станции, у вечереющей, плавящейся воды принялся он читать свои стихи. Напоминающий сгусток солнца, какой-то неистово-радостный, он стоял, крепко упираясь ногами, на прибрежной тропке—и читал, читал. Слова являлись, изумляли—и уносились дальше по течению, полновесные, звонкие, калёные.

«И я ухожу, как отчаливаю, и я прихожу, как причаливаю, к синей пристани глаз».

Это западало в душу. Я волновался. Мне было совершенно ясно, что Каминский по-настоящему талантлив, что стихи его сильны и существуют в мире потому, что он, поэт, вдохнул в них жизнь.

Ныне нашей дружбе—двадцать восемь лет. Слишком многое было пережито за эти годы со времени молодой нашей и счастливой эпохи, нелёгкие, порою и трагичные испытания пришлось вынести, всё проходя и проходя пресловутую, бесконечную проверку на прочность, поэтому и говорить о них походя—нельзя. Из круговерти лет и событий вынесли мы твёрдую убеждённость в том, что дружбу нашу не сломить никаким обстоятельствам, что поэзия, таинственная и животворная сила, как и любовь, как и противостояние тьме, незыблемая вера в торжество света, пронизывает всё бытиё наше на земле.

Юрий Каминский родился в 1938 году. Он коренной криворожанин. Это значит—речь его, повадки, жизненный уклад, подход к любому занятию, лень и энергичность, юмор и хандра, условный урбанизм и плещущий через край пантеизм—совсем особенные, возможные только в нашем городе. Вырос Каминский и прожил несколько десятилетий в старом центре, как все здесь его называют, в районе, именуемом загадочно—«Шанхай», разноплеменном и разноязычном, в старом доме с типичным для юга внутренним двором, над которым ночами роились звёзды, а днём лились жаркие солнечные лучи. Мечтатель, книгочей, Каминский был здесь в своей тарелке, среди гомона соседских голосов, шипенья жарящейся на сковородках еды, отголосков музыкальных фраз из радиоприёмников и льющейся из общего крана воды. Он существовал одновременно и в этом окружающем его с детства мире—и в мире своём, скрытом от непосвящённых, но столь же ясном—для него, поэта. В этом памятном всем нам доме он бесконечно, запоем, читал, встречался с друзьями, писал стихи. В свои две тесные комнатушки вбегал он с крыльца, как на борт фрегата. Был он там, в своём мире, романтиком, путешественником, звёздным скитальцем.

Внешняя же биография Юрия Каминского отнюдь не поражает пестротой. После школы служил в армии на Чукотке. Побывал в разных местах страны. Работал на производстве. Учился. Вот уже многие годы работает слесарем—и, говорят, в своём деле незаменим.

Каминский—из поколения, опалённого войной. Отсюда—одна из основных тем его поэзии. Отец его погиб на фронте. Будучи зрелым человеком, лишился он матери, потом сестры. Двойную трагедию, одиночество переживал стойко. Судьба подарила ему чудесную жену и сына. Он человек поступков, иногда и подвига. Известен случай, когда он предотвратил грандиозный взрыв, спас горящих людей. Он принципиален и твёрд в отношениях с людьми, хотя, впрочем, доброта его и доверчивость хорошо известны всем его знакомым. Он, в отличие от своих давних друзей, никуда не уезжал из родного города—именно здесь он живёт, здесь рождены его стихи.

Публикаций в периодике—центральной и республиканской—у Каминского довольно много. Однако печатают его до сих пор изредка, небольшими подборками, несмотря на полученные им всяческие литературные премии. Свод стихотворений за тридцать лет работы—сотни и сотни типичных для Каминского ёмких, лаконичных, с яркой образностью, с великолепным рисунком фразы, отточенных, мастерских стихотворений—так и остаётся пока что существующим в машинописях, в списках... Книги у Каминского не выходили. Да и сам вопрос о них, поднятый когда-то, скрыт пеленою безвременья. Гордость, нежелание унижаться, становиться частицей редакционного и издательского хаоса, раз и навсегда твёрдо избранная позиция творчески независимого человека, противостоящего окружающему абсурду, становились камнем преткновения на пути к книге. Нелегко давалась поэту такая вот позиция. Случались срывы, отчаяние, пошатнулось здоровье, ранее бывшее отменным. Но Юрий Каминский—выстоял. Не случайно сказал он о себе ещё в молодости: «Стою последним бастионом солнца, который невозможно взять».

Ныне перед читателем первая—на пятьдесят втором году жизни—книга Юрия Каминского. В ней—трудная верность слову, своим, всегда незаёмным темам. В ней—стихи разных лет, исполненных труда, достоинства, мужества. В ней—свет чести и правды, музыка боли и радости, сила любви и доброты. А потому и суждена ей, знаю, жизнь чистая и открытая. „Ибо Господь праведен,—любит правду; лице Его видит праведника“».

...Изданная нами с Толей Лейкиным книга моего земляка и друга Юры Каминского—читается и перечитывается людьми. И особенно, разумеется, на Украине. Хотя и в Америке её читают. И в России. Кому нужна поэзия—те читают. И будут читать—всегда. Оказалась эта книга—первой ласточкой. С моей ли, с Толи ли лёгкой руки, а скорее всего—с лёгкой руки нас обоих,—дело пошло. Вслед за изданной нами Юриной книгой в девяностых годах, в Кривом Роге, где тоже наладилось свободное книгопечатание, вышли ещё три, уже значительные по объёму, его книги стихов. А недавно, как мне сообщили, вышла у него книга и в Германии. Я её пока что не видел. Но надеюсь увидеть.

Давно уже мечтает Юра об издании большого однотомника своих стихов. Думаю, что и это сбудется. Пора. На родине Юра Каминский — известнейший поэт. Это ли не замечательно. Верность родине, верность речи — естественны и незыблемы в нём.

Об Аркадии Агапкине.
(Книга стихов «Серебряный ветер». 1991.)

«А всё-таки печаль и радость — чувства родственные. Пусть они и полярны, однако начало берут они из единого источника. И вряд ли кто-нибудь скажет об этом проще и глубже Григория Сковороды: «Все походить з безодні глибокого серця». Светлая, строгая печаль, дыхание которой столь ощутимо в стихах Аркадия Агапкина, и радость, чистая, по-детски незащищённая, доверчивая, нахлынули на меня со страниц книги этого чудесного поэта, пишущего более четверти века, но только сейчас дождавшегося издания. Агапкинские печаль и радость, такие естественные, ищущие понимания, приправлены горечью немалого опыта, они отдают дымком таёжного костра, пылью хоженых-перехоженых троп и дорог, они прокалены солнцем, заметены метелями, исхлёстаны дождями. Внешне они, может, и загрубели на ветрах эпохи и всевозможных географических широт, внутри же, в сердцевине своей, они ясны, слышимы, зримы — поэтому и распутывают они все узлы биографии и судьбы, потому и выстояли, потому и дают почву слову.

С Аркадием Агапкиным мы знакомы добрых два десятилетия. Будучи дружен со многими художниками, прозаиками, поэтами — представителями нашей отечественной культуры, ещё недавно считавшейся неофициальной, а ныне признанной во всём мире, сам являясь заметной фигурой в этой по-российски неповторимой, талантливой среде, он, на моей памяти, никогда не выпячивал себя, не подчёркивал, как это охотно делали некоторые, что вот, мол, и он пишет серьёзные русские стихи, что и он поэт, а предпочитал держаться как бы чуть осторонь, без всякой показухи, в скромности и сдержанности его ощущалось достоинство, — и люди поневоле отмечали всегдашнюю его независимость. Высокий, прямой, с кудрявой, гордо поставленной головой, зеленоглазый, со вспыхивающей искоркой во взгляде, крепкий, будто бы сдерживающий в себе готовую вот-вот вырваться буйную энергию, он напоминал молодого Блока, а гораздо чаще — забредшего в наше столетие праславянского странника, может быть, даже и Леля, потому что так и хотелось представить его подносящим к губам свирель. Он появлялся в московских домах, в шестидесятых-семидесятых годах ещё бывших гостеприимными, в мастерских — и сразу же как-то выделялся среди весьма пёстрой, шумной богемной братии, хотя и не прилагал для этого никаких усилий, говорил изредка, больше молчал, слушал других.

Осенью 1972 года мы неожиданно встретились с Аркадием в Ленинграде. Нас приютили в одной из дружеских квартир. Там, разумеется, читались стихи, пелись песни, показывались картины. Отчётливо помню, как в один из хмурых, перенасыщенных влагой питерских деньков Аркадий вдруг засел в уголке за старую пишущую машинку и медленно, строка за строкой, стал перепечатывать в трёх экземплярах на четвертушках подвернувшейся под руку бумаги свои стихи. Потом мы читали их. Мнение было единодушным: это настоящий поэт. Агапкин же смущённо улыбался и снова каким-то непостижимым образом оказывался будто осторонь от всех, от общего говора, от лестных суждений, среди людей — и одновременно там, в своём мире.

С тех пор прошли годы и годы. Виделись мы с Аркадием то довольно часто, то изредка. Случалось, он надолго исчезал из поля зрения. Пресловутые «годы застоя» не оставляли никаких надежд на публикации ни Агапкину, ни его товарищам. Судьба Аркадия складывалась трудно, зачастую слишком тяжело. Бывали в жизни его совсем «крутые» ситуации. И тогда проявлялось замечательное свойство его, казалось бы, ровного, даже мягкого характера — воля, которую он собирал в стальной комок, в сгусток энергии. Так и жил, независимо, упрямо. В нём всё время шла закрытая от посторонних поступательная внутренняя работа. Тяга к знаниям, к самосовершенствованию была огромной. Ну а творчество — поддерживало и спасало.

Изумление перед миром, острота поэтического зрения, определённость и одновременно раскрепощённость слова, соприкосновенность с живописью и музыкой, умение выдержать тон, сдержанность в выражении эмоций, таящая в себе взрывчатую силу, способность создавать свой, сразу узнаваемый, неповторимый строй, своё лицо, свой давно и отменно хорошо поставленный голос — вот характерные черты поэтики Агапкина. Я мог бы говорить о его стихах намного пространнее, но ведь куда лучше скажут эти стихи сами за себя. Крайне важен в них сплав пронзительного, очень современного видения, восприятия и осознания действительности с прапамятью, с тем, что в крови, в генах, сплав языческого с христианским, сплав первобытно свежих ощущений с эпически беспристрастной хроникой.

Стихотворение Агапкина живо именно внутренним (чего, прежде всего, и ждал Мандельштам от русских стихов) образом. От того, каков он, этот внутренний образ, как он светится в сердце стиха, прямо зависит, более ли свободно написано стихотворение или форма его сознательно строга, щедра ли метафорическая оснастка или же вещь держится на чутье, на дыхании, на интуиции, на том сцеплении слов и понятий, каковые возможны—видимо, в силу подвижности, редкостной гибкости и пластичности самого языка нашего—лишь в русской поэзии.

Языческие, уходящие в древность мотивы в поэзии Агапкина, конечно же, не случайны. Органичность их, как и органичность современных реалий, неоспорима. И не будем гадать, что вызвало к жизни эти светлые мелодии, эти пастушьи ли, страннические ли наигрыши, эти плавно струящиеся, отзывающиеся плеском и журчанием воды в ручьях слова, эту пантеистическую открытость, осознание себя дома в природе, в мире.

Одновременно, в унисон ли, в противовес ли названным мотивам, в целом ряде стихов данной книги явственно различимы и мотивы иного рода—документальные, дающие выразительную панораму повседневности, вкрапления, то фрагментарные, то более густо скапливающиеся, впитывающиеся в ткань стиха. Их присутствие в тексте всегда оправдано, и прежде всего потому, что образный ряд не нарушается, фраза по-прежнему тяготеет к лаконичности, период не отягощён чем-то инородным. Просто—движение самой жизни, изменчивой, неоднородной, органично входит в стихи, ненавязчиво, но упорно. Значения, смыслы то выравниваются, то двоятся, иногда всё стихотворение—единая метафора, многодонная, воспринимаемая каждым читателем по-своему, но в этом и заключается «соль»—как раз не в прямолинейном уравновешивании частиц целого, а в способности зафиксировать и выразить некую часть находящегося в постоянном движении бытия, надышаться ею, а затем вдохнуть её в текст.

Не отсюда ли—то воздушная, лёгкая, светящаяся, летучая структура стиха, как это было у Хлебникова, вообще очень близкого Агапкину поэта, то стремление к заострённой формулировке, с долей иронии, юмора, или, наоборот, с холодком мистицизма, с астральным отсветом непостижимого, может быть, только на данном этапе, но уже угадываемого, с той недосказанностью и даже зашифрованностью, которые и в жизни иногда окутывают фигуру поэта облачком загадочной остранённости? Опять-таки—надо просто читать стихи.

«Изумительное и ужасное совершается в сей земле»,—сказано у Иеремии. Книга Аркадия Агапкина—об этом».

…Вышла книга Аркадия—и люди откликнулись. Ведь стихи-то—сильные. Настоящие. Восхищённо говорил мне о них старинный мой друг, сам—настоящий, светлый, ещё не изданный прозаик, Слава Горб. Говорил—буквально со слезой в голосе. И глаза его—были влажны. А уж требовательный, безукоризненный вкус его—тридцать восемь лет мне известен. Каждый раз в разговорах со мной вспоминает о книге Аркадия, восхищается ею и передаёт Аркадию заочные приветы Ваня Ахметьев, поэт, вроде бы противоположный Агапкину, и, однако, если вдуматься в его стихи, если вчитаться в них хорошенько,—в чём-то даже сопутствующий Агапкину, как путник в дороге, как призвук—звуку, тоже чистый и органичный, со своим, тоже искренним, хорошо различимым, очень точно поставленным голосом, тоже—автор, которому веришь. Появились у Аркадия и публикации—в окружении дружеских текстов. Зазвучали в кои-то веки стихи его и по радио. Интересен он людям, вот что. И близки им—его стихи. Даст-то Бог—будет новая книга!..

…Величанский встаёт—как лев Пиросмани—в кругу дерев. Львиный знак и полдневный пыл. Час полночный—в кругу светил. Звук подспудный—и зоркий взгляд. Рай вчерашний—и вечный ад. Свет столичный—и след во мгле. Снег привычный—в земном тепле.

В восемьдесят девятом году, на заре свободного книгопечатания, в Москве, с трудом привыкая к такой вот доселе непредставимой, небывалой, чуть ли не сказочной, но, по новым-то временам, совершенно реальной возможности, я готовил к изданию свою книгу «Отзвуки праздников».

Саша Величанский пришёл однажды в гости к Толе Лейкину. Рукопись книги, недавно перепечатанная мною, лежала у Толи, не в пример временам былым с их опаскою постоянной за судьбу самиздатовских сборников, с их оглядкой на всё подозрительное, с неизменными предосторожностями, открыто, без конспирации, без ненужной теперь маскировки, на виду, на рабочем столе.

Величанский увидел рукопись и обрадовался тому, что давняя книга моя наконец-то, с таким запозданием, после стольких мытарств, историй, всё же выйдет вскорости в свет.

Это был большой том, к сожалению—неполный, потому что у меня под рукой в нужную пору, когда все бумаги мои вдруг понадобились, не оказалось многих текстов, раскиданных в прежние годы по самым разным, знакомым и случайным, таким уж, какие возникали в поле зрения посреди хронических бездомиц и вынужденного перемещения с места на место, в поисках угла, простейшего приюта или всего лишь ночлега, домам, в различных городах, любимых и тягостных для меня, куда приезжал я ненадолго или надолго, чтобы снова ехать куда-то, находиться в движении, чувствовать ритмы времени и души.

Некоторые из таких отсутствующих вещей, нередко сильных, значительных для моего развития, необходимых для понимания пути, давно привыкнув к утратам, я уже склонен был считать утерянными.

А время поджимало. Время было действительно дорого.

Меня поторапливали. Промедление любого рода исключалось категорически.

Поэтому я и решил подготовить для начала книгу из тех стихотворений и больших композиций, которые имелись у меня в единственном экземпляре, в виде груды истрёпанных листков с густой машинописью, и поистине чудом уцелели посреди моих скитаний в семидесятых.

А там, рассудил я, видно будет. Всё, глядишь, ещё образуется, как всегда у меня, само собою. Может, что и найдётся. Верить в это хотелось бы. А то, даст Бог, и сам я, по памяти, как это и прежде не раз и не два бывало, восстановлю недостающие тексты.

Всё в дальнейшем так и случилось. Некоторые стихи — нашлись. А большинство текстов я восстановил, когда у меня открылась вторая память, уже в девяностых, в Коктебеле.

Книга же, в неполном виде, вышла — и существует сама по себе, независимо от меня, какая уж есть.

А тогда, у Толи, Величанский листал мою рукопись. И многое в ней — узнавал.

«Отзвуки праздников» — это целый творческий мой период, интересный, насыщенный, сложный, важный для меня, барочный, как я его обычно называю.

И так уж получилось, что период этот, напряжённый, чрезмерно бурный, драматичный, парадоксальный, даже фантасмагорический, время это, для меня откровенно тяжёлое, с испытаниями на прочность, на выживание, героическое, жестокое, на упрямстве, на творческой воле, но и прекрасное, безусловно, в новизне своей всей, в праздничности, вопреки бесчисленным трудностям, да ещё потому, что сумел я выжить, выстоять, созидать, — были в чём-то нередко, прямо ли, косвенно ли, больше ли, меньше ли, связаны с Величанским.

Тогда мы часто встречались — в Москве, поскольку оба мы там обитали, и в Питере, потому что оба мы то и дело туда приезжали.

В дружеских тесных компаниях оба мы читали стихи свои. Подолгу и помногу беседовали. И беседы такие были чрезвычайно важны для обоих.

Были внимательны к творчеству друг друга. И внимание это былое, бережное и пристальное, подчёркнуто доверительное, искреннее, нечем теперь заменить.

Были оба ещё относительно молоды, я — помладше, Саша — постарше по возрасту.

Но судьбы наши и пути в эти годы нередко соприкасались. Перекрещивались, расходились — и опять, нежданно и радостно, где-нибудь, как-то вдруг, совпадали.

Стихам-то Саша обрадовался. А вот всякие тексты обо мне, сопроводительные, в основном — краткие, вроде высказываний, изредка — подлиннее, с попытками вникнуть в суть моих сочинений, написанные различными людьми, предназначенные для того, чтобы читатели, ознакомившись с ними, помещёнными на обложке или сгруппированными в виде послесловия, получили некоторое представление обо мне самом, авторе самиздатовском и в этом качестве давно и широко известном в определённых кругах, но в то же время фигуре весьма загадочной для прочих, для читающего большинства, потому что на родине слишком долго меня не издавали, и о том, что я, собственно говоря, за многие годы работы сделал в русской поэзии, — огорчили его и даже возмутили.

— Вовсе не так надо писать о Володе Алейникове! — сказал он Лейкину. — Давай-ка, если ты не возражаешь, я возьму рукопись домой, изучу её хорошенько — да и напишу о Володе. Сам.

Толя, конечно же, не возражал. Был он этому только рад.

Летом я, по традиции, жил вместе с детьми в Кривом Роге, в родительском доме.

Пришло письмо из Москвы. От Величанского.

Большой, белый, с моим украинским адресом, именем и фамилией, написанными острым, резким, быстрым Сашиным почерком, плотный конверт. В нём, помимо письма, — машинопись Сашиной статьи обо мне — предисловия к «Отзвукам праздников», и назывался этот текст — «Грядущий благовест». Он теперь напечатан — и в книге моей, и в журнале «нло». А тогда, в тишине, в глуши, в отдалении от столицы, среди щебета птиц и шелеста приникающей к окнам листвы, — я читал его и перечитывал. Понимал я, что Величанский сумел сказать обо мне так, как не скажет никто. На склоне столетья думаю: не скажет уже никто.

И письмо ведь было хорошим. Очень его, Сашиным.

Приведу его здесь. Хочу Сашин голос услышать вновь.

«Здравствуй, Володя.

Посылаю тебе результат размышлений над твоей работой, штудии которой доставили мне истинное удовольствие.

Уверен, тебя не смутит то обстоятельство, что стремление к осмыслению превалирует в моих заметках над желанием делать оценки. Надеюсь также, что тебя не покоробит стилистика «объективности» суждений. Никакой объективности, как ты понимаешь, не существует в природе. В применении же к поэзии она и вовсе неуместна, ибо всякое «изучение» поэтического явления всегда предельно неадекватно своему предмету. В этом смысле бесстыдно субъективные суждения в лучшем случае неинтересны. Видимо, по отношению к стихам всегда уместней евангельское «Да-да», «Нет-нет». Однако такая позиция есть и благовидна, но исключает всякую возможность говорения о стихах. Я взял этот «объективный» фон, главным образом, для того, чтобы не опускаться до презираемых мной красивостей так называемой «прозы поэтов», а также потому, что мне хотелось выдержать определённую «имперсональность» в изложении своих соображений, чтобы никто не мог сказать: вот, мол, что Сашка Величанский сочинил о Володьке Алейникове. Дай Бог тебе найти в статье что-нибудь созвучное собственным представлениям о своих стихах (вот увидишь, найдёшь!). Впрочем, довольно о статье, а то может сложиться впечатление, что я компенсирую что-то недоговорённое в ней.

Всего тебе наилучшего. Отдыхай, работай, крепчай, будь. Поклон твоему дому, в котором не нумерованы квартиры (!), здоровья твоим детям и присным.

Обнимаю.

А. Величанский.

22.7.89».

Летом восемьдесят девятого я читал недавно вышедшую Сашину книгу «Удел», подаренную мне им ещё в Москве.

Книга эта издана была довольно быстро и грамотно, с помощью друзей Величанского.

Простая, светло-серая, лаконичная, без всякого украшательства, с одной только узенькой, напоминающей витой шнур, аккуратной рамочкой, несколько в духе дореволюционных изданий поэтических сборников, от советских книжек отличающаяся резко, подчёркнуто, потому и запоминающаяся, обложка; белая бумага, чёткий шрифт, сто двенадцать страниц всего — но текста много, потому что стихи набраны в подбор, одна вещь за другой, а не по одному стихотворению на странице, и понятно, что сделано это для экономии бумаги, чтобы в пределах ограниченного объёма поместить побольше стихов, — но зато всё хорошо читается, и книга элегантна, строга, скромна, и главное её достоинство — это её содержание, то есть отличные Сашины — избранные им, с шестьдесят девятого по семьдесят третий годы, — и мне, и многим другим людям давно уже известные по самиздатовским сборникам, которые перепечатывал вначале сам Саша, причём печатал он на машинке одним пальцем, средним пальцем правой руки, по выработавшейся у него давным-давно привычке, но довольно-таки быстро, на половинках листа писчей бумаги, мною, тоже по привычке, называемых четвертушками, на одной стороне, через самый маленький интервал, по одному стихотворению на каждой странице, и складывал эти листочки в книжки, делал к ним обложки из плотной бумаги, порою сам оформлял их, разрисовывал, и раздаривал, раздавал несколько экземпляров таких книжек друзьям, любителям поэзии, и те, в свою очередь, тоже перепечатывали их и распространяли, и всё это было привычным для всех делом, — и теперь напечатанные как полагается, по традиции гутенберговской, по всем или почти всем правилам, — стихи…

Тогда, на радостях, предварительно созвонившись, я приехал к нему — и купил у него, в дополнение к подаренному экземпляру, целую пачку книг, довольно-таки большую пачку, аккуратно упакованную в бумагу и перевязанную шпагатом в типографии, ещё нераспечатанную, не помню, сколько экземпляров туда входило, но было их немало.

И потом, имея в своём распоряжении этот небольшой арсенал, с удовольствием, но ещё и сознательно, чтобы знали, чтобы читали, дарил их своим друзьям и знакомым в Москве, в Кривом Роге, в Коктебеле, вручал их лично, посылал бандеролями в другие города и за границу — и очень скоро так всё и раздарил.

От метро, как обычно, я доехал на автобусе до высокого башнеобразного углового дома на Ленинском проспекте.

Поднялся на скрипучем лифте наверх, на нужный этаж.

В квартире Саша был один.

В коридоре и в обеих комнатах высокими стопками лежали на полу многочисленные экземпляры его книги, наверное — изрядная часть трёхтысячного тиража.

Саша был очень худ, непривычно бледен, както слишком скуласт, но ещё достаточно энергичен, хотя и не столь уж импульсивен, подвижен, взрывчат, как в прежние годы.

После двух перенесённых им инфарктов приходилось ему, судя по всему, несладко. В разных местах квартиры я заметил приготовленные на всякий случай лекарства.

Однако Саша держался. Привычное определение. Для всех нас традиционное. Без лишних слов. Неизменное.

Слишком просто сказать: «держался». Но именно так об этом и надо теперь сказать.

Не храбрился, не хорохорился, нет. Зачем? Ни к чему всё это. Удивлять никого не хотел он. Храбрость была — в другом.

Он трезво осознавал своё положение, своё состояние. Он именно — держался. Упрямо. Стойко. По-мужски.

Дракон по тотему и Лев по созвездию своему, был он крепкой закваски и внутренней силы человеком, он был — с характером, твёрдых правил и принципов, честным и в поэзии, и в повседневности человеком, личностью был.

Он был — прежде всего — поэтом.

Никогда никого — не предал. Никогда никого — не подвёл. Был предельно чёток в своих установках жизненных. Мог правоту свою твёрдо отстаивать.

Был таким, каков есть. Величанским. То есть просто — самим собою.

Дружбе верен был. Жил — поэзией. Свет. Огонь. Цену он себе — знал.

Мы тогда, по старинке, неспешно, говорили с ним. И — молчали. И — смотрели в глаза друг другу.

Видел я его рядом, друга, в тот приезд свой — нет, не в последний, но — да, так, — в предпоследний раз…

Я читал у себя на родине книгу Сашину — и написал ему, продолжая беседы наши, сквозь пространство и время, — письмо.

«Дорогой Саша!

С книгой твоей я сжился, может быть — даже сроднился, и уж точно — к ней я привык. Хорошо, что она — есть. Есть она — и это чудесно. И привык я к ней не случайно. Ведь привычка — вторая натура. В данном случае, в случае с книгой, право, было к чему привыкать. Столько лет была твоя книга — самиздатовской. А теперь — стала изданной. Вышедшей в свет. В типографии напечатанной. Честь по чести. Как полагается. Могли мы в прежние годы представить себе такое? Первая мысль: вряд ли. Вторая: с трудом, но могли. Третья: верили, знали — когда-нибудь это будет. И это — произошло. Пусть и поздно. Да только — всё к лучшему. А может быть, именно так и надо было. Кто знает! Было — надо. И это — есть. Есть — и всё. Слава Богу, что — так.

Всё, что высветлилось, открылось по-особому в книге твоей, зазвучало сильней, свободней, увиделось чётче, пронзительней, выверенное временем, испытанное душой, сердце сжимавшее болью, радость во мгле дарившее, потому что жива любовь и мир всё равно прекрасен, — мне очень близко и дорого.

Выстраданность слова. Гордость и честь. Совесть. Безвременья лет повесть. Безукоризненно точный выбор. И верный тон.

По существу, стихи твои, лаконичные, пружинистые, собранные, всегда подтянутые, без всякой расхристанности, без излишеств, без ненужного и категорически чуждого им украшательства и многословия, с присущей им внутренней дисциплиной и по собственным законам развивающейся драматургией, полные движения, острой мысли, пылкого чувства, грустного и разумного взгляда на действительность, в рамках каждой, любой буквально, вещи, — являют собою, в совокупности своей, ещё и единое, по-моему, неразрывное, сложившееся за многие годы работы естественным образом, выразительное, монументальное, именно так, и, конечно, эпическое полотно, трезвейшую хронику невесёлого нашего времени.

Большая книга. Серьёзная. Долговечная. Вне сомнения. Книга — жизнь. Книга — боль. Книга — правда. И к тому же — очень твоя.

Мне думается, если речь, хоть когда-нибудь, хоть однажды, зайдёт о величии духа — а она зайдёт, это ясно, — первоочередным условием — или одним из главных условий — так рассудят, пожалуй, потомки, разбираясь в писаниях наших и решая, с чего начать, — будет издание полного свода твоих стихов, за все годы их написания. Мне хотелось бы, чтобы все без исключения книги твои были изданы вовсе не выборочно, как сейчас получилось, или же, что куда точнее, пожалуй, вынужденно-избирательно, по целому ряду причин, в том числе и досадных, и грустных, с этой вечной, на всём, экономией, а полностью, так, как они написаны были тобою. Ибо ты не фрагментарен, а един, целен. Ибо у тебя не просто какие-нибудь спонтанные лирические выплески, так, изредка, под настроение, в некоем состоянии, но большой, напряжённый труд всего твоего естества, всего тебя, результат множества настроений и состояний, настоящий монолит, поэзия — способ жизни, высказывания, летопись души и времени, если хочешь.

Тяжеловато изыскивать средства, чтобы издавать свои книги в должном виде, это я более чем хорошо понимаю. Когда же какие-нибудь сукины дети, почему-то считающие, что именно они что-то там да смыслят в поэзии, спохватятся и осознают, что мир поэта — не калейдоскоп, в котором из разрозненных кусочков может сложиться некий случайный узор, а именно мир, живой, единый?

Я считаю, что тебе нет никакого смысла отбрыкиваться от твоих относительно ранних вещей (начиная с шестьдесят четвёртого года, мне известных), в которых уже был весь ты, пусть иногда в зёрнах, но ведь всходы последовали потом, считай — незамедлительно, сразу же, и какие!

Без всякой булды говорю тебе я, сам прекрасно знающий себе цену, что ты большой русский поэт, драгоценный мой современник — и, смею надеяться, друг мой.

С ужасом думаю я, каковы были прошедшие годы, когда оба мы, люди, сроду не демонстрировавшие гордыню, как некоторые из знакомых нам людей, а жившие на всю катушку, смело, даже отчаянно, два поэта, в чём-то, может, и полярных, но, если вдуматься, и родственных во многом, дышавшие одним воздухом, пившие, так их разэтак, аналогичные напитки, знавшие примерно тех же людей, умевшие работать, пронёсшие русское Слово сквозь нешуточные испытания, — умудрились, живя в одной стране, даже не поговорить толком, не поинтересоваться, что же, собственно, кто из нас пишет, хотя это, знаю, вовсе не от эгоистичности, коей оба мы не страдали, а как раз от того, как, каким образом складывалась судьба, протаптывалась стезя, и, конечно, голов наших как раз на это могло не хватить — ибо всё, решительно всё уходило в стихи.

Совершенно очевидно, что ты подлинный ас. Школа, учение — были. Но мне сейчас неохота думать о так называемом мастерстве, поскольку ясно, что стихи, ежели это поэзия, записываются, выдышиваются, диктуются свыше — и вообще у них своя жизнь. Лицо, почерк, голос. И прочие их приметы. Знаки опознавательные. Вехи. И маяки. Всё в стихах настоящих — своё. Незаёмное. Узнаваемое. Всё пристрастно в них. Огнеопасно. И ты это знаешь прекрасно.

Совершенно очевидно, поскольку глазомер и чутьё на слово у тебя врождённые, а в своей избирательности, требовательности к себе ты замечателен, — твоё невольное влияние на Куба и Пахомова — как, впрочем, и моё, — только этим ребяткам надо бы чуть поболее ума и таланта, чтобы хоть законспирироваться, — да где же взять им, беднягам, настоящие ум и талант, и даже навыки некие конспирации? — им не до этого: Куб давно, а теперь и тем более, делает всё для себя, но вовсе не для товарищей, думает ночью и днём лишь о себе, любимом, спит, наверно, и думает, как бы ещё и где бы выгоду изыскать для себя, став кубом в квадрате, или, может, квадратным корнем в кубе, или же кипятильным кубом, кто его разберёт, — а Пахомов лишь пьёт да пьёт.

И, тем не менее, хоть оба они, Пахомов и Куб, особенно Куб, такие-сякие, всё же они — товарищи, какие уж есть, но товарищи, так я упрямо считаю, хотя понимать начинаю, что могут быть настоящие товарищи и относительные, что настоящих мало, а относительных много, поскольку им очень удобно, выгодно и полезно числиться всей ордою в товарищах боевых, не имея на это права, подменяя его имитацией товарищеского единства и прочих достойных вещей, — и, тем не менее, всё-таки и тому, и другому я, желая им только добра, всегда помогу с публикациями в периодике, где удастся, ну а если будет возможность — даже книги издать помогу. Что поделать! Уж так я устроен. Есть товарищи — надо помочь. Не себе, а другим. Как всегда. В память прежнего нашего братства…

Стихи твои орфичны, но это орфичность особого рода, резко отличающаяся от моей, потому что, живя озарениями, в ладах с интуицией, я говорил часто, раньше особенно, наперёд, и сбывалось, это позже я стал строже, понимая цену мгновения, — ты же всегда включал осознание мгновения творческого, довольно-таки властно, тем самым намеренно, трезво направляя его в нужное русло — и даря ему жизнь в поэзии. Разумеется, то, что ты написал, — великолепный синтез, именно твой, личный, со всеми особенностями письма твоего и с твоими загадками и тайнами, приготовленными тобою частично для нынешних читателей, твоих современников, но в основном всё-таки, и тебе-то самому это куда лучше, нежели мне или ещё кому-то, известно, для читателей будущих, а таковые будут у тебя, и обязательно, — пусть потом расшифровывают, пусть ломают умные головы — слова сами подскажут им верный путь.

Крупных поэтов мало, их всегда, в любую эпоху, крайне мало, да много их быть и не может, ни к чему это, мера есть и в количестве этих поэтов, появляются они далеко не случайно, рождаются и работают они не одиночками, а плеядами, так повелось в России, да и не только в ней. Поэтому — о самом важном.

Самые истинные поэты — из породы сеятелей, как Хлебников и Анненский. То есть такие, которые дают возможность развития поэзии на века.

Со всей ответственностью утверждаю, что из всех известных мне нынешних, ещё живущих, поэтов — только двое мы относимся к сеятелям. Сюда же, пожалуй, отнёс бы я и Леонарда Данильцева, хотя сделал он неизмеримо меньше нас — а мог бы, наверное, больше создать, — впрочем, каждому своё, и каждый выражает в творчестве своём собственный путь, по которому ведут его силы жизненные, энергия и свет речи.

В прозе — Саша Соколов? Человек он талантливый. Есть у него открытия. И озаренья. Свои. Корневой, речевой есть дар. Что же! Что есть, то есть. Пусть, по спирали, по вспышке, пробует, выйдя в путь, мир на пути создать. Не так это просто, ты знаешь. Почему? Да как объяснить? Ничего объяснять не надо. Между тем я желаю ему, человеку, бесспорно, талантливому, — как всегда, совершенно искренне и открыто — новых свершений, новых книг, и добра, и счастья, и здоровья. Пусть пишет. Пусть трудится. Там, в тиши своей. Мало ли чем вдруг порадует нас он ещё? Дай-то Бог ему сил для этого. Поживём — увидим. Вот так.

Больше нет никого… Никого? Есть — чудесный Миша Ерёмин. Есть, наверное, кто-то ещё. Разумеется, кто-нибудь — есть. Где-нибудь. Но, конечно, есть. И когда-нибудь он — найдётся. Обнаружится. Выйдет к людям. Все узнают его тогда. Знатоки ему скажут: да. Как-нибудь. И зачем-нибудь. Понимание — тоже путь.

А пока что — я просто ворчу. А может быть — прозреваю. И что-то понять хочу. И слов своих — не скрываю.

Куба нельзя продолжать. Нет в нём давно — движения. Питается — старыми навыками. В гомеопатических дозах. Обтачивает детальки, вроде токаря. Любит подробности. Интимные — любит в особенности. С эротической подоплёкой. Но пускает их в ход нечасто. Чередуя с искусствоведческими рассуждениями. С наблюдениями убеждённого натуралиста. Развивает в себе гражданственность. Не в ладах с языком, увы. Совершенно не слышит музыку. Потому что — отсутствует слух. Да к тому же — и чувство ритма. Не в обычном смысле. Вселенского. Потому и самого главного. Пишет, пишет. С натугой дышит. Что с ним делать? Пускай живёт!..

Бродского — тоже нельзя продолжать. И те, в особенности молодые, сочинители, которые не удержатся от соблазна, и попробуют это делать, и втянутся в это, — себя просто-напросто сразу же перечеркнут, и днём с огнём не найдёшь в их текстах ни лица, ни собственного их голоса, — и уже на некоторых примерах можно это увидеть — и лишний раз убедиться в том, что коварен и вампиричен объект их почитания и продолжения, на деле — подражания и самокрушения, и вытягивает их них, бедняг, все жилы, и всю их кровь нездоровую выпивает, если есть вообще таковая, — и что же дальше будет, когда таких вот псевдопродолжателей разведётся несметное количество, безликих и безголосых, втянутых в чужое поле, пожираемых чужой, достаточно сильной по-своему, сконцентрированной в подобие некоей чёрной дыры энергией, отрицательной, подчеркну, вот что стоит знать и запомнить, — и что там будет с ними в дальнейшем, то и будет, и в этом сами виноваты они, а не кто-нибудь, — и некогда мне разбираться в этом, и незачем просто, — свой у каждого путь, свой выбор, свои взгляды на вещи, свои головы на плечах, или же отсутствие голов, ну а если не голов, то мозгов, или, и это существенно, просто-напросто, всего-то навсего, надо же, отсутствие оригинальности, самостоятельности, умения быть самими собой, а не чьими-то копиями, отражениями, фантомами, — нет, надоело мне говорить об этом, всё равно ведь их не исправить, и предоставим им возможность, которую вряд ли оценят они, простейшую и самую справедливую — разбираться во всём самим.

Питерские ребятки, с их промозглым рационализмом и отсыревшей в дождях и туманах имитацией раскрепощённости, свободы стиля и слога, с их ушибленностью обэриутами, коммунальным авангардизмом с Фонтанки, отдельно-квартирным абсурдом с Мойки, смесью брюсовщины с кручёныховскостью, бухгалтерской трезвости с кочегарской импровизационностью, дешёвой учёности с головным наивом, дотошности с развязностью, с их дутым самомнением, эклектизмом, школярской вторичностью, дворовым дадаизмом и болотным классицизмом, с этим их болезненным, шатким, валким, наркотическим, хлипким душком и с полнейшим отсутствием здоровой подлинности, меня зачастую смешат.

Кстати, умный и очень многое понимающий, прозревающий, несмотря на своё сознательное, многолетнее, принципиальное, концептуальное, может быть, или просто защитное, да, вроде лат и вроде щита, необходимое, видимо, в литературных сражениях и самиздатовских подвигах, питерское, конечно же, с обэриутской закваской, но не только с нею, ещё и с кручёныховской прививкой, да мало ли с чем ещё, если выработалось оно, как известно, давным-давно и во всём своём блеске прекрасно существует само по себе и подобий не ведает, ёрничество, Кузьминский долгие годы всегда выделяет из всей московской пишущей публики только нас двоих, и в писаниях, и в посланиях бурных своих.

Ни у Куба, ни у Бродского, ни у Кривулина не поднимется никогда язык и мужества недостанет, чтобы признать: кто-то пишет лучше их. Наплевать. Переживём.

В мире так всё устроено разумно, между прочим, что и у человека две ноги, а не одна. Потому и нас в мире двое. Никакая это не уравниловка, Саша, Боже упаси. И у нас есть свои недостатки. Но я говорю о позиции, а не о позе, о жизни, а не о пристраивании, о сущности дарования, наконец. В поэзии не может быть одного лидера. Но могут быть — двое, трое, пятеро… То есть именно плеяда. Это не спортивные соревнования. Это — душа и кровь.

Масштаб твоей поэзии таков, что всё, не вошедшее из-за «избранности» вынужденной, кричит, вопиёт, требует своего места на типографской бумаге — под солнцем-то, к счастью, есть у него место.

Нелепейшая, бредовая ситуация с изданиями, отравлявшая жизнь и ранее, приведшая к болячкам, драмам, заставлявшая, прежде всего, самим себе доказывать, что ты ещё прочен, что есть этот самый порох, что стоек ты, вопреки всему, так и норовящему подкосить эту стойкость, что выстаивал, поднимался ты из бед и в прежние годы не напрасно, и ещё выстоишь, и поднимешься, и в работе найдёшь спасение, и скажешь ещё своё слово, и действительно скажешь его, и сызнова скажешь, и останется это слово, как и встарь, на бумаге, в рукописи, в лучшем случае в самиздате, в этих наших бесчисленных сборниках самодельных, читаемых в основном людьми самиздата, надёжными и достойными, это так, и круг этот вроде широк, но изданий нормальных всё нет, и когда они будут — неясно, хоть должны ведь когда-нибудь быть, и опять восстаёшь и работаешь, говоришь своё слово, движешься дальше, глубже, вперёд и ввысь, а года идут, и растёт пресловутый «корпус» писаний, и чего-то светлого ждёшь, а его всё нет, — продолжается.

Очень удобно всяким субчикам не замечать нас, делать вид, что нас вроде и нет на горизонте, хотя мы есть и, знаю, ещё увидим свет при жизни, а уж в другой, пожалуй, жизни и водой не разольёшь, тогда и наверстаем упущенное, потому что нечего бояться, и придётся жить и здесь, и там.

То-то некоторые премудрые иностранные слависты и грамотные сограждане удивляются: что же это, мол, ни про тебя, Володя, ни про Величанского никто и не пишет, не говорит, не упоминает нигде (имеются в виду Айги, Рейн и прочие эгоисты, выезжавшие в западные страны)?

А я спокойно отвечаю:

— Мало ли как бывает, мало ли кому нынче утвердиться надо любой ценой,— а что касается нас, то Саше я, слава Богу, цену знаю — и уверен, что и он обо мне помнит всегда.

Качают иностранцы и сограждане головами, чудно им всё это, привыкли они в основном на бумаге читать, кто есть кто и какие имеет заслуги перед русской словесностью.

Вон Айги всё базу подводит под собственное творчество (а существует ли он в стихии русской речи? простой вопрос!), парижское издание: треть объёма — трактаты и толкования о нём, чувашская книжонка — шестнадцать стихотворений и куча цитат, какой он великий.

Когда Рейну нужна была книга и я помог ему с изданием, то поначалу, покуда всё решалось, я у него в ангелах ходил, когда же рукопись поставили в план — то вдруг оказалось, что, когда ни позвони ему, он всё занят и занят, и не до встреч ему, не до разговоров, то есть не до меня, поскольку дело-то сделано и книга выйдет с гарантией, и зачем я ему теперь, он вполне без меня обойдётся; ну, ему и было высказано соответственно, не больно пусть губы-то раскатывает.

Кстати, покойный Губанов, человек действительно талантливый (я вчитался в его тексты), с невероятным вниманием — из всех им читанных писаний современников — читал и даже внимательно, сознательно изучал (он мог это делать, поверь, не такой уж он был спонтанно-завихрённый, как некоторые считают) только мои и твои стихи, по-школьному, что ли, ревностно, по-мальчишески немного, и потом сам всегда кидался в бой, то есть писал своё, доказывал, что и он не промах. Было, было. Как жаль его. Вот перечитывал здесь мюнхенское его собрание стихов, перечитывал, потому что это всё мне было знакомо, и видел, какой он был трагический человек, и знаешь, что я подумал? Боже мой, сколько буйного нетерпенья, а надо бы, хоть немного, терпенья. Смирение тоже оружие, когда сам христианин, когда стихи духовны. У Лёни, несмотря на постоянное упоминание Храма и Бога, преобладало языческое, стихийное, младенчески-школьно-изумлённо-пугающе-втягивающее какое-то, не могу выразить, начало. Но вообще даже я не читал ещё полностью оставленного им свода, и ко всему следует подойти серьёзно.

По-настоящему серьёзный поэт — Николай Шатров, многое из его архива сейчас у меня, и я приведу это в порядок, ты ещё почитаешь и, думаю, оценишь. Хотя был он и старше тебя и меня (1929–1977) — увы, вместо всего-то одной даты, рождения, приходится теперь указывать и вторую, грустную, дату,— но я принимаю его к нам двоим, есть причины. Какой поэт!

Скажу, положа руку на сердце, да и просто, без всяких жестов, что как бы там ни складывались в былые годы судьбы и биографии, чего бы там ни пришлось выдержать, вытерпеть, пройти, перебороть, сколько бы ни было позади, на пути, утрат и обретений, что бы там ещё ни предстояло преодолеть впереди, один Бог это знает, но кое-что действительно толковое, стоящее, и даже не кое-что, а немало, да, немало, и это так, всё-таки у нас в отечестве за тридцать прошедших лет написано, и это и есть литература, и ты, полагаю, тотчас же согласишься со мной.

Тружусь постоянно, много. Бывает, что и прихварываю. Восстаю — из любых состояний. Надо — жить. И надо работать.

Отсутствие чеканного стиля, французистой логики, аглицкого толка афоризмов, изысканных оборотов, озадачивающих парадоксов, цитат на семи языках, включая и греческий, вкраплений максим и всяческой философской мешанины в дружеском письме, пожалуй, понятно для тебя — ни к чему всё это, и нам-то в особенности, посему — просто, как и раньше не раз бывало, говорю с тобой — издалека.

Славно было бы, если бы ты познакомился и подружился с находящимся ныне в Москве и решившим остаться в России Соколовым Сашей,— надеюсь, он приедет к тебе — об этом написал я ему недавно. Сообщаю его телефоны. Увидитесь — буду рад.

Каково мне здесь нынешним летом, у себя, на родине речи?

Прежде всего — привычно. Хорошо — для души. И — грустно. Почему? Объяснять не стану. Потому что ещё и светло.

Моему другу, эрдельтерьеру Ише (Ивасику), исполнилось два месяца. В доме нашем обитают ещё три собаки и котёнок. Ишка носится везде, куда только заносит его энергичное и юное изумление перед миром. Поэтому вчера отправились мы с детьми и с ним на реку, и там я нарезал полыни для него, Ишастика, чтобы защитить его, по народному способу, от блох. Сейчас друг Ишка, нагулявшийся и довольный жизнью, лежит на полу, рядом со мной.

Маше с Олей, моим дочерям, здесь очень хорошо, они растут, хорошеют, набираются сил на приволье, играют себе, вместе с дочкой брата младшего моего, в свои какие-то игры, общаются по-своему, читают, рисуют, накормлены, веселы и наверняка счастливы.

Отец и мама на пенсии, кое-что делают по хозяйству, я помогаю им, и материально, и физически. Дом есть дом.

Людмила осталась в Москве. Я без неё скучаю. Жду встречи. Вдвоём нам с нею — надёжнее как-то, праздничнее, справедливее в мире быть.

Ритмы жизни моей меняются. Возраст? При чём тут возраст? Пусть и немолод я. Вроде бы. Силы при мне. И немалые. Время дорого. Вот что. Время. Потому и работаю.

Иногда и грустно становится. Ну зачем, например, я начал переводить украинца? Опять самому приходится писать практически всё. Сдавать готовую рукопись надо в августе. В переводы втянулся — и сам не рад. Не от хорошей жизни взялся за это дело. И не только ведь я один перевожу эту самую поэзию народов СССР. Эпопея моя переводческая — история непростая. И всё лучшее — так и не издано, как всегда. Хотя сделано — много.

Перепечатываю помаленьку том стихов семьдесят четвёртого — семьдесят восьмого годов «Ночное окно в окне». В нём — слишком хорошо известное всем нам, отечественное, махровое безвременье, которое побеждал я Словом.

Не знаю, действительно ли ты написал вступительное слово к «Отзвукам праздников». Лучше никто не напишет, знаю. Сам ты всегда и во всём можешь на меня рассчитывать твёрдо.

«Удел» разослал я хорошим людям. Отправил и Марии Николаевне Изергиной в Коктебель. Первого июля поеду с детьми и с отцом к ней, двадцать первого июля снова буду в Кривом Роге.

Теперь ясно, что оба мы писали, каждый свою, большую, огромную книгу, единую. Увидим ли? Помнишь: «И тогда я открыл свою книгу в большом переплёте…»

В округе полно горлиц, живут они в моих стихах. Сковорода писал: «Счастіе, где ты живеш? Горлицы, скажите!»

Всё здесь знакомо и дорого. Почва, родина — здесь.

Из элегии давней моей: «а горлица — о друге…»

Не пью ничего спиртного, даже в мыслях этого нет. Может, отпили своё? Попиваю чаёк. Привык. Или — соки домашние вкусные, порою. Но больше — чай.

Третий день собирается дождь, никак не соберётся. В небе набухает, ворочается влажная сизоватая облачная масса, происходит некое роение, брожение, сгущаются цвета, и воздух закручивается пружинами, спиралями, и ветер налетает, а потом затихает, и вновь сквозит по листве, по её густоте зелёной, и терпко, пронзительно пахнут цветы, и птицы поют во всей округе без умолку, и дни полны шелеста, шорохов, звуков, отзвуков, призвуков, переплесков и вспышек света, шума, гула, журчанья воды в садах, мыслей, музыки, песен, загадок, недомолвок и тайн, обещаний, открытий, наитий, и мир остаётся древний, в новизне своей неизменной, непреложной, самим собою, и земля хороша родная тем, что силы даёт мне жить и дышать, — а дождя мы ещё дождёмся.

Югославы (Миливое Йованович и другие) просят меня составить для перевода толковую антологию лучших нынешних русских поэтов — уж я составлю, можешь быть уверен.

Подлечиться тебе, окрепнуть — просто необходимо.

Я — держусь. На упрямстве. На воле. Энергия — всё-таки есть.

Завершаю своё послание. Лизе — привет. Надеюсь до отъезда нашего в Крым весть от тебя получить.

Бог тебе в помощь, Саша. Всего тебе самого светлого.

11 июня 1989 года».

…В девяностом году, в августе, я вернулся с детьми из Коктебеля в Кривой Рог, в родительский дом. И решил написать Саше Величанскому, поздравить его, пусть и с некоторым, небольшим, запозданием, с днём рождения, с юбилеем, с его пятидесятилетием.

Александру Величанскому — неотправленное, незаконченное письмо.

«Дорогой Саша, драгоценный Леонидыч!
Я поздравляю тебя с твоим золотым пятидесятилетием от всего сердца. Желаю тебя света, здоровья и творчества. Будь крепок и крылат. Ведь ты Дракон, ты Лев с его солнцем. И это прекрасно.

Пишу тебе из отчего дома.

Восьмого августа, в твой юбилейный день, я с детьми находился в дороге — возвращался сюда из Коктебеля. И там, в дороге, всё принимался мысленно тебе писать, с тобою говорить, длилось это долго, да и вообще, видимо, это вошло у меня в привычку — находясь вдалеке, разговаривать с человеком, о котором думаешь и которому веришь.

Можем ли мы считаться друзьями — мы, знающие друг друга двадцать шесть лет, порою общавшиеся частенько, порой не видавшиеся годами, умудрившиеся пройти эти годы каждый по своей дороге? А что значит — можем ли? В тебе, едва ли не первейшем из всех моих современников, — по открытости взгляда, чистоте души и высоте духа — вижу я и чувствую светлого друга.

Алмазной ясности и крепости русский поэт, богема и отшельник, дитя и мудрец — всегда ты рядом, всегда.

Бог тебе в помощь. На всех путях — с Богом!

13 августа 1990 года».

Лиза!
Здесь письмо прерывается: что-то вдруг заставило меня позвонить Толе Лейкину — и я узнал тяжелейшую весть…

Вечер, ночь, утро — осознание утраты.

И понимание—чести, достоинства, Слова.
14 августа 1990 года.
(…И добавить мне к этому—нечего…)

…Поэт и читатель. Извечные—и неразлучные двое. Собеседники, единомышленники. Исповедующийся—и исповедник. Читатель, о котором поэт мечтает, в которого верит, которого ждёт. И поэт, открыв которого для себя однажды, читатель жаждет понять как можно глубже, «до самой сути», войти в его мир, будучи доверительным и внимательным путешественником в прекрасном, открывателем, ценителем и хранителем самых дивных сокровищ, которые только можно найти на земле—сокровищ человеческой души. Столь достойная и серьёзная тема вызывает целый вихрь ощущений, подобный шопеновскому фортепианному взлёту или стае птиц, взметнувшихся в высокое, полное красоты и значения небо. Сколько в этой теме возможностей для размышлений над книгами любимых поэтов, наедине с поэзией, сколько поводов для самых разнообразных сопоставлений и аналогий! Подлинное понимание, истинное постижение поэта—дело нешуточное. Это большой труд, приближающийся иногда по затратам умственных и сердечных сил к труду, затраченному автором стихов при их создании. Чем больше, значительнее читаемый поэт, тем значительнее и ответственнее, тем почётнее труд читателя. Русским поэтам повезло. У них всегда, на протяжении всей истории русского стихосложения, был, есть и будет свой, благодарный им читатель. Поэзия всею сущностью своей устремлена, прежде всего, к людям. Она создаётся для них, адресована им и в момент рождения, и через десятки и сотни лет. Поэт и читатель всегда движутся навстречу друг другу. Они ищут друг друга—и находят. Это взаимное притяжение ничем невозможно удержать. Оно сокрушает все преграды, ему неподвластно даже время. История—союзница читателя и поэта.

Что говорят обо мне—мои читатели?
Голоса их—перекликаются.
Голос мой одинокий—сквозь гул этот въявь различим.

<…> Вижу Сашу Величанского—рослого, длинноногого, худого, даже очень худого, но не анемичного, а как раз мускулистого, жилистого, подтянутого, с короткими кудрями, с глазами, раскрытыми в мир, то весёлыми, с искорками, то сощуренными, глядящими куда-то внутрь себя, в такую глубь, куда никому, даже приятелям, доступа не было, вижу его всё время в движении, в постоянном движении—резко встающего с места, срывающегося с места и устремляющегося неизменно вперёд, стремительно идущего по улице, мгновенно реагирующего на любую сказанную фразу, динамичного, порывистого, задумывающегося—так всерьёз, говорящего—так уж интересно, переполненного энергией, молодого, после службы в армии поступившего в университет,—осенью шестьдесят четвёртого, среди листьев и окон, днём, в сентябре.

Он сам подошёл ко мне—чтобы познакомиться. Происходило это на «психодроме», в дворике МГУ, на Моховой.

Тогда, как ни странновато это сейчас звучит и как ни грустно мне говорить об этом, был я уже известен как поэт. Меня знали в Москве. Да и здесь, в университете, ко мне постоянно подходили—знакомиться, звали куда-нибудь—почитать стихи, просто хотели—пообщаться. Я уже стал даже к этому привыкать. Приятно, конечно. Известность. Впрочем, было это лишь самое начало давней моей известности. Я не носился с собой как с писаной торбой. Нос вовсе не задирал. Был таким, каков есть. Просто—самим собою. Выгод никаких из этого и не думал для себя извлекать. Наоборот, нередко испытывал неловкость. Даже смущался. При всей своей тогдашней общительности—внутренне оставался замкнутым.

Сашу же тогда ещё никто не знал. Ну, может, почти никто. Были ведь у него приятели, знавшие о том, что он пишет стихи. Но те люди, с которыми я постоянно общался, его пока что не знали. Ничего. Вскоре—узнали. Я постарался его со многими познакомить. Сашиной известности в ту пору ещё только предстояло быть. Она едва начиналась. Но она состоялась. И я этому только радовался.

Итак, Саша подошёл ко мне—знакомиться. Мы пожали друг другу руки. Разговорились. И вдруг показалось мне, что я давно, хорошо его знаю. Более того—доверяю ему. Принимаю его—таким вот, каков он, Величанский, есть, полностью, без всяких оговорок.

Важно, что буквально на следующий день и Саша сказал мне напрямую, что сам он тоже ощутил какое-то особое родство со мною. А что тут удивительного? Всё дело было в поэзии и в том, что оба мы жили ею.

В тот раз, в день знакомства нашего, мы, конечно, читали друг другу стихи. Ну как же—без этого? Было это, наверное, что-то вроде визитных карточек. Почитали друг другу—и многое стало ясным. Само по себе. И слов никаких лишних не потребовалось.

Ах, что это за время было—когда стихи жили в устном исполнении, воспринимались—с голоса! Орфическая пора. Такое—не повторится. Хорошее бывает только раз.

Он почитал мне—своё. Я почитал ему—своё. И началось—общение. Творческое. Настоящее. Да нет, наверное—дружба. Особая. Дружба поэтов. Отчасти—соревнование. Больше—потому, что не общаться мы просто не могли. Конечно, это судьба. Разумеется, этого просто не быть не могло. Свыше было сказано: быть! Вот поэтому оба мы и восприняли это как должное.

Величанский был старше меня на пять с половиной лет. Разница в возрасте вроде бы и подразумевалась, но не декларировалась. Мы всегда общались на равных. Да ещё если вспомнить, как рано я начал писать стихи и как быстро сформировался как поэт, разница в годах и вовсе исчезала—за ненадобностью. Жили мы—настоящим.

Саша был человек совершенно московский. И, хотя и родился он в Греции, оторвать его от столицы было невозможно. Парень из благополучной советской семьи. Из московской золотой молодёжи. Отец—журналист-международник, со своими заграницами, положением. Английский язык—ну прямо как русский. Повадки, замашки. Компании. Пьянство—масштабное, крупное. Помимо университетских занятий на истфаке—неутомимое самообразование.

Многое приходилось ему навёрстывать после армейской службы где-то в Белоруссии, в лесной глухомани, в ракетных частях, где московская Сашина компания—Петя Шушпанов, Вадик Гинзбург, ещё кто-то—пребывала как в потустороннем мире, держались дружной, сплочённой стайкой, выживали как умели, как получалось, пили самогон и прочие напитки, пили регулярно и крепко, так, что, например, когда выпадала возможность побывать в соседнем селе, то Шушпанова, уже надравшегося так, что больше не было смысла добавлять, дабы он не потерялся где-нибудь по дороге, они просто зацепляли его собственным ремнём за забор, вывешивали, так сказать, на воздух, а сами отправлялись в свой поход и по возвращении в воинскую часть проспавшегося Петю с забора снимали,—впрочем, о периоде армейской службы московских приятелей куда лучше сказано в романе Шушпанова «Вброд через великую реку», до сих пор неизданном, а давно бы надо сочинению этому славному свет увидеть,—итак, после армии нужны были Саше—знания.

Он очень много работал. Помню его ранние сборники, подаренные мне. Стихи короткие, жёсткие.

«Сегодня возили гравий. И завтра—возили гравий. Сегодня в карты играли, и завтра—в карты играли. А девочки шлют фотографии, и службы проходит срок. Вот скоро покончим с гравием и будем возить песок».

Ну, это все знают. А вот:

«Выточил финку себе из напильника. Мне не в новинку—снова напился я. В клубе строителей хилому фраеру к радости зрителей в рёбрышки вправил я. …но светит мне—и не зацапали даже в свидетели».

Или такое:

«Трубят трубы гарью, над городом горечь. Идут хулиганы—за корешом кореш. И в чёрных машинах, зашторив оконца, кто делал ошибки—садовые кольца?»

Что это? Каково? Столичный интеллектуал. Дома—гора книг на английском языке. А тут—прямо от Холина что-то. Ну, пусть от старого Кропивницкого. Но всё-таки…

Были это—подступы к самому себе. Пробы. Именно так назвал Саша крошечный этот раздел ранних стихов в сборнике «Удел», изданном с помощью друзей много позже.

«Как в отсутствие Одиссея Пенелопа себя вела?—женихи её так и сели, так и бросили все дела. Только солнышко над Элладой—ткёт старуха что было сил, а им теперь ничего не надо—лишь бы выпил и закусил».

Саша много писал и неуклонно двигался вперёд. Рос. Да, безусловно. Собственные интонации прорвались уже вскоре.

«Не какой-нибудь там, а простой парусиновый парус, и порядковый номер, и буква на парусе том; паруса задыхались, как люди, как люди, трепались и белели, как люди, на синем, потом на седом».

Потом было:

«Кто,—спросили у меня,—знает этого коня? Я ответил, что скорее, вероятнее всего, это знают два еврея, два прекрасные еврея из картинной галереи возле дома моего».

Много чего было—потом.

«Я бы жил совсем иначе. Я бы жил не так, не бежал бы, сжав в комочек проездной пятак. Не толкался бы в вагоне, стоя бы не спал. На меня б двумя ногами гражданин не встал. Я бы жил в лесу усатом, в наливном саду этак в тыща восьмисотом с хвостиком году. И ко мне бы ездил в гости через жнивь и гать представитель старой власти в карты поиграть».

«Закат за осиновой сетью померк. И лёд выступает дыханья поверх. И яркая щель, что ведёт в магазин, всё ярче—с исходом небес и осин. И снег заскрипел высоко в небесах, и падал потом, попадая впросак, как в чашку лохматую сахар-песок—исчез на губах, на ресницах просох. Озимые люди по избам сидят. Спасибо, соседи когда посетят: ведь время—не сахар, и сердце—не лёд, и снежная баба за водкой идёт».

«Мои стихи короче июньской белой ночи, но долгим свежим сумраком окружены они. И вы о них мечтали среди стекла и стали в казённые безжизненные дни».

Саша сидел за пишущей машинкой, печатал один самиздатовский сборник за другим. Он тоже, как и я,—писал не отдельные стихи, а книги, мыслил—книгами. Как они складывались у него—не знаю. Да и вообще это тайна. Личная. Творческая. Главное, что книги он писал. Всё новые. И образовался у него постепенно свой круг.

Свои у него были — ценители, поклонники. Свои задачи — в поэзии.

«Крепчайшую вяжите сеть, но бойтесь умысла, улавливая суть (у истины запаса нет съестного: у истины судьба — на волоске висеть). Пусть вытекает слово, как море из улова, забыв свою оставшуюся сельдь».

«Ничего, ничего, ещё будет в чести эта малость тепла в человечьей горсти — стает снег под твоею озябшею тенью — только ты не забудь, не отчаивайся и прости. Ничего, ничего…»

Он, кажется, бросил потом университет. Но все его знания обширные были при нём. И талант его был очевиден.

«В продолжении рода спасенья себе не ищи: нищету своей памяти ты завещаешь потомкам — и не видят они, как ты медленно таешь в ночи — на глазах исчезают, окутаны временем тонким. Никого не вини. Никому не печалуйся в том. Одиноким виденьем становится жизни истома. А кругом — тот же скарб, тот же скрип у дверей — тот же дом, тот же скверик с детьми перед окнами зримого дома».

«Лист оборвавшийся в каменном городе кружит. В каменном городе — синие стёкла да камни. Камнем упала огромная первая капля в полуистлевшие старые пыльные лужи. Красный трамвай через мост продвигается синий. Чёрная очередь вьётся у жёлтой палатки. Серые листья на землю лиловую падки. Водки зелёной куплю поскорей в магазине».

«Ты не плачь, моя прекрасная, я молиться научусь, чтоб печаль твоя безгласная полегчала хоть чуть-чуть. Ты не плачь, моя печальная, — это мне не по плечу — чистым золотом отчаянья я за это заплачу».

«Столько нежности сжалось во мне, столько горькой тоски по тебе я вобрал в свою душу, что порой удивительно даже, как ты можешь ещё оставаться вовне, как ты можешь ещё оставаться снаружи — на чужбине ноябрьской стужи, на бульваре пустом с ледяною скамьёй наравне».

«За одиночество, мой друг, нам надо выпить — годы вхожи к нам запросто теперь, и ворох шуб и пьяный шум исчезли из прихожей. По улицам бегут весельчаки, к гитарам прислоняются чубами, и девочки чуть тёплыми губами улыбок открывают тайники. Лучатся фонари. И скоро — полночь. Итак, за одиночество, мой друг, единственное, может быть, единство. За время, удлиняющее ночь».

«Я научился плавать — знаешь где? — в эгейской Одиссеевой воде, да, по которой плыл к своей беде царь Агамемнон в наказанье — и ветер нёс обрывки кос Кассандры-кликуши, а на Патмосе пророк лежал ничком. Пророческая пена — предтеча будущего пепла — теснила берега ребячеший мирок… Два дюжих югослава, раскачав, меня в прибой швыряли, и волна мне помочь старалась выбраться на камни, ещё чуть тёплые сначала, сгоряча. Неподалёку от Афин, в воде не чуя огненного сплава, узнал я, что уменье плавать в том, что плывёшь один».

Работал — как все. В сторожах частенько. Ну а когда стихотворение «Под музыку Вивальди» стало песней и песню эту начали часто исполнять — некие скромные гонорары за исполнение песни приходили ежемесячно, равные примерно зарплате сторожа, — но и это ведь было кстати.

«Под музыку Вивальди, Вивальди! Вивальди! под музыку Вивальди, под вьюгу за окном, печалиться давайте, давайте! давайте! печалиться давайте об этом и о том. Вы слышите, как жалко, как жалко, как жалко! вы слышите, как жалко и безнадёжно как! Заплакали сеньоры, их жёны и служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И всем нам стало ясно, так ясно! так ясно! что на дворе ненастно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы когда-нибудь, Бог даст. И только ты молчала, молчала… молчала. И головой качала любви печальной в такт. А после говорила: поставьте всё сначала! Мы всё начнём сначала, любимый мой… Итак, под музыку Вивальди, Вивальди! Вивальди! под музыку Вивальди, под славный клавесин, под скрипок переливы и вьюги завыванье условимся друг друга любить что было сил».

Потом начались переводы. Константинос Кавафис. Вот, например, «Фермопилы».

«Честь и хвала всем тем, кто в этой жизни обрёл и защищает Фермопилы. Кто никогда не поступался долгом, кто справедлив равно во всех деяньях, но справедливостью печальной, милосердной; кто щедр в своём богатстве и тогда, когда он беден, — щедростью врождённой, готовностью всегда помочь посильно, кто только правду говорит и всё ж сам не унижен ненавистью к лгущим. Честь ещё большая им подобает, если они предвидят (а ведь многие предвидят), что под конец возникнет Эфиастис и что мидийцы обойдут их всё же».

Даже Шекспир. Почему бы и нет? И Шекспир. Чтобы в русской речи он жил. Чтобы голос Величанского он обрёл — в небывалой полифонии, в перекличке всех голосов, говорящих по-русски за него, в каждом случае — неизменно — по-новому, с каждым новым столетием — продолжающих говорить, ибо сущность поэзии есть движенье во времени и пространстве, в любых измереньях, в любых направленьях, везде, где всегда она дома и в гостях у души, ибо свет его слова долговечней иных. Перекличка так перекличка. Переводы есть переводы.

И все последующие годы — стихи, стихи, стихи.

А тогда, в сентябре шестьдесят четвёртого, помню, Саша впервые приехал ко мне на Автозаводскую — и читал с листа мою осеннюю книгу.

Сохранилась она, к сожалению, не полностью. Изрядную часть в тяжёлые минуты, о которых неохота вспоминать, я уничтожил. Саша читал мои стихи, впиваясь в каждую страницу взглядом. Читал — не просто усваивая, но — осмысливая. Входя в мой мир.

Несколько позже, зимой, там же, в комнате на Автозаводской, читал он начальные композиции моей книги «Декабрь — май». Вещи это сложные, в достаточной мере мистические, в чём сам я до сих пор убеждаюсь. Непривычными, слишком уж новыми, непохожими на всё остальное, с их спиралеобразным построением, пластикой, синтезом, казались они тогда людям. Вот и Саша вчитывался в тексты — с напряжением. Но вскоре, похоже, понял — по-своему — эти стихи.

Ещё позже, осенью шестьдесят пятого, он с огромным вниманием читал только что написанную мою книгу «Лето 65». И попросил у меня экземпляр книги, на время, домой. И там засел за машинку — и принялся её перепечатывать. И такой вот процесс усвоения текстов, когда, перепечатывая их самолично, человек лучше их постигает, как и в случае с Наташей Горбаневской, принёс свои плоды.

В чём-то Саша для себя — разобрался. Что-то важное для себя — открыл в моих писаниях. Такое, замечу, которое, как и Леонарду Данильцеву, дало ему некий нужный импульс для собственного творчества. Слава Богу, что так!

Саша сам говорил мне об этом. Откровенно. А что тут скрывать? Было это совсем давно.

Снег ли, дождь ли сегодня в мире — возвращусь я туда, где свет в сентябре золотист и молод, как и мы когда-то давно, не единожды. Вижу, вижу всё, что было со мною в прошлом. Понимаю — и говорю.

Память высветлит ненароком потайной сквозь пространство ход, напитает подспудным током каждый день мой и каждый год.

<…> Вспоминаю Диму Борисова — в шестьдесят четвёртом, всё той же прекрасной осенью наших дружб, общения нашего удивительного, когда ощущение славной плеяды росло и крепло во мне, — вспоминаю его в родительской квартире, просторной, светлой и чистой, где была у него своя комната, и дом на улице Жолтовского, солидный, стоящий несколько обособленно от прочих, осторонь от Садового кольца, неподалёку от Патриарших прудов, дом, перед которым росли деревья, от которого было рукой подать до сада «Аквариум», до метро «Маяковская», до одноимённой площади с памятником поэту, места тогдашних поэтических чтений, с рестораном «Пекин» и театром «Современник», — вспоминаю Диму — в его комнате, сосредоточенного, серьёзного, поглядывающего из-под очков на гостей, не столь уж частых здесь, что-нибудь говорящего — разумеется, интересно, переполненного информацией, знающего так много, что казался он кладезем эрудиции, просветителем, да и только, — память его в самом деле вмещала многое — и охотнейшим образом он им делился с нами тогда, и включались мы в разговор, интересный для всех и полезный, — а потом возникала идея куда-нибудь переместиться, чтобы там продолжить общение, и звонили, и договаривались, и, собравшись поспешно, все вместе выходили мы в осень, в сентябрь и куда-то шли, разговаривая, и совсем не хотелось нам расставаться, и день сменялся гулким вечером, ночь надвигалась, надо было успеть на метро до закрытия, чтоб добраться домой, мы прощались, разъезжались, — но утром снова мы встречались — в университете, на занятиях, на «психодроме», шли пить кофе в «Националь», благо, стоила чашка кофе копеек семь, ну а в «Марсе» и вовсе дёшево — пять копеек, — ну а потом возникала опять идея всем собраться где-нибудь вместе, почитать стихи да и выпить, и куда-то ехали мы, и в компании нашей Дима был, конечно, лидером, — впрочем, все мы были тогда полны молодой энергией, — так вот, непрерывно, спиралеобразно, вместе с осенью, вместе с дружбой, время шло — но его так много было — в сердце, в душе, для творчества, для учёбы, для дружбы, для жизни, что, казалось, надолго хватит, как и света в былом сентябре.

<…> Вижу Сашу Соколова — чуть сутулящегося, хоть и крепкого, всё поглядывающего из-под чёлки цепким, частности схватывающим, подробности запоминающим взглядом, — там, в начальную пору СМОГа. Почему-то мы с ним — перед зеркалом. Говорим. Вернее, он — слушает. Говорю — лишь я. Но о чём? Ну-ка, зеркало, вновь напомни! Говорю я ему о том, как привык я сопротивляться всяким бедам, всему, что мешает, что обязан я победить, — и для пущей убедительности принимаю боксёрскую стойку — и луплю кулаками нечто, пусть невидимое, но явственное: так вот! так ему! получай! не мешай дышать и работать! убирайся! сгинь! пропади! резче, чётче, ещё точнее, всею массой — удар! удар! — что, не нравится? — то-то, впредь будешь знать, на кого попёрло! — ты получишь своё — всегда! — отвяжись, рассыпься, исчезни!.. Никакой не спектакль. Привычный и давнишний мой — бой со злом. Саша слушает, Саша смотрит — и молчит. Мотает на ус. Взгляд его — сквозь зеркальную гладь, сквозь его отражение в ней — ускользает куда-то, потом — проникает вглубь, исчезает — непонятно где. Саша входит, словно в дверь открытую, в зеркало. Здесь он, рядом, — и нет его. Там он, где-то, — и всё же здесь. Где же он? Между тем, кто здесь, и ушедшим в зеркало. То есть в ирреальном он — и в реальности. В измерении соколовском. Личном. Тайном. Открытом вдруг. Он — на грани. А что — за гранью? Саша думает. Он напряжён. Там,

в грядущих семидесятых, он пройдёт сквозь иное зеркало — вглубь и вдаль — и уже останется — там, за гранью. Причём надолго. Приютит его зазеркалье. Навсегда ли? Поди гадай!

<…> Вспоминаю Игоря Ворошилова — работающим. Он в моей квартире. Временно обитает. Намаялся где-то. Пришёл. Отдышался. И вот — потянуло к трудам. Он рисует. Сидит в углу — здоровенный, сгорбленный над случайным листком бумаги, который держит у себя на поджатых коленях, подложив под него картонку. Листок расцветает, живёт. Он тянется за другим листком. Потом — ещё. И ещё. И так — покуда не изрисует целую пачку бумаги. Ну а потом — перерыв. Смотрим рисунки. Радость. Ворошилов устал, но доволен: слава Богу, что есть возможность поработать! Знал: перемучится — и опять придёт состояние равновесия и подъёма. Я за друга рад несказанно. Вечер. Музыку я включаю. Осень плещется вместе с дождём прямо в окна. Возможно, кто-нибудь из бессчётных моих знакомых к нам заглянет на огонёк. Ну а может, никто не придёт. Зажигаю свечу — и вижу отраженьё её в оконном запотевшем тёмном стекле. Ворошилов встаёт. Я вижу в том же самом стекле оконном отраженье лица его. Со свечою — лицо. Два знака. Два источника света. Вставший, в тёмной глуби оконной вижу рядом с ними — своё лицо.

<…> Вижу Аркадия Пахомова — на заре его артистизма житейского. Полный стакан в руке. Вино. А может, и водка. Градусы нипочём русскому богатырю! Короткая стрижка. Лоб с едкой морщинкой. Глаза — этакие с прищуром. Отсутствие бороды — пока что. Потом — появится. Как и у всех знакомых. Как же — без бороды? Но пока что её нет. Щёки и подбородок — выбриты. Рубашоночка свежая. Пиджачок. Выглаженные брюки. Ботинки — как раз по ноге, вычищенные. Ухожен. Дома о нём — заботятся. Нагуляется — и возвращается. Отоспится, сил наберётся — и вновь на подвиги. Так и живёт сочинитель стихов — про крольчат, про товарный, про Пугачёва и даже про Ленина — думающего, глядящего на облака. Стоит со стаканом Аркадий. Потом — выпивает залпом содержимое. Крякает, ухает. Со вкусом. Вполне артистично. Закусывает — символически. Закуривает — с удовольствием. И вот он — уже в настроении. Даже, возможно, в ударе. Начинает рассказывать — байки, всяческие истории из жизни литературной. Здесь он — неподражаем. И даже неотразим. Слушатели — довольны. Нравится им всё это. Надо уметь — рассказывать. Не всякому это дано. Пахомов — умеет. Он — в центре вниманья. Он — главный в застолье. Он — самый важный. Здесь он — царит. В кругу знакомых — ему хорошо. Все у него — в приятелях. Все у него — в друзьях. А если не все, то — многие. Так вот, за годом год, рассказывает Аркадий байки свои. Постепенно начинает он повторяться, заговариваться. Он теперь — бородат, как и все. И немолод. Но всё ещё — артистичен. Привык. Иначе — нельзя. Есть у него, кроме баек устных, ещё и басни — записанные на бумаге вроде бы. В девяностых, обычно выпивши, ночью, негаданно позвонив, чтоб, как и встарь, пообщаться, пусть и по телефону, читает он эти басни — с выражением, артистично, — мне, например. А то и хочет поговорить по душам. Но звонит — всё реже. Да и я бываю нечасто в Москве, где вырос Пахомов, где его артистизм расцветал. Приключений бывало вдосталь у него. Стихов — маловато. Но зато — все их помнят. И в книге — есть они. Книга — есть у друзей, у приятелей, у знакомых, у любителей литературы. Есть Москва, и в Москве — Пахомов. Есть Пахомов — жив артистизм, пусть он выцвел слегка, износился, по дорогам поистрепался, поугас в бесконечных застольях, — он упрям — и Пахомов упрям. Потому и живёт как хочет, по законам — своим, незаёмным. Потому и поэзию любит — в жизни, в дружбе, в писаньях своих, в байках, в драмах, в романах, в заработках, в телефонных беседах, в памяти — о хорошем, о самом лучшем, о былом, о таком дорогом. День за днём собираются в годы, ну а годы — в десятилетья. В них присутствует — он, Пахомов. С артистизмом своим. В Москве вряд ли сыщешь другого такого. Колоритнейшая фигура. Не хухры-мухры. Помнят многие выпивоху и балагура. Помнят, помнят столичные жители в какбывременном разобщенье человека, в котором видели то плывущего по теченью, то казавшегося невиданным удальцом — и в геройстве этом так доселе и не увиденным. Ну а был он — и есть — поэтом.

<…> Вижу Юру Крохина — таким, для которого открыт я был когда-то. Потому что верил я ему. Помню: с ним беседуем в Крыму, в Коктебеле. Я-то думал, что беседы мы продолжим и в Москве. Не тут-то было. Видно, путь иной у человека. И задачи у него другие. Да и цели. Всякое бывает. Был бы ясен свет и зорок взгляд на пути ином у человека. В мире этом — есть моё окно.

<…> Помню Мишу Соколова, Михалика — так все мы его называем, — там, всё в том же сентябре, когда вместе мы учиться начинали в университете — и мгновенно сдружились. Оказалось, что это — надолго. Миша был уже тогда — серьёзным. Сосредоточенным — на том, что важным было для него. Так что же, весь — в себе? Нет, конечно. Был и компанейским парнем. Но способен был — мгновенно, в ситуации любой, переключаться на своё, на то, что там, внутри. Непрерывная работа шла в нём. Был он создан для труда. И этот труд был, конечно, творческим. Но тоже — не таким, как

у прочих. Будучи поэтом, он сумел поэзию внести и в искусствоведение. Книги, им написанные позже, говорят именно об этом. Сам он — сед. И куда серьёзнее, чем прежде. Он известен. Мир он повидал. Ходит по музеям заграничным. Дочку ездит в Лондон навещать. А в Москве он — человек домашний. Вечно за компьютером сидит. Пишет. Размышляет. Он — в трудах. Целых тридцать восемь лет назад, в коридоре университетском, встретились впервые мы. Теперь изредка мы видимся, поскольку он — в своих трудах, а я — в своих. Но вниманье прежнее — осталось: в нём — ко мне, во мне — к нему. К трудам нашим. Ко всему, что в судьбах наших. Всё — не так-то просто. Всё — всерьёз.

<…> Говорю я — кому? Говорю. Почему? Потому что — надо:
— В одиночестве давнем своём жив я всё-таки — видит Бог!..

…Вырос мальчишка на Криворожье. С самого раннего детства исходил он босыми ногами своими не одну тропку, не одну дорогу, постигая, впитывая в себя мир прекрасных наших степей, мир открытого неба и щедрой земли украинской. Небо давало ему свет, пение птиц. Запрокинув голову, с изумлением наблюдал он за дивным рисунком облаков. Земля дарила ему щедрые токи бытия. И шелестела под ветром листва на деревьях, и текли наши древние реки — Ингулец и Саксагань, и гордо высились тополя, и клонили головы свои к воде плакальщицы-вербы. И впитывал всё это в сознание своё мальчишка, очарованный, поражённый открытиями. Вообще, в природе криворожских людей, в человеческом их существе есть поистине необъятная, иногородним людям недоступная тайна. Рыбаки, охотники, сильные и отважные люди, бродят они порою над рекой в задумчивости, ищут одиночества, или наоборот — жадно, неистово стремятся найти собеседника. Словно внутренняя, тонкая музыка звучит в них, когда видишь, как вдруг загораются их глаза, точно прозревают они что-то важное, неповторимое. Быть может, это нити вечности протянуты к ним, веянье земель наших осеняет их, вызывает размышления, словно старая песня украинская звучит в сознании, и увлажняются очи, и приходит прозрение, и смысл благословенной земли становится ясен, и гордость за неё окрыляет душу людскую. Многоголосая, вечная, прекрасна ты, наша земля! Много бродило по тебе племён, много повидала ты на веку своём, и взрастила ты удивительное племя…

(…Уцелевший случайно кусочек давней прозы моей — об отце. Но, впрочем, и обо мне самом. Я и сам — оттуда, с этой земли. Я и сам там вырос…)

<…> Нынешнюю эпоху, действительно хаотичную и тревожную, некоторые, с оглядкой на отечественную историю, упорно именуют Смутным временем. Но, быть может, это просто затянувшееся междувременье, поскольку неустойчивое наше бытиё, полное неопределённости и метаний в поисках приемлемых ориентиров, както зависло между уже отторгнутым прошлым и ещё не наступившим будущим, в котором пока что одни астрологи прозревают желанное просветление.

Сейчас, на стыке двух столетий, сознание сограждан находится в состоянии болезни. Сие заболевание — следствие не только пережитых обществом почти восьмидесяти лет советского режима, но и всякого рода современных экспериментов. Люди ищут почву под ногами. Чутьё и стремление выжить ведут их не к призрачным вершинам благополучия и всеобщего счастья, а вглубь — к истокам, к корням. Значит, пора разобраться: кто мы такие? Кто наши предки, наши герои, наши поэты? Мы на распутье. Чтобы двигаться дальше, надо осмыслить себя — в истории и повседневности.

Тем более замечательно, что именно в такие дни появляются весомые, устойчивые, насущно необходимые книги, куда больше говорящие о «потенциале», о величии русского духа, о бессмертии русской поэзии — этом ключе единенья веков, чем все оптом догадки и заверения подобного рода. Из хаоса, прямо как в мифологии, вновь возникает стройный мир.

Яркий пример такой вот прямо-таки целебной книги — вышедший в издательстве «Педагогика-Пресс» 945-страничный том: «Николай Заболоцкий. Огонь, мерцающий в сосуде. Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества». Издание это — самое достойное «семейное предприятие», какое только можно представить: в нём приняли участие вдова, сын и дочь Заболоцкого. Велика заслуга и редактора книги, сделавшего читателям поистине царский подарок.

Новые времена — новые веяния. Идеи не только носятся в воздухе, но и обретают плоть. Появляются книги нового типа. С любовью и тщанием составленный том — что это? Обдуманно подобранный свод текстов — стихотворений, поэм, переводов, прозы, произведений для детей, писем, дающий должное представление о различных гранях выдающегося таланта? Своеобразная энциклопедия? Увлекательный справочник? А может, учебник? И то, и другое, и третье, и прочее. А иконография поэта? — необходимым компонентом она входит в книгу, являет с текстами единое целое. Словно просвечивает сквозь книгу — икона, на которой вокруг центрального образа расположены клейма со сценами жития.

Что же это за уникальная книга? Есть в ней все вышеназванные компоненты. Допустим, это учебник, не имеющий аналогов, Да, учебник, если хотите. Потому что всё творчество Заболоцкого—такой вот учебник, небывалый учебник жизни и поэзии, которому самое место в школах, который можно и должно изучать в школах. Вдумчивое изучение его стихов—лучшее лекарство от заблуждений, пример и урок обретения своего пути.

Несмотря на большой объём, книга не перегружена. Абсолютно во всём—в подборе материалов, в их монтаже, в последовательности, в сопоставлениях—такт, вкус, чувство меры. Понимаешь, что немало материалов осталось за рамками издания, они угадываются, как в дымке, но отодвинуты они сознательно, чтобы не мешать восприятию основного, жизненно важного.

Напрашивается мысль о режиссуре—ведь книга именно «срежиссирована», как фильм, а может—миракль. Жизнь и творчество поэта развёрнуты перед нами на удивление широко, полнокровно, но одновременно—и доходчиво, с той сдержанной простотой и строгостью, каковые вообще были свойственны манере письма Заболоцкого. Это, прежде всего, интересно.

Книгу читаешь, не отрываясь,—так она увлекательна. Но в процессе чтения нечто монументальное, эпическое чудится за строками типографского набора. Возникает аналогия с храмом.

Чудо и повседневность, пережитые беды и удивительные прозрения существуют рядом на страницах этого тома. Хрестоматийность? Безусловно. Заболоцкий сплошь хрестоматиен. Более того, стихи его полезны для ума, целебны для души. Помните?

«И тогда я открыл свою книгу в большом переплёте, где на первой странице растения виден чертёж…»

За тобою—прожитые дни, облака, встающие отвесно, всё, чему в сознанье стало тесно,—так раздвинь завесы и взгляни—не туда, где были мы с тобой молодыми, смелыми, хмельными, а туда, где ранами сплошными изморщинен плещущий прибой.

…Стоял июнь. Приехал Кублановский.

Прибыл—на пару с дамой.

—Здравствуй, Володенька!

—Здравствуй!

—Можно?

—Входи!

Приехал сюда—отдохнуть. Знать, от трудов праведных.

Ну что же! Вольному воля. Принял. Привёл их в дом.

Сон мой—о Кублановском.

Заманил он меня за границу. Не куда-нибудь, а в Париж. Зачем? Поди догадайся! Почему—в Париж, а не в Мюнхен? Почему, например, не в Лондон? Там живёт Володя Брагинский, ныне—житель британской столицы, уважаемый всеми профессор, знаменитый востоковед, в давнем прошлом—друг мой московский, но ещё и хороший прозаик; мне приходится кумом он, потому что он крёстный Оли, младшей дочки моей,—и он-то, вспомнив дружбу нашу былую, осадил бы, наверное, Куба, пожурил бы его, небось: что ж, мол, ты, такой да сякой, вдруг срываешь с места Володю и зовёшь незнамо куда, в совершенно ему ненужный, хоть, конечно, весьма колоритный и теперь-то вполне доступный, сотни, тысячи раз воспетый всеми в мире, кому не лень, пресловутый, да всё-таки дивный, как известно, славный Париж? И Куб смутился бы сразу. И, может быть, передумал. Но Брагинского не было рядом. И некому было пресечь, в корне, понятно, в зачатке, преступные замыслы Куба. И Куб меня заманил довольно легко—в Париж.

Опоил меня чем-то Куб, уж сумел, исхитрился как-то, улучил момент, расстарался, заморочить сумел мне голову бесконечными байками, россказнями о красотах западной жизни, о свободе за рубежом, сладкой, лёгкой, всем по карману, и тем более—нам двоим, нам, товарищам старым, смогистам, при советской власти известным во пределах отчизны нашей, ну а также, что было, то было, за пределами нашей отчизны, нам, соратникам, нам, поэтам, да, поэтам, певцам свободы, уж такой, какою она представлялась нам в дни страданий и гонений, то есть особой и никак уж не зарубежной, а, скорее, сугубо личной, и, наверное, так и надо, да, конечно же, так и надо, то есть так было раньше надо, а теперь, как мне разъяснил рассудительный и сметливый, даже, может быть, и толковый, приживавшийся всюду Куб, мне пора бы вкусить свободы совершенно иной, парижской, се ля ви и шерше ля фам, пуркуа, ля мур и бонжур, мон ами, бель Пари, уи, то есть той, что мне неизвестна, по его же словам—чудесна, эх, свободы глоток испить бы, погулять бы, во всю бы прыть бы побежать бы к цели конечной, чтоб с улыбочкою беспечной смаковать несравненный вкус жизни, той, что мне и не снилась, но с которой любой француз на короткой ноге, чтоб длилось наслаждение бытиём и успело в сердце моём поселиться, укорениться, чтобы позже ночами сниться, как случается с Кубом это,—и какое там чудо света, ну, по счёту, эта свобода?—что за счёты?—свободе—ода!—одурманил, такой-сякой, бывший житель парижский, сознание.

Но не алкоголь это был! Так что же? Да кто его знает! Учёл, разумеется, Куб, что я много лет не пью. Уж что-нибудь да подмешал, какое-то зелье коварное—из рыбинских, знать, лесов, из мшистых болот—в мой чай. И зелье сие—подействовало. И я согласился вдруг с ним ринуться в путешествие, вдвоём. В Париж так в Париж!

И вот мы уже в самолёте, как-то сразу в нём оказались, как-то слишком уж быстро, стремительно, так, что трудно такое понять, нет, не трудно, а невозможно, причём я зачем-то — с вещами (наскоро собирался), — сумка, но что в ней — не помню, что-то сунул туда наобум, ведь летим не куда-нибудь, а в Париж, к зарубежной свободе, где нарядные люди гуляют посреди Люксембургского сада, где летят к Елисейским полям песни Лёши Хвостенко, а следом тень Максимова молча летит, чтобы в тихом небесном кафе или в баре каком, в зазеркалье, пообщаться с тенями Галича, Делоне и даже Синявского, и, конечно, с тенью Некрасова, помянуть журнал «Континент» добрым словом, а с ним и «Синтаксис», а потом раствориться в листве, за которой сквозит, истаивая на ветру, диссидентское прошлое эмигрантов, поэтов, прозаиков и художников, словом — всех, — да, я в куртке, и в старых джинсах, и в футболке, но то ли в стоптанных, в меру рваных домашних тапочках, то ли даже, увы, босиком.

Летим. Потому что — везут. По воздуху перемещают. Несут. Как под белы ручки. В пространстве. Сквозь время. Вперёд. Под музыку. Что, Вивальди? Без музыки. Только моторы гудят. Стюардессы разносят напитки, закуски. Летим. Во Францию мчимся. К свободе. Не нашей, а заграничной. И вот мы почти у цели. И вот уже — прилетели.

А деньги — мои, разумеется. Откуда у Куба деньги? Он служащий. Служит в журнале. Работник печати. Зарплата — сто долларов в месяц. Гроши! Ну, впрочем, возможности есть ещё подработать. Он шустрый. А так, для других, он бедный. Особенно — для друзей. И просто-напросто нищий. Хватило бы на метро. Не кормит его секретарство в Союзе писателей. Трудно прожить бедняге-поэту в суровое Смутное время, среди сплошных новых русских, на даче ли в Переделкине, в редакции ли новомировской, везде, куда ни посмотришь, везде, куда ни шагнёшь, сплошные трудности. Сложно на свете нынче прожить. Не то что мне! У меня зарплаты и вовсе нету. И заработки ничтожны, случайны. Однако я нашёл на поездку денег. Для нас двоих. Я сказал:

— Что ж, Юра, коли зовёшь, поедем за мой счёт!

Он говорил — квартира есть у него там, в Париже. Есть где остановиться. Город посмотрим. А там — поглядим, что делать, как быть. Поживём — увидим. Всё будет, как везде говорят, о'кей. То есть — всё хорошо. И так далее.

Прилетели. Я возбуждён.

Мы спустились по трапу вниз.

Мы стоим на земле французской.

Мы в Париже. Ну и дела!

Но чего-то вроде бы всё же не хватает. Чего же? Эх, так и есть. Спохватился поздно. Вспомнил. Сумку забыл в самолёте.

Говорю я об этом Кубу.

Он, с усмешкой, с небрежным жестом:

— Ничего, потом отдадут.

Ну, ему виднее, наверно. Знает что говорит. Бывалый. В заграницах поднаторевший. Отдадут — значит, отдадут.

Куб ведёт меня за собой.

Он в очках, с подбритой бородкой.

Он идёт небрежной походкой.

Парижанин. Герой. Плейбой.

Гость варяжский. Ума палата.

Мы — в Париже. Идём куда-то.

Куб — шагает.

И я — за ним.

(Чем-то смутным уже томим.)

Он — к машине, к своей машине, ждущей его на стоянке возле аэропорта, — странная, вроде «фольксвагена», а всё-таки не «фольксваген», какая-то слишком гибридная, сборная, чужеродная в мире автомобильном, чуть ли не потусторонняя, чёрная, с перебором в цвете, черна как ночь, попросту жутковата, этакий скарабей, смешанный с пауком, с тёмными скользкими стёклами, с откидным суставчатым верхом.

Открывает бесшумную дверцу тускло блеснувшим ключом. Садится за руль. Устраивается на сиденье. Включает двигатель. Делает знак мне рукою, этак вальяжно, лениво, чуть ли не снисходительно: что ж, мол, стоишь? — залезай. И я залезаю в машину. Сажусь на сиденье переднее, поудобнее, справа от Куба. Он сразу же с места срывает фольксвагенно-скарабеево-париже-паукообразную, как ночь европейская, чёрную, гибридную, жуткую, сборную, как сам он, машину свою. Шины шуршат по асфальту, чистому, без колдобин, вымытому стиральным — всю грязь долой — порошком, старательно вымытым, с толком. По улицам, просто стерильным в своей чистоте наглядной, мы едем. Едем — в Париже. Движемся. Едем — вперёд.

Едем куда-то, едем. И всё никак не приедем.

Куб — за рулём. В очках. С подстриженной жёсткой бородкой. Правит он экипажем. Своим. Гибридом «фольксвагена» со скарабеем, ночью, мраком и пауком. Куб — он и здесь, в Париже, как сыр катается в масле, и жить ему в мире удобно, поскольку он просто — Куб. Куб — из-под глыб? Ему люб цивилизации лоск. Он мягок порой, как воск. Лепи из него, что хочешь? Нет, он не мягок, а гибок. Ловок даже. Он вроде рыбок, проникающих вмиг сквозь сеть на свободу. Ну как смотреть на него? Что гадать о нём? Он играть не любит с огнём. Никого не видит вокруг. Никому никакой не друг. И тем более — мне. Зачем с ним я здесь? И кому повем в граде этом печаль свою? Что мне делать в чужом краю?

Куб молчит. А мотор урчит. Едем, едем. Душа кричит об опасности — чует, ждёт. Сердце громко тревогу бьёт.

Куб на меня и не смотрит. Смотрит—куда-то вперёд.

И вдруг, ни с того ни с сего, непонятно—зачем, как-то сразу, слишком резко, так, что раздался громкий скрежет из-под колёс,—останавливает машину.

Вид у него—демонический, только дурного толка.

Голос—глухой, механический, и злая сквозит в нём иголка.

— Выйди-ка на минутку,—говорит сквозь зубы,—тут надо…

Что надо? А кто его знает!

Что-нибудь, наверное, надо.

Я из машины—вышел.

Он этак махнул рукой, блеснул сквозь очки глазами, нажал какую-то кнопку на пульте какомто—что-то с кривой усмешкой нажал,—откидной суставчатый верх раскрылся мгновенно: фр-р-р!..—и нет никого, и нет ничего—нет ни его, ни машины!

Я остался в Париже—один. Состояние—просто ужасное.

Иду куда-то вперёд. Улицы, всюду—огни. Слишком уж много огней. И всюду—чужие люди.

Одного из прохожих всё-таки спрашиваю по-русски:

— Как пройти туда-то?

Напрасно—просто не понимает.

Куда, к кому мне идти? Тоска. Опять одиночество. Теперь—уже на чужбине.

Иду: большая, широкая, полная блеска улица, люди в модной одежде, сверкающие витрины. Замечаю совсем случайно: это надо же—я, оказывается, по столице французской шагаю просто-напросто босиком.

Асфальт под подошвами тёплый, но всё же… неловко, право, и не очень удобно, конечно, и не очень прилично как-то в таком вот виде идти в бурлящей людской толпе заезжему иностранцу, то есть мне, к тому же—поэту. И потом: ведь я же в Париже! Не где-нибудь. Именно здесь. Не хиханьки это. Не шутка. Отчаянье. Ну дела! Кошмар. Куда мне деваться?

Вижу вдруг—магазин. Витрина, в ней—товар заманчивый: обувь. Открываю стеклянную дверь. Захожу. На полки гляжу. Вижу: шлёпанцы есть, сандалии. То, что надо. Как раз для меня.

Говорю продавщице конфетной, с отчаянием, по-русски:

— Дайте это!

(А что за «это»—сам не знаю. «Это»—и всё.)

Лихорадочно роюсь в кармане, весь на нервах: деньги-то где? Где искать их? Есть ли они? Есть? Остались? Или исчезли—как и Куб—неизвестно куда?

Переминаюсь босыми ногами. Неловко мне так вот, в таком виде, в такой ситуации, обращаться к кому-нибудь, говорить о чём-нибудь с кем-нибудь. Вдруг подумают: ишь, босяк! Или—бомж. Или—как там, у них, говорят о таких?—клошар. Только этого мне не хватало! Как им скажешь, что я—поэт? Не поверят, небось. Босой ведь. По-французски не говорю. Объяснить не могу им внятно, кто таков я, откуда здесь, что со мною произошло. Что за дело им, парижанам, до меня? Им не до меня.

Просто ужас. Тоска. Один! Совершенно один—в чужом, до того чужом, что не знаю, как и выразить это, городе, в совершенно чужой, не нужной для меня, пусть и вправду прекрасной для других, распрекрасной для прочих, но ко мне равнодушной стране.

А конфетная продавщица, подавая примерить шлёпанцы (или, может быть, всё же сандалии?), улыбается мне приветливо и отчасти загадочно, смотрит мне в глаза взглядом сытой птицы—и отчётливо так говорит:

— Мы по-русски здесь понимаем!..

…И я в ужасе просыпаюсь.

Сердце ломит. Ну вот. Валидол.

Слава Богу, я здесь, у себя, в Коктебеле. Я дома. Дома! Постепенно я успокаиваюсь.

Ну и Куб!—ну и ложь!—заманил—и куда?—заманил—и смылся…

Вспоминаю слова—не случайные!—Соколова Саши слова, со значеньем, видать, им сказанные десять лет назад, в бурном, щедром на поездки, встречи, возвращения, странном восемьдесят девятом, в ноябре, перед слишком уж необычным, торопливым, на скорую руку, вместе с группой телевизионщиков, моим отъездом в Париж:

— Куб в Париже все ходы и выходы знает!..

Сейчас—девяносто девятый год, июнь месяц.

Я—в здравом уме, у себя в Коктебеле, в своей спальне.

Куб—дрыхнет с дамой наверху, в мастерской.

Париж—неведомо где. Но только не здесь, в Киммерии. Здесь—нет его. Это уж точно.

Такая вот,—как приговаривать любят порой романисты, авторы книг приключенческих, а может, и романтических, и даже отчасти мистических—поскольку без мистики, братцы, в мире шагу нельзя шагнуть, и тем особенно—в Коктебеле, и тем более—на излёте века нынешнего, на грани, здесь, у моря, на самой кромке уходящего навсегда неизвестно куда и зачем небывалого тысячелетия, перед веком новым, пока что для людей, ненадолго, незримым, но душой уже различимым и сознаньем воспринимаемым как оправданное и заслуженное продолженье пути земного, на котором выстоять надо и сказать своё слово в мире, перед новым тысячелетием, перед всем, чему следует быть, перед светом и перед Богом,—такая вот, говорю и я, автор этой книги,—такая вот многозначная, таинственная, многосмысленная, мистическая, без сомнения, романтическая, с приключениями, провидческая, сновидческая история — может быть, явь?..

Сон о Василии Аксёнове и Жене Попове.

Я иду — иду в одиночестве — где-то в городе. Но в каком? Не в Москве ли? Возможно, в Москве. Не в Париже ведь! Не в Нью-Йорке. Да, в Москве. Конечно, в Москве.

Я иду — неизвестно куда. Вдоль бульваров. И вдоль ампирных, так нелепо, аляповато переделанных, отреставрированных — и утративших облик свой старомодный, милый, радушный, — оттого и едва узнаваемых, — но стоящих на том же месте, где и были, столичных домов.

Я иду — в измерении странном. В неизбежном — от всех — отдалении. В непонятном — для всех — состоянии. В характерном своём настроении. То есть — сам по себе. Как всегда.

Я иду — куда-то за грань. В даль свою. Или — в глубь свою. Или — ввысь. Да не всё ли равно?

Я — иду.

Встречаю Аксёнова.

Он — в длинном тёплом пальто. С вязаным шарфом на шее. В ботинках на толстой подошве. В лыжной шапочке. И с усами. И в съехавших на нос очках.

Я говорю ему что-то... Но что? (Проснувшись, забыл.) Что-то грустное. Да. Конечно.

Он спохватывается, зовёт меня за собой. Идём. Заходим — в центре Москвы, в переулке, совсем незнакомом, — непонятно куда, — зачем? — и что это — чья-то квартира? или офис? — никак не понять.

Какие-то — вроде — сотрудницы. Девицы — при деле. Нарядные. Смазливые. Современные. С мобильниками в руках.

Аксёнов с ними здоровается — и что-то весьма вразумительное, и очень даже понятное для них — и, видно, привычное, простое, то есть рабочее, без неясностей, элементарное, без премудростей всяких, без сложностей с заковырками, — им говорит.

Они мгновенно идут, привычно, целенаправленно, туда, куда полагается, — и что-то включают запросто, и что-то легко, играючи, как в детской игре, нажимают — какие-то кнопки, клавиши...

И вот уже всё готово.

Техника — будь здоров.

Девицы с улыбками вежливыми протягивают Аксёнову бумагу какую-то плотную. На ней — неведомый текст.

Аксёнов его просматривает. Кивает:

— О'кей, о'кей!

Благодарит девиц:

— Спасибо! Спасибо! Спасибо!

Девицы вмиг расцветают. Как розы в саду весною. В конторе своей загадочной. В Москве. Непонятно — где. Но здесь, где место их службы, скорее всего, где то заведение, назначение которого знают они прекрасно — и не спешат кому-то давать пояснения, в данном случае — мне, потому что я-то чувствую: это — тайна, и они понимают это, дело вроде бы и не во мне, а в Аксёнове — им, девицам, им, служительницам чего-то, для чего названия нету, но о чём невнятный намёк скажет больше порой, чем слово, благодарность классика — в радость. Пофартило им. Повезло. Будет что вспоминать потом, на досуге. Они довольны.

Аксёнов — тоже доволен. Бумагу, быстро сработанную, на вытянутой руке протягивает он мне — берите, мол! — вот, в ладони лежит изделие свежее, готовое, это — для вас.

Что это за сочинение? Текст — обо мне? Я не помню.

Аксёнов, довольный вполне, сбрасывает пальто — и шагает молодцевато — прямо в раскрытую дверь.

За дверью — он уже в шортах, слегка загорелый, спортивный, привычно раскрепощённый, не стареющий, полный сил, весь в себе — и уже в Коктебеле.

Он делает — кто бы подумал? — стойку. Кто мог бы представить? Стойку. Да, на руках. Раз — и встал! И стоит, как в молодости! Его, с нескрываемым, бурным восхищением, так и этак, в разных ракурсах, отодвигаясь, приближаясь, всё ближе, ближе, чтоб эффектнее получилось, выразительнее, вот так, чуть левее и чуть правее, чуть прямее, ещё крупнее, снимает без передышки молоденькая энергичная фотокорреспондентка.

Аксёнов становится на ноги — и говорит мне, из-за двери, из Коктебеля:

— Ваша собака гуляет по территории Дома творчества!

Я отвечаю ему:

— Мой Ишка всегда дома, со мной!

А сам думаю: где же Ишка?

Верный Ишка тут же выходит из распахнутой двери, перешагивает порог — и оказывается, свободно шагнув прямо из Коктебеля, уже в Москве, рядом со мной. Я его глажу по голове.

Аксёнов говорит:

— Ухожу в бухты!

Я говорю:

— Заходите ко мне. Я всегда дома.

Пожимая плечами, Аксёнов устремляется, весь в движении, как в полёте, куда-то вперёд — и где-то там, впереди, отсюда не видно — где именно, хотя, при желании некотором, догадаться можно об этом довольно легко, — исчезает. И дверь — закрывается.

Ишка громко лает.

На лай моего верного друга — из домика, стоящего в углу, сложенного из разнообразных, толстых и тоненьких, больших и маленьких, в картонных и в бумажных обложках, книг, — высовывается голова прозаика Жени Попова.

Из-за стены книжного домика — выглядывает мой коктебельский сосед, музыкант, классный трубач, Миша Кудрявцев, и говорит:
— Володя, тебя тут искал старый восточный человек, похожий на Шуфутинского!

Потом он громко играет на трубе побудку — и тоже исчезает. Временно, разумеется. Может — пошёл за пивом.

Женя Попов, прозаик, на звук призывный трубы, на свет благодатный Божий вылезает из книжного домика.

Он — спросонок. Смотрит на мир. Озирается по сторонам. Щурит глазки сибирские. Хмурится. Улыбается — чуть погодя. Борода его — как-то скомкана. Подстрижена, что ли, слегка? Клочьями торчит. Ну прямо бывший ёжик в тумане.

В одной руке у него — маленький, незаменимый для пишущих прозу людей компьютер его, ноутбук, в другой руке — моя книга, подаренная когда-то ему, разумеется — с дарственной надписью, в твёрдой обложке, вышедшая на заре свободного книгопечатания, известная любителям поэзии давно уже — «Звезда островитян».

Он ставит компьютер на пол. Пожимает мне руку. Говорит:
— Я только что из Германии. Жил там с семьёй. Писал роман. Купался в бассейне.

Мы закуриваем.

Женя говорит:
— А где Вася?
— Какой Вася? — спрашиваю. — Твой сын?
— Аксёнов. Василий Павлович, — поясняет Женя Попов. — А мой сын — Василий Евгеньевич. В честь Аксёнова, значит, назвал.
— Ушёл в бухты! — отвечаю.
— А, понятно! — говорит Женя. — А ты почему здесь, в Москве, а не у себя в Коктебеле?
— Не знаю! — говорю я ему. — Наверное, это сон.
— Понятно! — говорит Женя. — А я дачу себе строю.
— Из книг? — спрашиваю.
— Да, из книг! — отвечает Женя. — Скоро свет проводить будем. Пока что — при свечах работаю. И воду в дом провести надо. Много забот, много.

В руке он по-прежнему держит мою «Звезду островитян». Спрашиваю:
— Стихи мои читал?
— Себя читал! — отвечает Женя. И спрашивает: — Это сон?
— Сон. Конечно же, сон! — отвечаю я Жене.

Женя Попов становится в позу чтеца-декламатора. И говорит мне:
— Ты только послушай! Ведь как хорошо написано!

И читает мне с выражением:
— Жанр предисловия, врезки — вещь таинственная, вещь в себе, штука конъюнктурная. Не то по плечу хлопают, не то на поруки берут, не то лезут лобызаться. Мне непонятно, почему я пишу о Владимире Алейникове, а не он обо мне. Написано у него, может быть, и больше, чем у меня, редактором он служил, известен в Москве и далеко за пределами её кольцевой дороги. И всё же есть логика в том, что я, прозаик, предваряю публикацию поэта, с которым и ста граммов соли вместе не съел, не то что пуда. Поэта, чьи стихи постепенно, медленно, но входят в мою жизнь. Мы — сверстники, тысяча девятьсот сорок шестого года рождения. Мы — провинциалы, я из Красноярска, он из Кривого Рога. Лишь с недавнего времени обрели мы возможность говорить не на кухне либо в пивной, а в свободном пространстве своей страны… Молодость. Тысяча девятьсот шестьдесят пятый год. Послан исправляться на свежем воздухе «тунеядец» Иосиф Бродский, сидят в тюремном замке «идеологические разбойники» Синявский и Даниэль, отправлен на пенсию «по состоянию здоровья» Никита Сергеевич. По Москве бродит смог, но и его дни уже сочтены. Я учусь в геологоразведочном институте, знакомств среди литераторов почти не имею. смог… смог… Слухи ползут по студенческим общежитиям… Как я недавно узнал, аббревиатура содружества поэтов расшифровывалась так: Смелость, Мысль, Образ, Глубина. Жаль… Миф тысяча девятьсот шестьдесят пятого утверждал, что это — Самое Молодое Общество Гениев. Вечера. Скандалы. Дружинники с повязками. Богема-с это, товарищи! И — разгром. И — туман, марево многолетнее, из которого возникают имена поэтов: Леонид Губанов, Юрий Кублановский, Владимир Алейников. Леонид Губанов — умер. Юрий Кублановский — был принуждён к отъезду. Владимир Алейников — остался. Издал две куцые книжки. Живёт в Москве. Счастливая, что ли, судьба? Нет… Счастливой, осмелюсь утверждать, не было пока что ещё ни у одного писателя или поэта, начиная с библейских времён. Книгами он явно недоволен. С одной стороны — купюры, с другой — в письменном столе хранится в двадцать раз больше, чем напечатано. Только сейчас, на наших глазах, происходит явление поэта читателям, и мне кажется, что он готов пойти на то, чтобы развеялись мифы о Самых Гениальных, чтобы всё стало на свои места и каждому было отпущено по делам его. Потому что только гласность в своём натуральном виде, а не в качестве броского лозунга либо прямого вранья, способна спасти пишущего, избавить его от отчаяния, водки и петли, с другой стороны — крепко щёлкнуть по носу. Погрузневший, посолидневший Алейников по-прежнему циркулирует по московским литературным просёлкам, сверкая рыжей бородой. Так удалась жизнь или нет? Не пьёт. Растит детей. Литератор. Переводит чувашских поэтов Г. Юмарта и П. Хузангая. И все говорят, что хорошо переводит. И все говорят: Алейников?

Да, был такой, он в СМОГе участвовал… Не был, а есть. И есть его стихи. И есть надежда, что эта публикация станет началом настоящего знакомства с поэтом, чьё имя наконец-то обретает реальность. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Тут Женя сделал эффектную паузу—и вымолвил выразительно, громко, отчётливо, ну прямо как подписался:

— Евгений Попов. Москва. Одиннадцатое декабря тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года.

И закрыл мою «Звезду островитян».

— Спасибо, Женя!—сказал я.

— Хорошо написал!—сказал Женя Попов.— Столько лет уж прошло, а звучит!

Ишка гавкнул басом, по-шаляпински. Он это умеет.

— Тоже звучит!—сострил Женя Попов.

Я спросил его:

— Женя, а почему вы с Виктором Ерофеевым тогда, в семидесятых, не взяли в ваш «Метрополь» ни меня, ни Губанова, ни Величанского, ни Шатрова?

— Да как-то не сообразили тогда!—быстро ответил Женя.

За его спиной появились зелёные музыканты. Совершенно зелёные. Четверо. Они заиграли— на банджо, на гитаре, на губной гармошке и на скрипке. В стиле кантри.

Женя Попов сунул мою «Звезду островитян» за пазуху.

— Стихи постепенно, медленно, но входят в мою жизнь!—процитировал он сам себя.

— Хорошо, что так!—сказал я.

Женя расправил плечи, поднял к свету бородатую, с лысиной, крутолобую крупную голову.

— Мне пора!—сказал он торжественно.

— Куда?—удивился я.

— Как—куда? В Коктебель!

Зелёные музыканты, наигрывая мелодию в стиле кантри, гуськом подошли к закрытой двери.

Дверь—сама—распахнулась.

За нею был—Коктебель. Море, холмы, горы и бухты. Видно всё было как на ладони.

В Лягушачьей бухте сидел у воды Василий Аксёнов. Он увидел издали Женю Попова—и позвал его, сделав жест рукой в свою сторону, к себе: иди, мол, сюда поскорее! что ты застрял в Москве?

Зелёные музыканты шагнули, один за другим, гуськом, за порог, в дверь, и стали: один—стебельком зелёным, другой—листком, третий—травинкой, четвёртый—целым зелёным холмом.

На полпути к Лягушачьей бухте стоял мой сосед, музыкант Миша Кудрявцев,—и играл, щурясь под солнышком, на своей ослепительно сверкающей трубе всем известную вещь—«Когда святые маршируют».

Женя Попов поднял с пола компьютер, пожал на прощанье мне руку:

— Пора, Володя, пора!

Примерился, разогнался—и, перепрыгнув через московский порог, пролетел в разогретом пространстве, описав в воздухе плавную, гибкую, выразительную дугу, куда-то вперёд—и оказался прямо в Лягушачьей бухте, рядом с Аксёновым.

Никаких лягушек там, разумеется, не было.

Но зато вместо зелёных музыкантов, ставших частью природы, встретили его там, на камнях бухты,—четыре зелёных ящерицы.

Исчезла Москва.

Мы стояли с Ишкой на облаке.

— Это облако. Облако поэзии,—раздался откуда-то усиленный невидимым громкоговорителем голос Андрея Битова.

— Стихи и поэзия—это, конечно же, разные вещи, часто взаимоисключающие друг друга, противоположные понятия. У одних слова, строки, строфы— тяжёлые муки творчества, у других всё это—лёгкий, ликующий пир жизни. Владимир Алейников—это не стихи—стихия, поток чистого, звенящего звука, простор мысли, свежесть и яркость всегда обновлённого, животрепещущего слова,—раздался не менее громкий подвыпивший голос Валеры Баскова.

Облако плыло в небе.

Мы с Ишкой стояли на облаке.

— Поэзия Владимира Алейникова ещё ждёт своего читателя. И—своего исследователя,—раздался голос Юры Крохина.

— Я знаю, кто вы!—гремел в стороне голос Владимира Микушевича.—Вы поэт с мировым именем!

Мы плыли с Ишкой на облаке.

— В стихах Владимира Алейникова действительно скифский дух,—доносился до нас голос Микушевича.—Я бы назвал стих Алейникова соитием стихий: стихии друг друга алчут, друг во друга проникают, но не растворяются одна в другой. Каждая из них верна себе и потому взыскует остальных!

Облако плыло над Скифией.

— Ты патриот пространства!—доносился издали голос Жени Рейна.—Ты поэт редкой группы крови!

При слове «кровь» Ишка насторожился.

А пространства было—хоть отбавляй.

Мы, на своём облаке, двигались в сторону Киммерии.

— Володя, давай пребудем тверды подобно герою данного романа. Осень—а мы всё те же,—раздался голос Саши Соколова.

И прямо в руки мои—из ничего, из ниоткуда, явившись сама по себе,—легла его книга «Палисандрия».

Тут наше облако стало просто сплошным туманом.

И начался вдруг—сон во сне.

Сон о Саше Соколове.

Я увидел себя—в Америке. Оказался я там—зачем? Не знаю. Был я совершенно один. Шёл, шёл по какой-то дороге, было много поворотов, холмов, густо заросших лесом. Стемнело. Начался дождь. Я брёл куда-то совсем далеко — и заблудился. Дождь усиливался. Я вымок до нитки. Наконец вышел я на какую-то большую поляну. За этой поляной виднелось большое, особняком стоящее здание. В окнах горел свет. Из темноты я двинулся вперёд, прямо на свет окон. Вдруг — резкие голоса, лай овчарок, лучи карманных фонариков, направленные на меня, прямо мне в глаза. Громкий приказ:

— Остановитесь!

Я остановился. Ко мне подошли какие-то неизвестные люди, с военной выправкой, в мокрых плащах, с овчарками на поводках. Овчарки злобно рычали — и так и норовили меня укусить. Я замер на месте. Посыпались вопросы:

— Кто такой?

— Почему вы здесь оказались?

И — приказным тоном:

— Документы!

Я достал свой заграничный паспорт. Один из подошедших быстро пролистал его и положил к себе в карман:

— Этого недостаточно!

Я сказал:

— Других документов у меня нет.

Высокий плечистый человек в капюшоне спросил:

— А это что? — и показал на оттопыренную полу моей куртки.

— Ах, это! — сказал я. — Это моя книга. Это стихи. Я поэт.

Я достал свою книгу — и протянул её человеку в капюшоне. Говорили мы все почему-то по-русски. Дождь уже перешёл в ливень. В здании за поляной прибавилось света в окнах.

— Он шпион! — сказал один из подошедших.

— Ещё чего! — сказал я. — Глупости. Я поэт.

Человек в капюшоне перелистывал мою книгу. Я уже совершенно отчётливо понимал, что забрёл я ну совершенно не туда, что здесь не полагается находиться посторонним, что вся эта нелепая история чревата самыми серьёзными для меня последствиями, да и вообще — мало ли чего эти гаврики отчебучат? Ищи-свищи тогда меня. Эх, вот незадача! Я уже начинал беспокоиться. Виду, однако, не подавал. Спокойно стоял на месте. Человек в капюшоне листал мою книгу. На одной из страниц, освещённой лучом фонарика, я увидел посвящение над стихотворением: «Саше Соколову». И вдруг меня осенило. Нет, это было — озарение.

— Саша Соколов! — сказал я, обращаясь ко всем сразу.

Все головы повернулись ко мне.

— Саша Соколов! — сказал я. — Он старинный мой друг! Саша Соколов! Поняли? Саша Соколов!

Подошедшие переглянулись. Один из них пошёл к какой-то будке — и вскоре вышел оттуда.

— Ждите! — было сказано мне.

Я стоял и ждал. Минут через десять рядом со мной затормозила большая чёрная машина с затемнёнными стёклами. Из неё вышел человек в длинном, до пят, непромокаемом плаще, в низко, на самые брови, надвинутой шляпе, в кожаных перчатках. Плащ, шляпа, перчатки и ботинки у человека были чёрными. Всё это сразу же заблестело под хлещущими сверху ливневыми струями в лучах фонариков. Человек, вышедший из машины, быстро подошёл ко мне. И я увидел, что это — Саша Соколов.

— Саша! — воскликнул я.

— Володя, сколько лет, сколько зим! — откликнулся Саша. Потом спросил: — Ты как здесь оказался?

Я ответил ему:

— Шёл куда-то. Гулял. Или, может, бродил. Заблудился.

Саша быстро сказал:

— Так. Понятно. Подожди.

Повернулся к людям с фонариками. Подошёл к ним. Что-то им тихо сказал. Те встали перед ним навытяжку, отдали ему честь. Тут же возвратили ему мой паспорт и книгу. Саша по-военному прикоснулся ладонью к обвисшей поле шляпы.

— Вы свободны! — сказал он всем.

Те развернулись и удалились по направлению к дому, видневшемуся за поляной. Саша подошёл ко мне.

— Поехали! — сказал он.

— Куда? — спросил я.

— Куда надо. Подальше отсюда.

Мы залезли в машину, устроились вдвоём на заднем сидении. Саша тронул рукой за плечо сидевшего впереди шофёра:

— Двигай!

Машина тронулась с места. Вскоре поляна и дом за ней исчезли из поля зрения. Вокруг был только ливень — и лес за ним, и холмы, и дорога, дорога, дорога. Саша отдал мне мой паспорт и книгу. Я положил их на место. Мотор урчал. В машине было тепло. Она летела куда-то вперёд. А куда? Кто его знает! Наверное, так и надо. Едем — и слава Богу. Вместе — и хорошо.

— Ты знаешь, где ты был? — спросил меня Саша.

— Не знаю, конечно! — ответил я ему. — Понятия не имею. Шёл куда-то вперёд. Был дождь. А потом он сменился ливнем. Я промок. И вышел туда, на поляну. За ней увидел дом с горящими окнами. Думал, обогреюсь и отдышусь, пережду этот ливень, а там дальше двину — авось куда-нибудь, что похоже на цивилизацию, я и выберусь. Сам. Только — позже.

Саша с усмешкой взглянул на меня. И сказал:

— Это было здание разведшколы. Тебя запросто могли задержать. Ты мог даже исчезнуть. Навсегда. На всякий случай. Всё у них могло быть, поверь.

Посторонних у них не терпят. Это — тайная разведшкола. Сверхсекретная. Понял теперь?

Я ответил:

— Конечно, понял.

Саша тут же спросил:

— Как же ты догадался вызвать меня? Только это тебя и спасло!

Я ответил:

— Да очень просто. По стихам. Озарение было. Вдруг увидел в книге своей посвящение — помнишь, тебе посвящал я когда-то стихи? И сказал я им просто: Саша Соколов. И все призадумались. И тогда появился ты. Остальное ты сам уже знаешь.

Саша сказал:

— Забудь о том, что видел.

Я ответил:

— Уже забыл.

Саша сказал:

— Я сейчас вывезу тебя подальше отсюда. Там никто тебя не найдёт. Впрочем, я распорядился. Искать не будут. Так что всё у нас в полном порядке.

Он достал из внутреннего кармана плаща плоскую фляжку. Отвинтил крышечку:

— Хочешь?

Я ответил:

— Да я ведь не пью. Неужели забыл?

Подумав, Саша кратко сказал:

— Да-да.

Отхлебнул из фляжки. Потом завинтил симпатичную крышечку. Сунул флягу на место. Мы ехали в темноте, под ливнем, вперёд.

— Ну а теперь, — сказал мне Саша, — ты попадёшь в спокойное место. Меня не ищи. Сам найдусь, если надо будет. О том, где ты был, ты уже забыл. И меня в этом месте не видел никогда. Это сон, понимаешь? Подари мне книгу свою!

Я достал свою книгу и отдал её Саше:

— Вот. Конечно, бери!

Саша взял мою книгу в левую руку. А правой рукой сделал этакий плавный, кругообразный жест — как фокусник, или, скорее, как гипнотизёр. И попали мы в свет ослепительный. А потом началось сияние. И ничего больше не было — ни машины, ни ливня, ни Саши. Я летел куда-то — в сиянии.

А потом я увидел — облако. На облаке — ждал меня Ишка. Мы летели уже на облаке, в направлении Коктебеля.

И вновь начался — ещё один сон во сне.

Сон об Андрее Вознесенском.

Я в саду у себя — где-то в Кривом Роге или в Коктебеле. Работаю. Пишу. Рисую. Леплю из глины что-то — ну прямо гончар.

Появляется Вознесенский. Одет — хоть куда, со вкусом. На нём — роскошный карденовский белоснежный летний костюм. Ворот рубашки распахнут. На шее — пёстренький шарфик. Обут — в совершенно белые адидасовские кроссовки. Голова его, как и раньше, перископом вперёд и вверх выдаётся, чуть зависая над приподнятыми плечами. Губы тронуты странной улыбкой, отрешённой, привычной. Глаза потускнели, но всё замечают. Всё лицо — как наплыв на свече парафиновый. Возраст, наверно, говорит за себя. Так и есть.

Я ему говорю, поздоровавшись:

— Вы-то помните меня? Столько лет я стеснялся вас беспокоить. И вот — увиделись.

И так далее. Что-то ещё говорю. А зачем — не знаю.

Вознесенский:

— Да-да, конечно! Я, конечно, помню, Володя, вас! Ну как же мне вас не помнить? С той поры, когда вы ко мне вдруг пришли, вдохновенный, юный. С осени шестьдесят третьего. Я тогда ещё говорил вам: приходите ко мне всегда, в дни любые, в любое время, буду рад я вам, потому что вы очень, очень талантливы!..

Говорим. О том да о сём. Совершенно разные люди.

Он меня всё время нахваливает, и в особенности за то, что я очень много работаю.

Был в годах он. И вдруг — изменился. С виду стал такой молодой, знаменитый, тридцатилетний — впрямь как осенью, той, давнишней, тридцать шесть годочков назад.

Вот он, скинув белый пиджак, засучив рукава рубашки, разрешенья спросив у меня, за гончарный садится круг, увлечённо делает что-то, вроде смеси миски с кувшином.

Обещает что-то. Помочь?

Я рассказывал вкратце ему — о себе, о своей судьбе. Он сидел за гончарным кругом — и рассеянно слушал меня.

А потом — раз! — и нет его!

Исчезает мгновенно! Куда?

Я ищу его — нет нигде. И в саду его нет. И на улицах. Испарился. Растаял. Пропал.

Вроде был он вот здесь — и всё-таки вроде не было вовсе его. Странно? Странно. И — показательно. Был — и нет его. Как всегда.

И остался я здесь, в саду — криворожском ли, коктебельском ли — вам не всё ли равно? — в своём, а не чьём-нибудь там саду, — как привык я, наедине со своими трудами вечными, с одиночеством давним своим.

…Но тут сон во сне закончился, и сад сменился облаком.

И на этом облаке — мы с Ишкой приближались к Коктебелю.

Вот широкий залив. Горы. Холмы. Дома.

И уже мы снижаемся. Уже виден наш дом.

Но за мысом успел я увидеть Лягушачью бухту, и в ней — Аксёнова, читающего мою «Звезду островитян», лежащего на гальке, у самой воды, уже загорелого, и Женю Попова, ещё только слегка покрасневшего на солнце, сидящего поодаль, на горячем большом камне, на большущем куске золотистой парчовой яшмы, с полынным венком на голове, наигрывающего на вырезанной им самим дудочке незатейливую, но трогательную мелодию,—и четырёх зелёных ящериц, сидящих на соседнем камне—и слушающих эту мелодию.

А потом наше облако, словно в сказке—ковёр-самолёт, приземлилось у нас во дворе, и мы с Ишкой на землю сошли. А потом поднялись на крыльцо—и в раскрытую настежь дверь вдвоём не спеша вошли. Вот он, дом! Хорошо в нём, прохладно в жару. Как просторно здесь, тихо, спокойно! Благодать!

А потом я проснулся…

Вот какие бывают сны. Сны—в ночи, посреди тишины. Только мне они стали ясны. И невольно я им улыбнулся…

Вот осень, а может быть, и зима, но зимою—опять-таки осень, и весною осень, и летом, и осенью—это уж ясно, потому что с осенью—проще, потому что с осенью—легче, да ещё и куда привычнее вспоминать о былых временах,—времена ли это любви, времена ли года, а то и времена скитаний давнишних, времена бессонниц моих,—сквозь бездомицы, через ночи, в те глубины, где путь короче, где слова до щедрот охочи, потому что—куда без них?—вот зима, ну а может быть, осень, да, пожалуй, конечно же, осень,—одиночество, тусклая лампа над столом, а то и свеча,—листья в окна глядят и звёзды, ветви мокрые тяжелеют, голова тяжелеет, плечи устают, но всё же не сплю—ну а может быть, сплю?—да вряд ли!—занавески дрожат, и форточка приоткрыта, и ветер входит гостем поздним в бессонный дом,—ночь осенняя, затяжная,—и ещё ничего не знаю—что за нею?—тропа земная, как всегда?—ах, потом, потом!—ну а что же сейчас?—да мысли, что, как листья в окне, нависли над седой моей головою, над столом, над этим листом, на котором пишу я прозу, над которой глотают слёзы все метели мои и грозы в мире вроде бы обжитом—но куда там!—совсем пустынном, том, в котором речам старинным и ночам предыдущим длинным оживать суждено теперь, оживать и вставать за мною то ли стаей, то ли стеною, то ли звучною тишиною—и ненастье скребётся в дверь. Странное дело! Занавесь опускается, поднимается. Над чем? Над прошлым? Над будущим? Да поди разберись. Попробуй. Кто-то вроде бы смотрит в окно моё. Или сам я смотрю в окно? Позабытое—вспоминается. Небывалое—тут как тут. У него настроение—будничное. Труд извечный. Работа привычная. Что-то всё же есть в этом праздничное. Так ли? Так. Действительно, так. И часы: тик-так да тик-так. Мой будильник. Совсем старик. Стук неспешный да нервный тик. Так бывает. Но вне времён—ходу времени верен он. Ходу памяти. Можно—так. Ток подспудный. Уж он мастак вызывать не образ, так звук. Отсвет прошлого. Тук да тук. Отзвук радости. Дней исток. Запад, север, юг и восток—четырьмя лучами креста. Видно, всё-таки неспроста. Да, конечно, не просто так. Имя времени. Вещий знак. Ночь. Звезда. Под звездою—дом. В доме—я, со своим трудом. То есть—с книгою этой. В ней—всё сильнее и всё полней разгорается вешний свет лет, которых со мною нет, как считает разлад чумной, но которые—здесь, со мной. Всем им сердце моё сродни. Сердцу дороги—все они. Снова ночь—и осенний лад слов моих в тишине. Я рад. Снова осень—и взлёт ночной мыслей всех, что дружны со мной.

—Я—это кто-то другой…—различаю я голос Артюра Рембо.—Если медь пробуждается горном однажды, не она виновна в свершившемся. Для меня абсолютно ясно—вижу мысли своей проклёвывание, всматриваюсь в неё, вслушиваюсь, касаюсь её смычком, и симфония, вздрогнув, трепещет или же махом одним вдруг на подмостки взлетает…

С тобою цветы, моя осень, цветы, над которыми—листья, и листья, выше которых—звёзды, а там, за звёздами,—созвездия и галактики, мерцанье, сиянье, свеченье, струенье, самосожженье и сызнова, неизменно, счастливое воскрешенье,—кругами, волнами, спиралями—рождающиеся миры, сближающиеся дары. С тобою мосты, моя осень, мосты, по которым в прошлое и в будущее иду я над плещущейся водой, над мёртвою и живою, над тихою и сквозною, над дикою и ручною, озёрною и речной, над прорвой иду морскою, над бездною океанской, по всем десяти знакомым с детства мостам, по всем, с которыми связан чем-то доселе невыразимым, которым обязан чем-то таким, чему имя—речь. С тобою мечты, моя осень, мечты, у которых—ночи, с тобою ночи, с которыми—шаги мои в доме пустом, с тобою дом, за которым—холмы, а там, за холмами,—горы, а над горами—небо, и море под ним, а там, за морем,—пространство со временем, темень, рань, звезды моей постоянство над именем, снова—грань.

Может быть, тоже—сон? Вроде бы—обо мне. Голос я слышу знакомый. Саша Соколов говорит:

—И только тогда начинается всё остальное. Тогда. И только. И пусть—в силу чего бы то ни было—лишь бы—пусть явится эта притча разуму нашему в снах его, да скажется в судьбах круга, числа, да отразится в зерцалах наших Психей. Да, да, разумеется, о чём разговор. Неужели же где-нибудь там, где положено, где надлежит, не сказано: отразится? Ответ однозначен: сказано.

Оттого-то и отражается—отразилось, сим: в силу слова. Вот. Правда, несколько незнакомо, ломано, ровно в рябом канале—каналья, зачем ты улыбки нам столь исковеркал, ведь счастье было так коверкотово. Тем не менее, видно, как кто-то из этого круга, числа, кто-то в чём-то дорожном, неброском, как бы навыворот,—торопится на трамвай. Лелея келейность. Алеющей ранью. Лепечущей рощи аллеей. Всё лель есть, влекущийся к великолепью, простого олейника отпрыск. Воистину. Впрочем, неправда: торопится, но не аллеей, не рощей—торопится пустырями окраин, тропою в разрыв-траве. Ничего не сея, не взращивая, рвёт походя блёклые лютики, ноготки. Рвёт когти из ненаглядного Криворожья, цитатой из почты окрестных ведьм говоря. Гражданин почтмейстер, вместо того чтобы попусту рифмоваться с клейстером, заклеймили бы лучше те непотребные речи крутым сургучом. Не смейтесь, папаша, он мертвецов оставляет теперь не напрасно, верней, не из прихоти, не потехи для. В данной юности с ним творится особенное. Так, в день осознания лжи у него создалось отчётливое впечатление, будто бульвар спотыкался, дождь шёл на изящных пружинах, а фонари по углам разложили фанерные тени. И Дантова тень, в зеркалах отразясь—как эхо,—давно многократна. Шутка ли. Да и вообще, человек сей—художник, в значенье—поэт, а поэтому—почему бы ему не отправиться в путь, в другие места и там не открыться во всех своих впечатлениях, не объясниться в пристрастиях? Странствовать—в частности, на трамваях—тем паче на ранних,—это же столь пристало таким вот на вид неброским, небритым, но, в сущности, страшно неистовым, прямо взрывчатым существам. Между прочим, неважно ведь, что такие взрываются сдержанно, методом дальних солнц, как ни в чём не бывало. Так в рассуждении пороха даже лучше, ибо хватает надолго. Сравнительно навсегда. Да, кстати, смотрите—деревья ладонями машут: прощание, исчезновенье за. Но что характерно, что из игры—здесь игры Парменидова воображения, расстроенного, как бабушкин клавесин,—им не выйти. Ни им, ни минувшим срокам. Ни им, ни—по буквам: Тифонос—Елена—Лена—Елена же—Гея—Рея—Афина—Федра—понятно, вопрос,—ни телеграфным проволокам плачущим. Ни им, ни дому, который поэт построил двумя штрихами. Где свет погас. Где форточку открыли. Построил и вскоре оставил: быть. И на лбу возникающего экипажа чтит долгочаянное число.

(С пёсьей мордой один, а другой—с узкой мордой овечьей; корень речи—в земле дорогой и в крови человечьей,—что за молодость в бездну вела!—гонорком карнавала вместе с россыпью капель с весла что-то вдруг обдавало,—растворилось ли всё, что ушло, в хищной гуще житейской?—заструилось за словом число, словно холод летейский,—отдалилось лицо за стеклом, невозможным, астральным,—да пичуга всплеснула крылом на кордоне опальном.

С головою собачьей один, а другой—с головою овечьей,—двое ряженых нищих, гонимых пургой—что на вещих навлечь ей?—нет, не станет!—разбить не сумеет окно в мир, где встретимся все мы,—словно маски, в угаре когда-то давно разобрали тотемы,—потому-то и выпало выжить поврозь для Собаки с Овцою—у телеги пространства не смазана ось, чтобы ехали двое,—потому и живёт искони меж людьми разобщенья загадка—не срастётся с алеющей веткой, пойми, соколиная хватка.

С головою собачьей один, а другой—с головою овечьей; каждый—воли своей паладин, побирючьи не противоречь ей,—каждый доли достоин своей: что за прок, согласись, от известий, если время по-прежнему с ней, да и млечная тяжесть созвездий?—об утраченном, друг, не жалей—что за свет низойдёт с небосклона?—и успеет ещё Водолей повидать и обнять Скорпиона—как-нибудь—ну конечно—потом—там, где боли бывало так много, что она, обвивая жгутом, продлевала присутствие Бога.)

И тогда говорит Артюр Рембо:
—…так уж складывалось—человек над собой совсем не работал, не успел пробудиться или погрузиться во всю необъятность великого сновиденья. Писатели были просто чинушами в литературе: автор, творец, поэт—подобного человека сроду и не бывало!

Попросту—сон. И не просто—сон. Сновиденье. Великое. Может быть, и наивное. Да вам-то—какое дело? Для вас ли пришло оно? Совсем не для вас. И баста. Пора бы понять. Смириться. Исчезнуть. И не мешать. Сон—для того, кто спит. Сон—для того, кто грезит. Сон—для того, кто бодрствует. И даже во сне. Всегда. Сон—для давно не спящего. Для никогда не спящего. Сон—пробужденье. Вхожденье в сонмы снов. На века. Сон: попадание в тон. Там: выпадание в сон. Происхождение тем. Скажет ли кто: не вем? Вам ли—начальный звук? Знак. Магический круг. Дом ли тебе—для снов? Сам ли ты в нём—для слов? Сон. Сновиденье. Сень. Сфера. Фонарь—сквозь день. Мера. Свеча—сквозь ночь. Эра. Пора. Точь-в-точь как и вне сна. Во сне—тоже ясна вполне. Чары. Пиры. Дары. Горы. Дворы. Миры. Море: восторг и стон. Что?—до-ре-ми—сквозь сон? Медлить нельзя, пойми. Тянется—так возьми. Фа-соль-ля-си—сквозь мрак. Ластится. Только так. Значит, бери. Пришло. До—и за ним светло. Гаммы. Звучанье сна. Там, где всегда—весна. В детстве. А может—здесь. Высь. Встрепенёшься весь. Рвёшься туда. Лети! Сон.

В унисон почти—до. И чуть позже—ля. Доля. Твоя земля. Воля. Планида. Путь. Вера. Химера. Суть. В сердце горенье. Сеть. Жуть. Наважденье. Плеть. Плоть. Побужденья. Слух. Плыть. Пробужденье. Дух. Петь. Восставать. Не спать. Музыке—быть. Звучать. Слово, и в нём—число. Зеркало—и крыло.

Путь ли к сути иль песнь в юдоли—на века. Говорит Рембо:
— Первое, что обязан постичь жаждущий стать поэтом—это наиполнейшее познанье себя самого; он душу находит свою, изучает её, искушает её, постигает её. А когда он постиг её, он обязан над ней потрудиться! Задача вроде бы простенькая… Нет, следует изуродовать душу свою. Действовать, словно компрачикосы. Вообразите чокнутого, на собственной физиономии высевающего и старательно выращивающего бородавки. Я говорю, следует стать ясновидцем, сделаться ясновидцем. Поэт превращается в ясновидца долговременным, беспредельным и продуманным приведением в разлад всех чувств. Он сознательно идёт на всякие формы любви, мучений, безумства. Он сам себя ищет. Он травит себя всевозможными ядами, но и вбирает самую суть их. Невыразимая мука, при коей так нужна ему вся его вера, вся его сверхчеловеческая сила; становится он больнее любых больных, преступнее всех преступных, наиболее проклятым—но и мудрейшим из мудрецов! Ибо сумел он достичь неведомого. Потому что взрастил он больше, чем всякие прочие, душу свою, и без того богатую! Он достигает неведомого, и пусть, безумный, утратит он понимание видений своих—всё равно он их видел! И пусть во взлёте своём подохнет он от вещей неслыханных и несказанных. Придут уже новые труженики чудовищные; они начнут с тех далей, где предыдущий рухнул в изнеможении…

Как быть с тобою, щедрая душа? Да так и быть!—Видений в мире много. Возможно, сам он—дивное виденье. А может, сновиденье. Кто уверен, что это—явь? И всё же это—явь. Такая вот. Где вдосталь измерений. Где столько состояний и событий, что все они—спиралями, кругами, пунктирами и дугами сквозь время—встают и ждут ночами за окном. Вниманья ждут. А может, пониманья? Конечно же! Придёт ли пониманье? И что же там—за кромкою, за гранью? Какие откровенья и желанья? Какая глубь—за влажной тишиной? Какие тайны там, какие тропы? Какие встречи там и расставанья? Какие там, в тумане, обретенья? Какие там ключи—и что сумею открыть я ими? Двери иль врата? Кристалл магический и зеркало ночное. Свеча, горящая на краешке столетья. Клич. Или плач? Начертанное слово. Но что—за словом? Ночь. А что за ночью? Речь. Имя времени. Оно всегда—со мной.

—…Итак, поэт—прирождённый похититель живого огня,—говорит сквозь время Рембо.—Он в ответе за человечество, да вдобавок ещё за животных. Свои вымыслы сделать обязан он ощутимыми во плоти, осязанью и слуху открытыми. Если то, что принёс он оттуда, обладает какой-нибудь формой, он даёт его воплощённым в эту форму, а если оно изначально бесформенно, он оставляет его бесформенным. Отыскать сообразный язык, да к тому же ещё—благо, слово любое—идея,—настанет, верю я, время всеобщего языка! Надо быть академиком, видно, помертвее иных ископаемых, чтоб словарь без конца улучшать… Этот новый язык неизбежно станет речью души, обращённой к неизменно чуткой душе, всё на свете в себя он впитает—сонмы запахов, звуков, цветов, мысль он с мыслью накрепко свяжет и сумеет ей дать движенье. Поэту тогда придётся неустанно определять, сколько там в его время неведомого во всеобщей душе возникает; будет сделать обязан он больше, чем уметь излагать свои мысли, больше, нежели просто оставить подоступней для всех описание пути своего к Прогрессу. Поскольку необычайное обернётся нормой, осваиваемой всеми разом, поэту до́лжно быть множителем прогресса. Грядущее это будет материалистическим, как видите сами вы. Наполненные всегда Числами и Гармонией, поэмы такие будут созданы на столетья. В сущности, это была бы в определённой мере греческая Поэзия. У искусства такого вечного будут собственные задачи, потому что поэты—граждане. Поэзия перестанет действие выражать в ритмах; она окажется уже далеко впереди. Грядут такие поэты!.. В ожидании мы потребуем от поэта нового—в сфере идей и форм. Все умельцы решили бы, что они-то способны справиться с требованием таким: нет, это не то!

Нет, не стану я растолковывать—что, да как, да где, да тем более почему. Зачем объяснять? Ночь как ночь. И речь моя—с нею. Клич ли в ней, а может, и ключ, плач ли в ней—да не всё равно ли? Вам-то что? Пусть встало из боли всё, чем жив я. Дыханьем лет, с кровью давшихся мне когда-то, переполнена эта книга. Ими, славными, я поддержан—в одиночестве, в тишине. Здесь, в глуши моей,—осень. Странно, что, как прежде, я сросся с нею. И не странно вовсе. Привычно. И в диковину всё же. С ней—связи тайные. Нити. Ноты, по которым сыграют что-то небывалое—там, в грядущем. Но когда? В свой час. Поздний час. Осень с памятью чай привыкли пить со мною. Сидим в затворе—и чаёвничаем. Земное дружит издавна и с небесным. Запредельное—тут как тут. Зазеркальное—тоже рядом. Что—за словом? И что—за взглядом? Что за свет—за осенним ладом? Где-то верят—и, может, ждут. У тебя что ни сон—то с явью. У тебя что ни шаг—то с правью. Век—в сраженьях бессчётных с навью. Внук Стрибожий глядит в окно. Ты Сварожич—и, солнце славя, говорить ты сегодня вправе о таком, что в крови и нраве—и с душой твоей заодно.

Потому-то Рембо говорит:
— Открытия неведомого требуют новых форм.

Сентябрь девяносто девятого.

Коктебельская мистика.

Встретил я под Киловой горкой давнего своего знакомого. Мы купались с Ишкой. Знакомый окликнул меня. Подошёл я к нему. Рассказал мне он—следующее.

Недавно, буквально на днях, старые коктебельцы ему говорили, что были они в Тихой бухте. И видели: гуляет по берегу Волошин, ходит вдоль прибоя в белой своей одежде. Сосредоточен, задумчив, светел. Потом к могиле своей, вверх по горе, пошёл. Видели его уже несколько человек.

Я нисколько не удивился, выслушав это. Волошина часто видят в Коктебеле. Видят—во дворе его дома, в самом доме. Об этом не раз мне рассказывали.

Да и сам я постоянно ощущаю его присутствие здесь.

Я писал в этой книге, что Волошин—жив.

Да, он—жив. Жив и дух Коктебеля.

Когда-то, ещё в пору перестройки, в восемьдесят седьмом году, работая редактором в издательстве, я готовил большую книгу Волошина. Как мечтал я, чтобы она, очень вовремя, как я чувствовал, кстати, в нужный момент, со своей духовностью, благородством и светом, вышла!.. Мне уже приходилось рассказывать об этом.

Сам собой отыскался в бумажных моих завалах журнал «В мире книг». В нём—моя публикация стихов Волошина и репродукции его акварелей, предваряемые небольшой моей статьёй. Напечатано всё это под рубрикой «Анонс». Я был хорошим редактором и стремился к тому, чтобы заинтересовать читателей готовящейся к изданию книгой. Вспоминаю, что подобную публикацию волошинских стихов, со вступительной статьёй, сделал я в тот же отрезок перестроечного времени в газете «Книжное обозрение». Но её нет под рукой у меня. А журнал—есть. Моя статья была больше по объёму, но её редакция сократила. И назвали её в журнале—«Возвращение „коктебельского отшельника“».

Прочитал я статью. Разумеется, никакое это не исследование и не эссе, а просто—некий текст, предваряющий волошинскую публикацию, настраивающий читателей на восприятие стихов Волошина, текст, можно сказать, камертонный, определяющий дальнейшее звучание, всю ту музыку, что была в готовящейся волошинской книге.

В музыке этой—слышен был голос «коктебельского отшельника»:

—…Умный подход к современности весьма труден и очень редок. Необходимо осознание совершающегося. Нет ничего более трудного, как найти слова, формулирующие современность. Я могу быть только глубоко благодарен судьбе, которая удостоила меня жить, мыслить и писать в эти времена, нами переживаемые.

Помню, что готовил ещё к публикации волошинскую поэму «Протопоп Аввакум»—только вот где? В конце концов, это и не столь важно. Куда важнее тот факт, что я всерьёз тогда занимался Волошиным. Приятели мои даже выдали мне—для работы—имевшийся у них заграничный двухтомник Волошина, и я его изучал.

Я вспоминал Марию Степановну, вдову поэта, и прежние наши беседы с нею. И всеми силами души стремился к тому, чтобы возвращение «коктебельского отшельника» состоялось.

Всё это так. Да только получилось, как могу я судить, за все прошедшие годы, когда перестройка сменилась как бы временем, а с ним началась в стране вывороченная, изнаночная неразбериха, смута и хаос, что возвращение Волошина получилось, увы, лишь частичным. До сих пор его собрание сочинений так и не издано. И дом его неуклонно разрушается. И многое, слишком уж многое изменилось в его Коктебеле, где всё ещё, несмотря на бредовые новшества, жив коктебельский дух.

Вот и ходит Волошин по берегу.

Вот и ходит по двору своему, по дому.

Всё он видит—и всё понимает.

И я, который обязан Волошину тем, что поселился здесь, в Коктебеле, сам стал таким же, как и он когда-то, отшельником, затворником, и всё работаю и работаю здесь, вдалеке от безумия нынешнего междувременья,—и всё вижу, и всё стараюсь понять.

И не только понять, но и выразить это в слове.

<…>

Слово. Русское. Кровное.
Ночь. Пространство огромное.
Время. Личное. Точное.
Клич. Горенье бессрочное.
Ключ. Моя привилегия.
Речь.

Пожалуй, элегия.

Над Святою горою—мгла, зябко в доме—тепло ушло за расколотый край стекла, хоть утешить вполне могло. Прямо в Ирий уходит свет вслед за птицами—там потом вместе вспомнят—а может, нет—взгляд усталый в саду пустом. Не бросай меня, свет!—постой, оставайся как есть—прости за наивность, но лист простой тяжело мне сжимать в горсти. Что же сможем сквозь мрак нести, замыкая столетья круг, чтобы всё, что должно цвести, не погибло бы разом вдруг?

Выжженная гряда взгляд в никуда ведёт—кажется, навсегда что-то от нас уйдёт. Не торопись, постой! Не ущемляй души—там, за горой Святой, сам для себя реши: что тебя мучит вновь? Что продлевает въявь веру, а с ней—любовь? То-то её и славь! То-то надежда днесь рядом с тобой везде, где истомишься весь, чтобы взойти звезде.

Неотправленное письмо.
Александру Морозову.

Дорогой Саша!

Хорошие и серьёзные люди намеревались было издать сборник, посвящённый моему творчеству и достаточно сложной, по-особому сложившейся моей жизни «не как у людей». Они предложили мне было самому обратиться к тем людям—современникам, соратникам, товарищам,—общением с которыми я дорожу и которые в состоянии сказать обо мне что-то толковое.

Вот я и хотел обратиться к тебе первому—из нашего круга. Обратиться—преодолевая многие, непростые чувства. Чтобы не подумал, чего доброго, что прошу,—Боже упаси! Чтобы понял: просто—обращаюсь,—можешь, мол, написать? Текст мог быть небольшим—а может, и пространным. На твоё усмотрение. Это могло зависеть от состояния твоего и твоего отношения ко мне и моим писаниям. Прислать этот текст советовали мне мои доброжелатели—как и прочие тексты обо мне, ежели таковые были бы в наличии,—до марта девяносто девятого года. А если бы ты отказался, то просто сообщил бы мне об этом. Сообщил—причину отказа. Это тоже было бы опубликовано—вместо твоего текста. А я думал: ничего, я переживу, и не такое бывало. Я вполне допускал, что текст такой ты просто не захотел бы писать.

А потом… А потом я просто взял да и отказался от издания такого вот, посвящённого мне, сборника. Ни к чему это мне.

Я вспомнил—тебя.

Ведь отказался же ты достаточно резко, даже категорически, написать обо мне статью для журнала «нло», которая мне была позарез нужна и которую ждала редакция. Ты сразу же, без всяких там околичностей, словесных завихрений, тактических приёмов, практических соображений, политических расчётов и ходов, то есть прямо, без церемоний, откровенно мне заявил, что это большая, слишком уж большая, хлопотная, напряжённая, в общем-то ненужная для тебя работа—и столькое поднять надо, столькое перечитать, столькое передумать—и к тому же ещё и написать об этом что-нибудь, а уж писать-то ты решительно не хочешь и не станешь,—и ещё что-то, в этом же ряду и в таком же роде, было сказано мне тогда по телефону—тобою. Словом, некогда и незачем было тебе, откликнувшись на моё обращение, вот так, ни с того ни с сего, всё бросать—и, дабы уважить меня, даже от большой любви к поэзии русской в целом и от любви, десятилетиями декларируемой тобою, к моей поэзии в частности, браться за серьёзный труд.

Что ж, я тебя понимаю.

Куда проще, согласись, под настроение, подвыпивши, позвонить—и, не застав меня дома, сказать моей дочери: «Передай своему папе, что он гениальный поэт».

Совсем просто. И никаких усилий. Да и трудов.

Дёрнуло же меня обратиться к тебе тогда! И почему—именно к тебе? Да потому, что верил тебе столько лет. Может—видел тот, давний, прежний тот, молодой твой образ? Может, верил—ему, тому дорогому для меня образу? Господи, неужели—привык? Неужели—просто привык я к тем молодым светлым образам друзей моих? А годы ведь шли. И много их прошло. И люди—изменились. И не до меня им сейчас. Неужели всё—так?

Хорошо, что лица твоего я не видел тогда, хорошо—что глаз твоих я не видел тогда, поскольку говорил по телефону.

И зачем я к тебе обратился? Ностальгия по молодости, что ли? По живому общению? По среде? Вечное моё доверие к людям? Вот вижу человека—так, а не этак, и, хоть тресни, десятилетиями буду стоять на своём. А человек давным-давно изменился, и вовсе не такой он, как когда-то, а—иной. Может, чужой уже? Всё, наверное, может быть. Но меня не переделаешь. Так уж устроен я. И все вы давно это знаете, вы, товарищи мои. Крылатые—так любил я раньше говорить. А теперь всё чаще понимаю: крылья просто я тогда—воображал. Крылатые ли, бескрылые ли, но—какие-никакие, а товарищи. Так вроде считается. Кем? Вами? Или же—мною? Так принято нынче считать? Приличия ради? Ну что же! Звучит это громко: товарищи. Если вас ещё можно так называть.

А всего-то: я—обратился к тебе, ты—отказал мне в просьбе. Вполне в духе нынешнего междувременья. Как бы времени. Вроде бы времени. И тон его—приблизительный, хохмаческий, гаерский—выдержан. Как бы тон. Как бы выдержан. Так-то. Как бы. Так. Но уж точно—его. Похоже, и ты, Саша, скоро впишешься в это как бы время. Чует моё сердце, что будет именно так. Да, впишешься,—но смотри, старый друг или тот, кого, по наивности, я считал почему-то другом, смотри—не растворись в нём.

Конечно, я очень огорчился тогда, после твоего отказа,—и долго переживал, хоть виду и не подал.

Никто и не узнал об этом — из числа наших общих знакомых.

Только Людмила знала. Но это моя жена. И она знает — всё.

Собравшись обратиться именно к тебе, я говорил ей:

— Саша лучше других знает мои стихи.

Людмила, провидица, грустно сказала:

— Он ничего не напишет.

Я задумался вдруг тогда. И задумался — основательно. Трезво глядя на вещи. Слыша речи всякие — сквозь года. Обострённо, до боли, чувствуя — правоту вещей и речей. То есть — верность горению. Подлинность состояний, наитий, дыхания. Окрылённость и недосказанность дорогого сейчас для души. Точно так же — чуя неправду. Говоря прямее — враньё. То есть — россыпь измен, предательств; больше, меньше ли, чаще, реже ли — безразлично уже, если — были и оставили — след кровавый, раны, швы, порезы, рубцы.

Я задумался — глубоко. Без пощады к памяти. Строго. Без малейших скидок на что-нибудь наносное, второстепенное, что могло бы мешать основному, наиболее важному, главному — в том, что было жизнью и творчеством, вдохновеньем и волшебством.

Я задумался так, что сам изумился себе: не пристально, а пронзительно, различая нити, связи, узлы, — всерьёз.

О тебе. О твоём пути.

О себе. О своём пути.

О прошлом — и настоящем.

О твоём — лишь отчасти мне приоткрытом, больше — закрытом, ускользающем лёгкой иглою в щель, в проём, в просвет меж времён, чуть мерцающем огоньком папиросы ночной, сквозящем ветерком останкинским влажным, потаённо-ревностном — прошлом.

О своём — расплёснутом вдоль, вглубь и ввысь, через всю юдоль, с чередою дорог и строк, чтобы песням не вышел срок, всех скитаний и всех метаний, всех прозрений и всех мечтаний, всех наитий и всех утрат, чтобы понял, где рай, где ад, различал, где тьма и где свет, восставал упрямо из бед, чтобы знал: все вещи в труде, чтил устои, верил звезде, столь мне памятном, не ушедшем никуда, возвращённом — прошлом.

О твоём — настоящем.

О своём — настоящем.

Я сосредоточился, представил тебя. И понял: ты откажешь мне. Я даже услышал твои слова, те же примерно, которые ты говорил мне.

И я сказал, тоже погрустнев:

— Да, он не напишет.

Людмила, со своим даром предвидения, со своим чутьём на людей, со своим небывалым зрением — в сердцевину, в самую суть, — на этот раз опередила меня.

Но у меня хватало и своего видения наперёд.

Однако из упрямства я позвонил тебе. Просто — чтобы проверить тебя на прочность.

И услышал от тебя — то, о чём уже знал.

Из-за этого развалилось крайне важное для меня издание и ещё кое-что, о чём и упоминать-то уже не имеет смысла. Но раздувать обиды я не стал, не делаю этого и сейчас. Просто, по прошествии времени, чуть ли не вскользь, — говорю, пусть и с изрядной грустью.

Ясное дело, ничего не написал бы ты обо мне и сейчас.

Не по твоей это, стало быть, части. Хотя ты, как известно, филолог. И серьёзный литературовед. Изыскатель — так я скажу. Открыватель — того, что было, что забыто — пускай и временно, да надолго, порой на века, но тобою — открыто заново, и опять в нём — его новизна. С восемнадцатым веком — проще быть в ладах, я так понимаю. С нашим веком — куда сложнее. И в особенности — со мной. Рассуждаешь ты, видимо, просто: я-то жив ещё и работаю, и поэтому — подожду. А куда мне спешить, действительно? Всем сегодня — не до меня. И тебе, разумеется, — тоже. Ну подумаешь — пишет! Живой? Дышит? Где-то там существует — в стороне от всех? Подождёт! В наше время — не до живых. Может, очередь и дойдёт. Подождёт. Никуда не денется. Ишь ты: трудится. Все работают. Как умеют. Как получается. Что повыгодней — то и делают. Здесь же — выгоды никакой. Так зачем же возиться с ним? Изучать? Понимать? Помилуйте! Это сколько же надо времени, золотого, заметим, тратить — на какого-то там поэта, на писания все его. Да пока разберёшься с ним — постареешь. Пока прочтёшь даже часть его сочинений — потеряешь, глядишь, возможности для устройства собственных дел. Нет, сегодня — не до него! Так, скорее всего, считают люди нынешнего как бы времени. Деловые люди. Работные. Ну а с ними вместе — и ты.

Да и письмо это, скорее всего, вряд ли я тебе отправлю.

Сам-то я писал, пишу и впредь буду писать — и о тебе, и о прочих общих наших приятелях и знакомых.

Так уж я устроен. Такой уж есть.

Важно — нести свет, делать добро людям.

Несколько слов по поводу публикации твоей повести в «Знамени» и последующих событий, каковых жди вскорости, вместе с немалой радостью для себя.

Меня более тридцати лет тяготило давнее событие, о котором ты несколько раз рассказывал с очевидной, хотя и подспудной, упрятанной внутрь, болью. А именно — твой отказ от писания собственных стихов, когда осенью шестьдесят третьего года ты впервые услышал мои стихи.

Не могу выразить, как это смущает и огорчает меня до сих пор, и чувство это, скорее всего, так и останется — навсегда.

Мне хотелось сделать для тебя что-то хорошее, настоящее.

Кроме того, я переживал за тебя, потому что ты отчасти закоснел в своей клыковской конторе, да и выпиваешь, хотя это тебе совершенно не идёт, не к лицу тебе это, — а вот время идёт, и тебе, прирождённому литератору, образованному, талантливому человеку, надо работать и работать — созидать, жить творчеством, создавать новые вещи — и этим противостоять злу, распаду и смуте.

Я мечтал, чтобы ты встряхнулся, ожил, чтобы у тебя появился стимул к работе, чтобы ты ощутил себя русским писателем.

Поэтому я, ничего тебе не сказав, отдал твои старые стихи, в числе других текстов, составляющих небольшую антологию СМОГа, подготовленную мной, в журнал «НЛО» — и стихи твои были, к моей радости, отобраны редактором и опубликованы там, в двадцатом номере журнала за девяносто шестой год.

Поэтому несколько позже, уже после твоего отказа написать статью обо мне, я, не поставив тебя в известность, ведомый своим чутьём, силу которого я давно и хорошо знаю, сам отнёс в редакцию журнала «Знамя» твои тексты, две твои старые повести.

Что я там говорил и с кем говорил — моё дело.

Я был убеждён, что «Чужие письма» напечатают, а «Общую тетрадь» вернут обратно.

Так и вышло. И ничего досадного или страшного не произошло. Будь уверен: твою «Общую тетрадь» ещё напечатают, и довольно скоро, может даже — оперативно, причём напечатает её именно журнал «Знамя», — я вижу это наперёд.

И когда «Чужие письма» взяли, когда мне твёрдо сказали, что будут публиковать, я был несказанно рад — и сразу же сообщил тебе об этом.

Когда повесть напечатали в журнале, я сказал Людмиле:

— А теперь Сашу выдвинут на премию Букера, вот посмотришь.

Когда же Люда, в разговоре по телефону, сообщила мне в Коктебель, что тебя выдвинули на Букера, я сказал ей:

— Премию Саша получит.

Будь абсолютно уверен: ты её действительно получишь.

Я считаю, что премию вручат именно тебе — скорее всего, даже в обход других претендентов, более известных писателей.

Я уже сейчас отчётливо вижу, как ты, сидящий в каком-то большом помещении, в зале, среди целого скопища нарядных людей, да и сам принаряженный, в галстуке, услышав свою фамилию, взвинченный и ошарашенный, срываешься с места, идёшь куда-то — туда, куда направлены многие взгляды, где много электрического света, — машешь чем-то вроде веника — ну конечно, цветами! — и говоришь, вернее — пытаешься сказать что-то благодарственное, причём из горла у тебя вырывается нечто вроде клёкота.

Причин для получения премии — три.

Узнав о первых двух, ты, вне всякого сомнения, как можно скорее постараешься о них позабыть — или же сделать, как ты это умеешь, вид, что это, мол, тебя «не колышет», это так, непонятно что и незнамо где, что-то смутное, где-то побоку.

Потому я о них и не стану тебе говорить.

О третьей причине — скажу. Она — проста до смешного.

Повесть твоя, как бы это сказать поточнее, наоборотная, навыворотная «Бедным людям», а это вполне в духе нынешнего «ихнего» постмодернизма (ну и словцо!), предтечей которого они видят Веню Ерофеева, по неграмотности своей, по отсутствию кругозора, по незнанию — что и когда написано было в этом же роде примерно, но значительно раньше, нежели пресловутые «Петушки», сочинение, надо заметить, не «шедевральное», как и сам Веня был, если правде в глаза посмотреть, тем, о ком говорят в народе: невелика птица.

О том, что до Ерофеева писал свою прозу, в постмодернистском, приходится говорить, духе, или же — роде, Коля Боков, а значительно раньше — Леонард Данильцев, они, работные люди как бы времени, считающие наивно, что именно они делают погоду в литературе, и понятия не имели.

Поэтому сказ — о тебе.

Поскольку повесть твоя написана за годполтора до «Петушков», то, выходит, что и ты являешься в некотором роде «предтечей», — и даже пораньше несколько появился с текстом своим постмодернистским среди московских людей — в нашей, богемной, неофициальной, давнишней, славной среде, в наши давние дни, героические по-своему и прекрасные, потому что, прежде всего, были дни эти молодыми, как и мы в эти дни, мы сами, с молодыми своими текстами, с голосами, ещё не охрипшими, с головами, ещё не седыми, со словами, ещё не грустными, потому что память в те дни не сводилась к воспоминаниям о былом, а просто была свежей памятью свежих дней, свежей жизнью и свежей радостью, ощущением естества, света, счастья, живого мира, — если заняться простой арифметикой.

Заметь: ты и Веня — русские, а не западные люди, а джинна из бутылки выпустили вы (пусть — вы, раз не помнят о Коле и Леонарде!) уже давненько, вовсе и не думая ни о каком «постмодернизме», и твой «джинн» вообще продремал тридцать лет, покуда я не дёрнул его за бороду и не разбудил, — да, и Веня, и ты, и Леонард со своей до сих пор не изданной прозой шестидесятых, и Коля, и Володя

Брагинский, и Лёня Коныхов, и Петя Шушпанов, и Слава Горб, и ещё кто-то — просто писали, работали, — но нашлись хваткие умники, разумеется, сообразили, подхватили, переиначили, ещё разок вывернули, перевернули — а тут и мамлеевщина со всеми её вывертами, патологией и притворством, — вот она, пожалуйста, к месту пришлась и вовремя! — и ученички мамлеевские зашевелились, червячками или, может, личинками, доселе таясь, проживавшие, пребывавшие в омуте, в тине, головастиками какими-то на поверхность шустренько выплыли или монстриками беспардонными, что весьма сегодня в цене, — и пошло-поехало! — вот оно! — то, что надо, что к как бы времени прилепилось — нет, присосалось, вампирическое, изнаночное, порождение зла и тьмы.

Ты-то в этом не виноват.

Но всегда важно: что? Кто был первым, вот что важно.

И тебе, поверь, это зачтётся.

Ты, сам того не сознавая, дал в руки нынешней пишущей псевдобратии нешуточное оружие.

Но об этом — особый разговор.

Таким образом, в твоём случае, потому что Ерофеева уже произвели в классики, с тобой может произойти нечто подобное тому, что произошло в своё время с одним известным ещё до революции русским общественным деятелем, и даже писателем, — но я не хочу — сознательно — говорить об этом сейчас.

Я вижу — многие связи. Я вижу — многие нити. И — тени, держащие нити в невидимых цепких пальцах. И вот эти тени, призраки, странные вроде и всё же совершенно реальные, взяли да и выдвинули тебя, в благодарность и для поощрения, на приличную литературную премию.

В твоём случае — Букер наиболее подходящ.

И это обязательно случится.

И я буду рад за тебя.

Давно уже многое из того, что пишу я, да и говорю, — сбывается. Почему? Не всё, далеко не всё могу даже сейчас, на склоне столетия, говорить — даже тебе. Тем более — растолковывать. Не время ещё. Но знай, что происхожу я из старинного рода, и в роду нашем всегда были жрецы и воины. Ещё в ведические времена в честь моих предков названо одно из степных весьма таинственных урочищ недалеко от Днепра, называвшегося тогда Индом. И поэт я ведический. Это — прежде всего — мироощущение. И созданные в наших краях русские Веды живы и жить будут всегда.

Об остальном распространяться не хочу, потому что ты, подобно академику Лихачёву и прочим постмодернистам, наивно, а может — нарочно, а может — из нежелания в корень хоть раз посмотреть, считаешь, что тысячу лет назад мои предки жили в лесах и в пещерах, по степям кочевали незнамо зачем — в общем, были на редкость дремучими и невежественными людьми, которым лишь христианство указало единственно правильный и спасительный даже путь. Ты заблуждаешься, Саша. Всё было вовсе не так.

Здесь я умолкаю — и предпочту, чтобы некоторые знания мои оставались при мне.

Замечу только, что далеко не случайно в начале семидесятых, когда ты, вполне по-дружески, искренне, пытался каким-то образом воздействовать на меня, в ту пору выпивавшего, и обратился к специалисту по некоторым связанным с психикой и не только с нею вопросам, очень модному тогда Владимиру Леви, да к тому же, по его просьбе, дабы он составил представление и обо мне самом, и о роде моих занятий, дал ему на прочтение мои тогдашние стихи, в предостаточном количестве имевшиеся у тебя, то суперспециалист Владимир Леви, сам, к тому же, насколько мне помнился, писавший стихи, но это так, просто к слову, сказал тебе, прочитав мои стихи:

— Я ничего не могу сделать. Он сильнее меня.

Это ты сам рассказывал. Для меня вовсе не удивительно, что Леви сказал именно так. Он ежели и не понял, то наверняка почувствовал, что мои тогдашние стихи — прежде всего, зашифрованные ведические тексты, выраженные — мною, выраженные — через меня, записанные мною, и с этой, насчитывающей многие тысячелетия, сконцентрированной в речи, образующей сплав, синтез, содержащей космический свет силой, мощью, могутой, — справиться он не может.

Впрочем, и сам ты когда-то, в прежние наши времена, был почти на пути к пониманию моих писаний, когда обратил внимание на то, что тексты, опубликованные в книге «Да услышат меня земля и небо. Из ведийской поэзии» странным образом схожи с моими стихами, по духу прежде всего, и даже в записи их на бумаге. Но дальше вникать в суть моих сочинений ты так и не стал, довольно быстро свернув с верного пути на другие, более удобные для тебя тропы.

Семнадцатого августа, в день рождения Аркадия Пахомова, мне приснился сон о нём. Надо будет в Москве как-нибудь спросить Аркашу: верен ли был этот сон?

Более двадцати лет — да четверть века уже! — я вожу с собой твоё письмо — единственное письмо твоё ко мне.

Вот его текст, я знаю его наизусть:

«Володя, мои пожелания по-прежнему остаются самыми наилучшими.

Передавай привет твоей маме.

Саша».

<…> Сразу вспомнил смешной эпизод.

В сентябре восемьдесят первого года, и если точнее — то двадцать третьего сентября, в день трёхлетия нашей с Людмилой официальной скромной свадьбы, на грани созвездий Девы и Весов, но ещё под Девой, с которой у меня, Водолея, свои, всегда непростые, отношения, заехал я к Андрею Битову, чьё созвездие — Близнецы, к Битову, писателю, моему вряд ли другу, скорее — приятелю, во всяком случае — давным-давно знакомому человеку, для меня — интересному, для других — необычному, уникальному даже, в чём и я десятки раз убеждался — благо, поводы для этого бывали то и дело на всём протяжении долгих лет нашего с ним общения.

Он позвал меня в гости к себе.

Помню, я звонил ему зачем-то из телефона-автомата. Домашнего телефона у нас тогда ещё не было. Вот и приходилось каждый раз, в любую погоду, выбираться из квартиры на улицу, искать поблизости от дома исправный телефон, пристраиваться в кабинке с разбитыми стёклами, бросать в щель автомата двухкопеечную монетку, набирать нужный номер, ждать ответа, разговаривать — и это тянулось годами.

Звонил я по делу. Только начал было говорить, как Андрей мне сразу же:

— Приезжай ко мне! Прямо сейчас.

По голосу понял я, что он уже крепко выпивши.

Стал сомневаться: стоит ли ехать?

Но Андрей продолжал настаивать:

— Ну пожалуйста, приезжай!

Я спросил его:

— Что случилось?

— Ничего, — ответил Андрей. — Повидаться хочу с тобой. И поэтому — приезжай.

Пришлось мне сказать, что приеду.

Я вернулся домой, к Людмиле, как раз кормившей нашу дочь Машу.

И сказал своей любимой жене:

— Меня зовёт к себе в гости Битов.

— Поезжай, — сказала Людмила. — Сколько можно работать? Сделай перерыв. Отдохни. Развейся. Если Битов зовёт — поезжай.

Я собрался — и вышел из дому.

Тогда метро ещё не было в Новогирееве нашем. Тогда была — просто платформа «Новогиреево», мимо которой проезжали электрички, одни — в сторону Москвы, другие — в сторону Петушков. Направление было — ерофеевским. Некоторые электрички останавливались на этой платформе. Нужная мне — как раз подошла. Я доехал на ней до Курского вокзала. Потом, уже на метро, доехал до Красносельской. От метро добрался пешком до нужного дома.

Битов открыл мне дверь своей московской квартиры — и сразу же, без промедления, повёл меня за собою к весёлым своим гостям: там были Резо Габриадзе со своим спутником, тихим грузинским пареньком, и какой-то тип с дамой; разумеется — все выпивали, потом они попросили меня почитать стихи; и этот тип, длинный, худой, внешне похожий на артиста Леонида Филатова, почти двойник, возопил: «Так вы же Алейников! Вы же гениальный поэт!» — и давай мне руку целовать, поцелует, повернётся — бац даму по физиономии! — опять к руке моей приложится — опять бац её! — я ему говорю: «Что ты делаешь? Перестань!» — а он в раж вошёл, пришлось всем его успокаивать; а потом Резо Габриадзе, расчувствовавшись после прочитанных мною переводов из Галактиона Табидзе, послал своего спутника, верного и вежливого паренька, в гостиницу, за имевшейся там, в номере, в запасе, настоящей грузинской чачей, и паренёк быстро смотался туда и обратно, и чача появилась на битовском столе, а с нею и застолье пошло уже по новому витку спирали, по грузинскому образцу, и филатовский двойник уже не бил свою даму по физиономии, и чача вызвала у всех прилив новых сил; а потом мы с Андреем поехали ко мне, в Новогиреево, в прежнюю нашу однокомнатную квартиру, где меня терпеливо ждала, уложив спать нашу старшую дочь Машу, драгоценная моя жена Людмила, ожидающая второго ребёнка, и мы с Битовым ввалились в квартиру и расположились, разумеется, на кухне, по старой привычке, по традиции шестидесятых и семидесятых, да больше и негде было нам устраиваться, и кухня была спасительным островком, и выставили мы на стол некоторое количество приобретённого по дороге питья, и Людмила приготовила нам скромную закуску и присела на кухне за стол, вместе с нами, поскольку так было всё-таки веселее, и Андрей, будучи под парами, да ещё и после чачи, а после неё, как известно, воды выпьешь — и опять хмельной, но все напитки выпитые уже смешались, а тут ещё было и добавлено, — и Андрей, заметил я, ощутил прилив нового вдохновения, говорильного, застольного, типично питерского, всем питерским людям свойственного, что Рейну, что Довлатову, что Битову, многим, и говорить все они большие мастаки, — ну так вот, Андрей и давай у нас на кухне говорить — и говорил, говорил, говорил, а время шло и шло, и вечер ночью сменился, а он всё говорил, да ведь интересно говорил, но вот хоть бы полслова из всего этого я запомнил — нет, загадка извечная здесь была, говорильное улетучивалось куда-то, как винные пары, как дым сигарет, и потом, ну хоть тресни, вспомнить ничего невозможно было, и Люда слушала Битова, и я его слушал, а он всё говорил, сам, для себя ли, для нас ли, уже всё равно, и широким потоком лилось его красноречие, и виртуозное говорение битовское, нашедшее пристанище себе на кухне нашей, не желало угасать, нет, оно лишь разгоралось, длилось и длилось, и Андрей всё говорил, столько, что я даже устал, и отправился в комнату, и там прилёг, и заснул, а терпеливая моя супруга находилась на кухне и слушала Битова, и он всё сидел за столом и говорил, а потом я проснулся, встал, зашёл на кухню — а он всё говорит, и потом, наконец, уже поздно, ушёл он в ночь, — а наутро Людмила, утомлённая битовским говорением, говоря об этом со мной, вдруг почувствовала, что пора ей рожать, и я бросился к соседям, к телефону, вызывать медицинских работников, и они приехали и увезли мою супругу в роддом, рожать, и она родила дочку нашу вторую, Олю.

Вот ведь как бывает — со словом. И тем более — с говорильным. Было слово в начале — говорильное, битовское. Потом были — наши с Людмилой слова. И потом родилась наша дочь. И мы с Людмилой говорили — уже с двумя дочерьми. И воспитывали их. Растили. Как умели. Как получалось. Нелегко нам это давалось. Непростою была наша жизнь. Сколько помню нас — всё мы с Людмилой выживали и выживали. Я — работал, всегда — помногу. И всегда трудилась она. Так и выросли наши дочери. Да и мы сквозь тяжёлые годы вместе, рядом, прошли — и стали, в наших зрелых годах, лишь дружнее, и живём, в любви и согласии. Говорильню же давнюю битовскую вспоминаем порой — и дивуемся восхитительным свойствам её: столько слов было сказано им — но припомнить бы нам хоть одно, хоть единственное словечко — да куда там! — ветер бесчасья их с собою, наверно, унёс.

Да, Битов, Битов. Здесь, в Коктебеле, он пришёл ко мне, увидел, что я работаю, бумаги везде разложены, — и давай себя накручивать, что нет у него никакого кризиса, что он ещё раскачается, что у него проекты какие-то есть — вроде так это теперь называется? — ну скажи ты просто, по-русски: ребята, я, даст Бог, ещё распишусь! Я ему сказал, что он, хорошо зная с шестьдесят пятого года мои стихи, мог бы написать обо мне серьёзную статью, как мог бы и Дима Борисов, — статью, подобную той, которую написал когда-то Недоброво об Ахматовой, определяющую путь, задающую тон по отношению ко мне, — но ни о чём просить его никогда не буду. Стану работать, и всё. Ишка мой слушал меня внимательно, а сам всё поближе к Битову пододвигался и этак серьёзно, со значением, на него глядел и слушал, что Битов говорит, а он, увидев большую мою подборку стихов в киевском журнале, пробежал тексты глазами и тут же сказал, что вот, мол, поэта сразу видно, по любой строчке, и сказал, что да, конечно, всех нас потом будут судить и ценить по тому, что сделано каждым, и ещё кое-что говорил, уже уходить собираясь, и двигался по коридору, спускался с крыльца, и верный мой Ишка всё время шёл с ним рядом, вплотную, этак внимательно на него глядя, и уже во дворе, на дорожке, Ишка, слушая Битова, этак решительно, крепко взял его зубами за локоть — да и выпроводил к калитке, со двора.

— За что? — вопросил Андрей, конечно же, испугавшись, опешив, недоумевая.

А что мне было ответить? Было мне и смешно, и грустно. Я посмотрел на Ишку. Он мне кивнул. Я понял: ему виднее. Значит, было — за что. Прикус оказался железным. Принёс я йод, смазал следы от Ишкиных зубов на битовском локте. Успокоил старого товарища. Утешил. Даже вышел его проводить. И пошёл Андрей вдоль Тепсеня, овеваемый ветерком коктебельским, свежим, хорошим, согреваемый солнышком летним, и седая его голова растворилась в полынной дымке… Позже, в Доме Волошина, куда он позвал меня на некую презентацию, он опять давай говорить там на людях:

— У вас в Коктебеле живёт великий русский поэт — Владимир Алейников, — печатайте его в своих местных сборниках!.. — и т. п.

Все сидят, слушают, вино пьют. Я побыл там, из вежливости, некоторое время, встал да ушёл домой. Вот и всё.

Как говорится, и так далее. Хватит. Слишком многое надо бы вспоминать и перечислять. Ну и что? — говорю я на всё это. Действительно, я работаю и работаю. Работаю постоянно. Ты даже представить себе не можешь, сколько текстов у меня в работе. Вот сижу среди ворохов рукописей. Пишу новое, стихи и прозу, воспоминания, свои записки о том да о сём, делаю нужные записи и так далее. Восстановил по памяти большой том стихотворений и поэм шестьдесят первого — шестьдесят четвёртого годов, которые считал безнадёжно утраченными. А кое-что и нашлось, чудом, но вернулось ко мне сюда. Здесь у меня открылась вторая память. Живу отшельником. Да, не тусуюсь, не желаю участвовать в хаосе.

Подумал сейчас: а зачем я тебе всё это рассказываю? Ну, живу себе замкнуто, пишу себе. Кому это нужно — слушать, что вдруг вспомнилось? Мало ли какие эпизоды бывали? И ты, небось, морщишься. Хотя — кто тебя знает? Ты со своим умом человек. Да, Саша, живу. Всё сказано в моих книгах. Их надо просто читать. Быть внимательным к ним. И по возможности — понимать. Кто я? Я человек. Моё слово, моя речь — в моих книгах. Это сейчас я, говоря с тобой, могу быть косноязычным, могу наскоро о чём-то вспомнить, взгрустнуть, а то и повеселить тебя, а то и призадуматься, потому что просто пишу, вернее, просто говорю с тобой, совершенно не заботясь о стиле и слоге. А там, в моих книгах, всё на месте, всё значимо. По-своему значимы, конечно, и случаи, подобные изложенным выше, но это — другое, совсем другое. Вот книги — они и есть книги. В «Скифских хрониках» и в «Здесь и повсюду» я выразил своё время, вот это, наше, теперешнее междувременье, на самом разломе веков и эпох, «как бы время», на стыке двух столетий. «Здесь и повсюду» — две части, шестьсот семьдесят два стихотворения — так и не издана полностью. И многое, многое не издано —

и прежнее, и нынешнее. Куда больше по объёму, нежели изданные книги. Ну и что? Да так, ничего. Жив. Дышу, надеюсь. Работаю—как я обычно всем отвечаю. Моё существование—почти схима. Подвижничество, как ни крути. Потом, глядишь, скажут: житие. Вот Слава Горб сказал как-то, что расценивает мои писания как литературный подвиг. Я знаю, это так. И хорошо знаю, когда придёт моё время. Услышать бы отклик. Доброе слово. Ощутить бы внимание. Но… Чего там! Всегда один, один, один. Привык. Никто в мире не сделает за меня того, что только я могу сделать, написать свои книги, свои Веды. И я делаю это. Тружусь. А понимание? Где оно? Внимания, и того нет. Даже от товарищей по судьбе.

О товарищах. Я воспринимаю товарищество в пушкинском понимании этого слова. Потому и делал столько публикаций друзей-товарищей, если таковыми они являются, в чём уже не вполне уверен, потому и помогал книги издавать, писал о них,—вот они, длинная череда… И что это? кто это? Это—товарищи?

По-всякому можно убивать поэта. Можно—и невниманием. Как Николая Шатрова (1929–1977). Как Леонида Губанова (1946–1983). Как Александра Величанского (1940–1990). Как Леонарда Данильцева (1931–1997). И так далее. Я—ещё жив…

<…> …Давным-давно, когда-то, в семьдесят втором, сочиняли мы, Саша, с тобою вдвоём развесёлую прозу, сочиняли под настроение, перед этим, конечно, выпив, а потом и развеселившись, сочиняли в моей квартире, той, которой вскоре уж не было, на машинке моей, на «Консуле», той, которой вскорости тоже больше не было у меня, мы записывали её, нашу прозу—конечно же, шуточную. Я запомнил её наизусть.

Помню, что, сочиняя нашу прозу, мы оба очень смеялись. <…>

В памяти остался и кусочек тогда же сочинённого, уже только тобой, Саша, самостоятельно созданного, шуточного стихотворения:

«Жив Алейников на свете—сумасброднейший поэт. Что ни спросишь, он ответит: „Я—поэт, а ты, брат,—нет“. Я сказал ему однажды: „Ты, приятель, много пьёшь“. Он ответил: „Этой жажды никогда ты не поймёшь“. Я и так ему, и эдак всё толкую об одном, говорю: „Лимонов Эдик в твой уже не ходит дом. Было время—вместе пили. Почему же он ушёл?“ Отвечает: „…“»

А вот что я отвечал тебе, Саша,—я уже забыл.

Может быть, стихотворение твоё просто-напросто не было дописано? Иначе я бы его запомнил.

Что касается Лимонова, то на твой вопрос могу—через двадцать восемь лет—ответить прозой: ушёл, чтобы самоутвердиться подальше от меня.

Вот и всё. Понимай как знаешь.

Или, может быть,—как хочешь.

Как писала Зина Новлянская:

«Как хочешь, как знаешь,—а я не хочу и не знаю…»

Или—так, как написано в заголовке газеты, лежащей у меня на столе:

«Хочешь?—значит, сможешь».

Вот ведь как залихватски пишут!

Значит, могут. Всё бы—вот так.

…Лишь касанье чего-то. Лёгкое. Невесомое. Так, пушинка. Нет, снежинка. Таянье звёздчатое. Тайна. Что это—явь или сон?..

<…> Что за облако над Святой горой? То ли тени там, то ли тернии—ну а выше что? Подивись порой—там звезда горит предвечерняя. Не ко времени—а иных ясней, всех светил в ночи незабвеннее,—потому-то я всей душою с ней, да и слов уж нет сокровеннее.

Слово. Память—во времени.
Свет звучащий добра.
Отзвук имени—в темени.
Речь.
Святая гора.

…Мой самиздат. Слух мой и взгляд. Путь мой во мгле. Свет на земле. Звук или знак? Отклик и лад. Именно так. Мой самиздат.

Мой самиздат начался для меня ещё в шестьдесят втором году.

Жил я тогда на Украине, в Кривом Роге, степном, таинственном и совершенно особенном, обладающем магнетическим притяжением городе, и от роду мне было шестнадцать лет.

Название родного моего города, как гласило донесшееся из позднего ведического времени (имя его—время Бусово, по «Слову о полку») предание, связано с именем князя Криворога из рода Белояра.

На исходе шестого века нашей эры Криворог собрался в поход на Сурож. Там, в старинном, исконном русском городе, на морском побережье, крепко сидели греки.

Прежде всего, по традиции древней, надо было узнать волю Бога. Криворог, согласно традиции, выпустил на волю белого голубя, птицу Вышня.

Князь следил за полётом его напряжённо, внимательно. Почему? Потому что ждал он не чего-нибудь там, а знака. Потому что был очень важен этот—птичий, небесный—знак. Ведь куда полетит голубь, туда и следовало рати всей идти.

Голубь вначале поднялся высоко в небо—и там, в синеве, в ясной выси безоблачной над пространством степным, наслаждаясь нежданною волей, упоённо парил, зависая вверху еле видным комочком, трепещущим в струях воздушных, превращаясь в белую точку, чуть заметную, но потом словно спохватился, пришёл в себя и полетел по направлению к Тавриде.

Вслед за ним двинулась рать Криворога.

Греки сурожские были разбиты.

А Криворог с богатой добычей возвратился в Русскую степь. И в честь его было названо одно из степных урочищ при слиянии тогда ещё полноводных рек—Ингульца (Хингули—ведической древности, Пантикапеса—скифов) и Саксагани.

На этом месте позже возник город, и среди основателей его были мои предки по отцовской линии.

Преданье старины глубокой стало звеном традиционного для Украины, устного, так сказать, самиздата—и начисто опровергало более позднюю версию возникновения города, относящуюся уже к запорожским временам. И старина была права: в начале было слово, название места, древнего поселения, и только потом—большой город, где я вырос.

Повзрослев и почувствовав силы, я сумел преодолеть властное притяжение насыщенной рудами земли—и, словно вслед за голубем, потянулся в Москву, а со временем—в Крым, и вот уже десятый год кряду живу в основном в Коктебеле.

Но вернёмся к действительности, прошедшей перед глазами.

Итак, был я очень юн и вовсю писал стихи.

В нашем городе существовала группа молодых поэтов.

Разумеется, кое-где я встречал их, этих провинциальных поэтов начала шестидесятых, таких окрылённых, романтически настроенных, с огоньком в глазах, с пониманием своей обособленности, избранности, выделенности из толпы, в вельветовых брюках, свитерах и ковбойках, с вызовом и задором в голосах, с неистребимым южным произношением,—да, встречал их порой, на местном «Бродвее», в парках, в библиотеках, и даже бывал на некоторых их выступлениях перед публикой. Ну и, конечно, периодически читал их стихи в городской газете, на публикации поэзии не скупившейся—такое уж было время.

Мне очень хотелось познакомиться с этими ребятами, но я почему-то стеснялся. Что-то меня сдерживало.

Я был одиночка, мечтатель. То, что я писал, стихи и прозу, я никому не показывал. Компания сверстников у меня, естественно, была, и все они знали, что я пишу, но творчество моё тогда ещё не успело войти в круг их интересов.

Меня тянуло к людям, более старшим по возрасту. Мне нужны были знания, общение. Нужна была—среда.

В мае шестьдесят второго года я решился-таки выйти на свет Божий.

Дом учителя объявил конкурс на лучшее поэтическое произведение. Я переписал некоторые стихи, составил первый свой небольшой рукописный сборник и отнёс его туда. И конкурс этот—выиграл. Занял первое место. Победил. Впервые—и сразу же.

Мне вручили премию: собрание сочинений Пушкина и гипсовый бюст Есенина. Было это девятого мая.

Помню свою радость, подъём духа, просветлённое состояние, подобное тому, какое бывает после причастия, когда по улице, заросшей старыми деревьями, возбуждённо шумящими свежей молодой листвой, под счастливым тёплым дождём, а потом по мосту через широкую реку, а потом и по родной своей улице, сплошь укрытой как бы рукоплещущей мне зеленью окрестных садов, шёл я домой, прижимая к груди сочинения Пушкина, десять синих томов в суперобложках с портретом поэта, увесистую стопку, на верху которой был водружён белый есенинский бюстик,—шёл, победитель, сам поэт,—и чем короче становилось расстояние до родительского дома, тем яснее укреплялось во мне осознание того, что поступок совершён и первый шаг мой к людям наконец сделан.

А потом городская газета напечатала моё стихотворение.

И я почувствовал, что некоторое право познакомиться с такими притягательными для меня молодыми поэтами уже имею.

Мог ли я знать тогда, что первая моя публикация в местной прессе окажется и последней, что напечатает годом позже областная газета всего два моих, основательно изуродованных, текста—и всё, и грянет хрущёвский разгром формалистов, шарахнувший с маху по нашей компании, и появятся в украинских газетах бичующие меня и моих товарищей статьи, и не будут меня печатать долго, больше двадцати лет?

Вот тогда и открылась передо мною—эпоха самиздата.

Мой самиздат начался тридцать восемь лет назад.

Многих из моих друзей уже нет в живых. Вот и глядишь в прошлое—и самое время осмыслить прошлое и писать о нём.

Былая эпоха—ушла, новая—только настаёт. Мы находимся—на разломе. Непросто это—устоять, а вернее—снова выстоять. Трещину ничем уже не скрепишь, разве что—памятью, словом.

Точно так же на тектоническом разломе почвы находится и Москва, где в основном сформировалась наша «другая» культура.

Что за сопоставление?—скажут некоторые. Да прямое. Смело можно считать, что подан знак. Городу и миру. Устоит ли?

Надо, чтобы, как в древности, именно слово улавливало космические ритмы и вибрации, чтобы ожили в слове—смысл бытия и свет его.

Мой самиздат начался давно, очень давно.

И с некоторой грустью думаю я порой, что для меня он — по крайней мере, для меня — не закончится никогда — и покуда я жив, и потом.

Такая уж планида, что ли.

Такая вот, весьма тернистая, стезя.

Такое нынче у нас, господа, междувременье, что приходится ясно и трезво осознавать: надеяться на повышенное издательское внимание к моим писаниям нечего — интересы у большинства издателей другие.

У Гоголя редкая птица долетит до середины Днепра.

А на берегах Москвы-реки редкий издатель или редактор иногда словно спохватывается, вспоминает, что я, пусть и в стороне от всех, вдали от хаоса и суеты, ещё существую, причём, оказывается, очень много работаю, — вот и поступает от такого помнящего своих поэтов человека предложение о публикации — да и то далеко, далеко не всегда.

Слава Богу, сейчас, когда я пишу эту книгу, далеко отсюда, в Москве, один хороший человек обо мне уж точно помнит, и это отрадно.

Так уж я устроен, наверное, что ещё встарь привык никому себя не навязывать.

Тем более что, постоянно пребывая в состоянии, высокопарно именуемом «творческим», а это значит — словно находясь в другом измерении, как-то забываю я о том, что, в принципе, надо, хоть изредка, но надо куда-то идти, кому-то нести свои опусы — и чего-то ждать, в данном случае — решения о публикации текста.

А может, и не то что забываю — краешком сознания всё-таки помню, что и на людях надо появляться, так сказать, вживую, да и в печати: кто знает — может, где-нибудь в отдалении от столицы давний мой ценитель, тридцать с лишним лет назад читавший и перепечатывавший залетевшие в эту глушь в безудержном самиздатовском вихре мои стихи, скажет, тряхнув седой головой: «Смотрите-ка, жив Алейников, пишет!..»

Всё это так, но трудно себя переделать.

Замыслы мои, всегда максималистские, требуют воплощения в слове. Это требует времени. А время идёт и идёт. И вовсе не хочется тратить это отпущенное щедрой Господней дланью время — для работы, да, для работы, после всех былых невзгод, бездомиц, мытарств, золотое, уже прямо алмазное время, — на хождения, на ожидание некоего решения, или, чего уж и вовсе не могу себе представить, на какие-нибудь просьбы.

Нет, надо успеть сделать хотя бы часть того, задуманного и важного, чего никто, кроме самого меня, не сделает.

Потому что творчество есть не брожение, а горение.

Потому и горит в моём коктебельском окошке тёмными, одинокими, плещущимися в пространстве киммерийскими вечерами и ночами свет — электрической лампы ли, свечи ли, когда электричество для странной экономии отключают, — но горит.

Потому и существует мой самиздат, что по привычке, по старой памяти, вспомнив о старом друге или просто хорошем человеке, для которого жизненно важно существование поэзии, существование отечественной литературы, перепечатываю я на машинке некоторые новые свои тексты — и посылаю по почте своему адресату, а там, на месте, большей частью не в столице, а в провинции, где есть настоящие читатели, но напрочь отсутствуют в библиотеках и на полках захиревших книжных магазинов и периодические издания, и книжные новинки, машинописные тексты мои, по старой самиздатовской традиции, совершают привычное движение от человека к человеку, и в итоге произвольно разрастающийся тираж их никакому учёту, как и в советскую эпоху, не поддаётся.

Тексты мои существуют в поле зрения читателей без помощи типографской печатной машины, просто — из внимания, иногда из любви к ним.

Там, за этим человеческим вниманием, постепенно высветляется и подлинное читательское понимание.

А то бывает — нахожу или вспоминаю я тексты своих товарищей по перу, по судьбе, и тоже перепечатываю их и отсылаю кому-то.

Судите сами: как же мне без самиздата?

Может, и не сросся, но уж точно — свыкся с ним, сжился — да так и продолжаю традицию.

Конечно, самиздат — не книгопечатание, в понятном смысле слова, да он и не претендует на это.

Скорее, он — своеобразное, избирательное, доверительное общение, — да, такое вот чудесное общение, всегда — с хорошим собеседником, и читатель общается с текстом, как с другом, и всё дело здесь в приязни душевной и потребности духовной, вернее — в жажде духовной, — а ею-то и держится всё на Руси.

Ты то еси.
Тат твам аси.

Слово. Грань века и года.
Речь. Она же — свобода.
Клич, с которым я — зряч.
Ключ.

Может быть, плач?

Любовью и доверием светла в стране моей, где облачного млека довольно, чтобы чаяньем жила, звоня меж тем во все колокола, звезда незабываемого века. И ныне, в Киммерии, на краю эпохи, различимой за порогом, где чар её медовую струю в аду её мы пили, как в раю, я всё тебе скажу, как перед Богом.

1999

Михаил Горевич

Избранник

Владимир Алейников и его Гений

1.

У Владимира Алейникова и радостные, и слегка грустные события: одна за одной вышли итоговые книги, разумеется, итоговые только на данный момент, ещё долго будут открываться в молодых ладонях новые издания и петь вечным голосом поэзии новые стихи. Это о радости. А чуть грустно оттого, что так долго пришлось ждать и так непрост был путь… Но и то верно: простые пути — не для Гения.

Передо мной долгожданное ваше «Избранное», Владимир Дмитриевич, строго и со вкусом оформленный однотомник, выпущенный московским издательством «рипол классик». В книге около восьмисот страниц, стихи «идут подряд», то есть «не каждое с новой страницы», но профессионализм издательства сказался в том, что каждое стихотворение заметно и выделено. И я подумал, что так даже лучше, решение по макету чёткое и верное — подобное размещение стихотворений отражает непрерывность вашего творческого труда, его мощь, силу…

2.

Размер этих заметок не будет большим, о великом лучше всего сказать кратко. Да и цитировать обширно невозможно при такой огромной книге. Но дать ощущение — попытаюсь. А главное — развить мысли о Гении, сказать о его мире, дарующем ему неиссякаемые силы. Моя цель — заставить людей не говорить о гениальности просто так, как теперь привыкли… слово девальвировано, его надо очистить от «петушино-кукушкиного» значения и вручить вам это высочайшее звание в его истинном блеске…

Когда я открывал ваш недавний вечер, у меня была некоторая речь в голове. И вдруг — «вспыхнул свет». Я так ясно увидел значение этого слова: Гения местности и Гения — как символа творческой производительной силы, которая явлена тысячами ваших произведений. И я сразу решил говорить об этом, хотя мысль только появилась и слова не были отшлифованы. То, что вслед за мной стали эти мысли поддерживать достойные люди, успокоило меня. Говорил я или хотел сказать о том, что Гений имеет родину, он приходит из долин на рукотворной земле Поэта. Эта земля создана словом, по образу и подобию слова Творца, который в радостной песне первой главы книги Бытия созидает сущее. И отступает тьма, и растекаются моря, и поднимается из вод суша… Рыбы и птицы плывут и летят в краях, где нет зла сетей и нет подлости двустволок. И в этих степях мчится вольный конь без упряжи, сам выбирая себе седока… Из этих краёв родом Гений. Его не призвать бренчанием медалей и приятным шелестом купюр, не вызвать аплодисментами залов, которые назавтра отвернутся и объявят кумиром другого, а потом пятого и десятого… Он посланник Небес на новые земли культуры, защитник и хранитель. И когда он появляется, идёт по травам навстречу поэту, только тогда мы можем сказать о поэте: гениальный. И никогда иначе…

3.

В мире, которому покровительствует Гений, иное время. Его нет, когда поэт молчит, и оно «просыпается», весело бежит ручьями, льётся полноводными реками, когда рождаются стихи. А пространство творчества — мир культуры, который скрывает «нагого, пещерного человека». У «Человека Культуры» не те страшные ночи, когда одни первобытные инстинкты таятся во мгле — нет, свеча горит на его столе, и звезда восходит над его кровом. И на белом венчальном листе в словах поэта рождается любовь, выходит Афродитой из строк-волн к людям. «Любовь» — изгоняемая ныне из стихов «строгими молодыми людьми». Любовь к женщине или морю, стране, друзьям, жизни… Что же гонят? Прекрасное. Чувство, которого не было бы без Античности, без рыцарского романа, Данте и Петрарки, Шекспира…

Любви земной бессмертная сестра,
Звезда моя открылась в небе ясном,
И ласкова настолько, и добра,
Насколько мы сближаемся с прекрасным.

Не надо мне чрезмерной красоты,
Жемчужному подобной ожерелью, —

Хочу, чтоб впечатленье высоты
Откликнулось не словом, так свирелью.
(«Звезда островитян», 1979)

4.

Умберто Эко в «Истории красоты» останавливается на разнице между «хорошим» и «прекрасным» и говорит о том, что хорошее то, чем хочется обладать, а прекрасное то, что вызывает восхищение самим фактом существования. Я, возможно, говорю по-своему, но суть такова. Не думаю, Владимир, что читающему вас, если он искренен и ответственен, придёт в голову отрицать: ваши стихи завораживают. Они именно прекрасны. В каждом стихотворении отражён огромный мир вашей поэзии. Эти стихи — они способны заставить забыть о сиюминутном, они не вызывают желания соперничать. Почему же? Да потому что никто и никогда не сможет создать вашего мира, вы его творец. А следовательно, невозможно повторить вас… И когда вы говорите о всём своём творчестве: «мой личный эпос», — то не сыскать определения точнее.

5.

Я пробовал отбирать стихи, чтобы привести здесь — целиком или частью… И потерпел фиаско. Несколько дней я занимался этим, и мне хотелось цитировать все. Но достаточно абсурдно перенести сюда такую огромную книгу целиком. Сознаюсь, я растерялся. И всё же решение нашлось, мысли о вашем творческом пространстве помогли мне. Я решил поступить так, будто я путешественник в неизвестном краю, который не знает, куда ведёт дорога, что за люди вокруг… самое лучшее в таком случае — положиться на интуицию и случай, идти, глазеть, «прозевать» известнейшее здание, но ощутить очарование местности, усевшись на траву в тихой уединённой роще…

В этом едином пространстве-времени, вашем «Избранном», можно раскрывать книгу на любой странице и так ощущать ауру всего свода стихотворений. Так и поступил. Повторяю — был абсолютно честен.

6.

Книга открывается.

В пальто обшарпанном, изранен и упрям,
Не ты ли рощу видывал нагую,
Что листьев ждёт, открытая ветрам,
А ночь ведёт, подобно входу в храм,
Хранящий нашу веру дорогую.

Не укротить стремление уздой —
И если век, что начат столь крылато,
Не упадёт падучею звездой,
Быть может, ты поднимешься когда-то
Над рощей мартовской, как месяц молодой.
Март 1976

«Какой пророческий дар, — думаю я, — и какая одновременно искренность в словах о вере, какая сила в любви к вере во времена поголовной почти веры ложной…»

7.

…И открываю вашу книгу снова.

Чуть к вечеру, — откуда-то извне
Из прихоти прохладный ветер веет,
И рядом, и поодаль, в стороне,
Где облако неясное немеет.

Какая-то растерзанная мгла,
Махрясь, сгуститься делает попытки —
И тополя цыганская игла
Удерживает рвущиеся нитки.

И скомкано заката полотно,
И тащат неразборчиво пичуги
Кто — к западу ползущее пятно,
Кто — узелок, тускнеющий на юге.

И где-то там, где время назревать
Подпочвенному смутному броженью,
Распластанная лиственная рать
В нежданное включается движенье.

И тянется туда, где степь вот-вот
Ворвётся в закипающее море,
Всё то, что не случайностью живёт
И в слове будет выражено вскоре.
16 июня 1988

Заворожённость стихотворением столь сильна, что не прервать его никому. Нельзя и не хочется анализировать — только врастать, интуицией постигая интуицию. Любая строка и любое слово осмысленные у вас. Скажем: «Распластанная лиственная рать / В нежданное включается движенье». Знаете ли, Владимир Дмитриевич, о чём вы и как написали? «Распластанная» — пространственный образ, а «движенье» — связано со временем, но всё вместе как бы застыло на полотне художника. И всё прошито нитью боли — за потерю друзей, за уехавших, за разбредшееся по миру «цыганское племя» вольных творцов… Конечно, знаете. Подтверждение — в последней строке. Гений принёс его из скифских степей к дому в Коктебеле.

8.

Что же, откроем в третий раз.

Пристрастный плещется родник,
Никем не виданный доселе, —
И ты растерянно приник
Не просто к бездне — но купели.

Над морем, рея в высоте,
Горит костёр необычайный,
Чтоб в каждой грезилось черте
Всё то, что впрямь считалось тайной.

Нисходит свет на всех, кто встарь
Томились цветом или звуком,
Проникшим в изморозь и хмарь,
Дохнувшим Бахом или Глюком…

12 апреля 1993

Я цитирую только первые строфы этого стихотворения, с такой знаменательной датировкой, символической. И стихи ровно о том же, о чём веду речь. О слове творящем творца. Нет гениального поэта без его подобия божественному. «Открылась бездна звезд полна…» Ломоносов, из той, звёздной, купели. Но прежде всего: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». Только свет—источник искусства, и стихи для меня стихи, только если пронизаны светом. А иное —не искусство и не стихи… И если мне скажут: но трагедия, но Софокл…— отвечу: там катарсис, свет, вызволенный из тьмы прекрасным. Ты выходишь из зала, и перед тобой всё новое и другое, светлое как никогда, лучезарное небо над головой…

9.

Когда Пушкин написал: «Как гений чистой красоты»,—он выразился абсолютно точно. «Чистая красота»—мир прекрасного, и Гений «земель, морей и небес прекрасного» может явиться в любом образе… Только для того, чтобы он явился, должен был осуществиться «пушкинский мир». Тогда творец как бы видит все его связи, ограничения и свободы, и мощь созданного превосходит обычные возможности человека. «Смотрите! Он сейчас возьмёт высоту в три метра…» А человек разбежался и полетел…

10.

Мои слова—писательские, не литературоведа или критика. Им, специалистам, ещё много предстоит написать о вас. Перечислить даты, напомнить о СМОГе, дать хронику ваших публикаций… Я же держу в руках «Избранное» и хочу только одного—помочь людям понять силу вашего дарования и свершения. Ваши стихи—собственность всех, умеющих читать по-русски. Вот оно, «Избранное» избранника языка. В книге нет отдельного предисловия, прекрасно сказали о вас Андрей Битов и Евгений Рейн, Александр Величанский, Дмитрий Савицкий, Михаил Соколов. Они справедливо называют вас великим поэтом… Ещё раз хочется сказать об издательстве «РИПОЛ классик», его директоре С. М. Макаренкове: издать наконец-то «Избранное» классика современной литературы Владимира Алейникова означает понимать самое существенное и помогать самому значительному в нашей литературе.

11.

Пора завершать мои заметки, и всё же разве могут пишущие распрощаться?—всё возвращаются, говоря о наболевшем или не сказанном… «Стихи 1964–2011»—так на обложке «Избранного». Вот первое стихотворение книги: «Когда в провинции болеют тополя…». Я написал об этом знаменитом стихотворении 1964 года, о том, что тополя больны ностальгией по столице. Но вот и столица, откуда хочется уехать к морю… Ностальгия по будущему миру, который предстоит сотворить…

12.

И последнее стихотворение книги, 2011 года,—его я привожу целиком: в нём сказано всё, что хотелось сказать и мне…

И судьбе твоей нет предела
На вселенском вечном пути—
Ведь живую душу вселяет
Неустанно, светло и осознанно
В животворных трудах своих,
Созидательных и целительных,
И спасительных для бытия,
Где любовь расцвела твоя,
В мирозданье живое Господь,
И по воле Творца мы живы,
И поддержаны, певчие, творчеством,
И ведомы—звучащим словом,
И хранимы—небесным светом,
И едины—вселенским родством.

Ни одной точки в конце строк, кроме последней. Так же, как в первом стихотворении книги. Путь, не знающий остановок.

Дай вам Бог здоровья, Владимир, и долгих лет, а трудиться вы будете всегда, подчиняясь вашему Гению.

Михаил Соколов

Живопись как поэзия

Об изотворчестве Владимира Алейникова

«Ut pictura poesis» («Поэзия как живопись») — рисунки и картины Владимира Алейникова побуждают решительно переиначить этот знаменитый девиз Горация, утверждающий равенство двух искусств, вербального и визуального. Слова «поэзоживопись» или «стихоживопись» не раз к этим произведениям прилагались, и подобные термины глубоко закономерны и естественны. Правда, стихи нашего мастера давно уже, не первое десятилетие, воспринимаются как классика современной русской поэзии; что же касается Алейникова-художника, то он, напротив, всё ещё пребывает незнакомой, или, точнее, полузнакомой величиной. Однако то увлечённое внимание и понимание, которыми вроде бы уже плотно и надёжно окружены его стихи, совершенно необходимы и в данном случае. Ведь оба вида творчества сопряжены тут настолько органично, что друг друга непрерывно отражают и поясняют, достигая иной раз идеальной взаимозеркальности.

Традиции русской «поэзоживописи» и «поэзографики» — имея в виду не только чисто словесную живописность (о которой, собственно, и писал Гораций), но и прямое изотворчество поэтов, — достаточно богаты и многовидны[1]. Тематический спектр этих образов очень широк: тут и лихие гротески Пушкина, и романтические зарисовки Лермонтова, и задумчивые пейзажи Волошина, и антропософские мистерии Андрея Белого, и сюрреальная иероглифика Ремизова, и мрачные вариации на тему Гойи, которыми увлекался Леонид Андреев… Список легко увеличить: в частности, рисовал иной раз (незамысловато, но с юмором) даже Лев Толстой. Мечты об универсальном синтезе искусств, о создании всеохватных сверхпроизведений (столь характерные и для символистов, и для футуристов), естественно, лишь активизировали этот вербально-визуальный диалог, через полвека продолженный «вторым авангардом», или т. н. «неофициальным искусством». Так что в чисто типологическом плане Алейников нисколько не оригинален: ведь и в целом найти современного литератора, который никогда бы не рисовал, столь же трудно, как и современного художника, который ни разу в жизни не писал бы стихов или прозы. Но суть, разумеется, не в типологии, а в личном стиле мастера. Стиле глубоко самобытном и требующем для своего адекватного постижения (любоваться-то им просто и легко!) определённых историко-биографических знаний[2].

Истоки всего — в родном Кривом Роге, в русско-украинских, точнее — общеславянских мифах и легендах. Впрочем, древние боги (вроде Стрибога) лишь кое-где маячат в алейниковской поэзии, но не в живописи. Да и уверенность в древних, даже «ведических», как он сам выражается, первоосновах искусства пришла значительно позже, уже в зрелом творчестве. Изначально куда важнее были впечатления более простые и повседневные — от малороссийского ландшафта с его пирамидальными тополями, которые позднее вновь и вновь выписывались поэтом-художником почти как фирменный топографический символ, как знак происхождения. Так мало-помалу нарождался тот совершенно естественный, отнюдь не мифологический пантеизм, в высшей степени свойственный его образам, где различные царства природы сливаются воедино, порой до полной неразличимости. Воистину основополагающим был пример отца Дмитрия Григорьевича, многообразно одарённого человека и талантливого художника, писавшего (чаще всего акварелью) пейзажи в манере, которую можно условно назвать лирическим импрессионизмом; причём работал Дмитрий Григорьевич без слишком пристальной оглядки на натуру, по памяти, как впоследствии и его сын. Вопреки строгой соцреалистической цензуре, доходили сведения и о более современных стилях. В украинской провинции главным источником такого рода информации были польские журналы — массовая «Польша» и более элитарный «Проект». В Москве же настоящим откровением, как и для всех художников и поэтов «второго авангарда», стали для Алейникова залы французских импрессионистов и постимпрессионистов в Музее изобразительных искусств. А учёба на кафедре истории искусств МГУ ещё больше его арт-эрудицию подкрепила. При желании в его работах можно найти целую модернистскую антологию — от футуристов до живописной абстракции, однако конкретные исторические источники, как правило, невозможно здесь указать, настолько всё переосмыслено. Лишь изредка встают в сознании некие параллели — с лучизмом и примитивом Ларионова, к примеру, или с сюрреальными видениями Шагала и Филонова, — но тут же видишь, как всё тонет в вольных импровизациях.

---

[1] Укажем лишь три книги, этому посвящённые: *Zaretzky N.* Russische Dichter als Maler und Zeichner, Recklingshausen, 1960; *Дуганов Р.* Рисунки русских писателей XVII — начала XX века. М., 1988; Рисунки писателей (сб.). СПб, 2002. В них можно найти важнейшую библиографию вопроса.

[2] Важнейшим источником этих знаний остаётся мемуарная проза самого Алейникова — см. в первую очередь: Тадзимас, т. 1 (Прелюдия) и т. 8 (Может быть, плач. Эпилог). Феодосия, 2002; Неизбежность и благодать. История отечественного андеграунда. М., 2011.

Годы СМОГа были для Алейникова годами творческой бури и натиска, в том числе и в сфере изоискусства. Работа, по его собственному свидетельству, «шла по нарастающей» с осени 1964 года, когда он начал учиться на кафедре искусствоведения и, что ещё существеннее, когда СМОГ — призванный стать не просто поэтическим кружком, но объединением поэтов и художников, — собственно, и задумывался. Алейников писал всем, что под руку попадётся: акварелью, гуашью, пастелью, реже маслом (но реже лишь потому, что оно было дороже других материалов). В итоге именно в эти «золотые шестидесятые» в его живописи чётко наметилось то, что вполне уже можно было считать узнаваемо-своим и незаёмным. Наметился свой стиль.

Своё и чужое тут легко определить по принципу вычитания. Шестидесятые потому порою и называют «золотыми», что они были годами хоть и «подпольного», протестного, но живого и дружеского общения. Люди творчества знакомились друг с другом в живых и гостеприимных «домах»[3], а не через безличные компьютерные сайты, как в нынешнее время. И Алейников знал буквально всех и вся, будучи вхожим ко всем сколько-нибудь значительным авангардным художникам и коллекционерам. Особое впечатление произвели на него знаменитое собрание Георгия Костаки и не столь знаменитая, но впечатляющая своим хаотическим богатством коллекция музыканта-авангардиста Вадима Столяра. Кругом завязывались судьбоносные контакты: так, именно Алейников свёл Михаила Шемякина с его тёзкой Шварцманом, тем самым невольно связав два разных поколения нитью единой традиции т. н. «метафизического символизма». Однако — если всё-таки продолжить разговор о принципе вычитания — все эти тусовки и посиделки не превратили нашего героя в некоего весёлого эклектика, собиравшего с миру по нитке, с бору по сосенке. Все сколько-нибудь интересные для него «нитки» и «сосенки» слагались в крепкую ткань, расшитую невиданными, сугубо авторскими узорами. Прямого же визуального цитирования — как классиков, так и современников — Алейников всегда избегал.

Целый ряд мастеров андеграунда, в том числе вдумчиво-созерцательный «космист» Пётр Беленок, дионисийски неистовый Анатолий Зверев и меланхолический визионер Владимир Пятницкий, были его ближайшими друзьями, но как художник он был весьма от них далёк. Судьбоносная творческая близость установилась, пожалуй, лишь с двумя соратниками — с Игорем Ворошиловым и Владимиром Яковлевым. Первый (мастер, отметим, до сих пор недооценённый) был симпатичен ему своим крайне чутким и экспрессивным цветовым строем, а второй — уникальным умением превратить простую, неодушевлённую вещь природы в страдающее существо. Правда, и ворошиловские «крики цветом», и яковлевские «крики цветка» у Алейникова зримо умиротворялись. Он всегда предпочитал не заострять приём, доходя до синкопического надрыва, но настраиваться на более плавный и тихий ритмический ряд. Но в любом случае и Ворошилов, и Яковлев многое ему подсказали — в частности, когда последний «рисовал стихи» Алейникова, и «на рисунках летали и пели птицы, плавали рыбки и поднимались к небу деревья»[4]. Тут, по сути, перечислен — вкупе с «женскими лицами» — почти весь репертуар алейниковской иконографии. Правда, наш мастер в те же годы и сам по себе великолепно освоил подобное стихорисование, создавая свои самиздатские «книги художников», из которых, увы, практически ничего не сохранилось.

В московские годы оформился и его своеобычный характер, то отшельничество-в-миру, куда он всё глубже уходил вопреки неизбежной — и в бытовом отношении очень тяжёлой, порою почти бродяжнической — городской суете. Знаменательно, что, раз и навсегда ощутив себя мастером, он никогда этим особенно не кичился, в особенности в живописи. Его ближайший друг, соучредитель СМОГа Леонид Губанов, тоже охотно дополнял свою поэзию изотворчеством, но при этом помещал символы «холста» и «мольберта» в эпицентр своей вихревой словесности. Из стихов же Алейникова почти и не узнаешь, что их автор к тому ж ещё и художник. Жалобная строка «пусть все мои рисунки отрицают» («Друг, здравствуй, не вини…», 1970) выглядит в данном плане уникальной, да к тому ж, откровенно говоря, и несправедливой. Всеобщего отрицания не было, интерес намечался уже и тогда, тем паче что автор постоянно—может быть, чересчур уж щедро (но в этом он был подобен отцу),—свои вещи раздаривал, так что возникали целые их собрания. Лишь в исключительных случаях попадаются словесные отсылки к живописной классике: к примеру, к «Девушке, пишущей письмо» Вермеера («Мне вспомнилась ночью июльскою ты…», 1977). И нет ни «мольбертов», ни «холстов», ни «кистей», ни «картин». Лишь «окно», постоянно повторяющееся «окно» очерчивает то, что можно считать неким нарождающимся, встающим из ничего произведением.

---

[3] Знаменательно само тогдашнее слово «дома», которым называли квартиры, чьи хозяева держали свой арт-салон, нередко совсем маленький кухонный салончик. Из таких артистических «домов» составлялись целые внутренние городки, оказывавшие значительное воздействие на столичную, да и провинциальную духовную жизнь.

[4] *Алейников В.* Тадзимас, т. 8, с. 114.

Впрочем, и одной этой, архетипальной для него, семантики окна—как наиболее естественной и привычной рамы—вполне достаточно. Именно благодаря окну фигура умолчания о живописи обращается в красноречивую фигуру речи. Вот редкие, по-своему уникальные строки, где у нас на глазах не только формируется картина, но и чётко определяется её стиль: «Живописью сельской на стекле / Станет ли просвечивать щемящее / Прошлое…» («Дерзость безрассудная в словах…», 1994). Тут в нескольких словах обозначена самая суть того творческого средостения, которым Алейников-художник и держится. Ощутимой основой его искусства послужил именно фольклор—так что если искать родственных ему украинских мастеров, то приходят на ум не авангардисты, а те, кого принято именовать «народными», а точнее (чтобы не путать с советским официальным званием)—«крестьянскими» художниками (Ганна Собачко-Шостак, Мария Примаченко), а также та наивная «живопись на стекле», что характерна для «западнянского» населения. Однако в итоге—в тех картинах и рисунках, что сейчас перед нами,—получается уже не сельский наив, но особого рода художественный симбиоз, где почвенный фольклор и элитный авангард непротиворечиво сосуществуют в виде своеобразного этнофутуризма—это словесное новообразование здесь как нельзя кстати[5].

Поэтому гораздо более органичными и живыми кажутся те вещи, которые не просто преобразуют исконный мотив, но и украшают его сказочными узорами. Так, в первую очередь, обстоит дело с портретами. Алейников вообще не жалует портрет как таковой, охотнее общаясь с тенями памяти, а не с конкретными людьми,—недаром и в стихах своих он неизменно снимает начальные посвящения, предпочитая обращения к Читателю с большой буквы, а не к различным имярекам. Обширный цикл томных дам в шляпках составляет безличную лирическую гамму, неизменно лишённую (в отличие, скажем, от острохарактерных женских портретов Зверева) ярких индивидуальных примет. И только когда «Мои современницы» (по названию стихотворения 1996 года) сменяются «Развлечениями фей»—с мифической флорой и фауной, словно произрастающей из самих фей или же порождённой их заклинаниями,—монотонные гаммы претворяются в затейливые красочные пьески. Фольклорный наив, таким образом, успешно вытесняет чисто натурную штудию, отягощавшую порою изотворчество даже таких гениев, как Хлебников (ранние рисунки которого лишь академически фиксируют мир, вместо того чтобы его сочинять).

Излюбленные мотивы, антропоморфные или природные, существуют у нашего мастера в «форме потока»[6], царства природы метаморфически перетекают одно в другое, составляя общую растительно-животно-человеческую ткань. Так в определённой, хотя, конечно, и не абсолютной, но лишь начальной, мере намечается то единое «чувство мира», которое считали высшей целью искусства Хлебников и его сподвижник художник Пётр Митурич. Ко всему этому добавляется момент вечной незавершённости, вечного «продолжение следует»,—что в высшей степени свойственен и алейниковской поэзии. Подобно тому, как его стихи и поэмы составляют непрерывно длящийся эпос, графика и живопись обязательно слагаются в непрерывные циклы, где каждый отдельный лист образует лишь градацию чего-то гораздо более значительного и сиюминутно невыразимого. Причём изотворчество нашего мастера—с его намеренно-эскизной стихийностью, воплощённой в динамичном пульсе штриха и мерцающем мареве мазков, что целиком уподобляет картины-рисунки (хочется их именно так, «синтетически», назвать) палитре,—выглядит в стилистическом смысле даже значительно авангарднее его поэзии. Алейников-поэт остановился на эпохе символистов и говорит на языке Серебряного века, лишь слегка его модернизируя,—тогда как Алейников-художник, увлекаясь не только почвенным фольклором, но и живописной абстракцией, продвинулся гораздо дальше, до середины столетия. Художник охотнее экспериментирует, тогда как поэту свойственна лексическая консервативность и крайне бережное, даже благоговейное отношение к слову, явная боязнь новояза и сленга. В итоге столь разные импульсы, охранительный вербально и анархический визуально, в личностном отношении как-то в высшей степени гармонично—по старинному поэтическому принципу «ладного разлада»—друг друга уравновешивают. Может быть, наш мастер внешне столь спокоен и даже флегматичен именно в результате этой классико-авангардной диалектики, которая постоянно переживается и умеряется изнутри?

---

[5] Термин «этнофутуризм» народился в работах критиков и историков, занимающихся проблемой провинциального арт-авангарда. См.: *Колчева Э. М.* Этнофутуризм как явление культуры. Йошкар-Ола, 2008.

[6] Впервые о «форме потока», точнее—«потоке деяния» («Strom der Tat»), заговорил Рильке в своей книге «Огюст Роден» (1903). Уже в наше время к метафоре потока охотно обращался в своих рассуждениях об искусстве Эрнст Неизвестный.

Подвижная эскизность манеры, рождающая впечатление, будто композиции создаются буквально одним махом, чуть ли не мгновенно (хотя это далеко не так), пронизана внутренней свободой—как пространственной, так и чисто эмоциональной. Глядя на эту живопись, трудно представить, что в чисто житейском отношении значительное время—собственно, бóльшую часть московских лет,—никакой свободы и вовсе не было, а работать приходилось в крайней тесноте либо вообще урывками, в каких-то временных пристанищах, когда вся мастерская фактически умещалась в портфеле. Правда, свой угол и свой сад всегда поджидали Алейникова в криворожском доме, у родителей, но там он всё-таки не чувствовал себя хозяином. Настоящая творческая воля наступила лишь тогда, когда он приобрёл дом в своём любимом Коктебеле и поселился внутри крымских пейзажей, как внутри собственного любовно созерцаемого произведения, которое он каждодневно холит и лелеет.

Стихи Алейникова—это замечательное продолжение двухвекового «крымского текста» русской литературы, поэтому в высшей степени прав Евгений Рейн, метко назвавший его не «патриотом времени» (какими было, уточним от себя, большинство поэтов-шестидесятников), а «патриотом пространства»[7]. Это поэтическое пространство изначально сформировалось в Кривом Роге, а затем навсегда переместилось в Восточный Крым; города же, даже Москва и Питер, были лишь промежуточными станциями. Так что в его поэзии, а в ещё большей степени в его живописи всё урбанистическое активно отсеивается, а если кое-где и остаётся, то обретает сугубо природные черты. Родной город запоминается своими «больными тополями», как в знаменитом, воистину антологическом стихотворении 1964 года («Когда в провинции болеют тополя…»), а криворожский трамвай в акварелях 1980-х годов уподобляется хоть и фантастичной, но вполне живой, биологической гусенице. Стержневым же мотивом неизменно служит сад, который всё объединяет и всё зрительное и словесное в себе содержит. Скромный домашний садик, воспоминания о больших городских и усадебных парках и, конечно, сам Крым, эта многократно воспетая поэтами-романтиками страна-сад, составляют для него единую «отзывчивую среду», если использовать слова Чаадаева, ставшие для Алейникова своеобразным поэтическим девизом.

Однако и в крымских композициях действует вышеупомянутый принцип вычитания. Традиция Волошина и Богаевского—при всём пиетете Алейникова к обоим художникам-«землякам» (ведь и для него Крым стал второй родиной)—блистает своим отсутствием. Художника не влекут геологические красоты с их строгим дочеловеческим величием, и он как будто не видит ничего дальше ближних деревьев и цветов, образующих полуабстрактную растительную стихию. Он никогда не портретирует конкретную местность, подобно тому, как не любит портретировать конкретных людей,—но что касается цветов, то выписывает их приметы с узнаваемой ботанической точностью. И лишь в одном его вещи родственны пейзажам Волошина и Богаевского. В них тоже царит безлюдье, и человек чаще подразумевается лишь как автор или зритель, но не как объект изображения.

Мастерская Алейникова проникнута духом «отшельничества в глуши» (слова из стихотворения 1992 года)—так, будто в Коктебеле ничего со времён Волошина и Мандельштама существенно не изменилось. Когда-то идиллически-тихий, ныне курортный, посёлок добрую половину года полнится толпами отдыхающих и гремит музыкой из шашлычных. Но наш мастер ничего этого не видит и не слышит, внушая зрителям его живописи ту же гордую отрешённость. Какой-нибудь завзятый постмодернист сразу вступил бы с курортниками и шашлычными в публицистический бой, искрошив их в итоге в ироническом соц-артистском монтаже. Пятницкий, хоть и будучи модернистом старого призыва, реагировал на неблагополучие среды крайне остро, придавая своему (пусть другому, московскому) окружению характер тяжёлого кошмара. Алейникову же «на курортной закваске замешанный бред» («Для высокого строя слова не нужны…», 1991) совершенно не интересен. Коктебельская среда, опосредованно отражённая в его картинах, столь же безлюдна, как молчаливая Ялта в фильме Сокурова «Камень». Правда, у Сокурова это мрачное, ночное безлюдье, а у Алейникова—дневной сон пасторального, по-своему даже эдемического толка. Инфернальные грозы времени порою звучат в стихах Алейникова, в особенности начиная с исторически-переломного рубежа 1990-х годов, но до его живописи не долетают. Мастер сосредоточен на своём произведении, занимаясь его отделкой и серийным развитием, жизнью-в-цикле, а современность остаётся где-то вовне, где-то за границами сада—как насущного и по-своему сакрального художественного и бытового укрома. Надёжная «грани фаска» проступает «сквозь фарс

---

7. Цит. по: *Алейников В.* Избранное. Стихи 1964–2011. М., 2012. С. 6.

и хмарь» (выражаясь словами из стихотворения «Помолчим о свободе…», 2007), и этого вполне достаточно для наглядного доказательства своего мастерства.

В любом случае, «форма потока» не влечёт художника каким-то однообразным и прямолинейным руслом. У него то и дело намечаются стилистические излучины. Он, несмотря на всю свою нелюбовь к чересчур экстремальным новациям, всё же очень любит экспериментировать. Так, в композициях 1990-х годов вместо женских ликов появляются более отвлечённые и геометричные головы в масках, придающие листам оттенок метафизического карнавала. Пространство, сохраняя прежнее обаяние картины-палитры, заметно дробится на плоскости, на «фаски грани», образующие переливчатый кристалл. Но натура всегда, так или иначе, вкрадчиво присутствует—укажем хотя бы на букетик из кистей, часто виднеющийся в центре. Всюду, так или иначе, подразумевается артистический сад, а «предстателями сада» (слова эти—из стихотворения «Горечь неба жемчужно-бездонна», 1979) оказываются все зрители. Во всяком случае, зрители небезразличные и искренне убеждённые, что здесь живопись действительно «как поэзия».

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Игорь Дуардович

В боли штормовой

Коркунов В. И. Кимрский Преображенский собор. Сто лет служения Богу.—
Тверь: Изд-во Марины Батасовой, 2011.

Владимир Иванович Коркунов—краевед и писатель из города Кимры, почётный гражданин Кимрского района (2008). Занявшись в 70-х краеведением, он превратил увлечение в профессию и к настоящему времени написал более двадцати книг по истории кимрского края. Книга о Кимрском Преображенском соборе—одна из последних вышедших. В ней изложена история не тысячелетнего храма, как можно ожидать, а, по историческим меркам, совсем ещё нового: «А что сто лет для здания—это много или мало?—рассуждает автор.—Для памятника архитектуры это ещё детский возраст». «Сто лет служения Богу»—«детский возраст»—«краткий эпизод бытия», в самом начале кровавый. Веру в Дух особенно недопустимым образом колебал закон, извращённый «детьми Каина» на уровне государства и совести.

Так совпало, Преображенский собор был построен и освящён (1911) в преддверии хаоса. Можно сказать, только он вырос—мгновенно погрузился в штормовую человеческую боль. В 29 году собор закрывают. Первого настоятеля, протоиерея Феодора Колерова, расстреливают, «инкриминируя ему в вину только лишь проведение прощального богослужения». Это при том, что во время стихийных беспорядков, вызванных новостью о закрытии, «отец Феодор пытался увещевать толпу, призывая не противиться властям, но всё было безрезультатно». (В 90-х священника посмертно реабилитировали, затем канонизировали, как и ещё двух, «иже с ним убиенных», церковных деятелей—Анания Бойкова и Михаила Болдакова.) Обо всём этом подробно, стилистически строго, но с ощутимой горечью говорится в первых главах книги. Это начало истории и важнейшая её часть.

Двигаясь всё дальше, переходя от одних событий и судеб, связанных с Преображенским собором (был возвращён верующим в 47 году), к другим, автор ведёт нас к той церкви, которую можно увидеть сегодня. Рассказывает о жизни и служении Иоанна Басюка, нового настоятеля (стал им в 1972-м), об иконе Иверской Божией Матери, покровительнице Кимр, без лишних деталей описывает обстановку новейшего времени, затрагивает и многое другое.

Есть и литературные связи, не попавшие в книгу по понятным, сугубо академическим причинам. Пример наиболее значимой: в 1941 году Александр Фадеев («Разгром», «Молодая гвардия».—*И. Д.*), отправился в Кимры, чтобы найти дом, в котором родился. Поиски были безуспешными, пока писатель, к собственному удивлению, не узнал, на месте чего возвысился на то время не принадлежавший православным христианам, бесхозный Преображенский собор. Кстати, построенный «в память о чудесном выздоровлении Государя Императора Николая II от болезни осенью 1900 г.», но, как мы видим с расстояния прошедших лет,—накануне нравственных и политических эпидемий, охвативших Россию.

Александр Матвеичев

Две жены матадора

К 80-летию со дня рождения

Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над водой.

Эрнест Хемингуэй. Смерть после полудня

Самолёт из Москвы прилетал рано — в восьмом часу утра. Поэтому, чтобы помыться, побриться, одеться и попить чая, пришлось встать затемно — в полшестого. Задрипанный «уазик», купленный кирпичным заводом в брежневские застойные времена как ветеринарная скорая помощь, прикатил за мной, вполне здоровым переводчиком из породы хомо сапиенс, и просигналил под окном перед восходом солнца. От шофёра неаппетитно разило перегаром, и я попросил у жены для его высокой персоны закуски — квашеной капусты, солёных помидор, а также недавно заслужившей высокий авторитет жвачки «Антиполицай». Шофёр, начинающий алкоголик, вернувшийся осенью со службы в армии откуда-то из-под Норильска, чистосердечно признался, что вчера набрался с коллегами в гараже музыкального шведского спиртяги «Рояль». Его, правда, уже стремительно вытесняла с рынка водка-палёнка с экзотическими наименованиями и смертельно опасным химсоставом.

Пост ГАИ на выезде из города Красноенисейска через Северо-Западный микрорайон мы проскочили на рассвете без приключений. На втором посту, перед райцентром Емелькино, шофёр откупился от гаишника мелочью — вложил, приоткрыв дверку, в загребущую лапу, как и в советские времена, на бутылку. А в аэропорту, чтобы не платить за стоянку вблизи аэровокзала, водила остался ждать гостей и меня в ветеринарном лимузине на обочине, метрах в двухстах от багажного отделения.

Посланцев фирмы «Ажемак», имевшей представительство в Москве, прилетало трое. Факс выдал их имена: Антонио Ауньон, Мигель Перес и Карлос Градос. Самолёт подрулил совсем близко к выходу с лётного поля. Я без труда выделил моих клиентов в толпе пассажиров, когда они друг за другом спускались по трапу из Ту-154. Середина марта, холодина, тайга искрится густым инеем, сугробы и не думали таять. А кабальерос, видите ли, вырядились в болоньевые курточки и вязаные шапочки с порами, как на решете. Они тоже узнали меня — по надписи синим маркером «Agemác» на развёрнутом куске ватмана на моей груди. Я сунул им бумагу под нос, как только они вышли с аэродрома через распахнутую калитку с торца здания багажного отделения.

— Mucho frío (Очень холодно), — первое, что произнёс самый крупный из них, с животом на четвёртом месяце беременности и искусно сконструированной чёрной бородкой и усами. — Me llamo Miguel Pérez.

— Миша, — перевёл я, и Мигель радостно засмеялся, показав под усами великолепные зубы, а глазами высветив добрую душу и открытость.

— Grados, — коротко отрекомендовался худой рослый мужчина с седеющими сталинскими усами под крупным горбатым носом.

От этого Градоса веяло холодком высокомерия и самовлюблённости, как от истинно испанского гранда.

Третий, маленький и плотный, с загорелым красивым лицом, одетый, в отличие от других, вполне по сезону — в пуховик и шерстяную вязаную шапку, — не спешил представляться. Он стоял в трёх шагах от меня и словно прицеливался синими беспощадными глазами в моё наиболее слабо защищённое место.

«Глаза убийцы, — как-то само собой подумалось мне. — С этим будет непросто наладить контакт».

Однако, как ни странно, именно с ним, с Антонио Ауньоном, я сдружился больше, чем с другими испанцами. А за пять лет работы переводчиком мне довелось познакомиться не с одним десятком инженеров и техников разных специальностей из легендарных провинций: Каталонии, Валенсии, Мурсии, Гранады. Как и с янки из разных штатов США, поскольку нужда заставила недавнего инженера и директора предприятия подвизаться переводчиком и с английского языка.

Позднее Антонио признался, что всегда старался заводить дружбу с переводчиками: так ему было легче проникаться жизнью людей других стран, узнавать их обычаи. Он работал на Кубе, во Франции, Португалии, Марокко, Алжире, ещё в каких-то странах. На постсоветском раздробленном пространстве он успел поработать в Тольятти, Краснотуринске и где-то на Украине — то ли в Донецке, то ли в Луганске. И везде оставлял о себе память в добрых сердцах славянских красавиц.

«Las mujeres más bonitas están en Rusia (Самые красивые женщины находятся в России)», — многократно повторял он в присутствии своих соотечественников мне, прежде находившему не менее привлекательных особ и в других странах мира. И более всего — на Кубе.

Соотечественники соглашались с Антонио без комментариев. Знали: спорить с ним бесполезно по любому поводу. Без излишних аргументов несогласных с его доводами он называл «кабронами», то есть тупыми козлами, «локами» и «тонтами» — сумасшедшими и дураками. Вероятно, кровавые игры на арене в молодости с коровами и быками заразили бывшего матадора их бодливым характером. Говорю это к тому, что в отношении убийственного взгляда Антонио Ауньона я не ошибся. Начиная с восемнадцати лет, он выходил на арену родного города Картахена дразнить и колоть шпагой коров и быков, мечтая в недалёком будущем покорить всю Испанию своим мастерством тореро. И уже выступал как тореадор-любитель на профессиональной арене, получая, как говорят теперь, «серую зарплату из чёрной кассы» дельцов от корриды. Для начала он поражал своей «эспадой» коров. Потом выходил на арену убивать молодых быков. И уже дошёл до главной ступени в карьере матадора — поединков с toros bravos — разъярёнными быками, не знающими страха, выращенными специально для корриды по многовековым методам селекции и традиций.

Возможно, прежде среди русских он сталкивался не с одним Фомой неверующим, в чьих глазах выглядел хвастуном или трепачом, когда говорил, что сражался с быками на арене как тореро. Может, чтобы и у меня не возникло сомнений в его героическом прошлом, он подарил мне две афишки с изображениями страшенных быков и с приглашениями зрителей на Plaza de Toros de Cartagena — площадь для боя с быками в Картахене. На первой из них, пожелтевшей от времени, улыбается юный Antonio Auñón, по прозвищу El Queco, из пригорода los Juncos. Эль Кеко выйдет на арену 1 июля (неизвестного года), в субботу, в 11 часов ночи, под патронажем компании из тринадцати друзей из бара «Maupe», в числе других четырёх смелых новичков.

Судя по второй, зелёненькой, афишке, El Queco поражал шпагой молодых быков из стада скотовода Томаса Санчеса Кахо из Альбасеты в 11 ночи, тоже в субботу, 31 июля 1971 года. Значит, происходила эта забава за четыре года до смерти мятежного каудильо Франко, когда тореро Антонио Ауньон был преданным его фашистскому правлению двадцатитрёхлетним фалангистом. За спонсорские деньги компания «Валенсия» предоставляла возможность ему, матадору Эль Кеко, стать знаменитостью. Храбрости, решимости и честолюбия у Антонио было с избытком. А вот ростом он не вышел и надолго оставался инвалидом от страшного удара рогом под его ключицу. Стянутую хирургическим швом кожу на месте прокола он мне тоже продемонстрировал.

— Такой раны могло и не быть, — сказал он, — если бы быку специально, как предписывают правила, затупили рога. Но организаторы корриды часто этим пренебрегают. Чем кровавей зрелище и больше смертельных финалов, тем больше зрителей и прибыли хозяевам…

Иногда, во время наших частых выпивок в компании с русскими, Кеко, дурачась, просил желающего сыграть роль быка, а сам брал палку вместо шпаги и полотенце вместо мулеты и показывал приёмы тореро на арене.

Однако тогда, на Пласа де Торос в Картахене, ему крупно не повезло: разозлённый бандерильями и пиками бык не стал ждать со склонённой головой, пока Антонио засадит ему эспаду по самую рукоять в загривок. Пятисоткилограммовый бычара опередил полутораметрового матадора, поддел его пониже ключицы на острый рог, как кильку, и подбросил в воздух. Повезло, что бык, удовлетворённый этим ударом и эффектным броском, увлёкся погоней за другим участником шоу и не успел растоптать благородного юношу.

Костяной штык бравого быка вошёл в тело Антонио на двенадцать сантиметров и при броске разворотил рану до размеров снарядной воронки. К этому добавилось сотрясение мозга, так что унесли Антонио с арены на носилках, увезли на амбулансии в госпиталь, долго лечили, и о возвращении на арену не могло быть и речи. Как и денежного возмещения за ущерб здоровью: добровольных любителей экстрима не страховали; попал на рога — страдай молча, дабы корридная мафия тебя не доконала.

— Стать известным тореро мне бы всё равно не удалось, — признался мне Антонио. — Видишь, какой у меня маленький рост? Всем тореро присваивается кличка. Моя, Кеко, означает «малыш»…

Так что после окончания технического института, подобия нашего техникума, мечту о матадорстве Антонио Ауньону из-за ранения и малорослости оставалось лелеять как светлую память в горячем сердце. А хлеб насущный он зарабатывал сначала на верфи — освоил сварку под водой пробоин и трещин на стальных корпусах субмарин и боевых надводных кораблей. На этом занятии подорвал здоровье, вышел, как некогда стегоцефал, на сушу и закрепился в качестве профессионала механиком высокого класса на монтаже и наладке технологического оборудования по производству кирпича и керамической плитки. Эта специальность открыла перед ним просторы всей планеты: кирпичные и керамические фабрики с испанским оборудованием строятся во многих странах мира, независимо от политических и экономических систем. По своим убеждениям Антонио при каудильо Франко был фалангистом, а после его смерти стал коммунистом. На мой вопрос, почему он так резко перекрасился, Антонио ответил предельно кратко:

— Es igual. (Это одно и то же.)

Мне, из коммуниста переквалифицировавшемуся в демократы, это было понятно, но хотелось услышать мнение иностранного эксперта. Антонио подвёл под своё заявление неожиданно рациональное экономическое объяснение:

— Когда я был молодым фалангистом, нас бесплатно собирали в лагеря, возили и кормили бесплатно по всей Испании. А теперь то же делают наши коммунисты. Правда, в «Ажемаке» всего пять комми, и на нас никто внимания не обращает, кроме профсоюза. Там нас уважают и привлекают к разным акциям. Администрация опасается нас сократить или уволить: суд может признать это как преследование по политическим мотивам…

Фашистам, коммунистам, демократам, так же как и аполитичным гражданам разных стран и народов, как убедил меня жизненный и переводческий опыт, ничто человеческое не чуждо. Моих клиентов-иностранцев, например, не тревожили заботы о еде, выпивке, жилье. Тем более — о работе. Единственное, что их нестерпимо донимало, — это проблемы развлечения после трудового дня и в выходные. Но более всего — непреходящая острая и трудно разрешимая для них, при полном незнании русского языка, сексуальная докука. При этом на мои тревоги, связанные, в частности, с моей семьёй, они, как говорится, клали с прибором: «Веди, традуктор, в кабак и склей для нас по бабе». Возмущало их и отсутствие борделей в нашей стране, вступившей на путь свободы и демократических реформ в условиях развитого бандитизма. Надо было видеть, какими долгими тоскующими взглядами они провожали сибирячек, разных по возрасту, телосложению и телодвижению. Потом громко, наперебой, обсуждали их достоинства. И, как истинные кабальерос, замалчивали недостатки.

Антонио Ауньону тогда шёл пятидесятый год. Дирекция «Ажемака» на время загранкомандировки назначила его старшим группы. Своих коллег, Мигеля и Градоса, экс-матадор держал в строгости, как армейский «дед» новобранцев. В заводской гостинице из двух номеров он занял самую большую комнату, устланную коврами, а Градос и Мигель смиренно довольствовались второй, тоже в коврах, но тесной и не очень уютной, с видом на грязный двор с мусорными баками под окном, издающими русский дух конца двадцатого столетия.

Для меня было загадкой, почему Антонио объектом своих придирок и злословья выбрал красивого, несмотря на полноту, доброго, улыбчивого и трудолюбивого сорокалетнего Мигеля из Гранады. По-видимому, психология экс-тореро требовала постоянного наличия быка, чтобы дразнить его и поддерживать в себе боевой настрой. Но, пожалуй, ближе к истине другая версия. Одно появление Мигеля в обществе женщин вызывало в них некое преображение, словно в стае появился павлин: они ему призывно улыбались, просили меня переводить каждую его фразу. Мигель, похоже, давно привык к такому поклонению и ни одной из них не отдавал предпочтения, лаская милашек блестящим бархатом очей гранадского мачо. А его временный начальник, отважный быкоубийца Антонио, выглядел непородистым campecino — крестьянином, который выпустил на арену боевого быка и терпит бескровное поражение.

Официантка Полина, весьма аппетитная молодая особа с серебристыми длинными волосами, большими серыми глазами и ярко выраженными женскими прелестями, она же повар и горничная заводского постоялого двора, настолько запала на Мигеля, что попросила меня по секрету заманить испанца к ней в гости. Недавно она разбежалась с мужем, безработным инженером, запившим от безделья и безысходности, а пятилетнюю дочку сплавила своим старикам. Её квартира находилась в удобном для свидания месте — тоже в микрорайоне «Северный», напротив гостиницы, на шестом этаже девятиэтажки. Я привёл Мигеля по указанному адресу, стол на кухне был накрыт, мы выпили по единой. После чего я удалился, как мавр, сделавший своё дело, оставив двух мычащих бессловесных существ из разных миров в хрущёвской пещерке для отправления естественных надобностей, без забот о воспроизведении себе подобных.

По правде сказать, на работе переводилы — недавно с американцами, а теперь вот с испанцами — я иногда чувствовал себя подручным Мефистофеля, сводником фаустишек с маргаритками. Человеческая природа открывалась мне не с самой лучшей стороны. Только, искренне каюсь, и самому мне когда-то доводилось жить больше инстинктами, чем умственно-духовным багажом.

На следующее утро, когда служебный «москвич» доставил меня к клиентам, Мигель мурлыкал, как напитый и наетый кот, не обращая внимания на ехидные реплики своего jefe — начальника, и благодарно улыбался мне. А я придуривался: изображал из себя олуха, не ведающего ни ухом ни рылом о вылазке Мигеля в запретную зону. Ибо, как меня с самого начала поставил в известность Антонио, всем испанцам, посещающим криминогенную Россию, строго воспрещалось ходить куда-либо в одиночку. Но если такое случится, то оповещать руководителя группы о своём местонахождении. Мигель такую успокоительную информацию для Антонио из квартиры Полины при мне предоставил по телефону, лишив его приятной возможности свезти на распутного подчинённого «телегу» в «Ажемак».

— Вот cabrón! — высказывал мне наедине своё начальственное возмущение экс-матадор уже в цехе керамической плитки. — Как он смог без твоего участия найти шлюху? Два месяца назад жена едва не выгнала его из дома. У них четверо детей — две девочки и двое пацанов. По нашим законам, он бы остался без дома и платил бы алименты до конца своей жизни. У нас многодетным семьям выдаются очень большие денежные пособия, обучение бесплатное, поэтому жена у него никогда не работала. А он её боится, как ведьмы. Ты заметил, что он просит тебя связаться с Гранадой после обеда, не раньше трёх часов? Потому что здесь с Испанией разница во времени шесть часов, и он боится её побеспокоить до девяти утра. И вот её два месяца назад разбудил среди ночи звонок из Малайзии. Там, в Куала-Лумпуре, Мигель тоже был в командировке на кирпичном или плиточном заводе и занимался любовью с переводчицей при гостинице. Сказал ей, что развёлся с женой, детей нет. Приедет в Испанию, сделает переводчице приглашение и женится на ней. ¡Es tan un hijo de puta madre! (Вот такой он сукин сын!)

Эту трагикомедию с коварной малайкой в главной роли я уже слышал из первых уст — от самого Мигеля, когда он приглашал меня в операторскую кабину над обжиговой печью. В этом уютном помещении с искусственным микроклиматом, откуда был виден весь громадный цех, Мигель, электрик и электроник, доводил до ума монтаж и наладку компьютерного управления технологической линией производства керамической плитки.

Действительно, он жил с малайкой в любви и согласии месяца два, жениться, по его словам, не обещал, о жене и детях рассказал. Только телефон ей оставил неверный, чтобы не нарушить семейную идиллию. Однако упустил одну деталь: в регистратуре сохранились его паспортные данные и запоздалое письмо жены с обратным домашним адресом. Малайка этим успешно воспользовалась. Однако Мигель сумел выкрутиться: своей ревнивой Эрминье сказал, что переводчица его домогалась, но он с негодованием отверг её любовь. Вот и последовала такая мелкая месть от красавицы Востока.

Меня, признаться, разозлило, что всё же Мигель, скорее всего из желания уколоть самолюбие вредного начальничка, не сдержался и похвастался Антонио и Градосу своей победой над Полиной.

Экс-матадора признание электроника-сердцееда привело в бешенство, и он возмущённо сетовал мне:

— Чего хорошего в нём, этом козле, находят женщины? Solamente la barbilla de un pederasta y la barriga de una puta embarrasada. (Только педерастическая бородка да пузо беременной потаскухи.)

— Наверное, — урезонивал я брызгавшего завистливой слюной тореро, — ниже живота у Мигеля притаилась стальная эспада. У женщин на это дело — особое чутьё. С её помощью он произвёл столько же детей, сколько мы с тобой вдвоём. Не будем ему завидовать.

— Они с женой их настряпали из выгоды, чтобы ей не работать и жить всей семье на пособия по многодетности. У нас в Испании таких презирают: они существуют, как паразиты, за счёт налогов, которые с нас дерёт государство. А мы платим налоги, да ещё и тратимся на контрацептивы.

До этого тореро Полине улыбался и отпускал комплименты, а тут начал придираться: не умеет готовить, замучила однообразием блюд из заморских куриных «ножек Буша», плохо убирает его номер — на подоконнике и люстре пыль, в ванной комнате сифак. Напрямую, да ещё и в присутствии Мигеля и Градоса, эти надуманные претензии я переводить отказался. Переговорил с Полиной наедине.

— А что я могу сделать? — беспомощно пожала она плечами. — Мне директор, Алла Борисовна, денег даёт только на эти ножки. И в обрез — на овощи и фрукты… Чего этому Антонио от меня нужно? Это он, конечно, запретил Мигелю со мной встречаться? Пусть он об этом Алле не говорит: она предупредила, что за шашни с жильцами с работы сразу выгонит. А у меня хоть и высшее образование — инженер-технолог, но экскаваторный завод развалился, почти всех разогнали без зарплаты. Как мне с дочкой жить, если и отсюда уволят?

В её серых умных глазах стояли слёзы.

— До этого не дойдёт, — успокоил я. — С Аллой и Антонио поговорю сам.

Алла, спесивая тридцатичетырёхлетняя дочь генерального директора фирмы, меня поняла правильно, питание стало разнообразней, и Антонио больше не возникал.

А не возникал он, думается, ещё и потому, что вскоре случай помог снять с тореро его нервозную сексуальную напряжённость.

По его признанию, с женой, для поддержания боевого тонуса, он упражнялся ежедневно перед сном и после него. Моя прежняя жизнь была связана с частыми и длительными командировками, поэтому страдания темпераментного испанца я воспринимал как свои собственные. Ему же даже алкоголь мало помогал: он жаловался на бессонницу из-за неудовлетворённого желания. За завтраком Антонио, чтобы очухаться и отогнать ночные эротические кошмары, каждый раз разливал граммов по семьдесят водки или коньяка Градосу, Мигелю и, конечно, себе. Да и мне, если я успевал добраться из противоположного конца города к испанскому завтраку. По контракту, кстати, еда в компании с ними для меня была халявной.

Кто-то мог и отказаться от регулярной выпивки, как поступал по утрам и в обед Мигель, только не я. Дружба с тореро мне нравилась так же, как дядюшке Хэму с его знаменитыми королями и жертвами корриды. За обедом мы тоже весьма умеренно начинали и заканчивали вином или пивом. А после работы, дело святое, в мои обязанности переводчика с ненормированным рабочим днём входило сопровождение троицы в злачные места—казино, пивные, рестораны. И каждый раз Антонио ставил передо мной сутенёрскую задачу: свести его с русской женщиной. Только не с проституткой—с ними его прежние друзья крепко залетали. Лишались денег, документов, авиабилетов, а после возвращения в «Ажемак», случалось, и работы. А если приезжали в Испанию с венерическим наваром и делились им с женой, то оставались без неё, дома и детей.

В тот вечер после работы мы попросили разбитного шофёра Володю завезти нас в гостиницу умыться, переодеться и доставить на том же ветеринарном «уазике» в ресторан при гостинице «Красноенисейск».

Многим красноенисейцам и гостям нашего города, полагаю, помнится этот громадный однообразно-белый безвкусный сарай с неплохой для того времени кухней и музыкальной группой. А испанцев после выпивки обязательно тянет на танец—пусть не это самое, так хоть подержать даму за талию, прижать как бы случайно, понюхать, растравить душу и растопить сердце несбыточной надеждой: а вдруг?!.. Как заметил однажды великий русский стилист: «Человек всегда живёт мечтой о счастливой встрече…»

Сидим, потихоньку сосём армянский коньяк под лимончик, хрумкаем зелёный салат, ждём приготовления бифштекса с яйцом и картофелем фри и выхода на эстраду музыкантов. Зал постепенно заполняет разношёрстная публика. За столик наискосок, у окна с видом на подёрнутый холодным паром Енисей,—через проход, застланный красной ковровой дорожкой,—приземлились три разнокалиберных птички, лет по двадцать семь—тридцать каждой, и возбуждённо зачирикали. Официантка принесла им закуску и две бутылки—шампанское и водку.

— Buenas chavalas, señor traductor (Классные чувихи, господин переводчик),—прозрачно намекнул Антонио, нацеливая меня на сводничество.

Все ресторанные счета за испанских специалистов и переводчика по контракту оплачивала русская сторона, так что я, в общем-то, не был в долгу перед моими клиентами. Да и свои миллионы рублей мне полагалось получать не в «Ажемаке», а в заводской кассе. Но вместо денег приходилось отовариваться по бартеру консервированными продуктами, включая водку и коньяк, мебелью и разным китайским ширпотребом.

Я убедил Антонио не пороть горячку, не кидаться слепо на сибирских тёлок. В трезвых девочках пока дремлют сексуальные инстинкты. А когда выпьют, начнутся танцы—тогда и у них кое-что там захлопает в ладоши…

Оркестр, после нудной настройки инструментов, ударил в полную силу, и я подсел к красавицам на свободный стул. Не один, а с бутылкой «Советского шампанского».

— Вашему столу—от нашего стола,—начал я бодренько с шаблонного приветствия.—Я переводчик. Мои клиенты-испанцы приглашают вас на танец.

— А кто им мешает? Пусть сами подходят,—попыталась отшить меня, опытного парламентёра, самая маленькая и бойкая девица со вставными золотыми клыками в широком напомаженном зеве.

— Язык мешает. На русском они ни бе, ни ме, ни кукареку.

— А на кой они нам, если с ними и побазарить нельзя?

Словом, сибирячки дали понять, что советская эпоха преклонения перед иностранцами быстро забылась. И снова меня выручил опыт работы с отечественными кадрами: несколько тёплых фраз об укреплении интернациональной любви и дружбы, а также персональных комплиментов—и лёд тронулся! Каждому испанцу досталось по русской мучаче—девушке. А как уж кабальерос сумеют их охмурить—зависит отнюдь не от меня.

Через несколько танцев мы, с разрешения администратора, сдвинули столики, и с моей помощью состоялось нечто похожее на пресс-конференцию: я переводил вопросы и ответы с двух языков. Оказалось, что подруги в ресторан пришли из детского садика—там после разбора детишек по домам директриса, воспитательницы и нянечки отметили день рождения Ольги, одной из присутствующих здесь дам. Самой маленькой, бойкой, золотозубой и, как я заметил, покорившей сердце матадора. Он не отпускал её от себя и после танца—усаживал рядом и не выпускал её ладонь из своей ладошки. У него даже дар русской речи прорезался.

— Я тэба лублу, Олга!—публично признался он.

Почти как полтора века назад пушкинский Ленский своей зазнобе перед роковой дуэлью.

В одиннадцать, как и было условлено, перед нашим застольем выросла фигура шофёра, одетого в солдатский бушлат.

— Всё, поехали!—скомандовал гегемон.—Я замёрз, а мне в пять завтра нужно вставать—в гараж бежать, вас на работу везти.

Изрядно захмелевший Антонио всё понял. Сунул ладонь в брючный карман и протянул шофёру несколько мятых банкнот.

— ¡Díle qué espere! Quince minutos, no más. (Скажи ему, пусть подождёт! Пятнадцать минут, не больше.)

Я перевёл. Шофёр неохотно, явно стесняясь женщин, взял деньги и быстро удалился. А ресторан гудел, пьяное веселье достигло апогея, оркестр и публика наяривали «цыганочку» и «барыню». Всем, кроме меня, не хотелось прерывать русско-испанский диалог в кульминационный момент расцвета национального фольклора.

— А нас до дома не подбросите? — потребовала Ольга. — Мы с Леной далеко живём — в Петровке, на горе, недалеко от часовни. А Катя рядом, на Диктатуры, пешком дойдёт.

Антонио, конечно, дал согласие, но с условием, что девушки сначала должны поехать с испанцами в гостиницу. Я придал его ультиматуму более обтекаемую форму:

— Мне и шофёру с вами почти по пути. Сначала завезём испанцев, а потом вас. Идёт?

Девчонки пошушукались и согласились. Антонио оплатил оба счёта — и за нас, и за дам. Но когда на холодной улице, с ветром с незамерзающего Енисея, подруги увидели «уазик» с надписью на борту «Ветеринарная помощь», то бросились убегать. Антонио нагнал Ольгу и заключил в цепкие объятия. Крупная миловидная Лена, предназначавшаяся усатому угрюмому Градосу, тормознула и вернулась к подруге. Мигель остался не при делах: его рыженькая веснушчатая пампушка убежала домой, к мужу и ребёнку.

После того как протиснулись в салон, освещённый тусклым плафоном, расселись на клеёнчатые диванчики и тронулись, Ольга прижалась ко мне и с непритворным ужасом стала горячо шептать мне на ухо: куда, мол, и с каким намерениями их везут?

— А вы что, Оленька, не догадываетесь, чего от вас хотят в таких случаях пьяные мужики?

— Так они что, нас ещё и трахнуть хотят?

— Очень хотят. Но не по голове же! И только с вашего согласия.

— А мы не хотим! Нас мужья ждут. Мой Вовка, если не напился и не уснул, мне такой пинды вломит! Свекровь уж точно не спит, на страже стоит и завтра меня с говном ему выдаст.

— Мой совет: вы одна домой не появляйтесь — Антонио с собой пригласите. Он тореадор, быков на арене штабелями укладывал. Твоего Вовчика, коль пикнет, мигом успокоит.

Антонио, услышав своё имя, повернулся ко мне и закекекал:

— ¿Qué, qué dices? (О чём ты говоришь?)

— Сказал, что ты тореро, что защитишь её от ревнивого мужа и свекрови.

— ¡Estoy listo! (Я готов!) — воскликнул бесстрашный Кеко.

Шофёр, простимулированный дополнительными рублёвыми банкнотами и бутылкой водки из холодильника готовым на безумные расходы матадором, согласился ждать меня и девушек до полного завершения операции. Только они, Ольга и Елена, протрезвели и заупрямились. Вспомнили вдруг о супругах, свекровях и детишках, умирающих от тревожной бессонницы и жажды обнять душенек, слегка запамятовавших о своих любимых, родных и близких.

Только благодаря настырности Антонио молодок удалось удержать от немедленного побега из гостиницы. Он, наверное, не носился с такой скоростью по арене с эспадой и красной мулетой, спасаясь от разъярённого окровавленного торо. Пока женщины, в моём сопровождении, осматривали недавно отделанные под европейские гостиничные апартаменты и ахали и охали при виде зарубежных вещичек и безделушек, привезённых испанцами, тореро уже сгоношил стол на русско-испанский лад. Особое восхищение вызвал испанский коньяк в живописной бутылке, сохранённый Антонио, по-видимому, для столь долгожданного случая. После него девушки начали кликать матадора на российский манер — Антошкой. Для него это не стало неожиданностью, и он даже пропел две строчки из популярной ещё недавно пионерской песенки: «Антошка, Антошка, пойдём копать картошку...» Сказал, что выучил её, пока работал на такой же, как здесь, фабрике в Тольятти.

После коньяка и закуски анчоусами и мидиями подруги стали сговорчивыми и разошлись по «нумерам»: Антонио — с безобразно матерящейся Ольгой, Градос — с Еленой.

Шофёр, напитавшись с нами, ушёл подремать в «уазике», а мы с Мигелем остались вдвоём. Разлили из бутылки остатки дорогой жидкости. Я, вспомнив Кубу, где мне довелось поработать более двух лет, произнёс, думается, самый популярный кубинский brindis:

— ¿Vamos o no vamos?

В вольном переводе — нечто похожее на наш тост: «Пьём или глазки будем строить?» Однако рюмки донести до рта не успели, зато довелось нам увидеть кое-что совершенно непредвиденное.

Дверь в комнату, где, по нашему разумению, развивалось кульминационное таинство любви между прекрасной Еленой и кабальеро Градосом, с грохотом распахнулась. Оттуда, в разорванной белой кофточке с колышущимися налитыми грудями и кружевным бюстгальтером на шее, с дикими, вытаращенными, словно слепыми, глазами и истошным воплем, вылетела Лена. А за ней возник сталиноподобный усатый Градос со спущенными штанами и торчащим, весьма солидным по размерам, возбуждённым фаллосом. Почти одновременно, с интервалом в пять секунд, из соседней двери в столовой возникли совершенно голые испуганные Антонио и Ольга.

— ¿Qué, qué pasa? — растерянно повторял матадор-механик, словно потеряв разум и зрение.

Картины всех эротических художников мира меркнут перед этой, запечатлённой, к сожалению, только в моей и Мигеля памяти. Через мгновение всё исчезло: Градос закрылся в своей комнате. А прекрасная Елена с криком: «Сволочь, маньяк!» — проскочила между Антонио и Ольгой в их номер, и дверь захлопнулась.

Признаться, после довольно гадкой развязки той достопамятной мартовской ночи о продолжении романа между матадором и воспитательницей детсада было нечего и думать. В «уазике», по заснеженной дороге в спящую Петровку, где в частных домах неподалёку друг от друга жили Ольга и Елена, происшествие мы не обсуждали: не приведи Бог, если об этом узнает шофёр! И даже когда Оля при прощании шепнула мне, что придёт к Антонио в гостиницу в следующую субботу к четырём, я не поверил. Да и сам Антонио, судя по его нервозному поведению и надоедливому домогательству ко мне, словно что-то зависело от меня, выполнит она обещание или обманет, тоже мало верил в удачу. Градосу за некорректное поведение с сеньорой, без предварительного сговора между мной, Антонио и Мигелем, был объявлен бытовой бойкот. По рабочим вопросам испанцы общались между собой, а для Градоса, по его просьбе, я делал переводы при его контактах с русским персоналом.

По субботам и воскресеньям, если не обязывали поработать языком на культурно-увеселительных мероприятиях для испанцев, я отдыхал. Но в ту решающую субботу Антонио попросил меня выручить его лично. Он сам приготовит своё коронное испанское блюдо — фасоль с копчёностями, язык проглотишь! А без меня как ему объясниться с Ольгой? Она поцеловала его в сердце — и ей надо это довести в соответствующее место. Кроме того, ему необходимо бы узнать, что сотворил с Еленой этот violador — насильник — Градос…

И скольким русским бабам, замечу, приходилось мне, как посреднику-переводиле, объясняться в любви от имени кубинцев, американцев, испанцев, филиппинцев, чилийцев, эквадорцев! Пожалуй, не меньше, чем от себя лично…

Фасоль с копчёностями издавала неповторимый иберийский аромат, ледяная водка с этой закусью заползала в чрево действительно как зелёная змея. Но матадора ничто не радовало: после четырёх часов пополудни время стало тянуться как замедленная пытка. Уровень напитка в бутылке приближался ко дну, когда Ольга, с опозданием на полтора часа, всё же подкатила на такси к дверям гостиницы на наших глазах и попросила шофёра подождать. Была она не одна, а с пёстро одетой дочкой Дашей — застенчиво улыбающейся, с золотистыми бантами в косичках. Мигель и Градос за час до этого отправились врозь на главпочтамт позвонить жёнам. Сотовых телефонов в то время в ходу ещё не было, и я написал операторам записки, как Мигелю дозвониться до Гранады, а Градосу — до Игуалады, города на берегу Средиземного моря, в шестидесяти километрах к югу от Барселоны.

Переводить мне почти не пришлось: у влюблённых всё было написано на лицах, в глазах и движениях. Они удалились в гостиницу, оставив девочку на моё попечение, дав возможность на неопределённое время почувствовать себя молодым папашей.

Погода была славная, солнечная, весенняя, с крыш свисали сверкающие радостными ледяными слезами сосульки. С Дашей мы легко нашли общий язык. В ответ на моё приглашение прогуляться до соседнего магазина за мороженым и конфетами она захлопала в ладоши. Потом дошли до базара на улице 9 Мая, и я купил ей плюшевого пупсика и собачку. Даша напоминала мне мою дочь Таню, давно уже взрослую экономистку, пятый год работающую в Германии. Когда мы вернулись, такси перед гостиницей не было. Антонио и Ольга как ни в чём не бывало сидели на кухне за столом, пили кофе. Только их раскрасневшиеся лица с лихорадочно блестящими глазами не могли скрыть, чем они до этого занимались.

Мать увела девочку в комнату Антонио, оставила её там забавляться с пупсиком и собачкой, а сама пришла к нам. После той ночи, поведала Ольга, она вышла у мужа и свекрови из доверия. Сегодня ей только обманом удалось вырваться из дома на пару часов якобы к Лениной дочке Злате, чтобы Дашка могла с ней поиграть.

— Антонио попросил узнать: что Градос сотворил с Леной? — спросил я.

Счастливое лицо матадора Кеко помрачнело и напряглось: он понял мой вопрос без перевода.

— Так он набросился на неё, как зверюга! — закричала Оля так, словно это совершалось с ней лично в данный момент. — Повалил Ленку на пол и, сами видели, блузку зачем-то порвал, бюстгальтер рванул. Да ещё и за грудь укусил. Знаешь, как её Колька, муж, допрашивал! Он же петровский бандюган. Если бы она правду ему сказала, этого маньяка уже в живых бы не было. Наврала, что мы на выходе из ресторана случайно под раздачу попали.

После моего мягкого, без Олиных эпитетов, перевода Антонио пришёл в бешенство:

— Завтра же позвоню Бéрлину, шведу, он заместитель директора «Ажемака» по производству, чтобы этого каброна вызвали и уволили с предприятия.

С Бéрлином, заместителем директора «Ажемака» по производству, мне несколько раз доводилось говорить по телефону, когда он звонил из Игуалады или наш директор обращался к нему по разным вопросам, в основном по посылке испанских специалистов и оборудования на строящийся объект и взаиморасчётам. Швед по национальности с двойным гражданством, миллионер, Бéрлин был женат на испанке, владел большой долей акций «Ажемака» и уже более десятка лет жил в Испании.

Ольга, выслушав мой перевод, вскочила со стула и обвила шею тореро тоненькими ручками ласковой мартышки, привыкшей укрощать капризных детсадовских сорванцов:

— Ой, не надо, миленький, любименький, тореадорчик мой чокнутый, сладенький! Хер с ним, пусть живёт этот Градос и кусает титьки тем, кому это нравится! А нам с тобой хорошо будет. Ты меня любишь?

— Лублу! — мгновенно размяк гроза быков и подчинённых.

Я вышел на улицу, поймал частника на белых «Жигулях», отвёз Ольгу и Дашку в Петровку. По дороге спросил:

— Ну и как, не зря съездила? Успели?

— Спасибо, всё о'кей! Благодаря тебе, конечно. Маловато, но на первый раз и на это не рассчитывала.

— Как он тебе?

— Настоящий тореадор!

Ольга попросила высадить их на соседней улице, чтобы забежать к Лене, обозначить визит, а Даше немного поиграть с подружкой.

С чувством выполненного долга я поспешил к жене, радуясь, что моя эпоха похожих адюльтеров миновала и жизнь очертила круг более продуктивных интересов.

В понедельник Антонио после обеда пригласил меня из столовой в свой номер и во всех подробностях поведал о сексуальной корриде, в субботу имевшей место здесь, — на широкой, но скрипучей кровати, с перекатом на напольный ковёр, перепархиванием с него в кресло и даже на подоконник. После красочного репортажа, чуть не плача, взмолился:

— Позвони, ради святой Марии, Ольге. Пусть она с работы приедет прямо ко мне. Всего на час! За такси я, конечно, заплачу. Я ей уже приготовил подарки. Без этого я не смогу спать. Помоги, пожалуйста!

Завод строился на пустыре далеко за городом. Связывала его с цивилизацией единственная пара телефонных проводов, непрерывно нагруженных деловыми разговорами. За болтовню по этой линии на личные темы директор и главный инженер виновных наказывали лишением премий, которых, в общем-то, на моей памяти никто не получал. Но секретарше Эмме, контролировавшей аппарат и допустившей к нему кого-то без личной санкции директора или главинжа, грозило увольнение.

Благо, рыжеволосая голубоглазая Эмма, немка по отцу и внешне стандартная арийка, мне благоволила. Только почему-то мне одному она призналась, что втайне от директора и всех заводчан подала документы на эмиграцию в Германию. Выезд задерживался из-за того, что по закону этой страны немцами признаются особи по материнской линии, а матерью ей стала украинка. Но Эмма надежды не теряла и посещала курсы немецкого языка при центральной библиотеке. А я был давним членом Английского литературного клуба в той же библиотеке. Поэтому мы иногда по четвергам вечером сталкивались там, на втором этаже, в отделе иностранной литературы, и беседовали на житейские темы. Муж у неё, коренной сибиряк, слесарь или токарь, наотрез отказывался покидать любимую родину. И тогда, страдала она, как им разделить дочку-первоклашку, если и та не хотела бросать любимого папочку?..

А Эмма была в России обижена с пелёнок. Девичья фамилия от отца ей досталась громкая: Геринг. И если бы только знал отравившийся в тюрьме во время Нюрнбергского процесса жирный фельдмаршал Герман Геринг, сколько бедной Эммочке выпало на долю перестрадать из-за этой одиозной фамилии!.. А теперь родственники, недавно ставшие германскими гражданами, зазывают её на историческую родину гамбургским колбасками и всякими льготами.

Да что там советские немцы! Моя дочь после возвращения из Германии в разваленный Советский Союз больше года не могла прийти в себя после той чистоты и порядка, изобилия товаров и доброжелательной человеческой атмосферы...

Короче, Эмма не могла мне отказать. По местной телефонной и громкоговорящей связи — в отсутствие начальства — она вызывала меня и Антонио в директорскую приёмную якобы для срочных переговоров с «Ажемаком». Иногда мне удавалось связываться с Олей из гостиницы. Бывало, что она являлась к Антонио без предупреждения, одна или с Дашей, не расстававшейся с матерью ни дома, ни в детском саду. В шутку или всерьёз говорила, что проверяет тореро на вшивость: вдруг, мол, у него, по её прямолинейному выражению, создан «блядский гарем»? Уж очень он ретивый в интимной сфере, ему всегда недостаёт!..

Женское сердце — к тому же влюблённое — не обманешь. Через три-четыре дня этой аксиоме жизнь подкинула яркое подтверждение. Заодно и развеяла миф о верном сердце матадора.

Полувековой юбилей Антонио, помнится, пришёлся на воскресенье, когда попавшая под колпак мужа и свекрови Ольга поздравить не могла его даже с телефона-автомата: он бы всё равно ничего не понял. А русской обслуги и переводчика по воскресеньям в гостинице не было.

Неделей раньше Антонио и Мигель — и я, как обязательное приложение при них, — побывали в ресторане «Ноябрь». Не прощённый за попытку изнасилования российской гражданки, Градос по-прежнему находился в изоляции от всего мира. После ужина он уходил гулять по унылому микрорайону поблизости от гостиницы, а потом валялся в номере, читая привезённый из дома какой-то толстый роман. Телевизор в комнате был, но что можно было понять в мерцании цветных картинок без знания русского языка?

В «Ноябре» за соседним столиком сидела четвёрка крутых молодых мужиков, одетых в кожанки и плечистые пиджаки. Услышав чужую речь, они поинтересовались, откуда мы. Весть о том, что в Красноенисейске водятся испанцы, их почему-то потрясла не меньше, чем иностранцев миф о бродячих медведях на наших улицах. Кто-то из парней начитался Хемингуэя, поэтому Антонио тут же превратился в одного из матадоров из «Смерти после полудня» или Мануэля Гарсиа из «Непобеждённого». Как из рога изобилия, посыпались вопросы, и на меня вместо отдыха обрушилась переводческая рутина. Наши столики воссоединились, русские по широте душевной взяли все расходы на себя и вызвались отметить юбилей матадора, тоже на халяву, с сибирским размахом — в берёзовой роще за агроуниверситетом, с шашлыком, с пивом-водочкой. А если надо — и с девочками.

Мы с женой жили неподалёку от обусловленного места встречи. Она поехала к сыну, невестке и внуку, а я обречённо отправился с водкой и продуктами в пакетах в заснеженный лес. Перефразируя поэта, я для веселья мало оборудован; должностные пьянки меня весьма утомили. Радовала погода: было солнечно, по-весеннему свежо, безветренно и чисто — снег подтаял, но не почернел, а сиял белизной и хрустел под ботинками, как дроблёное стекло. Я немного припозднился и застал компанию наших ребят и юбиляра на опушке берёзовой рощи уже махнувшими по рюмке у пылающего мангала. Баранина на шампурах ожидала своей участи в цинковом ведре, а на складном столике красовалась незатейливая закусь: банка солёных помидоров и огурцов, селёдка, нарезанный пластами бекон и нашинкованный лук.

На пирушку парни привезли только именинника. Причина бойкотирования юбилея начальника Градосом и Мигелем мне была известна. Накануне Антонио при мне из-за мелочи набросился на Мигеля, осыпал его оскорблениями, обвинив в рассеянности, неорганизованности, раздолбайстве, да ещё и в скупости. Мигель, видите ли, забыл привезти с собой одеколон и попросил у него разрешения вспрыснуться после подбривания своей бородки из флакона матадора. Ошарашенный Мигель обиженно сузил бархатные глаза и молча удалился ненадушенным из столовой в свой номер. А на работе мне сказал, что будет общаться с этим bruto — хамом и скотиной — только формально. Теперь все мои клиенты из-за Лениного соска и Антошиного парфюма друг от друга самоизолировались и на территории России обитали как бы каждый в своём анклаве: Градос — в Каталонии, Мигель — в Гранаде, Антонио — в Мурсии.

Кажется, матадора такая атмосфера в коллективе не расстраивала. Похоже, существование в конфликтном мире для него давно стало нормой. Сегодня его радовала сибирская экзотика: берёзовый лес, мангал, запах шашлыка. А когда один из парней воткнул в берёзу нож, повесил на него на лямке эмалированную кастрюльку и в неё закапал сок, тореро пришёл в неописуемый восторг:
— В Испании мне не поверят, что я так чудесно отметил свой день рождения. ¡Caramba! Abedules, abedules…
— Из-за чего этот хмырь испанский так прикольно балдеет? — приблатнённо поинтересовался один из парней, высокий, с белобрысыми длинными волосами, торчащими из-под норковой шапки.

Немного странно, только ни одного имени и особых примет из этой брательной компании в моей памяти не отпечаталось. И кто они были по профилю деятельности — бандиты, менты или фээсбэшники — интересоваться посчитал излишним. Чтобы успокоить Антонио, сказал ему, что полицейские. А белобрысому знатоку географии пояснил:
— От берёз, снега, от нашей весны, наверное, торчит, — для установления душевного контакта перешёл и я на молодёжный сленг. — Там, где он в Испании живёт, ничего этого нет. Тёплое море, пальмы, апельсины, лимоны. Снег — только в телевизоре.
— Охренеть! Разве так бывает? Вот от чего надо балдеть!.. А берёзы на что годятся? На сок, на дрова да на веники.

После заздравных тостов и шашлыка властный глава великолепной четвёрки решительно сказал:
— Вы гуляйте сколько влезет, а я отвалю. Меня любовница ждёт неподалёку отсюда. Машину оставляю вам. Не нажирайтесь, а то гаишники вас отловят, машину отберут или иностранца замочите. Хотя с моими номерами вас не тормознут. Пока!..

Я понял, что про номера он сказал для меня: мол, знай наших!..

Без руководителя стало вольготней, выпили и поели от души. Антонио впервые в жизни пил берёзовый сок — чистый и разбавленный водкой. А парней потащило на подвиги. Предложили Антонио посетить большой номер в недавно отремонтированной под «мини-Сандуны» бане на Урицкого. Уже пьяненький матадор заплясал от восторга.

В бане ребят уже знали. Им сразу предоставили резервный номер и всё, что к нему полагалось: полотенца, простыни, мочалки, шампунь, пару берёзовых веников. Они здесь же, в фойе, пополнили запас спиртного баночным и бутылочным пивом, и второй этап юбилея проходил в рекреации сауны—за длинным столом, на диване и в мягких креслах. После выпивки, парилки с веником, помывки и заправки пивом голые мужики предложили юбиляру заказать для него, в качестве юбилейного презента, девочку. Я думал, что при наличии двух жён—испанской Чопы и русской Оли—раздухарившийся тореро от проститутки откажется. А он только справился, найдутся ли у парней презервативы, и, получив гарантию, сразу согласился на публичную секс-сессию.

— У меня есть одна нуждающаяся, всегда готовая дрючка. Студентка, диплом в июне будет защищать,—сказал, пошарив в мозгах, белёсый.—Если договорится, с кем оставить ребёнка,—прискочит. Пойду позвоню ей. Заодно заплачу в кассу за лишний час в этом номере.

Ждать прибытия дамы пришлось довольно долго. Время коротали продуктивно: кто-то ходил в парилку, а я, не любитель бани,—просто под душ. И пили—с вялыми тостами и без них.

Проститутку, оставившую верхнюю одежду в гардеробе, встретили сдержанно, без смеха и пошлых комментариев. Она при нас ловко скинула джинсы и полосатую блузку. Осталась, как на пляже, в чёрном бикини и в принесённых с собой чёрных тапках. На вид лет двадцать шесть. Невысокая девчушка, хорошо сложённая, с широкими бёдрами и полным бюстом. Простое курносое русское личико с накрашенными пурпуром губками. И очень озабоченный вид—как дипломницы перед защитой проекта. Я старался не смотреть на неё и чувствовал себя статистом из ненаписанной главы купринской «Ямы».

— Идите!—скомандовал белобрысый сутенёр, дёрнув острым подбородком в сторону Антонио.

Матадор, ещё вчера объяснявшийся мне в неземной любви к Ольге, обречённо взглянул на меня и отправился вслед за проституткой в коридор, в один из душевых отсеков с клеёнчатыми шторками на входе. Потом с ней пошёл белобрысый, с таким, простите, до колен, чудилой, какого в своей продолжительной жизни я не видывал. Он этим жезлом мужского достоинства явно гордился и выставлял напоказ. Или, подобно былинному богатырю, куражился над маленьким испанцем: тебе ли, мол, полувековому забугорнику, с твоим болтиком позориться?.. Только Антонио в себе никогда не сомневался и пригласил русскую путану на повторный тур в душ.

Антонио донимал меня вопросом, почему эта компания, так настойчиво искавшая встреч с испанцами, вдруг навсегда исчезла из нашего поля зрения. Неоднократно он просил позвонить по единственному известному нам телефону атаману шайки, но каждый раз, узнав, вероятно, мой хрипловатый голос, недавний собутыльник молча клал трубку.

С возникновеньем дружбы на почве пьянки в России проблем нема.

Вскоре Мигелем и Антонио заинтересовались весёлые парни-спортсмены в другом ресторане—в «Волнах Енисея». Когда около полуночи испанцы в обнимку с сибиряками вывалились из прокуренного душного зала на набережную незамерзающей реки, хоккеисты пригласили нас в настоящую баню—их, спортсменскую, на другом берегу, слева от Коммунального моста, за невидимым стадионом. Было темно, ветрено, с поверхности воды, из клубов студёного пара, доносилось шевеление и шуршание шуги. Хоккеисты указывали направление, в котором находилась их баня, и уверяли нас, что в следующий выходной, не помню, в субботу или воскресенье, заедут за испанцами из Дворца спорта после тренировки.

Банная встреча с ними проходила спокойно, цивилизованно, без эксцессов и без девочек. А значит, и без секса. Парились, мылись, ели, пили. Все мои земляки—накачанные здоровяки, и ни одного пьяного. А в героях, как всегда, выступал тореро Антонио Ауньон. Он, голый и местами покрытый седеющей шерстью, повествует о корриде, показывает приёмы с воображаемой эспадой и мулетой; я перевожу его реплики.

И вдруг три могучих хоккеиста приглашают испанцев покупаться в Енисее—в апрельском, заполненном плывущими шугой и льдинами. Река хотя и не замерзает, но зимой у берегов и в протоках льда ниже плотины Красноенисейской ГЭС, воздвигнутой за городом, в нескольких десятках километров выше по течению, намерзает много. Весной его сильным течением отрывает от облюбованных мест и несёт в направлении Северного Ледовитого океана.

Мигель от купания сразу отказался: мол, родился и жил в Гранаде, в семидесяти километрах от моря, поэтому плавать не научился. К тому же за ним водилась слабость: если начал, то от души набираться спиртным. А баня его распарила, он поплыл, расплавился и выглядел бухим в сиську, пузатым и беспомощным. За нечастые переборы строгий хефе—с испанского «шеф»—Мигеля сильно и безрезультатно критиковал. «Это потому ты такой боррачон, что тебе жена дома пить не позволяет»,—клеймил тореро по утрам смущённого своей невоздержанностью гранадца.

Мои отчаянные попытки отговорить Антонио от енисейской ванны оказались безуспешными. Воскресшая в банных и винных парах слава былого тореро вскружила ему голову. Несмотря на мои уговоры отказаться от опасной затеи и напоминания о заросшей дырке в его плече и порванных сухожилиях, он уже на русском — любой мой клиент из испанцев и американцев почти в первый день легко усваивал это словосочетание — отрывисто послал меня на три буквы и последовал за парнями на волю.

В тот год мне исполнилось шестьдесят четыре. Закалку, полученную за одиннадцать лет военной службы, я бездарно разбазарил. Однако суворовское наставление: сам погибай, а товарища выручай — усвоил с поступления одиннадцатилетним пацаном в суворовское училище. В то время, может быть, мой старший брат Кирилл сражался как раз против фалангистов Голубой дивизии, посланной каудильо Франко в Россию, на Восточный фронт. А теперь мне выпало на долю спасать бывшего фашиста, а ныне коммуниста Антонио Ауньона от гибели в центре Сибири, в ледяной воде сурового Енисея. В этой ситуации было бы вообще-то сподручней послать мне, либералу, этого коричнево-красного ренегата на те самые буквы. Однако я не обладал на такой шаг моральным правом: сам семь лет назад, подав заявление, расстался с КПСС.

На уговоры пьяного матадора не стоило тратить время и нервы. Оставалось только попросить хоккеистов подготовить нас к авантюре должным образом. Для начала гурьбой пошли в парилку, чтобы там прогреться и пропотеть до предела. Строго предупредил Антонио, что течение в Енисее быстрое и чтобы он не отрывался от берега. И, как только окажется в воде, держался за что-то неподвижное. После парилки, накинув на плечи махровые полотенца, мы цепочкой, в одних трусах, выскочили на крыльцо бревенчатой или из бруса бани на ветер и стремглав кинулись по колючему снежному насту к узким длинным мосткам. Они тянулись в серое пространство над водой с торчащим из неё тальником метров на шесть.

Наставления переводчика матадор пропустил мимо ушей: бесшабашно прыгнул в воду раньше меня, и его понесло в ледяной каше. Позднее я восхищался мгновенной реакцией испанца: он развернулся и бешено замахал руками на мой призыв. Держась левой рукой за опору мостков — толстый кол, забитый в дно, — правую протягивал ему. Он вцепился в моё запястье, как в спасательный круг.

На следующий день мы наперебой в гостинице, после работы, — Антонио на испанском, а я на русском — рассказывали об этом эпизоде Ольге. Она неожиданно зарыдала и стала молотить тореро кулачками по груди:

— Дурак, дурак! Сумасшедший идиот!..

После этого Антонио дня три донимал меня повторением одной и той же самодовольной фразы:

— ¿Has visto, señor traductor? ¡Qué amor más grande! (Видел, господин переводчик? Какая сильная любовь!)

Однако настоящие, безутешные слёзы влюблённых были впереди.

С подачи Антонио или по производственной необходимости, сначала мне доверили проводить в аэропорт отозванного «Ажемаком» Карлоса Градоса. Обычной в таких случаях прощальной вечеринки не устраивалось.

После регистрации и сдачи багажа поднялись в кафе на антресолях, чтобы пропустить por un trago — по глотку — коньяка. Я пошутил, что Градос весьма похож на молодого Сталина. Испанцу было под сорок.

— Мне давно говорят об этом, — серьёзно и, как всегда с оттенком высокомерия, совсем не удивился он. — Сталина я уважаю: он уничтожил фашизм... Моего деда в самом конце гражданской войны, в марте тридцать девятого года, фалангисты взяли в плен и расстреляли. Как Гарсия Лорку в начале войны — в тридцать шестом году. Знаешь такого поэта?.. Дед, отец моей матери, воевал на стороне Народного фронта против Франко... Кстати, тебе Антонио не говорил, что состоял в Испанской фаланге, был фашистом? Фалангу после смерти Франко распустили, и теперь Антонио — коммунист. Он мой идейный противник, и я его презираю... В Россию больше не поеду — она мне не нравится. Скучно! Негде развлечься...

Походило на политическое заявление неудачливого сексуального насильника перед отлётом на родину. Вряд ли вырвавшаяся из-под него Лена пожелает нанести дружественный ответный визит в Испанию...

А в конце апреля пришёл факс с отзывом Антонио и Мигеля в Игуаладу. Билеты на самолёт от Москвы до Барселоны были у секретарши московского представительства «Ажемака» Кармен уже на руках. Как мне сообщал почти каждый из оказавшихся под моей опекой испанец, Кармен повезло родиться в СССР от папы и мамы — бежавших от Франко республиканцев.

С паспортами Мигеля и Антонио я отправился в кассу «Аэрофлота» покупать им билеты из Красноенисейска в Москву на послезавтра. Из экономии денег из бюджета «Ажемака» за проживание в гостинице Кармен встречала тружеников фирмы в Москве прямо в аэропорту, вручала им билеты на тот же день для отлёта в новый конечный пункт назначения. Лишённое комфорта путешествие испанцев из Красноенисейска в Барселону занимало более суток. Обратно — примерно столько же.

После дорожных мытарств гости в Красноенисейск, при наличии шестичасовой поясной разницы во времени с Барселоной, являлись сонными мухами. Капитализм, как и социализм, глух к человеческим страданиям. По условиям контракта, испанцам предписывалось в тот же день приступать к работе, и наша дирекция спуску иностранным наёмникам не давала. После прибытия из порта и завтрака в гостинице мы, как правило, отправлялись на завод. Бывало, правда, что ехали туда после обеда.

Матадор попросил меня не огорчать Ольгу по телефону: им будет легче вдвоём разделить муки прощания.

Однако обет молчания мне пришлось нарушить. Едва я сказал в трубку, что ей сегодня нужно обязательно быть в гостинице по важному, неотложному делу, как она заверещала:

— Знаю я его неотложное дело! Только придёшь — и сразу в койку. С другой стороны, говорить-то обоим не о чем: ни он, ни я в языках ни хрена не кумекаем. Может, хоть ты с нами всё время будешь? Мне сегодня обязательно надо после работы домой: мои родители из деревни приезжают. А Дашку куда? Она тоже в нашем саду. Не в моей — в другой группе.

Мне, припёртому к стенке её доводами, пришлось погрешить против правды: сказал, что вылет Антонио и Мигеля состоится завтра, в восемь утра.

Ужас из железа выжал стон: Ольга зарыдала и согласилась на выдвинутые жёсткие условия. Не знаю, как она там вывернулась, — возможно, Лена помогла, — но когда мы приехали с работы, она уже стояла у входа в гостиницу. Маленькая, постаревшая, очень несчастная, словно перед выносом покойника. Зато приодетая щедрым испанцем в серый плащ и лаковые туфельки, как куколка: Антонио обожал водить её по магазинам и покупать, что ей, на его взгляд, шло. Как она оправдывалась перед мужем за эти обновки, мы не интересовались.

Ольга кинулась на шею матадора с безутешными возгласами, рыданиями, и они, отказавшись от ужина, удалились в свою опочивальню. Через минуту он позвал меня на минуту и попросил перевести для неё мелодраматическую сентенцию:

— Dile que es mi esposa rusa más querida. Y que yo la amo mucho de todo mi corazón. (Скажи ей, что она — моя русская жена. И я люблю её всем сердцем.)

Отвергнутая, против его желания, Мигелем дежурившая в этот день по гостинице и кухне Полина, узнавшая от меня об отъезде испанцев ещё в обед, тоже печалилась. Она согласилась выпить с нами скорбную чашу прощания с одноразовым любовником.

— Скажите ему, когда я уйду, — сказала Полина с печалью в серых глазах, поцеловав Мигеля в покрытую бородой щёку, — он мне так нравится!.. Я, можно признаться, влюблена в него… Они что, уже больше не приедут?

— Не знаю, Полина. Как правило, они обещают вернуться, только не всё от них самих зависит. Один Градос сказал, что в Россию никогда не поедет. А пошлют — и никуда не денется! Там тоже дорожат работой. Мигель и Антонио уезжают после двух месяцев отработки за границей. У них в «Ажемаке» по договору найма так предусмотрено: два месяца работаешь в Испании, два — в загранке…

Через неделю я приступил к сотрудничеству с двумя другими клиентами — механиком Руперто и электриком Хосе-Марией. Последний мне хорошо запомнился: размерами ещё ниже, на полголовы, чем Антонио, с длинными, до плеч, кудрявыми волосами. Импульсивный малый — в движениях, на словах и в поступках. Для него не существовало авторитетов. Он тряс кудлатой головой и пронзительно кричал, забывая, что его не понимают, на наших начальников и рабочих, требуя безусловного подчинения его — нередко абсурдным — требованиям. Главный инженер завода, мужик с нордическим характером, раза три хотел свезти на него «телегу» в «Ажемак» и отправить его восвояси. Мне удавалось его отговорить: работать Хосе-Мария умел, а за дело болел как за своё собственное.

Однажды мы с Хосе заехали в однокомнатную хрущёвку на первом этаже, недавно купленную нашим женатым сыном в микрорайоне «Сосновая Роща» после долгих скитаний по арендованным квартирам. В Сосновой Роще уже давно не росло ни сосен, ни берёз — на их костях возвели панельные пяти- и девятиэтажки для трудящихся двух гигантских заводов. Сын, невестка и наш внук радовались скорому переезду в собственное жильё, как переселению из ада в рай.

А пока моя жена с подругой после работы были заняты наклейкой обоев. О визите с иностранцем я жену предупредил. Мебели пока не было никакой, поэтому шведским столом послужил широкий подоконник на кухне. Выпивка и закуска из домашних солёностей, колбасы, сыра и жареной картошки Хосе-Марии понравились. После чего он прогулялся по застланным старыми газетами апартаментам и, похрустывая огурцом, на прощание поправил сибирякам настроение:

— В таких квартирах у нас не живут даже марокканцы.

Через неделю после отъезда миниатюрного задиры и его молчаливого напарника Руперто я снова встречал Антонио и Мигеля в аэропорту жарким июльским утром. Приехал за ними не на ветеринарном «уазике», а на «Волге» главного инженера завода Николая Владимировича Валевского, высоко оценившего труды Мигеля и Антонио в их первый приезд. В телефонных разговорах с Бе́рлином, вице-директором «Ажемака», которые переводил я, Валевский настоял на их возвращении в Красноенисейск. Николай Владимирович, рослый усатый красавец, певец, гитарист и беспроигрышный бабник, не преклонялся перед Западом. И, случалось, за некачественный труд крыл испанцев, непонятным, слава Богу, для них матом — его я не доводил до сознания клиентов.

За каждые сутки пребывания одного испанского спеца на заводе наши акционеры платили «Ажемаку» по триста шестьдесят долларов, из них половина выплачивалась командированному. Проживание, кормление, транспорт и увеселительные мероприятия, включая посещение злачных мест, тоже шли за счёт завода. А Валевский считал, что русские спецы сделали бы ту же работу быстрее и качественнее за каких-нибудь десять баксов в день в бартерном эквиваленте. И были бы довольны, что у них есть что-то самим похавать и прокормить семью.

Однако к Мигелю и Антонио главинж отнёсся с почтением: трудолюбие и мастерство матадора-механика и скромного компьютерщика-электрика покорило чёрствое сердце главинжа.

Матадор при упоминании имени Хосе-Марии скорчил презрительную мину, сплюнул и произнёс незабываемое:

— Lo conosco. Es un cabrón a quien madre no alumbró sino lo cagó. (Знаю его. Этого козла мать не родила, а высрала.)

Ольгу о приезде её любимого я предупредил после получения факса из московского офиса «Ажемака». Своим радостным визгом в телефонную трубку она едва не проколола мне барабанную перепонку. В день их прилёта, когда испанцы, в моём сопровождении, около шести часов вечера вернулись с завода, сибирская пташка ожидала Антонио в готовности номер один — в лёгком нарядном платьице, накрашенная, загорелая. И, конечно, все, кроме матадора, ей были по фигу: она повисла у него на шее, заскулила и засучила ножками так, что с них слетели на асфальт босоножки без пяток.

Потом я с полчаса, попивая со счастливой парочкой привезённый с Иберийского полуострова коньяк, посидел третьим лишним в той же устланной коврами комнате, что и прежде, — переводил их взаимные объяснения в любви и преданности. Он пропитал Ольгу дорогим французским парфюмом и её дочку многочисленными дарами — перечислять их не стану. Она попросила испанца временно оставить это богатство у себя из понятного опасения, что муж и свекровь потребуют объяснить их происхождение. Правда, мужа и дочки в Красноенисейске временно не было: Оля отправила их отдыхать к своим родителям в какой-то посёлок, часах в четырёх езды от города на автобусе. Это известие особенно обрадовало Антонио: значит, нет никаких препятствий для повторения первой брачной ночи!.. Однако свекрови Оля боялась пуще мужа и сказала, что в распоряжении новобрачных не больше полутора часов. Да и без этого я видел, как они, сидя на кровати, тёрлись друг о друга, целовались, облизывая друг другу лица, как два маленьких зверька, и сгорали от нетерпения. Нечто похожее я больше двух лет наблюдал на Кубе на суше и на море, на открытом воздухе и в замкнутых пространствах кафетерий и «апартаментос».

Дальнейшие международные сношения двух разноязычных персон перевода не требовали, и я отправился к своей настоящей, стабильной, последней любви сибирских кровей на хохлацком замесе.

Антонио, кстати, высоко оценил любопытство переводчика в отношении испанской корриды. К щедрым подаркам для моей жены Нины и внука Сашки он присовокупил глянцевый журнал, с картинками и пояснениями к ним, дающими полное представление о сложном ритуале этой опасной национальной забавы и распределении ролей для людей, быков и лошадей на арене. Кроме того, до сих пор я регулярно читаю подаренную мне в тот же вечер книжечку с названием «Nuevo Testamento» — «Новый Завет» — на зелёной клеёнчатой обложке, с текстами Святого Писания на тончайшей бумаге. И дополнил этот подарок моей давнишней мечтой — толстенным томом, вмещавшим в себя англо-испанский и испанско-русский словари.

После просмотра дома двух полуторачасовых видеокассет, записанных Антонио с телевизора в своём картахенском доме — при трансляции реальной пешей и конной корриды с мадридского стадиона, — я вполне мог бы стать консультантом доморощенного матадора, вздумавшего устроить корриду на нашем стадионе «Локомотив» на деньги из общака новорусской братвы.

Вскоре по-детски изворотливый разум воспитательницы нового поколения сибиряков российского капитализма нашёл выход для регулярных и длительных встреч с матадором. Детсад закрылся на летний ремонт, и она ушла в отпуск. Даша жила в деревне с дедами. Муж и свекровь оказались в информационной блокаде. Им Ольга о ремонте и отпуске ничего не сказала и продолжала уходить по утрам из дома якобы на работу.

В раскрытии обмана, впрочем, ни муж, ни свекровь не были заинтересованы. Их больше заботили проблемы опохмелки после вчерашнего и продолжения фиесты сегодня, начиная с утра, — с помощью бормотухи или водки-палёнки. Для жены и невестки теперь ничего не стоило удовлетворять их низменные запросы из своих отпускных: субсидирует их спозаранку на пару бутылок — и весь день свободна!.. Вместо работы успевала по утрянке к Антонио для ритуального моциона, оставалась в номере отдыхать, ждать его возвращений на обед и после работы — для продолжения любимого дела. Хозяйка гостиницы, Алла Борисовна, сетовала мне:

— Превращают эти двое мой отель в бардак. Скажите им…

— Только в вашем присутствии и с ваших слов.

От прямого назидания хозяйка отказалась. Тем более что бардака в русском понимании этого слова в номере не было: и Антонио, и Ольга от услуг горничной отказались и чистоту и порядок блюли идеальными. На шум обитатели соседних квартир не жаловались. Как и на музыку — а они танцевали и этим занимались, по свидетельству матадора, под томительные мелодии в исполнении Хулио Иглесиаса и других испанских маэстро, звучавшие чуть слышно, не сбивающие их с собственного двигательно-любовного ритма.

Супружеская жизнь испанского мачито приобрела почти размеренный характер. Он стал добрей и меньше придирался к Мигелю, хотя по инерции не упускал случая подкусить его за какое-то мелочное упущение.

Однако и для бородатого баловня судьбы провидение имело в загашнике сюрприз, о коем он, конечно, и не помышлял.

В какой-то тёплый июльский вечер мы сидели втроём в столовой гостиницы, допивали бутылку и доедали заморские куриные окорочка. И тут перед нашими изумлёнными очами нарисовалась хохочущая Ольга в сопровождении смуглой девушки с короткой русоволосой причёской и приятным хмуроватым лицом. Она была значительно выше и крупнее Ольги, крепко сложена и сшита. Короткая юбка в обтяжку выгодно обрисовывала её крутые бёдра и позволяла видеть сильные ноги бутылочкой. А в разрезе сиреневой кофточки светилась долина с началом подъёма на вершины девственных грудей.

Я даванул косяка на Мигеля и отметил, как у него одновременно с ослепительной улыбкой плотоядно засияли бархатные глаза натасканного на дичь кобеля.

— Вот моя родная сестра Света. Сегодня приехала из Абакана — работает там в драмтеатре художницей. Со вчерашнего дня — в отпуске до начала театрального сезона.

А в жизни театральный сезон с постановкой, без нудных репетиций, тривиальной пьесы «Любовь с первого взгляда» начался в тот же вечер. Заново был накрыт стол, извлечены из заначки Антонио бутылки испанских напитков. Через час-другой, когда я, закончив свою миссию толмача, отправлялся домой, мрачноватая сначала Светлана уже светло улыбалась на коленях бородатого Мигеля перед отправкой в их «нумер». Поскольку Антонио и Ольга уже давно находились в своём обжитом гнёздышке, предоставив мне произвести стыковку двух модулей международной космической станции и дать импульс для её нормального жизнеобеспечения и функционирования.

Зато моя жизнь мигрировала, как мне с облегчением показалось, в другую, более спокойную фазу.

Однако не тут-то было!.. Полная стыковка не состоялась. Вопреки благоприятным прогнозам, Светлана от гранадского соблазнителя сбежала в космическую тьму бандитской красноенисейской ночи. Так что утром я застал троицу в комнате матадора в разгар паники: жива ли абаканская художница? Полуодетая Ольга рыдала на волосатой груди растерянного бесштанного матадора, вцепившись лапками в свои растерзанные волосы. А напуганный Мигель, развалясь в кресле с голым пузом и молитвенно воздевая руки в потолок, клялся с выпученными глазами, что действовал в нормах сексуальной этики: никакого насилия, только ласка и поцелуи. Он и удерживать Эсвету — так он произносил имя беглянки — не стал, чтобы его не осудили потом за дикое домогательство, как кабальеро Градоса.

Мне, как мудрой обезьяне, пришлось встать над схваткой.

Для начала я выстрелил в воздух матом на испанском, опираясь на кубинский сленг. Ещё в начале переводческой карьеры с испанцами мне пришлось к месту выдать несколько таких перлов, чем заслужил уважение моих клиентов: они такого не слыхивали и тут же занесли в свои рабочие блокноты. Мигель и Антонио перестали стрекотать наперебой, а Ольга оторвала лицо от шерстистых титек матадора и уставилась на меня:

— Чо, чо ты им сказал?

— Неважно!.. Лучше ты скажи, что с ней! Она замужем? Или была замужем?

— Да ты чо, охренел? Она же целка!

— Так она же у неё на лоб не наклеена! Надо было меня предупредить.

— Но не ты же с ней, а Мигель! Прости, бухая была, забыла… Она из Абакана уехала насовсем, из театра уволилась. С режиссёром разругалась из-за этого же: он к ней лез, а она не дала.

— Банальная история. Им можно об этом сказать?

— А что тут такого? Скажи, конечно… Про режиссёра не надо. На кой хрен испанцам про наши порядки знать?..

— Ладно, отправляйся на розыски. В обед приезжай или позвони на гостиницу.

Весть о том, что Светлана в такие годы оказалась virgen, испанцев чрезвычайно удивила, словно они наяву пообщались со Святой Девой. Как патриот России, я сказал им, что сексуальная революция не разрушила наших патриархальных обычаев. В этом бесспорное преимущество православия над католицизмом. Спросил их, ходят ли они в церковь.

Мигель по большим праздникам с женой и детьми посещает Кафедральный собор Гранады. Матадор немедленно накинулся на соотечественника:

— ¡Eres mentiroso y hipócrita! (Обманщик и ханжа!) Я верю в Христа, но в церковь не хожу. Ты не знаешь Евангелие, а я его учил, когда был в Фаланге. Евангелие от Матфея говорит: молиться Богу надо одному, тайно, в закрытой комнате. И Он, увидев тайное, воздаст тебе явно.

И стал мне рассказывать о скандалах со служителями церкви: скольких из них осудили за финансовое мошенничество, педерастию и педофилию. Как бывший фалангист, а в настоящем — коммунист, Антонио обвинил церковь в мздоимстве, обмане, фарисействе и нарушении всех библейских заветов.

Однако Мигель, боявшийся страшных последствий свидания с русской девственницей, допросов в нашей полиции и заключения в каземат, укрепился в своей вере, когда вечером перед нами живыми, здоровыми и весёлыми появились обе сестры. Правда, он, как побитый пёс, попытался скрыться в своей комнате и наказать себя не съеденным ужином. И только после того, как Светлана сама закрылась с ним и через несколько минут вывела грешника за руку к столу, началась наша «тайная вечеря».

Когда я уходил, Ольга нагнала меня за дверью, на улице. И выдала секретное намерение сестры:

— Светка решила Мигелю дать. Влюбилась в него. Говорит, лучше уж испанцу подарить себя, чем какому-нибудь нашему бухарику, как это со мной случилось. Что толку, что он на мне женился? Дашку родила, а у него от пьянки всё атрофировалось. Раздуло всего, как борова, подохнет скоро от цирроза. А старше меня всего на четыре года. Жалко дурака, а что поделаешь, если и мать с ним пьёт?

Сколько-нибудь стоящих возражений в моих нетрезвых извилинах не нашлось: и не такая собственность, как у Светки, перепала в жадные лапы иностранцев!.. Мозги утекают, спортсмены продаются, бордели всего мира пополняются нашими красавицами.

— Пусть даёт! — наложил я устную резолюцию на добровольное решение девственной художницы.

Хотя и было мне, старому грешнику, за державу горько и обидно!.. Вот и этот, по Пушкину, «чистейшей прелести чистейший образец» достался забугорному Дантесу.

А чувство обиды и сожаления возникло не только потому, что талантливая сибирячка со светлым именем и чистой душой вот так искренне, молниеносно запала на испанца. По моей оценке, на внутренне неинтересного granadino. Из него, жаловался Антонио, каждое слово приходилось клещами вытаскивать. Да и я с ним наедине чувствовал себя неуютно, словно он чего-то ждал от тебя или хотел поскорей избавиться. А Светлана, четверть века оставаясь недотрогой, вдруг осознано легла на операцию под пузатого отца четверых детей. Или она, как художница, какимто там третьим глазом разглядела в нём нечто, недоступное и непонятное мужскому взгляду?.. Флюиды, запахи, карма, аура, абракадабра?..

Впрочем, и мне в бескровных поединках за самку в кабаках, в гостиницах, в поездах не раз случалось терпеть поражение от тех, кого не считал за соперника. Воздействуешь на неё стихами, эрудицией, а молчун встаёт, и она следует за ним, как под гипнозом, в удобное для соития место… А тебе остаётся строчка романса: «Мы так близки, что слов не нужно…»

Примерно через неделю физическая часть их, Мигеля и Светланы, романа закончилась. Душевную составляющую выдумывать не стану: разлуки с любимыми переживать доводилось не только им, поэтому легко найти аналогии из собственного опыта…

От родителей Светлане поступило требование о немедленном приезде домой: в средней школе ей предложили место учительницы черчения и рисования. Надо немедленно оформляться и присутствовать на районной учительской конференции. В Абакане она работу потеряла, в Красноенисейске своих безработных художников навалом. Другой работы в том посёлке не найти. Родители прокормить её, конечно, не смогут, хотя и корову держат, свиней и кур. Картины у неё никто не купит. Да и откуда взять деньги на краски, кисти, полотно, рамки?..

Душераздирающая сцена прощания испанца Мигеля и русской девушки Светланы, после краткой вечеринки в столовой гостиницы, на меня подействовала сильнее, чем известный спектакль «Юнона и Авось».

Какое-то время мы втроём — Светлана, Мигель и я — сидели, словно перед выносом тела, в обжитом ими номере. Я что-то переводил, записал в Светланину книжечку телефон и гранадский адрес испанца. Они сидели на кровати, обнявшись, и, припав друг к другу головами, плакали. У меня, синхронно с ними, нарастало давление в груди, под веками закипали слёзы, и я вышел в столовую — хлопнуть рюмку с Антонио и Ольгой. Видок у них тоже был траурный: наверняка думали, что вскоре предстоит и им хлебнуть не менее горькую чашу…

На следующий день в цехе — на отладке конвейера подачи кирпичей на автоматическую укладку на поддоны — Антонио, не прекращая закручивать гайки и болты, разразился злым монологом в адрес своего коллеги. Русский язык, несмотря на свою красоту и мощь, не сможет передать всех нюансов этого шедевра проповеди о моральном падении Мигеля Переса. Начало я помню дословно:

— ¿Tu piensas que este cabrón sensual de mierda y piedra está sufriendo por Esveta? (Ты думаешь, этот сладострастный козёл из дерьма и камня страдает о Свете?) Ты ошибаешься! Он боится, как бы об этом не узнала его жена. У него две дочери. Он годится Свете в отцы. И если бы мужчина в его возрасте поступил так же с его дочерью? Мигель трус, но, думаю, он бы убил того типа. Вот увидишь, он скоро попросит, чтобы его отозвали в Испанию. Вдруг Света забеременеет и скажет ему об этом? ¡Qué puta madre! (Что за сукин сын!..)

Мне нечего было ему сказать. На месте Мигеля я побывал около двадцати лет назад. Полюбил девятнадцатилетнюю кубинку, а мне—за сорок, и я у неё—первая любовь. И—как по Чехову: увидел чайку на берегу Карибского моря и, на мужской манер, застрелил её по обоюдному согласию…

Не судите, да не судимы будете!..

Банный эпизод тоже свидетельствовал не в пользу матадора.

В цехе керамической плитки, собранном на стальном каркасе из колонн и ферм перекрытия, на которых покоились стены и крыша из дюралевых сэндвичей с термоизоляцией, из-за неготовности вентиляции царила адская жара. Дюраль на летнем солнце раскалялся, к наружному теплу плюсовался жар от двух стадвадцатиметровых в длину и метров по пять в ширину и высоту, обжиговой и сушильной, печей. Мы, русские и испанцы, работавшие в этой душегубке по восемь часов в течение пяти, а то и шести дней в неделю, к концу смены превращались в несъедобных цыплят табака.

Антонио через меня время от времени предъявлял гендиректору и главному инженеру Валевскому ультиматумы по организации отдыха после рабочего дня и по выходным: «Скажи им: если не согласны, мы улетаем в Испанию!» Требования оговаривались контрактом и касались, прежде всего, предоставления администрацией завода в распоряжение испанцев автомашины с шофёром и переводчика. Шофёры менялись, а я был единственный и незаменимый. Конечно, меня возили, кормили и поили в кафе и ресторанах, на пикниках на Енисее или озёрах на халяву. Но хотелось и простого человеческого счастья: как минимум раз в неделю побыть с женой и внуком. Поэтому Нина и Сашка иногда принимали участие в наших пикниках.

Нина подружилась с Ольгой. Испанцы и Оля были частыми гостями в нашем доме.

Иногда Антонио сам готовил на нашей кухне чисто испанские блюда: паэлью, карне асадо, пойо фрито.

Надо было видеть, как он расстроился, когда сильно пересолил тушёную фасоль с хамоном—вяленой ветчиной, привезённые им из Испании специально, чтобы подивить Ольгу и мою семью.

На территории агроуниверситета, в обожаемой матадором берёзовой роще, мы жарили шашлыки из мяса или рыбы и танцевали под кассетный магнитофон, подаренный мне на день рождения одним из Нининых директоров. У нас завелось много друзей—бывших боссов прогоревших мелких фирм, где Нина в разные годы работала главным бухгалтером. Она честно предупреждала шефов не пускаться в авантюры вроде лизингов или получения в банках кредитов под бешеные проценты. Однако нувориши были нетерпеливы, завистливы и хотели захапать много и всё сразу—потому и горели синим пламенем!..

За мой доблестный труд испанцы обещали платить из своего кармана, но забывали это делать. А когда поступил факс, что вице-директор Бéрлин находится в Москве, Антонио позвонил в столичный офис «Ажемака».

— Всё!—крепко пожал мне руку Антонио.—Бéрлин приезжает сюда и сам вручит тебе премию. Я попросил тысячу долларов. Он сказал, что подумает.

Тысяча долларов и сейчас на дороге не валяется—это три с лишним моих месячных пенсии. И надо же: к нам в тот же вечер заглянул один из соседей по подъезду по имени Эдуард, с внешностью громилы из американского блокбастера. А в жизни—милейший человек, бывший стоматолог, а в настоящем—ночной певец в ресторане городского парка. Днём же он имел свой бизнес: развозил на «шиньоне» с холодильником по киоскам, павильонам и магазинам замороженные пельмени и бифштексы фирмы «Карнепес». Он выдал нам секрет фирмы: она вот-вот лопнет и перейдёт под другим названием в собственность москвичам. Поэтому он с нежностью и надеждой вспомнил о своей первой специальности. От гнилых зубов, посчитал он, для него и семьи толку будет больше, чем от замороженных мясопродуктов сомнительного качества. Но для зубного кабинета требовалось оборудование, а денег не хватает. Вот он и предложил нам купить у него молоденькую, всего шестилетнюю, рубиновую «хондочку». Недорого, ровно за тысячу баксов. В щедрости испанского шведа я сильно сомневался и отложил окончательный ответ Эдуарду на неделю.

Бéрлина в аэропорту встречали на директорском чёрном «бумере» Антонио, главинж Валевский и я при них в качестве платного приложения. От испанцев и Валевского о визитёре я был наслышан: миллионер, крупный акционер по крайней мере двух фирм. Эрудит, знаток техники и технологии—его на мякине не проведёшь. К тому же и полиглот—свободно говорит на нескольких европейских языках. Правда, ажемаковцам нравилось имитировать его шведский или немецкий акцент в его испанской речи, но это уж такая нация—ей палец в рот не клади. Моё кубинское произношение они тоже порой передразнивали—не зло, с уважением к моему прошлому. А в рассказах о чудачествах шведа чувствовалась зависть к удачливому варягу.

Самолёт немного запаздывал, и нам хватило времени пропустить по рюмке коньяку и выпить по чашке крепкого капучино в уличном кафе у входа в аэровокзал. Было прохладное солнечное утро. Кое-где на асфальте и на авто на стоянке поблёскивала роса. Дальше, за шоссе, начинался густой смешанный лес. Казалось, он ждал кого-то под свою тихую сень. Объявили о прибытии рейса из Москвы, и мы пошли к выходу с лётного поля.

— Ты думаешь, этот козёл прилетит к нам с чем-то добрым?—сказал мне на ходу Валевский.—Снова будет дополнительных денег просить—за оборудование, наладку, пуск. Я говорю директору: пошли ты его на хутор к бабушке! Так нет же, директор у нас бывший председатель райисполкома, коммунист и онанист. Очень вежливый и обходительный с иностранцами, а своих считает за быдло. Зарплату по три месяца не выдаёт.

Словесный портрет Бéрлина и облик миллионера на фотографиях—у Антонио в альбоме они были—вполне соответствовали моему представлению о нём.

Вот он свалился с неба на наши головы!.. Одет в классику, с иголочки: серый костюм, белая рубашка, лёгкий голубой галстук на крепкой шее. Всё в тон с его серо-голубыми глазами. Невысокий, худощавый, лёгкий в движениях сеньор. Во всём—продуманная сдержанность и такт, натренированность в общении со знакомыми и незнакомыми людьми. Скупая улыбка с холодом в глазах. Опасный для женщин тип. С таким конкурировать почти бессмысленно, особенно если дама осведомлена о его бумажнике и кредитных карточках многих банков мира. Однако Николаю Валевскому, близкому ему по годам, недавно разведённому, бездомному и безденежному, я думаю, этот пижон в борьбе за обладание красоткой любой масти и достоинства непременно бы проиграл.

Поселили Бéрлина, конечно, не в заводскую гостиницу. После его краткой вступительной беседы с гендиректором Сапоговым и главинжем Валевским мне было велено доставить важного гостя в гостиницу «Ноябрьская», устроить в дорогой номер-люкс, накормить в ресторане и оставить в покое до двух пополудни. Мы с ним выпили армянского, хорошо поели, поговорили на отвлечённые темы на английском—о политике, литературе и даже философии, и он отправился почивать. Он, кстати, заметно обрадовался, что может поупражняться со мной в английском. И в дальнейшем он почему-то предпочитал говорить на этом языке в присутствии Антонио и Мигеля.

Валевский был прав: Бéрлин привёз с собой дополнительные соглашения-приложения к прежнему контракту на русском и испанском языках со сметами и калькуляциями на приличную сумму в долларах. В кабинете Сапогова мне довелось пропустить через своё сердце и сознание бурную дискуссию, похожую на грызню псов за лакомую кость, которая досталась, как и следовало ожидать, респектабельному шведскому испанцу. Мне пришлось, правда, наскоро перевести с русского на испанский протокол разногласий, и все бумаги были подписаны и скреплены печатями. После чего швед с германостоличной фамилией выразил желание провести вечер в каком-то весёлом и вкусном месте нашего города в обществе Антонио и Мигеля, а также переводчика и Ольги. И уж полным сюрпризом для меня явилось приглашение Бéрлином моей жены Нины Павловны на эту фиесту.

Вкусных и весёлых мест к тому времени, близкому к российскому дефолту имени президента Ельцина и премьера Кириенко, расплодилось немало. Народ, потеряв бдительность, пил и гулял на последние гроши, не предчувствуя, как и накануне всех предыдущих исторических катаклизмов, надвигающейся беды.

Испанцам же более всего полюбился ресторан на судне «Писатель Чехов», пришвартованном, как некогда крейсер «Аврора» или колёсный пароход «Святитель Николай», на вечный прикол у речного вокзала Красноенисейска. Потомки Сервантеса и Дон Кихота приходили в восторг от русской кухни, музыки с танцами, и главное—от наших сибирских мучач—девушек, завораживающих их взгляд и души красотой славянских лиц, фигур, нарядов и особо тёплым отношением к заграничным фраерам. Да и вид на быстрый широкий Енисей, на лесистые горы на правом его берегу, прохладный ветер в открытые окна кают-компаний, превращённых в ресторанные залы, после цеховой духовки целúл их души и тела.

Заботы о заказе стола, определении меню и оплате залога на шесть персон в зале на второй палубе легли на меня. С помощью обслуги ресторана я постарался обустроить пирушку в честь вице-директора по высшему классу. Тем более что Бéрлин от официального банкета с дирекцией завода почему-то отказался, предпочтя побыть в обществе своих рядовых сослуживцев. А все расходы за вечер на пароходе, как мне передал Антонио, вице-директор возместит из бюджета фирмы «Ажемак».

Лица испанцев и шведа засветились невысказанной радостью, когда я указал им на наш сервированный винами, коньяком, рыбными и мясными нарезками, бутербродами с красной и чёрной икрой, фруктами и соками стол у открытого окна с видом на правый берег Енисея и напротив эстрады с музыкантами. Предзакатное солнце играло золотыми, сиреневыми и зеленоватыми бликами на беспокойной от ряби и воронок поверхности енисейской воды, спешащей к Ледовитому океану.

Студёная жидкость с налётом нефтяной плёнки плескалась, лепетала что-то у борта нашего неподвижного судна.

Испанцы говорили оживлённо, как всегда, перебивая и, казалось, не слушая друг друга, о чём-то своём. Антонио тыкал рукой в сторону покрытого зеленью острова и живописал Бéрлину, как он мылся вон в той сауне и в ледоход купался в Енисее. Не пили и не ели — питались запахами с кухни в ожидании женщин — Оли и Нины. Послали меня встретить их на деревянных сходнях: ресторан был уже переполнен, и двое молодых накачанных вышибал пропускали с берега на судно только счастливчиков, заблаговременно заказавших столик.

Приход нарядно одетых — Оля в чёрное кисейное платье, Нина в белый лёгкий костюм — женщин настроил мужчин на торжественный лад. Бéрлин немедленно напыжился, как павлин, распустил хвост и поцеловал дамам ручки. Чуть позже стоя произнёс дипломатическую речь о пользе российско-испанского экономического сотрудничества и о значении перфорированного кирпича и кафельной плитки для строительства элитного жилья в нашем городе, где, вставлю от себя, и хрущёвские панельные пятиэтажки для многих сибиряков оставались недостижимой мечтой. Весь зал, как заворожённый, смотрел на красивого оратора, вещающего на непонятном языке, одетого словно манекен с витрины недавно открытого на центральной улице итальянского бутика. Мой перевод тоже выслушали с пока ещё трезвым вниманием. Только Антонио морщился и пару раз подмигнул мне, обозначив губами уместный комментарий: «¡Ves qué cabrón y hablador tan grande! (Видишь, какой козёл и болтун!)»

После нескольких тривиальных тостов Бéрлин снова попросил внимания и, тоже стоя, нарисовал перед присутствующими мой неузнаваемо светлый образ друга испанского народа, вручив мне, растроганному высоким вниманием, «зелёненькие» в запечатанном конверте с дружеским рукопожатием и ослепительной улыбкой. Распечатывать конверт при всех я не стал, засунув его в задний карман брюк и отложив удовольствие до приезда домой. И лучше бы я его потерял. Содержимое конверта меня, неблагодарного, сильно огорчило: в нём вместо ожидаемой тысячи затерялись две стодолларовых бумажки. Утром следующего дня пришлось позвонить в квартиру певучего стоматолога Эдуарда и расписаться в своей несостоятельности. Он тоже был разочарован: найти другого покупателя его рубиновой «хонды» в то время было весьма проблематично.

А банкноты в конверте оказались настолько затёртыми, засаленными, что я почувствовал себя униженным и оскорблённым. Даже всеядный, казалось бы, обменный пункт на углу улиц Ленина и Дзержинского отказался признавать их за валюту. И только в банке, с которым имела дела моя жена, как главбух, вместо трухлявых бумажек мы обогатились новенькими липкими банкнотами на миллион российских рублей. Так что не только швед Бéрлин, но и я мог безо всяких натяжек несколько лет считать себя миллионером-пенсионером.

Однако какое удовольствие испытал я, когда рассказал об этом матадору. Испанский мат, поверьте мне, значительно превосходит русский по своей поэтической кудрявости и разнообразию. Антонио им — и как тореадор, и как сварщик боевых кораблей — владеет бесподобно. Он выиграл бы любой конкурс виртуозов в этой области общечеловеческой культуры. От него я многого набрался; только при переводе на русский смачная нецензурная лексика потеряет свою свежесть, а меня после публикации затаскают по судам. Но политический вывод члена компартии Испании из этого эпизода я процитирую:
— Теперь, думаю, ты понимаешь, сеньор традуктор (переводчик), почему я стал коммунистом? Ему, миллионеру, в Москве не конвертировали в рубли эти засранные бумажки, и он с помпой подарил их тебе. Fuera mejor si los metio al su culo del capitlista que nos hubira robado constantamente. (Да было бы лучше, если бы он засунул их в свою жопу капиталиста, который нас постоянно обворовывает.)

А моя Нина к этому облому, как всегда, отнеслась с добрым юмором, без политического окраса:
— Ты, солнышко, рыбка моя, губёнку раскатал на «хондочку». Тебе одной меня что, не хватает, что ли?..

Однако вернёмся в ресторан «Писателя Чехова», чтобы полюбоваться на прекрасную жизнь и чудных людей на берегах Енисея в нашей «сибирской Швейцарии».

С началом огневых русских танцев и плясок испанцы были нарасхват. Правда, Ольга не позволила ни одной землячке прикоснуться к её матадору, тогда как Мигель и Бéрлин вели себя гурманами — выбирали себе тех, кто им казался достойным их особых персон. Впрочем, Бéрлин вскоре определился и попросил меня поучаствовать в его слащавой беседе с красивой дамой бальзаковского возраста на предмет, не согласится ли она проехать с ним в его люкс в гостинице «Ноябрьская». Предложение испанца, после того как я вкратце обрисовал его социальный статус и материальное положение, даму не напугало. К тому же она могла объясняться на английском, так что дальнейшего участия в судьбе двух одиночеств от меня не потребовалось.

Через бармена я заказал такси для испанцев на час ночи, и мы с Ниной укатили около одиннадцати домой с енисейской набережной, от расцвеченного огнями, отражёнными сонной водой, «Писателя Чехова».

По дороге в аэропорт Бéрлин выглядел усталым и лирически грустным, как Ленский перед дуэлью. На мою попытку разговорить его на английском он отвечал короткими фразами. Причину перемены его настроения мне пояснил накануне Антонио:
— Та сеньора в ресторане пошутила, что поедет с ним в гостиницу. За ней явился красивый высокий муж её же возраста, она познакомила его с Бéрлином, и они уехали. А главный инженер завода Николай сказал ему, что не все специалисты «Ажемака» имеют хорошую квалификацию, и после них приходится заниматься переделками русским инженерам и рабочим. В проекте допущены ошибки, из-за этого следует много переделок. По ним составлены акты и сметы на удержание денег с испанской стороны. Нас Бéрлин тоже расстроил. Сказал, что «Ажемак» на грани банкротства, поэтому деньги за работу мы сразу получить не сможем. На фирме уже идёт сокращение, так что и Мигель, и я можем угодить в безработные. Правда, меня это не очень пугает: после увольнения в течение года я, как безработный, буду получать почти такую же зарплату. А зарплата у меня для Испании очень хорошая.

Достойное поведение дамы без камелий, повесившей «чайник» на нос самоуверенному шведу, пролило бальзам и на мою душу. Даже вынырнула из памяти хрестоматийная строка: «У советских собственная гордость: на буржуев смотрят свысока…»

Через неделю после отлёта Бéрлина от секретарши Кармен из московской офисины «Ажемака» поступили звонок и факс, что на Мигеля Переса взят билет до Барселоны и ему надлежит быть в Москве через два дня.

Антонио торжествовал:
— А я что говорил? Ты же видел, как он работал без выходных и оставался вечером в цехе, чтобы выполнить техническое задание от фирмы. Этот pendejo — трус — бежит от Светки, как кролик.

Мне же Мигель говорил совершенно обратное: в Эсветку он влюбился по-настоящему, как юноша, и ему невыносимо больно уезжать от неё — такой нежной, чистой и влюблённой. Унего просто сердце разрывается от тоски. Но он вдвое старше её, у него четверо детей и т. д., и т. п. Мне же надлежало соблюдать переводческий нейтралитет и, сопереживая, делиться впечатлениями только со своей женой.

Отлёт Мигеля приходился на понедельник. Светлане каким-то образом удалось приехать на два дня в город и провести ночь в номере с любимым. Потом они — Антонио и Ольга, Мигель и Светлана — приехали в солнечное воскресенье к нам домой. И мы весело погуляли и потанцевали под кассетный магнитофон в начинавшей желтеть берёзовой роще у костра, лёжа на разостланных одеялах, заливая горечь расставания водкой и пивом и набивая желудки салатами, шашлыками и паэльей, приготовленной Антонио при участии Нины: рис с овощами, мясом и рыбой.

Одна Светлана не пила и не ела — сидела с мокрыми тоскующими глазами, склонив голову на плечо бородатого, бесстрастного с виду мачо, словно, как Мария Магдалена, отправляла его в загробное путешествие. К концу пикника она попросила меня и Мигеля прогуляться с ней по тропинке под золотой берёзовой сенью и перевести для него явно хорошо продуманную мелодраматическую фразу:
— Скажите Мигелю, что я никогда не выйду замуж. На всю жизнь останусь верной только ему. И если родится от него ребёнок, назову его Мигелем.

Мой перевод растопил сердце до этого словно замороженного гренадера: нас обоих пробила скупая мужская слеза. Я счёл уместным вернуться к беспечно веселящимся людям, к костру, оставив испанца и сибирячку сопереживать и оплакивать их живую любовь в её апогее. И обречённую на вечную память, тяжкие страдания и муки. А может, и на скорое забвение, как это чаще случается…

Матадор и Ольга, в отличие от Мигеля и Светланы, боролись за совместное пребывание до предела своих возможностей. Оказалось, что Антонио попросил Бéрлина не присылать ему замену по истечении его двухмесячного срока работы на заводе, и оставался в Сибири до наступления зимних холодов — до середины октября. Ольга вообще сожгла все мосты: отправила Дашу в посёлок к родителям, подала на развод и временно поселилась у Лены, подыскивая себе жильё поблизости от детсада. А на самом деле постоянно жила с Антонио в гостинице вполне семейной жизнью.

За её завтраки и ужины с гостиничной кухни матадор доплачивал из своего кармана. Они вполне привыкли общаться без моей помощи, если не считать частых совместных посиделок у них в номере и в нашем доме. Вдобавок я обеспечил их карманными русско-испанским и испанско-русским словарями, с которыми дважды на долгое время уезжал работать на Кубе. Завели они и собственные словарики с ходовыми терминами и фразами, включая матерные, так что жить мне стало легче и веселее.

Ещё летом в подвальном пивном баре на проспекте Мира Антонио и Мигель познакомились случайно с молодым, но безволосым, как скинхед, немцем и его бойкой рыжей подружкой, секретаршей директрисы пивзавода. На этом заводе немец, работавший раньше в Испании и прилично знавший испанский, отлаживал оборудование автоматической разливочной линии, чтобы затопить наш и без того запойный город потоками шипучей жидкости и вызвать эпидемию пивного алкоголизма. Интернациональная четвёрка по выходным зажигала и отрывалась по полной европейско-сибирской программе пьянства, курения и секса.

К концу своего непрерывного четырёхмесячного, а с учётом предыдущих двух месяцев—полугодового, бурного пребывания на красноенисейской арене боёв с техникой, спиртным и воспитательницей малышей матадор сильно сдал и, как я подозревал, жаждал возвращения к своей испанской жене. Хотя при расставании с Ольгой, после прощальной вечеринки в гостинице с участием заводского начальства, он, изрядно перебрав, ревел в своём номере, как раненый бык, и клялся, что непременно приедет в Россию. А то и за свой счёт устроит свидание с русской женой на Иберийском полуострове, в chalet—дачном доме—своего двоюродного брата Николаса в Ла Манге—на берегу Средиземного моря.

— Свиздит он всё, не надо мне мозги набекрень сбивать!—захлёбываясь нетрезвыми слезами, комментировала Ольга мой перевод.—Это я одна остаюсь и никогда не забуду тебя, старого дурака. Наехал на меня, как из неё на лыжах!..

А семнадцатого октября, ранним утром, он заехал за мной на «ауди» с начальником цеха плитки Димой Савченко за рулём, обнялся и расцеловался в прихожей с моей Ниной, источая многочисленные прощальные «gracias», «adiós» и «hasta la vista». Поскольку к этой дате «Ажемак» уже обанкротился, а цех проходил эксплуатационную обкатку, то на приезд матадора не осталось реальных мотивов.

В аэропорту после регистрации мы хотели посидеть с полчаса в ресторане, но на входе я столкнулся с Владимиром Познером, гражданином трёх стран и ведущим политической программы на Первом телеканале. Он поприветствовал меня с лёгкой улыбкой наклоном головы, приравняв или перепутав с некой VIP-персоной. Одновременно понял, что делать в ресторане нечего. Заказал по сотке коньяку с лимоном и пирожным в кафе на антресолях, и мы грустно цедили напиток, обещая писать друг другу, звонить, а Бог даст—и встретиться в России или в Испании. Он то и дело вздыхал, называл меня своим братом и твердил о неземной любви к своей русской жене, о сегодняшней последней ночи с ней. Напоследок я задал тореадору далёкий от его греховного адюльтера вопрос:

— Как ты думаешь, Антонио, через сколько лет мы достигнем такого же уровня жизни, как у вас?

Он поставил на клеёнку фужер с остатком коньяка и, наморщив лоб, углубился в футурологические выкладки.

— Dentro de quince años (Через пятнадцать лет),—уверенно произнёс он тоном профессионального оракула и даже попытался аргументировать свой прогноз.—Мы живём без Франко двадцать два года и всё ещё отстаём от Германии, Франции, Италии, не говоря о Северной Америке и Англии. Но нам Запад сильно помог. Уже через пять лет после фашизма мы жили намного лучше, чем вы сейчас. У нас была дешёвая рабочая сила, поэтому иностранные компании в Испании одних автозаводов настроили очень много. Ты не назовёшь ни одной марки испанских машин—все они немецкие, французские, итальянские. А такими кирпичными и плиточными фабриками, как в Красноенисейске, застроена вся наша страна. Оливкового масла мы производим намного больше, чем Италия. И всё оно идёт туда, рафинируется и продаётся как итальянское... Но главное, ты прости, русские разучились работать. Ты видишь, как мы стараемся не потерять ни минуты на пустые разговоры, а ваши каждый час уходят на перекуры на пятнадцать минут и больше. У вас нет профсоюзов, люди не умеют постоять за себя: их грабят, не выдают зарплату, они голодают, а идут на работу, чтобы...

Он не закончил свой скучный трактат: объявили об окончании посадки, и мы поспешили с антресоли вниз—к накопителю. Там обнялись, я помог ему пройти через контроль, и—¡hasta la vista, matador!..

На обратном пути розовощёкому увальню Диме, дурно пахнущему после вчерашнего буха, вздумалось поехать от аэропорта не по обычной дороге, а через Зверосовхоз, где некогда выращивались норки и ангорские кролики, в обход поста ГАИ. Было солнечно и морозно—около минус пятнадцати, искристый снег покрывал хвою придорожной тайги. Дорога блестела, как стекло, от снежного наката. И немудрено, что на пологом подъёме после Зверосовхоза машину метнуло сначала вправо, а потом выкинуло на встречную полосу, а дальше—прыжок в кювет, и авто залегло отдохнуть на крышу, задрав в небо вращающиеся колёса. Нас осыпало осколками от крякнувшего ветрового стекла и стёкол дверок.

Сидеть в позе космонавта вверх ногами было неудобно, дверцы заклинило. Дима сначала не двигался, потом зашевелился и первым вылез наружу через проём от выбитого заднего стекла. Я, отгребая с пути битые стёкла руками в кожаных перчатках, последовал его примеру. Но по периметру ниши торчали острые клыки стёкол. Стало жаль новой кожаной куртки, пришлось выдрать осколки стекла из резинового уплотнения и выбросить их на пашню, припорошённую снегом. К машине подбежал пожилой мужчина от «москвича», припаркованного на обочине. Он помог мне выбраться на расчерченное мёрзлыми, подкрашенными снегом бороздами поле. Минут через пять, словно по заказу, на дороге показался трактор «Беларусь» с бульдозерным ножом и экскаваторным ковшом. За небольшой денежный куш—на пару бутылок—тракторист сноровисто зацепил нашу «ауди» за нужное место и поставил на колёса. Мотор завёлся с полуоборота

Мне показалось странным, что Дима не понял, как всё произошло. Несколько раз он расспрашивал меня о деталях ДТП. Потом до нас дошло, что при опрокидывании машины он крепко приложился непокрытой черепушкой к крыше и на какие-то мгновения выключился. А меня, возможно, спасла норковая шапка или то, что основной удар о землю пришёлся на сторону водителя.

Дня через два мне, уже безработному, позвонил Антонио из Картахены и сказал, что и он оказался не у дел и готовит бумаги в суд, чтобы получить деньги с обанкроченного «Ажемака» и встать на учёт в их агентстве по безработице. Мой рассказ о нашем кульбите на дороге его не взволновал, зато он умолял узнать все подробности об Ольге и позвонить ему.

Звонить и писать влюблённому матадору пришлось долго — семь лет.

На мои призывы приехать и повидаться он отговаривался тем, что у него обострилась старая производственная травма. О ней я знал с самого начала нашего знакомства. На то плечо, которое проткнул бычий рог, ему дважды, в разные годы, падало профильное железо — уголок или двутавр — и рвало и без того слабые после поцелуя с торо tendones сухожилия. Частенько Антонио было трудно поднять руку, и он мучился ночами от боли и бессонницы, когда не помогали ни успокаивающие, ни снотворные пилюли. И даже Ольга, бывало, жаловалась мне, что в такие ночи им было не до секса, оставалось только плакать от бессилья помочь ветерану-матадору.

Секретарша директора, немка Эмма, через меня порекомендовала ему лечиться иглоукалыванием и массажом у прошедшего обучение в Китае русского врача, и я два раза в неделю после работы возил его в некогда элитную — для номенклатуры — так называемую «лечкомиссию» на Маркса. А из Испании, после увольнения Антонио из «Ажемака», я года полтора получал от него письма с рассказами, как он лечился у себя на родине, называя врачей нехорошими словами: дерут бешеные деньги и ничем не помогают. Сложная операция поспособствовала снятию боли, но трудоспособность не вернула. И в конце концов, потратив свои сбережения на адвокатов и взятки чиновникам, через суд он сумел оформиться на инвалидность с получением пенсии, равной его среднемесячному заработку. Так что Антонио, по моей прикидке, хватило бы этих денег на приезд в Красноенисейск, к его русской жене, без особых материальных потуг. Покупка нового «фольксвагена» за шестнадцать тысяч евро — он сказал мне об этом по телефону — указывала на его принадлежность к среднему классу. Жена работала в кафе своего брата, сын и дочь тоже нашли своё место в этом неуютном мире: Марко-Антонио стал полицейским, а Вирхиния служила в авиации НАТО на Канарах. Антонио тоже нашёл себе занятие: разводил белых канареек, стал чемпионом Испании по этому виду хобби, и продажа потомства от чемпионских птичек давала какой-то доход.

А в нашей державе на следующий год после предсказания Антонио произошёл дефолт и, соответственно, всплеск инфляции, безработицы, преступности и задержек с выплатой пенсий и зарплат. У нас с Ниной накоплений никогда не было, поэтому приятной неожиданностью явилось письмо от Антонио с вложенной в него новенькой стодолларовой банкнотой. К письмам, адресованным нам, написанным каллиграфическим почерком, он неизменно прикладывал открытки или записки для Ольги. Она за ними ни разу не приезжала — просила прочесть их по телефону. В каждом послании, предназначенном ей, текст на испанском заканчивался фразой, написанной печатной, как дошкольником, кириллицей: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ОЛЬГА».

Только от Мигеля не было ни слуху ни духу. По просьбе Светланы, через Ольгу, я несколько раз пытался дозвониться до него; ответ получал один: такого телефонного номера не существует. Моё письмо вернулось из Гранады со штампом об отсутствии адресата по указанному адресу. После этого, по словам Ольги, сестра прокляла всех мужчин Вселенной, грубо отметает поклонников и всю себя отдаёт работе с детьми в школе и рисованию.

Через семь лет мне лично эта тягомотина с письмами и звонками изрядно наскучила. Нине за это время повезло устроиться пусть и не на лёгкую, но денежную работу. За три года она экстерном закончила один из московских университетов. А по контракту с фирмой могла поехать на отдых в любую точку земного шарика, прихватив в нагрузку и меня. Я промышлял переводами технической литературы и уроками английского языка на дому взрослым и детям. Так почему бы нам не махнуть в Испанию?..

Весной Антонио потратил время и семьдесят пять евро на оформление приглашения на меня и Нину. Летом со всем набором нужных бумаг я съездил на поезде в Москву — всего-то трое суток в плацкартном вагоне! — и сдал их по описи в испанское консульство. Зато осенью, двадцать четвёртого сентября, ровно в полночь, мы уже были в мадридском аэропорту, где безо всяких осмотров и досмотров нас встретил Антонио Аньон со своим двоюродным братом-пенсионером Николасом Гарсией, добродушным краснолицым толстячком, на его машине. Мы познакомились и сразу перешли на «ты».

После Шереметьево показалось диким, что и на полученные из самолёта два чемодана в багажном отделении с нас никто не спросил отрывных талонов. На пути и в обозримом пространстве — ни одного таможенника или полицейского. Неужели так же будет и в нашем полицейском отечестве через восемь лет?..

По ночному Мадриду Николас повёз нас по замысловатому сплетению освещённых дорог, как потом он помог разобраться, в спальный район столицы Гетафе, на улицу Педерналь. Здесь, в трёхэтажном особняке Николаса — первый занимал гараж на две машины, — нас ждали его жена Мария и испанская жена матадора Чепа.

О его русской жене Ольге он попросил меня, не стесняясь присутствия брата, рассказать по дороге к его испанской супруге.

Незадолго до отъезда из Красноенисейска с Ольгой и с Леной я встретился в их детсаду в Петровке. В белом оштукатуренном двухэтажном здании шёл ремонт с участием всего персонала, и мы укрылись в детской беседке в яблоневом саду. Женщины были одеты, как профессиональные малярши, в сатиновые шаровары и халаты в разводьях от белил.

Я пришёл не один, а с бутылкой вина, виноградом и конфетами в портфеле, поэтому беседа прошла живо, интересно, с шутками-прибаутками, воспоминаниями в основном сексуального плана. Ольга попросила меня донести матадору правду о переменах в её семейном положении: она вышла замуж за Бориса, программиста, живёт с ним в частном доме в той же Петровке. Мы с Ниной уже сталкивались с ними в супермаркете, и я описал матадору внешность Бориса: довольно высокий приветливый парень с густыми кудрявыми волосами, смуглый. Вполне бы сошёл за испанца. Но любит она по-прежнему только своего матадора. Из-за этого не всё у неё с Борисом ладится. Даша живёт в деревне, учится в школе, и тётя Светлана, учительница рисования и черчения, для неё — как вторая мама. Ольга постарела, носит короткую седую причёску — то ли от природы, то ли красится. Спросить было неудобно.

— Ольга просила передать тебе, Антонио, что ты был и остаёшься единственным мужчиной в её жизни.

Антонио сидел рядом с Николасом, и нам с заднего сидения не видно было его лица. Только по тому, как у него дрогнули плечи и он замер в молчании, Нина и я заключили, что он заплакал.

Из гаража с автоматически открывшимися перед машиной воротами мы прошли в дом. И потом — в освещённый патио площадью квадратов в шестьдесят. Этот внутренний дворик был застлан голубым кафелем и огорожен невысокой кирпичной стенкой, тоже покрытой расписной кафельной плиткой. Парапет поверху дополнялся кованой оградой с металлической сеткой, увитой виноградными лозами. Плафоны, встроенные в парапет, освещали патио спокойным ровным светом.

Мария и Чепа, одетые празднично, но в передниках, вежливо поздоровались с нами, мы обменялись поцелуями, стол был накрыт, и короткая ночная фиеста протекла в лёгком шутливом разговоре. Труднее всего приходилось одной Нине, и она, подогретая натуральным испанским вином, требовала от меня немедленного перевода болтовни наперебой говоривших родственников и моей тоже. Мне поневоле пришлось осадить нетерпение:

— Не могу же я говорить на двух языках сразу! Расскажу потом...

Из всех присутствующих меня больше всего занимала Чепа, испанская жена Антонио. Внешне она не выдерживала конкуренции с его русской «супругой». Ей, как и Антонио, было далеко за пятьдесят. Суетливая, маленькая, коричневое личико кругленькое, в морщинах, как у изработавшейся на сахарных плантациях кубинки. Но не прошло и десяти минут — и внешности Чепы как будто не стало: словно её некрасивость растворилась в её доброте, в улыбке, в быстрой речи, в блеске тёмных ласковых глаз. Подперев острый подбородок остренькими кулачками, она сканировала взором лица присутствующих, готовая, как птичка, вспорхнуть и броситься на помощь.

И в последующем она оставалась всегда такой же — в вечном движении, кротко улыбающейся даже на злую ругань, ворчание и капризы в основном недовольного всем и вся матадором. Наедине он жаловался мне, что жизнь его закончена: из-за травмы он не может заниматься любимой работой механика. Белые канарейки в клетках — это так, отдушина для ухода от тоски и безделья. А лучшее время для него было, когда он работал на Украине и в России. И большей любви, чем к Ольге, у него не было и не будет.

Конечно, в ту ночь мы о любви не говорили. Николас, по моей просьбе, рассказал о своей прошлой жизни довольно удачливого бизнесмена. Совсем недавно у него был небольшой цех, с современным оборудованием, дававший хорошую прибыль, с двадцатью или тридцатью рабочими, по производству деталей для двигателей по заказам автозаводов. С выходом на пенсию он продал свой бизнес, пополнив этим прежний банковский счёт, и теперь они с Марией живут на проценты с вклада, как рантье. Мария никогда не работала, воспитывала двух дочерей. Они получили университетское образование, замужем, у них хорошие мужья, престижная работа и счастливые дети. А его жена Мария и в свои семьдесят выглядела седовласой, с гладкой причёской и пышным узлом на затылке, красавицей-матроной из сериала о душещипательных и трагедийных коллизиях на какой-нибудь фазенде.

— Государственная пенсия у меня, как бизнесмена, маленькая — всего шестьсот евро. С такой пенсией нам бы с Марией пришлось туго. Но с банковскими процентами мы живём спокойно, — заключил Николас и поинтересовался моим соцобеспечением: — А у тебя какая пенсия?

— Примерно в десять раз меньше, чем у тебя.

— ¡No es pocible! — дружно воскликнула испанская сторона. — Не может быть!

— ¡Como veis, ceñoras y ceñores, en nuestro país todo es pocible! — возразил я. — Как видите, дамы и господа, в нашей стране всё возможно! Мы на такую пенсию ещё и за границу ездим.

— Не слушайте его! — закричал Антонио. — Он большой шутник. Деньги зарабатывает Нина.

— Антонио прав, — успокоил я испанцев. — Перед уходом на пенсию я специально женился на молодой и теперь живу припеваючи.

Проснулись мы ближе к полудню, позавтракали за столом в патио молочным и фруктами. И Николас с Антонио повезли нас в печально известное место в окрестностях Мадрида — в Долину Павших, с мемориальным комплексом, построенным по приказу Франко за шестнадцать лет политическими заключёнными в сороковых годах прошлого века как памятник всем погибшим в гражданской войне и символ примирения. За время строительства к сорока тысячам похороненных здесь солдат добавились тысячи безымянных, умерших от голода, болезней и непосильного труда зэков, признанных военнопленными. В необъятной по площади и высоте прямоугольной базилике, высеченной в базальтовой горе вручную, мы потоптались на имени Франко, похороненного под гранитным отполированным полом. Послушали мессу, снимались, невзирая на запретительные таблички на стенах, на фотоаппараты и нашу видеокамеру внутри. К железобетонному католическому кресту высотой сто тридцать пять метров подниматься не стали. Солнце так раскалило обширную площадь перед храмом, что мы, сфотографировавшись в обнимку с двумя полицейскими, поспешили уехать отсюда ещё за тринадцать километров — в Эскуриал, гранитный монастырь-дворец, бывшую резиденцию испанских королей.

По дороге туда и обратно Антонио то и дело обращал наше внимание на пастбища боевых быков за оградами из дикого камня — они мирно бродили под деревьями, чёрные и совсем не страшные. Но больше всего он расспрашивал нас об Ольге, желая узнать о ней мельчайшие детали, хотя чего-то нового добавить мы не могли. В своих письмах я ему писал всё, что удавалось узнать про неё, называя её, по договорённости с Антонио, в письмах и по телефону несуществующим в обоих языках мужским именем Olgo, а не Olga. (В испанском языке, как и в русском, существительные, местоимения и прилагательные обладают родом.)

Весь следующий день, уже с Антонио за рулём его серебристого «фольксвагена», мы вчетвером почти шестьсот километров мчались по неправдоподобно широкой платной «карретере», сделав двухчасовую остановку в оружейной кузнице Испании — городе-крепости Толедо на реке Тахо. Я увидел только клочок её излучины под крутым обрывом из окошка машины. На то, чтобы посетить знаменитый Дом-музей Эль Греко, обогатиться воспоминаниями об остатках римского цирка, акведука, фортификаций, времени не было. Для тореадора Антонио Толедо имел единственную достопримечательность — здесь производились все атрибуты корриды.

Загнав машину на платную подземную стоянку, мы оставили Антонио и Чепу под тентом кафе и прогулялись по забитой туристами улочке с множеством лавчонок. Купили сувениры — две шпаги и ещё какую-то мелочь, на ходу перекусили сэндвичами. Вернулись к чете испанцев и продолжили автопробег по степному и холмистому плоскогорью Месеты с декоративно выглядевшими на голубом горизонте синими пиками Кордильер или Сьерра-Морены — разобраться мне, жителю отрогов Саян, было не под силу. Здесь каждый клочок земли был ухожен, обжит, оливковые рощи на холмах росли скучными ровными рядами. Такими же казались и ровно постриженные, как новобранцы, виноградные плантации с неправдоподобно низкими кустами кислых винных ягод. И мне стало понятно, почему испанцы восхищались сибирской природой — на мой привычный взгляд, и не такой уж дикой вокруг города, но полной сочной таёжной зелени, лесистых сопок, просторных полей и полноводного Енисея. Короткий, в полсотни километров, отрезок пути от порта и курорта Аликанте, окружённого виноградниками и цитрусовыми рощами, до Картахены пришёлся на морское побережье, так что глаза отдыхали на зелёном плодородии и предвечерне грустной водной глади.

Не было и обещанной когда-то шумной фиесты с многочисленной роднёй и друзьями — ни по случаю нашего приезда, ни по ходу визита, ни при расставании. Нам отвели тесную комнатку на втором этаже с окном на узкую улочку. По ней всю ночь бешено носились ревущие мотоциклы орущих во всё горло байкеров, добавляя к ночной духоте удушливый запах отработанного бензина и масла.

Дом Антонио на нас особого впечатления не произвёл: в самом миллионном Красноенисейске и в пригородных посёлках вокруг него нувориши-бизнесмены и взяточники из чиновной братии настроили особняки много круче его, уже устаревшего, с тесными комнатами. К тому же вторая часть дома принадлежала вдове полковника, ветерана Голубой дивизии, посланной каудильо Франко в Россию, на помощь Гитлеру на Восточном фронте, где она почти полностью полегла на заснеженных полях моей родины — в боях и от голода и мороза. Полковник уцелел. И потом лет пятьдесят за перенесённый страх и страдания получал богатую пенсию. После смерти мужа государство полностью продолжало платить полковничью пенсию вдове.

А я подумал о Нинином отце, моём тесте Павле Михайловиче Куприенко. Тридцатого декабря сорок первого в атаке под Москвой он был тяжело ранен в ногу и в живот, едва не замёрз в снегу, выжил и нищенствовал с шестью детьми до своей смерти в октябре девяносто пятого. Хорошо, что я заработал денег, работая переводчиком с американцами на ядерном комбинате в Ангарске. А то бы родным похоронить и помянуть солдата-ветерана было не на что. Или как моей матери, ставшей инвалидом в сорок третьем году на строительстве ткацкой фабрики, эвакуированной с запада, — за инвалидность государство вообще не платило, а за погибшего сына — жалких пятнадцать рублей. И кто же выиграл в той войне? Голубая дивизия или наша непобедимая и легендарная Красная армия?..

Я поинтересовался, отчего отдал концы девяностолетний герой Второй мировой. Антонио помедлил с ответом и выдал грустный диагноз, связанный с последствиями старческого склероза:
— Ha olvidado respirar. (Он забыл дышать.)

Из четверых родных братьев Антонио нам довелось увидеть случайно лишь одного из них, Давида, — он зашёл попросить у своего старшего брата столярный инструмент для ремонта двери в своём особняке. Давид был совершенно не похож на Антонио ни лицом, ни телом, ни темпераментом. Одетый во всё белое высокий мужчина под пятьдесят, по-военному стройный, с благородным матовым лицом, густыми, совершенно седыми волосами. Говорит неторопливо, с осознанием своей значимости, как будто постоянно заботясь о сохранении личного достоинства.

Антонио оставил меня наедине с ним в патио. Давид непрерывно курил «Мальборо» и рассказывал о себе. Два года назад он по возрасту ушёл в отставку в звании капитана второго ранга — capitán de fragata. Плавал на боевых кораблях НАТО по морям и океанам, а теперь даёт частные уроки английского на дому. Последнее обстоятельство сроднило меня, списанного в утиль пехотного лейтенанта, с морским волком.
— И сколько же вам платят за урок? — задал я на английском типично русский вопрос.
— Двадцать евро за сорок минут, — немного озадаченно сказал капитан фрегата. — А вы тоже даёте уроки?
— Даю. За два евро в час, — печально поделился я информацией с иностранным конкурентом.

А про себя прикинул: расклад предельно справедливый! Ведь и зарплата у испанцев раз в двадцать выше российской.

После ухода брата Антонио отозвался о нём нелицеприятно: жена у него стерва, изменяла ему, пока он бороздил океанские просторы на натовском фрегате. Антонио предупредил гулящую, что заложит её Давиду, и автоматически превратился в лютого врага, хотя ради двух детей и удержался от неприятного доклада. В результате Давид стал подкаблучником, и семьями они никогда не встречаются. Как и с другим братом, занятым разведением лошадей особой породы на ферме близ Картахены для рехонеадоров — конных тореадоров, выезжающих на арену на бой с быками с деревянными копьями. Белого жеребца, подаренного братом дочери Антонио, Вирхинии, по случаю её совершеннолетия, содержал в персональной конюшне с выгоном вблизи от своего дома и показал его почему-то только Нине. Пока девушка жила с родителями, конь служил ей забавой для выезда и скачек с подругами, а теперь, когда она стала оператором наземной службы натовской авиации на Канарах, сивый Росинант ушёл на покой, как воспетый поэтом конь вещего Олега.

По её рассказу, он и Чепа, пока я был занят чтением, сначала повезли её в магазин зеленщика на своём «фольксвагене» с прицепом. По пятницам лавка проводила оптовую распродажу по бросовым ценам всех овощей и фруктов, потому что срок их хранения в магазине определён законом не более двух суток. Полный прицеп с совершенно свежими по виду укропом, петрушкой, сельдереем, огурцами, редисом, капустой, свёклой, морковью, яблоками, грушами и цитрусовыми доставили на недельное пропитание сивому бездельнику. Там баловня жеребячьей судьбы, лоснящегося упитанным корпусом, шелковистой серо-сизой гривой и хвостом, Чепа поскребла разными щётками. Потом опрыскала раствором от мух и мошки, накормила зеленью, овощами и фруктами, напоила, поводила по загону и отвела на покой в сарай с кондиционером. Живут же кони!..

Да и вообще, по признанию Антонио, Николас давно стал ему ближе всех родных братьев. Особенно после недавней смерти отца после операции на простате.

В целом же первоначальная радость встречи с нами вскоре переросла у Антонио в явное безразличие к сибирским гостям. Неужели он был в претензии к нам, что мы не прихватили с собой его русскую супругу?..

Под всякими предлогами он исчезал куда-то. Утром, ещё до нашего пробуждения, уходил к стеллажам с автоматизированными клетками канареек в его обширный, с кабинетом, компьютером и кондиционером, гараж. Уезжал в город Мурсию — там готовился очередной чемпионат канареечников со всей Испании, и он чем-то помогал оргкомитету. То исчезал на какие-то встречи с местными друзьями-канареечниками. Он даже родной город, Картахену, нам путём не показал. А на морской пляж нас свозила на полтора часа всего раз на его машине Чепа, захватив с собой пятилетнюю избалованную плаксивую племянницу. Девчонка закатила на воде и на суше такой концерт, что мы были не рады своему первому купанию в средиземноморской воде, подсоленной её истеричными слезами.

На мой телефонный вопрос из Красноенисейска, что бы он хотел особенного в качестве regalo—подарка, Антонио попросил карманные часы с советской символикой мвд или кгб, а для Чепы—русских напёрстков в её коллекцию. Как искусная швея, она их собирала давно. От вида напёрстков советского производства, похожих на пупырчатые цинковые вёдра, Чепа пришла сначала в ужас, а потом в детский восторг. Не без труда я нашёл ментовские и гэбэшные часы на распродаже, подарил Антонио. А через пару дней он спросил нас с Ниной, можно ли их отдать знакомому коллекционеру-электрику.

—Часы твои, делай с ними что хочешь,—не без горького осадка на душе сказал я.

Антонио позвонил, и мы встретились с мордатым мужиком в синем комбинезоне. Он подскочил на мотоцикле к развлекательному центру для пенсионеров, с благодарностью принял подарок, предназначенный не ему, вернулся домой и вручил мне ответный дар—сделанный им самим деревянный домик. И совсем по-русски предложил нам обмыть это дело в компании с другими пенсионерами в баре.

Так я случайно узнал, что подобные развлекательные центры существуют по всей стране, чтобы старики не скучали, собирались по интересам—почитать свежие газеты, посмотреть телевизор, поиграть в шахматы, пропустить бутылку пива или чашку кофе, почесать языки. Что-то вроде детской площадки для пенсионеров. Чудно́, не правда ли?..

На третий день нашего пребывания в Картахене мы вчетвером съездили в Мурсию на канареечный конкурс. Он прошёл в просторном, специально для этого мероприятия отремонтированном подвале уже мурсийского развлекательного центра пенсионеров. Не знаю, как тысячи разноцветных канареек в клетках, расставленных на стеллажах, а Нина и я страдали от запаха краски с примесью птичьих экскрементов и духоты.

На конкурсе присутствовали губернатор провинции и мэр Мурсии, президент испанской ассоциации любителей канареек, участники и приглашённые. И мы с Ниной—как единственные иностранные представители. За щедрым фуршетом с шампанским, коньяком и фруктами Антонио представил Нину и меня высокому начальству, и мэр пригласил нас ближе к полночи в ayuntamiento—здание мэрии, в свой кабинет. Там Нина, хотите—верьте, хотите—нет, сфотала меня, уже поддатого и в меру нахального, в кресле за письменным столом самого alcalde—городского головы—с его благосклонного согласия. В родном городе я такой чести не удостаивался—может, потому, что у нас пока не допёрли проводить чемпионаты любителей воробьёв, ворон или голубей с синицами. Хотя на улицах, украшенных двумя сотнями живых и дохлых фонтанов, уже и пальмы растут, и слоны с жирафами застыли, как символы нового времени или свидетели пира во время чумы.

Утром следующего дня Антонио за завтраком объявил, что у Чепы сегодня выходной и мы вчетвером скатаем за тридцать километров от Картахены, в курортный городок Ла Манга,—посетим chalet—дачный домик Николаса, сейчас свободный от жильцов.

Ла Мангу (в переводе на русский—«кишка», «рукав», «шланг»), на мой неавторитетный взгляд, можно было бы отнести к неизвестно какому по счёту чуду света. По лукавому капризу природы со дна морского появилась эта песчано-каменистая «кишка» шириной до сотни метров, опоясав часть водного пространства и создав огромное озеро, сообщающееся с морем узким проливом. И на этой суше, закованной в бетон, выросли грибы многоэтажных отелей, санаториев, ресторанов, жилых и дачных домов. В том числе—и встроенное как отдельная секция в длинное белое трёхэтажное здание кондоминиума гнёздышко пенсионеров Николаса и Марии Андионов. На первом этаже—гараж, на втором—гостиная, кухня, винный погребок, на третьем—ванная комната и две спальни. Всё за изящной бетонной оградой с небольшим патио с цветочной клумбой и пышным банановым кустом сдаётся под централизованную охрану. Семья Антонио пользуется этими благами наравне с семьёй Андионов.

Низко кланяюсь Западу: существуют же несказанные королевства, где нет проблем ни с дураками, ни с дорогами!.. Как же за это не выпить коньячку и отборного вина из скромного—всего-то бутылок двести!—погребка Николаса. Антонио возложил на Чепу управление машиной в обратном направлении и пил и закусывал наравне с русскими гостями.

От купания картахенцы отказались—уже сентябрь, холодно! Хотя электронное табло на пляжной вышке показывало температуру воздуха двадцать восемь, а воды—двадцать два градуса.

Напомнил Антонио, как он закалялся в ледяной енисейской воде, но отставной матадор-механик грустно потёр ладонью раненое плечо и махнул рукой:

— ¡Soy viejo! (Я старик!) Мне уже и не верится, что я был способен на такое.

А мы с Ниной дурачились: сначала поплескались в спокойном морском озере, образованном намытой косой, перебежали на другую сторону косы и бросились с низкого бетонного мола навстречу пенным, сердитым и холодным с виду волнам открытого, уходящего к туманному горизонту моря. И обнимались, и целовались, словно новобрачные, и смеялись, когда вода сбивала нас с ног и то бросала, то уносила от берега.

Вечером в Картахене, за ужином в патио с участием сына хозяев, полицейского Марко-Антонио, и его подружки Аниты, продавщицы английского супермаркета, приехавшей к нему на ночь, я сказал, что завтра мы намерены отправиться в путешествие по Испании.

Искренне огорчилась этому известию, по-моему, только Чепа — она подбежала к Нине со слезами и стала её целовать. В печке, выложенной и отделанной кафелем в дворике самим Антонио, для приготовления мясных блюд пылал огонь, освещая эту трогательную сцену прощания подруг, проникшихся любовью друг к другу без слов — только на сходстве добрых и бесхитростных характеров.

Антонио немного удивился столь неожиданному пассажу. Скорее всего, тому, откуда у нас взялись деньги на дорогое удовольствие — дорогу, отели, питание. Здесь мы практически находились на полном обеспечении. Завтракали из холодильника хозяев, когда их не было дома, включая хамон — вяленую говядину, ценой, в переводе на наши неконвертируемые, около полутора тысяч рэ за килограмм. Обедали вместе с Антонио в кафе Чепиного брата, где она с пяти утра до шести вечера работала на кухне и стряпухой, и уборщицей.

Простой ужин превратился в прощальную вечерю — с возлияниями, с мясными, рыбными и фруктовыми блюдами, с музыкой и танцами. Я сказал двадцатидвухлетнему рядовому полицейскому Марко-Антонио, что наш сын Иван тоже полицейский, капитан по званию.

— Он, наверное, имеет хорошую зарплату? — проникся заметно подпивший Марко уважением к русскому коллеге. — Я получаю тысячу двести евро в месяц. И вдвое больше за каждый час переработки.

— А наш сын получает примерно двести евро в месяц и ноль за переработки. Как правило, он работает по двенадцать часов в сутки, а часто в выходные дни и в праздники.

— Почему он не обращается в суд? Пусть заплатят!

Что я мог ответить на этот, может, и не совсем глупый вопрос? Сказал наугад:

— Он подписал контракт на ненормированный рабочий день. А если вздумает обратиться в суд — его уволят с работы.

— No lo comprendo (Я этого не понимаю), — пожал плечами молодой законник. — В следующем году я добровольно поеду на два года служить на север — в Басконию. И буду получать вдвое больше — там служить опасно. Вы, наверное, слышали о баскских террористах?.. У меня есть в Картахене квартира, а теперь хочу построить отдельный дом рядом с родителями — землю под него мы уже купили... Там пока живёт наш конь.

Утром Антонио отвёз нас с чемоданами в туристическое агентство. У перекрашенной в золотистую блондинку темнолицей испанки, готовой сплясать и спеть перед нами, принятыми ею, по-видимому, за крутых представителей русской мафии, сегидилью, мы спалили полторы тысячи евро на покупку тревелерс-чеков европейской гостиничной сети «Bank Hotel». После чего попросили заказать по телефону комнату в гостинице в Севилье. Антонио подбросил нас до автобусной станции, и мы, обнявшись и расцеловавшись, с лёгким сердцем отпустили его кормить и чистить пёрышки чемпионкам Испании — блондинкам-канарейкам.

Ещё вчера, пока Чепа с Анитой убирали со стола в патио посуду и таскали её в дом, к посудомоечной машине, он, подогретый коньяком, говорил мне и Нине о своей неумирающей любви к русской жене и духарился, как индюк, выражая готовность полететь с нами в Сибирь. А сегодня даже забыл передать ей привет. И тем более подарок. Я к этому отнёсся спокойно. Нину, очень ранимую к переменам в межчеловеческих отношениях, столь резкий перепад в чувствах матадора сильно расстроил. Она сказала, что купит испанский веер, и я вручу его Ольге от имени Антонио.

Грустно жить на этом свете, господа!.. Недаром же пессимисты любовь ассоциируют с болезнью, обманом и сном. А какой-то остряк подытожил, что любовь ни приходит, ни уходит — она проходит...

Впрочем, утешал я себя, Антонио не забывал свою Ольгу. В полуподвальной бодеге — подобии винного погреба или кладовки — в его доме он показал нам уголок матадора. Скрещенные шпаги на стене, эскудо Картахены, под ними на плечиках — усыпанный бисером и золотым шитьём костюм тореадора, мастерски сшитый Чепой. И на этой же стене — портрет маслом Ольги в белом платье дамы девятнадцатого века, в шляпе с пером, написанный её сестрой. К сожалению, весьма отдалённо похожий на натуру.

Чепа в тонкостях живописи не разбиралась. На семнадцатилетней крестьянской девчушке Антонио женился из жалости — как он рассказывал нам с Ниной за ужином в патио при ней же, — когда она батрачила подёнщицей на сахарных плантациях и имела единственное выходное ситцевое платьице. Доверчивая и добрая, словно niña — девочка, Чепа не подвергла сомнению лажу обожаемого супруга, что он, мол, купил картину дамы со страусиным пером по дешёвке в русском антикварном магазине.

А теперь — кто знает: может, фалангист-коммунист втайне молится на образ красноенисейской «графини», как на икону…

В Севилье мы заселились в четырёхзвёздочную гостинцу вечером и никуда не пошли — устали с дороги. Легко поужинали внизу, в ресторане, со «снотворным» — бутылкой белого сухого вина. А утром купили билеты на прогулочный двухэтажный автобус, и с его верхней палубы Нина запечатлела на видеокамеру многие достопримечательности южно-испанского чудо-города. Именно отсюда, из столицы Андалусии, напомню, по реке Гвадалквивир Cristobal Colón — Христофор Колумб, говоря по-русски, — отправился не в ту сторону через Атлантический океан. Адмирал искал кратчайший путь в Индию, а приплыл в Америку на трёх каравеллах — «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья» — за пять с лишним веков до моего с Ниной открытия Испании в целом и Севильи в частности. Наша любовь, стирая границы, разлилась по суше, небу и океану от сибирского Красноенисейска до Иберийского полуострова.

И вот мы уже плывём путём Кристобаля Колона по Гвадалквивиру на прогулочной яхте, дивясь конструкциям однопролётных мостов над чистой голубой водой, в компании с туристами из разных стран. Веду спокойную беседу на английском на военные темы со случайным соседом — рыжим бородатым немцем из Гамбурга или Лейпцига. Его дед погиб в сорок втором году прошлого века в Сталинграде — то ли убитым, то ли голодным и замёрзшим, месяца на три раньше гибели моего старшего брата Кирилла, убитого в марте сорок третьего под Орлом. Ни немец, ни я не знаем, где их могилы. Да и есть ли они?.. Разве стены и бастионы севильского мавританского замка Алькасар помнят имена убиенных при его осаде мусульман и христиан?..

Не искупаться в легендарном Гвадалквивире было бы непростительно! Как, скажем, быть недалеко от этих мест, на Иордане, и не окунуться в реке, где, отрекаясь от ортодоксального иудаизма, приобщались к христианству Иоанн Креститель, Иисус Христос, их ученики и сознательные граждане Израиля.

После высадки с яхты мы отыскали укромное местечко, прикрытое высокими зарослями, с каменными ступенями, уходящими в прозрачную, напитанную солнцем воду, и, презрев запретительную табличку «prohibido banarse» — «купаться запрещено», разделись и поплескались в тёплой воде. От сдержанного смеха Нины, наших объятий и поцелуев любовь и счастье заполнили всю Вселенную. После купания мокрое исподнее пришлось положить в пластиковый пакет, прикрыв наготу верхним платьем. Гвадалквивир, пусть и ненадолго, превратил нас в шаловливых ребятишек, возвращающихся со знойного пляжа и готовых к нагоняю от всезнающих родителей.

На другой день, не дожидаясь контрольного полуденного часа, мы сдали номер и на такси доехали до автовокзала. Подивились его чистоте, простору, грузовым лифтам, широким лестницам, безлюдью и отправились в столицу «Гренадской волости» — в Гранаду. Ещё в Сибири мы запланировали своим появлением из забытья преподнести приятный сюрприз великому мачо-соблазнителю Мигелю Пересу.

Узнав, что Мигель не только Светлане, но и нам оставил фальшивые адрес и телефоны, Антонио не поскупился на самые отборные «комплименты» в адрес долбаного козла и бывшего коллеги по «Ажемаку». После чего отыскал достоверные номера телефонов Мигеля — домашнего и мобильного, и мы впечатали их в светлую память наших сотиков.

Запоздалое предупреждение: за проезд на такси во всей Испании водители дерут с иностранных лохов так же беспощадно, как в Москве или Красноенисейске. За каких-нибудь десять минут езды от гранадского автовокзала до заказанного мной вчера по телефону из севильской гостиницы отеля пришлось выложить вежливому неразговорчивому водиле двадцать евро. Потом Нина заплатила обязательные чаевые пожилому плешивому портье в голубой униформе за доставку чемоданов в номер на четвёртом этаже. Приоткрыл дверцу в мини-баре — и отшатнулся, как от взрывной волны: стограммовый флакончик рома стоит столько же, сколько нормальная бутылка в супермаркете. Сплошная обдираловка!..

Зато от вида из окна отеля у нас захватывало дух: обширная часть города со старыми и новыми зданиями вызывала восхищение, не говоря уже о том, что находилось дальше — покрытые сверкающим снегом вершины Сьерра-Невады. Вот куда любил Мигель выезжать летом всей семьёй, подняться на фуникулёре или канатке и по пояс голым, как он мне показывал на снимке, кататься на лыжах. Да и до пляжей на Средиземном море отсюда было рукой подать — всего семьдесят километров на авто по многополосной карретере.

После душа я позвонил Мигелю и услышал ласковый грудной голос, чем-то похожий на голос Чепы:

— ¡Oigo! Buenos días. (Слушаю! Добрый день.) Кто говорит?

Я поздоровался, представился сибирским амиго Мигеля, спросил, дома ли он.

— Он безработный, поэтому всегда дома, — с милой беспечностью, как приятную новость, сообщила женщина. И тут же рявкнула так, что я отдёрнул трубку от уха: — ¡Miguel, al teléfono!

Не сказать, что Мигель был поражён нашим появлением из российского небытия: на бурные всплески эмоций он вообще не был способен. И всё же радость явно вырывалась из его груди или её холмистого продолжения. Это подтвердилось хотя бы тем, что он выразил желание немедленно приехать к нам. В связи с этим нам пришлось поступиться принципом неприкасаемости к минибару и достать из него выпивку и закуску.

Я спустился в просторное прохладное фойе под стеклянной крышей и подождал приезда бывшего клиента, сидя в кресле и листая глянцевые журналы, разбросанные по ореховой поверхности столика. Он появился в дверях и двинулся ко мне с раскинутыми, как на распятии, руками — такой же упитанный, животастый, с поседевшей бородой, длинными с проседью волосами и солнечной белозубой улыбкой. Мы обнялись, присели в кресла, и он сразу заявил, что заскочил на минутку, чтобы пригласить нас на завтрашний обед к двум часам дня. А сейчас должен поехать к старшему сыну — помочь чем-то, как электрик, в его бизнесе. На это у него уйма времени: пока что он уже несколько месяцев получает пособие по безработице в ожидании выгодных приглашений на работу.
— Так ты что, и Нину не хочешь увидеть? — устыдил я трудолюбивого мачо. — Она ждёт тебя, как бога. Тебе привет от Антонио. Он прислал нам приглашение. Мы прилетели из Москвы, он встретил нас, вместе с женой Чепой, в Мадриде. Мы прожили у него четыре дня в Картахене. Это он дал нам твои телефоны и адрес. В Гранаду мы приехали из Севильи специально, чтобы повидаться с тобой, мачо! Привет тебе от Ольги. А от Светы — привет особый: она тебя по-прежнему любит и ждёт.

Интересно было наблюдать, как менялось лицо granadino: при упоминании имени матадора оно помрачнело, как от удара под рёбра, а звучание русских женских имён, словно мелодия любви, вызвало на его добром бородатом лице белозубоблаженную улыбку.

Мои слова растопили его сердце. Мы пошли к лифту и поднялись в номер.

Встреча Мигеля и Нины была не менее трогательной, чем разлучённых временем и государственными границами брата и сестры. При виде налитых рюмок мачо застыл, поморгал в нерешительности, и на этом его душевные колебания, к счастью, закончились: мы выпили, закусили лимоном, шоколадом и чашкой кофе.
— Вы простили меня, что я вас обманул с телефоном и адресом? — созрел для покаяния наш гость. — Жена у меня очень ревнивая…
— А у кого они другие? — успокоил я Мигеля. — Главное — мы встретились, и завтра за обедом расскажу ей обо всех твоих подвигах не как интриган или сплетник, а как честный человек. Если буду неточен — ты меня поправишь.

Он слушал и смотрел на меня ошалело; потом, когда до него дошло, рассмеялся.
— Что ты нам посоветуешь посетить здесь в первую очередь? — спросила Нина, продемонстрировав этим вопросом недоверие к разработанной мной ещё в России культурной программе.

И тут же получила от Мигеля подтверждение правильности моего выбора:
— Конечно, Альгамбру! Её называют одним из семи чудес света. Поезжайте туда с утра. Когда вернётесь в отель — позвоните, и я за вами приеду… Подойдите к окну, я вам покажу свой дом. Вон там — слева, ближе к горам.
— Так отсюда до вас легче долететь, чем доехать, — сказала Нина

Об Альгамбре я был наслышан ещё в советские времена. Этим дворцом-замком — одним из семи чудес этого света — восхищалась Дина, кандидат искусствоведения, жена моего друга со студенческих лет Диаса Валеева. Он стал знаменитым казанским писателем, философом и религиозным мыслителем. А Дина — ещё в советские времена, кажется, вскоре после смерти Франко, — побывала с группой искусствоведов в Испании по программе культурного обмена. В Красноенисейской научной библиотеке нашёлся красочный проспект Альгамбры, так что Нина и я подготовились к посещению резиденции сначала арабских султанов, а потом — испанских владык ещё у себя дома. Но то, что мы увидели в натуре в течение трёхчасовой экскурсии, ни в сказке сказать, ни пером описать! Как, например, Московский Кремль или петербургские дворцы с их парками.

Съездите — посмотрите, теперь с этим просто. Конечно, если найдутся дурные деньги, нет долгов, уплачены все налоги и штрафы. И вас не успели прихлопнуть колпаком российских или международных правоохранительных органов.

А мы вот после посещения Альгамбры оказались в особняке семейства сеньора Мигеля Просперо Ларго. Поскольку до этого нам не попадался проспект или буклет на его владения, удивление наше превзошло впечатление от седьмого чуда света. Многодетные супруги — безработный техник-электрик и его никогда не работавшая, а только исправно рожавшая мальчиков и девочек жена Илария — жили ничуть не хуже того же Антонио. Во всяком случае, их просторный дом пришёлся нам больше по душе, чем hogar — домашний очаг — Антонио и даже Николаса. Наверное, он был старее и поэтому напоминал особняки испанских грандов, какие доводилось видеть в телесериалах и на картинах. Да и обставлен он был с тонким художественным вкусом: ковры, гобелены, люстры, портреты родственников и хозяев — Мигеля и Иларии — в золочёных рамах подобраны как бы в одном, «гранадском», стиле. Мигель, не без гордости за супругу, обратил на несколько шикарных макраме, выполненных Иларией. Даже кованые перила лестницы на верхний этаж нас восхитили своим изяществом. И повсюду — неужели, торкнуло в сердце, в честь русских гостей? — амфоры со свежими цветами. И аромат во всём доме необычный — как во фруктовом саду.

Да и стол в столовой на втором этаже был сервирован, на мой дилетантский взгляд, старинным фарфором, хрусталём и фамильным серебром, а со стен на нас смотрели благородные старики — родители Иларии и Мигеля. Кроме взрослых, за столом чинно восседали, заткнув накрахмаленные салфетки за воротники, двенадцатилетняя Дульсе и десятилетний Альваро, вежливые, излучающие доброту и ненавязчивое любопытство дети, похожие на своих родителей.

Их, как сказала нам Илария, она каждое утро отвозила в гимназию, а после занятий забирала домой на машине — «мерседесе», купленном Мигелем в Германии десять лет назад и пригнанном через всю Францию в Гранаду. Тёмно-синий седан по форме напоминал наши «Жигули», не имел кондиционера, и мы по дороге из гостиницы до дома Мигеля покупались в собственном поту. А он убеждённо говорил, что не променяет свой «мерс» ни на какую другую тачку в мире: за десять лет он не поменял на нём ни единой детали, кроме резины. Так же, подумалось мне потом, он не поменяет и свою Иларию на другую женщину. Разве что по случаю, как получилось у него с Полиной и Светланой в России, — на кратковременный прокат.

А Илария мне и Нине понравилась, как и Чепа, с первых минут нашего знакомства. Ничего похожего на ту ревнивую стерву, какой её живописал мне Антонио, — высокомерную, постоянно унижающую мужа и бесцеремонную с окружающими. Что касается роста, то высокой она была — где-то на уровне моей Нины, но пониже нас с Мигелем. Крепкая, хорошо сложённая мать четверых детей с крупными, вполне правильными чертами продолговатого лица, она выглядела на свой возраст — за сорок пять. Одета в серое лёгкое платье с поясом и довольно глубоким разрезом, но ничего вульгарного — ни в словах, ни в одежде, ни в манерах. По какому-то её упоминанию из Чехова или Тургенева подумалось, что она получила хорошее воспитание и образование. И пила только сок, даже вина не пригубила.

Из того, чем нас угощали, помню виски, белое и красное сухое вино, фрукты, виноград, дыню и арбуз. А кофе с коньяком пили, сидя в качалках на просторном балконе с видом на неправдоподобно близкие, сверкающие под щедрым солнцем снежные вершины Сьерра-Невады. Вспоминали Красноенисейск, его красоты и некоторые эпизоды семилетней давности. И здесь я, как бы между прочим, вставил домашнюю заготовку: вот, мол, теперь понимаю, почему Мигель, не в пример некоторым моим испанским клиентам, сохранял верность своей прекрасной супруге.

Признаться, мне стало искренне стыдно за свою грубую лесть и ложь, когда Илария и Мигель обласкали меня благодарными взглядами, как небесного посланника. Нина подтолкнула меня локотком в бок и вопросительно глядела на меня, ожидая перевода, но я промолчал, дабы не подрывать свой имидж правдолюба. Зато потом Мигель мурлыкал и тёрся около меня, как шкодливый кот, избежавший справедливого возмездия за давние грехи, не имеющие в сознании ревнивой жены срока давности.

В завершение чаепития он спросил, не пожелаем ли мы покататься по вечерней Гранаде с населением в четверть миллиона, как наш Благовещенск на Амуре с его скромным краеведческим музеем, только более известной миру. И не одной Альгамброй, но и Музеем изобразительных искусств, церковью Сан Хуан де лос Рейес, мавританской колокольней, остатками арабских укреплений, старинным университетом. Показал он нам и аюнтамьенто — муниципальный совет — со своим комментарием:

— Здесь обитают главные воры нашего города.

Какое приятное сходство с моим Отечеством!..

Жаль, что гранадские достопримечательности мы увидели мельком, в окна Мигелева жаркого, как красноенисейская сауна, «мерса».

Остановились на платной стоянке перед супермаркетом, и Мигель и Илария попросили нас проследовать за ними, посоветовав ничего ценного не оставлять в машине.

Залитый голубым светом неоновых ламп супермаркет нас не удивил своими размерами и богатством товаров. Такие же гектары торговых площадей в переоборудованных под торговлю цехах бывших секретных заводов успели возникнуть и в Красноенисейске. Поразили цены на продуктовые товары, здесь более низкие, чем в Сибири, где зарплаты и пенсии были раз в двадцать ниже гранадских. При взгляде на ценники в евро сердце наполнялось неизбывной печалью: долгий же и многотрудный путь предстоит дорогим россиянам от развитого социализма до рая развитого капитализма!..

А на выходе из магазина гостеприимные granadinos вдруг буквально всучили нам крупногабаритный подарок в картонной упаковке — CD-проигрыватель испанского производства. Как мы ни убеждали Мигеля и Иларию вернуть товар, ссылаясь на то, как трудно будет поместить в чемодан и довезти нежную электронную штуковину в целости до Красноенисейска, они убедили нас принять сей дар бесценный стоимостью в девяносто евро.

И снова, второй раз за этот день, мы увидели Альгамбру не изнутри, а со стороны.

Мигель привёз нас за город, в какой-то странный посёлок, похожий на мусульманский кишлак с саклями за заборами из дикого камня по сторонам кривых улочек, где встречные машины не смогли бы разъехаться. Оставив «мерс» в каком-то отстойнике, мы пешком дошли до тротуара, отгороженного каменным парапетом от глубокого, заросшего кустами и кривыми деревьями оврага. Отсюда открывалась панорама на весь комплекс Альгамбры с её дворцами и садами под бирюзовым вечерним небом, расцвеченный электрическими фонарями. Мигель роздал бокалы, и мы выпили за наши будущие встречи в России и Испании.

А на следующий день он приехал к нам в отель один к десяти часам, мы сдали номер, погрузили чемоданы в его «мерс», и он повёз нас в кафедральный собор на улице Карсель. А при входе в собор с тремя триумфальными арками признался, что в соборе и сам он был всего один раз, лет пятнадцать назад. Мы попали в собор через парадный вход со звучным названием «Perdon»— «прощение». В прохладном соборе на какое-то время примкнули к группе туристов, прошли через ризницу с наследием королевы Изабеллы и Королевскую капеллу, прослушали рассказ гида о главном алтаре. В соборе шёл ремонт, и часть его была отгорожена огромным брезентовым пологом.

Мигель спешил на работу—помогать сыну. Предложил закруглить экскурсию и угостить нас mariscos con cerveza—дарами моря—с пивом в кафе его старого приятеля, в средневековом квартале, метрах в двухстах от собора.

Я и Нина до сих пор вспоминаем два огромных блюда с жареными креветками и лангустами под чудесным соусом, хрустящими и тающими во рту. И холодное разливное пиво для проталкивания крупных десятиногих усатых и безусых ракообразных в наши желудки. В узком полутёмном зале было прохладно, как в подвале. И обслуживал нас сам хозяин кафетерии, пожилой сухой и необычайно быстрый и весёлый мужик, похожий на типичного пирата. Он сказал, что мы далеко не первые русские в его заведении, но сибирским друзьям его «муй амиги»—большого друга—Мигеля он рад вдвойне.

Однако везение—штука непостоянная. Мы рассчитывали в тот же день быть в Барселоне, и я поспешил заказать по телефону номер в тамошней гостинице на десять вечера. А на автостанции нас огорошили: на все сегодняшние рейсы билеты распроданы.

Оставалась надежда на железную дорогу—там билеты на сидячие места нашлись, но поезд отходил вечером, и нам предстояло всю ночь провести в вагоне.

Мигель уже заметно дёргался, опасаясь объяснений с сыном-бизнесменом из-за опоздания. Мы прикатили наши чемоданы на пустынный и чистый, на наших глазах вымытый молодой камарерой с шампунем перрон и обнялись с Мигелем. Я посмотрел в его бархатные глаза, подёрнутые непритворной слезой, и спросил:

— Что мне передать Свете?

— Nada. Creo que así fuera mejor. (Ничего. Думаю, так было бы лучше.)

— Ты заставляешь меня лгать.

— Entonces, dile que ella siempre está en mi corazón. (Тогда скажи ей, что она всегда в моём сердце.)

— Скажу. Скорее всего, не ей, а Ольге. Она передаст Светлане… А если тебе доведётся снова работать в России, позвони мне, Мигель. Приеду к тебе в любой город.

— ¡Está bien, Sacha! (Хорошо, Саша!)

Следующие две недели мы пробыли в Барселоне и Мадриде. Осмотрели и снимали на видео- и фотокамеры эти города, как и в Севилье, с верхней палубы двухэтажного автобуса, были во многих музеях, храмах, крепостях или их развалинах. Но меня всегда больше интересуют живые люди—их поступки, мысли и страсти. Тем более что это один из рассказов задуманного мной цикла «Любовь без границ»—о действительно или ложно влюблённых персонажах человеческой трагикомедии.

В морском музее, собравшем и восстановившем парусные корабли от Адама и Евы и до недавнего прошлого, с нами заговорила на русском молодая женщина, присевшая отдохнуть на лавочку с нарядно одетой девочкой лет трёх. Сказала, что она из Украины и живёт в Барселоне уже несколько лет. Сначала с испанцем, от которого родила дочурку в незарегистрированном браке, но с ним не ужилась. И тут же переключилась на другого испанца; около года живёт с ним на полном содержании, на положении нелегалки. Надеется, что её новый друг узаконит с ней отношения, и она станет испанской подданной. Я подбодрил её, сказав, пожалуй, то, что она и сама хорошо знала. Телевидение и газеты—с ними я общался в отеле—в один голос обсуждают, как облегчить и упростить регистрацию и предоставление вида на жительство и паспортов нелегалам. Их в стране уже больше миллиона—по одному человеку на сорок коренных жителей. В удачу украинки с измученным лицом и тревожными серыми глазами я не очень верил: внешность не ахти, да ещё и с ребёнком—кинет её очередной каталонец и глазом не моргнёт!..

Там же, в Барселоне, на центральном бульваре Пасео де Грасия, напомнившем мне гаванский бульвар, мы, истекая потом на тридцати с лишним градусах жары, заскочили попить по стакану холодной воды в маленькое кафе. Пожилой, далеко за шестьдесят, хозяин забегаловки за барной стойкой, толстый и лысый, поняв, что мы русские, пожаловался нам, пока мы цедили воду, на свою коварную невестку-белоруску. Его сын встретил её здесь, в Барселоне, и полюбил.

— Вы бы видели её лицо, фигуру! — бармен с плотоядной улыбкой лёгким движением ладоней показал, какие у невестки грудь, талия и бёдра. — А волосы светлые и длинные. Вот такие, до пояса. А глаза голубые, как у вашей жены. Я сыну говорил: не женись, ты подобрал её на улице, это проститутка! Она не собирается с тобой жить. Сын и слушать не хотел: женился. Родилась девочка, мать получила все документы. То и дело куда-то пропадала на несколько дней. А полгода назад убежала от него с концами, забрав все вещи и деньги, неизвестно куда, вместе с ребёнком. В полицию сын заявил, но толку нет.

И бармен неожиданно засмеялся, словно радуясь собственной прозорливости.

При расставании Антонио дал нам телефон своего мадридского брата-врача:

— Позвоните ему из Барселоны — он вас встретит на машине, устроит в отеле и проводит. Я его предупрежу.

Из Барселоны тревожить эскулапа мы не стали. В Мадриде, по моему звонку за сутки до прибытия, «Bank Hotel» удовлетворил нашу прихоть: мы устроились в центре столицы, на тихой улице, в гостинице «San Martín» — в здании старого доброго стиля, на втором этаже. В ней, как нам сказали, жил Хемингуэй во время гражданской войны и писал репортажи и свою пьесу. Просторный номер, до потолка метра четыре, кровать тоже словно рассчитана на четверых. Балкончик, кондиционер и все прочие удобства.

Позвонил братцу-медику, представился — реакции никакой! Обмолвились парой вежливых фраз — и всё!.. Общение с Николасом и Марией отложили на день перед отбытием в Москву, чтобы не напрягать добрых стариков. Снова, как в Севилье и Барселоне, поездили на верхней палубе автобуса по трём маршрутам столицы, сходили в соборы и музеи. Два дня я бродил, стараясь хоть что-то запомнить, среди картин и скульптур художественного музея Прадо. Из-за духоты в этом величественном храме искусства Нина выдержала только полдня; на второй день она предпочла прогуляться одна по магазинам. И сказала мне не без гордости, что прекрасно обходилась без меня и знания испанского.

А в национальный праздник — День Испании — мы увидели королевский кортеж и чёрные лимузины короля и принца — люди рядом с нами уверяли, что и они сидели за тонированными стёклами. Спокойствие на площади обеспечивали конные и пешие полицейские в киверах и с золотыми аксельбантами.

Утром следующего дня позвонили Николасу и Марии, и уже через час они были у нас с упрёками, почему мы не объявились раньше. Антонио, конечно, сообщил им, что мы в Мадриде, только не знал, в какой гостинице. Лица их светились такой добротой и любовью, что нам стало стыдно за наше недоверие к их искренности.

Поехали к ним в Гетафу, на улицу Педерналь. Они в этот день к обеду ожидали к себе Вирхинию, дочь Антонио и Чепы; она училась в столице в школе натовских сержантов и, возможно, подъедет вместе с женихом, своим однокурсником. Они уже несколько месяцев живут вместе в квартире, купленной Антонио для Вирхинии, как только она приехала со службы на Канарах и стала учиться на сержанта. Свадьбу будущие сержанты назначили на октябрь следующего года.

В отличие от своего скрытного братца-полицейского Марко, занятого только собой, редко появлявшегося из своей сумрачной комнаты с опущенными жалюзи и постоянно включённым компьютером, Вирхиния оказалась такой же смуглой черноглазой душечкой-крохотулечкой, как и её мама Чепа. С Ниной они сразу нашли общий язык, и я едва успевал переводить их болтовню. Скоро у них в школе выпускные экзамены, и она, как и большинство курсантов, боится английского: все служебные разговоры натовцев в эфире ведутся на этом языке, а она руководит полётами, и языковая ошибка может дорого обойтись. Мы обменялись несколькими фразами, и я заверил, что ей нечего бояться.

После обеда она уехала на своём миниатюрном, как и сама она, белом «опеле». А мы сидели в гостиной, и Николас показал нам коллекции наручных часов и трубок — от очень старых до современных. Я предложил ему обменяться часами и трубками. В Москве, в фойе гостиницы «Минск», Нина купила мне швейцарские часы. Судя по цене, китайского производства. А на трубку мы позарились, как на сувенир, в Барселоне или Мадриде. Обмен состоялся: Николасу понравилась моя, с изогнутым мундштуком, а мне было безразлично какая. У него нашлись две одинаковых, с прямыми мундштуками, и одна из них стала моей.

До нашего отъезда в гостиницу на электричке Николас пригласил всем прогуляться по предвечерней жаре через виадук над железнодорожными путями до табачного магазина. Там он одарил меня двумя пачками душистого турецкого курева.

На обратном пути наши жёны шли впереди, со смехом, как немые, оживлённо объясняясь жестами, а мы с Николасом следовали шагах в десяти за ними. Мне захотелось вызвать радушного испанца на откровенность.

— Ты, Николас, в молодости изменял Марии?

Он взглянул на меня с изумлением тёмными глазами с розовыми прожилками на белкáх:

— ¡Nunca! (Никогда!) А зачем? Я женился на ней рано, родились дочери, надо было много работать, чтобы содержать семью. Марию я очень люблю. Для чего было ей изменять?
— А до неё?.. Были женщины до неё?

Николас встрепенулся всем телом, словно стряхивая с себя иней от моих грешных слов:
— ¡Nunca! Es la primera y la única amor de toda mi vida… (Никогда! Она первая и единственная любовь всей моей жизни…)

Одна начатая пачка табака от Николаса до сих пор издаёт ностальгический аромат в нише нашего домашнего бара. Я давным-давно, закончив службу в армии двадцатитрёхлетним лейтенантом, бросил курить. И только по старой памяти, изредка, после рюмки коньяка или виски, я открываю окно и пускаю дым из трубки с прямым мундштуком во все стороны света, где растворились дни жизни — моей и тех, кого любил и с кем дружил в своём Отечестве и за его границами.

Однако вот уже восьмой год, как ни зову Антонио Ауньона — в письмах и по телефону — нанести нам ответный визит, он ссылается то на плохое здоровье, то на то, что, оставаясь чемпионом Испании, не может бросить своих белых канареек. А последние годы сетует на более уважительную причину: его дочка Вирхиния, с интервалом в два года, родила им с Чепой внучку и внука, и тореадор часто в одиночку бодается с ними, поскольку Чепа по-прежнему работает в кафе.

А о своей второй — русской — жене Антонио уже не вспоминает: знать, поскольку «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань».

Ди*и*Н стихи

Марина Генчикмахер

Смотритель маяка

• • •

Я нынче — как смотритель маяка,
Чей океан для всех давно в кавычках.
Вода ушла. Но не ушла привычка
К бог весть кому взывать издалека.

Старик прекрасно знает, что фальшив
Его фонарь, мерцающий в пустыне,
Но зов давно ушедшего — святыня,
И он ползёт наверх, покуда жив.

А впрочем, так ли важен писк мышей,
Раз ухо слышит (даром что оглохло!),
Как ветер океанский бьётся в стёкла,
Стекая горькой пеной миражей?

И вспыхивает странная звезда,
Лучом во мраке шаря бестолково.
Она погаснет — кто проронит слово?
Но океан умолкнет навсегда…

• • •

Плесни мне, Пиросмани, на разлив
Той непосредственности, о которой позже
Серьёзный критик скажет: арт-наив;
Моя дочурка: «Я сумею тоже!»
Она сумеет тоже? Ну и пусть!
Уроки мамы не проходят всуе!
Я ярко-жёлтым солнце нарисую
И ярко-синим фоном задохнусь…

• • •

В этом доме опустелом
Всё не так и всё некстати:
Бродит тётка с дряблым телом
В старом байковом халате.

Бродит с миной невесёлой,
Ест невовремя и пресно,
Потому как разносолы
Для себя — неинтересно.

Ни к чему её репризы,
Ни к чему её капризы.
Ждёт её квадратом сизым
Невключённый телевизор.

Телевизор — это средство
Ощутить себя живою,
В чью-то юность, в чьё-то детство
Завернувшись с головою.

Позабыв, что чудо-юдо
Караулит Несмеяну…

Я сама такою буду…
Я вот-вот такою стану…

Ян Бруштейн

Между севером и югом

К 65-летию со дня рождения

Послевоенное

Это детское счастье озноба и жара:
Ноги ватные — вовсе не выйдешь.
А в гранёном стакане остатки отвара,
И бабуля мурлычет на идиш.
Я тихонечко плачу — для полной картины,
А на стенах — разводы и тени…
Мамин голос: «Спасибо, что не скарлатина!
Полетели, дружок, полетели».
И несёт, прижимая несильной рукою,
Всё по кругу: куда же ей деться?
И блокадная память зовёт, беспокоя…
Питер. Послевоенное детство.

Седьмая вода

От первой воды — ни беды, ни отгадки,
И были бы взятки привычны и гладки
У тихой рабочей пчелы.
Вторая вода — забодай меня птица:
Такая страница под утро приснится —
Почище двуручной пилы.

Где травы напитаны кровью и солью,
Там бешеный волк породнился с лисою,
И эта вода не для вас.
Вы третью просите — из ветки кленовой,
Не новой, но всё же по масти бубновой,
Готовой гореть напоказ.

В четвёртой и пятой — судак и плотица
Могли бы ловиться, коль не суетиться…
Шестую не пьёт и зверьё.
Шестая — она для тоски и позора,
В ней вымыты руки и ката, и вора,
И ворон не помнит её.

Но если поднимутся страсти земные
По сердце, по душу, по самую вию,
И ты покоришься судьбе,
Седьмая вода — из-под корня и камня —
Захватит, завертит, застынет и канет —
И память сотрёт о тебе.

Марине

Во сне береговой черты,
Где стёрты наши очертанья,
Где черти знойны и черны
И словно бы причастны тайне,
Где непрерывны флирт и жор,
Где дамы — словно на параде
И где потрёпанный пижон
Спешит куда-то на ночь глядя, —
Одни над бездной голубой,
Которая зовёт и тянет,
Мы, незаметные, с тобой
Пройдём незваными гостями.
Увлечены игрой ума,
Готовы всё раздать задаром,
Как только юная луна
Раскроется над Карадагом.

Не спящие в Коктебеле

Хвала не спящим в Коктебеле,
Поющим, пьющим и горящим
В кусте терновом, в лёгком теле,
Давным-давно сыгравшим в ящик.
Хвала плывущим в лунном свете,
На берег прущим кистепёро,
Встречающим последний ветер
Улыбкой бога и актёра.
Не видя этой жизни странной,
Где я застрял, смешной и старый,
Вы достаёте из тумана
Свои беспечные гитары.
И если вы уже запели,
Я вас услышу в это лето…
Хвала не спящим в Коктебеле
И догорающим к рассвету.

Больничка

1. В больничном окне

В больничном окне—замечательный мир:
Деревья облезлы, но живы;
Бегут экипажи, набиты людьми,
По выбитым каменным жилам.
Вороньего скока смешной контрапункт
Пугает пичужью ватагу,
И сукины дети без всяческих пут,
От сторожа давшие тягу,
Бессмысленно лают на весь окоём,
Гоняют прохожих и галок…
Мой мир, ограниченный этим окном,
Огромен, чудесен и жалок.

2. Никодимыч и Серёга

За окошком больницы—фабричный пейзаж
Намалёван кармином и охрой.
И сырые дымы возмущают пейзан,
Заставляют ругаться и охать.
Никодимыч по-тихому пьёт самогон,
А Серёга—всё больше по салу…
Здесь хвороб на двоих—за тележкой вагон,
И земля выносить их устала.
У Серёги—наколотый вождь на груди
Видит сало, от зависти тлея.
Никодимыч не любит вождя и грубит,
Трёт когда-то могучую шею.
Не осталось давно ни кола ни двора,
Только траченный временем норов.
Оба-два старика матерятся с утра
И, как дети, боятся уколов.

Между севером и югом…

Между севером и югом—зеркало воды,
Вот такая расписная местная весна!
Я опять смотрю с испугом на свои следы,
Там, где воду распинают шрамы от весла.

Я вдыхаю воздух древний посреди Нерли.
Небо, как мишень, пробито птицами, и вот
Мимо нежилой деревни, брошенной земли
Плоскодонное корыто медленно плывёт.

А внизу вздыхают рыбы, просятся в котёл,
Но на ловлю мы забили в этот странный час…
Всё равно, кто убыл-прибыл и чего хотел,—
Мы проплыли, и забыли эти воды нас.

Тени

Когда кривая вывезет меня
Туда, где буераки и овраги,
Где дикие собаки ищут драки,
Где о весне мечтают семена,—
Увижу, как, пугливо семеня,
Спешат укрыться под корягой раки,
И хищной птицы быстрые атаки
Уносят жизни на излёте дня.

И в том краю, где ада нет и рая,
Тебя я вспомню, злясь и обмирая
От нежности, которой столько лет.

Тогда отступят вежливые тени,
И, всё поняв и одолев смятенье,
Я позову—и получу ответ.

Шаги командора

Юрику, бывшему командору

Сойдя с ума, как с пьедестала,
Шагай неспешным командором
И не разглядывай детали
Пространства, где идёшь дозором.
Ты страшен только виноватым—
Потом всё объяснит палач им,
Но обыватели в кроватях
Подавятся тоской и плачем.
Тебе разбойники и воры
Под пыткой выдадут такое,
Что ты не вынесешь позора
И дрогнешь каменной рукою.
Потом зависнешь в глупом тире:
Не по мишеням бить—по рожам,
Но вспомнишь, что давно потерян
Последний след в душе порожней.
Всё узнаваемо до стона,
Лежишь в земле, возможно, сам ты
Там, где шумят аттракционы
Вокруг погибшего десанта.
…Без толку встретились, без лада,
И за грудиной—горячée.
Но ощущение приклада
Останется в моём плече, и…

Юрий Беликов

Море было большое, или Нечаянный визит в Империю

В середине сентября в Крыму проходил 10-й Международный Волошинский фестиваль поэзии. В числе около четырёхсот участников из двадцати шести стран мира на нём читал свои стихи приехавший из Перми в Коктебель Юрий Беликов. Он привёз с фестиваля лауреатский знак в номинации журнала «День и ночь» — позолоченный земной шар, поддерживаемый человечьими ладонями. Эти заметки даже не столько о фестивале, его волнах и подводных рифах, сколько об утраченном времени, когда мы все жили в едином государстве под названием СССР.

Разрезанный клубень

Чёрного моря я не видел с 1988 года. То бишь — с прошлого века. Это было в стране, которой давно уж нет на карте. Мы сейчас уважительно называем её Империей. Впрочем, кого ты подразумеваешь под «мы»? Недавно в передаче Андрея Малахова «Сегодня вечером» отмечали двадцатипятилетие программы «Взгляд». И там в открытую прозвучало, что «Взгляд» был проектом, направленным на уничтожение коммунистического строя. Тем самым бывшие «взглядовцы» признались, что они работали на разрушение Империи. Единственный из участников этого ностальгического шоу — автор легендарных «600 секунд» санкт-петербуржец Александр Невзоров — то ли съёрничал, то ли разоткровенничался: дескать, в противовес своим московским телесобратьям, он входил в 1991-м в число заговорщиков-гэкачепистов, пытавшихся удержать от развала страну.

Я думаю, что у «взглядовцев» нет проблем с передвижением. С тем, чтобы видеть Чёрное, Красное, Средиземное и прочие тёплые моря. А большинство нынешнего народа России пристёгнуто к своим городам и весям безвылазно. Пристёгнуто экономически. Если во времена СССР можно было сесть в поезд, затем — в самолёт, а из самолёта — на теплоход, и этот транзит мог вполне уместиться в пространстве кошелька среднестатистического советского гражданина, то сегодня народу не до пересадок, тем паче не до прямых рейсов. Чем вам не крепостное право среди даденных прав и свобод? А если речь о наиболее близком мне русском народе, он — как разрезанный на части лопатами государственных границ и внутригосударственных ограничений картофельный клубень — сидит в разных концах лунок-ямин собственной страны и бывшей Империи.

Я, конечно, не о тех, кто ежелетне летает в Турцию и Египет. Они меня не поймут. И даже скажут, что их — подавляющее большинство. Ну разве что — подавляющее. А не подавляющему большинству мнится, что Чёрного моря просто не существует в природе.

«Я вообще видела только Северный Ледовитый и Тихий океан!» — вымолвила, оценив мой крымский загар, живущая по соседству поэтесса и учителка Елена Медведева.

В Коктебеле я встретил своего красноярского друга, поэта-дикоросса Сергея Кузнечихина, который только в шестьдесят семь лет впервые увидел Чёрное море. Что характерно: прибывшую на Волошинский фестиваль группу красноярцев сопровождал главный специалист их краевого министерства культуры. Для вашего же покорного слуги свидание с Чёрным морем могло обернуться несбыточным счастьем. Если бы…

Родина-выручалочка

В адрес министерства культуры Пермского края пришло письмо за подписями президента Русского ПЕН-центра Андрея Битова и президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова с просьбой командировать, как гласил текст, «для участия в 10-м Международном Волошинском фестивале известного пермского поэта и журналиста Юрия Беликова». Хоть мы и состоим в разных творческих объединениях, но помощь в продвижении этого письма оказал председатель краевой организации Союза писателей России Владимир Якушев. Однако он предупредил, что денег на министерском счету нет. «Видимо, в Перми окончательно наступили «Белые ночи»,— подумал я про получивший у нас постоянную прописку долгоиграющий мегафестиваль.—Впрочем, уже хорошо, что не наградили отказом. В былые времена, при креатуре Марата Гельмана—бывших министрах культуры Мильграме да Новичкове, я бы не то что не обратился в означенное министерство, а не обратился бы принципиально». Подождав внушительное время, смоделировал ситуацию: в Крыму наступает бархатный сезон, и если в министерстве проснутся за неделю до фестиваля, я рискую вообще не приобрести билетов. Как быть? Внутренний взгляд мой обратился в сторону малой родины. Да-да, туда, где Виктор Петрович Астафьев написал свои первые рассказы. Я решил позвонить главе Чусовского муниципального района Николаю Симакову. Вообще-то таких глав я не встречал: человек целыми стихотворениями цитирует Евгения Евтушенко и Владимира Корнилова! Причём не ради красного словца, а в подтверждение своих мыслей. Просто какой-то рыцарь отечественной поэзии! При этом—с деловой хваткой. На следующий же день—ответный звонок: «Юрий Александрович, земляки вас поддержат!» Поклон—землякам. В программе Волошинского фестиваля, где обозначен мой творческий вечер, заявлено: Россия, Пермь—Чусовой.

Как я и предвидел, ближе к дате отъезда прорезались «эй, вы, там, наверху!». Ангельский женский голос сообщил, что, воистину, финансы министерства культуры истощены, но ждите-де звонка из центра по реализации проектов от господина Попандопуло. Память обволокло атмосферой искромётной советской кинокомедии «Свадьба в Малиновке». Может, пермский Попандопуло совсем не похож на своего однофамильца из этого музыкального фильма, однако я тут же усомнился, что Попандопуло мне позвонит. И оказался прав: совсем впритык к фестивалю позвонила, судя по всему, его помощница. Она предложила такой головоломно-изыскательский вариант безналичной оплаты дороги, что меня мгновенно прошибла испарина. В моей трудовой книжке есть довольно экзотическая запись: главный методист по работе с художественными коллективами Нечернозёмной зоны РСФСР агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Ленинский комсомол». Я отвечал примерно за то же, за что и нынешние министерские «культуристы». И просто на минуту представил: если бы в те времена делопроизводительский маховик вращался с таким ржавым, будто позаимствованным от инопланетной посудины из картины Данелия «Кин-дза-дза», скрежетом…

«…тебя сразу бы ударили мордой о стол!»—завершил набежавшую мысль мой старинный пермский друг Алексей Антонов, отвечавший в ЦК ВЛКСМ за организационную связь с агитпоездом и подведомственным ему территориям.

Это—к вопросу о разрушенной Империи.

Таможню не споишь

Сначала засеребрился Сиваш. Слева—в животрепещущей водной оптике. Справа—в исключительно мёртвом, кристаллически-солевом воплощении. Но Сиваш—это ещё не форпост Чёрного моря, это—аппендикс Азовского. Сравнение с аппендиксом, пожалуй, самое подходящее, потому что у Сиваша есть и второе название—Гнилое море. Открытое окно купе зачерпывает смешанный запах соли, ила и гниющих водорослей. Местами глубина Сиваша—метр-полметра. Именно это Гнилое море форсировали в 1920-м отряды Нестора Махно, первыми ворвавшиеся в Крым, вступив в очередной и роковой для них союз с красными.

Забегая вперёд, скажу: когда в Коктебеле я вошёл в знаменитый Дом-музей Максимилиана Волошина, и давший, собственно, сакральные имя и образ международному фестивалю поэзии, первое, что мне бросилось в глаза,—застеклённая фотография Махно со штабом, на которой выпирала надпись: «Вождь кулацкого бандитизма». Заметьте: Империи давно уже нет, а на снимке—её отпечатки пальцев. Оболганная фигура Нестора Ивановича. Там, где «кулацкого»,—читай «крестьянского». Вместо «бандитизма» подставляй «недовольства, сопротивления». А что, если с Империей—как с Чёрным морем? Для кого-то её не существует, а для кого-то время её окаменело и, значит, стало незыблемым? Недаром же пермский бард Евгений Матвеев поёт стихи Геннадия Русакова:

> Огромной нежности прекрасная страна
> в канун раздоров, мятежей и мора
> лежит, и слушает, и шепчет имена
> пятнадцати столиц, как имена укора…

«Укор»—уже в том, что едва ли не полночи в Белгороде (Россия) и Казачьей Лопани (Украина) погранцы и таможенники шерстят пассажиров, производя пристальную проверку документов, а то и вещей. Шерстят взаимно: украинские—россиян, российские—украинцев. На обратном пути из Феодосии у нашей проводницы конфисковали энное количество крымского вина. Я стал свидетелем приглушённого разговора, где российская таможня не давала «добро»: «Разрешается провозить не более двух литров… А у вас?» Проводница: «А может, я им лицо мажу!» Таможня: «С таким лицом имею полное право ссадить вас с поезда!..» Служба службой, но, как писал когда-то в «Контрабандистах» поэт-одессит Эдуард Багрицкий: «Ай, Чёрное море! Вор на воре…»

А вот и *оно*. У берега—зеленовато-мутное, дальше—истемна-синее. Но—Чёрное. Набегающее. В Феодосии море подкатывает чуть ли не к железнодорожной насыпи. И хочется, как ребёнку, вслед за Чеховым повторять: «Море было большое».

Лестница в небо

Чтобы оценить природное величие коктебельской бухты, надо подняться или на Кара-Даг, или — к могиле Волошина. Кара-Даг в переводе — Чёрная Гора. Природа так постаралась, что, если смотреть на эту гору с набережной, явственно виден каменный профиль поэта. Кара-Даг — древнее жерло молчащего вулкана, у подножья которого и расположился Коктебель. Он как бы упирается в Кара-Даг головой, а ногами — в довольно крутое взгорье Кучук-Янышар, на чьей вершине покоится прах великого Макса. Волошин жил в Коктебеле с 1903-го по 1932 годы (дата смерти), возведя на набережной по собственному проекту двухпалубное (я не оговорился!) жилище, напоминающее корабль. Жилище, впоследствии получившее планетарное имя — Дом Поэта. Кто только не гостил здесь из русских классиков: Николай Гумилёв и Осип Мандельштам, Максим Горький и Алексей Толстой, Александр Грин и Михаил Булгаков, Марина Цветаева и Черубина де Габриак (она же Елизавета Дмитриева), Андрей Белый и Корней Чуковский… Особенно — после революции, в Гражданскую, когда Крым стал чуть ли не мерой происходящего, чертой между числителем и знаменателем — во всяком случае, для русской интеллигенции. Если брать противоборствующие стороны, то в Доме Поэта находили укрытие и белые, и красные. На фестивале мне подарили репринтное издание книги Волошина «Стихи о терроре», печатавшиеся как в красных, так и в белых газетах, причём — в качестве образца классовой принадлежности к той и другой стороне. Стихотворение «Гражданская война» заканчивается такими строчками:

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Вот вам две конкретных судьбы. В Доме Поэта скрывался комиссар Бела Кун. В этом же доме находил пристанище и Осип Мандельштам, и только личное заступничество «авторитетного» Макса спасло того от неминуемого расстрела крымскими большевиками. А Бела Кун после исхода из Крыма белых стал главным на полуострове по части красного террора. Ему бы зваться Красна Кун. Директор Дома-музея Волошина Наталия Мирошниченко в послесловии к названному сборнику приводит потрясающий факт, когда Максимилиан Александрович, у которого опять-таки тот определился на постой, в виде индульгенции за предшествующее укрывательство Бела Куна имел исключительное право вычеркнуть в расстрельных списках одну из фамилий. Одну! Какие душевные муки должен был испытывать человек, приговорённый к подобной пытке выбора? К 1932 году накопилось. Пятидесятипятилетний мужчина могучего телосложения, исходивший окрестные горы вдоль и поперёк с суковатой палкой-посохом, Волошин скончался от повторного инсульта. «…И сам себя судил», — звучит последняя строка книги «Стихи о терроре».

Второй этаж корабельного Дома Поэта устроен так, что завершается ступенчатой лестницей, обрывающейся в небе. Точно хозяин поднялся на верхнюю ступеньку и… взлетел! Я понимаю, отчего он завещал похоронить себя именно здесь — на вершине горы. Какой вид — воды и тверди, тьмы и света, растений, животных и людей — отсюда открывается! Думаю, когда-то поднявшись на это взгорье, Волошин испытал удивление Бога на шестой день творенья. Удивление делом рук своих. А может, прозорливец Макс предвидел, что на втором десятке двадцать первого века там, внизу, на набережной, море будет заслонено цепочкой кафешек, шашлычных и торговых палаток? Море без вида на море.

Букеты для поэтов

В Коктебеле стихи сбиваются миксером в воздухе. Ладно бы — только в тенистой ограде Дома Поэта. Нет, улица, идущая от Дома творчества писателей Украины, в охвате которого базировались многие участники фестиваля, выводит прямо к литературно-музыкальному кафе «Богдан», что на набережной. Подобно золотистым знакам на винной этикетке, у входа — увековеченный свиток имён марочных посетителей: Василий Аксёнов, Фазиль Искандер, Андрей Битов, Анатолий Приставкин, Михаил Задорнов, Григорий Поженян, Владимир Бондаренко, Виктор Пронин…

Именно в кафе «Богдан» проходила сходка местной милиции и здешних «авторитетов», блистательно описанная в популярном детективе Виктора Пронина «Брызги шампанского». За столиком можно нередко встретить и хозяина кафе — грозового «папу» этих мест, мастера спорта по боксу, топтавшего зоны семнадцать лет исключительно за драки и столько же выпустившего поэтических сборников, члена Союза писателей России, председателя общества возрождения культуры Коктебеля, поэта Вячеслава Ложко. Он же — Слава Коктебельский. Вот его матёрая визитка:

Да, мы грабители, воры́,
Для них меж нас различья нету.
Мы все участники игры,
Все крутим мёрзлую планету.

Однако этот человек топтал не только зоны, но и кабинеты чиновников. Благодаря ему в Коктебеле медленно, но верно Серебряный век борется с торгашеским: улицы посёлка переименовываются — в Гумилёва, Цветаевой, Грина. Лично Вячеслав Фёдорович живёт на улице Гумилёва — у самого вулкана Кара-Даг.

Гуляя по набережной, вы не минуете Люду-наяду — крепенькую, розоволицую, будто только что из парилки, в неизменном пышном венке из крымской травы с мелкими, напоминающими нечто среднее между сиренью и незабудками соцветьями и в лиловато-оранжевом балахоне с разрезом на крутом бедре. В одной руке — корзинка, полная букетов из тех самых цветков, именуемых в смягчённой транскрипции трава-едунец, в другой — один из букетов. Обмахивая им, аки веничком, причинные места преимущественно лиц мужеского полу, Люда с ходу подрифмовывает: «Покупай траву-едунец, чтоб взлетал у тебя… бубенец!» В Коктебеле всяк сверчок выживает по-своему. Но все — за счёт отдыхающих. Кто разносит по пляжу рапаны и мидии, кто сдаёт жильё, кто содержит прогулочную яхту, кто — шашлычную, кто — туалет. Уезжают последние отдыхающие — наступает время путины. Люди семьями уходят в море, чтобы забить холодильники рыбой. Так живут всю зиму. Дождавшись мая, когда можно получить аванс с первых постояльцев, бегут в магазин за продуктами.

Ниша выживания Люды Коротиковой — мифическая трава. И в эту траву поверили приезжающие. Посему Люда — телезвезда. Выступала на российском ТВ в ток-шоу «Пусть говорят». Вспоминает: «Меня вызвал в Москву сам Малахов — и теперь входит в спальню без страхов!»

Привлечённый бойкою рифмой, возле Люды приостанавливается автор слов песенки про крокодила Гену, прибывший на фестиваль из Москвы с моложавой спутницей, семидесятидевятилетний поэт Александр Тимофеевский. Мгновенно оценив ситуацию, Люда священнодействует над парой всё тем же букетом: «Чтоб ты шла к нему подобру — не ходила на Едун-гору!» Тимофеевский довольнёхонек: «Вот кого на фестивале бы послушать!» Он и сам не промах — на Волошинском стал одним из лауреатов специальной студенческой премии за книгу стихов «Ответ римского друга», а в недавней антологии любовной лирики «Свойства страсти», составленной Сергеем Кузнечихиным, продемонстрировал просто кладези мужской активности:

И у тебя одно лишь в мыслях:
Накрылся Вася!
А у меня двенадцать жизней
Ещё в запасе…

В первый же день фестиваля нам с Кузнечихиным навстречу из гостиницы «Камелия-Кафа», словно испуганная Дюймовочка, выбежала московская поэтесса Анна Гедымин: «Там приехал такой страшный человек! Ругается жуткими словами и всех обещает убить!..» Возле стойки администратора на диване лежало покрытое с головой одеялом чьё-то вулканическое тело, уже извергшее, видимо, всю свою лаву. Позже выяснилось: это поэт из Улан-Удэ, пишущий на русском бурят Амарсана Улзытуев. Потом меня восхитят его мощные строки, где «глаза выедало до слёз / этим праведным дымом засохшей навозной лепёшки». Оказывается, сей весьма образованный и оригинально мыслящий сибирский батыр не выдержал длительного перелёта со своей малой родины до Симферополя, расслабился и, очутившись в месте чрезмерной концентрации пиитов, первым делом проорал: «Графоманы! Пидорасы!» А что?.. Амарсана — прямой потомок Чингисхана, как явствует из аннотации его книги «Сверхновый», выпущенной в Москве Александром Ерёменко.

Фрукты у тамбура

Поелику меня поселили с известным русским подвижником Евгением Степановым — главным редактором журнала поэзии «Дети Ра», владельцем и ведущим интернет-студии «Диалог-ТВ», — я стал невольным свидетелем телезаписи в нашем номере бесед с участниками фестиваля. Запомнился разговор с московским автором и президентом «Биеннале поэтов» Евгением Бунимовичем, и касался он отношения представителей власти к поэтическим форумам и поддержке поэтов на местах. Степанов и Бунимович пришли к обоюдной формуле: «Они не понимают, что Россия остаётся сверхдержавой только в области поэзии». И здесь — никакой гиперболы. Наша страна может быть далеко не первой на политическом, экономическом и футбольном полях, однако, когда речь заходит о русской литературе, и в частности — русской поэзии, на сегодня это остаётся единственным неоспоримым для всего мира брендом в истрепавшемся перечне прочих. И 10-й Волошинский — лучшее тому доказательство. Поэты из двадцати шести стран — от Казахстана до Мозамбика, от Канады до Израиля — съехались-слетелись в Коктебель, очевидно, оттого, что здесь, в прибрежном посёлке Крымского полуострова, на территории подчёркнуто суверенной Украины, вот уже десятый сентябрь подряд звучит безграничный, хоть и окованный поэтическим метром, русский язык. И неслучайно на правах его носителей и творителей участники фестиваля обратились с открытым письмом к президенту Виктору Януковичу и народным депутатам Украины в защиту русского языка, который «не может быть чужим на земле Киевской Руси». Тут нет иного прочтения: когда-то Никита Хрущёв подарил Крым украинцам, а Максимилиан Волошин возвратил его пространству русской речи. Она прочнее даже Империи, канувшей в Лету и в то же время фантомно живущей в каждом из нас. Она — как Чёрное море, соединяющее разные берега и страны. И когда ты вбегаешь в коктебельскую волну, твой лёгкий, незримый всплеск приплюсовывается у противоположного берега.

А когда едешь на последнем в этом сезоне идущем из Феодосии в Россию поезде и вместе с другими пассажирами выходишь в тамбур где-нибудь в Мелитополе, где коротка стоянка, и видишь, как с отчаянием в глазах и протянутыми корзинками, в которых груши, дыни и орехи, буквально к стопам отъезжающих подбегают наперебой жители этих мест—девочки, женщины и мужчины, душа твоя сжимается от боли, и ты чувствуешь себя безнадёжным римлянином, оставляющим некогда великую, а ныне безутешную Империю. И ты смотришь на свой лауреатский знак—на позолоченный земной шар, поддерживаемый ладонями, и тебе начинает казаться, что это голова человека, закрывшего ладонями глаза, чтобы не глядеть на происходящее.

Д*и*Н стихи

Владимир Мялин

О муза крохотного века…

* * *

Карминный, червонный, червлёный
Растёт над домами закат
Резною громадной иконой,
А я перед ней виноват—

Снегами сухого помола,
Простывших ворон сединой…
Склоняю я голову долу,
И сосен кресты надо мной…

Звенят надо мною и плачут
Мониста небесных прорех,
И солнце, оранжевый мячик,
И снега порывистый смех…

* * *

Я много сказок для вас слагал.
И был я за то наказан:
Трёхглавый дракон меня пожрал,
Как дуб, пошатнулся разум.

Сижу я меж рёбер в тугой пурге,
И чудится мне и мнится:
На дубе в кованом сундуке
Бессмертья яйцо хранится.

В яйце—игла, на конце—тоска;
Кощеево сердце чёрно.
Я—победитель; я жив, пока
Дружу со стрелой проворной.

Когда же глазницы забьёт мне снег,—
Как птица от тьмы, немея,
Сломаю иглу, улыбнусь навек
И небом окаменею.

Под фонарём

Косички, в шапке шерстяной—
О муза крохотного века,
О ангел, павший в проходной,
В колосьях света, в ризах снега.

Под ватой леденцовый лёд;
Конфеты в сумочке картонной.
И кто-то за руку ведёт
Тебя—большой и неуклонный…

* * *

Отпоют, похоронят, забудут
И уйдут за шиповник оград,
Где румянится бабочек чудо
И шмели золотые гудят,

Где земля муравою слезится,
И цикада, подкрыльем звеня,
Травяною осипшею птицей
Никогда не окликнет меня.

* * *

Когда замолкнет птичий зуд
В лесу моей дремучей плоти
И люди сказкой назовут
Тоску по ласке и заботе,—

Я буду рядом в этот час—
Снежинкой, ягодой, синицей,
Замёрзшей детской рукавицей—
Теплом, оттаявшим у глаз…

Будем жить!

Праздник самодеятельной поэзии

Почти весь апрель, май и июнь 2012 года на всей территории Красноярского края, от южных его границ до Северного Ледовитого океана, проходило грандиозное событие в области культуры — медиафестиваль под названием «Созвездие талантов», организованный краевым Домом народного творчества совместно с муниципальными организациями культуры.

Что это значит? Во Дворцах и Домах культуры сёл и городов края собирались самодеятельные певцы, танцоры, музыканты, художники, прикладники, причём — самых разных возрастов, от дошколят до пенсионеров, чтобы представить своё творчество на суд публики и требовательного жюри краевого уровня, которое, в свою очередь, выбирало среди них лауреатов и призёров.

Подобные смотры самодеятельности проходят в крае не впервые. Но впервые пожелали участвовать в нынешнем медиафестивале самодеятельные литераторы — они по собственной инициативе настояли, чтобы на нём была номинация для литераторов, и номинация эта была включена в медиафестиваль под названием «Литературное пространство».

Ваш покорный слуга, включённый в жюри медиафестиваля, занимался чтением присланных для этой номинации работ, а затем ездил вместе с жюри по городам и весям и проводил мастер-классы с «разбором полётов». И обнаружил удивительную картину: если лет тридцать назад Красноярская писательская организация, проводя краевые семинары молодых литераторов, едва набирала на них двадцать-тридцать участников, то теперь в каждом райцентре, будь то город или большое село, существует литературная студия, в которой активно занимаются по двадцать-тридцать человек. Состав студий — разнообразнейший: там и школьники, и молодые специалисты, и бывалые люди самых разных профессий — охотники, рыбаки, учителя, бизнесмены, — и убелённые сединой пенсионеры. В городе Уяре, например, пришла на мастер-класс почитать свои стихи девяностолетняя участница Великой Отечественной войны.

Стихи и проза, которые пришлось мне читать и слушать, — очень разного уровня. Но уверяю вас: наша провинция богата самодеятельными литературными талантами, владельцы которых вполне могут стать в будущем профессиональными поэтами и писателями! Однако при этом работает старое классическое правило: чем ярче талант — тем он скромней, застенчивей и неувереннней в себе, поэтому им обязательно нужны помощь и поддержка. Хотелось бы надеяться, что в крае найдутся средства, чтобы по результатам нынешнего медиафестиваля издать книгу, в которую бы можно было включить самые яркие работы, и я уверяю вас: книга получится интересной.

В доказательство этого мне хотелось бы привести здесь подборку стихов как пример самодеятельного литературного творчества моих земляков, живущих по городам и весям нашего огромного края.

Александр Астраханцев,
член Союза российских писателей

Александра Янышева

с. Солгон, Ужурский р-н

Русалка

Вдруг надежда нечаянно сбудется?—
По цветочку венок соберу
На заросшей лесной перепутице
В заколдованном тёмном бору.
Лунный свет, паутиной разбросанный,
Освещает глухую тропу;
Сникли сосны под тяжкими росами,
Тянут лапы к лицу моему.
Я люблю серебро полнолуния,
Заповедный задумчивый лес.
Я—русалка, лесная колдунья
И несу обречённо свой крест.
О душа моя, вечная странница,
Что же я сотворила с тобой?
Не уйти никуда, не состариться.
Как жестока бывает любовь!
Где бушуют черёмухи заросли,
Смотрят звёзды в озёрную гладь,
Умоляла я друга о малости—
Умоляла меня не бросать!
Всё ведь было у нас по-хорошему.
Что же с нами случилось потом?
Как мне жить опозоренной, брошенной?
Как вернуться в родительский дом?
Беспощадна гордыня проклятая.
Погубил он меня, погубил,
Променял на невесту богатую,
Хоть и клялся, что крепко любил.
Дерзкий вызов предателю бросила,
Побежала я этой тропой,
Чтобы в волнах глубокого озера
Обрести долгожданный покой.
И с бравадой пустой, бесшабашною
Я ему прокричала: «Прости!»—
Но в минуту последнюю, страшную
Не осталось к спасенью пути…
Без молитвы, без слёз и раскаянья
Много лет проскиталась уже.
Как же больно бродить неприкаянной,
Согрешившей так много душе!
Жду: пошлёт мне Господь утешение,
Упокоит меня и простит.
Пусть не в рай, но туда, где забвение,
Примет небо меня, приютит.
Провожая людей до дороги,
Я теплом согреваюсь живым.
Как же надо для счастья немного!
Добрый путник, ступай невредим.
Не пугайся, случайный прохожий,
Коль услышишь мой горестный стон.
Помолись за меня, если можешь:
Ты ведь тоже, наверно, влюблён?
Не спеши от любимой отречься,
Задержись, оглянись лишний раз.
Может, чьё-то разбитое сердце
Без тебя умирает сейчас?
Над Русалочьим озером—тени.
Не меня ли вдруг кто-то позвал?
Неужели от мук избавленье
Мне Господь всемогущий послал?

Александр Рейхерт

пос. Туруханск

* * *

А у нас такое лето—
Между зимами просвет,
Мало дней, но много света—
Потому что ночи нет.

А у нас такие дали!
Ты с угора взгляд свой кинь—
И насытишься едва ли:
Лес, вода да неба синь!

К нам дорог по суше нету—
Самолёт да теплоход,
Но мотаемся по свету—
Непоседливый народ.

Возвращаемся, как птицы,
В край суровый и родной:
Здесь приветливые лица,
Здесь мы в лодочке одной.

И когда в порту огромном
Туруханск объявят вдруг—
Тут улыбки: все знакомы,—
И пожатье многих рук.

А у нас такие зимы—
С октября по самый май,
А мы живы, невредимы—
Это наш любимый край!

Валентина Зацепина

г. Дудинка, Таймыр

* * *

Памяти Л. П. Комаровой-Ненянг

Сказала Люба Комарова,
Что все мы — братья на земле
По-христиански и по крови,
В час возрожденья и во мгле.
Моя алтайская скуластость
Меня с таймырцами роднит,
И край, природой не обласкан,
С родимым краем в сердце слит.
Незащищён, наивен, кроток,
Разграблен алчными уже,
Не помнящими о потомках,
О заповедном рубеже.
Богатства недр предоставляя,
Таймыр взывает: оглянись!
Ранимей не найдёшь ты края,
И хрупче не найдёшь ты жизнь.
Мечтаю я, чтоб не меняли
Свои гнездовья стаи птиц,
Чтоб вездеходы не срывали
Следы оленьих верениц,
Чтоб безбоязненно весною
Берлогу покидал медведь,
Чтоб Солнце-Хэйро всё живое
В своих ладонях грело впредь.
И мне здесь и Огдо, и Люба,
И каждый, кто родился тут,
По-сестрински родны и любы…
По-братски делим неуют.
Таймыр богат своим простором,
И если ты открыт душой,
Кавказа сын или Босфора,—
Ты на Таймыре будешь свой.
Но только помни: брат у брата
Не разорит родимый кров.
Бери для жизни сколько надо
И отдавай взамен любовь.

Галина Арнаудова

с. Нижний Ингаш

Одиночество и гармонь

В небе полыхнул закат багряный,
Полоснул по сердцу, словно нож!
Голос одиночества нежданный —
Что в душе творится, не поймёшь.

Будто тяжкий груз на душу давит,
Вынести становится невмочь.
Вот все стены сдвинутся — и сдавят!
И никто не сможет мне помочь.

Это одиночество тоскует,
Бьётся в стены — места не найдёт!
Сердце перед ним моё пасует,
Кровью обливается и мрёт.

Ты лишь знаешь потайную дверцу,
Ты одна, любимая гармонь.
Пусть от счастья плачет моё сердце —
Струны сокровенные затронь!

Разверни меха свои, тальянка,
В моём сердце разожги огонь.
Выверни мне душу наизнанку,
Русская родимая гармонь.

Я играть тихонько начинаю,
Песня льётся вольно, не спеша.
Этой песне сладостной внимая,
Начала оттаивать душа.

Разойдитесь, стены, не теснитесь —
Песне тесно в четырёх стенах.
Надо её выпустить, как птицу,—
Пусть она завьётся в небесах!

Милая гармонь, моя подруга,
Я тебе спою, а ты сыграй.
Будем утешать с тобой друг друга,
Душу наполняя через край!

Иван Панкрац

пос. Козулька

Будем жить!

Моим родным ученикам —
первому выпуску нового века

Ну вот, в который раз я снова
У выпускного рубежа.
Вновь расставаться… Но иного
Я не хотел бы, как ни жаль
Того, о чём не скажешь «было»,
Но что теперь уже прошло.
Мы с вами, верю я, любили
Друг друга.
Пусть минует зло
Всех вас на жизненной дороге
Сейчас, потом и — навсегда!
Пусть жизнь не будет слишком строгой
К вам — и сторóнится беда
Всего, что может повстречаться
Вам на начавшемся пути!
Пусть каждый сможет в жизни счастье
Однажды для себя найти!
Пусть будет всё, как вы хотите,
Как вам желает этот стих!
Всего вам доброго! Идите
Смелей! Счастливого пути!
И пусть моя любовь порукой
Вам будет! Так тому и быть!
Жизнь не кончается разлукой.
Как говорится, будем жить!

Лидия Алексеева

с. Каратузское

● ● ●

Вот и осень прошла,
Жёлтым сном отлетела,
Синим небом плыла,
Красным лесом горела,
Мокла мелким дождём,
Серой тучей давила,
Холодила ледком,
Паутинкой ловила,
Журавлями звала,
Бабьим летом смеялась,
Сжатым полем брела
И груздём похвалялась.
Огород прибрала
И картошку копала,
А потом поняла,
Что немножко устала.
Стала осень сдавать,
Стала хмуриться чаще.
Стал денёк убывать.
Стала редкою чаща.
По ночам уж мороз
Свои пробует цепи,
И сквозь ветки берёз
Солнце лучики цедит.
Скоро сдастся совсем
Зимним стужам на милость,
И покажется всем,
Будто осень приснилась.

Ксения Кузьмина

пос. Тура, Эвенкия

● ● ●

север падает на ладони всей массой
без оглядки и без остатка
без гусарской бравады
одним махом

приезжай
ты ещё не видел
ты ещё не дышал толком
этот серый промозглый ветер
превращает щенка в волка

этот воздух
от холода вязкий
можно рвать и глотать кусками
и он падает на дно лёгких
как на совесть тяжёлый камень

приезжай
ты не видел как реки
тёмно-синим упрямо сквозь горы
пробираются
и рассвету
встают поперёк горла.

приезжай.
север рухнет на плечи
без оглядки — одним махом
и в карманы насыплет снега
крупитчатого
как сахар

Елена Коновалова

г. Назарово

Декабрист Антон Арбузов

Этот ссыльный—совсем не сильный,
Разве только что светом глаз.
Реформатор большой России,
Он в сибирской глуши угас.
Духом сломленный и забытый
Братом, родиной в смуте дней,
Был он частью большой элиты
И новаторских их идей.
Люди русские, люди века
Вышли вместе на общий сбор,
И стояли они как веха,
Молчаливый живой укор,
Вызов обществу, вызов власти,
Вызов даже своей судьбе,
В благородном порыве страстном
Призывающие к борьбе.
Стаей вольною мчатся годы,
Изменяя режимы стран.
Может, в будущем сложат оды
О мечтателях из дворян?

Иван Кочетков

г. Енисейск

Кто я?

Я полное себе противоречье.
Я сам не знаю: кто же я такой?
Я островок, застрявший в междуречье,
Кора ольхи, влекомая рекой.
Я лёгкий пух июльский тополиный,
Я почка вербы, ветра шепоток.
Я взмах крыла распластанный орлиный,
Я шум дождя, бушующий поток…
То я велик, то просто невеличка,
То лилипут я, то—как великан,
То догорю в ночи последней спичкой,
То, разгорясь, взрываюсь, как вулкан!
Я полное себе противоречье!
То я молчу, то просто не унять.
Мой путь тернист, а век мой—бесконечен!
Так кто же я, и как меня понять?

Литературное Красноярье ∴ Д*и*Н ревю

Зинаида Кузнецова
ОБГОНЯЮЩИЕ СОЛНЦЕ

Зинаида Кузнецова

Обгоняющие солнце

Издательство «Вариант-Омск», 2012 г.

Зинаида Кузнецова—член Союза российских писателей, живёт в городе Зеленогорске Красноярского края, автор шести поэтических сборников и трёх книг прозы: «Райские яблоки», «Болеутоляющее средство», «Белый снег, дорожка чёрная…». Это—четвёртая книга. В неё вошли 20 рассказов.

Рассказы Зинаиды Кузнецовой—это житейские истории, как будто подсмотренные автором в непритязательном повседневном быту. Но за каждой из них—тайна человеческой судьбы, неожиданно проявившаяся самым странным, роковым образом. Так, словно в знакомой до полного совпадения с твоим существом комнате вдруг открывается форточка, и ты чувствуешь пробирающий до костей сквозняк мистического холода.

Марина Саввиных

Владимир Скруберт

Член КПСС

«Метеорит»

Случилось это в конце семидесятых годов прошлого века, когда полярные белые ночи были в полном разгаре и яркое солнце, едва спрятавшись за горизонт, вновь показывало свою рыжую «макушку» из-за ближайшей сопки. Самоходные баржи, груженные буровым оборудованием, пиломатериалом, всевозможной тяжёлой техникой, ёмкостями для ГСМ, балками для круглогодичного проживания людей, медленно двигались по Нижней Тунгуске против течения. Полноводная река с мутными весенними водами была серьёзным препятствием, которое нужно было им преодолеть в максимально короткие сроки. Ничего особенного в этом караване не было, и ничто не вызывало каких-либо подозрений. Нефтеразведочные работы в то время активно велись по всей Эвенкии. Буровые вышки на берегах крупных рек заметно портили живописный дикий край, но были обыденным явлением. На Подкаменной Тунгуске уже нашли нефтяные и газовые месторождения, к которым только сейчас пытаются подтянуть трубопроводы, а на Нижней Тунгуске разведочные работы не увенчались успехом. Нефтяной или газовый фонтан так и не ударил ни из одной разведочной скважины.

Немного не дойдя до Нидымского острова, караван стал медленно причаливать к левому берегу, где уже стояли палатки и небольшая группа людей, столпившись у самой воды, весело размахивала руками, приветствуя пополнение. Пристани не было, поэтому передней барже пришлось замедлить ход до нуля и бросить якорь. Другие суда последовали её примеру. Подошедший плавкран встал на якорь между баржей и берегом, чтобы без лишних помех выгрузить содержимое судов на подготовленную поляну. Небольшой десант, состоящий, в основном, из начальства, высадился на берег и присоединился к встречающим.

На разгрузку каравана ушло трое суток. Времени для раскачки не было, так как вода быстро скатывалась, заставляя суда маневрировать ближе к фарватеру, чтобы не оказаться на обсыхающей паберегe. Всё это время мимо проходили другие суда, которые следовали с грузом для окружного центра. По мере разгрузки суда разворачивались и, сделав прощальный гудок, шли обратно вниз по реке в сторону краевого центра, чтобы продолжить короткую весеннюю навигацию на северные притоки Енисея.

В этом же году буровая вышка была смонтирована и приступила к работе по своему назначению, то есть к бурению глубинной скважины.

На этом своё повествование можно было и закончить, если бы не одно обстоятельство.

Осенью стали появляться разговоры о том, что некоторые рыбаки-любители, следуя мимо этого места на Виви или Ямбукан, замечали на берегу изгородь из колючей проволоки и военнослужащих, которые с автоматами иногда проходили вдоль неё. Кто-то верил этим слухам, а кто-то недоверчиво улыбался, задаваясь простым вопросом: зачем солдатам охранять буровую вышку?

Прошёл год. Разговоры на эту тему уже никого не интересовали, да и новость как-то сама собой «рассосалась». Вспомнили про неё лишь тогда, когда в один прекрасный летний день на Туринском аэродроме приземлился Ан-26 с красными звёздами на крыльях. Взлётная полоса в самом посёлке не была предназначена для посадки подобных самолётов, и обычные гражданские самолёты такого класса без проблем садились на «Горном», но это был военный самолёт. Садиться на такую короткую полосу было нельзя, но, как говорится, если очень хочется, то можно. Самолёт после посадки подрулил прямо к зданию аэровокзала и остановился. Из него вышла группа офицеров высокого ранга, среди которых были и генералы. Они быстро сели в автобус и укатили в неизвестном направлении…

Стояла пора долгих северных отпусков. Наша семья уже купила билеты на самолёт и наутро должна была улетать на «большую землю», но часов в пять утра нас разбудил какой-то гул, а затем подземный толчок. Дом качнуло всего один раз, и гул прекратился. Наверное, землетрясение, подумали мы. Немного подождав, успокоились и продолжили свой сон. К обеду наш серебристый Як-40 уже плавно заходил на посадку в аэропорту Красноярска…

В августе, по возвращении из отпуска, нас ждала ошеломляющая новость о том, что это было вовсе не землетрясение, а подземный ядерный взрыв.

Значит, слухи об охране буровой были реальностью, а военные чины прилетали для участия в проведении ядерных испытаний. Говорили, что испытание прошло неудачно, и небольшая часть радиоактивного излучения вырвалось наружу. В посёлке Нидым, который находился в десяти километрах от скважины, из многих окон вылетели стёкла. Оленеводы говорили, что после этого случая находили в прилегающей тайге мёртвые тушки глухарей и другой живности. Кто-то даже видел «белого» сохатого, и якобы он побелел в результате появившейся радиации. Это, конечно, бред, хотя встречаются животные-альбиносы, но, как говорится, дыма без огня не бывает. Мы тогда были молодыми и особенно по этому случаю не заморачивались, как сейчас выражается молодёжь, да и советская пропаганда по поводу ядерных катастроф своих граждан особенно не запугивала. Тура находилась в тридцати пяти километрах от этого места, поэтому нам казалось, что это слишком далеко, чтобы испытывать от случившегося какие-то неудобства, да и прошло уже почти три месяца с момента взрыва. Даже если и был какой-то выброс, то его за это время унесло слишком далеко. Официальной информации о случившемся никакой не было, все пользовались только слухами. Военные, естественно, тоже молчали, поэтому постепенно всё сошло на нет. Единственным напоминанием о состоявшемся факте посещения окружного центра военными долгое время оставался Ан-26, которому во время взлёта не хватило полосы, и он упал вместе с офицерами в ручей Гремучий. Правда, к счастью, никто не пострадал, но его потом почти целый год приводила в рабочее состояние бригада военных авиатехников. Это ещё раз подтвердило тот факт, что за совершённые грехи надо расплачиваться, а ядерный взрыв, на мой взгляд, является большим грехом, поэтому он не прошёл без последствий.

Буквально через год кому-то в голову пришла «гениальная» идея по поводу рационального использования оставшейся от военных «инфраструктуры». На месте буровой остались домики для временного проживания, столовая, дизельная электростанция и другие вспомогательные объекты, да и само место на берегу Нижней Тунгуски было очень живописным. Решили организовать в этом месте пионерский лагерь для летнего отдыха детей. Не знаю, проводил там кто-нибудь замеры уровня радиации или нет, но «лучшего» использования халявы придумать не могли. Как говорится, всё лучшее — детям. Пионерский лагерь назвали «Метеорит» в честь раскрученного на весь мир бренда Эвенкии — Тунгусского метеорита. В течение нескольких сезонов работал этот единственный в районе «санаторий». Какие последствия это «оздоровление» повлекло за собой у выросших детей, никто не знает, так как специального мониторинга их здоровья никто не проводил. Да и кто будет заострять на этом внимание, когда даже с жителями Семипалатинского полигона в то время особо не церемонились?

Эвенкия тогда была, да и сейчас является, малонаселённым районом страны, а таких районов у нас много, поэтому где ещё проводились подобные секретные испытания, мало кто знает. По всей видимости, их приходилось проводить в разных местах, так как подписанная международная конвенция о запрете ядерных испытаний на земле, в космическом пространстве и под водой не позволяла Советскому Союзу её нарушать, а испытывать новейшее ядерное оружие было необходимо. Архипелаг Новая Земля был уже превращён практически в ядерную пустыню, поэтому пришлось перебраться на материк, где, соблюдая все тонкости маскировки, модернизировался ядерный щит страны.

После этого был Чернобыль, с майской демонстрацией в Киеве, в окружении радиоактивного облака, «военные сборы» военнослужащих запаса из разных уголков страны с «марш-броском» в одном направлении — на запад. Один из участников этих событий рассказывал мне, как проходила ликвидация последствий катастрофы в самые первые дни. Тогда никто толком не объяснял, чем чреваты эти невидимые и неощущаемые последствия, когда «партизаны» из среднеазиатских республик находились на территории станции больше положенного одноразового срока из-за своей некомпетентности в области радиоактивного воздействия на живой организм. Они не понимали, зачем на них надевают специальные свинцовые причиндалы. Укрывшись среди развалин, они снимали их и справляли свою нужду, чем приводили в шок офицеров и сослуживцев.

Короче, как говорит известный телевизионный журналист Владимир Познер, «такие были времена».

Член КПСС

Прошло всего два десятилетия, как не стало СССР, а следом КПСС и пятой статьи Конституции, но уже кажется: как давно это было. Партийные съезды, пленумы, конференции и партсобрания, соцобязательства и соцсоревнования, решения Политбюро и пятилетние планы развития страны — всё это кануло в Лету. Подрастающему поколению почти совсем не известна личность Владимира Ильича Ленина, а октябрята, пионеры и комсомольцы сродни инопланетянам, не говоря о членах КПСС, хотя существующие в настоящее время политические партии и движения чем-то напоминают КПСС, только «призрак коммунизма» стал ещё более призрачным. Люди уже не мечтают о мировой революции как единственно верном решении существующих глобальных проблем.

Теперь проблемы стали другими, но не менее масштабными, и мировое мышление общими усилиями направлено на их решение. Оно значительно изменилось к лучшему, в сторону экономии мировых энергетических ресурсов, борьбы с терроризмом, понимания недопустимости глобальной ядерной катастрофы на нашей замечательной планете Земля и возможного нарушения её хрупкого экологического равновесия, хотя и другие, более приземлённые задачи не выпадают из общего внимания мировых держав. Нас уже не пугает аббревиатура «НАТО». Сверхсекретные архивы КГБ выкладываются в Интернете для всеобщего обозрения. Сегодня мы спокойно, без нервозности, говорим о таких вещах, о которых во времена КПСС не могли и подумать. Короче, мир стал другим, но воспоминания о «руководящей и направляющей роли партии» всегда будут интересны тем людям, которые уже никогда с ней не встретятся, точнее — с её «предсмертным» периодом. Не встретятся именно с той партией, с которой жили мы, членами которой были мы, зачастую совсем не по своей воле. Сегодняшнее поколение «бывших членов КПСС» тоже знает только понаслышке о деяниях ВКП(б), и то эти деяния зачастую преподносятся как противоречивые и не являющиеся истиной в последней инстанции, поэтому современные воспоминания бывших коммунистов, во времена гласности и свободы слова, являются наиболее правдивыми и достоверными, так как эти люди были живыми свидетелями руководящей роли партии в завершающий период строительства развитого социализма в отдельно взятой стране.

В начале восьмидесятых годов прошлого века, когда до крушения могущественной партии, «гегемона пролетариата», оставалось около десяти лет, никто и вообразить себе не мог, что её в скором времени не будет, что она перестанет существовать «как класс». Занимаясь наукой, я не помышлял ни о какой партии и политической карьере, хотя слыл примерным комсомольцем. Меня даже приглашали на работу вторым секретарём райкома комсомола, но я был настолько одержим научной работой, романтикой таёжной жизни, что без каких-либо раздумий, сразу, категорически отказался от этого предложения.

Примером настоящего, глубоко идейного коммуниста для меня всегда была мама. Она вступила в ряды КПСС в середине шестидесятых годов, работая на слюдяной фабрике щипальщицей слюды. Всегда была передовиком производства и активной коммунисткой, горячо отстаивала идеалы социализма, регулярно читала идеологические партийные журналы. Мне на всю жизнь запомнились их политические споры с отцом, который был творческой личностью и категорически не принимал КПСС. По долгу своей работы он постоянно сталкивался с бестолковыми советами «специалистов» отдела пропаганды и агитации райкома партии, которые считали, что их мнение по поводу художественного оформления городской наглядной агитации самое верное и непререкаемое. Отец представлял на суд партийным «бонзам» эскизные проекты будущих стендов и давал предложения по местам их размещения в городе, но после встречи с ними всё в корне менялось, давались «ценные» рекомендации, в том числе и композиционно-художественного плана, которые доводили отца, как профессионального художника, до нервного срыва.

О партийных бесчинствах после Октябрьского переворота, во времена коллективизации и репрессий в отношении моих родственников, я не слышал от родителей. Единственное событие в жизни моего отца, которое сильно повлияло на его психику, заключалось в призыве его в армию в 1942 году и отправке, по причине его немецкой фамилии, не на фронт, а на лесоповал в читинскую тайгу, где из-за адских условий заработал себе дистрофию, попал в госпиталь, откуда был демобилизован. В результате чего он не был признан участником Великой Отечественной войны. То, что отец оказался на лесоповале, а не на фронте, может быть, было и к лучшему, хотя он говорил мне, что в тайге солдатам было не слаще, а порой даже труднее. Он не любил рассказывать нам о том периоде своей жизни, хотя его сестра иногда делилась своими воспоминаниями о встрече с отцом после возвращения из госпиталя. Мы и сами видели, что синдром голода оставался у него всю жизнь.

Когда мне исполнилось двадцать восемь лет, то по возрасту я выбыл из комсомола. Стать членом КПСС мне никто не предлагал, да я и сам особого желания не испытывал. В ряды коммунистической партии можно было вступить, не дожидаясь «критического возраста». На нашем курсе в институте учились ребята-коммунисты, но они по возрасту были несколько старше нас. Одного сразу после окончания вуза назначили директором оленеводческого совхоза на севере Читинской области, где он проходил преддипломную практику. Мне, научному работнику, это было ни к чему, поэтому я отнёсся к «переходному возрасту» весьма спокойно. Время шло. Случилось так, что через год после выхода из комсомола мне пришлось оставить науку и пойти работать обыкновенным рабочим леспромхоза. Это событие, чего я никак не ожидал, круто изменило мою биографию.

Буквально через год работы в леспромхозе меня пригласили в райком партии к заведующему организационным отделом Кирилову, который прямым текстом заявил, что «не жирно ли мне с высшим образованием работать рабочим». Сейчас таких людей навалом, которые с высшим образованием работают рабочими, торгуют на рынке, продают товар в магазине, а тогда, тем более на Севере, люди с высшим образованием были, как говорится, на вес золота. Правда, бывший председатель Эвенкийского окрисполкома, который не имел профессионального высшего образования, а только окончил краевые партийные курсы, любил говорить, что «к высшему образованию нужно ещё иметь среднее соображение». Но, тем не менее, что было, то было. Ещё Кирилов мне сказал, что сейчас самое время написать заявление о вступлении в партию, так как я работаю рабочим. Рабочих принимали охотно, и по разнарядке на трёх рабочих приходился один служащий. На меня он «наехал» с таким напором, что я, так как был молод, поначалу растерялся. Тем более он добавил, что без членства в КПСС я всю жизнь буду работать в леспромхозе и руководящей должности мне не видать, как своих ушей.

— Вступай скорее, пока работаешь рабочим и это сделать легко,—сказал мне на прощание заворг.

Он дал мне на размышление всего три дня. Хоть работа в леспромхозе и была физической, но платили за эту работу очень хорошо, поэтому мне запали в душу слова Кирилова о том, что этой работой придётся заниматься до конца своих дней, а мне, как человеку с образованием, этого делать не хотелось. К тому же, чтобы получать за свою работу хорошие деньги, приходилось самому её учитывать, иначе бухгалтерия предприятия норовила всякий раз обмануть, не учесть при начислении зарплаты те или иные наряды. Так как сделанная за месяц работа была хорошо известна и при получении зарплаты чувствовалось, что тебя обманули, то ноги сами вели в бухгалтерию, где конторским клеркам приходилось извиняться, что забыли пропустить пару нарядов, которые обязательно учтут в следующем месяце. И так происходило из месяца в месяц, как будто бухгалтера выплачивали зарплату из собственного кармана. Кто не приходил на разборки, тому «прощали» выполненную, но неоплаченную работу. Поразмыслив, таким образом, пару дней, я пришёл к Кирилову и сказал, что согласен с его доводами и готов начать процедуру вступления в ряды КПСС. А процедура вступления была сложной. Нужно было собрать две рекомендации от партийцев со стажем и написать заявление. После рассмотрения заявления на заседании бюро райкома партии меня приняли сначала кандидатом в члены КПСС, а только через год я стал полноправным коммунистом. Но в течение этого года, а точнее—буквально через три месяца, меня уже назначили руководителем первичной организации районного комитета народного контроля, а ещё через три месяца избрали секретарём первичной партийной организации леспромхоза. Я пытался доказать в райкоме, что не имею права занимать такую партийную должность, так как не являюсь пока коммунистом, а всего лишь кандидатом в члены КПСС, но мне настойчиво объяснили, что бывают исключения из правил. С этим мне пришлось согласиться. Таким образом, полгода я руководил первичной партийной ячейкой, состоящей, в основном, из рабочего класса.

После принятия в ряды партии, практически на следующий день, меня снова пригласил к себе Кирилов, вместе с которым мы прошли в кабинет первого секретаря райкома Александра Бобкова, который после продолжительной беседы предложил мне занять пост председателя исполкома Туринского поссовета, как сказали бы сегодня—мэра столицы Эвенкии. Он не требовал от меня сиюминутного ответа, но по нему было видно, что вопрос уже решён и без моего согласия. Тем не менее, чтобы соблюсти процедуру, пару дней на размышление мне дали. Такого оборота событий я никак не ожидал и был в буквальном смысле слова этим ошарашен, но «приговор», как говорится, был окончательным и обжалованию не подлежал. Мне был всего тридцать один год, и опыта советской работы у меня не было; правда, недавно меня избрали депутатом Илимпийского райсовета, но это ещё ни о чём не говорило.

Вскоре меня избрали депутатом поссовета, и на организационную сессию пришли председатель райисполкома Юрий Сидоров и сам председатель Совета народных депутатов Эвенкийского автономного округа Василий Чепалов, чего раньше никогда не было. Они пришли, конечно, на смотрины, чтобы лично убедиться в моей грамотности и организаторских способностях. После объявления в работе сессии первого перерыва они удалились, не сказав мне ни слова…

Прошёл год. За это время я освоился со своей работой. Продолжил начатое предшественником строительство первого в Туре кирпичного детского сада, руководил содержанием всех уже имеющихся детских садов, следил за их работой, особенно в суровый зимний период, занимался благоустройством и озеленением окружного центра, проводил сессии и заседания исполкома. Принимал участие в сессиях райсовета, был делегатом районных и окружных партийных конференций, участвовал в различных районных и окружных семинарах и совещаниях по ликвидации политической безграмотности, регулярно посещал лекции и семинары политучёбы, которые проводил районный комитет партии. Все эти партийные и общественные мероприятия сближали людей, учили их общению между собой, выявляли организаторские способности, особенно у молодых людей, чего в сегодняшней жизни так не хватает. Организованность и дисциплина помогали людям в повседневной жизни, не было выпячивания таких пороков, как зависть и жадность, которые превалируют в сегодняшнем свободном обществе, зато сплетни и доносы были обыденным делом.

Вспоминаю случай, когда Анатолий Горбунов, председатель районного комитета народного контроля, затеял проверку поссовета по поводу устройства детей в детские дошкольные учреждения в соответствии с имеющейся в поссовете очерёдностью. Проверка почему-то состоялась в моём отсутствии, когда я был на учёбе в Красноярске. У секретаря поссовета Антонины Чернозубовой контролёр изъял папку со списками очередников и досконально её проверил. Об этом рассказала секретарь по моём возвращении в Туру. Криминала, естественно, выявлено не было, так как приём детей проводился строго по очереди, но вся эта акция прошла в строгом секрете. При разговоре с Горбуновым, он даже ни словом не обмолвился со мной о проведённом «обыске», как будто его и не было. Документально проверка тоже нигде не была зафиксирована.

Только через какое-то время до меня дошло, чтó послужило поводом для этой проверки. Третий секретарь окружкома партии Галина Черных в телефонном разговоре приказным тоном хотела заставить меня принять в садик дочь её приятельницы, с чем я категорически не согласился. Тогда она заявила, что если я этого не сделаю, то буду вынужден «положить на стол партийный билет». Я, естественно, не выдержал и высказал в грубой форме, что не она мне его вручала и не ей его отбирать. Тогда она, чтобы найти хоть какой-нибудь криминал, натравила на меня комитет народного контроля, а так как криминала не нашли, то инцидент на этом был исчерпан. Правда, она своего всё равно добилась, только минуя меня. Устроила ребёнка напрямую через заведующую садиком. Я об этом узнал слишком поздно, поэтому никаких мер воздействия к заведующей применить не мог, да и, в конце концов, конфликт руководителя низшей власти с высшей партийной властью округа сулил мало чего хорошего. С возрастом я всё больше убеждался в своей правоте.

Очередной вызов моей персоны в высшие эшелоны партийной власти произошёл через два года работы в поссовете, но уже к самому высокому в округе начальству, первому секретарю окружного комитета партии Николаю Рукосуеву. Идя к нему, я мучился догадками, по какому поводу он меня пригласил к себе. Может быть, у него есть претензии к моей работе, или кто-то конкретно пожаловался на меня? Тогда почему приглашает «первое» в округе лицо, хотя есть достаточно и других боссов, рангом ниже? Рукосуев встретил меня дружелюбно, спросил, как дела, не надоела ли мне эта работа и не пришла ли пора её сменить; при этом в интонации его голоса появились презрительные нотки к моей должности председателя поссовета. В этот момент я понял, зачем меня сюда пригласили.

— Освободилось место директора Экондинского совхоза, и мы тут решили назначить тебя директором. Надеюсь, ты возражать не будешь? — неожиданно выпалил первый секретарь.

От такой новости у меня затряслись руки. Я хорошо знал, что представляет собой совхоз «Экондинский», и начал лихорадочно искать и приводить аргументы против этого назначения, но «они» уже решили, и их решение было непререкаемым. Короче, мне было дано время подумать и посоветоваться с семьёй. Как пришлось выкручиваться из этой ситуации — это уже совсем другая история, но в Эконду я не поехал. Партия мне этого не простила. Было дано устное указание председателю окрисполкома и второму секретарю окружкома КПСС, чтобы меня по служебной лестнице выше не двигать, а работать мне и дальше чиновником самого низкого ранга по меркам окружного центра. Об этом я узнал только через три года, как говорится, из первых уст — от бывшего второго секретаря окружкома, который к тому времени был уже первым, а я — заведующим оргинструкторским отделом Эвенкийского окрисполкома, когда мы вместе с ним участвовали в весеннем суглане в Полигусе. Заведующим отделом я стал буквально через месяц после разговора в окружкоме партии, так как председателем окрисполкома был образованный, умный и порядочный человек, представитель эвенкийского народа, которому указания партийного босса были «до лампочки», и он руководствовался в работе не императорскими замашками, а здравым смыслом и интересами дела. Под руководством Василия Ефремовича я проработал практически до перестройки, до того времени, когда навсегда покинул этот суровый, но по-своему привлекательный край.

На работу в партийные органы меня так и не взяли, хотя были предприняты попытки в этом направлении. Рукосуев был злопамятным человеком и не мог простить моё неповиновение. Уехав в краевой центр и занимая в крайкоме солидный пост, он не утвердил меня на высокую должность в окружкоме, а был назначен на это место другой человек. Об этом я нисколько не жалею, да и сама жизнь показала, что я там не должен был работать, так как это направление в скором времени упразднили.

Сама партийная система, особенно её высшие органы на местах, была настоящей карательной службой, которая, не гнушаясь никакими методами воспитания своих «товарищей по партии», особенно занимающих руководящие посты на административно-хозяйственной работе, порой доводила их до больничной койки, а иногда и до могилы. Помнится случай, когда после одного из заседаний бюро окружкома партии директора

Котуйского совхоза Владислава Звёздкина, которого «пропесочили» на нём «по полной программе», по возвращении в Ессей хватил инфаркт с летальным исходом. Коренной москвич, недавно приехавший из столицы, жаждущий романтики Севера, его хозяйственного освоения, так нелепо закончил свою жизнь вдали от родины. Говорили, что чистка на заседании бюро якобы здесь ни при чём, но народ, до которого дошли подробности того «крутого разговора», просто так не обманешь.

Моя партийная карьера завершилась должностью секретаря первичной партийной организации окрисполкома, которую я принял от Валентины Ильиной, секретаря окрисполкома и моего непосредственного начальника по службе. На этой общественной работе я приобрёл хороший опыт общения с людьми, который мне в дальнейшем очень пригодился.

Было много интересного в деятельности нашей партячейки, но мне навсегда запомнился один курьёзный случай.

Никита Оюн, тувинец по национальности, но женатый на эвенке, всю жизнь мечтал занять высокий пост в партийно-советских органах округа. Пределом его мечтаний была должность председателя районного комитета народного контроля, но она была занята. В то время проводилась очередная, не помню, какая по счёту, кампания борьбы за трезвый образ жизни, и он занимал пост председателя окружного общества борьбы за трезвость. Его кабинет располагался на первом этаже здания окрисполкома, с окнами, выходящими во двор, на служебные гаражи. Однажды из окружкома партии мне поступило для рассмотрения и принятия решения заявление, а точнее—жалоба, от члена нашей партийной организации Никиты Оюна, в котором он уличил председателя районного комитета народного контроля Вагиса Сабитова в непристойном поведении в рабочее время, а проще говоря—в пьянстве. Мне сразу стало понятно, почему появилось это заявление. Во-первых, Оюн хотел этим показать, что он непримиримо борется с пьянством, а во-вторых, вдруг его заявление, как сейчас говорят, «выстрелит», и в результате этого освободится место и воплотится в жизнь его «розовая» мечта. Пришлось предварительно побеседовать с Сабитовым по поводу изложенных в письме фактов, а затем экстренно собирать партийное собрание, где внимательно выслушать автора нашумевшего «бестселлера».

— Каким образом вы уличили Сабитова в пьянстве в рабочее время?—задал я вопрос заявителю.

— Дело было перед обедом, около часу дня,—начал своё повествование Оюн.—Я посмотрел в окно и увидел около гаража Вагиса Ахатовича, который стоял и разговаривал с мужиками.

— Ты подошёл к ним и тоже вступил в разговор?—задал я второй, вытекающий из первого, вопрос.

— Нет, я к ним не подходил.

— А как ты тогда определил, что Сабитов был выпивший?

— У него было лицо красным, и шапка сдвинута на одно ухо,—выложил «железные» аргументы Никита Алексеевич.

— Так ведь на улице зима, мороз и ветер,—пытался я опровергнуть доводы заявителя.—Может, у него лицо красное от мороза, и ухо замёрзло, поэтому он сдвинул шапку на одну сторону.

— Нет, он был выпивший,—не унимался автор письма.

— Ты экспертизу на алкоголь проводил? У тебя есть медицинское заключение?

— Нет.

— Тогда как ты можешь оговаривать человека, не имея на то неопровержимых фактов? Ещё кляузу написал в окружком.

Оюн стоял, опустив голову, и молчал. Больше сказать ему было нечего. Единогласным решением участников партийного собрания Никите Алексеевичу было сделано устное замечание за его столь поспешные выводы и поведение, недостойное звания члена партии. На этом инцидент был исчерпан.

В рядах КПСС я пробыл всего семь лет, вплоть до её ликвидации, но эта школа меня многому научила. Я получил богатый опыт общения и работы с людьми, научился их ценить, брать на себя ответственность за порученное дело и всегда старался оправдать доверие и не подвести своих более опытных старших товарищей. Я никогда не пожалею о том, что часть моей жизни была связана с КПСС, что я жил в ту эпоху, когда людей уважали не за размер кошелька, а за их деловые качества и организаторские способности.

Владимир Спектор

Боль кричащих поездов

Он позвонил в середине декабря 1994 года и предложил встретиться. «Хочу написать для «Киевских ведомостей» о тебе и о твоей дочке. Не возражаешь?» Конечно, нет. Предложение было неожиданное и лестное, тем более — от Пети, который писал всегда только честно и в основном лишь о том, что ему нравилось.

Спасибо «Молодогвардейцу»

Мы познакомились в 1976 году в редакции «Молодогвардейца», которая в то время, будучи официальной комсомольской областной газетой, являлась ещё и своеобразным клубом для любителей литературы и кино. По крайней мере, я, инженер-конструктор тепловозостроительного завода, мечтавший издать когда-нибудь свою книгу стихов, спешил в редакцию после работы почти каждый день.

Пообщаться с Витей Филимоновым, заведующим отделом пропаганды и агитации, знатоком поэзии, киноведом, человеком остроумным и ироничным, но в то же время трогательно заботливым по отношению к тем, с кем ощущал духовное родство, — это были просто счастливые моменты среди серых будней.

Именно Филимонов представил меня молодому человеку в стильной вязаной майке поверх рубахи, с доброй улыбкой на лице и серьёзным взглядом из-под очков. Им оказался Петя Шевченко, новый сотрудник редакции, выпускник педагогического института, автор очень интересных стихов на украинском языке. С первого взгляда подкупали его интеллигентность и доброжелательность. Как выяснилось, он уже читал мои стихи в газете и сказал о них несколько тёплых слов. Сейчас понимаю, что это была простая вежливость, но тогда любая похвала была для меня, не избалованного вниманием старших товарищей, что называется, на вес золота.

Наверное, наше общение было взаимополезно. Их эрудиция требовала выхода, а я был благодарным слушателем. Они открыли для меня Межирова и Самойлова, Левитанского и Тарковского, Шпаликова и Юнну Мориц. Странно, что эти большие поэты, чей уровень, на мой взгляд, сравним с плеядой Серебряного века, сегодня малоизвестны. Мне кажется, их влияние на развитие поэзии, на её нравственное содержание огромно и недооценено.

Мы читали стихи, размышляли о том, как и о чём нужно писать, что читать. Однажды Петя подарил мне книгу. «Это одна из моих любимых, — сказал он, — здесь есть стихи чилийца Висенто Уидобро».

«Твори свой мир, но не расходуй слово и помни: холостой эпитет — смерть. Не для стихов ли всё, что есть на свете? Любой поэт — всегда немного бог», — видимо, эти строки южноамериканского поэта совпадали с мыслями Шевченко. Вот только богом он себя не считал.

«Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги. Значит, есть, наверно, и друзья…»

Хотя волшебником для меня и дочери стал. Он пришёл, как договаривались, в гости и притащил несколько банок с вареньем. «Это — вам, чтоб слаще жилось. А чтоб интересней — рассказывайте о своих затеях». К тому времени мы с дочкой Ирой уже выпустили на местной телекомпании «Эфир-1» около двух десятков молодёжных телепрограмм, которые назывались поначалу «Класс!», а потом — «Красная шапочка».

Были они весёлыми, динамичными и жизнерадостными. Это, да ещё искренняя непосредственность и обаяние юной ведущей привлекали внимание зрителей. И не только в Луганске. Киевская сеть «Уника» транслировала региональные программы, среди которых была и наша, по столичным каналам. По итогам опроса в декабре 1994 года киевляне назвали «Красную шапочку» одной из лучших передач, что и стало поводом для написания статьи. Кстати, по словам Пети, она была для него «выставочной» накануне начала работы в «Киевских ведомостях». Статья получилась талантливой и доброй. Впрочем, иной она и быть не могла. Ведь она была написана не просто замечательным журналистом, но и другом. Он ценил дружбу, был человеком надёжным, на которого всегда можно положиться в трудный момент. И ещё о его деликатности и интеллигентности. В то время руководство «Эфира» предложило ему делать аналитическую программу по проблемам политики и экономики. Предложение заинтересовало Петра. Но, ощутив в процессе подготовки первого выпуска ревность и определённую недоброжелательность со стороны коренных «эфировцев», он отказался от этой идеи. «Они там такие молодые, жестокие и амбициозные. Ну чего я буду переходить им дорогу, если они хотят всё делать сами?..»—сказал тогда он мне. И, наверное, был прав. Хотя программу сделал бы отличную.

После выхода статьи нас с Ирой пригласили для участия в съёмках цикла передач «Высший класс», которые транслировались по всем центральным украинским каналам. Это была большая удача, и вместе с нами искренне радовался Петя, ставший для «Красной шапочки» воистину добрым волшебником.

Он гордился своей газетой, и его материалы в ней всегда были одними из лучших. Старался, чтобы они были «эксклюзивными», находил необычные темы, уникальных героев публикаций, оригинальную форму их подачи. И всё же для меня он, прежде всего, выдающийся украинский поэт. И это не преувеличение.

«Прошедшее время, прощай…»

Со дня знакомства мы наблюдали и переживали друг за друга. В наших отношениях не было зависти. И потому взаимные успехи, столь в то время нечастые, воспринимались как свои собственные. Масштабные публикации Шевченко в журнале «Украина», в альманахе «Вітрила», выход общего с ещё двумя талантливыми авторами сборника—всё это было элементами постепенного признания его таланта официальными литературными чиновниками.

Он действительно создавал в поэзии свой мир. Его стихи были узнаваемы по стилю, по манере письма, по неповторимости языка. Кстати, при его трогательной любви к своей Родине и народу он не был националистом, и русский язык был для него таким же родным, как и украинский. И это тоже было одной из причин, по которой он так трудно и медленно поднимался на поэтический олимп.

Огорчительно, что сегодня некоторые националистически настроенные политики пытаются представить Шевченко своим единомышленником. В этом я глубоко сомневаюсь. Хотя политикой, как всякий неравнодушный к судьбе своей страны человек, он занимался тоже. Но об этом чуть позже.

Горжусь тем, что одним из первых стал переводить стихи Петра Билыводы (а именно такой поэтический псевдоним взял себе Шевченко) на русский язык, тем, что он одобрительно отзывался об этих переводах. Вот одно из его стихотворений:

Мне кажется, всё, что прошло,—пока лишь наброски, и, честно,
Не поздно в ладони железной, измяв их, забыть всем назло.
Прошедшее время, прощай. Прощайте, друзья и подруги,
Прощайте, последний трамвай, калины краснеющей руки.
Так пусть растворяется ночь, и в ней все надежды, что живы,
И все, кому мне—не помочь. Пусть дни гопаками звенят!
Как бомбы с замедленным взрывом, наброски из окон летят.

Что интересно, он отмечал перекличку с моими строчками, написанными примерно в то же время:

В чём-то похож на всех, в чём-то—лишь на себя,
Как прошлогодний снег на эталон дождя.
Кто-то уходит в ночь, тень утопив в снегу.
Мне ему не помочь. Но всё-таки—помогу.

О его поэзии можно много и умно говорить. Но лучше, чем Филимонов, всё равно не скажешь. Да я и не литературовед. Но как читателю и как собрату по перу мне его стихи очень близки. Они совестливые и искренние, честные и глубокие по смыслу. Ну а уровень владения словом у него был от природы—мастерский.

Он был профессионалом во всём. В литературе и журналистике, в киноведении, в знании жизни и в отношении к людям, в воспитании детей.

Сделанный им доклад по проблемам развития кино был признан на киевской конференции одним из самых интересных. А каким был киноклуб «Волшебный фонарь», который организовали Филимонов и Евгений Марголит! И там Петя всегда выделялся своим анализом, трактовкой того или иного фильма, умением увидеть второй план, выделить главное, рассказать об этом спокойно и неторопливо, без кичливости и высокомерия.

Кому мешал этот клуб, где можно было увидеть и, более того, пообщаться с легендарным Андреем Смирновым, Василием Ордовским, Андреем Сокуровым, другими режиссёрами, посмотреть фильмы, о которых до той поры мы могли только читать в журналах? Закрыли, поломали судьбу Филимонову. Ради чего? Сегодня молодым людям и не понять тех перипетий. А старики всё ностальгически вздыхают: какое хорошее было время… Конечно, было и хорошее. А было и такое.

Политика хуже поэзии

После разгрома клуба и отъезда Филимонова долгое время мы с Петей виделись достаточно редко. Это был период, когда я решил, что писать стихи больше не буду, и всерьёз занялся изучением аэродинамических и гидравлических расчётов, конструкцией тепловозов. Но, как говорят, жизнь берёт своё—даже тогда, когда ничего не даёт.

Символом перестройки в Луганске стали выборы народного депутата СССР. Одного из кандидатов в депутаты, известного журналиста Юрия Щекочихина, поддерживала активная группа демократической общественности, в которой одним из лидеров был Пётр Шевченко. Встретив меня на улице, он предложил поучаствовать в кампании. В общем, это было интересно, и победа Щекочихина представлялась как новый прорыв к лучшей жизни.

На таком же подъёме прошли и выборы в местные советы в марте 1990 года, на которых неожиданно для многих Петя стал депутатом Луганского областного совета, а я—городского. Для меня это было трудное, но счастливое время. Долгожданный выход первой книги, депутатские хлопоты, работа с наказами избирателей… Мы встречались нечасто, но пару раз—вместе со Щекочихиным, с которым меня познакомил именно Петя. И тогда, втроём, мы говорили не о политике, а о литературе и поэзии. Хотя вечная торопливость Юрия Петровича время общения сокращала до минимума.

В 1994 году Шевченко реализовал давнюю идею—выпустил при поддержке найденных им же спонсоров альманах «Декалуг», собрав под одной обложкой десять луганских поэтов, творчество которых уважал и ценил. Делал он книгу сам, отбирая и авторов, и стихи на свой вкус. Я не знал о готовящемся альманахе, и когда увидел его уже отпечатанным, со своими стихами, да ещё и расположенными рядом со стихами Билыводы, был просто счастлив. Вот что Петя написал в предисловии:

«Ни один из авторов, представленных в книге, никогда не стремился громко кричать и бежать впереди так называемого прогресса, в какие бы цвета он ни наряжался. Возможно, как раз поэтому у некоторых из них, если не у большинства, в своё время возникали проблемы в отношениях с властью или издателями. Принято считать, что настоящая поэзия—явление преимущественно столичное. География предлагаемой книги—наоборот, восточная провинция Украины. Умножив её название на количество представленных поэтов, мы и получим „Декалуг“».

Василий Старун, Сергей Панов, Владимир Ефанов, Лариса Класс, Сергей Чирков, другие авторы—ощущать себя с ними в одной компании было тепло и приятно. На мой взгляд, книга получилась очень любопытная. Жаль, что она так и не стала событием культурной жизни. Впрочем, и тогда, и сейчас большинству людей—не до поэзии.

А Петя собирался выпускать второй номер альманаха, готовил материалы. Да только жить ему оставалось очень недолго. В конце 1996 года я официально поменял род деятельности, расставшись с заводом, где проработал почти двадцать три года. Работа на радио «Скайвэй», поначалу казавшаяся интересной и творческой, отнимала массу времени, так что домой я возвращался поздним вечером. Мы редко встречались с Петей, но иногда перезванивались. После выхода моей книги «Оглянись» он позвонил и поздравил, отметив, что понравилось большинство новых стихов. Это была дорогая для меня похвала.

По-моему, в середине февраля 1997 года мы виделись в последний раз. Он жаловался, что приходится писать не о том, о чём хотелось бы. Сказал странную для меня тогда фразу: «Время такое, надо быть осторожным…» Я не придал тогда значения этим словам.

Не знаю, кто довёл его до гибели. Но виноват этот преступник не меньше, чем Дантес или Мартынов. Он отнял у нас хорошего человека, надёжного друга, замечательного журналиста и большого украинского поэта.

Ваш сын ходил на Цареград, явив и силу, и отвагу,
Во славу рода и присяги, он возвращается назад.
Не дождь на ниву вашу—град…
Но не о том поётся в песнях, в печальных наших повестях.
Там конь и поле, гром и площадь, её холодный дождь полощет.
И там совсем нет места снам и скорым, вещим поездам,
Кричащим нам из синей ночи.

В 2012 году Петру Шевченко исполнилось бы только пятьдесят восемь лет. Но уже пятнадцать лет его вещие поезда, несущие бесценный груз стихов и воспоминаний, кричат нам из синей ночи, дорога до которой оказалась у него слишком короткой.

Геннадий Сазонов

Тяга к алтарю

Со мною

Когда вижу тебя — загорается взгляд,
Жар в груди разливается сладко,
Грусть-тоска отстаёт, я улыбчив и рад,
И опять ты для сердца — загадка!

Жизни мрак пред тобой
задрожал и исчез…
Как случилось — понять я не в силах!
Но поверить могу,
что сошла ты с небес
и земную красу сохранила.

Да и ты весела, когда видишь меня,
Расцветаешь, как ландыш весною.
Всё поёт, и звенит, и ликует, звеня:
Я с тобой, ты со мною, со мною!

Работа

Люблю, когда работы много,
Когда хлопот невпроворот.
И не люблю тот час убогий,
Кода работа не идёт.

Люблю, когда у дома стружки,
Азарт в руках, и мало дня.
Дела нужны — не побрякушки!
Суровый возраст у меня.

Но это всё — скорее, притча.
И меркнет пёстрый личный быт,
Когда во всём своём величье
Мне в душу Родина глядит.

Какие ж надо взять скрижали,
Работу сделать, выжать пот —
Чтобы её не унижали,
Не гнали Русь на эшафот!

Старец

Божественной бронёй
закрытый от всего,
тот дивный старец —
светоч сердца моего!
Сияет, светит мне
и день, и ночь,
чтоб первородный грех
сумел я превозмочь.

Скифия

В сердце стучит вековая метелица
И первобытья пора…
Хладная Скифия верою греется,
Словно сидит у костра.

Грезятся ей за мечтою далёкою,
За узорочьем ветвей —
Град несказанный, страна светлоокая,
Маковки русских церквей.

Греется верою в первородство,
В долю святую свою:
Злата дороже иметь благородство,
Честность и храбрость в бою.

Воины-скифы врагов покорили,
Бились в Троянской войне…
Лики их светлые в дымчатой пыли
В сердце приходят ко мне.

В сердце стучит вековая метелица,
Век промелькнул или год…
Хладная Скифия верою греется
В то, что за гробом грядёт.

Молитва

«Встану
на рассвете алом,
Ничего не повторю!»
Сколько лет
во мне звучала
Эта тяга к алтарю
Жизни чистой, позабытой —
Знал её,
когда был мал…
Но ломало тягу бытом.
Тягу я ещё ломал!
Думал,
что двойная сила
Повернёт теченье дня…
Но по капле уходила
Человечность из меня!

Завтра всё начну сначала.
Ничего не повторю.
Пусть и сил осталось мало —
Только к свету, к алтарю!

Родимый язык

Не мните: «Разбито корыто…»
Нутром вы—в чужом далеке.
Могучая сила сокрыта
В родимом моём языке.

Глаголом блеснёт, приподнимет,
Пометит раздумье на лбу,
Прибьёт ненавистников имя
К позорному века столбу.

Над словом заветным и тучи
Сгустились, и буйствует зло.
Язык, словно ливень могучий,
Нахлынет—и в сердце светло.

Литые славянские корни
Прошли сквозь огонь и века.
Шепчу я слова, и просторней
Становятся поле, река…

И путь в поднебесье узкий
Осилить с ним легче потом.
Бледнеют английский, французский
Пред русским родным языком!

Жар-цветок

Тех, окоторым ничего не надо,
Только можно в мире пожалеть.
Сергей Есенин

С утра в окне—подковой счастья—
Рисунок озера висит,
И даже ранее ненастье
Не омрачило чудный вид.

На старой лодке отправляясь,
За синей заводью сорви—
Себе на радость, всем на зависть—
Цветок на острове Любви.

Он дивным жаром весь пылает—
Как уголь в печке—над водой…
И в сердце вдруг любовь былая
Воскресла песней золотой.

Мир проще стал, а я—моложе,
И сладок воздуха глоток.
Вот что с душою сделать может
Хотя б один любви цветок!

Тайна

Моя аптека—луг заречный,
Мой доктор—синеокий бор.
Свиданье наше длится вечно,
Как вечен этот свет-простор.

И только он меня врачует
От порчи, сглаза и вражды.
И от него в душе кочует
Свет неразгаданной звезды.

Наши мамы

Брильянты, роскошь
Женщинам нужны
И прочие подарки сатаны…
А наши мамы
Этого не знали:
В чаду и революций, и войны,
К наживе лёгкой
Страсти лишены,
Порою жили
Будто на вокзале.

Ломали их
И голод, и беда.
Но в доме чисто было завсегда.
А пуще хлеба
Совесть сберегали!
Струит над ними
Вечная вода.
Я это не забуду
Никогда:
Они России
Выжить помогали.

А эти, в жире глазки утопив,
В ушах качая
«Самый эксклюзив»,
Страну родную
Жадно пожирают…
Брильянты, роскошь
Женщинам нужны
И прочие подарки сатаны—
Другого бога
Эти и не знают…

Осень

Одиноко бродит
по лугу ворона,
И, храня о лете
тайную печаль,
Паутинами посеребрённая,
На ветру позванивает
солнечная даль.
Мир глубоко дышит.
Всё—в плену покоя.
Нависает долгая тишина.
И в душе—спокойствие
дивное такое:
Кажется, понятен я себе до дна!
Вольно и просторно.
И в жильё не хочется.
К лесу—через поле
напрямик.
Луг—мой друг старинный,
и сестра мне—рощица,
Словно я из листьев
и травы
возник!

Эскиз

В разгуле войн,
и митингов, и улиц,
Где всякий кровью брата
сыт и пьян,—
Начало Века и конец
сомкнулись
Под знаком
истребления славян!

Вожди-рабы
народы разделили,
И торг открыт…
Не проданы пока
Напевы птиц
и блеск озёрных лилий,
Бездонный воздух,
я
и облака…

Скрипачка

Не скрипка в руках у ней—сердце!
И только смычок упадёт—
Беды и удачи соседство
Возникнет из таинства нот!

Как будто родной тебе голос
Зовёт всё с начала начать.
И жизнь, что вчера раскололась,
Вдруг целою стала опять!

Никто не узнает, не спросит,
Как это случилось с тобой.
Уходит скрипачка, уносит
Поющее сердце с собой!

Вечера в Вологде

По вечерам
Звонят в колокола,
Над Вологдой—порывистые звоны.
Жизнь вдруг предстанет
Сказочно светла—
У света и любви свои законы!
Плывет рождённый медью
Долгий звук
И тает где-то далеко за рощей.
И этим, хоть на миг, разорван круг
Привычной отчуждённости
Всеобщей.

Благодарность

Потянуло дымком
деревенским
под вечер,
По заснеженной тропке
бреду…
Этот миг
отлетающий
сладок и вечен,
Будто спелое яблоко
в райском саду.

Чёрный хлеб на столе—
как святая награда,
И вода родниковая—
лучший бальзам.
Что ещё для блаженства
минутного
надо?
Благодарность
Земле
и седым Небесам!

В парке

Нам осень подарила
день один—
Сухой и тёплый;
по аллее старой
Под трепетанье
ранних паутин
Среди берёз мы шли
беспечной парой.

В моей руке доверчиво—твоя,
И в золото нас осень одевала.
Где ты теперь? Давно не знаю я!
Но время мне тот день
не заслоняло.
Жизнь помнится
мгновеньями,
когда
Душа с душою воедино слита!
И мы не знаем,
где нас ждёт беда,
И сердце
свету и теплу
открыто…

Константин Мунтяну

Окна далёкого поезда

Отрывок из книги «Открытые письма к писателям»

…И как я могу окончательно уйти от того Иона Друцэ, лента воспоминаний о котором, как ни старались годы её стереть, такая ясная и светлая, что часто, проявляя её, ловлю себя на мысли, что вздыхаю сладкой беспомощностью бедной Русанды из его «Листьев грусти»: и что поделаешь, Господи, что поделаешь!..

Вот, например, я—студент ГИТИСа, со всеми вытекающими отсюда последствиями. С одной стороны, мысль о том, что я учусь в одном из самых престижных учебных заведений Советского Союза, приятно щекочет мою жаждущую лавров душу, а с другой—Боже, когда у тебя в кармане всего восемьдесят шесть копеек, а стипендия, как назло, приближается со скоростью улитки…

— Алло, это квартира писателя Иона Друцэ?

Ах, маэстро! Как бы сильно ни боролись во мне гордость с голодом, и глаза ещё не просохли от пережитого накануне в Малом театре и особенно от ошеломившей меня новости, что все мы в этом мире, увы, преходящи, и единственный выход—это… жили бы «Птицы нашей молодости», как бы ни твердил я наизусть русскую пословицу о непрошеном госте, который хуже целого полчища татар,—находился я, как говорится, на критически отдалённом расстоянии от злосчастной стипендии, чтобы талант мой не навёл бы меня на мысль, что в Москве ведь проживают и несколько наших знаменитых соотечественников!.. Помните? После того, как вы подтвердили, что действительно являетесь Ионом Друцэ, а не каким-нибудь Ивановым или, Боже упаси, Сидоровым, зная, что вы давно уехали из Молдовы, из-за замешательства, вызванного извечной борьбой во мне идеи с материей, простите меня, но я, кажется, огорошил вас самым нелепым вопросом, какой вам когда-либо приходилось слышать:

— Вы понимаете… по-молдавски?

Спросить у отца у всенародно любимого героя—Трофимаша, знает ли он язык своих дедов и прадедов, признаю, маэстро, это что-то вроде высшего пилотажа тупости, как говорят по-русски! И особенно после того, как на одном дыхании ты выпалил ему в трубку всю свою биографию, услышать, что Друцэ приглашает тебя зайти в гости… и в тебе, идиоте, не возникло бы желание стать спринтером мирового класса…

И бегу я, значит, через метро, сквозь лабиринты московских улочек, и вот дом, подъезд; моя рука, которая, подобно босоногому детству из вашего рассказа «Издавна и издалека», посмела постучать в дверь известного писателя… И когда дверь открылась, не знаю, как с вашей плёнкой воспоминаний, я же вижу что-то вроде стоп-кадра. И таким причудливым мне кажется он, маэстро, что, увидав вас впервые в плоти и крови, я застыл на мгновение!.. И мне показалось, будто по ту сторону порога стою тоже… я! И смотрю на своё отражение в зеркале! Тот же рост, та же импортная (чехословацкая) футболка жёлтого цвета… И—о Боже!—те же джинсы по семь рублей пятьдесят три копейки тираспольского производства, в которые одно время была одета вся Молдова, походившая на что-то вроде Соловков или Китая шестидесятых годов…

Беседы, беседы… Вы, уставший от славы, всё склоняли наш разговор к новостям из Кишинёва и моего московского студенческого общежития, а я, с восемьюдесятью шестью копейками за душой и столькими же грандиозными планами на будущее, как и полагалось, больше был склонен к разговору о вечности: кто мы, откуда и, разумеется, куда движется наша родная Советская страна?.. Господи! В самый раз приделать меня к рогатке и из бедности семьдесят шестого года, на «радость» всем посткоммунистическим ястребам, забросить меня на тринадцать лет вперёд, прямо на патриотические трибуны-кормушки великих национальных собраний—предвестников демократий!..

Но, видимо, вдохнувшие запах плесени столичных библиотек писатели, какими бы уставшими ни казались, обладают ещё чем-то вроде туза козырного, то есть интуицией. В подтверждение этому, как только голос вечности во мне немного приутих, вы вдруг встали, вышли в коридор и вернулись с парой комнатных тапочек…

— Ну хорошо, хорошо!.. Артистом, значит, будешь? Понимаю…

И, бросив к моим ногам тапочки, незамедлительно пустили в ход того самого туза козырного, то есть интуицию:

— А ты, Костя… на что живёшь?

Дальше, маэстро, плёнка воспоминаний являет моему взору картину настоящего сумасшествия: стоп-кадр, где два молдаванина вовлечены в одно из самых деликатных действий, какие только придумал человек,—давать и брать деньги! Стоп-кадр, в котором Костя, стоя у дверей, клянётся, что не нуждается ни в чём… и, дескать, скорее готов умереть, но—никогда и ни за что на свете!.. и Ион Друцэ (одетый, как вы, очевидно, уже вспомнили, точь-в-точь как и я, то есть в одеяние чехословацко-тираспольского пошива), который выдвигает ящик шкафа… И вот высоко вверх поднимается его рука с двумя крепко зажатыми двадцатипятирублёвыми бумажками!..

— Ион Пантелеевич, ни за что на свете!—принимается скулить по комнате моё возмущение.

— Ладно тебе, знаем мы «ни за что на свете»!—вторит ему, то есть моему возмущению, ваше сомнение.

— Если вы мне дадите, я больше не приду!—принимается ёрзать моё возмущение.

— Ладно, уж, знаем мы «не приду больше»!—затыкает ему рот его сомнение.

— Ион Пантелеевич!—странно, но моё возмущение почти готово уступить.

— Да ладно, знаем мы «Ион Пантелеевич»!—чувствуя, что возмущение готово уступить, сомнение возьми да на мгновение призадумайся: хорошо ли то, что оно делает, не так уж и хорошо?..

И, о Боже, что за апокалипсис, маэстро?!

В ту самую минуту, когда я собирался ещё раз напугать вас, что «если дадите, я больше—ни ногой!», вдруг, одним махом затмив моё завтрашнее будущее… выпустили одну из бесценных для меня бумажек!

О, это плавное падение, подобно осеннему листу, преданное скольжение бумажки в ящик материального благополучия знаменитого писателя, это её убийственное подчинение закону всемирного тяготения, Боже, право, подобного садизма со стороны автора целой литературной эпохи я не ожидал!.. На минуту я почувствовал себя, если хотите, в шкуре Каштанки, несчастной чеховской собачонки, когда столяры-террористы, забавы ради, привязывали к нитке кусочек мяса и бросали его истощённому от голода животному: оно глотало его на лету, а столяры, потешаясь, вытягивали мясо из желудка несчастного!..

Как бы то ни было, но, видимо, не напрасно набрал я тогда ваш номер телефона! Поймал сразу двух зайцев: и познакомиться удалось, и… остались вы моим должником по части двадцатипятирублёвой бумажки…

Кадры, кадры!..

Мелькают они предо мной подобно окнам поезда, а поезд набирает скорость, неумолимо мчится время, и вот предстаю я перед вами в один прекрасный день с первой моей новеллой…

И даже когда вы её читаете, я вижу, как изредка на вас нападает что-то вроде кашля, и, прощаясь, вы делаете вид, будто забыли сказать мне что-нибудь о моём блестящем будущем, всё равно, маэстро: в тот миг, когда автор, представляющий целую литературную эпоху, кладёт на твоё плечо начинающего писаки свою руку в знак благословения—Господи, кто сказал, что на свете нет абсолютного счастья?!

Но вот и первый мой творческий кризис!

Застыл в квадрате стоп-кадра с опущенной головой Кости, неподвижно слушающим наставления Друцэ:

— Ты много говоришь, парень, зря растрачиваешь энергию, рассказывая свою биографию каждому встречному, и—пожалуйста, результат: у тебя отняли дар!.. Так что закрой рот, оставь прохожих в покое и помучайся немного!..

И—о Боже!.. какое чудо!—стоит мне на недельку-другую закрыть рот, как мой божественный дар—тут как тут!..

А если эта манна небесная снова оказывается рядом с Костей… э-хе-хе!.. Как жаль, что он, то есть я, родился, чтобы умереть аж с двумя убийственными для гениев страстями: любовью к уличным прохожим и неизлечимой ненавистью ко всякого рода страданиям!.. Потому что не будь их—кто знает, какие баталии разразились бы сегодня в перерывах между попойками в молдавском Союзе писателей относительно того, кто всё же представляет целую литературную эпоху: Друцэ или… Костя?..

Язык мой—враг мой!..

А поезд всё мчится, сотканная из окон лента-липучка вырывает листы календаря и нанизывает так много всего на нить воспоминаний! Вот—клочок счастья, а вот—бессильное, тупое отчаяние… Чтобы затем, взявшись за руки, счастье и отчаянье утонули в отблеске оконных стёкол мчащегося поезда: чего я искал? что нашёл?..

А Друцэ?..

Подобно таинственной Полине из «Шагреневой кожи» Бальзака, Друцэ был всюду со мной!.. Что-то вроде шелеста листьев ореха в моей жизни был он для меня!.. Потому что каждый раз, когда я начинал или доводил что-нибудь до конца, всегда чувствовал рядом его ясный и согревающий душу шёпот:

— Смотри хорошо, Костя, обдумывай шаги и соизмеряй свои силы. Эта жизнь, видишь ли, даже не знаешь!..

Я вас боготворил!

И когда случалось, что я предчувствовал появление даже еле заметного облачка, предвещающего приближение урагана, готовый погасить этот волшебный шелест ореха,—более рьяного защитника дела Друцэ вряд ли где-нибудь можно было сыскать!..

И вот при выходе из Центрального театра Советской Армии я готов был буквально задушить одну старушенцию, которая после спектакля «Святая святых» шептала своей вынутой из нафталина подруге, что, мол, «видите ли, дорогая, пьеса этого молдаванина... Друцэ... не кажется ли вам, что она уж слишком вегетарианская получилась?»... или—целый месяц мог не разговаривать с соседом по комнате в общежитии, киргизом. Всякий раз, когда я возвращался вечером с ваших спектаклей в полуобморочном состоянии, чтобы довести меня до окончательной потери сознания, он нет-нет да и накидывал свою Киргизию на мою бесценную Молдову: «Друца—это хорошо, но наша Айтматова—лучшая!..»

Откуда мне было тогда знать, что в то время как я воевал со всякого рода старухами и театральными коллегами, там, высоко, с высоты вашего полёта, в любой момент на вас мог обрушиться нескончаемый поток враждебных бурь?..

И когда в один из таких чёрных дней крыло урагана нанесло вам удар и с израненной душой вы опустились в кресло отчаяния, преданный тузик во мне, предчувствуя большое несчастье, оказался тут как тут!—при исполнении своих обязанностей... Он открывает дверь, входит в дом и, послушный, сворачивается калачиком у ног ваших страданий... В стоп-кадре так и застыли: тузик и раздираемый думами писатель...

Мне предстояло приехать в Кишинёв с миссией похлеще той, что получал когда-то сам Штирлиц: выведать, почему в театре им. А.П. Чехова прекращены репетиции спектакля «Святая святых»... Только сейчас я догадываюсь: вы хотели избавиться от страдания вдвоём... Так, по-видимому, поступает хозяин со своей собакой, когда хочет побыть один: забрасывает далеко палку (в моём случае—двухсотрублёвую бумажку), и покуда животное возвращается—успевает поразмыслить о своём...

К сожалению, последующие кадры, как вы наверняка догадываетесь, изображают тотальное бедствие: в Кишинёве «убийца» репетиций—как в воду канул, деньги, увы, истрачены, а когда Костя возвращается к своей нищете и к мысли, что близится день приезда в Москву ни с чем,—за что ему хвататься? Разумеется, за то, что Штирлицу и в голову не могло прийти,—за воротники уличных прохожих!.. Что—ах!.. дескать, мол, велико горе, товарищи! Лучший писатель Молдовы, понимаете ли, ай-ай-ай, как нехорошо получается!..

Спустя несколько дней, проведённых в духе «штирлицизма», о моей секретной миссии в Молдове знал лишь весьма узкий круг людей: моё родное село, телевидение, радио, Дом печати и, естественно, всего несколько потоков уличных прохожих...

...Одним словом, маэстро, пользы с меня—как с кота на привязи! Не приходит мне сейчас на ум, как бы это звучало по-молдавски, но по-русски то, что со мной приключилось, звучит удивительно точно: провал задания, или ещё красивее—конец ставки!.. И если моё задание провалилось, а со ставкой получилось что-то вроде «finita la comedia», не надо быть слишком умным, чтобы догадаться, какие страсти бушевали в душе бедного Кости в те минуты, когда со скоростью самого быстрого поезда возвращался он в Москву... С отчётом, разумеется!.. То есть раздираемый чисто молдавской мыслью: как сочинить для Друцэ эдакую сказку-небылицу?.. И не просто небылицу, поскольку по части сочинения вранья мы все хороши, но такую, чтобы в неё поверил бы сам Друцэ,—аж на все двести рублей, потраченных мной чёрт знает на что!.. То есть враньё, достойное звания студента ГИТИСа, а, как известно, ГИТИС в те времена—э-хе-хе: где он там, хвалёный Оксфорд, чтобы я ему кепку на глаза нахлобучил? Такое несусветное и жирное враньё, с энным количеством натянутых юбок легковерия, что, проглотив его, ошеломлённый моей большой преданностью и храбростью, маэстро начал бы рыдать и, обняв меня, впервые в жизни серьёзно призадумался бы, что, поскольку у него—дочери, ему, глядишь, непременно понадобятся и... зятья!

А вариантов небылиц—Господи!—Костя никогда не страдал от их отсутствия!.. То меня поймала милиция, и я, прошедший, как говорится, сквозь огонь, воду и так далее, поставил её на место; то репетиции вообще не начинались, и только после моего блестящего выступления перед коллективом театра,.. То (бери повыше!) трагедия Кишинёва заключается в присутствии в ЦК Компартии Молдовы пары очков, точнее—«кола в очках», который, в своём рьяном желании стать «столбом», то есть дойти до ЦК КПСС...

Напрасно, однако!

Потому что Друцэ, как бы я ни пытался обвести его вокруг пальца, виделся мне буквально до тошноты чувствительным ко всякого рода лжи!

Стало быть, оставался один-единственный вариант, честный, святой и ясный,—вариант Трофимаша, вашего героя! То есть прийти, пасть на колени и, как меня выдрессировал Станиславский, после нескольких искренних слезинок по-детски признаться: Штирлица из меня, увы,—ну никакого!..

Но, Боже, что за чудо, маэстро!—в то мгновение, когда, подобно Трофимашу, я ожидал с вашей стороны своей заслуженной кары, вы, будто узнали в ту минуту, что где-то недалеко взорвалась атомная бомба, умалив сразу значимость моего кишинёвского провала, вместо того чтобы выставить меня вон и, как говорится, дать понять, что в

Москве зятьёв — пруд пруди, вы вдруг поднялись из кресла и голосом, выражающим абсолютное удивление, выпалили:

— Моя пьеса в Кишинёве? Что за вздор, Костя?.. Тебе, видимо, что-то померещилось! Я же отправил тебя так… проведать мать, повидаться с друзьями… Ведь эта Москва — ну просто изматывает людей!..

И, не оставив мне времени, чтобы я успел как-то опомниться, вы ещё раз обдали меня холодным душем:

— Вот и эти рабочие… с мебельной фабрики… Делают такую халтуру!

И, подойдя к до боли знакомому мне шкафу, вы потрясли его, но, очевидно, халтуры не зря так называются, чтобы подчиниться первой же тряске…

— Видишь? И сейчас, Ион Пантелеевич, стой и жди, пока придут эти… с починкой!..

Стоп-кадр с большим писателем, прислонившимся к шкафу его материального благополучия, и — растерянным и застывшим от удивления студентом ГИТИСа… Открытое окно, приоткрытая дверь…

Заканчивалась эпоха…

Оказывается, бить себя кулаком в грудь, утверждая, что ты — лучший друг великого писателя, это то же самое, что поклясться, будто никогда не умрёшь!..

Назревала другая… эпоха, в слизистом болоте которой — лишь кое-где мелькало окошко с образом Друцэ…

— Алло!.. Ион Пантелеевич?.. Костя… из Кишинёва!..

Пауза. Слишком маленькое окошко, и слишком много времени утекло с тех пор, как мы расстались!..

— А-а-а, Костя!.. Да-да, припоминаю!..

И если окошко действительно маленькое, а разделяющее нас расстояние — неимоверно большое… и ты так много хочешь сказать, ах, так много!.. и всё сразу! Как тут не станешь говорить невпопад?

— А я, Ион Пантелеевич, пишу только на… русском!.. Так же, как и вы!.. Поскольку этот молдавский… здесь, в Кишинёве… сами понимаете!..

Снова пауза… За которой — уходящее окно и далёкий голос кумира:

— Что вам сказать, товарищ… Костя?.. Если бы ты писал на танзанийском или, скажем, на бурундийском…

И молчит телефон, и течёт моя жизнь, и бесконечно движется плёнка воспоминаний с грохочущим во времени и пространстве поезде…

СТРАНИЦЫ МСПС

Валерий Черкесов

Трава, пробившаяся сквозь бетон

Бударин С. Свет-синева: Стихи. — Самара: Русское эхо, 2012. — 56 с. (700 экз.)

Стихотворения двадцатидвухлетнего Сергея Бударина (а написаны они им, естественно, в более раннем возрасте) на сегодняшнем литературном поле, на котором буйно разросся бурьян интеллектуальной, рассудочной, или, как ещё её назвал один критик, силиконовой поэзии с вызывающе торчащими кочками постмодернизма, воспринимаются как зелёная трава, неведомо как пробившаяся сквозь асфальт и бетон.

Ветер метёт по земле
Воск шелестящей листвы.
Плещут в заоблачной мгле
Лебеди свет-синевы.

Лирический герой «Свет-синевы» пока, правда, больше смотрит, созерцает, рассказывает, а не действует и думает, но творческое поведение и мудрость, как известно, приходят с годами, а он до завидного молод. Поэтому позволю себе передать ему некоторые слова, которые слышал автор этих строк от поэта-фронтовика Николая Старшинова. Так, Николай Константинович говорил: подражать кому-то можно, но нужно знать — зачем подражать; все знают, как не надо писать стихи, но никто — как надо; слушай советы всех, но делай, пиши по-своему.

Явление «Свет-синевы» интересно ещё и тем, что это, так сказать, не «самопальное» издание. Вышел сборник в ходе реализации проекта «Народная библиотека Самарской губернии» за счёт средств бюджета области, при поддержке руководителя региональной писательской организации Александра Громова и поэтессы Дианы Кан, которая давно, бережно и в то же время строго пестует таланты. В наше время такое, в общем-то, удивительно: как это другие «старшие товарищи» просмотрели, промахнулись — не замолчали, не затоптали этот явно наделённый поэтическим даром молодой «росток»?!

Побольше бы таких добрых «промашек»!

Пётр Чейгин

Мой опыт не вместит земные звуки…

Из цикла «Связи»

Е. Волковысскому

1.

Крепи свою форму, солдат,
Всей кожей, ещё не прошитой,
Но вечных орудий подряд
Распарит твой рот неумытый.

И косами дёрнет сестра,
Себя возомнив сиротою,
Слепую колючку числа
Смыв чёрной и нежной водою.

И стаей расколется клён,
Впитав твой напев окаянный,
И волком весёлым с колен
Поднимется ветер с Каяла.

Каял невозможен тебе
И Темза с её потрохами,
На влажной ижорской резьбе
Твой пот, запечённый грехами.

Крикливый твой штык не спасёт,
Распутный юннат на припёке.
И крест, замыкающий рот,
Заблещет на юго-востоке.

2.

У подножия века и облака
Обнажая себя, как часы
С пешеходной пружиной из кобальта,
Красноватого телом… Расколота
Зона жизни на грани, вноси

Безымянных грехов географию
В примечаниях Герты моей
(И скворцу объясни эпитафию).

На развалинах крови и кротости
Вью письмо из горячих чернил,
Не дыша на июльские лопасти
Шевелящих надзорные новости
Плавников такелажа и крыл…

(«Принеси мне сонет о премудрости
Смерти в теле обидной реки,
Обвинив белый свет в аккуратности».)

3.

Скорым сквером устойчивый путник
Наизусть корректурой взмахнёт…
Перелёт, зашепчу, переплёт
И обрез золотой не аукнет.
На миру и чудесная вещь
Рвёт свободу и котится в пещь.

На миру, говорю, не аукнет
И впотьмах партитурой взмахнёт…
Не дожил — недолёт. Перелёт —
Если в пальцах рассада распухнет
Жёлтой грядки раскосых светил,
Что в зелёное слово вместил.

4.

Куда мне жить?
Я выстругал ручей,
И крепостной комар удумал крови,
Начистив клюв уверенной вороне…

Ободранная бодрая ворона
Летит на бой с ребёнком Тимофеем,
Она бросает ветки вяза вниз,
Отламывает клювом и бросает
Сухие ветки — близится гроза,
За нею осень вертится, осанясь
(Лексикологию замазав в воротник),
И сан на друге дочками повис…

В кого мне жить?
Без девушки с клюкой
И прочих пряностей из фартука слависта?
Запущенность колеблется от свиста
Причины — мачехи, и близок перебой
Бортов с шарами и клюки с рукой.

5.

Я думаю — я умер без конца
И без начала, что меня не огорчало.
Дыханье семижильного гребца
На черновое облако упало.

Письмо из Ниццы поднимало край
Сухой подушки, грело и стращало.
На милости её не вызывай.
Не называй. Запеленай начало.

6.
Стеснительность горниста и змеи
И юноши у логова старухи
На падшем слове обморожу руки
У павшего ищи слова мои…

«Где те слова, что я распеленал
Побуквенно на небе выжигая?»

Они на поводу у рифмы края
Патрульной рифмы мелового края
Где занавес стирают на финал…

Способный бес ей седину ковал
И рёбра гнул примеривая имя
Согласная согласными твоими
Она щипала жизнь как Фрейд «Коран»…

Устойчив милосердный океан
Свеж лепесток на крупе у кентавра
Наседка Рух вернула Минотавру
Гроздь мореходов Розовый стакан
Подножья утра уронила кобра
Стеснительная спала во дворе…

О той поре, намеренной поре,
Когда дышала кобра во дворе…

7.
Летели и падали в тело
Мгновенья его новоявленной воли

Желтело в стволах оружейных
И тлела моя портупея…

Но честная сабелька
Полднем распелась
И многих валяла…
Газета скользила и уши прошила
Готовностью к мору
От сопок до моря

До губ Посейдона
И лона касаток

Грех ярмарки копий
Подпруг и фуражек
Наутро раздует знамёнами дедов

И выльется бой из второго кувшина

……………………………

* * *

Но это косточка моя
Стучащая в гранит
Тебя и злобного коня
И сфинкса сохранит.

Всё потому что за рекой
Холодный поворот
Всё потому что ангел твой
Мне закрывает рот.

* * *

Олегу Охапкину

Притягивает гончая Земля,
Притягивает гончих насекомых.
Резной рассвет определений новых
И холод, затихающий в стаканах,
Прольются вспышками древесного огня.

Сторожевая вылитая лень
В накидке инкунабулы немецкой
Сор неба отмывает, происк женский
Глухой занозой тлеет на вселенском
Объятном ромбе, мчит ветвистый день.

Лети, глазастая гремучая звезда!
Над раструбом болот и лёгким небом,
По плоскостям, заговорённым Фебом,
Между Петром, Борисом, Павлом, Глебом,
Ясней и милосердней. Без следа!

Лети на тайнобрачный город мой
Голосовой затеей верных зданий,
Лети бездонно-чисто, мерой в раме,
Прицельным блеском, взятым тетивой.

Первое на Пасху

На корке угольной Страстную обнести,
Воскресный плач на куличе таится.
Чернильной розой выжженной столицы
Сыновьего греха не отвести.

Как притирает ивовые лица,
Что соли и Онего не вместит,
И карандаш блаженный разместит
Заглавные на вымытой странице.

Так стих пройдёт, и воздух-пенопласт
Накроет с головой и выдерет ресницы…
Но крупный снег—как белопенье птицы,
На Воскрешенье вышедшей на нас.

* * *

1.

Чужбина Солнца в теле загустела
Ласкаю пальцы времени ловлю
Откормленное утро отравлю.

Того гляди останется без дела
Зеленоглазый глиняный челнок
Запущенный для ветра без предела.

2.

Нет нам дороги горевать. Высок
Исток и крутит руки
У камерных ручьёв наискосок

Вмещающих в колодезной разлуке
Тень парки дунувшей на пушкинский висок
Мой опыт не вместит земные звуки.

Мартин Мелодьев

Зимняя торговля

* * *

Кто сказал, что любовь—
это высшее свойство души?
Вы любили, смеясь…
каждый раз это было впервые.
Из костюмов теперь
Вам, наверно, к лицу деловые,
очень строгих тонов.
А когда-то Вам пёстрые шли.

Вспоминаю шафраны,
анютины глазки, траву—
и тропинку,
ведущую исподволь к Вашему дому;
покидая, шепчу:
«Может быть, я затем и живу,
легкомысленной Вас
вспоминая сегодня другому».

* * *

Я помню, был СССР,
в который так хотелось верить!
Гигантский угольный карьер,
который так хотелось мерить.

Я помню марево Читы,
двух облупившихся горнистов
и в чёрной церкви декабристов
на Книге записей цветы.

Гори, звезда моя, гори!
Целебный дух полезен комлю.
…Я помню баню в Нерюнгри—
и комсомолок этих помню,
неизгладимых, как доска
в пустых акрилах Кабакова.
Они меня издалека
простят, такого и сякого.

Алмазный, хоть неси в Торгсин,
свет, процарапавший берёзы…
Рыдали в тундре тепловозы,
шумел камыш, и дул хамсин.
И над полотнищем заката,
Не отличимом от зари,—
чернильных туч дактилокарта.

Да, было дело в Нерюнгри!

* * *

Кромкой пены за кормою белый клевер
разбегается по мелким островкам.
Держит лодка, стрелкой компаса, на север,
к неизведанным, по счастью, Соловкам.

Горизонт качающийся—дымчат,
одинокий вымпел костерка…
Если в жизни нас хоть что-нибудь колышет,
в том числе—и меланхолия стиха.

* * *

Твой шаг, замешкавшись, грустит
на перекрёстках дробных звонов.
Октябрь на противнях газонов
сухие листья хворостит.

Так резок биллиардный блеск
на колпаках колёс, так чётки
на стылых лужах отпечатки
поросших деревом небес.

Октябрь!—И вскорости Брабант,
дотла разграблен и похерен,—
падёт. И несть числа потерям:
вот-вот ударит барабан.

* * *

Лысоват и сух кипарис,
римский бюст
на руинах скал.
Ветошь туч в голубом тазу
в ожидании швабры креста
навевает Эль Греко…
Мир
вертикален, сколь ни тяни
звука, дремлющего в праще
двух согласных…
St. John в плаще,
беспризорный экуменист.
Отвечаешь: «Не знаю слов»,—
говоря себе: «Помолись!»
Планомерный разбой часов,
недобитых Дали…
Отче!
Сыро. Ветрено. И вообще.

Серебряный цирк

Так идут по канату строки́,
по натянутой туго струне.
Балансировать шестом не с руки,
слишком просто: в сапогах по стерне.

Рассыпая дробь, оркестры ворчат
под брезентами семи шапито.
Говоря: «Как эти струны звучат!» —
как натянуты, не скажет никто.

На серебряной пластине слюды,
на чечёточной площадке листа —
силуэты оставляют следы:
так могла бы танцевать пустота.

Впереди у них смена вех,
элегантный соскок — voila!
И проглотит железный век
сероглазого короля.

А пока — по струне через цирк,
разделяя восторг неумех.
Из-под купола падает блик,
освещая серебряный цех:
Арлекина в костюме Пьеро,
поэтессу, в костюмах и без…
Серебро… серебро, серебро,
цвет и гордость
российской словесности.
Так, по струне церез цирк,
по струне, но зато без помех! —
и серебряный падает блик,
как слеза из-под век.

* * *

Сочини эту ночь,
чтоб в неё иногда возвращаться:
лунный снег облаков
и гипюр зацветающих слив,
бровь забора и дом…
ощущенье возможности счастья.
Акварельную воду толочь
предоставь молодым.

Разверни на листе
типографское кружево шрифта.
Проницательный взгляд
натолкнётся на строгий узор…
Бледно-розовый сумрак цветов
на асфальтовый остров ложится,
словно грунт на холсте,
становясь в основание слов.

Мост Golden Gate

Мосту минорно
в горсти тумана,
средь океана
он сам — корабль.
Высокомерна
его нирвана,
ветвей пролёта
красна кора.

Под неумолчный
призывный говор
набитых рыбой
морских слонов
он огибает
пустынный город,
косясь на грядки
цветных домов.

Воздушным змеем
у тёмных спален,
чуть ухмыляясь
карминным ртом, —
стоит смущённо,
как Вуди Аллен,
интеллигентом
или шутом.

И мимо центра,
где копит блёстки
гранит фонтанов
у входа в рай, —
кирпичной пылью
на перекрёстки
слетает с неба
диагональ.

Зимняя торговля

Над ущельем тулупа —
белый пар: «Газ-вода».
Как всё, Господи, глупо!
Как смешно, господа.

Сочини мне либретто,
гений драм — барабан!
Облетевшее лето
так и льнёт к холодам.

Эй, сундук, открывайся!
Громыхни ледяно.
Ври, дружок! Зарывайся
головой в эскимо.

* * *

Наклонной плоскостью заката удерживается звезда
над розово-голубоватым катком небесного пруда.

Разжат холодными клинками волнистых туч, как маркетри…
коснись обеими руками — он чуть шероховат, смотри!

Олег Ващаев

Эффект воронки

* * *

Речная волна, когда прибой, напоминает морскую;
Пахнет водорослями и рыбой—густо и нестерпимо.
Я уже не путаюсь в этой жизни, а со вкусом её смакую
Между озёрами Северной Ингрии и побережьем Крыма.

Время делало со мной то, что считало нужным.
Так нерадивый ученик Будды ринулся в православие.
Боялся зайти в протестантский храм, полагая это не просто чуждым,
Но и опасным… Открещивался заранее!

Потом, неожиданно: ша! и баста!
Шрам на шраме повсюду на тонком теле.
Не сказал: «До свидания»; сказал, чтобы стало ясно.
Вопросы сулят сомнения и поводы для истерик.

Был первым, бил первым, не пью с ментами.
Не мельтешу. Шажок за шажком по кромке.
И всё-таки—только первым. Иначе не наверстаешь.
Эффект бабочки (или матрёшки). Эффект воронки.

Речь не о выборе. Просто неинтересно.
Не купился на всё готовое. Не продаюсь построчно.
Людьми не двигаю. Не выгадываю на песнях.
Предосуждён пожизненно, освобождён досрочно.

Совесть ищет мне оправдания, ищет и не находит.
Хорошего мало. С плохим однозначно свыкся.
Словно спешил и вышел из дома, одевшись не по погоде.
Когда прижало—оказалось, что не укрыться.

Ладно,—сказал я себе и остался
Без гроша в кармане, на голом месте.
Питался воздухом, играл по клубам, но не вписался.
Пишу «в стол» и сам никуда не лезу.

Не выбрал стезю мещанствующего пиита.
Очарованный странник, глядящий в омут.
Не в чести за нервические сюиты,
Но пока живёхонек и не тронут!

Наконец до меня дошло: закон что дышло
И не писан тем, кто на всё способен.
А если «как бы чего не вышло»,
Тебя будут иметь даже те, кто тебе подобен.

Впрочем, как расставлены приоритеты:
Или любовь жены, или страсть к Евтерпе.
Совпадение невозможно, а стихи—это тоже дети
И твоё продолжение после смерти.

* * *

Запах жареных каштанов,
Запах кофе с коньяком…
Чёрно-белый Параджанов—
Незнакомым языком.
От прародины—далёко.
Дома—всё наоборот:
Подцензурная морока,
Нецензурный перевод.
Запах джина и «Gitanes»,
Шоколада аромат…
Прозой—поздний Параджанов,
Говорящий про гранат.
Чёрно-белая планета
Среди красных и цветных.
Запах моря, запах ветра,
Между мёртвых и живых.

* * *

Ничего отменить нельзя. Со всем приходится жить.
Без цели, без интереса, пока не хватает духа
послать это всё подальше, заметив сухо:
вещь стоит столько, сколько готов платить.

Ничего заслужить нельзя: противоречит дух,
абсурдом становится Правило как таковое.
И не получится, если не «за живое».
Лёгкий, но ложный след отбивает нюх.

Я не ответил? Это и есть цена
любого вопроса: платишь или не платишь.
Просто пойми. Сегодня — пойми, и хватит.
По существу ответишь потом сполна.

Мозаика

Камешек слезится, высверк голубой.
Свято место — пусто, бродит холодок.
Были и остались голью-голытьбой:
Жадные глазёнки, тощий хоботок.
Так бы примоститься, чтобы усидеть.
Цены и оценки уверяют нас.
Прочная подкладка, призрачная твердь.
Крен в другую сторону: price, а не Спас.
Извини-подвинься, если виноват.
Грани под углами. Съеду, пропущу.
В гуще и воронке гаснет даже взгляд.
Соберусь, опомнюсь — и не получу
Больше, чем должно быть, меньше, чем должно.
По краям — надрывно — вытащу улов.
И тогда Он воду превратит в вино
И за Магдалену скажет пару слов.

Downshifter

Ни клочка, ни осколочка.
Ни копья, ни околышка.
Общий план, дальше — крупно, и — врезка.
Полустёртые линии:
старт и финиш. На финише —
если выживешь — самое место.
Ни везенья, ни прикупа.
Разбежимся по-тихому.
Никому, ничего… пожелания…
А по совести — нечего.
Жизнь в итоге засвечена
без утайки и оправдания.
Но и этим не кончится.
Всё, что снова захочется, —
никогда до конца незнакомо.
Узнаёшь, и — не вынести:
так играют на выезде
проигравшие дома.

* * *

Поджарю луковку, сварю риску́.
Поужинаю, попью чайку.
Полста до Питера, на Выборг — сто.
Былое набело пережито́.
Не просто набело, а до конца.
Бывает фабула — глаза в глаза
сказать, что прошлое — и есть связной
за всё хорошее — тебя со мной.
CD-шник старенький читает блюз,
а из динамиков по капле — пульс:
мой Ottmar Liebert и мой Keb Mo.
Всё получается всегда само,
когда мелодию свою ищу,
когда не многое, а всё прощу.

Относительно времени

Всерьёз и надолго, но не навсегда…
Не глядя, пройду по стрелке.
Снизу — ладожская вода,
карельское небо — сверху.

Жизнь — немножечко казино,
недотрога и стерва.
Врозь — а всё-таки заодно,
Мило — и всё же нервно!

Крупье, почуявши мой азарт,
внимательно осторожна.
Поставь-ка, девочка, всё на фарт
и улыбнись, как должно!

По-крупному чаще на мелочах
теряешь и не умнеешь.
Гаси огарок, зажги очаг.
Согреешься, как умеешь.

«Медовая с перцем» нутро зажжёт,
расправит зело борзо!
Усугуби, положи снежок
на лоб, чтобы всё прошло.

Одалживал даже у тех, кто давал,
зная, что не вернётся.
Относительно времени всё — товар,
который распродаётся.

Вращал барабан, выходил ни при чём,
имею то, что имею.
Сегодня волчок кое-как укрощён,
завтра — вдвойне быстрее.

Сегодня дословно несёт туда,
где снимут стружку и мерку.
Завтра — чернеющая вода
и белое небо — сверху.

Николай Ерёмин

Так пели провода

* * *

Борису Панкину

Психобольница. Дверь. Ночной вокзал.
Я вышел из него навстречу полдню,
Пришёл в себя…
Ах, где же я плутал?
Сон кончился. Я ничего не помню!
Вокруг—непроницаемые лица.
Вокзал. Машина. Дверь. Психобольница.

Весенний свет

1.

Вокруг—
Весенний свет,
Наивный и простой.

Мне очень много лет.
И я шепчу:
— Постой!

Хлебни со мной вина,
Чтоб стала жизнь хмельна…

2.

Как радует меня весенний свет!—
Овеянный простором и свободой…

В награду за любовь минувших лет
Досталось мне общение с природой…

Рассвет—и вечер, Солнце—и Луна…
Отныне ими жизнь моя полна.

* * *

Я знаю то,
Чего никто не знает!
Ко мне за этим знанием идут…

И я
Делами их
Всё время занят,
И нужен постоянно там и тут…

Но вот уходят все по одному—
И снова я
Не нужен никому…

* * *

Тут и там заявляет палач:
— Ты виновен!—хоть смейся, хоть плачь.
Ариадны запуталась нить.
Заплати, если хочется жить.
……
Ты не хочешь платить палачу?
Так я сам за тебя заплачу!

* * *

Помню, как
Мне хотелось бежать—
Хоть куда,
Лишь бы только отсюда…

Но отец удержали и мать,
Дом, работа, погода, простуда…
Музыкальный театр,
Краеведческий древний музей…
Наставления школьных друзей…
Все, увы, не напрасно старались.
Где они?
Лишь музей да театр и остались.

* * *

Виновны все,
Поскольку, грешный, он
За то, что невиновен, был казнён!

За то,
Что был чуть-чуть умнее всех
И объяснял им, что такое грех…

За то, что там,
Где все на одного,
Все, без сомненья, поняли его…

* * *

На закате,
В поздний час,
Я на мир смотрю устало.
Вместо слёз—
Песок из глаз…
……
Вот какая жизнь настала…

* * *

В груди — невоплощённая любовь,
Увы, к тебе, оставшейся такою
Теперь уже недостижимой вновь,
Далёкою и вечно молодою…

Лишь вспомню о тебе — и улыбнусь,
И радость тихо переходит в грусть…

На берегу

Кто мы с тобой?
То мудрецы, то психи
На берегу — до горизонта взгляд,
Где Тихий океан
Такой же тихий,
Великий, как сто тысяч лет назад…

В гору и с горы

Я думал,
Что труднее подниматься,
А оказалось,
Что трудней спускаться,
Чтоб удержаться,—
Под гору,
С горы…

Острее всех возвышенных страстей —
Опасность
Улететь
В тартарары,
Туда, где даже не собрать костей…

Пасха

Флейтист
Под шляпою немодной,
С полями от плеча к плечу,
Играл,
Холодный и голодный,
У памятника Ильичу…

И,
Гипсовой
Невечной лепки,
Заслушавшись, по-над рекой,
За ним
Ильич в немодной кепке
Стоял с протянутой рукой…

И я
Флейтисту,
Христа ради,
Пасхальный потянул кулич…
И тут же мне
Укор во взгляде
Безмолвно подарил Ильич…

* * *

Духовный голод по России:
Пожар в душе — не погасить…
Все ждут Спасителя, Мессию,
Чтоб выпить с ним и закусить…

* * *

Поэт
Стихи писал всю жизнь —
О том или об этом…

И вдруг
Сказал мне, глядя ввысь,
Что не был он поэтом,

А был обычным рифмачом
И злободневным трепачом…

И, глядя вдаль, в ночную тишь,
Добавил:
— Ну чего молчишь?

* * *

Хорошо, что я не плачу,
Ощутив ночную грусть…

Что, надеясь на удачу,
Над собою днём смеюсь,
Если что-то вдруг не так,
Повторяя: «Сам дурак…»

* * *

Мраморные — в нише —
Прячут мёртвый взгляд
Нищий духом Ницше,
Нищий духом Кант…

Мраморным — навеки —
Нищенский приют.
В двадцать первом веке
Им не подают.

* * *

Я не знал,
Куда иду —
Мимо дальних стран,
Вифлеемскую звезду
Положив в карман…
Мимо
Городов и сёл —
И людской молвы…
. . . .
Знаю я,
Куда пришёл
И зачем, увы…

Людмила Поликовская

«Наплевать на общественное мнение…»

За свободу в чувствах есть расплата.
Сергей Есенин

Над женщинами, любившими Есенина, словно тяготел какой-то рок: они умирали неестественной смертью. Зинаиду Райх погубила та же злая сила, что уничтожила её второго мужа Вс. Мейрхольда. Айседора Дункан погибла от несчастного случая. И только смерть Галины Бениславской стала логическим завершением её отношений с Есениным.

В ночь с 3-го на 4 декабря 1926 года, за двадцать четыре дня до годовщины смерти Есенина, на его могиле раздались выстрелы. Это пыталась свести счёты с жизнью Галина Бениславская. Но револьвер давал осечки. Тогда она пустила в ход кинжал. Рядом валялась коробка из-под папирос, на которой было написано: «„Самоубилась“ здесь; хотя и знаю, что после этого ещё больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне это будет всё равно. В этой могиле для меня всё самое дорогое, поэтому напоследок наплевать на… общественное мнение».

Кто она была?

Ответить на этот вопрос не так-то просто, даже если ограничиться только анкетными данными. Когда родилась? На памятнике на Ваганьковском кладбище стоит дата: 16 декабря 1897 года. А в свидетельстве об окончании гимназии — 16 декабря 1898 года. Описка? Или по каким-то неведомым нам причинам хотела сделать себя на год моложе?

Место рождения? По устным свидетельствам — Санкт-Петербург. Но никакие документы это не подтверждают. Да и тщетно было бы искать документы о рождении Гали Бениславской. В 1897 или 1898 году родилась Галя Карьер. Её отцом был обрусевший француз по фамилии Карьер, к моменту рождения дочери опустившийся и сильно пивший. Мать — Василиса Поликарповна Зубова — грузинка (по другим сведениям — осетинка), женщина больная, страдающая нервными заболеваниями. Так что Гале было от кого унаследовать хрупкую, легко ранимую психику.

Когда девочке исполнилось пять лет, родители разошлись. Мать, большую часть времени проводившая в больницах, не могла растить ребёнка. Галю взяли на воспитание тётка Нина Поликарповна и её муж Артур Казимирович Бениславский, который в скором времени удочерил её. Так Галя Карьер стала Галей Бениславской. (Однако в свидетельстве, выданном ей частной женской гимназией, на месте фамилии отца стоял прочерк.)

Кто были её приёмные родители? Врачи и собственники имения под латвийским городом Режица (Резекне). Зажиточные или едва сводившие концы с концами? Даже более поздние периоды биографии Бениславской — вопрос на вопросе. А уж что касается детства… Одни современники вспоминают богатое имение с большим барским домом, обширным парком и садом, барской конюшней. Другие — весьма запущенное, со старым, ничем не примечательным домом, где проваливались полы и скрипели двери.

Хорошо или плохо относились Бениславские к своей приёмной дочери?.. А кто скажет, что такое хорошо и что такое плохо? Материнской ласки она не знала, но не знала и родительского диктата. Никто не мешал ей бродить по лесным чащам, плавать и нырять, ездить верхом и отстреливать из охотничьего ружья глухарей за десятки километров от дома. А то и просто озорничать. Независимость и впечатлительность (роскошная окружающая природа не могла не впечатлять) — то, что отмечали все, знавшие уже взрослую Галю, то, что во многом определило её — завидную и трагическую — судьбу, — шли из детства, проведённого в деревне. (Не те же ли качества во многом определили и судьбу Есенина, также выросшего в деревне и прикипевшего душой к «рязанским раздольям», тоже отчаянного озорника?)

Галя была очень красива. Две далёких крови, слившись, образовали внешность необычную, яркую, запоминающуюся. Брюнетка со светлыми глазами, длинными, чуть ли не до бровей, ресницами, а брови — огромные, почти сросшиеся, словно два крыла; стройная, как струночка, с бархатистым голосом — она с ранних лет привыкла быть окружённой многочисленными поклонниками. Её редкостная преданность Есенину — вовсе не от «безрыбья», как гласит одна из многочисленных легенд о Бениславской. (Легенды ходили — и ходят — не только о Есенине, но и практически обо всех близких ему женщинах.) Конечно, нет дыма без огня, и эта легенда родилась не с бухты-барахты — Галя была не фотогенична. Её фотографии не передают и сотой доли её обаяния. Да и какая фотография может воспроизвести стремительность каждого жеста, «весну в повороте лица», удивительные краски (в эпоху чёрно-белой фотографии)?

Как все женщины Есенина, Галя была не только красива, но и умна, начитанна, любила и понимала искусство, особенно театр и поэзию. Когда Бениславские переехали в Петербург, она старалась не пропускать поэтических вечеров, которых в предреволюционные годы в столице было множество. На одном из них, в 1916 году, она впервые увидела Есенина.

Тот, кто ждёт рассказа о любви с первого взгляда, будет глубоко разочарован. Есенин вышел на эстраду в длинной шёлковой вышитой рубашке, плисовых шароварах, остроносых сапожках из цветной кожи на каблучках — стиль «à la russe». Всё это отдавало маскарадом и весьма не понравилось обладавшей хорошим вкусом Гале Бениславской. Правда, когда он начал читать стихи — звонкие, певучие и абсолютно искренние, — Галя сумела оценить их по достоинству, и неприятное впечатление сгладилось. Но вскоре жизнь так завертела, закружила, что она и думать забыла о златокудром юноше, пишущем такие замечательные стихи.

Вторая встреча, которая стала первой

4 ноября 1920 года. Есенин к этому времени уже успел обзавестись тремя детьми, Галя же в свои двадцать «с хвостиком» лет не только не была замужем (как многие девушки того времени, она презирала такую «мещанскую» форму человеческих отношений, как брак: проповеди С. Коллонтай не прошли втуне), но и никого ещё не любила… И, как девушки всех времён и народов, мечтала о «принце». Никто из простых смертных не соответствовал её романтическим устремлениям.

Большой зал Московской консерватории. «Суд над имажинистами». (Подобные «суды», игравшие роль своеобразного пиара, были в эпоху военного коммунизма очень распространены.) Зал набит битком. Галя пришла, когда свободных мест уже не было. И она, нимало не стесняясь, поставила себе стул перед первым рядом. И почти сразу почувствовала на себе «чей-то любопытный, чуть лукавый взгляд».

Согласно легенде (повторяемой и в знаменитом телесериале «Сергей Есенин» режиссёра И. Зайцева), Галя сама «навязалась» Есенину. На самом деле Есенин первым обратил внимание на девушку с необычной внешностью и большими зелёными глазами. «Нахал, — подумала Галя, — совсем ведь ещё мальчишка, а туда же…»

Но вот «мальчишка» начал читать:

> Плюйся, ветер, охапками листьев, —
> Я такой же, как ты, хулиган.

«Он весь — стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, о котором он говорит, да нет, что — ветер, ветру бы у Есенина призанять удали. <…> …это не ураган, безобразно сокрушающий… всё, что попадается на пути. Нет. Это именно озорной, непокорный ветер, это стихия не ужасающая, а захватывающая. И в том, кто слушает, невольно просыпается та же стихия, и невольно хочется за ним повторять с той же удалью: „Я такой же, как ты, хулиган“…» Если, конечно, есть чему просыпаться. В Гале жила та же стихия, та же удаль — она сразу почувствовала родственную душу. И ринулась навстречу. Как в прямом, так и в переносном смысле. Сама не зная каким образом, она оказалась у самой эстрады и вместе со всеми кричала: «Прочитайте ещё что-нибудь». И ринулась внутренне, пока, впрочем, ещё не осознавая этого, желая лишь одного — слушать его и слушать.

А он вернулся на своё место — и опять тот же любопытный, внимательный, долгий взгляд в её сторону.

16 ноября 1920 года. Политехнический музей. «Суд над современной поэзией». На этот раз Галя пришла (вместе со своей подругой Яной Козловской) часа за два до начала, чтобы занять места поближе к сцене. Есенин весь вечер, когда не читал, упорно смотрел на девушек. Как и в прошлый раз, после окончания чтений (Есенин читал последним — его почти всегда выпускали последним: боялись, что после него не станут слушать других) словно ветром подхватило — и она оказалась за кулисами. Есенин «подлетел» и остановился около неё. Почему-то это оскорбило Галю: «Ну прямо как к девке». И она намеренно резко сказала Яне: «Чего копаешься? Пойдём».

Но, выйдя из музея, шестым чувством сразу поняла, что наконец-то встретила «принца». Такого, о котором мечтала. И не ошиблась. Он и вправду был «принцем», «Иван-царевичем» (Борис Пастернак), «королевичем» (Валентин Катаев). Для «принца» ничего не жаль. И принципы (не выходить замуж), и тело (о чём и помыслить не могла). И — она это осознаёт — именно этого она и хочет. «Принцу» придётся подчиняться (на то он и принц) — теперь гордая, независимая Галя готова и к этому. Что будет, к каким последствиям приведёт (ведь Есенин женат, и у него тьма поклонниц), она не задумывается. «Просто потянулась, как к солнцу». Она ничего не собиралась добиваться — только беспрерывно думать о нём, видеть и слышать его. И главным для Гали были не его стихи (их можно и в книжках почитать), а его бешеная стихийность, его — к ветру: «Я такой же, как ты, хулиган».

В душе всё ликовало: «Как будто, как в сказке, волшебную, заветную вещь нашла».

С тех пор Галя Бениславская не пропускала ни одного публичного выступления Есенина. Однажды он подошёл к ней (она, как всегда, была с подругой) и пригласил девушек в «Стойло Пегаса» — кафе имажинистов, где у Есенина был пай. Галя стала ходить туда каждый вечер. На «общественное мнение» ей было наплевать, лишь бы Есенин не подумал о ней дурно («…мне хоть все пальцами на меня показывай, лишь бы он около был»).

Однажды он подошёл к девушкам и, наклонившись к Гале, как-то «взволнованно и грубо» вполголоса сказал ей на ухо: «Послушайте, но так же нельзя, вы каждый вечер сюда ходите…» Галя, наслышанная о его дерзостях, подумала, что он сейчас добавит: «Из-за меня». И приготовилась дать отпор: «Да что вы, с ума сошли? Вас-то меньше всего заметила». В это время Есенин закончил фразу: «…Я уже сказал в кассе, чтобы вас пропускали как своих, без билета».

Как-то раз получилось, что Галя пришла в кафе одна, без подруг. Есенин подошёл к ней. Они проговорили вдвоём весь вечер. Он «был какой-то очень кроткий и ласковый. <…> И с этого вечера началась сказка». (И знакомы-то всего ничего, а Галя уже второй раз произносит слово «сказка»). «С этих пор пошли длинной вереницей бесконечно радостные встречи».

Далеко не сразу Галя стала любовницей Есенина. Ей, как пушкинской Татьяне, было достаточно «видеть вас, слышать ваши речи». А он, не испытывая недостатка в женщинах, почитающих за счастье провести с ним ночь, — до поры до времени — берёг её невинность.

Но другом и помощником она стала сразу. Вместе с Анной Назаровой Галя участвует почти во всех акциях (точнее, проделках) имажинистов. Вот они объявляют «ВСЕОБЩУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ (это написано крупными буквами. — *Л. П.*) Поэтов, Живописцев, Актёров, Режиссёров и Друзей Действующего Искусства (а это — буквами гораздо более мелкими. — *Л. П.*)», так что обыватели, привыкшие ко всяким мобилизациям и, естественно, боявшиеся их, поначалу видели только «всеобщую мобилизацию» и останавливались около афиши (листовки) надолго, внимательно вчитываясь в её смысл, — цель достигнута.

Галя и Аня первыми справились со своей партией листовок и предложили расклеить ещё сотню. (Работали, естественно, ночью, фонари тогда не горели.) Никто не задержал девушек — и они жалели, что обошлось без приключений.

«Март-август 1921-го — какое хорошее время», — запишет Галя Бениславская в дневнике.

Машинистка или Муза?

Март-август 1921 года — авторская датировка поэмы «Пугачёв». Галя помогала работать — перепечатывала на машинке некоторые главы, у неё хранилась шестая, не вошедшая в основной текст, глава. Известен экземпляр первого издания с надписью «Милой Гале, виновнице некоторых глав. С. Есенин». Этой надписью он как бы признаёт, что Галя выполняла функции не только машинистки, но и Музы. (Одной этой надписи достаточно, чтобы имя Галины Бениславсакой навсегда осталось в истории русской литературы.) И когда восхищённый «Пугачёвым» зал гремел: «Е-се-нин!» — у Гали по праву появлялась «счастливая гордость», как будто это относится и к ней.

В апреле-июне Есенину удалось — наконец-то — поехать по пугачёвским местам: через Самару до Оренбурга и далее в Туркестан. За несколько дней до отъезда наступила долгожданная весна. Есенин, Мариенгоф, Галя и её подруга Яна идут по улицам Москвы. Радуются весне, хохочут. (Ведь все были ещё очень молоды.) Есенин, глядя в глаза Гали, обращается к Мариенгофу: «Посмотри,Толя, — зелёные. Зелёные глаза».

«Но в Туркестан всё-таки уехал», — подумала Галя. Однако в глубине души она была уверена: теперь уже запомнилась ему навсегда.

Он отсутствовал почти два месяца. И всё это время Галя думала только о нём, перечитывала его стихи.

Из Туркестана Есенин привёз ей роскошные подарки: восточные шали и оригинальное, изумительной работы, кольцо с монограммой на камне: «С. Е.». Это кольцо Галя носила всю жизнь. (Его сдерут с её пальца только в морге, вместе с кожей.)

Через несколько дней после возвращения Есенин читает «Пугачёва» в Доме печати. Успех превзошёл все ожидания.

Кто видал, как в ночи кипит
Кипячёных черёмух рать?
Мне бы в ночь в голубой степи
Где-нибудь с кистенём стоять.

Об этой поэме ещё будут много писать критики. Но ни один из них не скажет того, что было так ясно любящей женщине: «Есенин и Пугачёв — одно… Он сам — стихия бунта, ненависти к тем, кто „отгулял, отхвастал“…»

С самых первых встреч с Есениным Галя знала, что у неё есть соперницы: Надежда Вольпин и Екатерина Эйгес. Но как-то не боялась их. Словно знала, что выиграет это соревнование. И не ошиблась. Нет, Есенин не вовсе оставил их, но Галя как бы «вышла в дамки». Это признавала и сама Надежда Вольпин. Именно она оставила описание костюмированного вечера в «Стойле» в августе 1921 года. Весь вечер Есенин просидел рядом с Галей, хотя Надя (близости с ней он добился совсем недавно) тоже была в кафе.

Галя так и светилась счастьем. Её зелёные глаза казались изумрудными — словно призаняли голубизны из глаз Есенина. Писатель (тогда более известный как журналист) Михаил Осоргин, подойдя к Надежде Давыдовне (и ничего не зная о её отношениях с Есениным), сказал, кивнув на Есенина и Бениславскую: «Я не налюбуюсь этой парой. Столько преданной, чистой любви в глазах юной женщины!»

5 октября 1921 года, в день, когда народный суд города Орла расторгнул брак Есенина и Зинаиды Райх, он оставляет Бениславской загадочную записку:

> «Милая Галя!
>
> Я очень и очень бы хотел, чтобы Вы пришли сегодня ко мне на Богословский (в Богословском переулке, в квартире А. Мариенгофа, в то время жил Есенин. — *Л. П.*) к 11 часам.
>
> Буду ждать Вас!
> За д… спасибо.
> Без…
> С. Есенин».

Как правило, эта записка расшифровывается так: «За деньги — спасибо. Без них мне было бы плохо (я бы не обошёлся и т. д.)». Спрашивается: зачем нужна такая тайнопись, которая открывается каждому, кто бросит взгляд? Гораздо убедительнее другое прочтение: «Спасибо за девственность. Приходите без подруг — одна».

Интим, как это обычно и бывает, не добавил романтики в их отношения. «…Как всегда и все — «любовница», и какое-то чувство скуки и неудовольствия промелькнуло. И это тогда, когда я была и чувствовала себя счастливой. И я знаю, что затянись это — скука выплыла бы даже при той любви, которая была. <…> …показалось, что в этом растворится… самое ценное в его отношении», — запишет Бениславская в дневнике.

Но Есенин был не тот человек, с которым можно заскучать. В самом начале октября — первое интимное свидание с Галей, а ночь с 3-го на 4 октября — первая ночь Есенина с Дункан.

Теперь роман с Бениславской развивается одновременно с романом с Дункан. «Я всё себе позволил», — то ли с гордостью, то ли с горечью (а скорее всего, с тем и другим вместе) говорил Есенин.

Галя начинает замечать в отношении к себе Есенина некоторую небрежность. Чувствуя бесконечную любовь и преданность, она в то же время нимало не сомневалась, что если понадобится — скажет:

> А ты думал — я тоже такая,
> Что можно забыть меня
> И что брошусь, моля и рыдая,
> Под копыта гнедого коня…

Эти строчки написала не Галина Бениславская, а Анна Ахматова. Галя, как многие поэтические натуры, не наделённые поэтическим даром, часто выражала свои мысли чужими стихами. Русскую поэзию она знала не хуже Есенина.

«После Айседоры — все пигмеи…»

Одно дело — Рита Эйгес, Надежда Вольпин, даже законная жена Зинаида Райх, и совсем другое — Айседора Дункан, мировая знаменитость, которой рукоплескали в Лондоне и Вене, Париже и Нью-Йорке, Риме и Берлине, Рио-де-Жанейро и Афинах. Газеты помещали отчёты о её выступлениях на первой полосе, как самые главные новости. Пресса всего мира захлёбывалась от похвал. И хотя в Галиных глазах Айседора — «старуха», она знает, что *этого* соревнования ей не выиграть, да и не пытается соревноваться. Она чётко понимает: отныне ей предназначена *вторая* роль. Ревнует и страдает безмерно. И не стесняется ни своей ревности, ни своего страдания. («Нельзя спокойно знать, что он кого-то предпочитает тебе, и не чувствовать боли от этого сознания».) Но, несмотря ни на какие страдания, на унизительность своего положения, знает: она будет любить по-прежнему, с полной отдачей, будет по-прежнему нежной и преданной. И, несмотря на все раны, всю боль, ни о чём не жалеет. «Всё же это была сказка». (Поистине, слово «сказка» — самое частое в словаре женщин, любивших Есенина. Зинаида Райх, также натерпевшаяся от него немало, на похоронах поэта крикнет: «Прощай, моя сказка!») Как раньше Галя упивалась любовью, так сейчас упивается своей тоской *по нему*, по прежним отношениям, которые, как она считает, уже никогда не повторятся. Собственные чувства она, когда не находит своих слов, выражает стихами. Её дневник этих дней переполнен чужими строчками:

> О, жизнь без завтрашнего дня!
> Ловлю измену в каждом слове,
> И убывающей любови
> Звезда восходит для меня.
> *(А. Ахматова)*
>
> Мир лишь луч от лика друга, всё иное — тень его!
> *(Н. Гумилёв)*
>
> Ты теперь не так уж будешь биться,
> Сердце, тронутое холодком…
> *(С. Есенин)*

10 мая 1922 года Есенин уехал (точнее, улетел). С Дункан. Первые дни — чувство облегчения. Словно больной зуб вырвали. Но «ранка» не заживает и вот-вот перейдёт в гангрену. Галя ловит себя на кощунственной мысли: лучше бы Сергей умер. Тогда бы и она не стала жить. (Словно наперёд всё знала.)

Конечно, вырванный зуб можно вставить, но ведь то будет *искусственный* зуб. Галя в растерянности. Что делать? Пойти в школу авиации? Беречь и хранить себя для него? Или дать волю другому чувству? Сможет ли она полюбить кого-нибудь другого? Во всяком случае, *не так:* чтобы всё для него, ничего для себя. И «сказки» уже не будет. Никогда.

Она не была пай-девочкой (ещё одна легенда о Гале Бениславской). Искала забвения и в алкоголе, и в наркотиках. (Есенин боялся наркотиков как огня и никогда к ним не притрагивался.)

Таких переживаний не выдержала бы и женщина с крепкой психикой. Галя же, унаследовавшая психику нездоровую, уже через месяц после отъезда Есенина заболевает неврастенией. И почти всю весну и лето проводит в санатории.

Весна 1922 года выдалась холодной, дождливой. «Таких вёсен я ещё не знала… весна, которая обернулась зимой, злой и беспощадной»,—напишет Галя своей подруге Ане Назаровой.

В письмах из санатория Галя изливает душу. Порой она даже не отправляет их: то марки нет, то не уверена, что адрес получателя правильный. Главное—высказаться, поделиться своими чувствами, хотя бы с бумагой; может, от этого станет немного легче. Она вспоминает прошлое лето. Когда была так счастлива и, как ей теперь кажется, так мало ценила это. Горюет, что даже *для него* («если бы ему понадобилась когда-нибудь») нет уже молодого, радостного чувства.

Она то ненадолго успокаивается, то переживания возвращаются с новой силой. От этих бесконечных колебаний маятника она ещё больше устаёт и становится противна сама себе.

О Есенине Галя узнаёт только из газет. Писем ей он не пишет. Однажды в письме к Мариенгофу передал привет. Но, скорее всего, Анатолий Борисович не сказал об этом Гале—он ревновал Есенина ко всем его женщинам и всегда хотел его с ними поссорить.

После возвращения из санатория Галина Артуровна начинает работать помощником секретаря в редакции газеты «Беднота». Там же служил и Сергей Петрович Покровский. Он был женат и имел детей, но без памяти влюбился в Галю. И она ответила на его чувство.

Нелегко давалась Гале эта «любовь». («На несколько часов как будто налажу, ну а не увижу один день, и всё прахом летит».) Все мысли—о другом Сергее. И ругает себя («дрянь», «гниль»), а поделать с собой ничего не может.

Он стал для неё той соломинкой, за которую хватается утопающий… И которую отбрасывают, когда опасность миновала. Никакого расчёта у Гали, конечно, не было. Просто сработал инстинкт самосохранения. «Я искренне думала, что я твоя, вернее, мне очень этого хотелось, и я поверила себе…»—напишет Галя Покровскому после возвращения Есенина.

Возвращение блудного возлюбленного

Есенин вернулся. И через одиннадцать дней расстался с Дункан. Две творческие натуры редко могут жить вместе. Нет, он не разлюбил Айседору. Но ясно понял: продолжение этой связи означает потерю себя—Дункан была более сильной личностью, чем Есенин. В последнем письме к ней он писал: «Люблю тебя, но жить с тобой не буду. Я женился. Сейчас я женат и счастлив. Тебе желаю того же. Есенин».

Но Дункан получила это письмо в другой редакции. Бениславская—резонно—заметила, что если уж кончать, то лучше не упоминать о любви. Но и этого ей показалось мало. Она послала ещё и телеграмму: «Он со мной к вам не вернётся никогда». Вторая часть—сбылась, что же касается первой…

После заграничного путешествия Есенин нашёл в Гале не девушку с мальчишескими замашками, а женщину в расцвете своей красоты. Вполне осознающую свою власть над мужчинами. Только ей—единственной в своей жизни—патологически ревнивый Есенин простил измену (Галя не скрыла, что была близка с Покровским, и даже не сняла со стены его фотографию). Только Галя, как гласит легенда, тихоня и скромница, осмелилась диктовать Есенину условия их близости: коль свобода—так взаимная, если для тебя—то и для меня. Дороживший Галей и боявшийся её потерять Есенин был вынужден, скрепя сердце, согласиться с этим требованием. С поправкой: только не с моими друзьями.

Бениславская ютилась в одной комнате коммунальной квартиры вместе со своей подругой Аней Назаровой. Тем не менее, уже через месяц после приезда Есенин жил у неё. Вскоре к ним присоединилась и его сестра Екатерина. В маленькую комнатушку Бениславской Есенин ещё и постоянно приводил шумные и галдящие компании, не знал разницы между днём и ночью (а ведь Гале надо было ходить на службу).

Есенин предлагал ей официально оформить отношения—она отказывалась (может быть, потому что он не был разведён с Дункан, а скорее всего, понимала: это ничего не изменит). Тем не менее, он всем представлял её как жену. По сути, это так и было. Есенин почувствовал в Галином отношении к нему нечто такое, чего не было в отношении к нему даже самых близких друзей: для неё его благополучие неизмеримо важнее собственного. Она стала гражданской женой, другом, нянькой, секретарём, хранительницей его архива.

Он представлял её не иначе как: «Вот, познакомьтесь, это большой человек!»—или: «Она настоящая» — и т. п. В полной мере оценил — редко встречаемое — сочетание: страстная влюблённость не мешает Гале быть другом; первое она всегда умеет спрятать, подчинить второму. И поверил ей.

Как всякая добропорядочная жена, Галя старалась содержать жильё в чистоте и порядке. Несмотря на тесноту, каждая вещь знала своё место. Сергей всегда выходил из дома в чистой, хорошо выглаженной одежде (трезвый Есенин был очень аккуратен, любил чистоту, порядок, уют). Он доверил Гале все свои материальные дела. Основное средство существования в это время — деньги из «Стойла», которые причитались Есенину как совладельцу кафе. Поскольку любителей выпить и закусить за его счёт всегда находилось немало, было условлено, что деньги станут выдавать только Бениславской. (Она посылала определённые суммы в Константиново, заботилась о Кате, а потом и о младшей сестре — Шуре.)

Собутыльники Есенина, привыкшие пить-гулять за его счёт, не знали, как разлучить его с Галей. То распустили грязную сплетню: Галя — агент ГПУ, приставлена к Есенину, чтобы в любой момент спровоцировать его на драку и посадить (Есенин, спьяну, на время поверил). То решили её убрать совсем уж по-бандитски: если не убить, то сильно избить. (Какой-то доброжелатель сообщил об этом замысле Есенину, и тот потребовал, чтобы Галя всегда ходила с пистолетом, — она послушалась.) И в том, что самому Есенину «в кабацкой пьяной драке» не засадили под сердце острый нож, тоже немалая заслуга Галины Бениславской.

Галя играла в судьбе Есенина *только* положительную роль. А вот это уже ещё одна легенда.

Командировка в Кабардинский полк

Галя была убеждённая коммунистка. Вступила в социал-демократическую партию ещё до Октябрьской революции. Именно по этой причине в своё время разладились её отношения с приёмными родителями. Окончив гимназию в Петрограде, она уехала от них в Харьков — и там поступила в университет. Но вскоре Харьков заняли белые. Галя тут же решила во что бы то ни стало перебраться к красным и отправилась в сторону расположения Красной Армии. Белые её арестовали. Но... в кустах оказался рояль. Когда её привели в штаб Деникина, она неожиданно встретила там своего приёмного отца — Бениславского. Он сказал, что это его дочь, и её тут же освободили. Она попросила Артура Казимировича помочь ей перебраться через фронт. И хотя он отнюдь не сочувствовал её взглядам, но, зная характер Гали, почёл за лучшее выполнить её просьбу — выдал ей удостоверение сестры милосердия Добровольческой армии и командировку в Кабардинский полк. С этими документами она села на поезд и доехала до станции Ржава. Вагон был переполнен пьяными до бесчувствия офицерами. Зайти в него Галя не решилась и ехала на площадке.

На следующее утро после прибытия в Ржаву неожиданно начался обстрел. («Страшная паника, офицерьё вскакивает, на ходу надевая шинель... Снаряды бьют прямо по станции... Слышно, как сыплются оконные стёкла».) Один снаряд разорвался совсем рядом с Галей. Осколком порвало её юбку, но её саму не ранило.

Она решила, что красные обязательно возьмут стацию, и поэтому лучше всего где-нибудь здесь спрятаться. И бросилась в погреб к одному из жителей. Вдруг открывается дверь: «Сестрица, за вами пришли!» Подумала — узнали, заподозрили. Но нет, слава Богу, ничего не заподозрили, а пришли спасать из «лап красноармейцев» (кто-то сообщил, что «сестра» в погребе спряталась).

Но красные не сумели взять Ржаву. Выбраться со станции пешком или с подводой было невозможно. Все офицеры уже знали Галю, и каждый мог спросить: «Куда вы, сестра?» — и задержать. Тут, по счастью, один из офицеров рассказал ей, как он однажды пошёл вперёд наблюдать за стрельбой и оказался на территории противника. «Может, и мне так?» — подумала Галя. Она продолжала успешно разыгрывать роль медсестры, которая ничего не боится и рвётся в свой полк (настолько успешно, что её считали в доску своей: предлагали вместе выпить, спрашивали, нет ли у неё кокаина).

Под предлогом «я должна быть на месте службы» она на одном из бронепоездов добралась до станции Прохоровка, откуда было недалеко до позиций. Неподалёку от станции она встретила подводу, направлявшуюся в Большие Сети, а там, по слухам, шли бои. Дабы разжалобить хозяина подводы, рассказала ему, что в Москве у неё больная мать с пятилетним братом. Подействовало. Но до Больших Сетей не доехали: там действительно шёл бой, и «подводчик» не решился туда ехать. Предложил заночевать по дороге, у его родственников. Те отнеслись к ним очень хорошо, накормили, всячески жалели Галю и её «больную мать». Уложили спать в амбаре. «Жутко и трудно ждать, тем более что накануне у них были казаки... всё мерещилось, что ворвутся».

Галя решила выбираться пешком — оставаться в деревне и ждать подводы было слишком рискованно! «Вышла я смело. Ведь я решила: значит, возврата нет. Если бы поймали казаки и обнаружили мой студенческий билет — я бы бросилась бежать, пока не застрелили бы, а живою бы не далась. Перешла речку не через мост — там, должно быть, патруль был, — а по оставшемуся столбику от кладок. Иду. Мужик косит гречиху».

Галя наконец-то оказалась у своих... И они решили её расстрелять: ведь у неё было удостоверение сестры милосердия деникинской армии — значит, шпионка. От расстрела Галю спасли...

красивые глаза. Один красноармеец запротестовал: «Девушка с такими глазами не может быть предательницей. Давайте подождём ответа из Москвы. Расстрелять всегда успеем».

Ответ из Москвы должен был прийти от М. Козловского, отца Галиной подруги Яны, старого большевика. Он дал телеграмму, что Бениславская — член партии и преданный революции человек.

Ей разрешили дальнейший проезд до Москвы. Но подозрения не были сняты. Особый отдел завёл на неё дело № 1725, которое было закрыто только в 1920 году.

М. Козловский устроил её в ВЧК, к Крыленко, в сельскохозяйственный отдел, секретарём комиссии «по изучению всех источников спекуляции и связанных с нею должностных преступлений».

В последние годы — теперь уже в печати — опять всплывает версия, что Бениславская была приставлена ГПУ, чтобы следить за Есениным. Версия абсолютно фантастическая — хотя бы потому, что официальных сотрудников Лубянки никогда не использовали в качестве «стукачей».

«Последний поэт деревни» и страна большевиков

Как же коммунистические симпатии Гали сказывались на судьбе Есенина? Ведь она никогда не советовала ему писать дифирамбы в честь властей, вообще в тематику его творчества никак не вмешивалась (этого он бы не потерпел). Галя любила коммунистов и любила Есенина. И не могла не видеть, что власти Есенина не любят или, во всяком случае, недостаточно ценят. Несравненно меньше, чем Демьяна Бедного, которого поселили в Кремле, в то время как Есенин не мог добиться для себя даже комнаты в коммуналке. И не видела (не хотела видеть?), что корни этой нелюбви — в глубинной несхожести Есенина, «последнего поэта деревни», поборника свободы творчества, бросившего большевикам: «Вёслами отрубленных рук / Вы гребёте в страну грядущего», — и марксистской догмы. Она считала, что большевики просто не понимают своего счастья (в то время как со своей колокольни они были абсолютно правы: зачем им Есенин?). И внушала Сергею, что он вправе требовать от властей любви и заботы.

А он, болезненно самолюбивый, тщеславный, мечтающий не о признании потомков, а о славе здесь и сейчас (слава народная у него была, но он хотел ещё и славы официальной), и так тяжело переживал, что недооценён сильными мира сего.

«Я подошёл к поезду, — писал он художнику Якулову, — смотрю, в купе сидят Маяковский, Асеев, Безыменский и прочая, прочая, прочая. Но я ведь тоже не безбилетный, но ушёл мой поезд». Комментаторы голову сломали: что за поезд? куда ехали перечисленные поэты? когда Есенин встретился с ними? Между тем смысл письма явно аллегорический («прочая, прочая, прочая» — и все в одном купе?). Это поезд советской литературы, где Есенину нет места.

Галя никогда не сказала: «Сергей! Не переживать, а гордиться ты должен, что нет тебе места среди этой братии. Пошли их так далеко, как только ты умеешь посылать, и спокойно, с чувством собственного достоинства, продолжай работать». Напротив, она — вольно или невольно — поддерживала в нём эти обиды. И он всё больше и больше пил.

И всё больше и больше нуждался в Гале. И всё больше и больше распускался с ней. («...Ни к одной женщине Серёжа не относился с таким уважением и почтением. Но не мучить уже не мог». В. Шершеневич.) Изменял всё более неприкрыто и откровенно. Галя решила, что он её разлюбил. Однажды она, измученная дебошами Есенина и потребительским отношением к ней, потянулась к преклонению и обожанию — пошла в театр с Сергеем Покровским, который продолжал её любить и не оставлял надежды вновь добиться близости. На беду, они там встретились с Есениным. Этот злополучный вечер стал началом конца.

Дома Есенин рассказал сестре Екатерине — в присутствии Гали — об этой встрече тоном нарочито спокойным и безразличным. С тех пор он вообще стал делать вид, что Галина жизнь ему «до фонаря». Надежда Вольпин вспоминает, как однажды, идя к Есенину, она наткнулась на какого-то мужчину, выбежавшего из Галиной комнаты и выкрикивавшего какие-то угрозы в адрес Есенина. «Кто это?» — удивлённо спросила она. «Галин муж», — как ни в чём не бывало ответил Есенин.

Он, похоже, и правда уверовал в то, что Покровский если не муж, то уж во всяком случае — по-прежнему любовник. С Кавказа он присылает Кате «пьяное письмо», где требует немедленно съехать из Брюсовского переулка: «Уйди тихо. У Гали своя личная жизнь, и ей мешать не надо».

Однако ж, вернувшись, Есенин снова живёт у Гали и, похоже, не думает съезжать. Только теперь он постоянно говорит ей: «Вы очень хорошая. Вы самый близкий, самый лучший друг мне. Но как женщину я вас не люблю». Он понимал, что больше обидеть Галю нельзя — этого и добивался (реванш!). И в то же время такая формулировка позволяла ему сохранить её как «заботницу».

Галя — когда было надо — умела не выдавать своих чувств. Она отвечала кротко и даже с улыбкой: «Сергей Александрович, я не посягаю на вашу свободу, и нечего вам беспокоиться». Но себе говорила другое: «Дура я буду, если буду хранить ненужную Сергею (по его же словам) верность». Нет, к Покровскому она не вернётся никогда — да это и не было «изменой»: «Я знала, что такой, как Покровский, ничего не может отнять во мне из того, что отдано Сергею, и Покровскому я ничего не отдавала... Единственная измена — Л.».

Кто скрыт под литерой «Л.» — неизвестно; часто встречающееся предположение, что это Лев Седов, сын Троцкого, — просто красивая (или некрасивая — как на чей вкус) легенда.

Л. вошёл в Галину жизнь, когда Есенин был на Кавказе и слал ей письма, поражающие своей сухостью: «Милая Галя!» А дальше: сделайте то-то и то-то. И длинный список поручений. Да ещё грубости («Если сглупите — выгоню!»), недовольное бурчание («Не балуйте!») да невнятные угрозы («Разговор будет после приезда». (Хорошо, что Галя не знала, какие нежные послания он в это время шлёт своей новой пассии — Анне Берзинь.) И только в стихах, обращённых формально, конечно, не к Бениславской, а якобы к некой Шаганэ (как установили «веды», скромной учительнице Шаганэ Тальян), прорвётся: «Шаганэ твоя с другим ласкалась, / Шаганэ другого целовала». Реальная Шаганэ никогда не была «его».

Галя дала себе слово, что больше никогда не будет любовницей Есенина (а как быть, если он заладил: «Как женщину я вас не люблю»?). «И потому, закрыв глаза, не раздумывая, дала волю увлечению Л.». Но очень скоро испугалась: а вдруг эти отношения отнимут у Сергея часть её души, да и просто времени? Нет, раз от Есенина всё равно не уйти (это она понимала чётко, как и то, что Сергей по-своему любит её, «поскольку он вообще может сейчас любить»), она... хотелось написать: наступила на горло собственной песне, — но можно ли назвать «песней» то, что было у неё с Л.?

Вернувшись в Москву, Есенин почти сразу же выезжает в Константиново — на свадьбу своего двоюродного брата. Там он напивается, что называется, до белого каления. Извёл и измучил всех. Совершенно распоясался, самодурствовал то так, то эдак. В невменяемом состоянии то пускался в пляс, то плакал и приговаривал: «Умру, скоро умру, от чахотки умру». Даже Галя, видевшая его во всех видах, вспоминает об этих днях как о сплошном кошмаре: «У меня уже оборвались силы. Я уходила в старую избу, хоть немного полежать, но за мной сейчас же прибегали: то С. А. зовёт, то с ним сладу нет». То решил выкупаться в Оке, то ложился на землю, (а было очень холодно, земля совершенно сырая). При его состоянии здоровья это могло кончиться летальным исходом. Спасала опять-таки Галя Бениславская.

Когда Есенин уезжал из Константинова, Галина не поехала вместе с ним — просто не было сил. На прощанье он поцеловал её и отбыл вместе с Наседкиным и Сахаровым. Когда через четыре дня Бениславская вернулась домой, Сергея там не оказалось. Выяснилось, что «друзья» рассказали ему, будто бы Галя, пока он отсутствовал, изменяла ему со всеми его приятелями. И представлялась при этом как жена Есенина — «трепала фамилию» А ещё через два дня явился Есенин — «бить морду». Это был уже перебор. И Галя, терпению которой, казалось, никогда не будет предела, указала ему на дверь: «Нам не о чем больше разговаривать».

«Так оскорблять нельзя, — пишет она Екатерине Есениной, — он порвал во мне веру... в то, что он когда-нибудь действительно по-человечески относился ко мне, ну и вообще. Это теперь всё равно. Факт тот, что я сейчас я уже не могу быть по-прежнему беззаветно преданной ему и отдавать всё, что ему нужно, так, как это раньше было — не задумываясь, оценит ли он это когда-либо. Просто делать только потому, что для него это нужно. <...> Право же, я заслужила более человеческого отношения к себе... Ну и чёрт с ним, если он такой дурак».

В дневнике Галина Бениславская отзывается о своей (увы, не только бывшей) любви ещё более резко: «Сергей — хам. При всём его богатстве — хам. <...> Если бы он ушёл просто, без этого хамства, то не была бы разбита во мне вера в него... И что бы мне Катя ни говорила, что он болен, что это нарочно, — всё это ерунда. Я даже нарочно такой не смогу быть. Обозлился на то, что я изменяла? Но разве не он всегда говорил, что это его не касается? Ах, это было всё испытание?! Занятно! Выбросить с шестого этажа и испытывать: разобьюсь ли?! Перемудрил! Конечно, разбилась!.. Меня подчинить нельзя!.. Не таковская! Или равной буду, или голову себе сломаю, но не подчинюсь. <...> ...я должна быть верной ему? Зачем? Чего ради беречь себя? Так, чтобы это льстило ему. Я очень рада встрече с Л... Пускай бы Сергей обозлился, за это я согласна платить. Мог уйти. Но уйти так, считая столы и стулья — «это тоже моё, но пусть пока остаётся», — нельзя такие вещи делать. <...> А Л. не имел никаких причин верить мне, было всё, за что он мог только плохо ко мне относиться, и он всё же ничем не оскорбил меня... «Спасибо, спасибо», — хотелось сказать ему тогда, в последнюю встречу».

19 ноября 1925 года — за месяц с небольшим до смерти Есенина — Галя ложится в больницу с диагнозом «общее депрессивное состояние». После окончания курса лечения врачи посоветовали Галине Артуровне провести несколько недель в сельской местности, и она последовала их рекомендациям... Известие о смерти Есенина придёт туда слишком поздно, и она не успеет на похороны.

Эдуард Хвиловский

Воздушный круг

Памяти поэта Олега Вулфа

Трагически ушла из земной жизни ещё одна тонкая, всеобъемлющая, мятущаяся, многозначная, непостижимая душа человека могучей воли и мягчайшего, медового нрава, самого богатого и самого бедного, самого счастливого и самого несчастного, самого сильного и самого слабого, самого угрюмого и самого весёлого, самого прозорливого и самого заблуждающегося, самого необходимого одним и самого ненужного другим, дервиша и принца крови, верховного правителя и пожизненного узника совести. Не стало превосходно образованного, могущего всё объяснить физика, работавшего в театре Вахтангова, в геологических экспедициях на Памире и в Средней Азии, водителем тяжёлого грузовика в Белоруссии и в горных селениях прямых потомков этрусков, человека, отлично знавшего мировую историю, литературу, живопись, музыку, архитектуру, театр, прекрасно читавшего стихи и изумительно исполнявшего их под гитару, человека мира, долго жившего везде и нигде, а после—в одиночестве в лесной сторожке, где и были написаны его лучшие стихотворения и рассказы. Основной его трапезой в те непростые времена бывал бутерброд с чаем и сигаретой на второе.

Он рассказывал, что бывал за Уралом в таких местах, где время течёт иначе, чем принято считать, где любят иначе, ненавидят иначе, где сперва делают, а потом объясняют зачем,—и своими рассказами демонстрировал это. Он писал, пожалуй, медленнее всех поэтов в мире. К тому времени, когда его сверстники издали по несколько поэтических сборников, у него были готовы только около двух десятков стихотворений, в которых каждое превосходило по качеству иной сборник.

Его поэтический «железнодорожный цикл» лучше иных поэм. Подолгу работая над словом, он достигал огромной плотности своих текстов. Явление редчайшее—даже у заслуженных мастеров жанра. Не будет преувеличением сказать, что из стихотворных сборников многих, в том числе и знаменитых, авторов можно без ущерба удалить треть написанного. Будучи предельно честными наедине с самими собой, в тиши, аналогичной той, что в лесных сторожках, они и сами согласятся с таким решением. Но удалять тяжело. А он, никогда не заявлявший о себе, легко справлялся с этой для него и не тяжестью вовсе, ибо был предельно честен во всех проявлениях жизни. Олег Вулф не знал и не хотел знать иного подхода к ней и ко всему создаваемому им. Он иногда добивался того, что одно и то же слово выступало в его предложениях в роли различных частей речи («Город румын и беден», где «румын» выступает также в роли краткого прилагательного-неологизма) или в созданном им в его словотворчестве явлении («У тебя коса достигает до»). После предлога «до», *которым предложение заканчивается* (!), стоит точка, ибо это предложение *так* закончилось! Читающей публике должно быть понятно.

Неизвестно, где ещё можно найти аналогичные примеры. «В газетах самое правдивое—это реклама, а самое лживое—название»; «для молдавской провинции нужно лет семьсот, чтобы пахнуть так, как пахнут настоящие, сто́ящие вещи,—не вещами, но их присутствием, последней, заштатной глухоманью истины»; «насыщенность самолёта исполненным предназначением равна беспомощности пассажира»,—это предложения только из одного его рассказа, но каждое с наскока не прочтёшь, ибо порой в каждом заключена повесть.

Читатель, знакомый с прозой Олега Вулфа, знает, что она не обладает ни широтой социального охвата жизни, ни событийным богатством, ни глубиной исторической ретроспекции, ни эпическим размахом. Все эти характеристики принадлежат литературоведению и во встречных творческих процессах—создания произведения и его восприятия—прямого участия не принимают.

Зная плотность текстов Вулфа, невозможно представить, чтобы им была написана «сотня-другая» рассказов.

Его «Москва—Петушки», его «Горе от ума», его «Лёгкое дыхание», его «Сад расходящихся тропок» возможны тоже только в одном экземпляре-варианте. *Такого* много не бывает, иначе оно перестаёт быть *таким.*

Создавая на фоне неописуемых бытовых неурядиц *такое* качество, он одновременно принялся за издание собственного литературного журнала «Стороны света». Создание только этого журнала и работа над его номерами — материал для отдельной повести.

Раскрывая тайну, срок давности которой истёк, теперь можно поведать, что весь журнал Олег делал по десять-двенадцать часов в сутки *один*! Да, в выходных данных журнала значилась редакция, подразумевались редактор отдела поэзии, редактор отдела прозы, секретарь, завотделом писем, завотделом распространения, завотделом по работе с общественностью и другие!

Всех их являл собою *один человек* — Олег Вулф! Да, мы помогали ему. Да, мы составляли номера. Да, мы брали на себя часть работы по корректуре и переписке с авторами, но нас было или один, или двое, или никого, а на самом деле всё делал и переделывал Олег!

Некоторых неизвестных дотоле и талантливых авторов именно Олег Вулф впервые открыл. Усилиями практически одного человека журнал снискал уважение читателей в разных странах.

Самого Олега Вулфа в толстых отечественных журналах сторонились, опасаясь «непонимания читателей», чему он никакого значения не придавал. У него не было «широкого читателя». Как сказал поэт: «Мне так же страшно представить себе книгу стихов в руках «широкого читателя», как сороконожку, прыгающую с шестом, поэтому я вижу читателя *единственного и неповторимого*, чей слух уловит адресованный ему голос. Стоит ли желать поэту, чтобы его стихи повлияли на читающую массу в расширительном смысле? Не думаю. Настоящий поэт заслуживает оглушительной неизвестности».

Об ушедших говорят или хорошо, или ничего.

Про Олега можно говорить *всё*, ибо в его случае ничего плохого, *исходящего из его души*, никогда не было и быть не могло, даже когда он иногда совершал нелепые с точки зрения сертифицированной психологии поступки.

Было *другое*, и это *другое* исходило из вторых, побитых жизнью, половин его мироощущений, часть которых была родственна хорошо известному в отечестве пристрастию и сопровождавшему его душевному недугу, не отказавшими ему в своём внимании.

Никогда ничего по злобе, но по детскому неведению очевидного, по зову инстинкта самосохранения, по зову чувства защиты близкого ему человека, по зову чувства сохранения рода, по зову неопределимых сил жизни, но никогда — по злобе человеческой, неведомой ему от рождения.

Человек верующий, он никогда не выставлял свою веру напоказ, не обсуждал её и, по его любимому выражению, «никогда не торговал обстоятельствами». Вера, как и другие чувства, была у него, как и положено, внутренней, молчаливой и присутствовала даже при зажигании спичек. И *мастерски пил* он только с ему одному присущим толком, прочувствованно и с той же верой, за что ему многое прощалось — не потому, что было что прощать, а потому, что *прощалось*, ибо не переступало границы непростительного. Нельзя «простить» человеку то, что он хранит ключ от двери в левом кармане, а не в правом.

Однажды гениальный театральный режиссёр Васильев принимал к себе на курс абитуриентку, ставшую впоследствии замечательной актрисой. На экзамене они полчаса молча сидели друг против друга. Потом Васильев сказал: «*Не нужно мне ничего читать — вдруг вы мне не понравитесь. Я беру вас. Просто приходите на занятия*».

Помимо того, что с Олегом Вулфом можно было беседовать часами на любые темы, включая обсуждение природы барионной материи, с ним, как мало с кем ещё, можно было подолгу молчать. По слову Чорана, он «*не искал, а избегал плодовитости, предпочитая слово словесам, и хранил молчание, нарушая его лишь оттеняющие безмолвный фон моменты*». Часто после таких молчаний рождались стихи. Эта тема присутствует в его стихотворении «Молчание». Более подробно об этом могут промолчать немногие те, кому хорошо знаком подобный опыт общения с ним.

Ближе к завершению земного пути он вступил в свою «прозаическую эпоху», когда всё в той же лесной сторожке, изредка отпугивая случайного медведя холостым выстрелом из берданки, написал сборник рассказов «Молдавские сказки». Непритязательны названия каждой из них. Ещё более непритязательны их сюжеты. После их чтения иногда возникает ощущение, подобное ощущению, возникающему после чтения рассказов Чехова: мол, до чего же простая история! — каждый может такое написать. Не может. В том-то и вся штука. Для этого нужно и талант такой иметь, и тысячу книг прочесть, и на Сахалине пожить, и в Саянах, и в Средней Азии, и на Памире, и ещё много чего другого, о чём можно узнать, только увидев невидимую обратную сторону этого мира. В своём страшном, неотвратимом последнем действии Олег так и сделал. Он не только взглянул на мир с обратной стороны, но и навсегда ушёл в неё.

Разумеется, наша связь с ним не прервалась, ибо, как писал философ, «в строгом смысле слова мы *вовне* вообще не встречаемся с одухотворёнными существами. Если я вас воспринимаю как внешнее явление, то никакого отношения к душе, к одушевлённости вы не имеете». Стало быть, и с настоящим Олегом мы по-настоящему встречались только в его стихах и рассказах, а это никогда не прекратится.

Вся жизнь Олега была посвящена, — по его же определению — «*добиранию в своих стихотворениях смысла жизни*» и созданию витающих над нами монад, в которых он только и существовал по-настоящему. Они были, есть и будут, и сейчас ещё яснее ощущается та правда, которой он всю свою жизнь служил. Повезло тем, кто столкнулся в жизни с таким человеком, о котором не будут написаны песни, но который так проник в души тех, кто его знал, что его монады стали его продолжением в этих душах и образуют удивительный воздушный круг, который всегда находится там, где бродит его дух.

Посвящение

1.

Здравствуй, волковый Вулф!
Ты не волк даже в паре из самых
истреблённых и цугом,
и плугом, и кругом друзей.
Вижу я твой тулуп,
из потёртых и очень усталых,
и возможности тихих
и в мире, и в лире полей.

Ты заехал в Дамаск,
в этот город, столицею славный,
как Каир, и далёкий
от многих земель Ереван.
Там и думы конечны,
извечны и вечны, и малый
там налог. И залогом—
озёрный и горный Севан.

Ты бывал-ночевал
на игольчатых северных койках,
на саянских вершинах
и в жижах синюшных болот,
буревал-горевал
на развалах и замковых стройках,
пировал-ликовал,
набивая печалями рот.

Я дарю тебе флаг
и погон золотые полоски,
золотое перо
и расцвеченный кабриолет.
Не сдаются «Варяг»
и твои золотые наброски,
как и всё, что вокруг
тебя есть и чего уже нет.

2.

Мой последний приют разделяю с тобой,
чужестранный Олег из Брашова,
с неукрытой от снега с дождём головой
и с двойною макушкою слóва.

Твой вмонтирован росчерк в лепечущий диск,
воплотивший в себе все программы,
и твой сын—это твой же большой обелиск,
совмещающий радости гаммы
и твоих же аварий тиски и броски
от Саян до Гурона и Эри.
Ты шагаешь волокнами шаткой доски
вдоль разметки в своём интерьере,

что есть собственность только твоя и ничья.
Этим жив, настоящ и тоскуем.
Зачастую провалы в провалах ища,
сильноволен, читаем, волнуем.

Раздаю только стук у застывших дверей
мимо кнопки и против покоя.
Из больших, настоящих и сильных людей
я тебя лишь приветствую стоя.

3.

Я хочу золой с твоих полустанков
тихо сад усыпать свой в свете дня
и фонем твоих развесных приманки
разбросать, условности сохраня,

по сусекам. Звёзды писать не буду—
их в достатке уже, как и сикомор
моих,—просто доверюсь всюду
твоему чуду, мой Черномор.

Ты гудками и стрелками цедишь душу.
Я хотел путейцем стать, но не стал.
Засушил сушу свою и сушу же
пригвоздил тайно под твой вокзал,

подъезжая, Пушкин как, под Ижоры
и вдыхая дух виноградных лоз
твоих, претерпевая споры
суш других в ностальгиях других берёз.

С неба спутники молча в меня глядели
(и в других, конечно. Я кто такой?).
Хорошо и тихо на самом деле
там когда-то было. Подать рукой

стало до, снова до, до чего—не знаю,
не уверен больше ни в чём другом,
и лицом всегда обращаюсь к краю,
где дотла распущен мой сущий дом.

4.

Я посвятил тебе мыслей квадрат
и переплёт фактур
под «Снег в Унгенах», под всякий форштадт
из аббревиатур,

только понятных здесь мне и тебе,
скажем, как «О. И. Ч.» —
трёх настоявшихся в каждой судьбе
букв. Просто букв. Вообще.
Затхлость подвала, пустот городка,
шушерность дробных стрит
не повлияла… Большая рука
ночью твоя не спит.

5.

Я на станции Белой твои стихи
читал. Их проза жизнь добирает вверх.
Сначала — поступки, потом — грехи,
внизу — рядовой, вверху — главковерх.

Рядовой — я. Земля моя
засыпана снегом и мокрым сном.
Впереди завесы — мои тополя,
позади — ухоженный кошкин дом.

Главковерх отсутствует скоро год.
Батальоном командует дирижёр,
и в четвёртой из трёх наличных рот
наблюдает он ре-бемоль повтор.

Он попробовал на передовой
утеплять сражавшихся той зимой,
чтоб скорее могли добраться домой,
а не быть расклёванными весной.

Главковерх вернётся когда-нибудь
с телеграммой в каждой из сильных рук:
мол, конец всему — выходи на луг
и кисет в окопе не позабудь.

6.

Как иначе заработать на рифму,
если не волочить суму на плече?
Тяжёлую, как у Ильфа
с Петровым. Но не тяжелее вообще.

Как узнать о чём ты
и чем когда замостил площадь сна
своего? Явно не кирпичом, а чем-то,
что лишь вулкан выдаёт сполна.

Только лизнув эту шершавость
такого небытия пребывания
и умыкнув ведущее за тобой
скрытое узнавание.

Невероятно — но чистый факт
избитого, как моль, наличия факта:
твой су́ши-рисово-белый трактат
отличается от любого трактата.

Как иначе сказать, не размочив слюной
всю часть расхожего риска,
что получается в переводе на вой
с эсперанто твоего прииска?

7.

Ты свободен, хороший, от многих чужих обязательств,
и тебя же они отпустили за круг обстоятельств.
Там воздвиг ты свои так легко узнаваемы своды
и давно оттенил все границы и лжи, и свободы.
Ты горишь, не сгорая. Ты — больше, чем куст в
Палестине.
И окружность чужая — не мера тебе. Ты отныне
и костёл, и церквушка, и в штетле своём синагога.
Ты — и присно, и ныне, и речь твоя, видно, от Бога.

8.

Ты в лесной сторожке укрылся накрепко,
Аронзонов сын и боярин трепетный,
пьёшь малиновку, сику и мономаховку
безотчётно, ладно и беззаботно ты.
Дань лесная бредёт к тебе очень слаженно,
и речная рыба теснит днём озёрную,
мысли к мыслям кучкуются лично-сбраженно
и о стенку взбиваются переборную.
Гамаюн-река и Шалун-река
прямо в горнице плещутся под ковром твоим,
и отчётливо всё, что издалека,
в них становится сахаром, что сладим-любим.
Гусляром приду, сентябрём-октябрём,
когда ветры скорые станут выть-завывать;
посидим рядком, погундим ладком,
будет правду свою каждый всяк имать.

9.

Дорогим баловством кормишь меня чуть свет.
Смелее его и слаще в Раскладе нет.
В нём пути продымлены сводным перечнем гор,
пашнями севера, сугробами юга, в которых спор.

Я живу между этих двух, в кругах затаясь,
привечая разности, в коих ничего не боясь,
боюсь лишь гимнов, речей, подиумов, кастаньет,
ибо в них твоего нет, ни когда рассвет,

ни когда закат с дымной варежкой заходов слов.
Не переминают с ноги на ногу смысл основ.
Только непризнанной беглостью признан бег
там, где не вырублено: здесь живёт Человек.

Табличку медведь не прибивал или волк.
Её не свинтил бы хоть и казачий полк.
Но нет деревянной и не было, как и полка́.
Есть радужность твёрдости, мост, прицел у виска

здесь, где уходит столп номерной в ветра́,
в завтра, в полдень, в бредень, в позавчера.
Напиши мне, как пройдёт регистрации толк,
по адресу: лес, бурелом, медвежонку.

И подпись: Волк.

10.

Снова неясно: вижу тебя
не на дне, а в окне часто.
Вагон колёсен, чугунно-двуосен.
Стекло отуманено. Ты не кричишь,
молчишь как-то ранено с улыбкой гибкой,
ни в чём не хлипкой, ибо тоже
узнаёшь меня в ложе моей сторожки.
Я вижу и, видимо, знаю, что происходит.
Встречаю. Провожаю. Мысль бродит.
Проехал—и через час снова, в который раз,
та же картина, смыслом едина:
по шпальной дорожке те же дрожки.
Я это видел уже где-то в пятьдесят третьем,
холодным летом, легко одетый.
Их было много—одна дорога.
Миловидный конвой над головой,
и, смеха ради, впереди, и сзади.
Вагон самоходен, судьбе сопороден,
движет по кругу, пишет другу
всем существом чернильных масел
сейчас и потóм с закрытым ртом.
Лжецó закольцовано и обвальцовано.
Смысл ясен, домкратно ужасен
и бесчеловечен, премного вечен,
а если не так—убери знак
или все знаки, чтобы не было драки
внешних схождений и положений
с внутренними, такими утренними,
где люди—тени. А ты всё глядишь
и в четвёртый, и в первый,
такой многомерный, и даже в шестой,
такой холостой, и тому так далее:
тихий, спокойный, всегда многослойный,
в окне большой и давно смекалистый,
кислородом закалистый.
Так свобода вокруг наважденья в окне
меломанит сдвиг твоего исхода вовне
не только в тебе, но и во мне
накануне две тысячи десятого года.

11.

Говорить—но лишь с тем лицом
серым. Внутри—кольцом.
Выкованный отцом
на пороге века и зим,
предвестием бередим.

Стремить—через звук и цвет,
в голове без монет.
Мост есть, моста нет.
Вода иногда стоит,
потом ударяет в гранит.

Стучать—в стены поверх голов
серых. Вдруг и там кров
или какой лов.
Разложение разовых сил
вдоль половодий, где жил.

Внимать—во внутрихрамовый миг,
где невозможен крик.
Воин—рыбак—старик…
Тишина живёт без дорог.
За лесом уже трубят в рог.

Сидеть—и благословлять состав,
Дня спокойный устав.
Доедать пилаф.
Усталостей после—звонок
написавшего «Снег» впрок.

Ловить—слово, паузу, час
«в который, ну в который раз»,
плюя на заказ и сглаз.
Хорошо вдыхать этот дым
там, где оба стоим.

12.

Ты уехал в родимое чтиво.
Я сижу где-то в том же кафе,
где твоя зарубежная ксива
заказала аутодафе.

За порогом букеты акаций
затевают большую игру,
и проходы отеческих граций
суетятся на этом пиру.

Я поверил в твою невозможность
и губами потрогал чеку,
позабыв про свою осторожность
и про опыт на этом веку.

Благо, ты это, друг, понимаешь.
Там и здесь. Здесь и там. Кутерьма.
Ты и внемлешь, и всё понимаешь,
и сочувствуешь тоже сполна.

И народов весёлое счастье
по Дунаю и Волге плывёт,
растворяя меды и ненастья
перед тем, как засунуть их в рот.

Полон праздник, и полная чаша
под столом, над столом, на столе,
и какая-то живность не наша
оказалась у нас при дворе.

Созываю последнее вече,
надеваю обычный бурнус.
Как ты там, дорогой человече?
Я ответа и жду, и боюсь.

13.

Тебя и летом не сыскать
там, где скрываешься упрямо
и, как обидевшийся тать,
июль воруешь из кармана.
Воруешь тихое жнивьё,
надежды, списки новоселий
и то, что вовсе не моё,

чего и не было на деле.
Но нет, не потому что тать,
но потому что самый лучший
и не умеешь воровать,
непостижимый неимущий.
Всё здесь, в твоей большой горсти,—
и плоскогория, и реки,
труды до сумрачных шести,
озёра, рыбы, человеки.
Я перечту. Ты перечтёшь. Мы перечтём.
Они—забудут. Им это лето нипочём.
Они в своих часах пребудут,
чтоб к вечности не опоздать,
где ты скрываешься упрямо
и, как обидевшийся тать,
июль воруешь из кармана.

14.

Клёкот. Чужая речь.
Дал нам не мир—но меч.
Выгорел керосин.
В каждой толпе—один.

Грифель. Молекул шторм.
Паузами—прокорм.
Шелестам всех монад,
что на бумаге,—рад.

Недоговоры-де
прячутся в бороде
выборочно седой,
выморочно льняной.

Славно идёшь. Иди.
Компас уже в груди.
Тени уже в летах.
Лето—в больших горах.

Вечером прилетай
на крепкостойный чай.
Будем не убеждать—
просто сидеть, молчать.

15.

Поэт стал прахом человечьим
(души отважной вариант
под шапкой с запахом овечьим)
и завещал нам свой талант.

Здесь море горя… горя море…
Из Книги жизни мотыльки,
ни с кем и ни о чём не споря,
взмывают ввысь с твоей руки.

Вспахав при жизни сотни пашен,
ты их прожил, все сто, в одной,
лебяжен, но не простоквашен,
Олег осенний, дорогой.

Искусство твоего ухода
оборвало нам все мечты
на сотни лет большого года,
пока нас всех дождёшься ты.

16.

Вонзая всё то, что осталось от чудь-топора,
тебя вспоминаю я денно, и нощно, и денно,
которого нет, но ты был здесь сегодня с утра,
сейчас предо мною, размеренно и непременно,

всё тот же во взгляде, во времени и в простоте,
в охвате и в мыслях таких непростых напряжений,
когда даже те, кто другие и вовсе не те,
плывут вдоль твоих берегов и твоих наваждений.

Скорей, это *мы* изошли, чем не стало тебя,
и куст не сгорел, и твои продолжаются строки,
ту родину в мире и мир в ней безмерно любя,
как и объяснял нам в не заданном на дом уроке.

Александр Орлов

Парабеллум

«А как ты встретил своего первого немца?»

Дед ответил: «Он пришёл сам, воровал у нас яйца в курятнике. Здоровенный такой, рыжий, коротко стриженный, весь в веснушках. Рукава серого кителя закатаны по локоть, широкие форменные брюки, вычищенные сапоги. В левой руке стальная каска с яйцами, а в правой — парабеллум, направленный на меня».

«А потом? Что потом?» — спросил я.

«А потом я и ещё несколько моих сверстников проследили, как двое немцев ушли за околицу».

И он замолчал. Ему было тогда пятнадцать.

«У вас было оружие? Откуда?» — не отступал я.

«Оружие мы находили повсюду, без оружия никого не брали в партизанский отряд. Мы, подростки, заигрывались в войну, сражались в окопах среди убитых красноармейцев. Обращаться с оружием не умели, точнее — только учились; случалось, и себя, и друг друга в этой боевой забаве калечили. Немцы носили такие коричневые ремни из свиной и телячьей кожи, ранцы, сумки, да и вся немецкая амуниция была удобная, но мы никогда её не брали. Брезговали».

«А зачем? Зачем она была вам нужна?» — вопрошал я.

«После взятия Смоленска немцами пришла пора уходить из деревни; оружия хватало, а с одеждой были проблемы. Форму снимали с убитых красноармейцев. Хорошо, если командир попадётся или политрук. Галифе, сапоги, ремень, портупею можно было позаимствовать. Тогда мне хотелось найти ремень со звездой на пряжке, но попадались одни солдаты, а желанный ремень носили командиры. На грязную одежду внимания никто не обращал, главное — чтобы одежда была не изорвана. Я тогда долго не мог подобрать себе сапоги. Нашёл подходящие. Стащили с убитого немца, эсэсовца, танкиста. Этот офицер был тяжело ранен. Потом, уже убитого, мы заволокли его в подлесок и раздели. Обувь германская мне впору пришлась, размер тридцать девятый — мой».

Дед улыбнулся и продолжил: «Мы жили в старинном селе Дуброво, которое люди нарекли Епифанью — в честь моего деда Епифана Тимофеевича, унаследовавшего от графини Орёл всё недвижимое имение, крепостных крестьян и дворовых людей. Графиня преставилась в день пленения имама Шамиля. Так на протяжении десятков лет проживало наше семейство, даже после революции и Гражданской войны помещичий быт не изменился, всё вокруг принадлежало нам: лес, река, мельница, яблочный сад, вишнёвый сад и дом. Обстановка в доме не изменялась со смерти графини. Старинная мебель и десятки икон, привезённых графиней-паломницей из Иерусалима и Константинополя, с Афона и Синая, и портрет моего прадеда, ополченца, получившего Егория Храброго за штурм Утицкого кургана во время Бородинского сражения, сопровождали моё детство. В тридцатые годы моего отца расстреляли. Нас осталось восемь человек и мать. Я был младший. Мой старший брат погиб на фронте. Детей врагов народа забирали в Красную Армию сразу и отправляли на передовую. В июле сорок первого пришли фашисты. Партизанское движение зародилось на Смоленщине ещё со времён польского нашествия, в наших лесах укрывались народные мстители — «громлённые крестьяне», или «шиши». В сорок первом смоляне уходили в леса, поодиночке и многочисленными отрядами, с оружием в руках. В партизанский отряд я попал в конце сентября. У меня были тот самый парабеллум конопатого фрица, сапоги танкиста и винтовка. Помню, таскал свою первую добычу за голенищем, подсмотрел, как носили пистолеты стреляные вояки вермахта, только я всё время боялся потерять первый трофей. В сентябре сорок третьего Смоленск был освобождён, и партизанские соединения вливались в ряды регулярной армии. После проверок меня откомандировали в армию генерала Черняховского, который впоследствии командовал Третьим Белорусским фронтом, освобождал Белоруссию. В сорок четвёртом году меня вызвали в особый отдел. Дальнейшую службу в звании гвардии старшего сержанта я проходил на территории Белоруссии, в Бобруйске и Барановичах. Чуть позже я стал преподавать в школе сержантов, а вот парабеллум всегда был при мне, я не мог с ним расстаться. После окончания войны я приехал на побывку к родным. Жить негде, есть нечего, карточки ещё не отменили, только водка дешевела. Школу я не закончил, хотя мы, фронтовики, имели право на бесплатное обучение. Я решил остаться на сверхсрочную службу, подумал, что так будет легче для всех. В послевоенное время в армии, да и не только в ней, убивали по привычке из-за пьяных споров и никчёмных обид. Народ, ослеплённый войной, сжился с жестокостью. Оружия было столько, что никто не знал, что с ним делать, а люди озверели за четыре дьявольских года, а я всё хранил парабеллум. Как-то на летней танцевальной площадке клуба офицеров майор-фронтовик убил новоиспечённого лейтенанта из-за девушки выстрелом в упор из трофейного вальтера. Пришли, проверили табельное оружие майора, освобождавшего Прагу, а запаха пороха нет. Только позднее кто-то донёс о трофейном пистолете. Майора-орденоносца осудили. А после разоблачения культа личности и амнистии что творилось?.. У нас в Подмосковье в бараках проживал матёрый ширмач-голубятник. Как-то на Первомай фабричный комсорг пробрался в его голубятню и топором порубал головы птицам, а топор оставил. Кошелёшник вернулся домой, зашёл в голубятню, взял топор, нашёл голубиного палача и отрубил голову победителю Квантунской армии».

Мы молчали минут семь. Горькое откровение деда не умещалось в моём сознании. Фронтовики были для меня людьми истины. Как они могли? Офицеры—друг друга, фронтовик—голубей топором. Зачем? Позорная дикость. Как? Как они жили?

«Дедуль, а как ты служил после войны?»—осторожно поинтересовался я.

Он вдруг опустил голову, замолчал. Весна была в самом разгаре. День был такой солнечный, и запах черёмухи распространялся по городу. Во дворе располагалась ТЭЦ, на которой ранее работал дед, сначала он был секретарём комсомольской, а потом партийной организаций.

«Меня будили, как правило, часа в два или три—или ближе к утру. Приезжали три или четыре офицера МГБ, и мы ехали на задание. Так случалось часто. И я уже привык к ночным поручениям».

Я с нескрываемым интересом и уважением посмотрел на нагрудный знак «Отличный разведчик», принадлежащий деду. Он отмалчивался минуты три-четыре, потом продолжил:

«Старший группы был не ниже майора, все были вооружены автоматами. Время, проведённое в дороге, я не помнил. Ехали в неизвестном направлении. После войны на территории Белоруссии, Украины, Литвы оставалось множество военизированных группировок. Их уничтожали до середины пятидесятых; если поступала оперативная информация о том, что некто из бандеровцев, власовцев, бывших полицейских или дезертиров тайно прибывает или посещает какой-либо населённый объект, эта информация своевременно проверялась. Во время таких проверок я входил первый в жилище, находящееся под подозрением. Как правило, я заходил без оружия, в руке у меня был только фонарь, а за спиной—младший группы, чином не ниже лейтенанта, с автоматом. И никто не подозревал, что в кармане галифе у меня была тайная защита. Я всегда отдавал себе отчёт, что и в этом случае шансов мало, поэтому подходил вплотную во время обыска к месту, где, возможно, притаился враг, и резко включал фонарик. Яркий свет мог спровоцировать выстрел в упор».

«А ваша группа? Они же были лучше вооружены? Почему они были сзади?»—рассыпал я свои вопросы.

Я поймал суровый взгляд деда, его тёплые голубые глаза показались мне серыми, какими-то омертвелыми, я впервые увидел нечеловеческий оскал, он смотрел мне в глаза и выдавил из себя:

«Так было надо».

Эти вопросы осели у меня в голове, спрятались в моём сердце. Больше я никогда не спрашивал его о том времени.

Прошли годы. Он болел, я ухаживал за ним. Перед смертью в больнице он сжал мою руку и пробормотал: «Что они с нами делали, Саша! Когда они приезжали, я бежал босиком по снегу в сарай и прятался там, спустя время за мной приходила Дуся; я помню, как синели мои руки и леденело моё тело, как от холода я не чувствовал слёз».

Я прощался с ним так, как прощался с трёхлетнего возраста, крепко сжимая его могучую руку и нашёптывая симоновские строки: «Ничто нас в жизни не сможет вышибить из седла…»

Через год я неожиданно оказался на смоленской земле. Моих родственников тянуло на землю пращуров, как и меня. Ехали на двух машинах. Везли ограду для могилы мужа Евдокии Орловой, старшей сестры моего деда. В сорок втором Василий Серков, муж Евдокии, ночью пришёл за продуктами в село Новоспасское, его выдали немецкие прихвостни, а на следующий день гитлеровцы прилюдно повесили партизана. Евдокия была характера упёртого, так мне рассказывал дед. Как только фашисты ушли, она собрала солдатских и партизанских жён и устроила кровавое судилище не только над немецкими приспешниками, но и над их домочадцами. Изгоревавшиеся русские женщины, истощённые сталинским раскулачиванием, затравленные гитлеровской оккупацией, забивали до смерти фашистских холуёв, некоторые из которых ранее состояли в комбедах, сельсоветах, промышляли самогоноварением, стряпали доносы. К закату солнца растрёпанная и окровавленная Евдокия вернула в дом быка и корову с телятами, которых в возрасте молодняка отобрали в день ареста моего прадеда.

Ехали мы быстро; помню, как величественно под Дорогобужем мои дядья привели меня на земляную насыпь и торжественно показали Днепр. Не забыть мне Ельню, усадьбу Глинки и Болдинский монастырь, красующийся в лилейном отчуждении от всего человечества.

Мы приехали в Епифань. На второй день я ушёл из нашего палаточного лагеря. Меня сильно влекло в хмурый Епифановский лес. Казалось, он хранит столетние тайны в своих неприкосновенных чащобах. Эта вековая непроходимая ширь помнит незваных пришельцев: татар и литовцев, поляков и французов, немцев. Эта вечнозелёная и колючая безлюдность укрывала кривичей, половчан и моего деда. Здесь нашли своё пристанище и рыжий пехотинец, и танкист-эсэсовец. Гуляя по опушке леса, я думал, что этой еловой дремучести нет измерения. И нет никакой возможности овладеть этой заветной глушью.

Грёзы мои рассеялись, я долго плутал и, к счастью, вернулся в наш стан. Закончилась водка, а полбатона хлеба едва хватило на ужин. Утром мы отправились в ближайшее село. Проехали через вымершие деревни, которые были однофамильцами моих родственников. Остались позади Лапино и Серково. На обратной дороге мы остановились около одинокого перекошенного дома. Вышел хозяин. Мы стали расспрашивать его о прежних жителях. Этот старик, неизвестного возраста, в истрёпанном военном пиджаке образца восьмидесятых, кирзовых сапогах, в рваной меховой шапке с одним ухом, с земляным цветом лица, голубоглазый, был неразговорчив. Когда он услышал нашу общую с дядей фамилию, резко с неохотой обронил: «Знаю я только одного Сашку Орлова, с которым партизанил, а более и знать мне нечего».

Дядя посмотрел на старика, указал на меня и сказал: «Этот — последний из рода Орловых».

Старик ушёл, потом он вывел к нам свою мать. Мне сложно сказать, сколько лет было этой необычайно высохшей, маленькой и слепой старушке; она пощупала мою руку и умилённо прошептала: «Стало быть, барин вернулся, вот, значит, как, теперь и помирать можно».

Неожиданно для самого себя я спросил: «А Жуковы живы? Где их дом?»

Старик оцепенел и с прищуром процедил: «Много тебе, барчук, видать, дед поведал».

«Да так, только самую малость»,— ответил я.

«Значит, и тебя кумачовый срящ не отпускает? Вроде и не был там, а всё как перед глазами, да, барин?» — хлёстко вырвалось у старика.

«Бывает»,— нехотя бросил я.

«Не страшно?» — не отставал старик.

«По-разному»,— глядя ему в глаза, ответил я.

«Ну, коли истину ищешь, значит, вера, надежда и любовь в тебе живы. От этого и сердце ломит. Главное — в руки Спасителя ввериться, он направит и сбережёт»,— отрешённо протянул старый смолянин.

Он закурил сигарету и начал деловито излагать: «Было это спустя год после смерти барина; тот солнечный день выпал на летнюю макушку. В горячую пыль тридцать вёрст мчались тарантасы, повозки, телеги, а во главе на тройке ехали братья Жуковы. Вся сельсоветская ватага утопала в кумачовых знамёнах и алых лентах. Раздавались разудалый звон бубенцов и песни под гармошку. Так к барскому дому явился жених, Жуков-старший, в сопровождении братьев и сватов. На крыльцо дома вышло всё ваше стержневое семейство: барыня Анна Ивановна и восемь человек детей. Твоему деду тогда было лет пять, его под руку вывел старший брат. Сватовство было кратким. Жуковы жёсткий отказ при всём сбежавшемся народе простить не смогли; уезжая, жених прокричал: «Скоро мы вас всех!.. слышите, Орловы? — всех! всех изведём!» А слово своё Жуковы держать умели, так-то, барин. Чего ещё тебе дед сказывал?» — замысловато поинтересовался старик.

«Про Жуковых всё. Когда дед демобилизовался, жажда отмщения его не покидала. Где-то на опушке Епифановского леса в еже он закопал парабеллум»,— я замолчал.

«Кладенец ищешь, барин,— сердито ухмыльнулся старик,— оттого и спишь плохо, срящ кумачовый не отпускает. Деда не отпускал, а теперь вот и тебя. Памятозлобие — это печать Антихриста, так старец оптинский Амвросий завещал. Смирись! Жуковых и всё их семя злодейское война наказала, нет их больше, и род их паскудный исчез навеки»,— крадучись, заглядывая мне в глаза, наставлял друг деда.

Мы засобирались.

Земляк моего деда заворожённо смотрел на полёт хищника, а потом вдохновенно произнёс: «Беркут! Высоко парит, там теплее. Добычу выискивает: коростеля или тетерева, а может, лисицу или косулю, да и на волка налететь может. Добрая примета! Орёл — царь птиц — завсегда к воскресению жизненному прилетает. Апостола Иоанна Богослова знак».

Минутой позже старый партизан хмуро обронил: «Друг мой Сашка седой был. Не помню я, когда он поседел. Мне кажется, он такой всегда был, сколько его помню. Может, когда чекисты к вам в дом повадились, может, когда его немцы на расстрел вели, не помню». Дед и правда был весь седой, сколько помнили его все.

Мы сели в машину, старик подошёл ко мне и пробормотал напоследок: «За прадеда твоего всю жизнь Бога молим. Ещё огольцом мне довелось видеть, как барин выходил в поле, и молитвенное слово его разносил ветер. Барскими молитвами люди и скотина исцеление получали. В те года, когда не только хлеб, а лапти и грибы у нас отбирали, мы барским лесом и садом жили. Епифань для меня с рождения — спасительное место. Когда дубы у вашего дома были полны желудями, к Павлу Епифановичу пришли православные и христопродавцы, спор у них вышел из-за урожая. Барин по совести рассудил, евреи местечковые правы оказались. Разве советская власть такое стерпеть могла? Сколько лет после революции минуло, а народ всё к барину за правдой ходит. Так барина нашего, прадеда твоего, в Рославль и свезли, там и кончили. Немало собралось на смоленской Голгофе невинного люда. Ну, бывайте, отчизнолюбы! С Богом!»

Мы вернулись в Москву. На квартире деда я помогал тёте разбирать старые вещи. Залез на антресоль. В ближнем правом углу я нашёл знакомый мне с детства вещевой мешок деда. Он был выцветший, весь в заплатах, тонкий на ощупь, покойная бабушка хранила в нём лохмотья. Я схватил мешок, спрыгнул с лестницы. Мешок показался мне тяжеловатым. Я открыл его. Парабеллум! Люгер рыжего Фрица, или Ганса, или Хорста. Счастливый трофей моего деда. Теперь он мой!

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Владимир Коркунов

Компания фаталистов

Максим Лаврентьев. Поэзия и смерть.—М.: Казаров, 2012

Что кроется внутри поэта—за границей души? Где гнездятся провидческие способности? Почему люди творческие—утончённые, воспринимающие мир совсем не так, как остальные,—могут предугадать и смерть свою, и беды, и радости, вообще—быть пророками? И что это вообще такое—предсказать собственный уход?

«Поэзия и смерть» Максима Лаврентьева—попытка присмотреться к тайной (тёмной?) части человеческого естества, заглянуть за окантовку души.

Лаврентьев—эстет, и потому даже танатология у него эстетствующая; о смерти он пишет красиво, увлечённо—порой до мурашек!—попутно увлекая и читателя.

Предсказания свойственны писателям. Брэдбери увлечённо вычерчивал видимое (кажущееся?) ему будущее, Оруэлл вместил новый (утрированно-реальный?) мир в число «1984». Многое ли сбылось? Даже не с физической точки зрения (предсказать современные гаджеты человеческому разуму тех лет было вряд ли под силу), а с духовной? И не является ли «сожжение книг» всего лишь метафорой?

Но это лишь одна плоскость, на которой пророчество обретает умозрительную, даже творческую основу.

Предсказать свой уход—возможно ли это?

И какой «механизм» должен быть задействован, чтобы это произошло? Отчего один уходит-таки в крещенские морозы, а другой не спешит на Васильевский остров? Почему талантливая Анастасия Харитонова практически досконально описывает обстоятельства собственной трагической смерти, а иной сочинитель день ото дня строчит о грядущей гибели, а расстаётся с душой в собственной постели много лет спустя?

«Поэзия и смерть»—не то что «проводник», скорее—«путеводитель» в этот эсхатологический мир, пугающий и манящий одновременно. Подкупает стиль—лёгкий, парящий, одновременно опрощающий поднятую тему, а с другой стороны (в простоте—глубина)—заставляющий задуматься. И вот уже открываешь практически мистические обстоятельства ухода Аллы Андреевой (жены автора «Розы Мира» Даниила Андреева»), пробираешься сквозь неровный ряд поэтических предсказаний Константина Вагинова, споришь по поводу оценки творчества Валерия Брюсова…

Тема жизни и смерти, любви и измены, взросления и старения—вечны и вне зависимости от эпох и времён, политических и эстетических взглядов человека вызывают неподдельный (а это—реально!) интерес. Бог с ним, с Брюсовым. Беседуя вскоре после выхода «Поэзии и смерти» с Кириллом Ковальджи, мы сошлись на том, что претензии Максима Лаврентьева не лишены оснований, но… (И тут Кирилл Владимирович процитировал по памяти запомнившиеся с детства строки: «Близ медлительного Нила, там, где озеро Мерида, в царстве пламенного Ра, ты давно меня любила, как Озириса Изида, друг, царица и сестра! И клонила пирамида тень на наши вечера».)

И всё-таки Максим Лаврентьев оказывается тем самым подвижником, который не только берёт от поэзии (речь о собственном таланте), но и отдаёт—щедро. Могу не только пожелать ему продолжения подвижнической деятельности во благо поэзии, но и… не торопиться с написанием своего пророческого стихотворения.

Людмила Коль

Тайный знак

— Знаешь, где я был в этот раз в Москве?

— Где?

— В церкви у Никитских.

— А, да, хорошо отреставрировали.

— Давно уже. Ты вот не хочешь ездить в Россию, а напрасно.

— Я, Махлин, свою квартиру не сдаю, как другие, которые квартплату собирают каждый год, поэтому и не езжу — мне собирать нечего. Мне и здесь хорошо. Ты меня сюда привёз много лет назад, я ведь не просила. Теперь я здесь прижилась, и мне хорошо здесь.

— Не все же сдают квартиры.

— Кто не сдаёт, тот и не ездит. Ездят — за деньгами.

— Ты не права.

— Права, Махлин. Ты сам ездишь туда только по делам. Если бы не дела, то и ты не ездил бы, да.

— Ладно, Бог с ним! Зато какой у меня случай был в этот раз!

— Давай, Махлин, лучше про случай, я послушаю.

— Ты же меня просила отнести в редакцию материалы на рецензию, дала адрес, помнишь?

— Ну, помню, конечно.

— Через чугунные ворота захожу в живописный московский дворик, старинный, барский остаток ещё. Посередине огромная клумба, кругом ресторанчики и кафешки с увитыми зеленью беседками, деревянными скамьями и прочее. Ищу номер. Наконец, спрашиваю официанта. Он не знает. Я объясняю: там редакция журнала. Он показывает: вон в ту дверь они ходят. Вхожу, поднимаюсь на второй этаж.

— И там — ужас что такое.

— Правильно. Все толпятся в трёх крошечных комнатушках, шуршат бумагами; стены обшарпаны, штукатурка облуплена, окна грязные; на столах — завалы бумаг…

— Живописно, в общем.

— Да. Компьютер — один всего на всю редакцию, к нему не пробиться; гудение голосов, сотрудники чего-то друг у друга требуют, ходят из одного душного помещения в другое, курят при входе, и дым плавно распространяется по всей редакции, не помогают ни открытые форточки, ни открытая на лестницу дверь.

— Так, понятно: в присутственный день попал, все на месте — и сотрудники, и авторы, и начальство.

— Да при чём здесь это? Разве можно в таком помещении нормально работать? Спрашиваю: как вас угораздило в такую дыру попасть? Вроде бы раньше в лучшем помещении были. Они отвечают: шоу-бизнес и ресторанный бизнес виноваты, культуру сейчас не ценят. Видели, какие рестораны внизу?

— Так шоу-бизнес и тусовки в кабаках — это и есть современная культура. Ты как-то отстал, Махлин, живёшь в каком-то допотопном мире, не знаешь, что происходит вокруг. А нас уже давно окружает «звёздная» жизнь.

— Да какая это культура?! Бескультурье это.

— Махлин, не будь ретроградом. Скучно. Иди в ногу со временем, в конце концов! Сказано же тебе с экрана ТВ: «Живи на яркой стороне!» Твои дети уже так живут, и другие так живут, и все теперь так живут. И нечего против этого выступать, народ смешить. Ещё хорошо, что у них вообще помещение есть. В пору надомниками стать.

— Слушай дальше. Отдал я, значит, книжку, сошёл вниз и зашёл в один из этих ресторанчиков.

— Ага, зашёл всё-таки, не удержался.

— Ну есть-то хочется. Покормили, кстати, неплохо. А я сдуру обругал официанта за какую-то абсолютную ерунду, типа: я ноль-пять пива просил, а он ноль-три принёс. И потом стыдно стало: мол, в кого же я превращаюсь — только что из норы, где прячутся остатки культуры, как древние христиане в своих пещерах, страшно за это, а сам, получается, не лучше. И так мне стало стыдно, что захотелось зайти в церковь, хотя я и неверующий.

— Ну уж не знаю, какой ты неверующий, если тебя всегда тянет зайти в церковь.

— Ну что-то во мне, наверное, есть. Потому что, помню, моя бабушка, умирая от рака в Боткинской, уже не слушающимися губами произнесла то, что я разобрал как: «Ты последний потомок его…» А кого потомок — не разобрал я.

— Ну да, и ты с тех пор решаешь: чей? Знаю я тебя, ещё и не то сочинишь. У тебя вечные фантазии.

— Ладно, оставим это. Ну представь себе, ведь в помещении ресторана, где я был, раньше располагалась редакция журнала. А теперь — ресторан! И стало мне ужасно обидно за них и вообще за нашу культуру. Потому и захотелось зайти в церковь. Я вышел на улицу. После выпитого пива в голове стоял шум.

— Представляю, с каким наслаждением ты втянул в лёгкие московский воздух.

— Не иронизируй.

— А я и не. Загазованный, но всё-таки менее удушающий, чем запах шашлыков или сигаретный дым в редакции, который заставляет кашлять. У них там всегда дым столбом.

— Ну да. Не сбивай. А тут как раз недалеко церковь у Никитских ворот.

— Церковь Большое Вознесение называется.

— Может быть.

— Ах, ты даже этого не знаешь? Раньше там не то склад был, не то какая-то лаборатория. Глухо было. Мы ведь неподалёку жили, часто мимо проходили. Всякий раз моя мама не забывала сказать: «Вот церковь, где венчался Пушкин». Я это навсегда запомнила. Правда, говорят, все иконы тогда уничтожили.

— Тебе лучше знать. Иконы там сейчас есть, красиво внутри.

— Так это уже новое всё. А того, старинного, больше ведь нет.

— Не в этом суть. Она мне нравится ухоженностью, чистотой, какой-то благословенной строгостью — вычурно звучит, но по-другому не могу сказать. Важно, что церковь открыта, и каждый может прийти, когда тяжело, и благословение получить, и душу очистить, и усопших вспомнить.

— В общем, ты прав, конечно. Ведь всё русское зарубежье вокруг церкви держалось, благодаря этому и сохраняло свою культуру, и выживало.

— Вот именно. Вот и я пришёл. Поднялся по ступеням, зашёл. Народу немного — так, несколько человек: кто свечи ставит, кто молится. Службы нет. Тишина. На меня подействовало. Значит, как говорила когда-то твоя подруга, намоленная церковь. Я тоже купил свечи, чтобы поставить и за твоих, и за своих. Поставил. А в голову мысли всякие лезут: всё убогую редакцию вспоминаю и бабушкины последние слова и думаю, что был бы я наследником Его — умел бы чудеса творить. И тогда уж точно выгнал бы мамону из дворика из этого.

— Ну да, как Иисус выгнал менял. Но мамоны теперь так просто не уходят, как тебе известно.

— Ладно. Перехожу от иконы к иконе. Креститься не крещусь, не умею. Обхожу молящихся, смотрю церковную литературу. Тут, вижу, заходит парнишка с котомкой за плечами, на палке болтается, ну просто персонаж из девятнадцатого века: худенький, светловолосый, простой совсем, деревенский, знаешь, как раньше передвижники рисовали таких.

— Как у Перова. Или у Богданова-Бельского…

— Вот-вот. И как он в наше время попал? На вид — лет шестнадцать-семнадцать. Подходит к церковному киоску, протягивает служительнице какую-то бумагу и говорит, что хотел бы получить деньги на продолжение своего паломничества в какой-то монастырь, не расслышал точно. Она посмотрела бумагу и отвечает, что батюшка будет только вечером. «Да нельзя мне вечера ждать». Печально как-то он сказал это и отошёл в сторону, и слышу, как он говорит тихо, как бы про себя: «Что ж делать-то?..» Стоит, вижу, в растерянности. Тут меня как чёрт дёрнул. Подхожу и спрашиваю: мол, сколько надо? Он протягивает мне эту самую бумагу и говорит, что на билет на автобус нужно. «Всего триста рублей будет». Я опускаю руку в карман куртки и, не глядя, вытаскиваю — как ты думаешь, сколько?

— Триста рублей, конечно.

— У меня в руках ровно триста рублей. Не глядя, достаю. Вот чудо! Парнишка, кажется, тоже оторопел. Протягиваю ему эти деньги, а он мне: «Как имя твоё?» — «Зачем тебе имя моё?» — спрашиваю, а тон мой, чувствую, спокойным стал, проникновенным, убедительным, как будто не я говорю, а за меня кто-то. «Помолиться за тебя», — отвечает. Вспомнил я опять бабушкины слова, а тут ещё и чудо это с деньгами, и говорю ему почти торжественно: «Не надо тебе знать имя моё, моё время ещё не пришло». Тут он вдруг опускается на колени и хочет мою руку поцеловать. «Рано, рано, — повторяю я и руку, конечно, убираю, — главное только — ты не пей. И запомни мои слова».

— А почему ты так сказал? Он что — пьяный был?

— Да нет, что ты! Паломник, идёт из одного места в другое, а денег нет. Много теперь таких людей.

— Так почему же ты сказал не пить?

— Не знаешь пьянства на Руси? Что за вопрос задаёшь? Пьют по случаю и без случая, противоядия от этого не найдут никак. Не дай Бог, сопьётся паренёк: мало ли с кем и с чем в жизни столкнуться придётся, какие люди будут окружать? Парнишка уж больно хороший. А так услышал слова Божьи — и запомнит.

— Это твои-то слова — Божьи?!

— Ну… Откуда ты знаешь, через кого Он вещать будет? Может, и через неверующего, вроде меня. И ещё раз повторил ему значительно: «Время моё ещё не пришло, не ходи за мной». Повернулся и быстро ушёл, чтобы он меня не догнал и не стал ещё что-нибудь спрашивать.

— Напугал, небось, мальчишку, уж точно не забудет.

— Иду и думаю: может, оно уже и пришло, моё время? Да ещё накануне Вербного воскресенья было…

— Да ну тебя! Тебе всегда дурные мысли в голову лезут, греховные.

— А как же чудо?..

Наталья Гарбер

Бабочки

День рождения

Май. Ты сидишь на чьём-то дне рождения, но твои глаза прикрыты печалью, как марлей. Ты щуришься на эту жизнь, будто ещё не родилась. Тебя зовут Светлана, и ты прозрачно светишься на свету, как крылья белой бабочки. Но твоё тело зажато воспоминанием о родовых проходах и никак не освободится от этих пут.

Ты бабочка, которая вылезла из кокона, но почему-то не расправила крылья. Они не выросли? И ты держишь их под белыми одеждами, хрупкая, тонкокостная, с прозрачными прожилками вен под глазами.

Под глазами, которые видят мир сквозь марлевую пелену.

Иногда мне кажется, что прожилки, предназначавшиеся для крыльев, по ошибке там, в коконе, оказались на глазах. Там, в коконе, что-то варилось, из старой жизни, и произошла некая ошибка. Или, наоборот, плановая мутация.

Бог хотел тебе (или через тебя?) что-то сказать. Поэтому он лишил тебя крыльев, положенных бабочкам, и накрыл марлей глаза.

Теперь ты ходишь вся в белом и марлевом, одетая в воспоминание о возможности полёта, и ешь сырые овощи, красиво раскладывая их на тарелке вокруг соуса, и выглядишь как плакальщица на японских похоронах.

Но ты не можешь плакать. Это тоже намерение Бога? Тоже—сообщение о чём-то? Не знаю и смотрю, как ты щуришься, пытаясь заплакать, и не можешь. Мне жалко тебя. Этот жест лица—иначе его не назвать, ибо это попытка взмаха крыльями век, а не мимика,—придаёт лицу выражение попытки взлететь. Взлететь из сна, из опутанности марлевой одеждой—напоминания об недаденных крыльях, взлететь из белого безмолвия кокона с так и не произошедшей в нём трансформацией, из кокона, обвивающего тебя… всю твою жизнь?

Ты всё ещё гусеница, поэтому тебе сложно глядеть на мир без марли, так?

Что бы там ни было—ты не родилась, вот что я чувствую. Ты сидишь со стаканом красного вина и удивлённо смотришь на кусочек хлеба, который упал внутрь. Это Бог, раздумывая, когда ж будет своевременно твоё рождение, уронил его туда. И даёт тебе шанс причаститься этой жизни…

И я не знаю, стоит ли тебе рождаться. Я просто верю, что стоит, и случайно проливаю этот стакан тебе на коленки. Коленки розовеют и полнеют, а ты становишься немного живей, удивляясь, что же мы хотели тебе сказать.

И взмахиваешь крыльями век наконец-то…

Тебя переодевают в чьи-то рабочие брюки, и они тебе под стать—не жёсткие и каляные, как положено джинсам, а мягкие, почти домашние, нежного, чуть приглушённого голубого цвета.

Это домашняя рабочая одежда. Рабочая одежда для бабочки, трудящейся дома.

Хорошее начало жизни, тебе не кажется?

Бабочка Алла

В городе июль. Она стоит на асфальтовой дорожке в кремовом пальто-трапеции, похожая на большую бабочку со сложенными крыльями. В глубоких морщинах вокруг её глаз затаилось волнение. Она смотрит перед собой невидящим взглядом и, как бабочка лапками по листу, перебирает пальцами по палочке, на которую опирается.

Она идёт внутри себя, но стоит снаружи. Она о чём-то думает.

И эта неподвижность—кокон, из которого вылупляется её мысль.

Что-то её заботит.

Я замираю и жду. Сейчас забота заполнит её целиком и примет какую-то форму.

Тогда она оживёт и сдвинется с места. Но не раньше.

Я пытаюсь прислушаться к мелодии, которую создают её пальцы на палочке.

Так? не так?—подбирает она мелодию, аккуратно перебирая жемчуг невидимых воспоминаний и связей.

Я почти начинаю слышать звуки её волнения, и тут пальцы останавливаются.

Мелодия сложилась.

Её лицо оживает, глаза возвращаются из внутреннего путешествия, она оглядывается—и видит меня. Радостно кивает и приближается, как бабочка, мелкими шагами, бережно неся за собой крылья кремового пальто.

— Как ваши дела?—спрашивает она и улыбается глазами.

Это не дежурная фраза: она остановилась на краю цветка моей жизни и готова погрузить своё внимание в нектар моей истории.

— Всё хорошо. Я, кажется, нашла то, что хочу делать,—говорю я.

Это тоже не отговорка. В стране кризис, жизнь вообще непростая штука, а для бабочек—особенно, поэтому натуральное, богатое, ароматное «хорошо» есть плод каждодневных душевных усилий.

Она это знает, чувствует и ценит. Поэтому впитывает звук моего голоса, читает рисунок дыхания, присматривается к движениям крыльев за моей спиной, заглядывает в глаза. Да, и вправду—хорошо. Она радостно и тихо вздыхает—и крылья пальто за её спиной слегка приподнимаются.

— Как хорошо, что хорошо,—говорит она и улыбается уже всем лицом, чуть прикрывая глаза.— А что это? Что вы нашли?

— Это секрет пока. Когда всё сложится, я скажу. А пока секрет.

Она улыбается и кивает:

— Хорошо, хорошо, пусть секрет, если хорошо, что секрет.

— А у вас как дела?—спрашиваю я, складывая свои жемчужные крылья и присаживаясь на краю цветка её жизни.

Она вздыхает и молчит, но пальцы начинают перебирать по палочке.

О, вот оно что. Это было не воспоминание, это было о чём-то, что сейчас…

Она делает паузу, проверяя, стоит ли поделиться со мной нектаром печали.

Я жду, тихо качаясь на краю лепестка.

Я хочу услышать мелодию её печали, почувствовать горьковатый привкус заботы…

— Я была в сберкассе,—говорит она.—И тысячу рублей переплатила. Ох… Вчера переплатила и не заметила. По квитанции нужно было тысячу восемьсот, а я дала две восемьсот. И ещё пять копеек. Пять копеек, точно. Я всегда так хорошо считаю, а тут ошиблась… А они уже пробили. Говорят, помним, что пробили не то, на кассе, говорят, осталась вчера лишняя тысяча, знаем. Такие приятные люди, честные. А сделать, говорят, ничего уже не можем. Нужно мне ехать к их начальству, а это далеко. Ох…

Крылья за её спиной опадают. Ехать пять остановок автобусом с её хрупкими крыльями совершенно невозможно. Совершенно невозможно, это я знаю точно. Это не стоит тысячи. Это не стоит даже нескольких тысяч.

Она вздыхает и тихонько качается на лёгком летнем ветру. Да, это может быть слишком утомительно для неё. Бог с ней, с тысячей.

— Ничего,—шепчу я и посылаю ей лёгкий ветерок понимания.

Он сдувает пепел печали с её хрупких крыльев и приносит вместо него пыльцу утешения. Она чуть успокаивается и дышит немного легче.

— Это же всего тысяча,—говорю я.—Сын заработает, невестка принесёт. Ничего, это не страшно. Небольшие деньги. Вы так всегда хорошо считаете, а тут ошиблись всего-то разок. Ничего.

— Кабы сто, а то вот целая тысяча,—грустно стряхивает она пыльцу моего утешения.

Но та, взлетев, снова оседает на её крыльях. Но старой бабочке холодно всё равно от мысли, что она обездолила семью. Она привыкла быть полезной и хорошей. Бабочка зябко поводит плечами и совсем складывает свои крылья.

— Да молодые же есть!—повторяю я.

— Да, сын-то работает, а невестка—нет, уволили,—признаётся она.

О, вот оно что. Значит, всё серьёзней. Значит, эта тысяча имеет больший вес, чем я думала. Вот почему бабочка стояла посреди тротуара, молитвенно перебирая пальчиками по палке и призывая духов помочь ей. И, видимо, пока нет ответа. Её духи заняты или бессильны. Что ж, спросим моих.

— Это всего лишь деньги, они ещё придут,—говорю я, приподнимая крылья и слегка подколдовывая.

Это всего лишь тысяча, для неё нужен небольшой шелестящий ветер, который бы принёс утрату обратно к бабочке, стоящей напротив меня. И ещё нужен ветерок посильнее… Для невестки… Ну вот, теперь дело за малым: ветер есть, надо просто ждать…

И тут я вспоминаю. У меня есть к ней дело.

— Алла Ароновна, а у вас сохранились архивы мужа? Какие-то его записные книжки?

Её муж, Зиновий Борисович, был педиатром и лечил меня в детстве.

Мать принесла меня к нему на осмотр со словами: «Ну вот, у меня больной ребёнок, аллергик». Зина поправил свои бежевые крылышки, укоризненно покачал головой и сказал: «Надо говорить не «больной», а «с особенностями». Девочка с особенностями. Ничего, это всего лишь аллергия. Мы с ней справимся».

И вправду, за годик он убрал эту «всего лишь» аллергию. Осталась лишь хрупкость рисунка на моих крыльях—та самая, которая выдаёт нас, бабочек, среди обычных людей. По ней мы узнаём друг друга… С особенностями.

— Архив, говорите? Да, у меня есть его биография… После войны он работал в госпитале, хирургом…—она вглядывается в мои глаза, прислушивается к дыханию.—Но вам это не интересно? Вы хотели чего-то другого?

Хирургом — это интересно, но я искала его записные книжки — если они существуют. Что-то, что подскажет мне, как он чувствовал эти «особенности», как, отодвигая болезнь, помогал проявиться рисунку жизни на крылышках маленьких, только что вылупившихся бабочек. Как освобождал энергию полёта.

Я хотела бы прочесть это с его крыльев, но он умер много лет назад. А мне нужно сейчас, когда я нашла то, что хочу делать, когда мой рисунок и ветер, кажется, нашли себе место в этом мире. Для бабочки это так непросто.

И я надеялась, что он поможет мне и теперь, если оставил записки на бумаге… А вдруг?

— Я хотела бы взглянуть на его записные книжки. Что-то, что он писал о жизни… Если писал. Записки земского врача, дневники, может быть?

— Нет, мне кажется, нет. Я поищу, но, кажется, нет, — говорит она, сожалея, что не может дать мне того, чего я хочу. Ей бы хотелось, но нет. — У него были книги, но это медицинские… Это не то?

— Нет, не то…

Жаль, что нет записок. Но тут, в воздухе, есть что-то ещё, и оно — в отсутствующем трепете её крыльев. Что-то, кроме слов…

О Боже! А ведь она не сожалеет о том, что муж не вёл дневников — и не оставил памяти о том, как чувствовал и видел этот мир…

Почему она не сожалеет об этом? Она ведь его любила, очень любила.

Как же она помнит?

О Боже, она хранит записи не на бумаге! Вот сейчас, стоя передо мной…

Конечно же, это должно быть рисунком жизни на её крылышках…

И сейчас, прямо сейчас, когда она повернётся, я это прочту.

Скорей, скорей!

Я поспешно киваю и делаю вид, что прощаюсь:

— Ничего, что нет… Но если найдёте…

— Если найду — позвоню…

— Ну, не грустите. До свидания… А что потеряно — вернётся…

Мой ветерок веет над её головой, чуть трогая крылья…

— Хорошо бы. Ну, до свидания…

Она поворачивается и начинает свой путь от меня. Мелкими шажками.

На её крылышках — трепет нежности и пыльца заботы.

Господи, как всё просто.

Они просто милосердны — он и она. Просто милосердны.

Хотела бы я знать, как это — просто стать милосердным и никогда не переставать им быть?

Старая бабочка идёт по асфальтовой дорожке в кремовом пальто-трапеции, балансируя полусложенными крыльями.

Её печаль, сорванная моим ветром, удаляется и, высоко паря, растворяется в небе.

Бабочка тихонько перебирает пальцами по палочке в такт своим шагам и движется к своему дому.

Сколько я её помню, она была женой доктора Зиновия Борисовича.

Этот дом — её главный цветок. Он — её главная забота и источник её жизни.

Поэтому пусть к ней прилетит назад недостающая тысяча, а невестка отыщет работу.

Эта потерянная тысяча — всего лишь особенность. Бабочка сейчас с особенностями.

Мы с этим справимся.

И жизнь продолжится. Будет милосердна душа — и станут лёгкими крылья…

Сейчас для этого хороший момент.

Июль — лучшее время для бабочек…

Оранжевая бабочка и белый медведь

Бабочка… Оранжевая бабочка с чёрными линиями на крыльях. Бархатные крылышки, тонкая пыльца. Она летает, порывистыми движениями сменяя один цветок на другой. Она летает так, потому что она — такая… Она бабочка. Когда-то она была гусеницей. Она была зелёная и толстая, никто не хотел бы взять её в руки, все брезговали. Она ела целыми днями, жевала огромными челюстями. Потом просто пришло время, и она стала вить кокон. Она не знала, почему это делает. Просто чувствовала, что перестаёт быть гусеницей. Знаете, это очень страшно — перестать быть гусеницей, даже если тебе совсем не нравилось быть гусеницей. Гусеницей танка, который давит всё и вся. Чавк-чавк.

Потому что даже в жизни гусеницы со временем находишь какие-то радости, иначе невозможно жить. И очень страшно, когда с твоим гусеничным телом что-то начинает происходить и неведомые тебе инстинкты, смысла которых ты не знаешь и не можешь объяснить, заставляют тебя оплетать себя нитями и превращаться во что-то неподвижное, с которым тоже что-то происходит. Легко вам, смотрящим на всё это снаружи: вы знаете, что это гусеница превращается в бабочку. Но гусеница-то не знает этого. Кроме того, кокон очень легко раздавить, так что конкретная гусеница всегда рискует, что никакой бабочкой она не станет. И потом — что знает гусеница о бабочке? Ничего.

Гусеница просто нервничает, что почему-то перестала быть гусеницей и превратилась в перерождающийся мешок. Ужасно быть беззащитной куколкой с неизвестным будущим, висящей на дереве непонятно сколько времени. Ужасно выпрастываться из куколки и ждать на ветке, пока твои крылья обсохнут и затвердеют. Что это вообще такое—крылья? Что я, экс-гусеница, знаю про это чудище, в которое превратился мой организм? И как всем этим управлять? Кажется, я хочу есть. Как теперь есть? У меня вообще непонятно что вместо рта. И как передвигаться? Что-то, приклеенное мне на спину, там наконец высохло. И чего теперь? Ой, это я этим шевелю. Ой, ну давай пошевелим активнее… Фу, блин, уф, ой… Н-да, кажется, я перемещаюсь.

Почему не по земле, а по воздуху? Ой, блин, как неудобно: всё время что-то по дороге попадается, и трясёт ужасно… Так, цветок. Как бы мне тут зафиксироваться? Н-да. Ой, если перестать махать, то вроде и садишься. Села. Нет, промахнулась. Ладно, взлезла обратно. Что-то мне подсказывает, что надо пить эту штуку. Так, хоботок мимо попал. А теперь в самый раз… О-о-о, счастье, как же я давно не ела, какая же я голодная! Ой, что это? Тень? Быстро? На меня? Улетать? Быстрее! Скорее! Ой! Ой!.. Ой, сдува-а-а-ает! Так, кажется, ушла от погони… Нет, опять… Ой, ой… Скорее, сосредоточеннее… Всё, упорхнула… Что это было? Большая такая штука, с загогулинами. Когти? А сам здоровый, ужас… Белый. Кто это, хоть бы знать?

Большой белый медведь жил как умел. Знаете, это очень сложное дело—быть большим белым медведем. Сначала ты—маленький медвежонок, и всё нормально, у тебя большая мама. А потом подрастаешь, упс—ты уже больше всех. Все смотрят на тебя с ужасом. Все рассчитывают на тебя. Все ждут, когда ты проколешься—чтобы попинать твой труп. Ты ищешь больших, как ты, и попадаешь в плотные ряды бойцов. Надо биться. Надо всё время рыкать и биться. Сам не добил—тебя добили. Медведь всё время дрался. Когда не дрался—демонстрировал силу. Иногда спал. В общем, жил как умел. И, в общем, очень успешно жил. И даже был крутым. И многие про это знали и уважали.

Так вот, когда его слава вошла в зенит, он увидел… бабочку. То есть он не знал, что это бабочка. Он подумал, что это какая-то фигня суетится тут. И занёс лапу, чтобы это дело зафиксировать и как-то разглядеть. А то мельтешит что-то, ничего не поймёшь. И он быстренько так лапой попробовал—и промахнулся. Он, который рыбу глушил с первого удара! Он, который врага укладывал на лопатки! Промахнулся мимо какой-то оранжевой фигни, мельтешащей в воздухе! Он зарычал и рванулся лапой ещё раз. Мимо. Эта сволочь порхнула из-под когтей и унеслась в небо. Гадина! Он рванул вверху со всех лап, удачно перевернулся при падении, но не достал. Ушла! Ушла, зараза!

Понимаете… Ну как бы вам это объяснить. Не то чтоб поймать хотелось… Но как-то любопытно было. Ну, как умел, так и хватал. А улетает. А как ещё хватать-то? Что я, большой белый медведь, буду трепыхаться, как какое-то суетливое создание? Вот ещё! Я существо величественное, я свою энергию экономлю для боя! Но, в общем, что-то свербит, и иногда вспоминаешь, как порхала ни для чего, глупости всякие. Но это всё несерьёзно. Делом надо заниматься, делом. Драться то есть.

И бабочка тоже почему-то вспоминала большого белого медведя. Напугал до смерти, конечно. Страшен ужасно. Понимания никакого. Но вот вспоминаешь, как он по полю идёт медвежистой походкой и… Ой, вот только не говорите, что это любовь! Ну что может быть общего у бабочки и медведя? Ничего, совершенно ничего. Кроме того, что они встретились на одной поляне. И для бабочки это имеет значение. Это я точно знаю. А для медведя—не знаю.

Почему про бабочку знаю? Потому что сказки этой книжки были написаны на крылышках этой бабочки. Не смейтесь—я сама видела. Я раньше не умела читать по бабочкиным крыльям: она ж всё время порхает—чего там увидишь? Но однажды ладонь подставила—и она села. Порхнула и села. Походила немножко. А потом замерла, и я увидела, что там написано. Там написано, что бабочка скучает по большому белому медведю. Это видно по рисунку полосок на правом крыле. Видимо, у неё есть внутри что-то, что её с ним роднит. Бабочка ни за что не скажет об этом большому белому медведю—она считает, что он её засмеёт! Что может его связывать с какой-то бабочкой?—скажет он. Ерунда!

Но, знаете, это так удивительно: бабочка на ладони и крылья, как книга. Я читала нараспев эту историю по крыльям, а бабочка сидела тихо-тихо и тоже слушала. Только иногда кивала. Почти незаметно. Почти.

Бабочка летает везде. Она существо поверхностное. И истории её маленькие, и ничего в них такого нет. Ничего, кроме хрупкости, пыльцы и оранжевых бликов. Кроме солнечных зайчиков, порывов ветра и запаха цветов. Так, ерунда. Но я слушала и не могла оторваться. Странные сказки. Пусть будут. Надо их собрать, и пусть они будут, подумала я тогда. И собрала. Я тогда очень хорошо представила себе медведя с бабочкой на лугу. Это ведь очень красиво и странно. Значит, у этой книжки будут красивые картинки. Бабочка не знала, почему она летает. Медведь не знает, почему он дерётся. Трава на лугу не знает, почему она растёт. Я не знаю, почему я пишу. А художник не знает, почему он рисует. То есть у каждого из нас есть какие-то объяснения этому всему, но можно и без них. Просто так.

Эта книжка будет о том, что там написано пыльцой у бабочки на крыльях. Белый медведь её, конечно, не прочтёт—он не умеет читать. А кроме того, он считает такие сказки ерундой. Но я всё равно напишу. Потому что мне кажется, что это важно. Может быть, кому-то эти истории тоже покажутся важными. А может, и нет. Так что напишу-ка я эту книжку просто так. Вот.

Да, кстати, со временем я узнала, что у белого медведя сзади есть, как положено, маленький хвостик. Когда медведь радуется, хвостик вертится. Когда дерётся, хвоста не видно. Когда боится, он его поджимает. Ну, большой белый медведь никогда никого не боится, поэтому с поджатым хвостом его никому не увидать. Бабочка медвежий хвостик увидела сразу, потому что инстинкт её вёл: хвостик—это то, что в медведе больше всего похоже на бабочкин мир. Если ничего не знать про медведя, то единственное, что в нём для бабочки хоть как-то понятно, это хвостик: потому что он вроде цветка. Бывают же бархатные белые гладиолусы. Вот белый хвостик—вроде того. Но большой белый медведь был зверь суровый. И он про свой хвостик ничего не знал: кто же смотрит себе за спину, когда есть дела поважнее?

А после того эпизода с бабочкой у медведя как-то расширился кругозор. Ну бывают такие чудеса. Он даже сам себе удивился. И со временем медведю понравилось любопытничать: он стал заглядывать туда, куда раньше совершенно не смотрел. И однажды он совершенно случайно обернулся и увидел, что у него есть смешной и весёлый хвостик. Собственный. Свой. И он вдруг этот хвостик почувствовал. И почему-то ему от этого стало спокойней. И радостней. Как будто всё наконец встало на свои места. Возможно, хвостик имел какое-то отношение к его медвежьему дару. В любом случае, ощущение новоприобретённого хвостика сделало медведя мягче. В том числе к себе самому.

Большой белый медведь теперь иногда даже смотрел на восход. Или на закат. И ему это нравилось. Представляете? Потому что на самом деле у большого белого медведя было чистое сердце. Но мало веры. А вера оживает, когда ты обретаешь себя целиком. С хвостиком. Тогда есть чем верить, что всё будет хорошо.

И вот однажды в ласковую и тихую минуту медведь сел у озера и залюбовался красотой облаков. Плывут себе, плывут. И вдруг почувствовал, как что-то коснулось его хвостика. Он тихонько обернулся и увидел, что на хвостике сидит та самая бабочка. Бывает же такое, что бабочки возвращаются. Если хвостик позвал.

Литературное Красноярье ∴ *Ди*Н ПЕРЕВОД

Яна Гильмитдинова

Зыбучие пески

По мотивам стихотворения Жака Превера

Демоны, чудеса,
В сумерках голоса,
Шепчет волна волне,
Шепчет море луне.

Пляж обнажил отлив.
Падаем, позабыв,
В бездну холодных фраз,
В бездну голодных глаз.

Демоны, чудеса,
Мокрая полоса
Между песком и волной,
Между тобой и мной.

Гасит маяк огни.
Только глаза твои—
В них отраженьем луны
Плещутся две волны.

Марат Валеев

Особенности произношения

Брательник

Брательник мой ушёл из жизни тринадцать лет назад. Ему не было ещё и полтинника. И вот взял однажды и не проснулся. И это был его последний фортель, которые он время от времени выкидывал, подвергая испытаниям нервные системы родных и близких.

Любили мы этого охламона, Ринатку нашего, потому и боялись за него. Характером он пошёл в батю — тот принадлежал к породе безбашенных людей. Вот таким же оторвой был и мой брательник.

Когда был ещё совсем мальцом, его за всякие шкоды окрестили Котовским (всегда наголо остриженный, шустрый). А когда подрос и мамка наконец перестала его стричь налысо, Ринат неожиданно обзавёлся роскошной кудрявой шевелюрой. Тогда во всех советских газетах писали об американке Анжеле Дэвис, преследуемой властями, которая за что-то там или против чего-то там с ними боролась. У братца моего причёска была точно такая же. А с учётом приплюснутого носа — был он вылитая Анжела Дэвис. Так его и называли какое-то время.

А когда Ринат из шкодливого пацана перерос ещё и в записного драчуна, который любил супротивников «брать на калган», его стали называть Бараном. Ну, баран — не овца, и братан со временем привык к своей кликухе и никого уже не «брал на калган», когда его так называли. Ему и шапка-то была не нужна, и он до самых крепких морозов ходил с непокрытой, часто заснеженной головой, которой тряс по-собачьи, когда заходил куда-либо с улицы.

Когда с ним в своей деревне перестали драться, он стал ездить за приключениями на своём «Иж-Юпитере» в соседнюю деревню Моисеевку, за девять километров. Обитателей этой деревни называли «союзниками», потому что здесь жило много немцев. У них был хороший завклубом, и танцы здесь проходили почти ежедневно. Вот там-то брательник и отводил свою драчливую душу.

Я, как ни приеду из райцентра, где к тому времени жил и работал, к родителям на выходные, обязательно находил братца дома или с расцарапанной физиономией, или с новым фингалом.

Однажды в него даже стреляли в той же самой Моисеевке. Видимо, навсегда хотели напугать и отвадить этого незваного лохматого татарина от своей деревни и от своих девок. Правда, патрон был холостой. Но Ринатка-то этого не знал — и всё равно буром пёр на местного моисеевского «авторитета», целившегося в него из двустволки.

Пыжевой заряд шарахнул прямо в лоб с расстояния двух-трёх метров и опрокинул его на спину.

— Слушай, никогда не думал, что простой пыж может набить такую шишку! — смеясь, рассказывал он мне после, отсвечивая этой самой шишкой. Потом посерьёзнел, осторожно помял распухший глянцевый лоб. — А ведь и глаз мог выбить, козёл! Ну ничего, я его ещё подловлю…

Он и после армии был такой же шебутной, поколобродил по деревне с годик-другой, чуть не женился на приезжей учительнице, даже ездил знакомиться с её родителями в Балхаш. Но умудрился и там передраться с будущими родственниками и с позором был изгнан из не принявшей его семьи.

Брательник, вновь оставшись один, заскучал и надумал со своим приятелем Николаем Писеговым по кличке Мирза (никто уж и не помнил, кто и за что его, русского, наградил такой роскошной кличкой, которой он ну никак не соответствовал) отправиться в загранплавание.

План у них был такой: заработать побольше денег, добраться до Находки, устроиться там в порт сначала докерами, а потом и моряками. Они подрядились вдвоём побелить все скотобазы в нашем совхозном отделении.

Это всегда делали деревенские бабы — штук двадцать их, стоя на подмостках, с шутками и песнями могли неделями елозить рогожными щётками, обмакнутыми в белила, по глинобитным стенам коровников и телятников. А эти баламуты пообещали управляющему сделать работу намного быстрее и за меньшие деньги.

Управляющий прикинул, какую это экономию ему даст, и хоть и с сомнением, но согласился. И ведь у них получилось! А весь секрет состоял в том, что я раздобыл для брата в райцентре у знакомых строителей краскопульт, вот с его помощью новоявленные отделочники и выбелили в отделении все базы. Причём в два слоя!

Срубили денег не по-детски, рассчитались в совхозе, ни-че-го из заработанного не пропили, что указывало на серьёзность их намерений, и укатили за своей мечтой.

Первое письмо пришло от Рината через месяц. Он кратко сообщал, что они работают в порту Находка докерами, это соответствовало первоначальной части их плана. Потом писем долго не было.

Очередное послание пришло от брата через три месяца. Он писал из Риги, что в Находке у них с Мирзой ничего не получилось, не взяли их в моряки, но вот в Прибалтике всё должно получиться. И снова тишина — месяц, три, полгода.

«В кругосветку ушли наши пацаны!» — решили деревенские и загордились своими земляками. Ага, ушли! Мама забеспокоилась и попросила меня как-нибудь поискать шалопутного братца.

Я пошёл в уголовный розыск Экибастузского горотдела милиции (в Экибас я перебрался в 1980 году) и написал заявление о пропаже родственника.

Рината нашли в Новокуйбышевской колонии. Он там сидел за бродяжничество — тогда это было запросто.

Оказывается, мотался по стране с последним местом прописки в Находке. В Риге их с Мирзой не прописывали, голубая мечта стать моряками дальнего плавания расплывалась, как утренний туман над Балтикой, и они впервые рассорились и разбрелись кто куда.

Мирза с концами — так и пропал где-то без вести, хотя его тоже объявляли в розыск, а Ринат, отсидев свой год, вернулся домой худым, как Кощей, и как будто посерьёзневшим. Отъевшись у матери на домашних харчах, он присмотрелся к бывшей своей однокласснице — немке Катерине, одной воспитывавшей двоих детишек, и они зажили вместе. Так Ринат стал наконец взрослым и вконец угомонился, даже Бараном его перестали называть.

Но в те же восьмидесятые наша сестрёнка Роза вышла замуж и уехала с мужем на БАМ. Они там нормально устроились, жили в посёлке Лиственный на севере Хабаровского края и недурно зарабатывали на железной дороге.

Выдернули к себе овдовевшую к тому времени мою маму — чтобы нянчилась с внучкой. А поскольку в конце восьмидесятых деревне начал приходить кирдык (совхозы разваливались, и единственным источником заработка оставалось собственное подворье), на БАМ решил махануть и Ринат.

Сначала он отправил туда жену с детьми. Потом, закончив все дела по хозяйству (распродав остатки живности и барахла), отправился следом и сам. Дал телеграмму в Лиственный, что выехал в Омск (оттуда неделя поездом до Хабаровска), и… пропал. Прошла положенная неделя его пути в дальней дороге, пошла вторая. А он так и не появился в Лиственном. И не звонит, и не пишет.

Жена его Катя, мама с сестрой переполошились: может, в дороге что случилось? Зная его взрывчатый характер, подумали, что где-то не стерпел и ввязался в драку. А его взяли да скинули с поезда. Да мало ли какие опасности поджидают на наших дорогах одинокого путника?

И отнесли заявление в милицию о пропаже человека. А он через два месяца вдруг объявляется в Лиственном сам. Худой, заросший своими кудрявыми лохмами по самые плечи, но весёлый. После того как обрадованные женщины оттаскали его за волосы, накормили и напоили, брательник соизволил рассказать, куда он провалился на целых два месяца и почему молчал всё это время.

В Омске он в ожидании своего поезда присел на вокзальной лавочке с бутылкой холодного пива в руках. Не успел её допить, как рядом пристроился какой-то мужичок. Попросил закурить, разговорились.

Как он сказал, тоже едет в Хабаровск. Потом вытащил из сумки початую бутылку водки, кривой солёный огурец. Предложил выпить для начала по стопочке: «Остальное в поезде допьём, а может, ещё добавим!» Братан проглотил эту стопку, помнил, что ещё закурил… И — провал.

Очнулся на той же лавочке. Голова гудит, ничего не соображает. Сумка с вещами была под лавкой — её не оказалось. В нагрудном кармане пиджака были деньги, рублей пятьсот, — там тоже хрен ночевал. Даже билет на хабаровский поезд тот ушлый клофелинщик из паспорта вытянул (в те годы железнодорожные билеты ещё можно было покупать и сдавать обратно без предъявления паспорта). Спасибо, хоть сам паспорт не стал забирать, сунул обратно в карман усыплённой им жертвы.

Ситуация — хоть обратно возвращайся на попутках в деревню за двести километров и пускай шапку по кругу, чтобы соединиться с семьёй. Но это был не выход. Однако что же делать?

И тут брательнику, что называется, глухо повезло. На него набрёл вербовщик (ходят такие по вокзалам) — нужны были слесари для работы в частной мастерской по ремонту холодильников. Брат согласился, хотя условия оказались практически кабальными. И всё же за два месяца снова заработал и на билет, и на небольшую «подорожную» сумму денег.

Однако мне он запомнился не этими и другими своими приключениями. Ринат был пластичен, пропорционально сложён, очень легко и стремительно двигался. И вот эта его природная стать сделала его отличным танцором.

Я, когда впервые увидел, как он отплясывает шейк в нашем сельском клубе, ломая своё тело и конечности под самыми немыслимыми углами, буквально обомлел. Это было что-то потрясающее! И танцующие рядом больше глазели на его па, чем были заняты собой и своими партнёрами.

Однажды я вот так приехал в деревню на выходные, и мы зачем-то поехали с Ринаткой на его «ижаке» в другой, соседствующий с нашим селом, райцентр—Иртышск. Так, а зачем же? Да, наверное, пива попить… Ну да. В Иртышске поначалу, когда только пивзавод там открыли, пиво было очень даже недурственное.

До него был рукой подать—пять километров всего. Но через Иртыш. А переправляться надо было на пароме. Сейчас не знаю какой, а в те годы ходил СП-6, на десяток машин.

Вот загнали мы с браткой мотоцикл на нос парома, стоим у борта, курим, сплёвываем в пенную воду—паром взвыл сиреной и уже начал отчаливать.

И тут из «Волги», стоящей под рулевой рубкой, послышалась громкая мелодия лезгинки. В проходе между двумя рядами машин (обычно он бывал занят, но в тот раз оказался свободен) тут же нарисовалась троица джигитов—по виду чеченцев—и начала, манерно выбрасывая руки то туда, то сюда, изображать этот красивый, в общем-то, танец.

Но в их исполнении красивым он, увы, не получался. И как танцорам ни подхлопывали разношёрстные паромные зрители, как ни подзадоривали выкриками «Асса!»—не шла у них лезгинка, и всё тут!

Ну да, ну да, а то я и сам не знаю! Конечно, случись это в наши дни, публика с чеченцами тут же бы затеяла драку, поскольку лезгинка для одних стала своеобразным жупелом, для других—символом агрессии и беспредельщины. Повторюсь—в наши дни, когда межнациональные отношения у нас обострились донельзя.

Но в те годы ещё не было того яростного, непримиримого разделения людей на чужих, пришлых, и своих, коренных. И лезгинка для всех была просто красивым, завораживающим танцем, в который рады были втянуться при её исполнении в ресторанах, на гуляниях все кому не лень. Если, конечно, умели её танцевать.

Эти чеченцы почему-то не умели. Или не хотели раскрыться, как полагается в этом танце.

Ринатка, презрительно прищурившись, пробормотал:

— Да у них, похоже, проблемы с яйцами!

Выплюнул окурок за борт и в два прыжка очутился среди джигитов. Те даже остановились от неожиданности.

А Ринатка сначала вытянулся как струнка, с лёгким прогибом всем своим ладным корпусом назад, выкинул узнаваемым жестом руки вбок от себя в одну сторону, другую, привстал на цыпочки—и пошёл, пошёл, потряхивая в такт музыке кудлатой головой. Восхищённые чеченцы что-то гортанно и вразнобой выкрикнули и стали яростно отбивать ритм в ладоши.

На маленьком паромном пятачке между машинами было тесно, и народ полез на кузова, на мостик рулевой рубки, чтобы лучше обозревать происходящее. А в центре всего этого в вихре лезгинки волчком вертелся мой братан, как-то ещё по-особому пристукивая каблуками, что придавало этому древнему танцу какой-то особый шарм, вносило нотки современных ритмов.

На полным ходом идущем к противоположному берегу пароме творилось что-то невообразимое: кто-то, надув щёки и раскрасневшись, свистел, кто-то от избытка чувств просто орал, кто-то долбил ладошками по кабине машины, как по барабану.

Но вот музыка перестала играть, и запыхавшийся Ринатка вернулся к борту парома, у которого я, так же как и все, заворожённо следил за его танцем.

— Ну ты и дал, братан!—только и сказал я.—Где ты так научился плясать?

— Где, где…— на минуту задумался Ринатка.—Да на танцах. В армии тоже. А вообще у меня само собой всё как-то получается…

И это верно. Он был прирождённым танцором. И как самоучка-музыкант схватывает все ноты на лету, так и Ринатка любой танец мог воспроизвести едва ли не с первого раза. Такой у него был, видимо, талант, который в его жизни достойного применения так и не нашёл.

Ему было всего сорок пять, когда однажды Катерина, жена, не смогла его утром разбудить. Произошла внезапная остановка такого неугомонного когда-то сердца моего брательника.

Тринадцать лет нет его уже с нами. А у меня перед глазами всё стоит эта незабываемая сцена волшебно исполняемой им лезгинки на пароме посреди Иртыша.

Танца, некогда обожаемого многими—и ими же проклятого в наши дни…

Доктор по железу

Из армии на гражданку все возвращаются с какими-то специальностями. Меня в нижнетагильской стройбатовской учебке за полгода выучили на электросварщика, и оставшиеся до дембеля полтора года я варил всякую фигню на сугубо и не очень секретных военных объектах, и домой вернулся с корочкой сварного четвёртого разряда.

Такому спецу в родной деревне обрадовались. Нет, сварщик до меня здесь имелся, но самоучка, и всё, что он ни приваривал, через какое-то время отваливалось. Причём порой в самые неподходящие моменты: то на пахоте, то на сенокосе или там уборке зерновых.

Так что мне не дали отгулять даже мой положенный дембельский месяц, а потащили на работу ровно через пару недель после того, как я повесил свою шинель с чёрными погонами в сенях (потом у меня её выпросил завклубом—для художественной самодеятельности).

Я бы, может, с удовольствием погулял и подольше, но, как назло, бригадир тракторной бригады жил с нами по соседству, у нас даже забор был общим. И Палычу ничего не стоило заглядывать к нам на дню по два-три раза, чтобы справиться о моём самочувствии. Захаживал и управляющий—всё по тому же вопросу.

И вот когда они убедились, что всего через неделю я бросил квасить, а уже вовсю вкалываю дома по хозяйству (дрова там пилю, в сарае убираюсь), а вечерами трезвый прихожу в клуб, снова надавили на мать с отцом, и те сказали мне:

— Всё, сынок, иди завтра в контору, а то Палыч у нас уже в печёнках сидит.

Ладно, пошёл. Управляющий заставил меня написать заявление о приёме на работу, в тот же день меня свозили на центральную усадьбу на инструктаж по технике безопасности, где я и ещё трое или четверо сварных подремали на нудной часовой лекции инженера по ТБ, расписались в подсунутом журнале и разъехались по домам.

А на следующий день приунывший местный сварной (он же киномеханик по основной работе) сдал мне свои дела. Так на руках у меня оказались: сварочный цех в ремонтной мастерской со стационарным видавшим виды трансформатором, маска с треснувшим защитным стеклом, заляпанным брызгами расплавленного металла, килограммов десять разнокалиберных электродов, развешанные на стене низковольтные кабели с «держаком» и крюком заземления. А ещё и передвижной сварочный аппарат (САК) в агрегате с колёсным трактором «Беларусь». И самое для меня неожиданное—газосварочный аппарат, работающий на ацетилене (карбиде) и кислороде. Газосварке я обучен не был, но из рассказов бывалых сварных знал, что и ацетиленовые, и кислородные баллоны порой взрываются. Почему я и посмотрел на прислонённую к стене парочку синих таких баллонов с опаской.

— Фигня, научишься!—злорадно сказал киномеханик, пиная сапогом пустой, с засохшими белыми потёками карбида, ацетиленовый аппарат.—Я же научился.

И, фальшиво что-то насвистывая, ушёл из мастерской. Навсегда. В свою киномеханскую будку. С тех пор Гриша (фамилию его не называю, мужик ещё живее всех живых и сегодня) невзлюбил меня. Потому как получалось, что я, хоть и не специально, оторвал от его семейного бюджета дополнительные девяносто—сто двадцать рублей—больше сварному в тракторной бригаде тогда не платили, хотя на нём и висело целых три аппарата.

Забегая наперёд, скажу, что я, как и мой предшественник Гриша, ежемесячно сам закрывал себе наряды. Вооружался справочником ЕНИР (единые нормы и расценки) и, сопя и пыхтя, азартно выколупывал оттуда подходящие или похожие на то, что я сделал за минувший месяц, работы и «рисовал» себе зарплату. Но расценки были такие дешёвые, что количество сделанных стыков и швов приходилось завышать вдвое-втрое. Однако нормировщики на центральной усадьбе прекрасно знали средние объёмы по всем тракторным бригадам и нещадно резали эти фуфловые наряды. До сих пор не понимаю, за каким хером меня надо было держать на сдельщине, когда куда проще было и для меня, и для бухгалтерских мудрил вести расчёты по часовой оплате. Но нет—каждый месяц с меня требовали наряды, и я уже по какому разу «переваривал» на бумаге различные конструкции. И если бы они однажды вдруг материализовались, деревенька моя вся оказалась бы под гигантским куполом, сооружённым мной из арматуры, уголков, тавровых и двутавровых балок.

На самом деле работы у меня было не так чтобы уж много, но и без дела я сидел редко. То меня везли с моим САКом в бычарню, и я торчал там целую неделю, сваривая с помогающим мне в роли слесаря дядей Лёней Тарелко индивидуальные металлические клетки для большущих и страховидных племенных быков. Те загородки, что были до меня, бычары эти своими огромными мускулистыми жопами и крутыми рогами разнесли в пух и прах. Мы же с дядей Лёней (он вымерял и рубил в кузнице заготовки для клетей) смастерили такие прочные загоны для почти тонных быков, что они под напором огромной силы лишь кое-где выгибались.

Закончив работу здесь, я перебирался в мастерскую—там начинался ремонт сельхозтехники к предстоящим весенним полевым работам. И трактористы тащили мне всякие лопнувшие и треснувшие детали, и я добросовестно заливал эти трещины аккуратными двух-трёхслойными швами—чтобы было с запасом прочности. Однажды даже заварил трещину в чугунной головке блока двигателя МТЗ. Специальных электродов у меня не было, но я плотно наматывал на обычные МР-3 медную проволоку, она вместе с железным сердечником и плавящимся чугуном образовывала пластичный шов, который при остывании не лопался, и заваренное таким образом проблемное место в чугунном корпусе могло ещё неплохо послужить.

Когда основной работы не было, брался за дожидающиеся своей очереди заказы односельчан. Чего они только не несли мне! И лопнувшие топоры, и сломанные тяпки, и развалившиеся детские санки, треснувшие рамы велосипедов и мотоциклов, прохудившиеся железные бочки… Когда возвращал отремонтированную вещь, в благодарность совали мятые рубли, трёшки. Смущался и не брал. Тогда волокли «пузырь». А вот это совсем другое дело: выпить с благодарным заказчиком было никак не зазорно! Хотя и вредно: пьяным я уже варить так чётко, как обычно, не мог, рука не слушалась.

Фу ты, что-то я заболтался! А всё потому, что любил сварное дело. Очень мне нравилось выделывать с железом всё, что хочу. Нет красивее зрелища, чем видеть через тёмный светофильтр фибровой маски, как под шипящей дугой электрода сталь плавится и формируется сначала в белый, почти прозрачный, затем на глазах желтеющий и покрывающийся тёмной окалиной валик остывающего стального шва. Я настолько проникся своей профессией (ещё с армии), что при виде любых тесно стоящих или лежащих металлических уголков, балок, прутьев прикидывал, как лучше заварить тот или этот стык. А в деревне меня стали называть не иначе как «доктор по железу».

Но это я с электросваркой был на «ты». А был у меня на вооружении ещё, как вы помните, и газосварочный аппарат, в котором я был поначалу ни бельмеса. Да у меня, собственно, и разрешения (допуска) к работе на нём не было. Просто вот так вот отдали и сказали: вари, раз ты сварщик. И мало кого волновало, что электросварщик и газосварщик — это не одно и то же. А на газоэлектросварщика вообще надо учиться как в техникуме — целых три, а то и четыре года (это тогда, в семидесятые; сейчас сколько — не знаю).

Впрочем, я и не стал брыкаться. Подумал: а, ладно, освою! Я раздобыл специальное пособие и по нему изучил принцип работы с газом и кислородом. Опасная, доложу я вам, это штукенция. Кислородный баллон лучше не трогать замасленной рукавицей: если вентиль неплотно завёрнут, может рвануть. Грохнуть неслабо может и ацетиленовый аппарат, если в специальный предохранитель не залить водички. И ещё куча всяких других предостережений.

Короче, я старался по возможности обходить стороной этот чёртов агрегат, и даже почти жестяной листовой материал приспособился варить электросваркой тоненькими электродиками — двойкой. Но когда приходилось много резать, использовать электроды для этой цели было крайне расточительно. И тогда я, что называется, помолясь, брался за резак.

Ну не нравилась мне газосварка, хоть ты лопни. И вонь карбида терпеть не мог, и вздрагивал каждый раз при «обратном хлопке» (это когда искра из горелки вдруг стремительно улетала по шлангу обратно к аппарату и гасла лишь в предохранителе). Тем не менее, пересиливая себя, я отважно резал и сваривал металл ацетиленом, если это было крайне необходимо.

И вот что случилось буквально на второй или третий день после того, как я, с грехом пополам освоив теорию газосварки (признаюсь: ненавижу любую техническую литературу; меня сразу клонит в сон, когда я начинаю читать любую инструкцию), взялся закреплять её на практике. Надо было разрезать большой пук толстенных арматурин на равные куски.

Ацетиленовый аппарат стоял у меня в помещении сварочного поста, а кислородный баллон лежал снаружи под стеной, шланг от него был протянут через окно. Я заправил аппарат дозой карбида, завинтил герметичную крышку, стрелка датчика давления дрогнула и поползла кверху. Газ (ацетилен) появился! Теперь дело за кислородом.

Сбегал на улицу, открыл вентиль кислородного баллона. Чёрный резиновый шланг, уползающий в окно мастерской, дрогнул и даже немного натужился. Так, и тут порядок! Эге, да я ещё тот мастер! Всё у меня получается как надо! И я, насвистывая, независимой рабочей походкой вернулся в мастерскую.

Здесь, в основном зале, стояли на ремонте пара полураскиданных гусеничных «дэтешек» (мотор одного из них висел на цепях тали) и один скособочившийся из-за снятого заднего колеса МТЗ-50. Мужики колдовали у техники, позвякивая гаечными ключами и негромко переговариваясь.

Я прошёл в свой сварочный цех, мелом разметил места разрезов на арматуре, от спички зажёг небольшую струйку газа, выбивающуюся из резака, потом добавил кислорода, снова довернул газа, опять — кислорода. И когда из сопла резака стала с громким шипением выбиваться длинная и почти белая от накала кинжальная струя огня, направил её острый конец на край намеченного разреза. Несколько секунд — и арматурина нагрелась и «заплакала» расплавленным металлом.

Я ещё добавил кислорода, он со свистом стал выдувать этот жидкий металл, ударяющийся о закопчённую стену цеха и жёлтыми звёздами рассыпающийся по земляному полу. Искры летели мне и за неплотно застёгнутый ворот робы, залетали и за голенища сапог, прилипали к стёклам очков, но я, весь охваченный восторгом своего успешного единоборства с металлом, ничего вокруг не замечал, а отреза́л очередной прут и двигался дальше, подтягивая за собой шланги, отреза́л и двигался. Эх, да мне бы сейчас и сам Гефест позавидовал, увидь он, как ловко я управляюсь с огнём и металлом!

Но длился этот трудовой экстаз недолго. Внезапно я услышал за спиной сильный хлопок и последовавшие за ним яростное шипенье и глухие удары и шлепки. Я оглянулся, ничего не понимая, и остолбенел. Примерно в паре метров от резака кислородный шлаг перервало пополам! И тот конец шланга, который тянулся из окна от баллона, с разбойничьим свистом и шипением, как живой, мотался под давлением кислорода по мастерской, испуская сноп пламени и искр и хлеща напропалую по всему, что попадалось ему на пути: по стенам, потолку, разлетающимся в стороны кускам арматуры на земляном полу.

Я сразу же понял, что произошло. Разрезав арматурину, я шагал дальше и тащил за собой шланги. И не обратил внимания, что однажды он улёгся точнёхонько на ещё красное, не остывшее место разреза и перегорел. А вырвавшийся наружу через дыру кислород раздул этот огонь и довершил дело до конца, окончательно разорвав шланг. И тот стал вертеться по цеху под давлением, разгораясь всё больше.

Вот этот чёрный огнедышаший змей уже летит и в мою сторону. Я резко нагнулся, накрыв голову руками, и кинулся к выходу. Но конец шланга всё же настиг меня в дверях и наотмашь хлестнул по горбу.

Я выскочил в ремонтный зал мастерской в снопе искр и в облаке дыма, как чудом вырвавшийся из преисподней грешник, а в дверном проёме за моей спиной с шипеньем мотался злобный, плюющийся огнём шланг, пытаясь ещё раз достать меня.

Все, кто был в мастерской (а было там человек шесть, не считая тех, кто торчал в это время в курилке и резался в домино), бросили свои дела и с испугом уставились на меня.

У меня же в голове в это время была одна доминанта: надо всех спасать! Я же бросил работающий резак, а его, может, уже прибило к ацетиленовому аппарату. Кроме того, может рвануть и кислородный баллон. Короче, караул!

— Мужики-и!—заорал я.—Все на улицу! Щас рванёт, на фиг!

Мужиков долго уговаривать не пришлось. Лучшим подтверждением моей угрозы был видимый через открытую дверь сварочного цеха беспорядочно мечущийся там шланг, из горящего конца которого, как из сопла, с шипением вырывались струи пламени.

Ближе всех к небольшой двери, вделанной в глухие ворота для заезда техники, оказались грузный тракторист дядя Паша Горн и худенький мастер-наладчик дядя Витя Бондаренко. Они-то и ринулись первыми спасать свои жизни. Но, вбив свои тела в узкий дверной проём одновременно, наглухо застряли в нём и отрезали путь к отступлению остальным, в том числе и мне. А жить, братцы, очень хотелось! И я кинулся отдирать засовы, чтобы распахнуть сами ворота. Мне помогал, судорожно пыхтя, мой сосед Вася Чобану. Но засовы непонятно каким образом заело, и ворота не хотели распахиваться. И тогда Вася, имевший крепкую комплекцию, отбежал назад и, выставив вперёд плечо, бросился на закупоривших дверь и жутко матерящихся от страха Горна и Бондаренко. Он вышиб их с одного удара, как лихой гуляка пробку из бутылки, и путь к спасению был открыт.

Все мужики высыпали из мастерской наружу и, отбежав от неё на всякий случай ещё метров с десяток, стали ждать, когда же, наконец, рванёт.

— Ну ты, блин, учудил!—гудел мне в ухо Вася Чобану.—А если мастерская развалится, где мы будем тракторы чинить?

— А пусть развалится,—сипел мне в другое ухо дядя Витя Бондаренко.—Можа, тогда совхоз новую построит. А это же сарай, а не мастерская…

Я уныло кивал им обоим, проворачивая в уме последствия надвигающейся катастрофы. Ладно, если просто уволят. А если заставят выплачивать ущерб? Это ж какие деньжищи!

— Ну и чего вы тут столпились?

Это нас всех вместе спросил только что подъехавший на бортовом ГАЗ-51 вернувшийся с центральной усадьбы с запчастями наш механик Пётр Тимофеевич Маскаев. Он был старше меня всего лет на десять, но выглядел и вёл себя так, будто ему все пятьдесят. И ещё этот человек всё умел и знал. Ко мне Пётр Тимофеевич сначала относился настороженно. Особенно после того, как я, осваивая езду на тракторе МТЗ с САКом в прицепе, перепутал педаль тормоза с газом и наехал во дворе ремонтной мастерской на только что отремонтированную сеялку, погнув её во всевозможных местах. Но когда со временем увидел, какой я такой весь из себя старательный как сварщик, почти зауважал.

— Вон у своего сварного спроси,—тут же мстительно съябедничал дядя Паша Горн, потирая ушибленный Васей Чобану бок.

— Ну?—уставился на меня своими серыми холодными глазами механик.

Спотыкаясь, я как можно короче изложил суть проблемы. Механик хмыкнул и, мотнув головой (дескать, дуй за мной), быстро пошёл туда, где под стеной мастерской лежал кислородный баллон. В моём цеху было два застеклённых окна. Теперь стёкол не осталось ни в одном—все были выбиты разбушевавшимся концом оборванного шланга. Он и сейчас продолжал хлестать по стенам помещения, разбрызгивая огненные искры. Само помещение цеха не загорелось только потому, что было выложено из саманных кирпичей.

Пётр Тимофеевич подбежал к кислородному баллону и… завинтил вентиль подачи кислорода. Шланг там, за стеной, что-то ещё прошипел недовольно и безвольно опал, выдыхая из своего опалённого обрубка остатки искр и дыма.

— Сам-то чё, не догадался?—буркнул мне механик.—Такой переполох устроил, понимаешь ли. Иди давай, устраняй последствия.

Сказать, что я был сконфужен,—значит, ничего не сказать. Я был раздавлен. И, пряча глаза от натягивающих на свои только что бывшие испуганными и растерянными рожи ехидные и насмешливые маски механизаторов, рванул в цех.

Там жутко воняло горелой резиной и карбидом. Но как раз наступило время обеденного перерыва, все мужики ушли по домам подкрепиться, щедро насовав мне по пути всяческих приятных пожеланий. А я остался на работе и устроил в мастерской грандиозный сквозняк, распахнув настежь все ворота и двери, какие только были. Этот мартовский весенний день, как по заказу, выдался очень ветреным, и уже через полчаса вонь выветрилась.

Разбитые стёкла в окнах мне заменил наш плотник Яков Панкратыч, которому я недавно сварил металлические ворота для его двора за символическую плату — литр водки. Ну а с порванным кислородным шлангом разобрался сам: выкинул тот кусок, который оставался на резаке, заново насадив на него шестиметровый остаток. Правда, для симметрии пришлось укорачивать и шланг от ацетиленового баллона, но на такую мелочь можно было и не обращать внимания. Главное, что никто не взорвался, ничто не рухнуло и никого не угробило. И с работы меня не турнули.

Правда, вскоре я сам с неё ушёл. Меня взяли в штат нашей районной газеты, куда я после армии начал пописывать заметки и рассказики. Но перед этим…

На полевом стане (была уборка) ко мне подъехал мой одноклассник, Колька Кубышев, тоже недавно вернувшийся из армии и работавший шофёром. Он попросил нагреть некоторые гайки крепления на паре колёс его грузовика. Коляну дали новую резину на замену уже практически лысой, но он никак не мог снять колёса для разбортирования, потому что гайки на них намертво приржавели к болтам. А вот эта хитрость — нагревание проблемных мест газовой горелкой — очень хорошо помогала в таких ситуациях. Гайки расширялись и легко потом отвинчивались.

— Ну пошли, — сказал я Коляну и направился к стоящему под навесом уже несколько дней без дела газосварочному аппарату.

Туда же Колян подогнал и свой «газик». Я сыпнул в аппарат карбиду, налил воды. Пока менял резак на горелку, аппарат уже выдал ацетилен. И процесс пошёл.

Я прогрел две неподдающиеся гайки с одной стороны грузовика, Колян их тут же сноровисто отвинтил накидным ключом. Подтащив шланги на другую сторону машины, я стал спичками «прикуривать» потухшую горелку. И вдруг услышал знакомый негромкий хлопок — это сработала обратная искра. Я ещё не успел вспомнить, залил ли воду в предохранитель, как с той стороны грузовика, где остался аппарат, раздался оглушительный взрыв.

«Ага! — подумал я. — Забыл таки…»

Одновременно с этим снизошедшим на меня озарением кто-то со страшной силой вырвал у меня из руки латунную горелку, и она, сверкая на солнце, унеслась вверх вслед за шлангами. А те, в свою очередь, потянулись за взмывшим в синюю небесную высь цилиндром ацетиленового аппарата, из дна которого валил чёрный густой дым.

Он взлетел, в общем-то, невысоко — метров, может быть, на двадцать — двадцать пять. И, лениво кувыркнувшись там пару раз и обмотав себя чёрными шлангами, полетел обратно вниз. Прямо на нас с Коляном. Мы с ним стояли в это время у машины, задрав головы и разинув рты. И едва успели отскочить в разные стороны, как аппарат с грохотом свалился прямо в кузов. Послышался треск досок.

— Мляя! — проныл Колян. — Он мне кузов проломил!

Да ну — кузов. Всего-то пару досок, которые Колян потом заменил за каких-нибудь полчаса. А вот у аппарата оказалось напрочь вырванным днище, так что пришлось его выкидывать.

И опять я отделался лёгким испугом. Наверное, всё по тому же объективному случаю: в штате тракторной бригады я продолжал числиться как электросварщик, а не как не газосварщик. Так что официально мне претензий предъявить было нельзя. А кроме того, в резерве у бригады был ещё один газосварочный аппарат — правда, более громоздкий и устаревшей конструкции.

Но возрождал его к жизни уже не я. И думаю, что это было к лучшему…

Особенности произношения

Друг детства ко мне вчера вечером приходил. Выпили с ним, закусили, вышли на балкон покурить. Внизу во дворе детишки играют.

— Петя, домой! — громко позвала кого-то женщина, перегнувшись с балкона из дома напротив.

На подъездной лавочке тусилась компания из четырёх-пяти подростков. На зов женщины никто из них не отозвался.

— Петька, я кому говорю — домой! — добавила мамаша визгливых тонов в свой зовущий голос. — Ужин стынет!

— Щас, — недовольно пробурчал пацанчик в зелёных шортах и жёлтой бейсболке.

Он лениво сполз с лавки, по-взрослому ударил каждого из приятелей ладошкой по ладошке и вперевалку вошёл в подъезд.

Мама его с довольным видом скрылась в квартире.

— А я с младых, можно сказать, ногтей приучился вовремя, минута в минуту, приходить вечерами домой, — улыбнувшись, неожиданно сказал Владик. — Бабушка приучила.

— Чё, в угол ставила? — полюбопытствовал я.

— Если бы! — вздохнул Владик. — Ты же помнишь мою покойную бабушку?

Мы жили в одном райцентре, по соседству, и я переехал с родителями в город, когда был ещё пацаном. Владик же, когда стал взрослым и наезжал в город по делам, никогда не забывал навестить меня, как вот сегодня.

— Она у тебя вроде казашка была?—вспомнил я Владикову бабушку, всегда ходившую с покрытой белым платком головой, в длинном, до пят, зелёном платье и по-русски говорившую хотя и бойко, но с непередаваемым акцентом.

Например, она говорила не «шофёр», а «шопе́р» (то есть букву «ф» выговаривала как «п»). Не давалась Магрипе-апа почему-то и буква «в», она из её уст звучала как «б». Меня она, например, называла Болёдя (то есть—Володя).

— Ага,—подтвердил Владик.—Казашка. А дед хохол.

Подумал и зачем-то добавил:

— А другая бабка, с папкиной стороны, была немкой. А дед её, то есть муж, русский… А дальше уже все пошли писа́ться русскими.

Владик внешне пошёл в свою бабку-казашку: темноволосый, скуластый, с прищуренными глазами. Но более русского по характеру, повадкам—короче, ментальностью своей,—чем он, я не знал. Впрочем, я никогда не задумывался о его национальности, как и он, полагаю, о моей. У нас был общий двор, общая компания, общие игры, а больше нам ничего и не нужно было. И когда наша семья переехала в город, мне очень не хватало той нашей развесёлой компании, и в первую очередь Владислава, с которым мы крепко дружили до пятого класса.

— Однажды мои родители на несколько дней уехали на свадебный той к родственникам с казахской стороны,—прикурив новую сигарету, продолжил между тем свой рассказ мой взрослый уже друг детства.—Дело было в сентябре, учебный год уже начался, так что дома остались я и бабушка Магрипа, которой поручили присматривать за мной. И вот я в первый же день заигрался у нас во дворе с пацанами (ты уже в городе жил) и забыл, что надо идти на ужин. А бабушка вышла на балкон, раз молча махнула мне рукой, чтобы я шёл, два махнула. А я ноль внимания. И тогда бабуля как гаркнет на весь двор: «Блядик, иди кушить домой! Кушить стынет! Бля-я-ядик, домо-о-ой!» Боже ты мой, ты бы слышал, как ржали пацаны, когда поняли, кого это зовут домой, так как я помчался в подъезд как ошпаренный, лишь бы бабушка замолчала! И как мне пришлось биться потом с некоторыми из пацанов, чтобы они перестали называть меня Блядиком. И все эти три дня, пока не было родителей, я на ужин был как штык. Да и после старался не опаздывать, потому как родаки, раскусив ситуацию, посылали на балкон звать меня со двора именно бабулю…

Отсмеявшись, я приобнял Владислава за плечи:

— Ну что, дорогой мой…

— Только попробуй передразнить мою незабвенную бабушку—убью!—тут же перебил меня друг детства.

—…дорогой мой Владислав, пошли за стол!—продолжил я.—У меня родился тост: за наших милых бабушек.

— Это можно,—облегчённо вздохнул Владик.—Пошли!

— Слушай, а она не пробовала тебя называть не укороченным, а полным именем?—невинно спросил я, когда мы выпили ещё по граммулечке.

— Это как? Блядислябом, что ли?—обиженно переспросил Владик.

Первым под стол пополз я…

Рыбка моя

Я свою Светланку ласково зову рыбкой. Ну, маленькая потому что, живая очень, трепетная. Красивая, конечно, а как же. И вот, казалось бы, за тот срок, что мы вместе, можно было изучить свою спутницу и подругу вдоль и поперёк. Ан нет—всё время открываю в ней что-то новое, неожиданное. Как вот в последний раз.

Мы буквально на днях осуществили давнюю мечту—съездили отдохнуть вдвоём (а то всегда отдыхали порознь, иного совместная работа не позволяла, с прошлого же года ушли на пенсию). Да не куда-нибудь, а на сказочный Крит!

Всё там было чудесно. Но не обошлось без «ложки дёгтя»: туроператор «Пегас Туристик» в день отъезда выдернул нас из отеля не в десять часов утра, как было условлено ранее, а в пять тридцать, чтобы в шесть быть уже в порту на посадке в самолёт. Ну, поворчали накануне, потом смирились: попадём в Красноярск не ранним утром следующего дня, а вечером сегодняшнего, так что сын нас сможет встретить на машине.

Рано обрадовались! Встретивший нас в порту Ираклиона дежурный экипаж самолёта сообщил, что машина по техническим причинам задерживается. Сначала на одно время, потом—на второе, третье. И так—двенадцать часов! Нас, а это было почти полторы сотни туристов, уже вывели из накопителя обратно в здание порта, завели в пищеблок, да там и оставили ожидать.

Правда—два раза покормили при этом (чтобы не шибко ворчали, да и поводов меньше будет для возбуждения судебных исков). Время тянулось утомительно долго, и что при этом было особенно обидно—отправка других самолётов по всем направлениям шла бесперебойно. Одни мы, сибиряки, торчали как неприкаянные на втором этаже здания порта, заняв все сидения и столики кафе.

И тут я увидел у кого-то из наших в руках «Комсомолку». Спрашиваю: где взял? Внизу, отвечает, есть газетный киоск. И я отправился вниз по лестнице, чтобы прикупить и себе газету, всё веселей будет дальше ждать затерявшийся где-то наш самолёт. Рыбку, задремавшую за столом, беспокоить не стал. Но, увы, «Комсомолку» уже разобрали. Греческие газеты мне, конечно, на фиг были не нужны. Нашёл мятый экземпляр «Жизни» (толстый усатый продавец газет взял за газетку, между прочим, два евро, восемьдесят два рубля на наши,—чистый грабёж!)—думаю, хоть что-то будет почитать.

И только отошёл от киоска—слышу объявление по внутренней трансляции: пассажирам красноярского рейса срочно пройти на паспортный контроль! И заждавшийся народ как повалил сверху!

Смотрю, Светланка моя стоит у перил на втором этаже, озирается по сторонам. Меня-то нет! Она туда метнулась, сюда. Очками своими поблёскивает, всё вокруг сканирует, а меня, машущего ей снизу газетой: я, мол, здесь, спускайся!—не видит.

А все бегут в это время к стойке паспортной регистрации: мы, россияне, всегда так—всё боимся, что без нас автобус уедет, поезд уйдёт или самолёт улетит. И тут Светка выкидывает такой финт. Не выдержав нервного напряжения: мужа-то всё нет и нет, а все ведь уже пошли на посадку,—она начала нервически подпрыгивать на месте и всплёскивать руками. Ну совсем как ребёнок. А ведь ей (открою страшную тайну!) через пару лет уже шестьдесят! Бабушка уже рыбка-то моя. А ведёт себя как глупая девчонка.

Я не выдержал и захохотал при виде такой картины. И громко, никого не стесняясь, перекрикивая гомон толпы, крикнул:

— Светка, да я здесь! Спускайся давай!

Ну, подробности того, что наговорила мне моя любимая, опущу. Это же она—любя, боясь потерять меня. И поплыли мы с моей рыбкой… то есть полетели, счастливые, вместе домой…

Червячок Петя

Я тут впервые внука своего на рыбалку вывез. Ну, приехали мы на озерко моё любимое. Я пока машину в тенёчек ставил, внучок тем временем на берегу играл, что-то там выкапывал, закапывал.

Ну вот, все приготовления вроде закончил, удочки размотал, говорю внуку:

— Игорёша, неси-ка мне ту банку, с червячками которая.

— Щас, деда!—говорит.

И бегом ко мне. Я заглянул в банку—а там червей штук с пяток всего осталось.

— А где остальные?—спрашиваю.

— Ушли погулять,—отвечает.

Вот чертёнок! Это же он с наживкой моей игрался!

«Ай, ладно!—думаю.—Можно и на пяток червей неплохо поймать».

— Ну-ка,—говорю,—дай мне одного из них.

Игорёшка выудил из банки самого жирного червя.

— Вот,—говорит,—деда, познакомься, это Петя.

Я удочку уронил.

— Какой ещё,—говорю,—Петя?

— Да вот же,—суёт мне руку с извивающимся червяком внучек.—Скажи ему: здравствуй, Петя!

— Здорово, Петя!—машинально поприветствовал я червяка.

Взял его. И уже не знаю, что с ним делать. Был бы просто червяк—всё понятно. А тут—Петя…

— И что ты с ним будешь делать?—спрашивает внучек.

— Ну, на крючок его насажу и в воду закину.

— Петю? На крючок?!—вытаращил на меня глаза Игорёшка.—Но ему же больно будет.

— Будет,—вынужден был я признаться.—Но немножко.

И тут внучек выхватил у меня из руки червя.

— Нет, деда!—сказал он очень решительно.—Не дам я тебе Петю колоть крючком.

И, неумело замахнувшись, кинул червяка Петю подальше в траву. Петя, не будь дураком, немедля уполз.

— Ну дай же мне кого-нибудь другого,—взмолился я.—Того, с кем ещё не успел познакомиться.

Но внучек уже вытряхивал из банки и оставшихся червяков.

— Деда,—сказал он.—Я их тоже знаю. Их зовут Гриша, Коля, Паша и… и Маша.

Так и пропала наша рыбалка. Но я почему-то не расстроился…

Сергей Аринчин

Девочка и Ангел

Предновогодняя история

Внучкам моим, Людане и Кате

Пролог

Действие нашей истории происходит накануне Нового — 2008-го — года в городе Минусинске Красноярского края и в посёлке Бурный (посёлок староверов) Эвенкийского автономного округа Красноярского края.

Основные действующие лица:

Девочка Аня, тринадцати лет, Аннушка, диагноз — дцп (детский церебральный паралич), по дому передвигается на костылях. На улице бывает очень редко. Учится в заочной школе. Много времени проводит за компьютером, который ей купила мама. Умерла она от рака два года назад. Отец пропал без вести восемь лет назад. Аня с бабушкой Клавой (Татьяниной мамой) живут в своём доме. Баба Клава — православная христианка. Аня и бабушка живут на пенсию бабушки, сдают одну из двух комнат студентке Лизе Ямсе. Летом баба Клава торгует цветами, выращивает в огороде овощи. Зимой вяжет на продажу шали и носки.

Кирилл Александрович Ведерников — отец Ани (герой книги «Возвращение на Джеликтукон») , в прошлом сумасшедший, в прошлом геодезист, в настоящее время дизелист в староверском посёлке Бурный на речке Вильмо. Продолжает писать стихи, о времени почти не думает, больше молится. Сам он из староверского рода, но нажился в миру, курящий, поэтому живёт в отдельном доме на окраине посёлка.

Ангел — Ангел-хранитель Аннушки, невидим.

Зинур и его сын Радик Файзулины — дальние родственники бабы Клавы. Приехали в Минусинск из деревни продавать мясо.

Кот Фома — член семьи.

Лиза Ямса убежала с ночёвкой на предновогоднюю вечеринку в общежитие, поэтому Зинуру с Радиком есть где переночевать.

Мама Таня, как и её муж, была по образованию геодезистом. После исчезновения мужа торговала в коммерческом ларьке, потом стала заниматься сетевым маркетингом китайской косметики и пищевых добавок. Появились деньги на компьютер Аннушке. Аннушка не перестаёт думать об отце.

Часть 1. Вечер

Сцена 1. Чат-тусовка

Итак, с чего начать? Жили-были девочка Аня, её баба Клава и её отец Кирилл. И кое-что уже сказано в прологе, так что ты, читатель, примерно представляешь, что за жизнь была у них. А как же Ангел? — спросишь ты. Ангел-хранитель Аннушки? О нём Аня узнала от бабушки после исчезновения отца. И когда она сочинила своё первое стихотворение, то решила, что это Ангел разговаривает с ней. Когда Аннушку оставляли дома одну (бабушка и мама уходили по делам), Аннушка подолгу разговаривала с Ангелом. А каждое утро она здоровалась с ним приветствием, которое сама придумала:

Здравствуй, Ангел мой хранитель,
Добрый друг мой и учитель.

Когда у Ани получалось стихотворение или когда она молилась, то ей казалось, что это её Ангел разговаривает с ней, помогает ей. Особенно Ангел помогал ей тогда, когда рождались слова молитвы, её собственной молитвы, от которой захватывало дух и хотелось плакать.

Аннушка никому, кроме мамы и бабушки, не рассказывала про Ангела. Но даже мама сердилась на бабушку за то, что Аня узнала про Ангела-хранителя. Потому что мама считала, что надеяться надо только на свои силы, а их у Аннушки и так немного. Мама хотела заработать денег на лечение Ани, и было у неё ещё одно горе — пропал муж.

Но Аня считала, что если бы не Ангел, ей было бы гораздо тяжелее жить, и с особой охотой молилась ему. И каждый раз, когда складывались стихи и молитвы, она благодарила Ангела.

За столом пьют чай Зинур и баба Клава. А Радик прилепился к Аннушке и смотрит, как она общается со своими друзьями в Интернете. Радик совсем не умеет обращаться с компьютером, поэтому смотрит во все глаза.

Аннушкина чат-компания сложилась не сразу. Они познакомились год назад на сайте poezia.com, потому что все любили стихи и писали стихи. Они — это:

AL Алиса — английская девочка;
F хоббит Фродо — китайский мальчик;
A Ахмад — арабский мальчик;
GK Дзена, королева воинов, — Аннушка;
T Терминатор — американский мальчик;
M Маугли — индийская девочка.

Сначала они общались на поэтическом сайте, а потом Ахмад предложил сделать закрытый сайт, только для их компании, где они могли бы проводить свои чат-тусовки. Он его и сделал. Язык общения — английский. Хотя иногда они посвящали целые вечера, чтобы изучить языки друг друга. Темы общения — самые невероятные. Признанным лидером и лучшей поэтессой компании стала Аннушка. Она, конечно, не говорила о своей болезни, зато каждый вечер становилась душой компании и очень дорожила этими минутами. Иногда к ним на сайт заглядывал Летучий Голландец — отчаянный хакер, который никак не может понять, зачем нужен этот закрытый сайт.

Фома дремлет на коленях у Аннушки. Радик просит:

— Аня, ну покажи, как вы общаетесь. Неужели здесь люди со всего мира собираются и разговаривают? Научи меня этому.

— Ну, Радик, как ты не понимаешь, что научить тебя за вечер я не смогу. Попроси своего папу, пусть он купит тебе компьютер, тогда я смогу тебя научить.

— Ладно. А можно я посижу с тобой, посмотрю, как ты с ними разговариваешь?

— Ладно, сиди рядом, только не мешай. Я тебе потом всё объясню.

На мониторе начинают появляться строчки: «Привет». Аня закрыла глаза и мысленно попросила помощи у Ангела.

AL. Дзена, о чём мы будем сегодня говорить?

GK. Я написала новые стихи, хочу показать их всем. А потом каждый расскажет, чего он больше всего на свете хочет. Хорошо?

A. Ты всегда что-нибудь придумаешь. А я вот ничего не сочинил. Мы с отцом ездили в Дубайи.

F. Давай, Дзена, у тебя всегда здорово получается.

GK. Ладно, читайте:

* * *

Не чувствуй себя одиноким,
Когда поссорился с кем-то.
Знай, есть люди, у которых
Судьба хуже, чем твоя.

Одинок.
Не чувствуй себя одиноким.
Есть люди, у которых судьба ещё хуже твоей.
И у каждого есть надежда,
Что встретит человека судьбы их добрей.

* * *

Я создана из неба, я создана из звёзд,
Я создана из солнца, я создана из слёз.
Небо — это то, что тебе снится,
Звёзды — то, что светит по ночам,
Солнце — что в окно тебе стучится,
Слёзы — то, что капает из глаз.

T. Почему так грустно? Что с тобой, Дзена?

M. А по-моему — классно!

F. Ты нас всех заставила загрустить.

GK. Ладно, не грустите. Давайте поговорим о главном: кто чего хочет больше всего на свете?

T. Я хочу быть непобедимым, как Шварценеггер.

M. Я хочу стать актрисой кино, где буду петь и танцевать.

F. А я, наверное, уйду в монастырь Шаолинь и буду совершенствоваться в искусстве кунг-фу.

AL. А я хочу побывать во многих странах, увидеть весь мир.

A. А ты, Дзена? Чего хочешь ты?

GK. Я хочу, чтобы нашёлся мой папа. Уже восемь лет прошло с тех пор, как он пропал.

LG. Вы, мальцы, зачем сайт закрытый сделали? Я думал, что тут какие-то секреты, а тут — так, малышня развлекается.

Радик восторженно смотрит на Аннушку и говорит:

— Неужели твои друзья живут в разных странах мира? А я даже английского толком не знаю. Ты научишь меня? Я уговорю отца, чтобы он купил компьютер, и тоже буду писать тебе письма. А ты меня научишь английскому?

Аннушка гладит Фому, поправляет волосы и отвечает:

— Радик, конечно я тебя научу всему, что знаю сама. Но я думаю, что тебе непросто будет уговорить отца насчёт компьютера. Он, наверное, думает, что это игрушка, а вот мне без него никак не обойтись. Давай я тебе кое-что покажу.

Радик опять усаживается рядом, и Аннушка начинает объяснять ему азы.

Сцена 2. На сон грядущий

Фома лениво потянулся и, спрыгнув с коленей Аннушки, пошёл выпрашивать свой ужин у бабушки. Баба Клава всплеснула руками:

— Мы с тобой, Зинур, заболтались, а дети не кормлены. Радик, Аня, давайте к столу, поужинаем, да и спать пора. Завтра рано вставать на рынок, тяжёлый день.

Все уселись за стол. Поели домашней колбаски, которую привёз Зинур, поговорили о жизни деревенской. Аннушка всё никак не могла успокоиться после сегодняшней тусовки. Правильно ли она поступила, что сказала про папу, или это ей Ангел подсказал?

— Ну, что-то загрустили,— улыбнулся Зинур.— Хотите, анекдот расскажу?

— Ты, Зинур, только приличный рассказывай,— запереживала баба Клава,— а то при детях чего-нибудь наговоришь.

— Приличный, приличный,— успокоил Зинур.— Значит, так. Едет в поезде по России то ли немец, то ли японец. И приспичило ему в туалет. Только сходил — бежит с вытаращенными глазами к проводнику. Что случилось? Я, говорит, унитаз сломал. А что такое? Там, говорит, рельсы видно.

Аня с Радиком расхохотались, баба Клава прыснула в ладошку.

— Ну ладно, идите укладываться. Сегодня Лиза в общежитии ночует, так что, Зинур, я тебе на её диванчике постелила, а Радику на раскладушке.

Тепло, дремотно бормотала печка. Бабушка сказала Ане:

— Ложись, внученька, а я помолюсь ещё и тоже лягу.

— Бабуля, я вот всё думаю: что бы я без тебя делала? Я для тебя вон какая обуза, а кто, кроме тебя, меня поить-кормить станет?

— Ничего, внученька, не хлебом единым жив человек. Как же я тебя, кровиночку родную, оставлю? Проживём как-нибудь с Божьей помощью. Одно плохо, что я уже старая стала. Как ты без меня останешься, когда помру?

— Я тебя люблю, бабушка, живи подольше. Я и сама не знаю, как без тебя жить. У меня только ты и Ангел. Бабуля, мне Ангел опять подсказал слова молитвы. Бабушка, а можно, я по-своему буду за тебя, и за папу, и за себя молиться? «Боже, Пресвятая Богородица, ангелы и все святые, сделайте так, чтобы папа нашёлся! Боже, спаси и сохрани наши с бабушкой души! Спаси, Боже, пожалуйста!»

— Кровинка ты моя родная, Аннушка, внученька, конечно, помолись за нас. Господь услышит. И твой Ангел-хранитель помочь должен тебе, чтобы твоя молитва до Господа дошла. Попроси его обязательно.

— Конечно, бабушка, я его всё время прошу: «Ангел-хранитель, раз тебе такая девочка досталась, ты уж помогай ей. У неё ведь никого, кроме бабушки и тебя, нет». Бабушка, я ещё чуть-чуть за компьютером посижу? А ты помолись, и мы ляжем.

— Хорошо, внученька.

Баба Клава встала перед иконами и стала читать вечерние молитвы, а потом ещё, в надежде, что жив зять, прочитала молитву о путешествующих:

— Луце и Клеопе во Емаус спутешествовый, Спасе, сшествуй и ныне рабу Твоему Кириллу, путешествовати хотящему, от всякого избавляя его злаго обстояния: вся бо Ты, яко Человеколюбец, можеши хотяй.

И ещё из Канона молебного к Богородице:

— Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти; ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Сцена 3. Явление отца

Занесённый снегом посёлок Бурный. Поздний вечер. За окнами небольшого деревенского дома мороз. У компьютера сидит Кирилл Ведерников. Он только что закончил набирать письмо дочери и печатает адрес: vedernikovaanna@yandex.ru — и нажимает клавишу «Отправить». Письмо уходит, а Кирилл остаётся один на один с собой в доме, в который его пустили староверы. Длинная борода с проседью, валенки, свитер. Топится печка. Кирилл закуривает, садится у печки и замирает, глядя на огонь.

А в это время Ангел-хранитель молит разрешения у Господа помочь Аннушке.

Город Минусинск. Аня сидит у компьютера, читает стихи на сайте poezia.com. Вдруг на экране дисплея загорается окошко с сообщением о том, что по электронной почте пришло письмо. Аня открывает его.

«Здравствуй, доченька! Прости меня за эти годы. Но если бы ты знала, каким я был, ты бы поняла меня. Теперь я, кажется, готов к нашему свиданию. Посылаю тебе свои стихи.

• • •

Милая, здравствуй! Творенье Господне
Я пред тобой открываю сегодня.
Море волнуется — раз.

Милая, здравствуй! Господне творенье
Снова встречаю я с изумленьем.
Море волнуется — два.

Ты посмотри, как немыслимы дали,
Сколько людей мы хороших встречали.
Море волнуется — три.

Взгляды, улыбки, знакомые лица,
И Божий свет нам навстречу струится.
Стайкой летят снегири.
Замри!

• • •

Свиристели прилетели,
Прилетели свиристели.
Мы с тобою в этом мире
Так немногого хотели.

Птиц и неба бесконечность,
Звон цикад, и запах моря,
И безмолвную сердечность,
И отсутствие в ней горя.

Ощущенье совпаденья
Наших душ—двух половинок.
Этот краткий миг прозренья,
В этом мы с тобой повинны.

И летают свиристели,
Им открыт простор без края,
И хотят, чтоб души пели,
Поднимаясь к дверце рая.

Только там, над небом синим
С голубыми облаками,
Будем мы с тобой отныне,
А любовь и счастье—с нами.

• • •

Не ближе и не дальше—только издали,
Не раньше и не позже—лишь теперь
Я смог увидеть, что ж зовётся издавна
Обителью желаний и потерь.

Она—как дом покинутый, заброшенный,
Где сонный двор крапивою порос.
Там почтальон из будущего к прошлому
С пустою сумкой переходит мост.

За речку забытья, за поле времени
Заказана дорога для меня,
За зеркалом в четвёртом измерении
Стрекозы из несбывшегося дня.

Не мне смахнуть их блеск с травы некошеной,
Смотрю я, как в туманное стекло,
На всё, что было в жизни невозможного,
На всё, что в жизни не произошло.

• • •

How can you touch without touching.
How can you have, but not posses.
And not to lose it, when you take it.
Not to let go, lightly having touched?

И перевод этого четверостишья:

• • •

Как прикоснуться, не касаясь,
И обладать, не овладев,
Не потерять, приобретая,
Не отпустить, едва задев?

И ответ: Надо любить. Я тебя люблю, Аннушка. Я за тебя молюсь. Храни тебя Господь, доченька.

Твой отец Кирилл Ведерников».

Аннушка не поверила своим глазам и, не удержавшись, закричала:
— Бабушка, бабушка, папа нашёлся!

Баба Клава охнула и подбежала к компьютеру. Прочитала письмо и заплакала:
— Значит, живой, слава Богу! Где же он, внученька?
— Бабушка, да здесь же адрес его есть. Я теперь знаю, куда ему написать. Это мой Ангел помог, я знаю, бабушка. Он папу разыскал и надоумил письмо написать. Ведь Ангел знает, как нам тяжело без него. Кто, кроме Ангела, смог бы папино письмо мне доставить? Ведь он его отправил по неверному адресу. А оно—вот оно, здесь, у меня. Это чудо, бабулечка! Ведь Господь дал мне Ангела, чтобы он помогал мне.
— О Господи, Царица Небесная, где же он столько лет пропадал? Он же тогда из сумасшедшего дома ушёл. Пытались разыскивать, да куда там. Я уж и не знаю: радоваться ли? Единственная наша с тобой, Аннушка, надежда, что поправился он. Но по письму вроде бы нормальный.
— Я напишу ему, бабушка. Сейчас же отвечу.
— Погоди, Аннушка, погоди, милая, до утра хотя бы. Прошу тебя, Христа ради. Давай подождём до утра. Утро вечера мудренее.
— Ладно, бабушка, до утра я подожду. Я тоже ему стихи пошлю. Напишу новые и пошлю. А может, он в монастыре теперь?
— Подожди, Аннушка, подожди до утра. Я помолюсь, ты помолись—может быть, Богородица научит, как нам с тобой быть.
— Бабушка, а он знал, что я болею? Знал он?
— Знал, конечно, знал, внученька, тебе ведь уже пять лет было. Но не в себе он был, не в себе. Его самого лечить надо было. Он всё про время что-то заговаривался и Татьяна—твоя мама—ничего поделать не могла, так и тронулся умом. Ложись, милая, спать, утром решим, что нам теперь делать.

Часть II. Утро

Сцена 1. Кирилл Ведерников

Кирилл проснулся затемно со слезами на глазах. Впервые за долгие годы ему приснился дом в Минусинске и дочь, бегущая к нему навстречу от порога к калитке. Он долго лежал на топчане, потом встал, умылся и опустился на колени перед иконой Божьей Матери. Молился о том, как обустроить жизнь:
— Господи Боже Святый, прииди и исцели немощи наши имени Твоего ради. Пресвятая Богородице, ангелы и все святые, спасите наши души. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!

Ясно было лишь одно: что не имеет он права прятаться здесь от семьи, от больной дочери. И некому принять на себя эту жизнь, этот мир, и нет ничего важнее этого решения.

Одевшись, Кирилл вышел на мороз и пошёл запускать дизель. Сейчас начнут просыпаться люди в посёлке. Вернувшись в дом, проверил почту на компьютере. Ответа пока не было.

Сцена 2. Аня Ведерникова

Баба Клава проснулась затемно и долго молилась, повторяя благодарственную песнь Божией Матери:

— Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная!

Потом она занялась привычной работой по дому: подбросила дрова в печку, собрала на стол, чтобы было чем позавтракать гостям. Проснулся Зинур, растормошил Радика.

Последней проснулась Аня. Проснулась с неожиданным ощущением радости: папа нашёлся. Пытаясь медленно выбраться из постели, Аннушка вдруг почувствовала движение пальцев на ногах. Пугаясь, что это ей показалось, пошевелила ими, и они послушались её. Аннушка позвала тихонько:

— Бабушка, бабушка!

Баба Клава подошла к ней, погладила по голове, поцеловала:

— Доброе утро, внученька, Что это ты встревожилась?

— Бабуля, у меня пальцы на ногах шевелятся. Посмотри.

Баба Клава взяла в руки пальчики и тут же почувствовала, как они зашевелились.

— О Господи, чудо какое, внученька. Погоди, полежи ещё. Зинур с Радиком уйдут — я ещё потрогаю. Лежи, милая.

— Нет, бабушка, я знаю: это папа нашёлся. Пусти меня за компьютер, я напишу ему ответ. Доброе утро, дядя Зинур, доброе утро, Радик. Вы там осторожнее сегодня на рынке. Как продадите мясо, никуда больше не заходите, сразу к нам возвращайтесь.

Аня села за компьютер и начала писать ответ отцу.

«Папа, здравствуй! Я ждала тебя столько лет. Умерла мама, и мы остались вдвоём с бабушкой, и ещё у меня есть Ангел-хранитель. Где ты живёшь? Я так жду тебя. Посылаю тебе свои стихи, твои мне очень понравились.

• • •

Когда плачет погода — плачу и я.
Когда солнце смеётся — и мне хорошо.
Но чаще я плачу, хоть я не одна…
Люблю тебя, солнце!
Люблю тебя, небо!
Люблю тебя, как
Цветок любит воду
И как жизнь любит воздух!
Я люблю больше жизни своей.
Я прошу тебя, солнце, вернись поскорей!

• • •

А на небе слова — как звёзды,
А на небе любовь — как мысли,
А на небе я — как птица.
Почему бы тебе не долететь и не влюбиться?

• • •

Мир создан из любви,
А любовь из разнообразных,
Непохожих чувств: гнев, ревность,
Счастье, удача, ненависть.
Эти чувства кончаются
Смехом, слезами, обидой,
Но всё же надо смириться с этим,
Потому что нельзя жить без любви —
Любовь правит миром.

Папа, у меня сегодня шевельнулись пальцы на ногах. Я знаю: это молились Господу Ангел-хранитель, бабушка и ты. Папа, приезжай, если можешь.

• • •

Господи, Ты нас прости,
Неразумных, суетливых,
За обиды и грехи,
Что наносим часто миру.
Научи любить людей
Бескорыстною любовью,
Мыслью светлою согрей
В трудный час, слезой и кровью».

— Ангел-хранитель, пусть папа получит мой ответ, пусть он поймёт, как я его люблю и как хочу его увидеть.

Эпилог

Когда остаёшься один на один
С болезнью, тоской, круговертью времён,
Когда надоедливый твой господин
Тебе обещает покой похорон,

Запнись о молитву, смиренье открой
И, в долгом пути оставляя следы,
Пойми, что не властен ни вождь, ни герой
Над малым теченьем предвечной воды…

В истории использованы стихи Л. А. Аринчиной, Г. Н. Аринчиной, Н. В. Приваловой

Алексей Чернец

Октябрьская пристань

* * *

Что вы, сознательные, о России да о России
Всё печётесь, печётесь в духовке небытия?
Никто меня не спросил, а вот взяли бы и спросили
О доступных мне способах сознание не потерять.

Я, как всякий нормальный хроник, торчу на лекарствах,
Мой характер для окружающих невыносим.
Вы и представить себе не можете, как бываю счастлив
В те моменты, когда вменяем и полон сил.

Если эти секунды счесть — я богат без меры.
Жаль, нельзя поделиться — раздал бы и оделил.
Как в бою, сознавая цену сплошным потерям,
Закипает в крови безжалостный адреналин.

И пока этот бой бесконечной секундой длится,
Я спешу, я успею, ни йоты не утая,
Ухватить и во мгновение ока втиснуть
Восхитительный хаос по ту сторону небытия.

Я буквально из кожи лезу — не для того, чтоб
Воспевать безысходность, которую сознательно отшивал.
Что сейчас происходит в России? Происходит всё то же,
Что всегда происходит, покуда она жива.

* * *

Поверяя легкомысленным кивком
Всё, что некогда по книжкам проходили,
Проходили мы по Питеру легко,
Как секунды в бесконечном нарративе.

Проходили срок до каждой запятой,
Чтоб, как водится, не выклянчить отсрочки.
В белых сумерках кораблик золотой —
Вот и он, гляди, дошёл до высшей точки.

Не затем, я знаю, чтобы свысока
Презирать вконец запудренных фасадин,
Он податливое время рассекал
В терпком воздухе по сумеречной глади.

И, ни бури, ни покоя не ища,
Небом сумеречным вечно забираем,
Он один ещё способен обращать
В память всё, что мы до срока забываем.

* * *

Ашоту Манасяну

Тепло дымящихся руин
Повелевает сердцу биться.
Когда не спится — говорится.
И мы о прошлом говорим,

Чья бытность состояла из
Приятий и проклятий. Впрочем,
На истерическую почву
Сзывая прошлое на бис,

Мы попадаем в переплёт,
Минуя взглядом занавески.
И если дрогнет в перекрестье
Рука, то сердце не замрёт…

Ему б осколочным рвануть
За край — за дольний ли, за горний, —
Но воспитали сердце корни,
И сердце бьётся: «Не забудь!»

* * *

На деревню март
Сумасшедше льёт
Солнечный нектар:
Прорастай, быльё!
Уж не вспомнит от
Боли чахлый снег —
Ни какой тут год,
Ни какой там век.
Неспроста живём —
Крыши набекрень:
Поросла быльём
Лубяная хрень.
Выросли из изб
Призраки старух —
Жилистую кисть
Козырьком согнув,
Цедят белый свет
Хоботками глаз.

И шумит шоссе
О нездешних нас.

* * *

Словно бы я часовой твой калиф—
Хочется долго стоять над рекою,
Дребезг надрывный о нас-не-одних
Бросив ржаветь на последнем приколе.

Помнишь, трамвайчик вовсю налегал
Против течения к пляжному югу,
И, от натуги дрожа, берега
Перемещались в пространстве упругом.

Видишь, как руслом привычным течёт
Время—вовеки, да только не присно.
Словно из той поговорки ключом,
Помнишь, закрыли Октябрьскую пристань.

* * *

Алексею Котельникову

Что за лето не летнее? Не до-
Строен образ счастливой поры.
Новый дом, чьи холодные недра
Каждым уличным звуком полны,

Не достроен и он—недостоин
Быть увенчанным кровлею, чтоб
Обложной, распластавшись на кровле,
Зашуршал, как стекающий шёлк.

Зашуршит, не нарушив уюта
Обжитых ипотечных кают,
С нежеланьями счастья кому-то,
С пожеланьями счастья—кому б?

Прошуршит, оглушительно странен,
Жалким эхом надменных щедрот,
И понятен кому-нибудь станет
Совершаемый круговорот.

Тотчас настежь окошко напротив
Или, скажем, наискосок:
Или скажем согласно, что вроде
Лето, или не вымолвим в срок—

Промолчим в мимолётном уходе
К неподкупным истокам души.
Даже солнце уходит к погоде—
А блажной обложной всё шуршит.

Прошуршит, соскользнёт, и, поскольку
Всё проходит, а может быть, нет,
Я смотрю на замёрзшую стройку
С точки зрения прожитых лет.

* * *

Из года в год по улицам твоим
Проходит жизнь привычной гулкой бранью.
Завис перед началом на экране
Твой медный всадник, жаждою томим.

Ещё, прошу, лучами посвети:
В их перекрестье—всем чертям по рылу!
Я, как и он, прощального порыва
Тебе ещё пока не посвятил.

Ещё горит полынный твой закат—
Кровоточит степного солнца рана.
Не пара только всаднику непарно-
копытное, рванувшее за кадр.

В такую бишь промоуть-продюсень,
Куда мы—все твои disabled persons—
Пришли, чтоб хрень сомнений грубо стёр с нас
И, в гроб сойдя, благословил Дисней.

И каждый раз, рехнувшись от забот—
Не сдохнуть, не убить и всё такое,—
Ты голосишь отпетою строкою
По улице моей за годом год.

* * *

Средь прочих всех они одни
Сказаний несказанней—
Те дни, когда, представь, ходил
Трамвай до привокзальной.

Парили в небе провода
Осенней паутиной,
Такая даль влекла когда
По рельсам обратимым.

Влекла и убегала в синь,
Но прорастала в память,
Как эти хилые ростки
Из трещин в тротуаре.

Александра Вайс

Зарифмованная игра

* * *

Герой для собственной пьесы ищет других декораций,
Вовсю живёт своей жизнью, дерзает на свой предел,
За ним ходят свитой люди, историки, папарацци,
В сторонке тоскует автор, оставшийся не у дел.
Скажите, зачем он тоскует? Давно обречён на бессмертье
За то, что так популярен и жизнеспособен герой…
А он — как мать о младенце, если хотите — верьте:
Не зная правил, играет младенец, восторжен игрой.
А знает один маэстро о том, как финал случится,
О том, что за внешним фарсом трагедия правит бал.
Герой скоро будет развенчан: скандалы, больницы, полиция.
И автор нам не ответит, зачем он так написал…

* * *

Для этой речки ты слишком большая рыба,
В реке побольше ты станешь таким, как все.
Определись уже, где наименьший убыток,
Предстань перед миром во всей боевой красе.
Но ты затянешь с решеньем, отложишь в ящик,
Который в народе зовётся попросту — гроб.
По-своему выйдешь из этой проблемы блестяще,
Подставив под все тумаки мой отчаянный лоб.
А дальше цитата:
«Успокойся. Я не посвящу тебе больше ни строчки»,
И снова цитата:
«Вот и закончилось всё. Расставаться пора».
И, значит, зачем расшибаться на первой же кочке?
К чему моя зарифмованная игра?!
Мне хватит и чьих-то молитв, и стихов вдогонку —
О бренности мира и о безысходности дней…
В поэзии — только право на самогонку,
А я-то, смешная, искала гармонию в ней.

…но дайте мне право ещё на одну ошибку!

* * *

И нет ничего важнее этих пяти минут,
Когда совали конфетки и обливали светом.
Но не позовут тебя больше, девочка, не позовут.
Зачем говорю? Ты и сама понимаешь это.
А то, что осталось, не завернуть в платок,
Не съесть в чёрный день и не отдать в залог.

* * *

Я в своей стране иностранкой
Стала после двух суток пыли.
Обернулось консервной банкой
То, что раньше всем миром было.
И не так уж плохи дороги,
Раз не тянет свернуть-вернуться.
Установлены сети-сроки.
Затянулись. Но не порвутся.
О тебе случайный попутчик
Скажет больше, чем знаешь сам:
Здесь свобода не быть лучше
Не случайно даётся нам.

* * *

Вы меня не забыли—ждали.
Время капало сургучом.
Похоронено на вокзале
Разумение, что почём.
Вы меня не спросили—знали:
Полечу на далёкий свет.
Только редко передавали
Тем, кто светится, свой привет.
Вы меня не любили… или?
Значит, надо было держать!
Что великие говорили?
Ерунда! Им откуда знать?!
И теперь-то под слоем пыли
Даже глупо внутри хранить
Всё, за что меня не простили
Все, кто сил не имел простить.

Прелюдия

Простая игра в четыре руки—
Возможно, импровизация.
Далёкие прежде, сегодня близки,
Беспечно по клавишам бацают.
Ему ни к чему, не ко времени ей,
Но так легко и изысканно
На землю спустился игривый апрель,
Наполнив желания рисками.

Она только шепчет: «Кругом враги,
Но ты же лучше всех тех, других.
Скажи, что любишь меня, солги,
Вдруг если не так.
Подыграй мне».

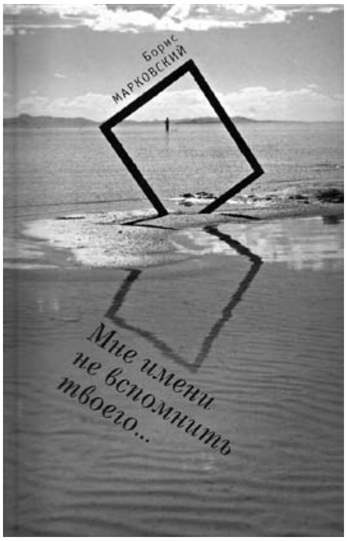
* * *

Дорогой, когда выйдешь из дома,
Не забудь перекрыть газ,
Не забудь подпрыгнуть пять раз,
Не забывай нас.

Дорогой, когда выйдешь из дома,
Не забудь выключить свет,
Не забудь захватить билет,
Передай привет.

Дорогой, когда выйдешь из дома
Не надо кругами ходить,
Не надо меня будить.

Не перекрывай газ.



Борис Марковский

Мне имени не вспомнить твоего

Москва: Алетейя, 2011.—303 с.
ISBN 978-5-91865-115-5

В новую книгу Бориса Марковского вошли стихи, написанные в последние годы, а также стихи и избранные переводы из книг, изданных в издательстве «Алетейя»: «Пока дышу—надеюсь» (2002 г.) и «В трёх шагах от снегопада» (2006 г.).

Наталия Черных

Медведковская тетрадь

Песенка

Не мудруй напрасно, мать, не кори врагов.
Он ведь—огурец, взял—и был таков.
А она—девица ваще, она будто петля в праще.
Что искала и собирала,
то уж не твоё от начала.

Не мудруй, моя персонажка. Ты была когда-то Наташка,
а теперь—земля имярек. Так что нам повезло, вовек,
и тебе я за мать и чадо. На окраине дымной ада
однокомнатная нас ждёт.
Что везёт, кому повезёт.

. . . .

А в аду не вовсе без Бога.
Кто везёт, не так нас и много.

Вечером

Не в похвальбу, и вовсе не больна,
на всякий день напоена водами,
мне каждая стена или волна
припомнит лёд, припомнит прошлый камень,
плывущий одр автобуса, где мне
заснуть и не проснуться, в устье шумном,
у выезда к шоссе ли, на стерне,
в печали тонкой, в счастье полоумном,
в юродивом, не в жилу мне, житье,
ведущем вспять к неведомой кончине.
Не различить, что часто снилось мне
у выезда к шоссе, в былой пустыне.

. . . .

А нынче келья, слёзы и столы.
Я крепко здесь, стащили гвоздь цыганки.
Незыблемы домашние столпы,
не сразу—краснота в копейной ранке
об угол неизбежного стола.
Гроб сахарный, вокруг него зола.

В странствии

В странствии владычнем и трапезе
имена теряются порою,
потому что город, голод, горе,
потому что нет ни сна, ни пищи
в поисках последнего покоя,
когда лоб холодный поцелуют,
когда Бог по имени окликнет.

Про любовь

А я и сейчас бы о любви говорила
тебе. А ты будешь слушать?
Была ссора, было не время,
это горе зашло за радость.
Не к моим рукам твоя глина,
не твоим устам моё горе.
А вот ужин, чай да ботинки
нам с тобой за горе и глину.
Я люблю тебя, это правда.
Может статься, и ты меня не покинешь.

Крестоношение

Лучше горевать, чем крестом хвалиться.
Утешенье—клятвой креститься,
крест горит, какова защита,
да неправда на нём прибита,
а от правды не отдерёшь.

Не бывает, чтоб правдой ложь
обернулась, луна за солнце.
Не видать в миру крестоносцев,

мне бы крест свой нести, да так,
чтоб не плакала натощак
и никто бы его не видел.

Кто обидел, кто не обидел—
всякий человек будто гвоздь,
а на нём повешена гроздь.

Детское

А что детское: ноги, руки—
иль не детское, а навроде,
или, скажем, плохие зубы;
не для пенсии, а не стыдно.
Кто поймёт, что ради Христова
странствия, а после—трапезы
всё ушло, как в трубу какую,
а вернуть—и даром не надо.
Так бывает: возраст немалый,
а всё детское: ноги, руки,
и слова, и глаза. Куда там,
говори точнее, не жалко,
всё в растерянности перед миром.
Перед миром ли?—нет, перед Богом.

У Казанской иконы

Божьей Матери Казанской серебристый колокольчик
зазвенел,
потом затихнул, потревожив сумрак кольчатый,
где оклад из кипариса, где цветы на холмах ризы.
Вышито везде, а был покров как мел,
а ковчеги—те из кипариса.

Опустился журавлёнок Божий рядом,
ноги—как хоругви древко, потому и колокольчик
зазвенел.
Ведь никак не попадает в рифму—ладан,
а в стихах не надо ровных строчек,
человек молился ими как умел.

Колокольчик зазвенел, уже вечерня, кличет журавлёнок:
все сюда,
вы мои сказки, что носил я чаще люлек и пелёнок,
мои Вани, Ярославны, Василисы—
не стекло в иконах, Божия слюда.
А церковницы не злые—все актрисы.

Девочка на зов пришла, в подсумке книг полно,
спрашивает: всех зовут, а как Офелия с Кордейлой?
Та нерусской лилией в октябрьский омут пала,
а теперь ей—золотая слава.
На другую больше я похожа,
хоть она—как барельеф на зданье школы.
Будем ли мы счастливы, скажи, журавлик Божий,
или так живём, в одной рубашке голой?

Божьей Матери Казанской серебристый колокольчик,
в небе храмовом, безбедном высятся кивоты кипариса.
Только счастья, что над небом золотым играет сумрак кольчатый,
а Офелия с Кордейлой—не актрисы.

Где любовь, там смерть: иного не видать.
Колокольчик лика, и хоругвь—как шейка.
Риза—как кольчуга. Мати, а не мать.
Тот журавль—как Божия жалейка.

Золото и серебро

Где ты, что—посиди со мною.
Я спою волною морскою,
не под войлоком горе скрою,
унесу не тучному рою—
погребу, схороню, опла́чу.

Я не стопы тебе омою,
не хлебов принесу сумою,
не дурную судьбу растрачу:
ни креста, ни воли не надо.

Здесь, в земном преддверии ада,
крест на смех, крестованье—ложь.

Только и любви, что несёшь,
только и добра, что Ребро.

Золото в крови, серебро.

Михаил Свищёв

Пятый элемент

Утки в центральном парке

Куда деваются утки в Центральном парке,
когда пруд замерзает?
Сэлинджер

крошит белый хлеб, запахнувшись в парку,
серая зима на асфальт игриво.
— куда делись утки в центральном парке?—
задаёшься вдруг у киоска с грилем.

шелестит болонка на узкой шлейке,
и рябит картинка рекламой в луже:
в полынье плескаются серошейки,
а она всё у́же уже́, всё у́же…

примерзает к стенду багор пожарный,
провисает небо промокшим ситцем,
леденеет наст, и круги сужает
словно зачарованная, лисица…

отвернись от истины, как от сварки,
отдохни от классиков на неделю:
— куда делись утки в центральном парке?
— не грусти, родимая,—улетели…

Внаём

Ему не платит за угол жиличка,
за свет и газ, за мусоропровод.
Но в сердце проживает третий год,
и пользоваться даже по привычке

широкой ванной сообща нельзя.
Везде пылятся общими местами
пустые двери, где уже не вставить,
ни встать ни сесть. Ни лечь, ни дать ни взять.

На кухне свет—как старое бельё,
и только на прабабкиной иконе
белеет свечка. Он её не гонит,
но и оформить больше не зовёт.

Квадрат окна горошек пересёк,
лицом к стене молчит радиоточка.
Убавь пятак—ему была бы дочкой,
накинь—женой. А так ни то ни сё.

Он врёт друзьям за водкой, как завод:
«У ней пожитков—платье да гребёнка.
Куда она пойдёт с больным ребёнком?»—
и всякий раз иначе назовёт…

* * *

опять за Танями и Колями
почти не виден двор пришкольный,
за перепуганными прятками—
букетов с первосентябрятами,

бантов—с макушками и кружевом,
воздушный шарик по окружности
едва растает в нашем северном,
а ты, свою припомнив, серую,

за гладиолусами с флоксами
прильнёшь чужим короткофокусным
к последнему портфелю детскому
с дурацкой ревностью и резкостью.

* * *

где наша тень тянулась на восток,
в двенадцать под поребрик уползая,
и патина зелёными глазами
на нас глядела с бронзовых мостов,

где ты свои, от солнца протерев,
в видоискатель щурила по-ланьи,
где форточек протяжные тире—
как знаки отшумевших препинаний,

где выбились, прозрачно-завиты,
засвеченные перекисью ада,
два локона, как пара запятых:
казнить нельзя помиловать не надо.

Фотоателье 1914

укрыты за картонной рощею
под аллегорией «Победа»
папье-маше горбатой лошади,
Вольтер и два велосипеда.

всё лишнее под рамку свёрнуто,
и вечной птичкою навылет
прошиты нынешние мёртвые,
совсем тогдашние живые.

и белый свет, из блюдца пролитый,
застыл на пряжках неопасно,
как ряженка. и в каждом профиле
на полкопейки от анфаса.

Курган

я отдал жизнь за родину, сиречь
за милый Углич (наши где, не наши —
не ведаю), когда бы тут не лечь,
с женой-тверчанкой лёг бы, не узнавши,

что визг стрелы со свистом ковыля
на всём скаку сливаются для слуха,
что лишь с изнанки выстлана земля
для ратников сырым тяжёлым пухом,

что кровь во рту кислее молока
с ржаною коркой давешних раздоров…
не штука, что кольчужка коротка,
а что живот до ладанки распорот.

На Стрелке

а что вода? Вода — она как жизнь:
бурлит, течёт, бежит, имеет место,
и разводные невские ножи
в сырой гранит втыкаются отвесно.

здесь правит бал солёно-голубой,
и фотовспышки впрыскивают фосфор
в улыбки чаек с заячьей губой
и чьи-то рты, открытые, как космос,

и заводной «Орбитой» по стеклу
скругляет швы секундная иголка,
так затянув случайный поцелуй,
что восемь раз успеет крикнуть «горько!»

ночная свадьба — вылитый Шагал,
и эхо отслоится, как плацента,
гася волну в каких-то двух шагах
от нашего немого эпицентра.

* * *

теперь, наверно, есть тебе и мне
о чём сказать трудней, чем онеметь —
который день каникулами кружит
под веками сплошное аниме,
дудит в трубу крылатый абонент,
снаружи хуже.

там зимний вечер тёмен и раскос,
там на живых не действует наркоз,
там восемь раз напишут и обрежут
на этикетке «внутр.», читай — насквозь,
без линз что «молоко», что «холокост»,
внутри как прежде.

там свет лежит на цинковом столе,
и день, как перевёрнутый валет,
сквозь дёготь луж глядит на побратима,
и ветка топором торчит в стволе,
и на потом всегда хватало лет,
и не хватило.

Ромео и Джульетта

бредём домой, сбежав со школьных Татр,
до самых плеч униженные ранцами:
весь мир — Шекспир, весь мир — кинотеатр,
и в оба не пускают до шестнадцати.

там вечера, прохладные, как ночь,
и, сдобренное клюквенными ранами,
дверных щелей домашнее кино
раздвинуто широкими экранами,

блестят глаза, топорщатся виски,
и первые звонки велосипедные,
как губки с размалёванной доски,
с любви смывают всё второстепенное.

там чудеса, там кружево и медь
на простыне сменяются покадрово,
и главного опять не разглядеть,
как Арктики в проекции Меркатора.

Звонок

Так пашня назначает колосу
от смерти первую прививку.
К холодной проволоке голоса
сухой щекой почти прилипнув,

я сам о том, что не ослышался,
узнал не раньше, чем оглохнув.
Январь супоненными мышцами
ломал привычные оглобли,

и голый провод правду голую
тянул от Бреста до Ямала,
и ты, как платье через голову,
с себя ответственность снимала.

Пятый элемент

позади огни и воды,
в сотне тысяч от Земли
космонавтам нужен воздух,
а его не подвезли —

то ли бак внизу забыли,
где азот и кислород,
то ли стружкою забился
узкий воздухопровод, —

ни фрамуги, ни балкона,
чтобы выйти подышать,
голубой, как те баллоны,
им в окно сияет шар,

под аквариумной крышкой
смотрят рыбки в глубь кают,
как они всё дышат, дышат,
как скребут стекло чуть слышно,
а потом перестают.

Серафима Маркова

Возвращаясь к Татьяне Толстой

От «Кыси» — к Канту

Страсти по Толстой, по роману «Кысь» улеглись. Возможно, настало время более глубокого осмысления. Начну с того, с чего начинали почти все писавшие о книге: роман Толстой ждали, ждали с нетерпением, как, быть может, некое откровение и, уподобляясь герою романа Бенедикту, как ответ на вопрос «как жить?». Почему именно так? Ну, вероятно, потому, что продолжать жить так, как живём, становилось уже невозможно. Почему ждали этого именно от Толстой? Ну, очевидно, помня несомненные достоинства её прежних рассказов. И самое главное — у неё нет замыкания на себе, она со своими героями всё время старается выйти на простор. Чаще всего, конечно, для её персонажей эти попытки оканчиваются ничем — из-за их очень малых возможностей; тем не менее, тесная оболочка всё-таки чуть-чуть размыкается. В связи с этим от Толстой, думается, ждали и появления какого-то нового лица, по которому истосковались и которое могло бы стать положительным героем своего времени. Полагаю, что Бенедикта и можно счесть таким героем, одним из первых таких героев — нашего времени, как когда-то Ивана Бездомного — одним из первых героев своего. Немного странно: в связи с романом Толстой упоминались очень многие имена — Ремизова, Замятина, Набокова, Стругацких, Рэя Брэдбери и т. д., а вот имя Булгакова... А ведь родство, своего рода перекличка «Кыси» с «Мастером и Маргаритой» ощущается довольно явственно. И думаю, именно роман Булгакова является её великим предшественником, а о Бенедикте можно говорить как о продолжении в новых условиях темы Ивана Бездомного. Впрочем, Ивану Бездомному тоже особенного внимания никто не уделял, да и до сих пор не уделяет. Мастер — другое дело, не говоря уже об Иешуа и Воланде. А Иван — только отсвет Мастера, он, как говорится, постольку поскольку... Но вот Булгаков оставил в живых именно Ивана, наполнится ли жизнь снова вечностью или измельчает до последнего предела — зависит уже от Ивана, от него зависят судьбы и живых, и мёртвых. Так и Толстая, несмотря ни на что, оставила в живых Бенедикта. Понасмешничала она над ним вдоволь, но в живых оставила его одного, как, может быть, единственную надежду на хоть какое-то будущее. Не увидели, не узнали или не захотели узнать того, что ждали с таким нетерпением? Недостаточно поняли даже самые верные из её поклонников?

Прошлое узнали, пожалуй, все, узнали легко. Например, в Набольшем Мурзе Фёдоре Кузьмиче, особенно вот в этих пошевеливающихся руках, сразу узнали Сталина, а заодно и Хрущёва, и, конечно, Брежнева. В тесте Бенедикта, Кудеяре Кудеяровиче, — главу КГБ, в его богатой библиотеке — спецхран, в санитарах — чекистов, отправляющих голубчиков, хранящих старопечатные (читай — диссидентские) книги, на лечение, откуда те уже почему-то никогда не возвращаются. Ну а если прибавить к этому красные балахоны, в которых санитары носятся по городу, то вывод получался однозначным (для многих, по крайней мере): роман — тест на «нетленку» конца восьмидесятых. Ничего из этого я оспаривать не собираюсь; только, думается, не так уж всё просто. В том же Кудеяре Кудеяровиче угадывается не только фигура бывшего руководителя КГБ. В его ненасытности — его и всей *семьи*. Этот его зверинец, все эти предназначенные на съедение соловьятки, воробьятки, когти, которыми в семейке скребут пол даже во время еды — всё мало, мало, — там ведь только и говорят о таком: тёща — о «коклетах», Оленька — «иди сюда, Бенедикт, любиться будем», Кудеяр Кудеярович даже книги выбирает под свою стать — «как она его (Лиса — Колобка) — ам...». Всё это, пожалуй, не меньше из настоящего, чем из прошлого. И главное — тот обман, с помощью которого Кудеяр Кудеярович приходит к власти, сыграв на любви Бенедикта к искусству, чтобы сразу же это искусство, а потом и самого Бенедикта, как сейчас говорят, «кинуть». У Фёдора Кузьмича была хоть какая-то забота об искусстве и о подобных Бенедикту голубчиках, а Кудеяр Кудеярович, по сути, сразу же, уже во дворце свергнутого Фёдора Кузьмича, махнул рукой на это искусство, когда на вопрос Бенедикта, можно ли читать старопечатные книги, ответил что-то вроде: «Хрен с ними. Пусть читают. Теперь это уже всё равно». Да, теперь это уже не имело значения. Это имело значение как ширма, имело значение, чтобы привлечь таких, как Бенедикт, на свою сторону. Ну, может быть, ещё таким способом избавиться от кое-каких упрямых голубчиков. Но кто задавался вопросом, зачем Кудеяру Кудеяровичу нужен был Бенедикт—при той смехотворной лёгкости, с которой была совершена эта так называемая революция? Впрочем, я бы не сказала, что так уж это было легко: Бенедикту-то немало пришлось полазить с крюком и понагибаться. Кроме того, вряд ли Кудеяр Кудеярович мог ещё на кого-нибудь так же безусловно положиться. Ну и, конечно,—всё тот же его ненасытный аппетит. Бенедикт ведь, собственно, тоже был предназначен на съедение, хотя и в другом смысле. Пока у Кудеяра Кудеяровича не было тесного контакта с Тетерей (перерожденцем), ещё могли сохраниться остатки чего-то доброго. Но после связи с Тетерей, ставшим министром нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности (а за Тетерей стоял ещё невидимый Пахом, которого Кудеяр Кудеярович, кажется, сам побаивался), рассчитывать на что-либо было уже нечего. Очень скоро, кстати, Кудеяр Кудеярович начнёт вышвыривать книги из окна в грязь, расписываясь таким образом окончательно в своей «любви» к искусству.

И вот сами эти «старопечатные» книги. Диссидентские, запрещённые ли они? Не есть ли это просто книги из прошлого—и давнего, и недавнего, где Чехов соседствует с Коптяевой? Ведь, собственно, в библиотеке Кудеяра Кудеяровича нет, по сути, ни одной диссидентской книги, разве что такой посчитать «Виндадоры»—первую, кажется, книгу, изъятую Бенедиктом у голубчиков, которая могла быть признана опасной, потому что она, по словам Бенедикта, про нашу жизнь, вернее, про нашу нелепую жизнь: «куропаточка бычка родила, поросёночек яичко снёс». Насколько помнится, перед этими стояли другие строки: «Где ж это видано, где ж это слыхано?» Теперь же, конечно, и видано, и слыхано, теперь эти нелепости давно уже стали нормой. Изымаются, повторяю, книги не «диссидентские»—старые, давние. Разве это не смахивает на наше настоящее? Красные сани теперь, правда, не носятся по городу, но «книги» продолжают изыматься едва ли не с большей энергией. Дряхлеют библиотеки, исчезли из них толстые журналы, давно уже не идут по телевидению замечательные драматические и оперные спектакли. Причём, по логике романа, раньше был хоть какой-то резон в изъятиях: книги после «взрыва» были радиоактивны, то есть опасны. Теперь же Кудеяр Кудеярович никак не может объяснить непонятливому Бенедикту, зачем их изымать, а голубчиков отправлять на лечение. Не признаваться же прямо: просто чтобы отнять как можно больше. Что же говорить в таком случае о самих голубчиках, которые накрывают *теперь* этими книгами горшки?! «Искусство» действительно гибнет—и, может быть, с неведомой в прежние времена быстротой. И поэтому даже «осатанелость» Бенедикта в спасении «искусства» в какой-то мере может быть оправданна. Одним словом, прошлое у Толстой перемешано с настоящим, как и в нашей действительности, как и в жизни. Вряд ли Толстая писала свой роман только для того, чтобы ещё раз посчитаться с прошлым, она хорошо видела настоящее—не хуже, чем недавнее прошлое, и не переставала думать—прежде всего через своего главного героя, Бенедикта,—о будущем. И не только в том смысле, что вот, мол, вам ваш духовный ренессанс,—смысл, как увидим дальше, оказался более глубинным и обнадёживающим.

Отрицательные качества Бенедикта, которые выдают его принадлежность к нашему настоящему, как будто закрывают ему дорогу в будущее. Кстати, кто-то, возможно, скажет, что настоящее это ограничивается в романе изредка встречающимися намёками на «чеченцев» и на газету «Завтра», да и то, мол, эти намёки выглядят как позднейшие вставки ретивых переписчиков. Думаю, говорить так—значит, сознательно закрывать глаза и затыкать уши. Это «настоящее» просто лезет изо всех щелей. Недаром Бенедикт толкует начертания букв своей азбуки—«Ж» («живете») и «Х» («хер»)—то есть жизнь и то, что сейчас является чуть ли не основой этой жизни,—как знаки, загораживающие путь, крест-накрест заколачивающие проход. Такое вот совершенно непроходимое невежество, постоянная направленность (даже зацикленность) на так называемый «пуденциал», эти грубые развлечения (включая и повсеместное воровство), «игры» (сегодняшним словом—«тусовки»), от которых «прежние» приходят в совершенный ужас. Ну, например, свечки потушить, одному на печку забраться: сидит, сидит да как прыгнет—или соседа ушибёт, или сам расшибётся. Хохоту! Такими же увечьями кончаются обычно и все праздники: кто на костылях, кто с подбитым глазом—сразу поймёшь, что праздник был. Не лучше и поминки. Себя-то, конечно, было бы жалко, а чужого нет. Чужой помрёт—тоже развлечение. Что ж, от такой жизни очень свободно мог отрасти хвост. Он и отрастает у Бенедикта, и Бенедикт даже гордится им и потихоньку повиливает из стороны в сторону. У прежних голубчиков, да хотя бы и у прежних героев Толстой, как бы мы к ним ни относились и какими бы ущербными они ни были, была всё-таки иная направленность—на что-то более высокое: на мечту, на любовь, на какую-то общую пользу. Теперь же один из тех же самых голубчиков принимает наставления матушки Бенедикта насчёт «общественной пользы» чуть ли не как кровную обиду. Вот Бенедикта его отец хотел сделать, как и он, древорубом, матушка настояла—в писцы, а сам Бенедикт хотел бы в истопники, как Никита Иванович. Зачем? Чтобы приносить людям огонь или понять тайну этого огня? Да нет, у него другие мысли. Вот идёт он по улице, тащит за собой огневой горшок (набрал углей у главного истопника Никиты Ивановича), встречающиеся голубчики низко кланяются, а он—никому. Идет «чванливый такой». Что-то вроде хотя и небольшого, но мурзы. Ну и, конечно, разные «приношения», которые пришедшие за огнём голубчики складывают тихонечко в уголок. Эта «чванливость» при первом удобном случае будет проявляться в нём и дальше: стоит ему подняться хоть на одну ступеньку повыше, он сразу же задирает нос. Другое дело, что даже самым малым мурзой Бенедикту вряд ли суждено сделаться—не создан был он для этого, или судьба берегла его для чего-то другого.

У прежних «голубчиков» иная, повторяю, направленность. Вспомните хотя бы реплику Петерса из одноимённого рассказа Толстой: «Я тоже хочу участвовать!» (имеется в виду—в жизни). «Я хочу жить»—нечто похожее скажет Бенедикт Варваре Лукиничне, а потом и Никите Ивановичу. Но это далеко не одно и то же. Эти Бенедиктовы слова—своего рода реакция на попытки собеседников побудить его что-то узнать, задуматься. Так, Никита Иванович старается раскрыть ему тайну огня. Реакция Бенедикта на эти попытки: «А зачем думать? Я жить хочу». Бенедикт шарахается от предложенной Варварой Лукиничной старопечатной книги, уклоняется от объяснений Никиты Ивановича. Он не хочет знать никаких тайн, его вполне устраивает повиливание отросшим хвостиком. «Наш»,—с удовлетворением могут признать его своим другие «хвостатые».

Как раз Никита Иванович размышляет по поводу появления у Бенедикта хвоста. Хвост, мол, был свойственен приматам в глубоком прошлом, а сейчас неолит. Что ж, так называемым «взрывом» всё оказалось отброшено на столетия назад, то ли в допетровскую эпоху, то ли ещё дальше—к татаро-монгольскому игу. Именно отсюда все эти «али», «тубарет», «заместо», «объемшись» и т.п. И все эти овосточенные мурзы… «Наглотавшись татарщины всласть, вы кысью её назовёте». Раздражение критиков по этому поводу понятно. Только Толстая на этом-то не останавливается, она ведёт своего Бенедикта дальше—от кыси, через кысь—путь Бенедикта лежит к человеку. «Путь далёк лежит…» Кстати, та великая песня о замерзающем в степи ямщике, заставившая саму природу поднять голову, начинается для него именно с этих строк. А оборвётся она на словах о любви: «А любовь свою он с собой унёс». Унесёт ли Бенедикт свою любовь с собой или отдаст её всю замерзающим голубчикам, трудно сказать, но путь его лежит именно туда—к любви, к человеку, к Канту в груди.

Недаром, конечно, на страницах романа появляется имя Канта. Появляется оно, кажется, трижды, и каждый раз это связано с ещё одним шагом к человеку, или, как говорит Никита Иванович, «к очеловечиванию». После первого разговора с Никитой Ивановичем о Канте Бенедикт согласится, наконец, обрубить хвост. Второй раз—у Варвары Лукиничны; тогда он задумается над тем, что «на небе и в грудях одно и то же»—так он истолкует слова Канта о звёздном небе над головой и моральном законе в груди. И это чуть-чуть рассеет навалившуюся на него тьму. И в третий раз, когда на слова Кудеяра Кудеяровича, что тот ему дочь отдал и, если хочет, жену отдаст, Бенедикт ответит отказом, он сам уже назовёт имя Канта: «Нам нужен Кант в груди…»

Толстой ставили на вид, что в романе у голубчиков отсутствует религия. Но какая могла быть у них религия? Слава Богу, хоть имя Господа упоминается. А оно упоминается, опять же, кажется, трижды—и ограждает Бенедикта сначала от «красных саней» и болезни, потом спасает от кыси: Никиту Ивановича, по словам Бенедикта, в ту минуту сам Господь ему послал. И в третий раз—когда со словами «Господи, благослови!» он приступает к вырезыванию Пушкина. И здесь Господь его, пожалуй, действительно благословил: Пушкин с этих пор каждый раз будет приходить ему на помощь. Ну а религия… сначала должен образоваться человек, сначала Кант в груди, а потом можно будет уже и дальше—кое-какие намёки на это «дальше» в романе есть. «Каким ты хочешь быть Востоком—Востоком Ксеркса иль Христа?» Это пока всего лишь прочитано Бенедиктом в подборке каких-то стихотворных строк, которую перед своим свержением начал готовить Фёдор Кузьмич. Но это, как всегда, запомнится Бенедиктом и отзовётся потом каким-нибудь образом. По крайней мере, должно отозваться.

У Бенедикта огромный внутренний потенциал. Пожалуй, у единственного из героев Толстой—прежние-то её герои страдали как раз из-за отсутствия какого бы то ни было потенциала. Ничего, что он путает «потенциал» с «пуденциалом»,—это от нашего не совсем нормального времени. Неприглядные черты Бенедикта не носят такого уж злокачественного характера. И он совершенно прав, когда в ответ на восклицания «прежних»: «О, ужас!»—по поводу теперешних игр и развлечений скажет, что ужас—не это, ужас—«красные сани». Вот Бенедикт после своего первого нечаянного убийства, стеная и плача, начнёт думать, что ведь он, Бенедикт, никогда до сих пор не убивал людей. Побить, поколотить—другое дело, да и то сначала надо было довести себя до соответствующего градуса раздражения. «А этого ничего и не знал вовсе». И так же точно с этой заклиненностью на «пуденциале». Ну как там обычно бывало?

Идёт Бенедикт по знакомой улице, навстречу весёлая стайка девчат. «Айда, девчата, со мной баловаться!» — и они прыснут смехом, и ему весело. «По бабьему делу» ходил Бенедикт и к одной, и к другой. Но ведь это, опять-таки, как? — сходил и забыл. А где-то в глубине жила надежда на какую-то другую встречу. От матушки, скорее всего, он унаследовал мечтательность. Она, кстати, дала ему имя «Бенедикт», отчасти «напоминающее собачье», — может быть, из мести настоящему, которого она принять не могла. Но было, наверное, в этом имени и что-то старинное, поэтическое. Отец оставил ему в наследство крепкие руки, умение справить любую работу. Вот и потенциал, полученный от родителей. В нравственном отношении Бенедикт порой способен подняться даже выше своего наставника Никиты Ивановича. Хотя бы в споре о Вите, отстаивая равное с кем угодно право этого неизвестного Вити оставить о себе на столбе память. Здесь он, думается, куда ближе к Канту, чем Никита Иванович, пытающийся втолковать что-то о разных уровнях памяти. Да и в чисто духовном отношении он не такой уж «духовный неандерталец», «депрессивный кроманьон», как обзывает его сгоряча Никита Иванович. Впрочем, тот же Никита Иванович будет говорить о нём и другое: что душа у Бенедикта не без порывов, и умишко кое-какой теплится, и что надежды он на него кое-какие имеет. Смысл прочитанного до Бенедикта, конечно, ещё не доходит, но чутьё-то у него верное. И запомненные стихотворные строчки приходятся у него всегда к месту. Или его занятие расстановкой книг в кудеяровской библиотеке, над чем немало поиздевались. Сначала по размеру, по цвету, но это не пошло, не сработало, а вот по звучанию… «Чехов, Чапчахов, „Чахохбили по-карски“, „Чух-чух…“». Или по внутреннему ощущению родства: «Маринина, „Маринады и соления“… „Маринетти — идеолог фашизма“… <…> Клим Ворошилов, „Клим Самгин“, Иван Клима, „Климакс. Что я должна знать?“, К. Ли. „Максимальная нагрузка в бетоностроении: расчёты и таблицы. На правах диссертации“». Сарказм здесь — у Толстой, а вот у Бенедикта чутьё, пожалуй, срабатывает безошибочно. Ещё пример: как он толкует некоторые буквы азбуки. Вот буква «он» — окошко круглое, словно смотришь через него с чердака на гулкий весенний лес!! Вот «покой» — так это же дверь, проём дверной. А что там за ним? Может, жизнь новая, неслыханная!!! А вот «хер» или «живете» — те, наоборот, загораживают путь, не пускают… Бенедикт с самого начала хорошо чувствовал слово, контакт со словом у него, несомненно, был.

И ещё — кысь. Тут кое-что тоже говорит в пользу Бенедикта. Кысь, конечно, не Воланд, но появление Воланда в настоящее время уже вряд ли возможно. Настолько измельчало наше время (то бишь время после «взрыва») даже в сравнении с не таким уж давним булгаковским, не говоря уже о времени Иешуа и Пилата. Тогда Воланд, по его же словам, мог появиться только инкогнито — постоять, например, за спиной Пилата на помосте. В Москве Булгакова он уже «правит бал», и Иисус напоминает о себе только через его посредство. Теперь Воланда замещает кысь… что-то азиатское, языческое. Но и кысь тоже не может появиться на пустом месте. Для её появления нужна, как и для появления Воланда, соответствующая обстановка. Например, вот такая: «Зима — ведь это что? Это как? <…> …и представится тебе вдруг твоя изба далёкой и малой… И весь городок… как оброненный в сугроб, и безлюдные поля вокруг, где метель ходит белыми столбами… и северные леса… пустынные, тёмные, непроходимые, и качаются ветки северных деревьев, и качается на ветках… незримая кысь, — перебирает лапами, вытягивает шею… и плачет, голодная: кы-ысь! кы-ысь!» И в другом месте: «…а нам, малым да сирым, в ночи на крыльце стоять… слушать… как ноет… ветер, как доносит порывами… далёкий, жалобный, северный голодный вой». И при других своих явлениях кысь приходит на эту «малость и сирость», на тёмную избу, на еле теплящийся огонёк свечи. Бенедикту полегче, чем другим «малым и сирым»: он молод, крепок, здоров, он мужчина; а каково Варваре Лукиничне или (уже совсем безо всего) Ксении-сироте? Однако же кысь «смотрит в спину» одному Бенедикту. Как-то, ещё ребенком, Бенедикт спросил у случайно забредшего к ним старика-«чеченца»: «Дедушка, а кысь видели?» Тогда посмотрели на него все как на дурака, а в этом вопросе, может быть, проступала особая острота восприятия, запрос: Бенедикту ведь порой начинало казаться, что он из какой-то другой породы. Самый «пик» кыси (в досвадебной, докудеяровской жизни Бенедикта) приходится на главу «И десятеричное», когда окажутся безжалостно растоптаны радость труда («Всю ночь Бенедикт ловил мышей» — с этого глава и начинается), радость удачи — презрительным сморканием холопа прямо под валенки Бенедикту, затем стылой избой, холодной печью, из которой воры унесли последние угли, когда тоска навалится с небывалой до сих пор, удесятерённой силой, и тогда кысь окажется уже совсем рядом, уже не в спину смотрит, а всё ближе, ближе, вот сейчас прыгнет на ветхую крышу, вот уже в избе… Здесь уже голод на голод, вой на вой. Кыси ведь тоже, как и Воланду в своё время, хочется напиться живой, горячей крови. Потом кысь словно бы изменит свой облик. К тоске, на зов которой она приходит, в доме Кудеяра Кудеяровича прибавится ещё озлобление. Тогда кысь отпразднует свою первую победу. Но вслед за ней вскоре наступит и последняя.

Бенедикт меняется, шаг за шагом он продвигается вперёд — от кыси, через кысь. Меняется его отношение к книге (не говоря уже о перемене к Оленьке, Кудеяру Кудеяровичу). Сначала-то для Бенедикта книга — пусть она вошла в его жизнь сама собой, что называется, с азов, — всё же не имела большого значения. А стихотворные строчки только слегка подсвечивали его жизненные впечатления. И когда вначале, в разговоре с Никитой Ивановичем, речь зайдёт о том, что́ в первую очередь спасать из горящего дома, Бенедикт выберет не книгу, а стуло, потому что оно матушкино; книги же, мол, он всегда может переписать, да они и сгорят быстрей остального. Определяющее значение книга приобретёт только в доме Кудеяра Кудеяровича, и именно потому, что живая-то жизнь там, собственно, для Бенедикта закончится, даже самая сиротская, даже мышиная. Книга — как реакция на отсутствие жизни, книга — как единственное спасение, больше-то спастись ему уже нечем. Недаром у него вырвется при одном из служебных налётов: «Врываемся, берём, спасаем» — и её, и себя как бы заодно. Дальше он уже грудью готов будет встать на её защиту. А ещё дальше будет его первое «прости». От книги Бенедикт предположительно должен вернуться к той же «сырой» жизни — вернее, жизнь и книга должны в конце концов соединиться. Меняется и его отношение к Пушкину, который от этого вот первоначального: «— Кто это Пушкин? Местный? — Гений. Умер. Давно. — Объемшись чего?» — постепенно становится для Бенедикта Пушкиным с большой буквы. Бенедикт идёт вперёд медленно, куда медленнее Ивана Бездомного. Но ему и труднее, если учитывать его отсталость и всю дикость его времени. И рядом с ним нет Мастера. Положительное влияние и матушки, и Никиты Ивановича всё же нельзя сравнить с влиянием на жизнь Ивана Бездомного Мастера, сумевшего вызвать из глубины вечности даже потусторонние силы. Попробуем же пройти с Бенедиктом его крестный путь, одолеть его азбуку — от «аза» до «ижицы». Это трудная, подчас мучительная азбука жизни — со взлётами и спадами, но, в конце концов, всё-таки приоткрывающая двери его темницы и выводящая хоть на какой-то простор.

Итак, первая буква Бенедиктовой азбуки — «аз». «Бенедикт натянул валенки, потопал ногами, чтобы ладно пришлись, проверил печную вьюшку, хлебные крошки смахнул на пол — для мышей… вышел на крыльцо и потянул носом морозный чистый воздух. Эх, и хорошо же! Ночная вьюга улеглась, снега лежат белые и важные, небо синеет, высоченные клели стоят — не шелохнутся. Только чёрные зайцы с верхушки на верхушку перепархивают…» Ещё раз так же «хорошо» будет в главе «И десятеричное», когда в предощущении праздника — Нового года — «всю ночь Бенедикт ловил мышей» и ходил потом, богатый и щедрый, по торжищу. Ну, ещё, пожалуй, было хорошо с песней. А потом всё оказалось смятым и скомканным, и оборвалась великая песня. Впрочем, и в самое начало, в самое первое «аз» вторгается что-то стороннее, ну хотя бы вот этот (тоже самый первый) рассказ о кыси, который впечатлительный мальчик слышит от взрослых: «Сидит она на тёмных ветвях и кричит так дико и жалобно: кы-ысь!.. <…> …жилочку… перервёт, и весь разум из человека и выйдет». Но главным всё же было другое настроение. «На семи холмах раскинулся городок Фёдор Кузьмичск — родная сторонка. И шёл Бенедикт, поскрипывая свежим снежком, радуясь февральскому солнышку, любуясь знакомыми улочками…» И тут же приходили на ум разные (ладные) стихотворные строчки — они органически были связаны с Бенедиктом (или он с ними), подтверждая и усиливая его первые жизненные впечатления: «Узнаю тебя, жизнь, принимаю — и приветствую звоном щита». Вот так замечтался, зазевался Бенедикт на всю эту красоту и неожиданно: «тын-дых» — и в столб врезался, из тех, которые понаставил везде Никита Иванович. Ну, конечно, так и разэтак, «понаставил не знай чего, блин». Это были, кажется, его первые ощутимые «буки».

А дальше пойдёт-покатится «веди» — он начнёт понемногу «ведать», ну хотя бы про эти самые столбы Никиты Ивановича: Никитские ворота, Страстной бульвар — «посильный вклад в восстановление культуры» — жажду, мол, ренессанса духовного. Тут же и «глаголь» — следующая буква — начинает что-то «глаголить» — размышлять, возражать, чему-то уже и противиться: Бенедикт взял и выворотил столб. Хоть Никита Иванович — истопник главный, жизнь вся от него зависит, а Бенедикт недоволен: от удара о столб желвак вскочит, девушки дразниться начнут. Вслед за этим как раз и Оленька вспомнится, и Варвара Лукинична со своими «петушиными гребешками» на голове, и Васюк Ушастый — никуда от него не спрятаться, а в связи с ним — и «красные сани», забирающие людей на «лечение». Недаром потом Бенедикт будет толковать «глаголь» как перевёрнутый крюк. Что ж, за «глаголь-глаголь» всегда расплачивались крюком. И упирается всё в «старопечатные» книги — несмотря ни на что, их хранили голубчики.

Азбука постепенно станет усложняться — от буквы к букве, начнёт включать какое-то понятие о добре и зле. Вот хотя бы эта столовая изба, жидкий мышиный супчик с «червырями». Что ж, и повара понять надо: лучшие кусочки — домой. Пока, в общем-то, *добро*. Потом — эта Варвара Лукинична, которой всё нужно понять и которая донимает Бенедикта вопросами. А дальше — сказка, её он уже прочтёт сам, — «Колобок». Как он по лесу знай себе катился, песенки пел весёлые, а Лиса его — ам — и съела. Здесь уже первое понятие о зле и первое «за что?», тем более что он сам себя видел этим радующимся жизни Колобком. Ну и сразу же после этого—первая метель в окно и—кысь, тоже, кажется, первое её проявление. Дальше—уже много круче: котя помер, мышей ловить стало некому. «У богатых в подвале холопы ловят». У Бенедикта нет ничего, даже красть нечего. Только ржави полный чулан. За этой ржавью—на болота. А там—Кохинарская слобода. Носы длинные, говорят не по-нашему. Ну и задрались, и нашим, и ихним досталось. А как следствие—все лица на миг покажутся какими-то зверообразными. Правда, всего лишь на мгновение, как сам Бенедикт скажет, «больше в праздники». Здесь главное—огоньку поскорей попросить. Идёшь, попыхиваешь—и ничего, сгладится.

Но всю-то жизнь таким манером не сгладишь, со следующим «живете» так просто не справиться. Вот с этими досужими соседскими разговорами—например, мужика с бабой. Вроде бы как всегда беседуют, а Бенедикту вдруг тошнёхонько станет. И с новой силой представится Колобок—как он всё пел, пел, и Варвара Лукинична с разговорами неясными, ещё этот Шакал Демьяныч—ветеран какого-то ледового побоища. А после—тёмная дорога домой, такая же тёмная изба, ну и кысь ещё настойчивей застучит в двери. Куда же от всего этого денешься?! Недаром он потом букву «Ж» («живете») будет понимать как загораживающую дорогу к светлой мечте, к чистой птице Паулин, от которой нет никакого людям зла.

В следующей главе Бенедикт и встретится с этим злом—ну, быть может, пока не во весь его рост: глава так и будет называться—«Зело». «Богатые потому богатыми называются, что богато живут». Так прямо, в лоб, ни одна буква азбуки ещё не начиналась. «Взять Варсонофия Силыча, большого мурзу, над всеми складами надзирающего». Ума государственного, тучности изумительной. Ну да, расступаются, конечно, все перед ним—«чтобы он, ирод, размяк, не сам всё съедал» (!). О приезде Фёдора Кузьмича, Набольшего Мурзы,—ещё резче. Раньше-то Бенедикт головы не смел поднять при звуке его имени и каждое упоминание о нём кончал словами: «Слава ему!» А вот когда увидел его близко—маленького, шажки как у коти, только ручищи как печные заслонки и при каждом непонравившемся вопросе пошевеливаются,—уже не по себе стало. А когда Фёдор Кузьмич прыгнул Оленьке на колени—и вовсе мысль закралась: зачем, мол, на коленки влез?! А тут ещё Никита Иванович огнём «хыкнул» так, что Фёдора Кузьмича след простыл. И в голове у Бенедикта вовсе закрутилось. К тому же и Демон на стене (картинка, вырванная Фёдором Кузьмичом из книги и выданная им за собственноручную) впервые слегка шевельнулся. Демон зла. Потом Бенедикт предъявит Фёдору Кузьмичу всё—и вырванные картинки, и обман—и подденет его безжалостно крюком. А пока в нём шевелится Демон. Опоздал, провстречал Фёдора Кузьмича—погасла печь. Теперь либо к истопникам идти—значит, готовь «сурпризы», либо к соседям—попрошайничать. Выбрался на крыльцо. «Господи, какая тьма!» А над головой небо тоже чернее чёрного. И, разумеется, снова «засвербит». «Али богатства хочу, али свободы? Али куда уйти хочу? Али мурзой себя мыслю, руками пошевеливающим?» Ну и в ответ, конечно, всё тот же северный голодный вой. Всё больше неудовлетворённость—всё сильнее даёт о себе знать кысь.

Впрочем, будет и короткая передышка: «И краткое», которое затем усилится «И десятеричным»—в связи с тем же, кстати, Фёдором Кузьмичом с его указом о праздновании Нового года. Когда все просветлели и даже «как бы выпрямились». Сразу, конечно, и соответствующие строчки стихов. «Зима недаром злится—прошла её пора…» И Оленька—как волшебное видение, и ещё Шопенгауэр—тоже, кажется, как нельзя кстати. Его книга, которую они как раз «перебеливали»,—«Мир как воля и представление». «Название зазывное» (Бенедикт, как обычно, чувствует верно). «Всегда ведь что-то в голове представляется… То представится Оленька… А то и вовсе покажется, что пошёл ты туда, куда не ходили… и звон в ушах, и будто облака какие в груди плывут…» Ну а «воля» тоже, видно, будет; может быть, как раз Шопенгауэр и подтолкнёт его к этой «воле»: в предощущении праздника всю ночь Бенедикт будет ловить мышей. Это и есть «И десятеричное»—всё проявится с удесятерённой силой, чтобы с такой же силой и обрушиться. Пожалуй, первый (в его докудеяровской жизни) такой «облом»—и кысь окажется почти рядом. «Нет!»—крикнет Бенедикт всем своим существом и две недели потом проваляется в лихорадке.

Но кысь сыграет здесь и некую положительную роль: после этого страшного «Нет!» его прежняя жизнь, его нежелание думать и знать, вполне удовлетворявшее его повиливание хвостиком начнут постепенно становиться всё сильнее стесняющими и всё менее возможными. Тем более что рядом с ним две недели кряду окажется Никита Иванович, и они даже как-то сдружатся. Ну и Оленька тоже подтолкнёт к переменам—как раз в этот момент он ей предложит и руку, и сердце, и «пуденциал». Правда, попытка Варвары Лукиничны раскрыть обманы Фёдора Кузьмича закончится ничем, а от предложенной ею «старопечатной» книги Бенедикт шарахнется, и—в связи с этой книгой—ему представится кто-то древний, страшный, кто лезет корявым пальцем под рёбра (возможно, уже предчувствие крюка), но всё же какой-то порыв *выйти в люди*, к людям состоится.

И—тесно связанное с этим «мыслете». Как и должно быть: «люди»—«мыслете». Люди—значит, мыслите. От книги-то ещё шарахнуться можно, а вот от собственной мысли уйти труднее. Здесь как раз — похороны какой-то (из прежних) Анны Петровны. Раньше для Бенедикта что похороны, что поминки были чем-то вроде развлечения. Но теперь какие-то мысли должны были прийти Бенедикту в голову. Тут же впервые заходит речь о Пушкине, которому дальше будет отведена чуть ли не главная роль. Правда, Пушкин пока ограничится для Бенедикта «объемшись чего?», но, может быть, он уже почувствует некоторую неуместность этого «объемшись». Только вот от всего этого, от этой попытки «мыслить» у него начнёт замерзать хвостик: «Пойдёмте, Никита Иванович, а то у меня хвостик мёрзнет».

Дальше следует «наш». Когда он узнает, что хвост-то человеку не положен, это будет сильный удар, и хвостик заставит Бенедикта по-настоящему забеспокоиться. Тем более что он уже сделал предложение Оленьке. «И как же теперь жениться?!» Нет, он по-прежнему ответит Никите Ивановичу, как недавно Варваре Лукиничне: «Я жить хочу!» Но теперь это будет означать не столько то, что ему вполне достаточно повиливать хвостиком, сколько — что хвостик-то этот ему уже совсем некстати. И, может быть, он впервые окажется выше Никиты Ивановича в нравственном отношении, когда предпочтёт вынести в первую очередь из огня матушкино стуло.

А дальше — первое его «Господи, благослови!», почти уже осознанное, с которым он ударит топориком по дубельт-дереву, чтобы вырезать Пушкина. Что ж, Господь здесь действительно благословил его — Пушкиным. Хвоста он, правда, пока ещё обрубить не даст, но шаг от «хвостатых», от «наших» к Оленькиному терему уже сделает.

Правда, попадёт он, как с ним водится, из огня да в полымя, почти в буквальном смысле. Следующая глава будет называться «Он» — чуть ли не как у булгаковского Ивана Бездомного: «Он появился!» Что ж, для Бенедикта Кудеяр Кудеярович, главный санитар, пожалуй, не так уж далёк от Дьявола, недаром «красные сани» так часто сопутствуют кыси. Но буква «он», по собственному толкованию Бенедикта, ещё и окно вовне, даже если смотреть с чердака, — то есть какое-то движение вперёд. Однако новый удар будет посильнее прежнего. На какой-то момент Бенедикт отождествит наступивший «покой» едва ли не с покойницкой, но постепенно на смену начнёт приходить какое-то спокойствие. И опять, как это будет теперь всегда, — через Пушкина. Что ж, Пушкин — его создание, он больше его, чем Никиты Ивановича. Для Никиты Ивановича он слишком абсолютен, для Бенедикта он живой, свой — Пушкин-Кукушкин. На работу Бенедикт ходить бросил — всё равно пропадать. Собрал было котомку, чтобы уйти куда-то, но тут же и оставил — всё равно поймают. Да и куда пойдёшь без огня? А огня-то собственного у него пока не было. Но Пушкина резать продолжал. Ну да, головка у идола унылая, нос на грудь свесился. Но «дубельт — дерево крепкое» — этого не надо забывать. И вот так Бенедикт начинает уже размышлять: «Что ж, этот Пушкин-Кукушкин тоже, небось, жениться не хотел, а потом ничего. А теперь вот мы с него буратину режем». Пушкин его подбодрил. А дальше и Кант пришёл на ум — с моральным законом в груди и звёздным небом над головой. И первое упоминание о Книге Бытия. Всё это пока для Бенедикта за семью печатями, но коснуться уже коснулось: человек в нём начал поднимать голову. Отсюда и эти слова: «Хрен с вами, Никита Иванович, рубите хвост» (!). Дверь в другой мир приоткрылась.

Но оказалась дверь эта — в тестев зверинец. Вот так прямиком от Канта — в зверинец («рцы»), с перерожденцами, которых прежде Бенедикт всегда сторонился: страшные они, не поймёшь, то ли люди, то ли не люди, — и со всеми этими предназначенными на съедение воробьятками да соловьятками. Скоро этот зверинец пополнят и тёща с тестем, а потом и Оленька. Оказывается пойманной и древяница. Но сам Бенедикт пойманным себя пока что не считает. По-настоящему пойманным (кысью) он на мгновение ощутит себя, когда взглянет на своё отражение в воде. А поначалу ему будет казаться, что всё не так уж плохо: и семья дружная, и жена в теле, и смеются над ним вроде по-доброму. И всё-таки на него станет снова наваливаться тоска. Вот что-то было, а теперь и нету. Жизнь была! Пусть мышиная, но жизнь. Недаром он начнёт вспоминать, как всю ночь однажды ловил мышей. Как пела тогда душа и люди подпевали. Теперь всё оказалось провёрнутым на «коклеты». Попробует было Бенедикт вернуться к своей избе, но там труха сыплется и вообще не поймёшь, на каком ты свете. К прошлому уже не вернуться. «К Пушкину!» Гений, ссутулившись, стоял (как сам Бенедикт), очень за жизнь опечален. Пальцев шесть. На голове птица-блядуница расселась. Гадит. Это, пожалуй, и дало новый толчок: гадит, загадит, загадят всё. Раньше хоть от Оленьки мерцание шло, а теперь личико сметаной обмазано. Загадят всё, если, если… и тут его (именно рядом с Пушкиным) осенило: ну конечно, книга! И сразу представилась рабочая изба: склонённые над свитками головы, горящие свечи… Свет! Пусть вторичный, пусть отражённый, пусть только отсвет. Где же его взять, исходный-то, если всё так измельчало?! Книга = слово. Нет, само *слово* не сорвётся ещё у него с языка, оно только вынесено автором в заглавие как очередная буква азбуки, но оно теперь будет стоять у него за плечами наравне с кысью — и по возможности ограждать его от неё.

Бенедикт укрепился, утвердился. И когда тесть снова подступил к нему со своими вопросами, не пришли ли мысли неподходящие, Бенедикт впервые ответит: «Ага, пришли… Что вы за книгу совали давеча?» Правда, из объяснений тестя про путь народа к светлой жизни и про то, что человек человеку брат, он понял не так уж много. Но на один вопрос Бенедикт всё-таки получил ответ ясный: «—…А отчего… мышей нету?—Оттого… что у нас жизнь духовная. Нам мышь без надобности». Бенедикт и погрузился, окунулся, буквальным образом уткнулся в эту «духовную жизнь». В богатую кудеяровскую библиотеку. И даже поначалу сны стали сниться соответствующие—лёгкие. «Всё холмы зелёные да дорога… и будто бежит Бенедикт лёгкими ногами… И смеётся… Ждёт его кто-то и радуется, похвалить хочет: хороший Бенедикт, хороший…» А то приснится, будто летать умеет… Притом он как читатель не так уж походил на гоголевского Петрушку, многое чувствовал верно. Ну а Кудеяр Кудеярович старался руководить им на свой лад: «—Ты ещё «Гамлет» не читал?.. <…> «Муму» обязательно… «Колобок» тоже… <…> Как-к она его!.. Ам!.. <…> «Волк и ягнёнок»…—Да (скажет Бенедикт), жалко…—При чём тут!.. Это ж искусство!» От кудеяровских советов Бенедикт пока отстранялся, но «искусство» свою роль всё же сыграло: начал чувствовать себя Бенедикт этаким фертом. Как всегда, когда стоило ему подняться чуть повыше… «Богач—вот он кто! Сам себе мурза!.. Салтан!..» Велел гамак себе на галерее подвесить, навес—от блядуниц защита. Двух холопов—отгонять мошку, девку-качалку приставил… А осенью и в терем перебрался. Тут жизнь-то и показала ещё раз свой «хер», в один момент перечеркнула всё крест-накрест. А казалось бы—ничто не предвещало. Читал он «Северный вестник», и что-то с чтением не ладилось. Побежал за продолжением, а продолжения-то и не оказалось. Кончились книги! Новый удар был ещё крепче прошлых. Впрочем, сначала это Бенедикту пошло на пользу: увидел он за столом Оленьку, которую уже, кажется, перестал замечать. «Ты ли это?!.. Царица шемаханская…» На неделю этого хватило, не тот уже был Бенедикт, да и Оленька далека была от прежнего волшебного видения. Стало ему ещё хуже. Снова полезло, поползло что-то хвостатое, косматое. И нечем уже было заслониться. Жизни в доме Кудеяра Кудеяровича не было, а теперь не стало и Книги. Огляделся. Тишина. Только ножика мерный стук—мясо на пельмени рубят.

А за окном уже не едва заметный снежок, а вся природа шумит, сама себе жалуется: «Снега глухие, снега большие». И первое прорвавшееся зло: «Сердца в нём нет, в снегу-то, а если и есть, то злое оно, слепое…» Прорвалось на миг—и, как всегда, пошло: «Машет снег, манит—за окраину… в непролазные леса, там деревья попадали, мёртвые, белые, как человечья кость…» И дальше: «Ударит снегом в спину, опутает, повалит, вздёрнет на сук: задёргаешься, забьёшься, а она уже почуяла, кысь-то…» Бенедикт замотал головой, глаза зажмурил—стал стукаться о стену, чтобы свет блеснул… (Как когда-то с таким же наваждением боролся у Булгакова Мастер.) Но нечем ему было заслониться. Побежал вниз, так же как когда-то побежал вниз Мастер. Но Мастера тогда внизу, в дверях, встретила Маргарита. Да, опоздала, но всё-таки успела хоть что-то выхватить из огня. Бенедикт же на лестнице столкнулся с Кудеяром Кудеяровичем, который, конечно, учуял свою добычу. «Книги кончились! Тудыть!» (Впервые для Бенедикта книга окажется связанной с этим матерным «тудыть».) «Тудыть!»—отозвался тесть и в руку Бенедикту—крюк двуострый, швырнул балахон… Кысь одержала победу. «В распахнутые двери белые оладьи перепуганных лиц…» Первое его убийство. Первая вырванная и прижатая к сердцу книга—жизнь! «Живу!» Вот так всё перемешалось—добро и зло. Потом Бенедикт плакал, лёжа в постели и пытаясь за что-то ухватиться, оправдаться. Книгу только хотел отнять. Потому что народ тёмный—книги прячут, гноят. «Книга—сокровище несказанное, жизнь, дорога, расступается мрак… А в жизни той леса светлые, солнцем пронизанные…» Что же, окажись эта первая изъятая книга такой светлой, с птицей Паулин,—может быть, и по-другому бы всё сложилось, и устранил бы он со своего пути Кудеяра Кудеяровича. Но книгой этой оказались «Виндадоры»—про ту же нелепую, нелепую в квадрате, жизнь. А Кудеяр Кудеярович читал важно, нараспев, подчёркивая каждое слово: «Комар пищит, под ним дуб трещит…» И затрещал под Бенедиктом такой, казалось бы, крепкий дуб. «Куропаточка бычка родила… Поросёночек яичко снёс…» А тот, продолжая читать, одновременно вроде бы и утешал, и издевался, и всё более сбивал с толку. «Села баба на баран, поехала по горам»,—хвостатость проявила себя, можно сказать, в полную силу.

«У всех брали. У кого нашли, у кого нет». А тесть всё разжигает, всё подначивает—понял, чем можно взять запутавшегося Бенедикта: «—Сколько ж гадости в народе… Гноят, пачкают… закапывают. <…> дырки проковыривают…—Да, да. <…> Не травите душу! Слышать не могу!..»

«Бенедикт не выдерживал, бегал по комнате. В сердце—узел тесный, в душе—сумятица и кривизна…» Ну и: «Что бы ты вынес из горящего дома?» Ещё, мол, мучился когда-то, о кошке думал. Кошке—под зад, голубчики—прах, труха… Ты—книга… «О город, о ветер, о снежные бури! О бездна разорванной в клочья лазури!» Что ж, лазурь действительно разорвана в клочья, и всё снова кончается тестевым *зверинцем* (звучное «рцы»). Съедены соловьятки, пошла на суп древяница. Ну и венчающее всё: «Запрягайся! Пшо-о-ол! Галопом—и с песнями!» С места в карьер, разожжённый сумятицей, творившейся в сердце,—к Никите Ивановичу. За книгой! Конечно, в первую очередь в голове была книга, но отчасти уже—и за спасением. Впрочем, спасения-то особого от них—от «прежних»—прийти уже не могло. С намёка на это глава и начинается: «…Никита Иванович и… Лев Львович, из диссидентов… пили ржавь». И в избе у «прежних» чем-то попахивало. И все эти «головные» разговоры о славянофильстве, о факсе и ксероксе—тоже были из того же, «червивого», ряда. Да и Пушкин на этот раз гневный стоял: дикость, бельё на него вешают. Бенедикт скажет на это: «Да вы же сами хотели, Никита Иванович, чтобы народная тропа не зарастала». В простодушии скажет, безо всякой задней мысли, но всё-таки подсознательно начнёт уже в нём по отношению к «прежним» пробуждаться какая-то ирония. И вот насчёт этой «народной тропы», и насчёт собственной его «духовной» жизни за столом с Хавроньей во главе. И самый подарок, который он принесёт Никите Ивановичу, эти вот «Виндадоры», и того больше—другая книга, которую он предложит на обмен,—что-то вроде «Плетения женских жакетов»… Самому-то Бенедикту она «не очень нравилась», но «прежним»—кто их знает, может, и подойдёт. «Прежние», должно быть, тоже почувствовали тут иронию и в ответ пригласили в избу Тетерю. Ну и тот «выдал» так, что ничего не уцелело. И опешившие «прежние» сами вынуждены были связать его и выкинуть на снег. Бенедикт пришёл им на подмогу, а потом ещё и кляпом заткнул Тетере рот.

Да, помогать-то он—помогал, но на душе, видно, было нехорошо. «Вздымаются светлые мысли в растерзанном сердце моём, и падают светлые мысли, сожжённые тёмным огнём». В этом «тёмном огне» сгорела и Варвара Лукинична, а потом этот огонь доберётся и до Фёдора Кузьмича.

Он и начнётся, этот «тёмный огонь», это возможное «ша» всему, именно с Фёдора Кузьмича. Да и с кого же ещё начаться, как не с головы Набольшего Мурзы?! «Прежние» своими разговорами заложили для этого основу. Тетеря растравил, ну а там уже Кудеяр Кудеярович поспешит, как всегда, «на помощь». «Тёмный огонь»—самая его стихия. Вот начало разговора между ним и Бенедиктом: «—При Сергей Сергеиче порядок был…—А то!—отозвался тесть.—Больше трёх не собирались.—Ни в коем случае.—…Фёдор Кузьмич всех распустил…—Золотые слова!..—…Пушкин… выше Александрийского столпа… А Фёдор Кузьмич мне по колено…—Ну, ну!.. Думай дальше!.. Что тебе сердце подсказывает?..» Сердце, к счастью или к несчастью, Бенедикту пока ничего не подсказывало. А вот затуманенная «тёмным огнём» голова—да. Она и направила его к Варваре Лукиничне. Будут мысли о книге, и не просто о книге, а о Книге Бытия, в которой сказано, как жить. Она ему про чувства свои, а у него одна мысль: где она прячет книгу? Правда, вошёл он без крюка, но, как окажется, без крюка-то не совсем ловко вышло. Поскользнулся—и зашиб насмерть. Дальше—идола в руки, *Слово…* Вот здесь и толкнуло как следует. Ведь он давно уже—за всей сумятицей и смутой—не слышал по-настоящему Слова. Соединилось оно для него с «тудыть», с крюком—со всем этим «тёмным огнём». «Прежние», разъедаемые тем же самым, дать ему многого не могли. Даже Пушкин не мог помочь—такой же «гневный» стоял. А здесь впервые рядом с идолом—Слово. Вот и вступило в грудь. Зарыдал, затрясся, завыл… Матушку вспомнил, Анну Петровну, жизнь свою, птицу белую?.. Тут и услышал что-то, чего давно уже не слышал, да и не хотел слышать: мышь шуршит… «Жизни мышья беготня…» Впервые, кажется, начал доходить до него настоящий смысл этих строк, иначе бы вслед за этим не встало рядом: «Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим». Воспарил—нечего сказать—вместе с Тетерей, которого в избу Варвары Лукиничны сам же зазвал. Оттого при первых словах Тетери—как профанации Слова—размахнулся и бил, бил, бил, пока не онемела нога. Верно, смута в груди Бенедикта подошла к концу; «ща», возможно, и будет означать конец этой смуты. Дальше пойдут «еры»—разъедающие, но одновременно всё больше выводящие на какую-то дорогу, которая так часто представлялась Бенедикту. Всё больше начнёт проступать ясность. Пусть всё снова и спутается в какое-то мгновение—путь Бенедикта труден. Вот, пожалуй, истинное «хождение по мукам», вот когда по-настоящему отозвалось и сказалось то, что, может быть, было завещано ещё Дедом с его «Буратино». Вот когда Татьяна Толстая оказалась истинной внучкой своего Деда.

С этой проступающей ясности и начнётся его первое «ер», первая, может быть, «эра». Начнётся с отношения к Тетере, потому что именно Тетеря постепенно становится главным вдохновителем «тёмного огня», он уже будет во многом направлять и самого Кудеяра Кудеяровича. «Есть хорошее правило—скотину в дом не пускать. Собака в конуру не вернётся». Так и Тетеря. Побывал раз у людей—и пошло: Оленьке—комплимент, тёще—подсказать какой-нибудь кулинарный рецепт, от тестя—указание выслушать. Бенедикт ругался, топал ногами—нет, как же без Терентия Петровича. Кончилось тем, что отдал Оленьке—вместе с Терентием Петровичем—сани. И дальше: достался ему Иоаким—старец одышливый, после каждого шага: «О Господи, царица небесная!» Встреться ненароком Никита Иванович: «Не стыдно, Бенедикт, на старом человеке ездить?!»—позор несусветный!

А скоро и спать в другую горницу отправили. Отяжелел Бенедикт—больше от дум тяжёлых. Словно натолкали в душу ветоши, тряпья старого. С этой ветошью и брёл он, красный, грузный, мрачный, по торжищу, вдоль рядов, где малые мурзы разложили берестяные книжицы (это после «старопечатных»-то!). «—Где полный текст? (кричал на присевшего в испуге мурзу).—Бересты… не хватает…— Ма-алча-ать!!!»… «Поэзии—от силы на полторы мыши, а берут двенадцать. И здесь воровство». То же самое тряпьё, та же ветошь. Пробовал перечитывать прежнее, но и это ничего не дало. «К Пушкину!» Но и Пушкин стоял не лучше. «Сырая метель набросала вороха снега ему на сутулую голову, на согнутую руку», прижимающую к груди какое-то тряпьё,—как будто лазал он, как и Бенедикт, по чужим избам, набрал чужого добра. Впервые, может быть, начал понимать Бенедикт, что то, чем он жил,—чужое всё: бедное и, главное, чужое. Это будет ещё один шаг вперёд, и впервые пути их с Пушкиным как будто сойдутся. «Что, брат Пушкин, и ты, небось, тоже маялся, томился, гадал о прошлом, страшился будущего? Возносился выше Александрийского столпа. А пока возносился, пока искал белую птицу, главную книгу, не заглядывал ли к жене навозный Терентий Петрович?» Не за что Бенедикту было ухватиться, оттого и вырвется у него: «Ты, Пушкин, скажи! Как жить?»; «…кривоватый ты у меня» (и это уже начал понимать). Но «какие мы—таков и ты», и другого пока нету. «Так помогай!»

Что ж, как всегда после встречи с Пушкиным, чуть окреп Бенедикт и снова оказался у Никиты Ивановича. И разговор теперь наметился не такой, как раньше. Даже без подарка Бенедикт пришёл, да и «прежние», кажется, ржавь уже не пили. «Дайте книгу-то, в которой сказано, как жить!» И если бы последовал действительно серьёзный разговор… Но сами «прежние» были ли готовы к такому разговору? По отношению к ним у Бенедикта, пожалуй, уже не подспудная ирония, а какое-то противостояние. Он хорошо ответит прежде всего Льву Львовичу (из диссидентов), которому всё казалось здесь лопухом да крапивой. «Это дергун-трава»,—скажет Бенедикт. Какая, мол, разница? «Сунь руку—узнаешь!» И Никите Ивановичу он прямо уже противостанет с этим своим «Витей», отстаивая его право, наравне с Никитскими воротами, а может быть, и с Пушкиным, на такую же—равную—память. Думается, в тот момент он окажется ближе к Канту, чем сам Никита Иванович. И выведет их всех на общую песню. Кстати, любопытно, если не больше, что петь её начнёт, неожиданно для самого себя, именно толкующий о лопухах и крапиве Лев Львович: «Степь да степь кругом…» И как раз тогда начнётся эта песня, когда Бенедикт впервые выразит своё несогласие. «Степь да степь кругом…»—и на минуту отступит вся ветошь, и как будто сама природа поднимет голову. Оборвётся великая песня, оборвёт её, как и начал, Лев Львович на словах: «Что я в степи замёрз»,—останутся недоконченными строки о любви, о том, что «любовь свою он с собой унёс». (Потом Бенедикт всё-таки вернётся к ним, но они уже приобретут другое значение.) Оборвётся песня, ударится головой о стол Лев Львович, засуетится вокруг него Никита Иванович, испугавшись, замолчит Бенедикт. Оборвётся песня, погаснет только было начавший разгораться большой огонь. Кончатся на время его «эры», начнёт снова понемногу подбираться «ерь»—ересь, тёмная ересь.

Что ж, при погасшем огне трудно было ожидать чего-то иного. «Распёрло Оленьку вширь—краше некуда», недавнюю «царицу шемаханскую»… Ещё недавно он хотя бы топал ногами на пролазу Тетерю. А теперь стало всё равно. Только жила ещё какая-то мысль о книге. Вдруг на мгновение как будто повеет чем-то, пахнёт свежим ветром. А это—сигнал. Книга. И сразу спадает вся тяжесть. Книга начинает приобретать несвойственное ей прежде самодовлеющее значение. (От этой охоты за Книгой: «Врываемся, берём, спасаем»,—не так уж далеко до кыси: «Упиться, упиться, упиться».) Тут-то вдруг осенило: проверить Константина Леонтьевича. Не последнюю роль сыграл в этом и тесно связанный когда-то с Константином Леонтьевичем Шопенгауэр, книга его «Мир—как воля и представление». Шопенгауэра не оказалось. Константин Леонтьевич вдобавок, вопреки, кажется, своим убеждениям, полез в драку, стал хвататься руками за обоюдоострый крюк. Чего, по словам Бенедикта, делать уж совсем не следовало. Крюк-то недаром был обоюдоострый—вот и начал понемногу «заостряться» Бенедикт. Нет, убийства на этот раз не случилось, просто Константина Леонтьевича отправили на «лечение». Ну подумаешь, недосчитается его мурза на праздники! Кстати, «глаголь»-то, по Бенедикту, и был перевёрнутым крюком. Вот и начало всё перевёртываться—с ног на голову; «ерь» пошла, ересью отдавать стало. «В декабре Оленька окотилась тройкой…»

Так прямо и сказано: «окотилась». Один *вроде* мальчик, другая—тоже вроде девочка, а третье—вообще не разбери поймёшь. Взяли *его* на руки, а оно вырвалось, покатилось по полу и провалилось в щель. Ну и какая была первая мысль у Бенедикта после всего, что произошло? Конечно, книги: вылезет—поест, попортит книги. Шопенгауэр не сработал—зверюшка помогла. Начала, так сказать, прояснять. Только ясность-то была уже несколько иного рода, ясность, тронутая «ерью», ересью, еретическая ясность. И что отовсюду книгам опасность—и от людей, и от мышей, и что мышь и книга несовместимы, и что голубчикам из-за мышей книги держать нельзя, и уж совсем полупрезрительное: как будто им читать не дают—пусть читают на бересте! И даже нашлось объяснение и оправдание когтям, которые были у Кудеяра Кудеяровича и его семьи: для того, чтобы книги охранять, чтобы духовность от мышей сторожить. Ну и Пушкин снова пришёлся кстати: «„Жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня?“ А-а, брат Пушкин!.. Тоже своё сочинение от грызунов берёг!» Не правда ли, теперь это «брат» стало напоминать гоголевское, хлестаковское «с Пушкиным на дружеской ноге»? Та же «ерь», то же, по сути, ёрничество. И дальше—больше: оттого-то он, Пушкин, и ездил взад-вперёд по степи, чтобы спрятать книгу. И ямщика тоже понесло в степь из-за этого. «А любовь свою я с собой унёс». Какую любовь? Да книгу же. И Лев Львович тоже плакал из-за того, что спрятанную книгу найти не мог. Вот так всё и перевернулось для и внутри Бенедикта. И сама книга утратила своё недавнее значение. Это был уже не ответ на то, как жить, и даже не как спастись, а словно бы руководство для охоты. Что это они там всё пели «Степь да степь кругом»? Ну конечно, намекали Бенедикту, где книги искать. Степь—на юге, дальше—сторожевая башня, ещё дальше—Красный Терем Фёдора Кузьмича. Добрался наконец!

Впрочем, может быть, это было и необходимо: поддаться меньшему обману, чтобы потом противостоять другому. Главный толчок, повторю, дал крюк, то есть перевёрнутый «глаголь», перевёрнутое Слово. «Га-а»,—засмеялся Бенедикт. Радость брызнула хмельным квасом. «Радость, дочь иного края, дщерь, послушная богам». Да, строки, как всегда, зазвучали кстати. Только вот каким богам? Впрочем, скоро это станет ясно. «Вот сейчас мягко, мягко, неслышно и невидимо соскользнуть с башни, перенестись в вихре метели… Ползком и скачком… ближе, всё ближе к терему… И упиться, упиться, упиться буквами, словами, страницами, их сладким пыльным, острым, неповторимым запахом…» Не так ли и кысь хотела бы упиться кровью?! Это был, видно, пик превращения человека—на мгновенье—в саму кысь. «Ы-ы-ы»,—вырвалось у Бенедикта—что-то утробное, животное, похожее на рычание. И конечно, тут как тут оказался не спускающий с Бенедикта своих жёлтых, похожих на кысьи, глаз Кудеяр Кудеярович. «—Что, зятёк, созрел? <…> Дак как? <…> Сковырнуть тянет? …готов?—Я бы его своими руками…»

«Упиться, упиться, упиться»—вот что ему требуется. Недаром Кудеяр Кудеярович на какой-то миг даже почувствует родство с Бенедиктом и предложит ему клятву в вечной дружбе. А в припадке эйфории—и жену в придачу. Но у Бенедикта всё же хватит разума ответить: нет, не надо. «Нам нужен Кант в груди и мирное небо над головой…» Может быть, впервые кысь здесь столкнётся со своей противоположностью, впервые Кант противостанет ей. Да ещё главное для Бенедикта—всё-таки не Фёдор Кузьмич, а книги: «Книг там—что снега». Недаром Кудеяр Кудеярович сразу что-то учует и снова подтолкнёт Бенедикта: «А он (Фёдор Кузьмич) картинки дерёт».—«Молчите!»—«Не могу молчать! Искусство гибнет!» Это и поставило последнюю точку в решимости Бенедикта. «Чисто и ясно, льдисто было на душе. Без неврозов». Так Бенедикт вышел на свою букву «ять».

«Ять» очень тесно связана с «ерью»; можно сказать, «ять»—осуществлённая «ерь»: тоже три буквы, тот же знак в конце. И всё-таки «упиться, упиться, упиться» буквами, словами, страницами, их сладким, острым запахом Бенедикту не далось. Да и запах во дворце Фёдора Кузьмича был несколько иной—чуть-чуть «с плеснецой». И ещё у Бенедикта немножко ослабели ноги, как будто «шёл он на первое свидание с бабой». А после того, как поднимет Фёдора Кузьмича на крюк, он и вовсе почувствует изнеможение. Собственно, все обвинения Фёдору Кузьмичу—в неправедной власти, в плохом управлении государством—от Кудеяра Кудеяровича. И слова «тиран, изверг, ирод»—по сути, его же. Стихи, вспоминающиеся Бенедикту, выполняют лишь подсобную роль: «Всё ли спокойно в народе? Нет, император убит, кто-то о новой свободе на площадях говорит»; «На всех стихиях человек—тиран, предатель или узник». Может быть, он мог бы ещё остановиться, задуматься. Недаром нюхливый Кудеяр Кудеярович (раньше-то он чуял в Бенедикте добычу, теперь начинает чувствовать опасность) вырвет у него из рук книгу со словами: «Занимаешься чепухой. О государстве думать нужно. Пиши: начальником буду я. Титул: генеральный санитар. Жить—в Красном Тереме. На сто аршин—не подходи, сразу крюком, без разговоров». Что ж, так Кудеяр Кудеярович повернул Бенедикта на «государственную» стезю. Бенедикт и сам уже кое-что добавит к новым указам по собственному почину. Например, к слову «дозволяется»—насчёт «старопечатных» книг—можно ли их читать,—припишет: «Можно, но в меру». Подумает и вставит частицу «не», и вместо «дозволяется» выйдет «не дозволяется», а потом и вовсе перечеркнёт крест-накрест. «Отобрать все книги—и никаких разговоров!»

Теперь Бенедикт становится заместителем Кудеяра Кудеяровича по обороне и морским делам. Разумеется, и повёл себя соответственно, кое в чём перещеголяв самого Кудеяра Кудеяровича. Обнести городок забором в три ряда. Поверху забора—будки с дозором. Ежели кому в поле выйти (репу сеять)—получи пропуск. Ну а внутри забора ходи куда хочешь. Покой и воля. Так и Пушкин сочинил. Снова появляется Пушкин—и теперь уже в роли, некоторым образом, защитника нового, ещё большего обмана. И самого его требуется оборонить от народа: чтобы бельё не вешали — каменные цепи вокруг него на столбах расположить, над головой — козырёк от блядуниц, и холопов расставить. В списки о повинностях прополку народной тропы включить… Но и этого разошедшемуся Бенедикту покажется мало: «Пушкин же — наше всё. Ну а Бенедикт — тем более». Так выдолбить ладью, поставить у речки — и Пушкина на самый верх. С книгой в руках. Чтобы выше Александрийского столпа и с запасом! «Пущай стоит… ногами в цепях», но «головой в облаках, личиком к югу — к бескрайним степям, к дальним синим морям…» От последних слов, кажется, снова чуть-чуть повеяло свежим ветром — от степей, от морей, от прежнего Бенедикта. Недаром у него вырвется: «Пушкина моего я люблю просто до невозможности». И тотчас же ответит ему снова учуявший что-то Кудеяр Кудеярович: «Больше меня? Смотри у меня!»

Следующая буква азбуки начнётся уже с отворачивания, точнее — с отсаживания Бенедикта от Кудеяра Кудеяровича. «— Папа жалуются, что ты от него отсаживаешься, за столом-то (это Оленька)… — Пахнет от него, вот и отсаживаюсь. — …Чем же это тебе пахнет? — *Покойником…*» Конечно, здесь отчасти выказалась та самая «чванливость» Бенедикта: стоило ему подняться на ступеньку повыше… А он поднялся не на ступеньку, а стал, как сам скажет, вторым человеком в государстве. Указы подписывает. И всё-таки не это было главным. Повеяло свежим ветром от бескрайних степей, и сразу Бенедикт начал ощущать этот «покойницкий» запах — и от Кудеяра Кудеяровича, и от всех «государственных» дел. «Скушно». Правда, Бенедикт отвечал пока Оленьке рассеянно — занят был: сидя за просторным столом в светлой комнате Красного Терема, читал журнал «Коневодство». К коням у него был давний интерес, а теперь он и себя как бы на коне почувствовал. Читал не торопясь, уверенный, что теперь ему этих книг на весь век хватит. Читал, перемежая чтение сладкими пряниками. Но сами по себе просторный стол, светлая комната — не помогали ли они уже добираться до какого-то смысла? До чего прежде так и не добирался Бенедикт, то упиваясь словами и буквами, то ища указания, как жить… Да и самый выбор книг. Почитает из журнала, а потом «Одиссею», потом «Ямомоно» какое-то или «Переписку из двух углов»… Не выходил ли Бенедикт уже на какой-то простор? Не зря, наверное, чуть позже Тетеря обзовёт его «космополитом». Кудеяр Кудеярович не без причины снова забеспокоился. Ну а если прибавить сюда «покойника», да ещё связать с Никитой Ивановичем, главным хранителем огня, — вон он как огнём-то этим «хыкнул» — Фёдора Кузьмича тогда как ветром сдуло, да ещё раскопки разные делает: встанешь утром, а страна и провалимшись… У Кудеяра Кудеяровича были все основания принять так называемые противопожарные меры. И начал он с Никиты Ивановича, чтобы таким образом обезоружить Бенедикта, — тем более что всё больше был направляем так называемым Тетерей-саном, своим министром нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности. Перестановки, мол, задумал во властных структурах. Двигатель внутреннего сгорания хотим спроворить. Так вот, главного истопника извести желаю. Казнить как вредный пожароопасный элемент. Удар был сильным, особенно для слегка расслабившегося Бенедикта. Снова не дали ему добраться до какого-то смысла. Первый раз — там, во дворце, когда он держал в руках подборку стихов, сделанную Фёдором Кузьмичом: тогда вырвали из рук книгу. Теперь — куда сильнее, так что Бенедикт даже подумал, что ослышался. И первое, что вырвалось у него — после разъяснения Тетери, — это: «Не позволю казнить Никиту Ивановича». И получил новый удар: а тебя, мол, никто и не спрашивает. Твоё дело доставить. Тут-то на «космополита» из уст Тетери Бенедикт ответил: «От косматого слышу». Тогда Кудеяр Кудеярович и вырвал у него (второй раз) всё ещё находящееся в его руках «Коневодство» и шваркнул им об пол. А потом схватил Бенедикта за горло. Так они оказались лицом к лицу. «— …вы… вы — кысь (вырвалось у Бенедикта). — …Кысь-то — ты… (Тесть уже смеялся, смеялись и тёща, и Оленька.) <…> …ты в воду-то посмотрись». Что ж, в общем-то, это было не так уж далеко от истины. Кудеяр-то Кудеярович делал всё Бенедиктовыми руками, сам-то только путь освещал да лозунги подкидывал, вроде: «Искусство гибнет». Исполнял-то всё Бенедикт — и Фёдора Кузьмича ссаживал, и крюком ворочал, и, действуя по собственному усмотрению, превосходил порой даже самого Кудеяра. И птица Паулин им же окажется съеденной, и древяница на суп пущена. Впервые, кажется, Бенедикт встал лицом к лицу уже не с Кудеяром Кудеяровичем, а с самим собой. А от себя уйти куда труднее. И всякий раз, как только он попытается это сделать, его снова будет возвращать к одному и тому же. Для Бенедикта, собственно, это будет вопрос жизни и смерти. «Пройтись — продышаться… к реке, в лес и дальше по пояс в траве, где потаённая поляна и белая птица…»; «Ага, жди… — вытоптана поляна. Паулин провёрнута на коклеты…»; «Вспомни-ка…»; «Не хочу! Я сейчас домой, к книжечкам моим ненаглядным, где дороги… птицы с чистыми глазами…» И снова то же беспощадное: «Ах, зачем, Бенедикт, ты с мово белого тела коклеты ел?» Его уже начнёт рвать этими коклетами. И снова безрезультатная попытка укрыться — теперь уже за матушку: «Может, мне всё только кажется, может, я у себя в избе с лихорадкой, может, матушка надо мной склонилась… Я только книгу хотел, только Слово!» Вот и появилось оно снова—Слово! Прорвалось, как будто уже забытое, затёртое словами, буквами. И именно оно, думается, толкнуло Бенедикта на новый взрыв, посильнее прежних. «Всего вывернуло наизнанку—нет там ничего! Голодно мне! Му́ка мне!» И вот на самом дне вывернутой наизнанку, начавшей освобождаться от чуждого ей души что-то шевельнулось, впервые его собственное, и кто-то стал нашёптывать ему совсем иное, заставляющее понемногу поднимать голову. «Как же нет? А чем же говоришь, чем плачешь, какими словами боишься, какими кричишь во сне?.. Вот же оно, Слово, не узнал? Вот же оно корчится в тебе, рвётся вон… Это оно, это твоё…» И снова на помощь приходит соединяющийся с ним, может быть, ещё более прочно—Словом—Пушкин. И дальше целый каскад как будто обрушившегося прозрения и раскаяния: Пушкин—«навечно сплющенный заборами, по уши заросший укропом, Пушкин—обрубок, безногий, шестипалый… носом уткнувшийся в грудь—и головы не приподнять». И дальше—«Пушкин, рвущий с себя отравленную рубаху, верёвки, цепи». Он ведь уже признавал, что Пушкин вышел у него «кривоватым», но тогда он говорил: «Терпи, дитятко, какие мы, такой и ты, и большего взять неоткуда». Теперь уже другой Пушкин—с силой, как и сам Бенедикт, рвущий с себя верёвки и цепи. Потому-то Бенедикт и продолжает ставить свои вопросы, мешая их со строчками из книг, но это уже почти осмысленные строки—и всё об одном и том же: «Чего тебе надобно, старче?»; «Что ты жадно глядишь на дорогу?» И почти уже требование: «Отворите мне темницу!» И как бы уже предчувствие: «Иль мне в лоб шлагбаум влепит…»; «О снежные бури! О бездна разорванной в клочья лазури!.. Я с вами, я с вами!» Это однажды уже звучало, но тогда было упоение бездной, тогда разорвана в клочья была лазурь. Теперь впервые открывается для него что-то другое. Его «фита». «Весь мокрый, Бенедикт барабанил в двери Красного Терема». Нет, не для того, чтобы упиться Словом, и не для того, чтобы, как совсем недавно, спрятаться, укрыться за ним. Он рвался к открывающемуся ему смыслу, своей зарождающейся «фите». Он рвался, мокрый от пережитого и от ливня—беспощадного и очищающего, благодатного одновременно, рвался, зная, что ему никогда уже не откроют, что его не пустят—к Слову. У него уже дважды вырвали из рук что-то похожее на осознание, на смысл. Но теперь за ним стояло нечто, способное укрепить. Когда он брёл, полумёртвый, как до или после смерти, «туго и тепло дуло ветром Родины». И вот этот благодатный ливень, уносящий весь сор и мусор. Да и матушка, наверное, уже как-то его охраняла. А скоро за Бенедиктом будет стоять вся толпа. И Пушкин его, так же как и он, рвущий с себя цепи. Он рвался, повторю, зная, что ему не откроют, рвался, уже предчувствуя свой «шлагбаум». «Шлагбаум» ему влепили тут же. Распахнулось окно, и Оленька, выкрикнув матерное, вышвырнула вразлёт дюжину книг: «На, почитай!» Он грудью кинулся на их спасение. За этим у него вырвется: «Убить гадину!» Но окна распахивались одно за другим: Тетеря, Кудеяр Кудеярович, даже маленькие дети вышвыривали книги, «посылая несравненные экземпляры на смерть». Тогда Бенедикт понял: это выбор; мелькнула короткая мысль: «Ну-с, что спасёшь из горящего дома?» Мелькнула и исчезла, потому что он выбрал сразу. Дальше будут уже все последствия этого выбора. Его «ижица».

«Укроп весь выпололи—семо и овамо…» До сих пор Бенедикт, кажется, ещё так не выражался. Это невольно заставляет вспомнить ту последнюю подборку, которую готовил для себя свергнутый Фёдор Кузьмич: «…Востоком Ксеркса иль Христа?» Нет, до этого ещё далеко, если вообще когда-нибудь дойдёт, но выбор совершается. Итак, «укроп весь выпололи… Площадку расчистили». Теперь Пушкин (в ещё одном облике) стоял у всех на виду, обложенный хворостом и ржавью. И Бенедикт, сняв шапку и обнажив голову, также впервые, стоял теперь впереди толпы (скоро она подхватит его, унося от огня)—лицом к лицу и с Никитой Ивановичем, и с Пушкиным. Многие, писавшие о романе, утверждали как нечто само собой разумеющееся: Бенедикт совершил предательство, не пощадил, мол, даже своего учителя Никиту Ивановича. Что ж, из песни слов не выкинешь. Думаю, что можно говорить даже о тройном предательстве: ведь до Никиты Ивановича и Пушкина Бенедикт, по сути, предал Кудеяра Кудеяровича. Тот скажет ему об этом прямо в глаза: ты, мол, от меня морду воротишь, а ведь мы друг другу клятву в дружбе давали. Только надо, думается, добавить, что это предательство положило конец лицемерию Кудеяра Кудеяровича и вывело их обоих на прямую дорогу противостояния. Пушкин же стоял теперь, впервые освобождённый от укропа, блядуниц и прочего. Но было что-то ещё более важное. Сделай Бенедикт иной выбор, не предал ли бы он в таком случае самого себя, только-только зарождающуюся «фиту» свою? Это, думается, и укрепило Бенедикта. Ну а что касается Никиты Ивановича—что ж, настал, должно быть, и для него час ответа. Этот тяжёлый разговор будет продолжением того страшного разговора с самим собой, когда в муках нарождалась его «фита». Теперь Бенедикт, тоже впервые, объяснит Никите Ивановичу всё ясно и чётко, не сбиваясь, не путаясь, не замолкая в испуге. «Надо, Никита Иванович, искусство гибнет со страшной силой. Вам выпала честь принести жертву… Вы же всегда хотели сохранить прошлое в полном объёме, вот и покажите пример, как это делается…

Настал час ответа». Кроме того, ведь Никита Иванович, собственно, сам толкал Бенедикта к такому выбору. Когда-то Бенедикт хотел вынести из горящего дома прежде всего матушкино стуло, а Никита Иванович, чуть-чуть посмеиваясь, напомнил ему о книгах. Потом тот спор о «Вите» и о разных уровнях памяти. Теперь пришёл «час ответа». И Бенедикт укрепился духом, стал спокойнее, а это, как он сам скажет, уже признак зрелости. Вслед за этим он сделал такой же выбор и с Пушкиным. Никита Иванович соглашался гореть на столбе «Никитские ворота», т. е. на своей «фите». Возможно, он чувствовал, что с Пушкиным у него не всё ладно. Он смотрел на него снизу вверх, как на «наше всё»; он даже так и не решился обрубить ему лишний шестой палец. Кстати, он оказался привязанным к нему спиной к спине, в то время как Бенедикт стоял с ним лицом к лицу. Этим сожжением «семья» уничтожала, как они думали, самое для себя взрывоопасное — и Никиту Ивановича, и Пушкина, и сламливали осмелившегося противостоять им Бенедикта. И Бенедикт снова делает выбор: Пушкин или искусство? Искусство дороже, «искусство в полном объёме». Здесь общее предпочтено частному, здесь уже проступает какое-то осознание действительной цены искусства. Он ведь начал сознавать эту цену ещё тогда, когда мысленно представил Пушкина разъезжающим по глухой степи, чтобы спрятать своё сочинение от мышей. Ради этого же замерзал ямщик из песни. И плакал из-за того же Лев Львович, потеряв спрятанную книгу. Вот, значит, какова истинная цена искусства, если за него готовы заплатить даже жизнью. Но только теперь всё вставало впервые «в полном объёме» — и он выбрал искусство. Думаю, потом Бенедикт вернулся бы от общего к частному, к преданному, как принято считать, Пушкину и т. д. Однако в рамках романа Толстая лишает его этой возможности, лишает безжалостно, идя на последний, самый страшный «облом», ставя его уже прямо лицом к лицу с жизнью.

Бенедикт, собственно, и возвращался уже к своему Пушкину, прежде всего к нему, когда после катастрофы кое-как доволок себя до останков поэта. Заглянул в обугленные, размытые жаром былые черты. Но самое главное, что он здесь увидел, — то, что «дубельт — дерево крепкое». Как бы то ни было, Пушкин устоял. А Бенедикт, пожалуй, был сделан из того же дерева, недаром он тут же прибавит: «Сам выбирал». Возможно, потом он увидел бы Пушкина в ещё одном облике: обугленного, с прижатой к груди культёй — пальцы отпали, но культя, похоже, осталась, — прислушивающегося уже не к чему-то извне, не к тому, продолжает ли идти жизнь, каким хотел его сделать Никита Иванович, а к собственному сердцу: что там? Не любовь ли к чему-то? Не Кант ли в груди?

Никита Иванович стоял на дровах, ругаясь и понося весь свет: «Бензин! Бензин! Бензин! Сколько раз учить?!» Бенедикт же в это самое время думал, тоже в связи с бензином-«пинзином», но, кажется, о другом — о тайне огня, о которой прежде не хотел знать, о том, что вода с огнём никогда сойтись и слиться не смогут. Вот Кудеяр Кудеярович попробовал разжечь костёр под Никитой Ивановичем — сырые дрова не загорелись. А Тетеря со своим «пинзином» и вовсе всё поднял на воздух. Тайна огня — любовь, о которой не раз пытался говорить Бенедикту Никита Иванович, которого по-своему поддерживал и Лев Львович, — любовь ко всему живущему на земле. Без любви или ничего не сможешь зажечь, или всё уничтожишь. Бенедикт понемногу приближался к самому главному — к тайне любви. Он по-прежнему будет спрашивать Никиту Ивановича, где искать Книгу жизни, и тот будет по-прежнему говорить то, что уже твердил сотни раз: «Азбуку учи! <…> Без азбуки не прочтёшь!» Но похоже, что для Бенедикта азбука уже подходила к концу. Потому и отступил этот решающий ещё недавно вопрос на второе место, что подсознательно Бенедикт уже знал на него ответ — на то, как жить. Тут он и увидел бы ещё одного Пушкина, прислушивающегося к собственному сердцу, с Кантом в груди. Ну а «звёздное небо» открылось бы само собой и вернуло бы его и к собственному предательству, и к «новой свободе». Правда, это был бы долгий путь. Толстая же поставила Бенедикта перед необходимостью немедленного действия. Она вообще безжалостно «обламывает» своих героев: устоит, уцелеет — так тому и быть, нет — значит, нет.

«Облом» оказался действительно страшным. К жизни Бенедикт мог вернуться, как уже говорилось, через книги. Теперь книг не было. Неудивительно поэтому, что он упал в канаву, закрыл шапкой лицо, чтобы не видеть, не смотреть, как гибнет его последнее. «Сожжена моя степь, трава свалена — ни огня, ни звезды, ни пути…» Так. Но дальше уже другие строки: «И кого целовал — не моя вина, та, кому обещался, прости». Это было его первое «прости». Прощался он, конечно, с книгой, но за этим «прости» стояло и многое другое. Быть может, это было какое-то возвращение к жизни. И жизнь почувствовала это: что-то шевельнулось наверху. Снова на помощь Бенедикту приходит Пушкин. Сверху — с Пушкина — спускался Никита Иванович — конечно, дух его. «Кончена жизнь, Никита Иванович», — по инерции повторит не своим голосом Бенедикт. «Кончена — начнём другую», — ворчливо отзовётся старик. Другую, правда, придётся начинать уже не ему. Хотя сначала, сгоряча, он и попытается вернуться к тому же самому. «Лёвушка, подите сюда, — окликнет он Льва Львовича, здесь же разыскивающего что-то в траве, которой уже не было. — …Слушайте, Лёвушка, бросьте всё это. А давайте отрешимся, давайте воспарим». И они, взявшись за руки, начали подниматься в воздух. «Оба смеялись». А что они ещё могли сделать, когда для них действительно всё было кончено (разве что продолжится потом—Бенедиктом, если тот сумеет подняться)? Только смеяться да пытаться сохранить кое-какое достоинство. Впрочем, возможно, они и действительно радовались освобождению. Но Никита Иванович—надо отдать ему должное—всё-таки, отрешаясь, отрясая с ног прах и пепел, чуть-чуть сыпанёт этим пеплом в глаза Бенедикту, заставляя его очнуться и прийти в себя. «—Э-э-э, вы чего?!—крикнул Бенедикт, утираясь.—А ничего!..—Вы чего не сгорели-то?—А неохота!..—Так вы не умерли, что ли? А?.. Или умерли?..—А понимай как знаешь!..» Да, понимать теперь предстояло ему. И он понял—как знал, как чувствовал тот свой момент. «О миг безрадостный, безбольный! Взлетает дух, и нищ, и светел, и гонит ветер своевольный вослед ему остывший пепел». Дух—нищ и светел. Ну а ветру теперь свободно. Всё это относилось не только к отрешившимся и отряхнувшим прах земной «прежним», это было в равной мере и состояние самого Бенедикта. Какая-то надежда Толстой тут, как всегда, оставлена: «остывший пепел» ещё может постучаться в Бенедиктово сердце. Толстая, собственно, ставит его перед последним выбором: или замерзать, то есть умирать неминуемо, или добывать огонь. И речь идёт уже не только о самом Бенедикте. За ним стоят эти чёрные—без огня—избы, осиротевшие голубчики—из уцелевших, которые ещё недавно утянули его от огня, а чуть раньше—поставили впереди себя. И Никита Иванович—ещё живой—в свой последний миг всё-таки крикнул ему: «Поберегись!» Хватит ли у Бенедикта сил подняться на этот раз, хватит ли любви—потому что речь теперь могла быть только о запасе любви—чтобы вернуть и зажечь огонь? Что ж, «дубельт—дерево крепкое». И рядом с ним по-прежнему такой же обугленный Пушкин... Этот огонь, уже его, Бенедикта, собственный—до сих пор он пользовался чужим огнём,—может осветить всё. Это ничего, что больше книг,—память и сердце, освещённые огнём любви, могут вернуть их ему снова, вернуть всё. Здесь вся надежда на то, что, как кто-то выразился, операция «Бенедикт» будет продолжаться, что он не остановится, не затопчется на месте, как затоптался в своё время Иван Бездомный—но тогда время было против Ивана, теперь оно, думается, работает на Бенедикта. И в случае чего—ещё одним (очередным) мурзой он уже не станет.

Ну а кысь, скорее всего, уже не вернётся. К добру или к худу, но пик кыси пройден—по крайней мере, для Бенедикта. Толстая говорит и зовёт к взаимной любви, а не к взаимной ненависти, способной уничтожить всё. Поэтому после Бенедикта, после «Кыси», почувствовав, возможно, их недостаточность или недостаточную понятость, она собирает—из старых и новых своих рассказов—и бросает к нашим ногам «Реку Оккервиль». И снова звучит там ещё одна, но всё о том же, великая песня, оборванная вместе с Бенедиктом: «А любовь всё живёт в моём сердце больном...» Нет, герои «Реки Оккервиль» её уже не услышат и отозваться не смогут, но вот кто-то другой, у кого основа покрепче... Думаю, надежда у Толстой именно на это. Хотя последними своими книгами-сборниками она нередко её хоронит.

Виктория Момде

Бубен радости

Небесные дочери

В какие времена это было — никто не знает, в каком чуме поведали — никто не помнит.

На равнинных берегах речки, маутом извивающейся севернее озера Лабаз, стояло небольшое стойбище охотника Динтаде. Достаток то посещал его семью, то обходил стороной, словно дикий олень, почуявший становище человека. Ближние и дальние сородичи редко заезжали к скудному очагу Динтаде, где в одиноком чуме не слышались весёлые детские голоса. К себе его тоже никто не звал. Динтаде угнетало это; он понимал: чем больше детей, тем сильнее и богаче род, — но сделать ничего не мог. И каждый раз, принося жертвенного оленя Матери-земле, он с надеждой просил дать наследников его семье и подарить жене росток жизни.

Мать-земля видела, как трудно живётся Динтаде, как чтит он неписаные обычаи предков и строго соблюдает древние устои, как без сожаления отдаёт он первую добычу обездоленным семьям с прохудившимися нюками от пронизывающего северного ветра. В тёплые дни Кюси, жена Динтаде, кормит домашних идолов, обильно смазывая топлёным жиром, затем берёт на руки и, слегка покачиваясь, словно баюкая ребёнка, тихим жалостливым голосом поёт песню:

В этот мир пришла я женщиной,
помоги мне матерью стать,
дай к груди прижать ребёнка
и счастье материнства познать…

Однажды Динтаде ушёл на вечернюю рыбалку и долго не возвращался. У Кюси на душе было тревожно, и всю долгую ночь она, не смыкая глаз, прислушивалась к шороху тундровой ночи. Только ранним утром, со звонкими голосами перекликающихся птиц, измаявшаяся женщина заснула и сквозь обволакивающий сон услышала зовущий крик вернувшегося мужа. Сонная, она вскочила с мягкой тёплой постели из зимних оленьих шкур и, выбежав из чума, увидела мужа. Динтаде нёс большой, тяжёлый мешок с рыбой, а на каждом пальце другой руки висели большие рыбины — нельмы. Отряхнув сон с ресниц, довольная жена, радуясь богатому улову, с благодарностью смотрела на мужа; много жирной и вкусной юколы заготовит она и сможет угостить любого внезапного гостя. Но Динтаде не разделял с нею неожиданную радость: он знал, что, по старинным приметам ушедших предков, большой улов — не к добру. Удручённый мужчина думал о том, что неслучайно кормилица-река послала ему такой богатый улов. Что хочет сказать ему Мать-земля, и что им делать?

Наступивший солнечный день, лёгким ветерком заботливо отгонявший серые тучи комарья, благоприятствовал домашним заботам. Женщина потрошила рыбу, вываривала рыбий жир в маленьком хозяйственном чуме и заготавливала юколу. Динтаде очищал сеть от ила и чинил разорванную тяжёлым уловом снасть. Муж и жена, уставшие и довольные проделанной работой, вошли в закопчённый чум и замерли от удивления. На пушистых шкурах, подрыгивая лёгкими ножками, лежали четыре младенца. Счастливые Динтаде и Кюси сквозь слёзы радости и слова благодарности Матери-земле разглядели, что небеса послали им желанных дочерей.

Не ведая устали, не смыкая глаз от переполняющего счастья, напевая песню радости, Кюси шила тёплую одежду для маленьких дочерей, с любовью украшала парки яркими узорами и звенящими колокольчиками. Костяная иголка, доставшаяся от матери, стежок за стежком цепко выхватывала из памяти древние нетканые орнаменты.

Динтаде, никогда не делавший колыбелей для младенцев, за один лунный аргиш смастерил четыре люльки. На следующее утро, уложив в ветку[1] струганные колыбели, Динтаде отправился в соседнее стойбище к шаману рода Момде, чтобы поделиться радостью с сородичами, провести обряд благопожелания новорождённым детям и нанесения родовых знаков на люльки.

Долго раздумывали родители о том, какие имена дать дочерям. Динтаде сокрушался о том, как трудно выбрать имя для одного ребёнка, а тут — сразу четыре дочери. На радостях вспомнили женские имена всех родственников, но подобрать ничего не смогли. Ведь именами родственников, покинувших этот мир, новорождённых детей называть нельзя, чтобы не обеспокоить ушедших и не притянуть беду. Муж и жена решили выбрать имена позже: пусть девочки немного подрастут, и они увидят, чем те отличаются друг от друга.

---

[1] Ветка — лодка-долблёнка.

Сколько шагов сделали по тундровым тропам небесные гостьи, сколько лун прошло — никто не считал. Дочери Кюси, выкормленные оленьим молоком, росли крепкими и здоровыми. Девочек назвали красивыми и необычными именами. Первой дали имя Дөранаңку[2]: ведь девочка была доброй и чувствительной, слёзы радости или жалости тотчас наполняли её прозрачные глаза и скатывались крупными каплями, как утренняя роса. Вторую дочь назвали Сырэляңку[3]: девочка была гордой и молчаливой, а её чёрные глаза сверкали холодным ледяным блеском. Третья дочь была ласковая и тёплая, словно солнечный лучик, и имя подобрали ей Дизараңку[4]. Четвёртая девочка отличалась от своих сестёр снежной белизной. Девочка была нежная и хрупкая, словно снежинка, и назвали её Сирүзаңку[5]. С появлением детей в сиротливом чуме от звонкого щебетанья и девичьих хлопот стало веселее, а души Кюси и Динтаде согревали ласковые улыбки дочерей.

Много удачных промыслов принёс им идол охоты. Долгожданное везение не покидало стойбище Динтаде; слух о благополучии семьи звенящим комариным трезвоном разлетелся по всей вадеевской тундре. Немало семей аргишило поближе к чуму Динтаде; с каждым годом стойбище разрасталось, объединяя оленьи стада, и уже никто не проезжал мимо их жилища; всё чаще и чаще доносилось приближающееся перестукивание оленьих копыт, перезвон колокольчиков богатых упряжек и усиленное морозом дрожащее звучание хорея. Из ближних и дальних стойбищ заезжали скорые упряжки: многие семьи старались заглянуть на гостеприимный дымок к Динтаде и посмотреть на его растущих дочерей.

Большая семья жила в спокойствии и достатке. Дочери подрастали быстро и стали хорошими помощницами родителям. Дөранаңку встречала отца с рыбалки, а потом умело возилась с отливающей серебром рыбой, делая пружинистую юколу, поблёскивающую на солнце капающим рыбьим жиром.

Сырэляңку носила воду, заготавливала лёд. Красавица часто гуляла по берегу реки, смотрела на светлую луну, отражающуюся в водной глади, заглядывала в прозрачную холодную глубь реки и замирала, будто хотела слиться с быстрым водным потоком.

С первыми лучами солнца Дизараңку убегала за тундровые сопки и собирала густой ветвистый тальник для домашнего очага. Девушку притягивали яркие лепестки его пламени, и она подолгу смотрела на колдовскую силу огня, пытаясь предсказать будущее сестёр.

Сирүзаңку подрастала искусной мастерицей. Старательная девушка вместе с матерью украшала одежду яркими орнаментами, подшейным оленьим волосом, шила тонкой жильной нитью древние узоры.

Словно овод, слетающий на шкуру оленя для закладки потомства, съезжались юноши и вдовцы к манящему стойбищу Динтаде. Родственники молодых людей один за другим всячески ублажали старика, одаривая разными подарками. У хозяина большого семейства от богатых подношений заволокло седую голову густым осенним туманом. Всё чаще цепкие глаза Динтаде окутывала мутная пелена скупости: уже ни рыбьего хвоста, ни кусочка оленьих потрохов не отдавал он нуждающимся соседям — ему казалось, что люди, мягко касаясь лисьим хвостом, могут вцепиться острыми когтями в нажитое им добро, что каждый норовит обмануть его или перехитрить.

Днём и ночью тягостные думы одолевали скупого старика: всё рассчитывал он, как бы выгоднее отдать дочерей замуж. Ворчливый и подозрительный старик недремлющей оленегонной лайкой караулил своё жилище и следил за тем, чтобы никто из молодых людей без его ведома не заглядывался на девушек и не приходил к чуму в вечернее время.

Втайне от родных, строя в мечтах планы на будущее, Динтаде подбирал для себя будущих зятьёв. Первым желанным женихом был шаман рода Кокора. Вездесущему и влиятельному шаману шёл седьмой десяток. Сгорбленный старик с жилистым, худощавым смуглым лицом был похож на щуку. Шаман знал, что Динтаде боится его и не откажет ему в женитьбе на одной из своих дочерей.

Прожив долгое время в нужде, Динтаде благоволил к оленным семьям. Поэтому вторым женихом он видел единственного сына богатого оленевода Чору, у которого было многотысячное стадо оленей. Сыну шёл семнадцатый год. Некрасивый юноша был упитанным и неуклюжим, с толстыми влажными губами. Неповоротливый парень, развалившись, садился на нарты и полулёжа ездил в красивой оленьей упряжке, так как с трудом ходил по мшистым тундровым кочкам.

Лучезарную Дизараңку Динтаде пообещал отдать в жёны покорному и безмолвному охотнику, вдовцу Лапсака. Хоть и не имел Лапсака множества оленей, но был удачливым охотником, и, в надежде жениться на молодой девушке, он добывал для семьи Динтаде разнообразную дичь и рыбу. Жадный старик, не желая упускать покорного батрака, решил отдать одну из дочерей за него.

---

[2] Слезинка *(нганас.)*.

[3] Льдинка *(нганас.)*.

[4] Солнечный лучик *(нганас.)*.

[5] Снежинка *(нганас.)*.

Время шло, а расчётливый старик не хотел отказываться от подношений. Поэтому он решил подольше не выдавать замуж красавицу Сирүзаӈку, а глупых женихов — держать на невидимом крючке желаний.

Послушная и тихая Кюси видела, что Динтаде изменился, но не разделяла намерений упрямого мужа — ей было жаль любимых дочерей. Материнское сердце радовалось, когда молодые красивые парни заглядывались на девушек, а сами они украдкой от отца встречались со своими избранниками.

Тем временем выбранные отцом семейства женихи готовились к сватовству. Предвкушая долгожданные семейные празднества, старик повеселел, словно гусь на гнездовье: вытянув тощую шею, семенил он вперевалочку, оглядывая и оценивая своё разросшееся хозяйство.

Тихим летним вечером он известил названых дочерей о предстоящем замужестве. Ни просьбы жены отдать дочерей за молодых людей, избранных их любящими сердцами, ни слёзы девушек не тронули его непреклонную душу. С приближением поры сватовства старик совсем потерял покой; он запретил растерянным и опечаленным девушкам выходить из чума без надобности. Старик, не смыкая глаз, следил за тем, чтобы дочери с раннего утра до позднего вечера работали по хозяйству. Немало дней и ночей просидели в чуме сестрички, оплакивая свою несчастливую судьбу. Но ни отец, ни мать, занятые предсвадебной суматохой, не замечали их горьких слёз.

В один из светлых дней радостные родители решили оповестить девушек о приезде почтенного старика-шамана и о звоне предсвадебных колокольчиков, доносящих весть о приезде богатого оленевода Чору. Динтаде и Кюси вошли в чум и медленно сползли вниз, не удержавшись на ослабленных дрожащих ногах. Дочерей в чуме не было; лишь девичья одежда лежала на зимних оленьих шкурах. И тогда Динтаде понял, что дочери исчезли в одно мгновение, как и появились в его одиноком чуме. Обессиленный, он вспомнил о том давнем богатом улове и о чём предупреждала его Мать-земля. Несчастный старик, немощно тряся седой головой, взмолился к ней, горько каясь, что своими руками разрушил родовое древо. Однако Мать-земля была безучастна к мольбам Динтаде.

С тех пор небесных девушек никто не видел. Но люди говорят, что с каждой новой луной небесные дочери навещают родовое стойбище.

Крупными весенними каплями дождя напоминает о себе красавица Дөранаӈку. Дождевые капли дробным перестуком падают на чум, приглашая отворить жилище. И тогда сгорбленная несчастьем Кюси молча выходит из чума, собирает эти капли в ладошку и прижимает к своим высохшим от слёз бесцветным глазам.

Лучезарная Дизараӈку жарким солнечным лучиком проникает в чум, ласковым поцелуем прикасается к лицам престарелых родителей и ускользает в дымовое отверстие до следующего солнечного дня.

Лишь поздней осенью сияние снега и сверкание прозрачного льда вокруг напоминают обездоленным старикам о холодном, ледяном взгляде Сырэляӈку.

Морозной снежной зимой заботливая Сирүзаӈку бережно укутывает родной чум мягкими хлопьями снежинок, будто пытаясь согреть жилище покинутых матери и отца.

С тех давних пор у древнего народа нганасан говорят: «Никогда не бери у Матери-земли больше, чем тебе требуется».

Бубен радости

На тёмном небе одна за другой показывались звёзды. Светлая луна бежала впереди, освещая запоздалым путникам дорогу, веками проложенную древними тавгийцами. Проплывающие места были знакомы каюру оленного аргиша из преданий и рассказов детства, описанных сказителями — хранителями нганасанских традиций. Две оленьи упряжки, запряжённые быстроногими стремительными оленями, резво мчались домой. Первой упряжкой, прокладывающей колею, управлял глава семейства. На другой упряжке, след в след, ехала женщина с ребёнком.

Возвращаясь из шумного поселения, Бериме чувствовала изменившийся настрой оленей: утром, когда она ехала с мужем в посёлок за провизией, ей казалось, что олени не хотят отправляться в дальний путь, и приходилось погонять их длинным хореем, — но сейчас, уставшая от поездки, она даже не притрагивалась к ним: чем ближе к стойбищу, тем быстрее бежала запорошённая упряжка. Высоко подняв пышные ветвистые рога, олени будто летели над землёй, не чувствуя тяжести гружёных нарт. Колючие комочки снега, вылетающие из-под мелькающих копыт, попадали в лицо женщине. Бериме не отворачивала зарумянившегося лица; в её груди трепетал нежный бубен радости. Она любила возвращаться в родное стойбище, где в тёплом уютном чуме её душа успокаивалась, сливаясь с тихим течением древних нганасанских устоев жизни.

Сидеть на нартах было неудобно и тесно. Молодая женщина ждала рождения третьего ребёнка. Сзади сидела младшая дочь, похожая на нахохлившегося птенца в зыбком гнезде полярной совы. Хатаби шёл пятый год. Она была хорошо укутана и привязана к нарте так, чтобы не выпасть. Всю дорогу она баюкала куклу, напевая на ходу сочинённые ею песни.

Сайборе, муж Бериме, ехавший впереди, уже ожидал их на последней остановке перед стойбищем. Он подошёл, очистил оленям ноздри от инея и копыта от заледеневших снежных наростов. Осмотрев полозья и поправив звенящую упряжь, Сайборе ласково посмотрел на жену и маленькую дочь, спросил, всё ли в порядке. Закуривая трубку, он сказал: «Погода начинает меняться, будет пурга, надо торопиться». Маленькая Хатаби попросила мать не завязывать её. Женщина согласилась, так как до стойбища оставалось всего одно кэрыгэли[6]. Олени, чувствуя приближение жилья, всё убыстряли ход. Бериме оглянулась и сквозь занавесь снежных хлопьев посмотрела на засыпающую дочь. Девочка, прикрывая глаза с отяжелевшими от снежинок ресницами, пробормотала: «Буду спать!»

Бездонная темнота полярной ночи, бескрайние снежные дали пугали женщину своим холодным безмолвием. В такие минуты она чувствовала себя беспомощной и беззащитной. И чтобы не прогневить беспокойными думами дух Матери-земли, молодая женщина пела под однозвучный скрип полозьев собственную песню о своей жизни. Пела она о замужестве: как сосватали её по старинному обряду, как не сразу полюбила она мужа, а только после рождения сына-первенца, как благодарна она мужу за любовь и заботу о ней и детях. Песня была то весёлой, то грустной.

Вот и стойбище. Слышен заливистый лай оленегонных собак. Балков не видно, безудержная пурга словно пустилась в пляс, кружась и ускоряя ритм. В ней слышались то долгие крики гагары, то резкие гортанные возгласы медвежьего танца—то приближаясь, то удаляясь, то затихая, то оглушая звуками.

Подъезжая к стойбищу, Бериме увидела, что муж уже распряг оленей и зашёл в балок. На миг она представила себе жар печи внутри балка, смолистый дымок потрескивающих поленьев и аромат закипающего чая. Женщина остановила уставших оленей, привязала уздечку к копылью[7], посмотрела на свою нарту и остолбенела от ужаса: её нарты были пусты.

Весть о потере девочки напугала сородичей. Но паники не было. Несчастных случаев потери людей в тундре бывало у оленеводов немало: сколько пастухов погубила ненасытная пурга, об этом поминают нечасто… Вскоре четыре упряжки выехали на поиски девочки, мгновенно исчезнув за снежной пеленой. В стойбище до утра никто не спал: прислушивались к завыванию ветра и ждали возвращения мужчин.

Вслушиваясь в надрывные стенания старухи-пурги и в нарастающий беспокойный стук бубна в груди, Бериме без устали мысленно обращалась к Матери-земле с мольбой, стараясь утешить себя лишь тем, что в тёплой меховой одежде дочери не страшны ни пурга, ни мороз.

Чуткие тундровые собаки лаем возвестили о возвращении долгожданных упряжек. Однако удручённые неудачей мужчины сообщили, что найти ребёнка невозможно, так как не видно даже упряжных оленей и кончика хорея.

Рано утром на следующий день по рации вышли на связь с посёлком. На поиски отправились снегоходы и совхозный вездеход. Незваных гостей тундра встречала безмолвным равнодушием. Старуха-пурга окутала землю пушистым песцовым покрывалом и, успокоившись, задремала…

Хатаби сидела в воздушном сугробе, словно на мягкой большой перине. Беленький её сокуй[8] сливался со снегом, и заметить её даже днём в ясную погоду было бы трудно. Меховая одежда сковывала движения девочки, и без твёрдой опоры она не могла самостоятельно подняться. Девочка заботливо прижимала к себе любимую куклу, успокаивала её и говорила, что папа и мама найдут их в снежном чумике. Выспавшись, она играла с куклой, а затем опять засыпала.

Вдруг Хатаби услышала грохот и сильно испугалась. Яркая вспышка фар осветила сонное лицо девочки. Чьи-то руки вытащили её из снежного домика и передали счастливому отцу. Малышка, увидев отца, громко расплакалась. Но, к её большому удивлению, все люди вокруг почему-то радовались и смеялись.

---

[6] 5–6 км, расстояние от одной остановки до другой *(нганас.)*.

[7] Копылье—жерди для привязи домашних животных.

[8] Верхняя меховая одежда *(нганас.)*.

Юрий Гладышев

Конец света

Голубая кровь

Мой дед пропал без вести в сорок втором году. Недавно, пытаясь хоть что-нибудь узнать о его судьбе через Интернет, запуская свою фамилию в различные сайты, я совершенно случайно наткнулся на интересный факт.

Оказывается, моя фамилия не «простая», а дворянская. Родоначальником фамилии является сын боярский, в семнадцатом веке воевода Оренбургской и Уфимской губернии.

Я заинтересовался, начал теперь уже целенаправленно раскапывать «свои» корни. Раскопал немного: один из моих вероятных предков, поручик Оренбургского драгунского полка, был путешественником-первопроходцем, другой — действительным статским советником, помещик Гладышев упоминается Пушкиным в его конспектах по истории Пугачёвского бунта. Ещё узнал, что захирел род в конце девятнадцатого века, купчишки разорили, в духе «Вишнёвого сада».

Скажу больше: и бабушкина девичья фамилия оказалась дворянской.

Ну как тут не возгордиться? Оказывается и мы не пальцем деланы, не графья, конечно, но из «благородиев». Пора в дворянское собрание записываться; кстати, там уже сидят две дамы с такой же фамилией. А может, совпадение — мало ли однофамильцев, — и я отпрыск другого рода — холопьева? Дед-то мой из детдомовских был, родословную свою, возможно, не знал, а возможно, умалчивал — не те времена были, чтобы происхождением непролетарским хвалиться.

Ну, как бы то ни было, погордился я пару дней, поделился новостью кое с кем. Сын воспринял это известие равнодушно, молодёжь больше интересует настоящее, чем прошлое. Подруга жены сказала, что она всегда подозревала, что я какой-то не такой. После этих слов моя эйфория как-то сама собой прошла.

И действительно, подумал я, сословно сдвинутых в наше время и без меня хватает. Одни только казаки чего стоят. Насколько я знаю, в России в начале двадцатого века насчитывалось двенадцать казачьих войск. Каждое войско занимало определённую область — как правило, на окраинах империи, так как основной задачей казачества была охрана границ. Сейчас в Российской Федерации больше восьмидесяти субъектов, но в каждой области, в каждом крае появились свои казаки. Допустим, что все они потомки донских, кубанских, оренбургских, забайкальских, амурских и других казаков. Но зачем же рядиться в военную форму начала прошлого века? Или они действительно считают, что если бы не произошло того, что произошло, и казачество не прекращало своего существования, то они бы до сих пор бряцали бы шашками и ездили на конях? И ещё посмотришь: что ни казак, то в офицерском чине, казачий хор выступает — сплошь сотники да есаулы, а крестов на груди сколько! Интересно, в каких таких баталиях современные Гришки Мелеховы Егориев нахватали?

Казалось бы, за годы советской власти сравняли всех, реально оставив только два класса: народ и номенклатуру. Купечество ликвидировали в два этапа; крупных, заметных воротил — в ходе Гражданской войны; тех, кто помельче, выявив с помощью нэпа, — попозже.

Часть дворянства погибла, сражаясь в рядах белой армии, часть перебила чк, остальные скрылись за границей.

Но вот грянули девяностые — и, откуда ни возьмись, как тараканы из всех щелей, повылазили «потомки» аристократов. Причём не из-за границы, а свои, постсоветские. Откуда они взялись? В каком подполье семьдесят лет сидели? За какими станками и стогами прятались?

Мало того, в России появились новые дворяне, аж пятнадцать тысяч. Например, барыней стала Ксения Собчак, «его сиятельством» — депутат Митрофанов. «Облагородились» многие «звёзды» и «звездуны». Пугачёва оказалась графиней. Бедный Емелька, наверное, в гробу перевернулся.

В те же девяностые некоторыми потомками Салтычих и Троекуровых поднимался вопрос о возвращении некогда утерянных имений. Не получилось. На всех деревенек не хватает. Мало их осталось в современной России, да и те в убогом состоянии. А может, попробовать? С фермерами не получилось, так, может, новоиспечённые попсовые помещики поднимут сельское хозяйство? Проведём ещё один эксперимент с деревней — одним больше, одним меньше.

И всё-таки почему всех этих людей так тянет примерить на себя кафтан столбового дворянина? На дворе-то двадцать первый век, феодализм далеко в прошлом. А дворянин, как ни крути, прежде всего — феодал.

Может, дворяне действительно сделаны из другого теста? И кровь у них голубая? Да нет, из тех же ворот, что и весь народ. А кровь у них алая, как у других-прочих. Это ещё в Гражданскую красными проверено.

Говорят, они честь блюли, на дуэлях дрались. Так и мужик деревенский, ежели его обидеть, за дрын хватается. Дрын, конечно, не шпага, но суть ведь не в этом.

Ещё, говорят, образованные они были. Тоже спорный вопрос.

В допетровской Руси барину грамоту учить совсем даже не обязательно было. А писари да дьяки для чего? Это уже потом государевыми указами дворян учиться заставляли. Учились кто лучше, кто хуже, и Митрофанушек хватало, — в общем, всё как у «простых» людей. Тем, кто считает, что дворяне были сплошь образованным и культурным сословием, — совет: читайте Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Салтыкова-Щедрина.

Ну а закончили «их благородия» совсем уж неблагородно. Сдали сюзерена своего, тем самым разрушив феодальную лестницу, частью которой являлись, и под обломками этой лестницы и погибли как класс. Ведь ни один лейб-гвардии Его Величества полк не выполнил свой прямой долг в феврале-марте семнадцатого, не выступил на защиту монархии. А ведь присягу давали на верность царю. В гвардейских частях служили не абы кто, а отпрыски древних родов дворянских. Что уж говорить о прочих худородных. Русское дворянство как класс исчезло во втором десятилетии прошлого века. Отпало за ненадобностью, как когда-то отвалился хвост у человека. А потому попытка прилепить этот атавизм обратно выглядит нелепо и смешно. Да и мало чести, играя в эти сословные условности, вдруг оказаться потомком, например, дворянина Иудушки Головлёва.

Я ворона, я ворона… только белая

Человек я немодный. Ну не люблю, чтобы как все. Вот сейчас модно вставлять где надо и не надо «на самом деле», «как бы», «да, то есть», «если честно», как будто говорящий врал-врал, а потом вдруг решил сказать правду. Сейчас так говорят все, от теле- и радиоведущих до пэтэушниц. Модно, прикольно, круто. А я не хочу. Ну не хочу я носить джинсы с мотнёй у колен или стричься наголо. Мне, конечно, стыдно, но я не знаю, кто такая Семенович, не помню имени и чем она прославилась — и почему-то знать не хочу.

Я никогда не занимался сексом с топ-моделью, ну, из тех, что топают туда-обратно строевым шагом по помосту. И не хочу; многих хочу — а вот таких не хочу, потому что велосипеды меня не возбуждают.

И ещё меня тошнит от ТНТ. Щёлкаешь пультом, бац — и вляпался в ТНТ, а там «Дом-2», мальчик с петушком на голове и девочка — современная Эллочка-людоедка: «как бы, то есть, на самом деле».

Я как-то попробовал понять, о чём они говорят: честно минуты три пробовал, больше не выдержал, так и «не въехав в их базар», переключил.

Я почему-то не хочу жить в Америке. У меня нет желания «стучать» на соседа, я не хочу, чтобы мой ребёнок «стучал» на меня из-за того, что я его поставил в угол. Я хочу, приходя в гости или приглашая гостей, садиться за хорошо накрытый стол, а не жевать дозированные бутерброды. Говорят, что семьдесят с чем-то процентов россиян хотят уехать туда. Интересно получается: ты не хочешь жить в своём доме, у тебя в доме бардак, грязь, тараканы ползают, ты хочешь жить у соседа, потому что у него убрано и тараканов нет. Всё пивное поколение желает жить в цивилизованной стране, но при этом почему-то регулярно писает в подъездах.

Кстати, о пиве: откуда взялась эта пивная мода? Да, пиво пили всегда, но кто пил? Мужики за тридцать и старше. Сейчас же пиво стало молодёжным напитком. Ещё лет пятнадцать назад и представить было нельзя юную девицу стоящей с кружкой у бочки с пивом, по нынешним же временам променад барышень по улицам с бутылкой в руке стал нормой. Модно, прикольно, круто: «Пиво «Клинское» для продвинутой молодёжи!» Взрослые мужики пиво пить стали меньше: нет, не потому, что они не такие продвинутые, просто пиво стало сладким; не знаю, что уж туда добавляют, но тинэйджерам нравится. Если вы видели хотя бы десяток американских фильмов, то вам, конечно, знакома такая сцена: крутой американский парень, в очередной раз уволенный со службы в полиции, перед тем как идти спасать мир, лакает прямо из бутылки цветное пойло — очевидно, виски. Обычно одной бутылкой герой не успокаивается. В другом фильме то же самое делает девица, находящаяся в расстроенных чувствах из-за несчастной любви. Круто. Я как бы, типа, тоже так хочу. Но вискарь дороговат для молодёжи, пить водку из горла проблематично, бормотуху — отстойно, а вот пиво — в самый раз: дёшево, и выпить можно много.

Как-то на рынке я стал свидетелем такого диалога: «Женщина, возьмите вот эти босоножки». — «Но они же страшные». — «Зато модные». Железный аргумент, не правда ли? Сейчас модно носить джинсы на бёдрах — на бёдрах до такой степени, что виден попный разрез сзади и поллобка впереди. Ещё куда ни шло, если с фигурой всё нормально, но ведь модными хотят быть все; смотришь на выставленный напоказ висящий голый живот, на брыла по бокам и думаешь: «Ты, овца, в зеркало смотрелась?» Не хотелось бы никого оскорблять, но сравнение напрашивается само собой: овца — самое глупое домашнее животное, она всегда идёт туда, куда ветер дует. Помню из детства: деревенское стадо попало под ураганный ветер, коровы, телята остались на месте, а овцы пошли по ветру, в озеро, и утонули все до одной. Вот до чего может довести стадное чувство.

А ещё я сделаю страшное признание: я не ругаю советскую власть. Вот уже двадцать лет принято её ругать, модно, даже если она не сделала тебе ничего плохого. Нет, я не член КПРФ, просто действительно советская власть, социалистический строй никак меня не обидели. У меня было нормальное детство, я не голодал, не мёрз, и игрушки у меня были не деревянные. Учился я бесплатно, был уверен, что у меня будет работа, я не сомневался в том, что у меня будет своя квартира, не сразу, конечно, но обязательно будет. Да, гласности не было. Но у меня не возникало желания выйти на площадь и крикнуть, что генсек — старый маразматик. Зачем? Об этом и так все знали. Он никого не трогал, и его никто не трогал, и глупых реформ не придумывал, и парады, несмотря на возраст, принимал стоя. Сейчас на площади можно кричать что угодно, но опять же — зачем? Что это изменит? Весь пар уйдёт в свисток.

Многие боятся выглядеть немодными. Надо одеваться как все, надо говорить как все, надо иметь соответствующую моменту точку зрения. Иначе прослывёшь белой вороной, и тебя заклюют.

Конец света

Репортаж с места происшествия

Неотвратимо приближается конец света. Скоро счёт пойдёт на месяцы. Каким он будет? Как это произойдёт? Версий много. Ну например.

Где-то на окраинах Солнечной системы шастает планета Нибиру, она же Немезида, она же Полынь, она же планета X. Говорят, она очень большая, больше Юпитера.

Траектория движения у этой Нибиру непредсказуема, постоянной орбиты нет. Однако с завидным постоянством, раз в три тысячи шестьсот лет этот гигант залетает в Солнечную систему и наводит здесь свои порядки. Гибель жизни на Марсе — результат визита Нибиру, и Всемирный потоп, случившийся на Земле тринадцать тысяч лет назад, тоже произошёл не без её участия.

А ещё, говорят, на одной орбите с нашей Землёй существует ещё одна планета, которая за Солнцем прячется. Названий у неё тоже немало: Глория, Антиземля и снова Нибиру. Так вот, в результате солнечного шторма, который намечается в 2012 году, эта Антиземля может сойти с орбиты и встретиться с Землёй.

В общем, вариантов конца света множество, один веселей другого.

Это и вулкан под национальным парком Йеллоустон в США, и ледниковый период, который случится в результате глобального потепления — Гольфстрим остынет из-за активного таяния антарктических льдов, ну и т. д. Опять же, в 2012 году, как назло, заканчиваются все древние календари — египетские, различные индейские и прочие.

Короче, как ни крути, кирдык человечеству придёт в любом случае.

Вопрос только в том, как это случится. Вы лично какой вариант предпочитаете? Как это никакой? Вам даже представить страшно? А вы представьте, вы же люди пишущие — писатели, поэты. Следовательно, с воображением у вас всё нормально, фантазии хоть отбавляй. Как там говорил один персонаж из «Семнадцати мгновений весны»: «Умирать только поодиночке страшно, а всем вместе, скопом, ничего, даже пошутить можно». Когда-то, лет в тринадцать, мне приснился сон, в котором я видел, как над Землёй нависла планета, занимавшая примерно треть небосвода. Кто знает, а вдруг сон был вещим? Может, так и будет, а может, не так. Это уже не столь важно.

Мне интересно другое — люди. Как поведут себя люди, когда поймут неизбежность конца? Вот что интересно.

Американская киноиндустрия, зацикленная на всемирных катастрофах, особенно не заморачивается над разнообразием сюжетов. Катастрофы разные, а сценарий один. Главные действующие лица тоже одни и те же: это президент США, герой-одиночка, семья героя и массовка. Президент — мудр, герой — храбр и сообразителен, семья героя: «Я люблю тебя». — «Я тоже люблю тебя». Ну а что касается массовки, её задача — бегать, кричать, гибнуть под обломками, которые сыплются мимо героя, а в конце фильма бурно аплодировать спасителю планеты.

В общем, всё довольно примитивно и предсказуемо. И главное, в голливудских фильмах-катастрофах непонятно, что будет происходить с семимиллиардным населением Земли в момент глобальной опасности. Как будет выглядеть человечество в свои последние дни и часы? Попробуем восполнить этот пробел.

Итак, некая планета X идёт на сближение с Землёй. Первыми столь грустный факт замечают астрономы и докладывают властям. Власти, естественно, информацию засекречивают. Но она через СМИ, Интернет просачивается в народ. Поднимается небольшой шум, кто-то верит, кто-то не верит, тем более что сверху опровергают «слухи». Правительства лихорадочно ищут пути спасения человечества. Не находят. Начинают обдумывать способы собственного спасения. Ничего придумать не могут. Столкновение двух планет — это вам не потоп «2012», на ковчегах для избранных не спасёшься. Космические корабли есть, да какой с них толк? — допотопные, далеко не улетишь. Да и куда лететь?

Правительства впадают в ступор. А тем временем планета X всё отчётливей проявляется на небосводе. Сначала она величиной с копейку, затем с пятак, и вот уже на небе две луны. Очевидное становится весьма вероятным. Лидеры государств уже вынуждены выступить с обращениями к народу, из которых следует, что правительства бессильны перед надвигающейся катастрофой, остаётся только молиться и уповать на Господа, на Аллаха, на Будду и т. д. Человечество на некоторое время в ужасе замирает. Затем начинается паника. Появляются первые сумасшедшие: они ходят по улицам, задрав голову, смотрят на небо и хохочут. Толпы верующих заполняют храмы. Но церкви, мечети и синагоги не могут вместить всех желающих замолить грехи, их слишком много.

Однако далеко не все испытывают потребность в покаянии. Люди начинают громить магазины, рестораны, склады, особой популярностью пользуются спиртное, наркотики. То тут, то там вспыхивают массовые драки, дерутся ожесточённо, до смерти.

На месте побоищ остаются лежать убитые и раненые. Человеческая жизнь быстро обесценится. Всё равно все умрём. Никто не пытается навести порядок. Зачем? Всё равно все умрём. На дорогах хаос, никаких правил никто не соблюдает, машины бьются, образуются заторы из изуродованных автомобилей. Пострадавшим никто помощь не оказывает. Зачем? Всё равно все умрём. Ночью никто не спит, города освещают многочисленные пожары. Крики не смолкают ни на минуту. Кричат пьяные, кричат дерущиеся, кричат насилуемые. Звучат выстрелы, звенит стекло, бьют окна, бьют витрины. Никто никого не стыдится, представители обоих полов оправляются там, где приспичит, совокупляются на виду у всех. Какой стыд? Зачем? Всё равно все умрём. А планета X неумолимо приближается, её уже видно днём. Размером уже с чайное блюдце, этот страшный пришелец из космоса сводит с ума миллиарды обречённых. Многие, очень многие не выдерживают томительного ожидания конца. Самоубийства становятся обыденным делом. Иногда уходят из жизни целыми семьями. Живые начинают завидовать мёртвым.

Проходит несколько дней. Во многих городах и даже странах отключаются электроэнергия, отопление, пропадает связь. Ядерные и химические объекты никто не обслуживает. Начинаются техногенные катастрофы. Люди гибнут от радиации, от утечки вредных веществ. В некоторых местах возникает проблема с питьевой водой.

Миллионные массы людей приходят в движение. Но вряд ли их встретят с распростёртыми объятиями в уцелевших городах. За воду, за продукты, за чистый воздух завязываются целые сражения.

Ну как вам картинка? Читать не страшно? Это вам не голливудская лакированная страшилка. И это ещё не всё, что может случиться… Но остальное сами додумаете.

А я, извините, устал.

Хеппи-энд.

Хотя какой, к лешему, в этой истории может быть хеппи-энд, то есть, говоря по-русски, счастливый конец?

Ну допустим: «Прошло некоторое время, и люди стали замечать, что планета X медленно уменьшается, больше того — её положение на небосводе стало меняться.

Вскоре астрономы подтвердили: планета X пройдёт мимо, не причинив вреда Земле и её обитателям.

А спустя год будет опубликован отчёт ООН «О событиях в период с 00.12.2012 г. по 00.01.2013 г.». В этом документе будут подведены итоги несостоявшегося конца света: «Человеческие безвозвратные потери в этот период составили 112 435 065 человек. Причиной тому явились массовые беспорядки, локальные конфликты, техногенные катастрофы, алкогольное и наркотическое отравление, дорожно-транспортные происшествия и другое. Мировой экономике нанесён ущерб на сумму 112 триллионов долларов. В результате аварий на ядерных и химических объектах 1,8% территории планеты стали опасны для проживания».

Вот такая получилась сказка на ночь. В общем, мораль этого ненаучно-фантастического бреда такова: если когда-нибудь такое случится, то это и будет тот самый Момент Истины. Маски будут сброшены, и каждый человек покажет своё лицо. Человечество узнает о себе много нового. Знатность рода, чины, положение в обществе, богатство не будут иметь значения. Вся эта шелуха, которую человечество лепило на себя веками, осыплется. Монархи и простолюдины, президенты и сантехники, олигархи и бомжи — все перед неизбежностью всеобщего конца станут просто людьми, ничтожными рабами Божьими, голенькими, беззащитными, с выставленными на всеобщее обозрение душами. И всё тайное станет явным.

> «Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе» *(Апостол Павел)*.

Кирилл Анкудинов

Улицы разбитых фонарей

Сегодня я хочу поговорить об одном очень интересном пласте современной культуры.

О нём редко пишут критики и литературоведы. Он вообще слабо освещён. Ему трудно подобрать точное название.

Что это за культура? Оккультная? Не то. Богемная? Тоже не то. Городская? Не обязательно городская…

Сегодня нас ждут мрачные улицы разбитых фонарей рационализма. На этих глухих улицах так легко встретить бомжа или падшую деву, маньяка или сектанта, наркомана или шамана, а ещё—колдуна, ведьму, волколака, лярву, астральную сущность, ангела-хранителя, мелкого демона, говорящего мертворождённого младенца, адского пса, а то и вовсе двуногую категорию философии Платона, воплощённый эйдос. Здесь проявляют паранормальные свойства, делают кукол-терафимов, переселяют в них чужие души, отправляются странствовать в загробные миры, заражают прохожих смертельным вирусом, каются, насилуют (в т.ч. ближайших родственниц), летают по ночам, свершают самоубийства, выправляют биополе, рвут зубами свою или чужую плоть, охотятся на инородцев и занимаются метафизической эротикой. Тут полно красноречивых гуру, молчаливых Воландов, беспокойных мастеров и длинноволосых Маргарит. В этих местах нельзя, невозможно, опасно оставаться собой…

Передо мной четыре книги прозы, присланные по почте из разных мест—три романа плюс роман с пьесой, стихами и эссе: *Андрей Иудин, «Инсайт, или Ведьма и пёс»* (Нижний Новгород, изд-во «Книги», 2011); *Вероника Кунгурцева, «Орина дома и в Потусторонье»* (М., изд-во «Время», 2012); *Платон Беседин, «Книга Греха»* (Луганск, изд-во «Шико», 2012); *Леонид Шимко, «РАБ ЧАР РУН»* (М., изд-во «Вест-Консалтинг», 2012). Кунгурцева живёт в Сочи, Шимко—в Кабардино-Балкарии, Беседин—в Севастополе, Иудин—в Нижнем Новгороде. Северный Кавказ, Крым, Поволжье—нехилый разброс. Тексты очень разные—по стилистике, интонации, жанру, качеству. Но все они, в общем, принадлежат одному культурному пространству. Так получилось.

Начну с иудинского «Инсайта»—как самого объёмного (и самого прописанного) произведения.

Андрей Иудин (интересно, «Иудин»—фамилия или псевдоним?)—редактор регионального альманаха «Земляки», пишет стихи. Родился в 1953 году. А ведь ощущается по этой прозе, что её автор—немолодой человек; есть здесь основательность зрелости (в непривычном сочетании с юно обострённой чувственностью).

И сюжетика странноватая—сюжет наличествует, но он какой-то не центрированный, растрёпанный: от каждого персонажа тянутся астрально-мочальные нити в прошлое, некоторые из сюжетных линий не ведут никуда, обрываются или исчезают, некоторые—заплетаются в бесформенные узлы…

Значит, так. Есть герой и героиня. Герой—Александр Рассохин, «частный детектив без лицензии»; впрочем, он не похож на Шерлока Холмса или на Пуаро и пробавляется оккультно-криминальными акциями-провокациями, стравливая своих клиентов с их врагами (по результатам акций достаётся и тем, и другим). А у каждого из клиентов (и врагов клиентов)—своя мутная история из прошлого. У Рассохина—тоже своя история: он учился драться и выучился до того, что стал берсерком (во время драки в него может вселиться всесокрушающе-неконтролируемое «нечто»). Героиня—Ольга; с ней также случилось удивительное: в детстве она упала из окна, но осталась цела и невредима (то ли полетела аки птичка, то ли была спасена ветром). С той поры Ольга—«ведьма»: она разговаривает с ветром и луной, время от времени пытается прыгнуть с высоты, губит мужиков, попавших в поле её действия. Некогда Ольга была в деревне на студенческой практике и так взглянула на тамошнего придурковатого подростка Харитона (Харьку), что наложила на него роковое проклятье. Затем Ольга погубила ухажёра Геру Пожарского, парня-красавца, выявив в нём сексуальные проблемы, которые довели его до психоза и жестокого самоубийства (это, кстати, не единственное самоубийство в «Инсайте»). А Харька тем временем вырос, прошёл через ряд перипетий и сделался бомжем Харонычем. Хароныч в храме повстречал Заныкина, заместителя гендиректора издательского комплекса, «серого кардинала» (человека обыкновенного, посредственного во всём, недоброго, хитрого — наделённого мелким крестьянским умом), и сделал того своим слепым орудием. Хароныч изготовил куклу оккультного пса Артемона, вселил душу Артемона в Заныкина — так началась долгая охота Артемона на Ольгу. Было много всяко-разного, но в финале победило добро (если его возможно так назвать): Ольга «отпустила» душу Хароныча (в теле Заныкина), избавила её от проклятья и нашла суженого по себе (рыцаря-берсерка Рассохина, разумеется). Чудовищный Артемон ушёл в землю, а злосчастный Заныкин остался в теле Хароныча (и служит ему привратником). Это я только главные сюжетные линии романа пересказал, а ведь есть и неглавные, их много.

Написан «Инсайт» грамотно и очень тонко, даже изощрённо; при этом он оставляет впечатление вязкого, неотвязного, какого-то эпилептического кошмара. По жанру это хоррор — но нетипичный. В классическом хорроре всегда бывает одна чёткая сюжетная линия, тут же всё запутано, словно рыболовная леска. Посыл хоррора — напугать читателя и этим его развлечь. А здесь — иной авторский посыл.

Какой?

А вот какой: показать, что человеческая личность не равна себе самой.

(Кстати, в мире «Инсайта» вообще не приходится говорить о каких-либо границах личности: в Заныкине с определённого момента не живёт Заныкин, в нём живут сначала Артемон, а затем — Хароныч; и с кого спрашивать за заныкинские поступки-безобразия?)

Сравню «Инсайт» с «Мастером и Маргаритой» Михаила Булгакова. По итогам «Мастера и Маргариты» наказаны плохие люди и награждены хорошие люди (это — в общих чертах; на деле-то — всё гораздо сложнее, но не буду говорить о тонкостях). В «Мастере и Маргарите» «коемуждо по делам его».

А в «Инсайте» «коемуждо» совсем другое; тут персонажи не делятся на «хороших» и «плохих». Они делятся на «сильных» и «слабых». «Сильные» — те, кто смог усвоить некий внеличностный опыт (всегда очень болезненный, мучительный, а иногда — ещё и постыдный). «Сильные» — те, кто существует «с бездной внутри себя» (это — Ольга, Рассохин и даже Харька-Хароныч). «Слабые» — те, кого сей опыт сломал, потому что они слишком цеплялись за собственное «я»; в них не было ничего, помимо «я»,— оттого бездна их и съела. Нельзя сказать, что жалкий итог Заныкина или Геры Пожарского — плата за то, что они плохие люди (хотя это не лучшая человеческая порода). Просто в Заныкине, в Герке (в соседском пацане Пашке, в подполковнике милиции Бутузове, в белокуром продавце Сэме Самойлове, в социологе Быковском и т. д.) слишком много «самости». А человек силён настолько, насколько он способен вместить в себя нечеловеческое.

Вот что хочет сказать нам Андрей Иудин…

Роман Вероники Кунгурцевой «Орина дома и в Потусторонье» — тоже мистический (и единственный из рассматриваемых — не городской).

Повествование в этом романе начинается от лица Саны. Сана — не человек, а особая сущность — фильгий, «хранитель» поселковой девочки Орины (Ирины); Сана осознаёт себя с момента рождения Орины — и тут же спасает её от смерти (в первый раз). Родственник Орины (муж её тёти), алкоголик Венка Яблоков, бьёт свою беременную жену поленом по животу и убивает в утробе дочку Каллисту. Далее всё идёт по Шарлю Перро: к Орине слетаются духи предков и осыпают её всевозможными дарами (красотой, трудолюбием, удачливостью, богатством), но тут вмешивается завистливая Каллиста-мертвушка, она дарует Орине внезапную смерть в семь лет от веретена. Сана заменяет это предначертание Каллисты — на трёхдневный сон (ценой утраты всех прочих даров). Первая часть романа («Посёлок») — жизнь Орины до семи лет. Зловредная Каллиста строит девочке всевозможные смертоносные козни, а Сана — предотвращает их. Он устраняет из соседства Орины веретёна, уговаривает пчёл (крылатых веретёнец) не жалить Орину, но беды избежать не удаётся: Орина выпивает козье молоко, заражённое энцефалитом (переносчица заразы — веретенообразная клещиха, вот оно — роковое веретено), и впадает на трое суток в забытьё. Всё это время она путешествует по загробным мирам; вторая часть романа («Пересылка») — хроника этих странствий. Потустороннее — тот же Оринин посёлок, однако живут в нём умершие. Орине (Ирине) и её спутнику, мальчику Павлику Краснову, поручено установить виновника убийства деревенской дурочки Орины Котовой (дети выясняют, что Котову принёс в жертву старый отец Венки — дед Иуда Яблоков). После этого ребята оказываются у Демиурга (Управляющего), узнают, что секретарша Управляющего (Каллиста) подменила документацию; подмену исправляют, Орину снова высылают к живым, а Павлик Краснов — это наш знакомец Сана, и он выбирает очеловечивание, становясь из фильгия реальным школьником Павлом (одноклассником Орины). Между делом ребята совершают экскурсию по аду («Каждый генерирует свой ад. Да, мои любезные, у каждого свой ад! Каждый создаёт его по своему образу и подобию прожитой им или проживаемой жизни. Так сказать, из подручного материала»).

«Орина дома…» производит тяжковатое чувство, но всё ж оно — помягче, чем впечатление от «Инсайта». Роман Кунгурцевой словно бы явился из более высоких сфер (кругов), нежели «Инсайт»: тут есть своеобразный бледный юмор (удивительное дело: свинцовый мир «Инсайта»—при всей своей изощрённости—юмора лишён начисто), сюда пробиваются лучики надежды, здесь, наконец, присутствуют живые чувства. Хотя эти чувства живы в меру своей животности: не случайно самая сильная сюжетная линия «Орины дома…»—пронзительная история козы Фроськи. Можно сказать, что в этом обаятельном тексте животные и ду́хи лучше людей (исключение—дети). «Орина дома…» светлее, человечнее «Инсайта», поскольку это—не хоррор, а (астрально-кармический) детектив. Детектив по природе светлее и человечнее боевика или хоррора: в детективе живут и побеждают умом, а не тупой силой (физической силой—как в боевике, либо магической силой—как в хорроре).

В «Инсайте» человеческие личности—пустые мешки, нагружаемые нечеловеческим содержимым (мешок тем лучше, чем больше содержимого он способен вынести в себе). В «Орине дома…» личности не пустотны. Но они размазаны по силовым линиям собственных прежних поступков и чужих воль.

Философ Мераб Мамардашвили сказал: «Ад—это вечные повторения».

«Орина дома…» написана для того, чтобы продемонстрировать: на том свете—то же, что и на этом. Тот же посёлок, тот же леспромхоз, та же скудно-конторская, фабрично-сельсоветская совковая бюрократия (ей можно умилиться, но мне умиляться не хочется), те же саморазумеющиеся «всенародные тяготы и лишения», те же сельповские скромные радости, те же (хорошие и не очень) души, попеременно переходящие в людей, ангелов и животных.

С точки зрения Мамардашвили, мир, описанный в романе Кунгурцевой,—не что иное, как *ад*. Хоть и довольно милый ад.

Зато в «Книге Греха», написанной Платоном Бесединым, ничего милого нет в помине; я бы сказал, что тут всё противомило, всё создано для того, чтобы не ласкать, а карябать.

Главный герой «Книги Греха»—впечатлительный подросток Даниил Грехов. Он осознаёт, насколько окружающий мир пропитан грехом, и решает взять грехи мира на себя, то есть начинает грешить напропалую. Даниил становится членом отвратительной секты Кали, заражающей людей смертоносным вирусом Кали. Затем он входит в ещё худшую секту «позитивных», ведомую Арнольдом («позитивные» клеймят вирусом Кали не всех подряд, а исключительно элиту). Также Даниил—боец фашистской улично-молодёжной группировки, охотящейся на инородцев. Вожак фашистов—некто Яблоков.

…Я будто блуждаю по одним и тем же закоулкам привычного лабиринта. Фамилия «Яблоков» мне знакома: в «Орине дома…» убийцей был дед Яблоков, и его звали—Иуда; а «Инсайт», между прочим, написан Андреем Иудиным. И в «Книге Греха», и в «Инсайте» есть страницы, посвящённые сайтам самоубийц. Интернет, самоубийцы, иуды, змиевы яблоки. Впрочем, Яблоков из «Книги Греха»—отнюдь не Яблоков, он криптоеврей, и его подлинная фамилия—Табакман. А секту Кали возглавлял Марк Аронович Шварцман, он же содержал конкурирующую с яблоковской дружиной партию «Народный союз».

Тем временем Даниил влюбляется в девушку-некросадистку Нину. Вдруг начинают убивать людей рядом с Даниилом (причём как раз тех, кого Даниил намеревался убить сам): вначале гибнет подруга Даниила Юля, затем—Марк Аронович, потом—его подручный Николай. Притом обставлены убийства так, что улики падают на Даниила (он убивает почём зря—по ходу акций «калистов», «позитивных» и «яблоковцев»,—но в смерти этих троих Даниил не виновен). После того как впадает в кому мать Даниила, заразившаяся вирусом Кали, паренёк решает явиться с повинной в полицию. Следователь Макаров вешает на него все грехи (и собственно Данииловы, и чужие). В камере Даниил встречается с Ниной и с её подругой-сожительницей Инной. Выясняется, что Юлю, Марка Ароновича и Николая убили Нина с Инной; также оказывается, что рекомендовала Даниила в секту «позитивных» Инна, а заразила Даниилову мать—Нина. Следователь Макаров—отчим Нины, изнасиловавший её в детстве; теперь он отмазывает свою падчерицу (и жертву). Инна вводит в Даниила вирус Кали, а его мать—вдруг выходит из комы и выздоравливает («она стала избранной. Она доказала, что могучее желание жить во имя чего-то или кого-то сильнее смерти»).

От «Инсайта» (и даже от «Орины дома…») веет жутью; как ни странно, «Книга Греха» не создаёт подобного впечатления—может быть, потому, что в ней всё напоказ. Слишком много убийств и избиений, слишком много крови (и прочих физиологических субстанций), слишком много извращённого секса, слишком много широковещательных оценок и сардонических комментариев. Вспоминается Леонид Андреев. «Он пугает, а мне не страшно»,—так Лев Толстой отозвался об андреевской литературной методике.

Несмотря на всю эту судорожно-назойливую демонстративность (не устрашающую, а, скорее, забавляющую), «Книгой Греха» проникаешься. Поскольку в её основе, базе, фундаменте—очень серьёзная проблема…

Даниил Грехов—человек, который решил стать плохим—в меру своего понимания плохизны. Он приходит в человеконенавистнические секты, к фашистам («сектанты» и «фашисты»—два символа зла, два жупела для нашего средне-типичного современника). Даниил Грехов спускается на самое дно—и тут раздаётся стук снизу; выясняется, что под самым густопсовым злом есть своё потайное зло (зло зла). Даниил хочет быть абсолютным грешником—и искупительной жертвой. Он действительно становится жертвой—за преступления, которые не совершал. Даниил грешен—и потому безгрешен. Он—мелкая какашка, никак не могущая потонуть в океане всеобщего дерьма.

Грех имманентен бытию, грех равномерно распространён во всех сферах бытия, и потому быть подлинным грешником невозможно: как бы человек ни грешил, он всё равно не станет греховнее всегреховного бытия. Непосильно собственной чернотой превзойти общий чёрный фон жизни—таков посыл романа Платона Беседина.

Хотя на последней странице этого романа сказано немало позитивных слов о преодолении греха—о воле к жизни, о любви, о самопожертвовании и даже о Боге и Голгофе.

В книге Платона Беседина триста две страницы. Напечатанное на триста второй странице не может отменить того, что было на предыдущих трёхстах и одной странице (а там всё противоположно тому, что наличествует на триста второй странице).

В начале обзора я сказал, что четыре обозреваемые книги принадлежат единому сектору культурного пространства.

Это так. Но есть нюансы. Сам сектор непомерно велик. Из разных книг вычитываются отнюдь не близкие социокультурные координаты.

От иудинского «Инсайта» пахнет девяностыми годами с их модой на оккультные практики (Андрей Иудин погружён в это дело довольно глубоко); «Орина дома...»—советская орнаментально-мифологическая проза восьмидесятых (впрочем, также пропущенная через оккультизм); а «Книга Греха»—типичнейший знак нашего крикливого медийно-гиперинформативного времени (с его «ассанджами» и «брейвиками»). Ни одно из этих трёх произведений не принадлежит полностью к социокультуре богемы: «Инсайт» чересчур продвинут в оккультизме, «Орина дома...»—слишком камерная, домашняя вещь, а в «Книге Греха» избыточно много журналистики. Зато «РАБ ЧАР РУН» Леонида Шимко—самое то; здесь транслирует себя стопроцентная богема—бессмертная богема с её пёстрым пафосом и похотливым аутизмом.

Сюжет романа Шимко (этот роман дал название всей книге) пересказать нелегко. Главный герой романа—На. У него есть сиамский близнец Ан (который чаще всего спит). На и Ан живут на свалке. Их сосед—карлик-мыслитель Ив; он обнаружил выброшенную на помойку «Книгу Философа Ю» (беседы Ива и На про «философию Ю»—доступно-популярный платонизм). На влюблён в Дэлу, она уговаривает На заняться сексом с одной из своих клиенток. Оказывается, что секс с На дарит женщинам чудо (сбываются их мечты). На становится звездой своего городка, гигантом плотской любви—от клиенток нет отбоя. Дэла эксплуатирует На, не допуская его к себе. Наконец она даёт согласие на свадьбу—тут На попадает в аварию. После этого он знакомится с ещё одной парой сиамских близнецов (Ил—Ли), с двуполой Си и с девочкой Ладой. Коварная Дэла ставит На условие, чтобы тот разделился с братом; На сначала не хочет этого, а потом соглашается. Хирург отрезает На от Ана; в брачную ночь На узнаёт, что Дэла далеко не так прекрасна, как представлялось ранее. Дэла дарит На заспиртованное сердце Лады. Затем обнаруживается, что чудеса На причинили его клиенткам большие беды. На с горя умирает (Ив умер чуть раньше). В загробном мире На воссоединяется с желанной Ладой.

Читателю надо иметь в виду, что все персонажи романа Шимко—Ивы, Аны и Дэлы—воплощённые философические категории (постоянно занятые обсуждением вопросов философии). Поэт Сергей Соловьёв жаловался, что ему трудно разговаривать с Александром Блоком: «Помянешь какую-нибудь категорию Канта—впросак попадёшь ещё: тётушку выругаешь!»—как известно, Блок обзывал «субстанцией» свою корпулентную тёщу Анну Ивановну Менделееву. У Шимко всё наоборот: нет ни тёть, ни дядь, ни тёщ—есть лишь двуногие эйдосы, разговаривающие и любящиеся друг с другом.

Леонид Шимко—глава и идеолог литературного направления под названием «геосимволизм». Я не понимаю, что такое «геосимволизм», я не знаю, чего конкретно хочет Леонид Шимко, к чему он написал пьесу «Милая моя Машенька» и что значат персонажи этой пьесы (Раймонд, Поэт, Священник, Болван, Друг, Милый и т. д.). Впору вспомнить ещё одно изречение Мераба Мамардашвили: «Невозможно понять того, кто сам не понимает себя». Мне кажется, что Леонид Шимко недостаточно понимает себя. Ещё мне кажется, что он зря полез в туманный платонизм—это не его стихия. Леонид Шимко по-своему талантлив, но сейчас он занимается не своим делом. У него есть великолепное чувство юмора: чего стоят гомерически смешные импровизации по поводу деятелей современной литературы—редакторов, издателей и критиков.

Или происходящее в момент секса На с двуполой Си—я в голос хохотал, читая *это*...

«В комнату его внутреннего «я» зашло *непостижимое—ящер в чешуе из синих вопросительных знаков* (курсивы—авторские.—*К. А.*). Все остальные идеи словно обезумели. *Движение—атлетически сложённый юноша в излишне облегающем сером костюме*—вместо того, чтобы бежать к надвигающемуся *чуду*, стал выписывать кренделя, возвращаясь чуть ли не назад. *Краснолицая, излишне* *волосатая женщина—сладострастие*, вдруг обнаружившая наклонности лесбиянки, принялась целоваться с *брезгливостью—неопрятно одетой толстухой, от которой разило застарелым потом*. Ящер же, остановившийся в центре сцены, не обращал на происходящее никакого внимания. *Бомж—утомлённость*, вдруг пришедший в раздражение, подскочил к *гордому спившемуся русскому богатырю—отчаянию* и ударил его своею недопитой бутылкой пива по голове, а *раздражение* рядом вдруг утомилось».

Жаль, что Леонид Шимко так редко даёт волю своему очаровательному раблезианскому юмору. Он—словно актёр-комик, пожелавший всенепременно стать трагиком, солнечный клоун Олег Попов в костюме Фауста. В «пространстве серьёзности»—в «чистой философии», в «чистой эстетике»—ему ловить нечего. Когда Леонид Шимко богемно сверхсерьёзен—он смешон. Но когда он сознательно смешит—именно тогда в нём проглядывает, просверкивает нечто подлинное, чистое, талантливое. Шимко протестует против постмодернистской иронии; я разделяю его протест. Но шутка—не помеха традиционализму, особенно если традиционалист умеет шутить (а Шимко шутить умеет).

Эти четыре книги дают исчерпывающее представление о том, как наша современность воспринимает человеческую личность. И о том, в каком состоянии, в каком облике человеческая личность проживает нашу современность.

Ни в одной из этих книг не поминается рационализм с «научным познанием мира», с «объективными законами природы», с материализмом и позитивизмом—эту станцию давно проехали. Нет речи и о либерализме с его «правами личности», «толерантностью» и «приматом общечеловеческих ценностей»—он тоже остался позади, за спиной. Официальная церковь для авторов книг—(пока) насущная реальность, о ней говорится немало. Но эта тема раз за разом возникает в настолько двусмысленных контекстах, что впору удивиться…

Инсайтовский Хароныч сцапал Заныкина не где-нибудь, а в храме: Заныкин пришёл помолиться, а Хароныч—по заныкинской манере держать себя, по демонстративному благочестию—понял: «Мой клиент». То есть выходит, что храм—не ковчег спасения души, а напротив—зона риска, роковое поле гибели человеческих душ, удобное место засады «сильных» на «слабых», обиталище бесов. В «Книге Греха» церковь—такой же предмет для саркастических комментариев, как все прочие сферы жизни: Платон Беседин с равно глумливо-ледяной интонацией сообщает о том, что пиво разрушает надпочечники, а в просфорах может завестись картофельная болезнь. Церковное покаяние Даниила Грехова описывается Бесединым как пустая формальность (правда, на последней странице «Книги Греха» говорится про Бога и Голгофу, но… см. сказанное мной выше). Как ни мутен сюжет «Милой моей Машеньки» Леонида Шимко, но всё ж из него можно понять, что Священник с его вечными проповедями и молитвами—самый малосимпатичный персонаж пьесы, ханжа и дурак. Лишь «Орина дома…» свободна от антиклерикальных выпадов—потому что в хронотопе этого романа нет христианских реалий вообще. «Орина дома…» живописует мир *вне* христианства—советский по форме и языческий по сути.

По ходу времени личность проваливается всё глубже и глубже; ныне она дошла до столь глубинных, древних, природных, нечеловеческих (дочеловеческих) уровней, что в этих тёмных дебрях бессильна не только наука, но даже традиционная религия.

Актуальная литература—индикатор состояния личности. Личность может быть такова, что для её осмысления потребны «Отцы и дети», «Преступление и наказание», «Война и мир». Современная личность разложилась настолько, что не нуждается в реалистических методиках анализа. Она требует другого, более соответствующего ей инструментария.

Господа писатели пытаются раздобыть-предъявить этот инструментарий.

В меру своих способностей и сил, конечно…

Литература—зеркало личности. На зеркало неча пенять, коли наша личность полностью соответствует своему отражению.

Валерий Скобло

«…Возьмите абзац из моих произведений— и объясните…»

Подборка моих стихов («Я не смотрю назад») была опубликована в том же номере «ДиН» (2/2012), что и интервью со Станиславом Куняевым («Орден изгоняющего бесов»), так что, раз уж мы попали «под одну обложку», естественно моё желание высказаться по поводу своего «соседа».

По поводу самого факта публикации. Тут могут быть разные точки зрения, но я придерживаюсь того мнения, что такие публикации не то что терпимы, но и желательны… полезны. Куняев излагает не только свою личную позицию, такой взгляд на историю России (а пожалуй, что и на всемирную) имеет место, и он должен быть представлен читателям (если, разумеется, автор удерживается… как бы это сказать… в рамках общепринятых приличий). Журнал, даже если он «для семейного чтения»,—не пансион для благородных девиц, никто в обморок не упадёт, если Куняев откроет ему свою страшную «историческую тайну». В конце концов, предоставление СМИ своих страниц или эфира людям с самыми противоположными, зачастую одиозными, взглядами—это общепринятая современная практика: вспомним хотя бы «Эхо Москвы», на котором в разное время выступали и выступают Леонтьев, Проханов, Пушков, Шевченко и т.д. Кстати, слава Богу, что редакция не снабдила материал пошлой расхожей фразой о возможном несовпадении своего мнения с мнением автора. Эта «подстраховка» всегда выглядит несколько странно: ещё бы журналы публиковали сейчас только материалы авторов, мнение которых совпадает с мнением редакции!.. и что это за странное «мнение редакции»?

Сама концепция не нова, не Куняевым открыта и в одной из своих частей, в двух словах, такова: «…сатанинские и античеловеческие силы—силы зла, алчности и хищности мира сего…»—протянули к большевистской России «щупальца масонских государств». Поскольку «русская монархическая элита отказалась идти на службу большевикам», «…Ленину пришлось мобилизовать местечковое еврейство. И полтора миллиона евреев поняли, что их судьба зависит от того, устоит ли Россия. И они бросились на защиту советской России…». Таким образом, «…Россия… провела не только Гражданскую войну, но и отбилась от всех щупалец» (хорошо и уместно здесь это «провела»).

Такой взгляд на историю России, разумеется, не нов. Начал он получать той или иной широты распространение в СССР в шестидесятые годы прошлого века, когда хотя бы частично возникла возможность обсуждать явление, обозначаемое тогда как «мрачные времена культа личности». Партработники, а ещё более—работники «органов» искали такое объяснение случившегося в тридцатые годы, которое снимало с них хоть какой-то степени ответственность (даже в аспекте преемственности) за преступления против собственного народа, и они это объяснение нашли: это делали не они, в этом виноваты «другие». Такая концепция хотя осторожно и неявно, но достаточно активно внедрялась в общественное сознание как штатными, так в ещё большей мере «внештатными» гэбистами. Ситуация эта хорошо известна и неоднократно обсуждалась в прессе уже «постперестроечных» времён.

Возвращаюсь к «отрывку из концепции». Разумеется, много вопросов можно было бы задать Куняеву. И о том, известно ли ему, что в Красной армии было не меньше бывших царских офицеров, чем в белой (отвлекаясь сейчас от причин), так что с этой точки зрения вполне возможно было обойтись и без привлечения пресловутого «местечкового еврейства» (которому в военном отношении была грош цена). И о том, что, как бы ни была диковинна защищаемая идея, внутренняя логика в ней всё же должна быть. Уж если «масонские государства» протянули к России свои «щупальца», «местечковому еврейству» стоило бы за них ухватиться, а не «с яростью» обрубать. Почему, собственно, с точки зрения Куняева, их (местечковых евреев) судьба зависела от того, устоит ли Россия? Казалось бы, «масоны» изнутри должны были только мечтать о помощи и поддержке родственных «масонов» извне…

Но ладно, концепцию затрагивать не будем. Если посмотреть шире, Куняев верит в «теорию заговоров», я—нет. Что ж тут поделать?—голова у нас устроена на разный манер… концептуальные вопросы—вещь тонкая. Но вот фактологическая их основа должна быть хотя бы внешне верифицируема, отвлечёмся сейчас и от деликатного вопроса об интерпретации и компоновке фактов. Куняев и сам об этом пишет, открещиваясь от обвинений в антисемитизме: «…Когда я слышу голоса: «Вы… антисемит!»—я говорю: «Это всё—пропагандистские штампы. Вы мне скажите: правду я пишу или неправду? Вместо того чтобы кричать, возьмите фразу, абзац из моих произведений—и объясните… Если вы правы, я посыплю голову пеплом: «Наказывайте меня!» Но мне кажется, что я всегда стараюсь писать правду».

Реальный или мифический антисемитизм Куняева я тоже обсуждать не буду. Это вопрос тоже столь тонкий… я в нём не специалист. Одни считают антисемитами любого, хоть в малой степени критикующего политику Израиля, другие не считают антисемитами даже твёрдо уверенных, что евреи подмешивают кровь христианских младенцев в мацу. Приведу только мнение некоторым образом «специалиста» в этой области, которого уж никак юдофилом не назовёшь: «…Миф о шовинизме и антисемитизме Станислава Куняева… это не миф… сколько ни рассказывай он о своих друзьях среди евреев, как это делает Куняев… совершенно ясно: мыслитель свихнулся на жидоедстве… Куняев слишком часто смотрит на вещи сквозь еврейскую призму и… порой извергает такую чушь, что уши вянут… разве это не сдвиг по фазе? Или просто гэпэушный склад ума?..» (В. С. Бушин. «Патриот», июль—ноябрь 2001.)

Я просто последую призыву Куняева и возьму ключевой его абзац, единственный, пожалуй, где он обращается к фактам (точнее, к тому, что он фактами считает):

«…Вот все кричат: ГУЛАГ-ГУЛАГ-ГУЛАГ! А кто стоял во главе ГУЛАГа? В тридцать седьмом году—Ягода, а у него—три заместителя: один по фамилии Берман, другой—Раппопорт, и третий—Плинер. Двадцать седьмого ноября тысяча девятьсот тридцать шестого года в газете «Известия» опубликовали указ о награждении комиссаров госбезопасности первого, второго и третьего рангов орденами боевого Красного Знамени, Ленина и так далее. Их было сорок четыре человека. Из них двадцать один, то есть практически пятьдесят процентов,—люди еврейского происхождения. Это верхушка ГУЛАГа. Это комиссары госбезопасности—высший орган карательной власти. А на всех остальных—русских, азербайджанцев, грузин, латышей, литовцев, украинцев—приходились другие пятьдесят процентов. Такова история русской революции. И поэтому, когда в тысяча девятьсот тридцать седьмом году это неравновесие в ЧК-ОГПУ-НКВД Сталин исправил, для либералов, особенно еврейской ориентации, тридцать седьмой год стал самым кровавым и трагическим годом в истории России…»

Попробуем пройтись по нему подряд, слово за словом, и, как выразился Куняев, «объяснить».

1. В 1937 году Г. Г. Ягода уже не стоял во главе ни ГУЛАГа, ни НКВД. Он был снят с должности наркома внутренних дел СССР 26.09.36.
2. Берман, Плинер и Раппопорт не были заместителями Ягоды. Один из них, М. Д. Берман, действительно стал замнаркома внутренних дел СССР, но это произошло через три дня после снятия Ягоды—29.09.36. Тот же Берман действительно был начальником ГУЛАГ НКВД СССР с 10.07.34 по 16.08.37, а И. И. Плинер занимал этот пост с 21.08.37 по 14.11.38, и действительно все трое были евреями. Но за ними эту должность занимали русский В. В. Чернышёв (18.02.39–26.02.41) и украинец В. Г. Наседкин (26.02.41–02.09.47), а нравы в ГУЛАГе ничуть не смягчились. Так же как не смягчились обычаи в НКВД после замены еврея Ягоды на его посту последовательно русским Ежовым и грузином Берией.
3. Я не держал в руках газету «Известия» от 27.11.36 с указом о награждении верхушки НКВД орденами, на которую ссылается Куняев. Но то, что пишет Куняев, кажется мне сомнительным. По-видимому, речь идёт о массовом награждении высших чинов НКВД указом от 14.02.36… никаких других массовых награждений гэбэшников в 1936 году не было. Ну, сорока четырёх комиссаров ГБ первого, второго и третьего рангов и вообще-то в СССР на февраль 1936 года не было—не то что среди награждённых. Было их (в основном, назначенных на комиссарские должности 26 и 29.11.35) сорок человек. Если добавить к ним генерального комиссара ГБ Ягоду—сорок один. Подавляющее большинство из них непосредственного отношения к ГУЛАГу вообще не имели (кроме Бермана и Плинера). И вовсе не все они были награждены в 1936 году. Награждено из комиссаров ГБ 14.02.36 было десять человек. Если добавить к ним награждённых чином ниже (комкор, комдив, комбриг, бригадный комиссар, майор ГБ и полковник… только надо учесть, что майор ГБ соответствовал общевойсковому комбригу и бригадному комиссару), то получится двадцать два человека, евреев среди них—шесть… тоже немало, но никак не половина… не «практически пятьдесят процентов». Среди «остальных» шестнадцати действительно есть русские, украинцы, белорусы, грузины и латыши, никаких упоминаемых Куняевым «азербайджанцев и литовцев» среди них нет. А впрочем, и что?.. и о чём это говорит?.. Приведённые мною здесь (и выше) данные любой желающий легко может проверить по ставшей «классикой» книге:

Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД. 1934–41 гг. Справочник. М., Звенья, 1999.

4. Это национальное «неравновесие» в НКВД, многократно упоминаемое Куняевым, в 1937 году Сталин *не* исправил. Случилось это в конце 1938-го—1939-м годах, и произошло оно в рамках совершенно иного процесса, цели которого к устранению «неравновесия» никакого отношения не имели.

5. Теперь самый острый… можно сказать, самый болезненный вопрос: о том, что именно «тридцать седьмой год стал самым кровавым и трагическим годом в истории России» для «либералов, особенно еврейской ориентации», именно потому, что в 1937 году «это неравновесие в ЧК-ОГПУ-НКВД Сталин исправил». Ну, как я выше отметил, если и трактовать этот процесс как «устранение неравновесия», то произошло это вовсе не в 1937-м. Но не будем придираться к словам. Разумеется, исторический материал, ставший доступным историкам с конца 80-х—начала 90-х годов прошлого века, вполне однозначно позволяет утверждать: пик репрессий против собственного народа приходится не на 37–38 годы, а на начало тридцатых—раскулачивание, «голодомор» (не на одной Украине, кстати). Точных данных (в отличие от 37–38 годов) здесь нет и, видимо, никогда не будет, но количественно жертвы начала тридцатых, вероятно, на порядок превосходят жертвы 37–38 годов. Это так. Но и идея Куняева (собственно, и не им впервые высказанная) насчёт того, что 1937 год был некой «расплатой» большевистской элиты («ленинской гвардии») за Октябрьскую революцию, Гражданскую войну, коллективизацию и т. д. (к этому иногда ещё добавляют: возмездием, сознательно проведённым Сталиным), не выдерживает никакой критики и проверки фактами.

Насколько мне известно, сводные статистические данные по социальному составу репрессированных в 1937–38 годах по всей стране не опубликованы, но и соответствующие опубликованные данные по отдельным регионам позволяют сделать выводы, говорящие о многом. Так, в Ленинграде и Ленинградской области в 1937 году было расстреляно 17 807 человек, в целом по СССР—353 074 человек. Данные по Ленинграду—это пятипроцентная, вполне репрезентативная, выборка. О её особенностях скажу ниже, перейду к обобщённым данным по этой выборке, опубликованным в томах 1–6 «Ленинградского мартиролога». Беспартийные среди этих почти 18 тыс. человек составляли 83,4%; члены и кандидаты в члены ВКП(б) (в т.ч. и бывшие—это чрезвычайно важно, поскольку подавляющее большинство осуждённых исключалось из партии до ареста)—13,7%; о партийности 2,7% данных нет (но есть серьёзные основания считать их беспартийными).

По роду занятий расстрелянные делятся так: рабочие (в т.ч. железнодорожники и транспортные рабочие)—26,4%; крестьяне (колхозники, работники совхозов и МТС, крестьяне-единоличники и т. п.)—22,9%; работники «интеллигентных профессий», те, кого тогда называли «служащими» (ИТР, врачи, агрономы, фельдшеры, научные работники, учителя, учащиеся вузов и техникумов, работники культуры),—17,1%; работники сферы обслуживания и торговли—8,4%; служащие религиозного культа—5,5%; 8,5% дают совместно пенсионеры, иждивенцы, домохозяйки, лица без определённых занятий, заключённые и лица, о роде занятий которых нет данных. Далее: руководители (советские, партийные и хозяйственные)—5,5%; военнослужащие, сотрудники НКВД и охраны—5,6%. Нетрудно понять, что эти 11,1% руководителей и обобщённо военных и дают основной вклад в вышеприведённые 13,7% партийных.

Таким образом, среди расстрелянных в 1937 году в Ленинграде «руководители» (в т.ч. военные) составляли около 11%, партийные—не дотягивали до 14%, остальные были в подавляющем большинстве простыми «работягами» с преобладанием рабочих и крестьян. Сходные данные имеются по Москве. Сравнение этих данных с имеющимися данными по другим регионам показывает, что процент «руководителей» и «партийных» в них значительно ниже (что вполне естественно).

Сходные результаты можно получить другим, вполне независимым путём. Опубликованы т. н. «сталинские списки»—перечни лиц, в подавляющем большинстве из высшего руководства СССР, осуждённых по личной санкции И. В. Сталина и его ближайших соратников по Политбюро ЦК ВКП(б) к разным мерам наказания—в большинстве к расстрелу (39 тыс. из 44,5 тыс. рассмотренных). Списки эти относятся к 1936–38 годам, в основном—1937–38 годам. Следует подчеркнуть, что НКВД действительно не могло репрессировать никого из «руководящей элиты» (партийной, советской, хозяйственной, военной), в т. ч. и членов их семей, без личной санкции Сталина. С учётом данных об общем числе расстрелянных в эти годы (681 692—в 1937–39, 682 810—в 1936–38) получается, что доля высших «руководителей» в целом по стране была на уровне 5%, и даже с учётом среднего звена не превышала 10%.

По тем же данным «Ленинградского мартиролога» о национальном составе расстрелянных, можно утверждать, что процент каждой национальности приблизительно совпадал с его процентом среди жителей Ленинграда и Ленинградской области.

Следует также отметить, что поскольку расстрел гораздо чаще применялся к «высокопоставленным» арестованным, то в общей массе репрессированных граждан доля «начальников» было ещё меньше, чем указано выше.

Таким образом, приведённые данные позволяют однозначно судить о том, что 1937–38 годы (как, впрочем, в ещё большей степени начало тридцатых) были войной против собственного народа в целом, а не были в основном неким «возмездием» Сталина «ленинской гвардии» за её мифические (и, разумеется, действительные) преступления против России. Так что для думающих людей, вне зависимости от их политических взглядов и национальной принадлежности, 37-й год был и остаётся одним из «кровавых и трагических» годов в истории России отнюдь не потому, что Сталин будто бы исправил некое национальное неравновесие в НКВД, а потому, что это был один из тех годов, когда развязанная Сталиным война против народа России приобрела наиболее кровавый характер. Именно на этом народе и оттоптались в основном пресловутые «кони НКВД», которые так восхищают «эстета» Куняева.

Причины этой «войны» здесь нет ни места, ни времени обсуждать; следует только отметить, что такие «войны»—отнюдь не только российская закономерность. Обращу, пожалуй, внимание, что примерно через такой же промежуток времени, какой отделяет 1937 год от 1917-го, а начало «культурной революции» в Китае от образования КНР, Мао открыл «огонь по штабам»... с тем же плачевным результатом для всего китайского народа. Хотя, видимо, относительные людские потери в КНР были и не столь велики, как в СССР. Вспомним, кстати, и Камбоджу (Кампучию) Пол Пота, «успехи» которого в истреблении своего народа превзошли достижения и Сталина, и Мао Цзэдуна.

Я сделал только то, о чём просил Куняев: взял абзац (даже не то чтобы выхватил фразу) из его интервью и на его примере показал, что в нём нет ни слова правды. Он посыплет голову пеплом со словами «наказывайте меня!»? Вряд ли. Вероятнее всего, он заведёт речь о неточностях, вкравшихся в текст интервью. Но ведь интервью—не прямой эфир, тут можно сто раз проверить и перепроверить. Как это принято сейчас говорить: «базар» надо «фильтровать» и за него отвечать. Дело, мне кажется, объясняется очень просто: фобия, когда она переходит в острую патологическую форму,—это такая болезнь, которая затемняет разум и заставляет верить в данном конкретном случае таким «надёжным» источникам, как «Протоколы сионских мудрецов», «Генеральное соглашение НКВД и гестапо...», «План Даллеса по уничтожению СССР», «Катехизис еврея в СССР» и прочим «Спискам замаскированных евреев», зачисляющим в оные «замаскированные» Гитлера, Сталина, Берию, Ельцина, Путина и пр. Что ж, болезнь, даже если она дурная,—это болезнь, а вольному, как говорится, воля. Этих «бесогонов» из тех или иных «орденов изгоняющих бесов», зорко наблюдающих за происками «умной части современного русофобствующего еврейства» в России, сейчас предостаточно. Но не стоит при этом обманывать других и себя словами насчёт того, что «я всегда стараюсь писать правду». А стоит, наверное, вспомнить слова Александра Исаевича Солженицына: «...Евреев мы все ругаем, евреи нам беспеременно мешают, а оглянуться б добро: каких мы русских тем временем вырастили? Оглянешься—остолбенеешь...» И подумать о себе.

Впрочем, вероятно, эта рекомендация бессмысленна по отношению к Станиславу Куняеву. Возможно, прогулка на «конях НКВД» что-то необратимо меняет в человеке, и сесть в эти сани—всё равно что прогуляться в санках с андерсенской Снежной королевой: сердце леденеет навсегда.

И, возвращаясь к вопросу Бушина: «...разве это не сдвиг по фазе? Или просто гэпэушный склад ума?..»—хочется только спросить: почему «или»?..—почему не «и»?

Алексей Антонов

Призвание Фемистокла

Диалог двух известных русских поэтов — Юрия Беликова и главного редактора журнала «Наш современник» Станислава Куняева, опубликованный во втором номере «Дня и ночи» («Орден изгоняющего бесов»), обнажил расколотость российского литературного сообщества. Оскудение русского начала в нашей жизни, небрежение русскими истоками отечественной культуры — эта боль Станислава Куняева, думаю, близка и понятна многим читателям журнала. Но, как говаривал древний грек Фемистокл: "Бей, но выслушай!» А Твардовский замечал: «...Речь не о том, и всё же, всё же, всё же».

Так вот, и всё же допустимо ли рассматривать историю страны исключительно как арену борьбы русофилов с русофобами?! Безусловно, эта борьба существует. Но насколько важно, какое количество процентов в руководстве НКВД занимали евреи? Неужто именно по этой причине (цитирую): «...когда в тысяча девятьсот тридцать седьмом году это неравновесие в ЧК-ОГПУ-НКВД Сталин исправил, для либералов, особенно — еврейской ориентации, тридцать седьмой год стал самым кровавым и трагическим годом в истории России?!..»

Да, история показала, что, поражая еврейское население в правах, царское правительство совершило серьёзную ошибку, оставив евреям единственный социальный лифт — революцию. Неудивительно, что революцию те приняли как свою, кровную — во всех смыслах этого определения. Практичность и сметливость, а вместе с тем — и клановость еврейского народа способствовали тому, что в скором времени евреи заполнили все структуры советского государственного аппарата, в том числе — силовые. Это — так.

Однако согласитесь: количественное преобладание в рядах новой власти не гарантировало привилегий ни для какой национальности. Стоит напомнить: претензии на исключительность еврейского пролетариата, выраженные партией Бунд («Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России»), были отвергнуты II съездом РСДРП ещё в 1903 году. И после Октября коммунистическое движение разделялось не по национальному признаку, а по отношению к возможности совершения мировой революции. Россия для социализма или социализм для России?! — вот какой выбор стоял перед руководством страны постоянно, а не только в канун заключения Брестского мира. Мне представляется, что не паранойя Сталина, а логика политической борьбы превращала вчерашних испытанных партийцев, в том числе — евреев, во «врагов народа». Как и прочие народы страны, евреи оказались не только жрецами и «благоприобретателями», но и жертвами революции.

И вот о чём мне думается: не выворачивается ли преувеличенное внимание к еврейскому вопросу осознанным или неосознанным желанием протянуть ниточку от погромов царской России к исходу евреев из СССР? И тем самым поставить Россию, как правопреемника СССР, на одну доску с фашистской Германией? Национальность здесь только предлог. Удар направлен на российскую государственность. Это очередная попытка запустить механизмы её саморазрушения.

Параллель здесь самая очевидная; сегодня страна стоит перед сходным выбором: Россия для демократии или демократия для России?! Поэтому, при всем моём уважении к позиции Станислава Куняева, мне кажется, не столь важно, сколько евреев сейчас окопалось на радио и телевидении! Разделение и на этот раз проходит не только по национальному признаку.

Вот пример, который нынче у всех на слуху, — с панк-группой «Pussy Riot». Что это, как не спланированная атака на российскую государственность? Конечно, сия выходка затрагивает национальную гордость великороссов, нравственность, эстетику, даже — религию. Но, на мой взгляд, не это главное в данной ситуации. Как, впрочем, ко всему выше перечисленному имеет косвенное отношение и небезызвестное письмо культурных деятелей в защиту этой группы. Потому что на вопрос: с кем вы, мастера культуры? — наши властители дум, увы, и на этот раз ответили: мы не со своей страной...

Как могло случиться, что в глазах столь незаурядных людей тюремная самодеятельность стала вдруг высшим достижением в искусстве?! Что, в конце концов, важнее — Россия или «рукопожатность» демократической тусовки, которая когда-то восхищалась террористкой Верой Засулич, позднее — Матиасом Рустом, памятным приземлением спортивного самолётика, переименовавшим Красную площадь в «Шереметьево-3», а ныне, получается,—моральными уродками с видом на жительство в Канаде?! Если, не дай Бог, завтра очередной инсталлятор помочится на Вечный огонь в Александровском саду, можно не сомневаться, что те же самые болотные кикиморы завопят о нарушении прав человека в Москве, поскольку-де там не хватает общественных туалетов… Задумываются ли эти не в меру активные люди, подписывающие письма в защиту трёх «страдалиц с терновыми венцами на челе», что логика истории объективно превращает их, подписантов, в явных недругов российского общества?!..

Трагические уроки истории желательно выучивать с первого раза. Поэтому было бы неплохо в журнале «День и ночь» завести специальную рубрику, посвящённую борьбе «дня» и «ночи» в нашей литературе и культуре. А назвать её можно было бы, к примеру, «Литературное объеДиНение»…

Д*и*Н ревю

Лучшие
10
Поэтическая антология
«Арион»
«Байкал»
«Бельские просторы»
«Вестник Европы»
«Воздух»
«Волга»
«День и ночь»
«Дети Ра»
«Дружба народов»
«Звезда»
«Зеркало»
«Зинзивер»
«Знамя»
«Иерусалимский журнал»
«Континент»
стихи
Составитель
Максим Амелин
ОГИ

Лучшие стихи 2010 года

Антология

Москва: ОГИ, 2011.—264 с.
ISBN 978-5-94282-631-4

Антология составлена на основе поэтических подборок, опубликованных в 2010 году в бумажных и сетевых литературных журналах, выходящих в Москве, Санкт-Петербурге и других городах современной России и русскоязычного зарубежья. Книга отражает исключительно субъективное мнение составителя, стремящегося показать разнообразие индивидуальных авторских стилей и дать достаточно широкое представление о текущем состоянии поэтического искусства.

Сергей Гандлевский

● ● ●

А самое-самое: дом за углом,
смерть в Вязьме, кривую луну под веслом,
вокзальные бредни прощанья—
присвоит минута молчанья.

Так русский мужчина несёт до конца,
срамя или славя всесветно,
фамилию рода и имя отца—
а мать исчезает бесследно…

«Знамя», №1

Наталья Горбаневская

● ● ●

У дверей из подземелья шум и крики,
папарацци наставляют аппараты.
Возвращается Орфей без Эвридики,
на кифаре его струны оборваты.

Обормоты, кифареда обступая,—
только боль уже глухая и тупая.
Позади уже неразличимы стоны
Эвридики, Прозерпины, Персефоны.

«Звезда», №10

Синяя тетрадь

Стихи школьников из г. Зеленогорска (Красноярский край)

Татьяна Веселкова

6 класс

Созвездие Гончих Псов

Возле созвездия Девы,
Наискосок от Весов,
Мчится по синему небу
Созвездие Гончих Псов.
Лай по ночам еле слышен,
Точным наукам вразрез,
Псы Гончие мчатся над крышей,
Желая спуститься с небес.
Созвездие это считают
Последним приютом собак.
Собаки вернуться мечтают,
Но им не вернуться никак.
У псов там нет прежнего нюха
И нету тепла в крови,
И душу терзает разлука
С хозяином добрым своим.
Они со щенячества ласку,
Знакомой руки тепло
Помнят, но им не вернуться:
Их время земное прошло.
Несутся они мимо окон,
А вслед даже оклика нет.
Лишь кто-то, взглянув ненароком,
Увидит мерцающий свет.
И вспомнятся вдруг серди ночи
Иные миры в сонме звёзд,
И что-то в созвездии Гончих
Растрогает сердце до слёз.
В мелькании тени и света
Ответ или вечный вопрос…
Когда-нибудь встретятся где-то
Хозяин и преданный пёс.

Вадим Масальцев

8 класс

Вот и лето!

Конец весны. Наступит скоро лето.
Вот в городе оно одной ногой.
Сияет ярче солнечного света
Весёлый одуванчик над Баргой.

Щебечут птицы. Ветер гонит стаи
Ленивых от припёка облаков.
Как дельтапланы, бабочки летают,
А я давно к каникулам готов!

Ярослав Никитин

6 класс

* * *

Разукрасил иней
Жемчугом причал,
И дрожит осины
Красная свеча.

Неба синь свободна,
И тиха река…
В глубине холодной
Тонут облака.

И уже на берег
Вытащен паром.
Налетает ветер,
Сыплет серебром.

стр. 23

Алейников Владимир Дмитриевич

Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, детство провёл в городе Кривой Рог на Украине. Поэт, писатель, переводчик, художник. В 1963 году окончил музыкальную школу по классу фортепьяно. Учился на отделении истории и теории искусства истфака МГУ. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ. С 1965 года публиковался на Западе. Более четверти века тексты широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых был известен как переводчик поэзии народов СССР. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний о былой эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого. Член ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле.

стр. 234

Анкудинов Кирилл Николаевич

Майкоп, 1970 г. р.

Поэт, литературный критик, эссеист. Родился в городе Златоусте Челябинской области. В 1993 году окончил филологический факультет Адыгейского государственного университета. Служил в армии. Окончил аспирантуру Московского педагогического государственного университета им. В. И. Ленина. Кандидат филологических наук. Преподаёт на филологическом факультете Адыгейского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Москва», в «Литературной газете», в газетах «Литературная Россия», «День литературы», «Ex libris НГ», во многих центральных и региональных изданиях. Постоянный автор журнала «Бельские просторы» (Уфа), сайтов «Взгляд» и «ЧасКор». Автор поэтических сборников «Магнит» (1994, Майкоп) и «Пёстрая лента» (1996, Москва), участник и составитель многих центральных и региональных поэтических сборников. Составитель трёх изданий антологии-справочника «Современные русские поэты» (в соавторстве с академиком В. В. Агеносовым).

стр. 243

Антонов Алексей Васильевич

Пермь, 1952 г. р.

Окончил филологический факультет Пермского государственно университета (1977), Высшую партийную школу в Москве (1986), аспирантуру по культурологии при ППИ, докторантуру на кафедре философии ПГУ. Кандидат философских наук. Работал на кафедре философии ПГУ.

стр. 198

Аринчин Сергей Александрович

Красноярск, 1951 г. р.

Родился в Красноярске. В 1973 году окончил политехнический институт. Кандидат технических наук. Заведовал кафедрой АСУ и автоматики Красноярского инженерно-строительного института. Во время губернаторства А. И. Лебедя был заместителем главы администрации Красноярского края. Публиковался в краевых газетах, журналах «Сибирские огни», «День и ночь», альманахе «Енисей», коллективном сборнике «Живая листва». Автор трёх книг: «За яблочным вином» (1992). «Джеликтукон» (1998), «Возвращение на Джеликтукон» (2003). Один из авторов поэтических сборников «Весенние ручьи» (2003), «Поэзия на Енисее-2006». Член Союза российских писателей.

стр. 130

Беликов Юрий Александрович

Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Автор трёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008). Основатель трёх поэтических групп — «Времири» (конец 1970-х), «Политбюро» (конец 1980-х) и «Монарх» (конец 1990-х). Лидер движения «дикороссов». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль). Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 128

Бруштейн Ян Борисович

Иваново, 1947 г. р.

Родился в Ленинграде. Кандидат искусствоведения. Работал журналистом, преподавателем вуза, президентом и главным редактором негосударственных телекомпаний «7×7» и «Барс», автором и ведущим политических, экономических и познавательных программ. Стихи печатались в журналах «Юность», «Знамя», «Волга», «Дети Ра», «Зинзивер», «Сибирские огни», в еженедельнике «ОБЗОР» издательства «Континент» (США), в сборниках и альманахах. Маленькие рассказы вышли в журналах «Зинзивер» и «Футурум АРТ». В конце 2006 года выпустил книгу-альбом компьютерной арт-графики и стихов «Карта туманных мест». В марте 2009 года в Москве вышла книга стихов «Красные деревья». Ровно через два года — книга новых стихов «Планета Снегирь» в поэтической серии «Библиотека журнала „Дети Ра“», и почти одновременно — книга избранных стихов «Тоскана на Нерли» (издательство «Летний сад»). Член лито «ПИИТЕР». Член Союза писателей XXI века.

стр. 205 **Вайс Александра**
Барнаул, 1989 г. р.

Родилась в Берлине. Студентка факультета искусств АлтГУ. Публиковались в журналах «Барнаул», «День и ночь» и др. Лауреат всероссийского литературного конкурса «Кипарисовый ларец».

стр. 189 **Валеев Марат Хасанович**
Красноярск, 1951 г. р.

Родился в городе Краснотурьинске Свердловской области. Рос и учился в селе Пятерыжск на Иртыше, в целинном Казахстане, куда попал вместе с родителями ещё в дошкольном возрасте. Окончил школу, после работал бетонщиком на заводе ЖБИ, призвался в СА. Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил военные объекты в Пермской, Костромской, Саратовской областях. Вернулся в Казахстан, работал сварщиком в тракторной бригаде. В профессиональной журналистике с 1972 года. Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). Окончил факультет журналистики КазГУ (Алма-Ата). В 1989 году приглашён в газету «Советская Эвенкия» на севере Красноярского края. Сейчас — редактор этой газеты, но под другим названием: «Эвенкийская жизнь». Без отрыва от основной работы, а порой и прямо на ней написал и опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Член Союза российских писателей, автор нескольких сборников.

стр. 160 **Ващаев Олег Александрович**
Ленинградская обл., 1970 г. р.

Родился в городе Норильске. В 1998 году окончил Московский литературный институт (поэтический семинар Евгения Рейна). Участник фестивалей авторской песни.

стр. 184 **Гарбер Наталья**
Москва

Окончила МГУ в 1990 году. Специалист по медиаобразованию и культурологии. Слушательница творческих семинаров прозы Е. Ю. Сидорова и беллетристики Т. А. Сотниковой при Высших литературных курсах. Изучала современную литературу в международном проекте «Summer Literary Workshop». Публикует малую прозу и поэзию в журналах «День и ночь», «Кольцо „А“», «ЛитЭра», «Литературная учёба», «Чайка» (Бостон, США), «Зарубежные записки» (Дортмунд, ФРГ) и др. Вошла в антологию «Современная русская поэзия» СП Москвы (2006). Лауреат литературных премий СП России и Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского (конкурс «Заветному звуку внимая», 2005), Министерства культуры Мордовии (премия «Рождественская звезда», 2007), отряда космонавтов Ракетно-космической корпорации «Энергия» (конкурс «Звёзды Внеземелья», 2008, 2009), «Чеховского общества» (II-й Международный литературный конкурс юмористической поэзии и прозы «Жизнь прекрасна!», Дюссельдорф, Германия, 2011). Автор романа-калейдоскопа «Джем» (2010). Член Международной федерации русскоязычных писателей (Лондон — Будапешт).

стр. 127 **Генчикмахер Марина Александровна**
Лос-Анджелес, США, 1962 г. р.

Родилась в Киеве. Окончила Киевский политехнический институт. С 1992 года живёт в США. Стихи публиковались в украинских альманахах «Радуга» и «Ренессанс», в журналах «Отражение», «Ковчег», «День и ночь», в поэтической антологии (составитель Юрий Каплан), а также в американских периодических изданиях: журналах «Вестник», «Флорида», альманахах «География слова», «Побережье», «Общая тетрадь», «Зеркало», «Сталкер», «На любителя», «Под одним небом». Лауреат ряда литературных конкурсов, в том числе «Золотое перо Руси-2007» и «Бекар-2006».

стр. 188 **Гильмитдинова Яна Вячеславовна**
Зеленогорск, 1972 г. р.

Родилась в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Окончила факультет иностранных языков Уральского государственного педагогического университета. Работала в СМИ города Зеленогорска. С 2001 года — сотрудник Центра информации и печати ОАО «ПО „Электрохимический завод“». Член Союза журналистов России. Участник нескольких поэтических коллективных сборников. Соавтор и редактор городского литературного альманаха «Лаборатория 69» (Зеленогорск, 2007). Публикации в журнале «День и ночь».

стр. 230 **Гладышев Юрий Николаевич**
Зеленогорск, 1963 г. р.

Родился в Новосибирской области. После окончания срока службы остался в армии, служил в Томске. С 1989 года — в городе Зеленогорске

Красноярского края. Пишет прозу. Первая публикация была в журнале «День и ночь» в 2008 году.

стр. 88

Горевич Михаил Исаевич

Москва, 1948 г. р.

Математик. Поэт, прозаик, драматург. Автор романов «Праздники Каина» и «Венецианец» (совместно с В. Лейбовичем, под псевдонимом Лейбгор). Публикации в журналах «Крещатик», «День и ночь», «Зинзивер», «Волга», в газете «Поэтоград», на портале «Мегалит». Член Союза писателей XXI века.

стр. 95

Дуардович Игорь

Москва, 1989 г. р.

Поэт, литературный критик, журналист и редактор. Студент Литературного института им. А. М. Горького. Ответственный секретарь международного литературного журнала «Дети Ра». Публиковался в журналах «Новая Юность», «Дети Ра», «Зинзивер», «Интерпоэзия», «Запасник», а также в «Литературной газете», газете «Литературные известия» и приложении «Ex libris НГ». Лауреат-победитель фестиваля «Эмигрантская лира-2011» в критической подноминации «Эмигрантское творчество русскоязычного поэта-эмигранта».

стр. 162

Ерёмин Николай Николаевич

Красноярск, 1943 г. р.

Родился в городе Свободном Амурской области. Окончил Красноярский медицинский институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор ряда поэтических сборников и книг прозы: «Мифы про Абаканск», «Компромат», «Харакири», «Наука выживания», «Комната счастья» и др. Лауреат премии «Хинган». Победитель конкурса «День поэзии Литературного института-2011» в номинации «Классическая Лира». Дипломант конкурса «Песенное слово» им. Н. А. Некрасова. Публиковался в журналах «День и ночь», «Новый Енисейский литератор», «Истоки», «Бийский вестник», «Вертикаль» (Нижний Новгород), «Огни Кузбасса», «Провинциальный интеллигент», «Интеллигент» (Санкт-Петербург), «Русский берег» (Благовещенск), «Флорида» (Майами), «Лексикон» (Чикаго) и др. Член Союза писателей СССР, Союза российских писателей.

стр. 182

Коль Людмила

Хельсинки, Финляндия

Прозаик, издатель и главный редактор финляндского историко-культурного и литературного журнала «LiteraruS — Литературное слово», выходящего на трёх языках: русском, финском, шведском. Член Союза писателей Москвы, Общества «Финляндия — Россия», Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), представитель Международной федерации русскоязычных писателей (МФРП) в Финляндии. Автор многих книг и публикаций.

стр. 0

Коркунов Владимир Владимирович

Кимры, 1984 г. р.

Поэт, литературовед. Родился в городе Кимры Тверской области. Работает журналистом. Лауреат литературных премий и конкурсов. Двукратный обладатель государственных стипендий Министерства культуры РФ в области литературы (2009, 2011). Автор нескольких поэтических сборников. Публикации в журналах «Юность», «Знамя» (с предисловием Беллы Ахмадулиной), «Арион», «Российский колокол», «Дети Ра», «Аврора», «Волга XXI век», в «Литературной газете», газете «Литературная Россия», «Ex libris НГ» и др. Член Союза журналистов России, член Российского союза профессиональных литераторов, член Клуба юмористов «Чёртова дюжина».

стр. 211

Маркова Серафима Алексеевна

Калужская обл., 1939 г. р.

Литературовед, критик. Родилась в деревне Елькино Ферзиковского района Калужской области. После окончания школы работала корректором и корреспондентом в районной газете. В 1970 году окончила факультет журналистики МГУ. Писала рассказы о животных, короткие повести о юношеской дружбе, о любви. Но главный интерес сосредоточен на литературной критике, на интерпретации художественных произведений.

стр. 96

Матвеичев Александр Васильевич

Красноярск, 1933 г. р.

Родился в Татарстане, в деревне Букени Мамадышского района. Окончил суворовское и пехотное училища. Лейтенантом командовал пулемётным и стрелковым взводами в Китае и в Прибалтике. После демобилизации из армии учился в Казанском авиационном и Красноярском политехническом институтах (1956–1962). Получил диплом инженера-электромеханика. Работал токарем-револьверщиком, разнорабочим, электриком, инженером-конструктором, главным инженером НПО, директором предприятия. Депутат райсовета трёх созывов. С 1993 года работал журналистом в редакциях газет, переводчиком с английского и испанского языков. Преподавал английский детям и взрослым. Президент Английского клуба при Красноярской научной библиотеке и Почётный председатель «Кадетского собрания Красноярья». Первые рассказы опубликовал в 1959 году. С тех пор стихи и рассказы публиковались в журналах, газетах, альманахах, антологиях и коллективных сборниках. Автор нескольких книг, поэтических сборников и публицистических статей. Член Союза российских писателей.

стр. 158

Мелодьев Мартин Михайлович

Нью-Йорк, США, 1953 г. р.

Родился в Новосибирске. Выпускник экономического факультета НГУ. С 1990 года живёт в Америке. Автор трёх книг стихотворений; две из них — «Сочетания» (1991) и «Цветной проезд» (2000) — вышли в свет на родине поэта, сборник «Шлюз» (1998) опубликован в США. Публикации в русскоязычных газетах и ежегодниках США: «Альманах поэзии», «Встречи», «Альманах клуба русских писателей в Нью-Йорке». В России публиковался в сборниках «Петербургский литератор» (СПб, 2000), «Время Ч» (Москва, 2001), «Общая тетрадь. Из современной русской поэзии Северной Америки» (Москва, 2007), «К востоку от Солнца» (Новосибирск, 1999–2007) и др. Член калифорнийского клуба авторской песни «Полуостров», клуба русских писателей в Нью-Йорке и клуба поэтов НГУ.

стр. 226

Момде Виктория Сайбовна

Дудинка, 1966 г. р.

Родилась в посёлке Новая Хатангского района Красноярского края, в многодетной семье бригадира-оленевода. По национальности — нганасанка. Окончила КГТУ по специальности «Информационные системы в социальной психологии». Работает зав. техническим отделением в образовательном учреждении «Таймырский колледж». Автор учебных пособий по нганасанскому языку и национально-региональному компоненту. Член Общественного совета при главе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

стр. 152

Мунтяну Константин

Кишинёв, Молдова, 1950 г. р.

Родился в селе Самашканы Шолданештского района Молдавии. Выпускник Кишинёвского института искусств, ГИТИСа, Литературного института им. А. М. Горького. Артист разговорного жанра Молдавской государственной филармонии, главный редактор киностудии «Молдова-фильм», сценарист и режиссёр. Автор нескольких книг.

стр. 20

Муслимова Миясат Шейховна

Махачкала, 1960 г. р.

Родилась в селе Убра Лакского района Дагестана. Получила филологическое и юридическое образование. Кандидат педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания русского языка и литературы Дагестанского государственного университета. Заместитель министра образования и науки Республики Дагестан. Член Союза журналистов РФ, Союза российских писателей. Стихи начала писать в 2005 году. Автор поэтической книги «Ангелы во крови», посвящённой трагедии в Беслане (2006), а также сборников стихов «Наедине с морем» (2009), «Диалоги с Данте» (2010), «Ангел на кончике кисти» (2011). Автор литературных переводов народных эпических сказаний «Парту-Патима» (2011), а также сборника публицистики «Испытание свободой» (2009). Пишет стихи на русском, некоторые произведения переведены на лакский, грузинский, осетинский языки. Лауреат республиканской литературной премии им Р. Гамзатова, дипломант международного литературного конкурса им. Я. Корчака, номинант премии имени А. Сахарова во всероссийском конкурсе «За журналистику как поступок», победитель международного литературного конкурса «Золотая строфа».

стр. 134

Мялин Владимир Евгеньевич

Москва, 1961 г. р.

Член СП России и Творческого клуба МП. Участник антологии современной русской поэзии. Публиковался в газетах «Народный учитель», «Учитель Узбекистана» (1986), в журналах «Русский писатель» (Санкт-Петербург), «Московский Парнас», «Бег» (Санкт-Петербург). «Арион», «Волга». Автор книги стихотворений «Из ближнего рая».

стр. 178

Орлов Александр Владимирович

Москва, 1975 г. р.

Родился в Москве. В 1995 году окончил ММУ №1 имени И. П. Павлова, долгое время работал по специальности «ортопед». В настоящее время оканчивает Литературный институт им. А. М. Горького, обучается в мастерской Сергея Арутюнова. Работает преподавателем истории в ГБОУ СОШ №1263. Автор стихотворной книги «Московский кочевник». Лауреат премии им. А. П. Платонова в номинации «Очерк» (2011). Публиковался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Юность», «Переправа», в антологии военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!..» и антологии стихотворений выпускников, преподавателей и студентов Литературного института имени А. М. Горького «Поклонимся великим тем годам…».

стр. 164

Поликовская Людмила Владимировна

Москва, 1940 г. р.

Родилась в Москве. Литератор, составительница сборников Е. Шварца (1991), М. Цветаевой (1992), редактор «Энциклопедии для детей. Русская литература», «Антологии мировой детской литературы». В 1967 году окончила филологический факультет МГУ. Ответственный редактор в издательстве «Аванта+» (с 1996). Работала в газетах «Московский комсомолец», «Литературная газета». Автор книг «Житие сказочника. Евгений Шварц», «Тайна гибели Марины Цветаевой», «Сергей Есенин» и др.

стр. 3

Саввиных Марина Олеговна

Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике с 1973 года: журналы «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «Крещатик», «LiteraruS» (Хельсинки), «Побережье» (Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), еженедельник «Обзор» (Чикаго), литературные газеты, коллективные сборники и антологии. Автор семи книг стихов, прозы, художественной публицистики. Первый лауреат премии Фонда им. В. П. Астафьева (1994). Член Союза российских писателей, Международного ПЕН-клуба. Член Президиума Международного Союза писателей XXI века. Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Главный редактор литературного журнала «День и ночь».

стр. 149

Сазонов Геннадий

Вологда, 1950 г. р.

Родился на станции Пожитово Тверской области. Окончил Ленинградский университет, более сорока лет отработал в печати, в том числе—собкором «Правды», «Труда», журнала «Сельская новь». Первые стихи напечатал в газете города Торжка в 1965 году. Публиковал стихи во многих газетах и журналах, альманахах и коллективных сборниках. Автор пяти поэтических сборников и семнадцати книг прозы и публицистики. Лауреат ряда премий и конкурсов, в том числе—литературной премии МВД СССР (1987), премии фонда Артёма Боровика (2008, 2011), Всероссийской литературно-художественной премии «Золотой венец Победы» (2011). За повесть «Аршином общим не измерить…» о великом русском меценате Х. С. Леденцове награждён медалью «Во славу Отечества» Общества купцов и промышленников России (2012). Директор Вологодского областного отделения Литературного фонда России.

стр. 209

Свищёв Михаил

Москва, 1969 г. р.

Поэт, журналист. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Главный редактор издательского дома «ПЛАС». Лауреат студенческой версии Международной Волошинской премии (2010) и Международного конкурса имени Н. С. Гумилёва (2011). Публикации в журналах «Наш современник», «Литературная учёба», «Дети Ра», «Сибирские огни», альманахах «Волшебная гора», «Алконостъ» и др. В 2009 году вышла первая книга стихов «Последний экземпляр». Член Союза писателей России, Союза журналистов России.

стр. 239

Скобло Валерий Самуилович

Санкт-Петербург, 1947 г. р.

Окончил математико-механический факультет Ленинградского университета в 1970 году. В 1970–2007 годах работал инженером, научным сотрудником в ЦНИИ «Электроприбор». Многочисленные публикации в области прикладной математики, радиофизики, оптики. С 1993 года—член Союза писателей Санкт-Петербурга. Стихи, проза, публицистика публиковались в российских и зарубежных изданиях: «День поэзии», «Молодой Ленинград», «Нева», «Аврора», «Невский альбом», «Петербургский час пик», «Невское время» (СПб), «Арион», «Литературная газета» (Москва), «Независимая русская газета», «Колокол» (Англия), «Горизонт», «Новое русское слово», «Слово \ Word» (США), «Иерусалимский журнал» (Израиль), «Крещатик» (ФРГ) и др.; в неподцензурных изданиях (1982–1983): антологии «Острова», журнале «Молчание»; стихи для детей—«Чиж и Ёж» (СПб).

стр. 140

Скруберт Владимир Станиславович

Зеленогорск, 1960 г. р.

Родился в Иркутске. Окончил Иркутскую сельскохозяйственную академию (факультет охотоведения). После окончания академии работал в научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крайнего Севера (Норильск). Был членом КПСС, секретарём партийной организации, депутатом. Возглавлял Эвенкийский комитет по охране природы. В 1990 году переехал в Зеленогорск, где стал работать в Комитете по земельным вопросам. В настоящее время занимает пост заместителя начальника отдела в Зеленогорском отделении Управления Росреестра. Первый сборник стихов «Город детства» вышел в свет в 2002 году. Автор книг «Таёжная роза», «Лесная красавица», «Ошибка природы». Произведения печатались в литературных сборниках и альманахах Зеленогорска и Красноярска.

стр. 91

Соколов Михаил Николаевич

Москва, 1946 г. р.

Родился в посёлке Болшево Московской области. В 1971 году окончил МГУ, где учился на кафедре истории искусств исторического факультета. Кандидат (с 1979) и доктор (с 1991) искусствоведения. В 1971–1979 годах работал редактором отдела изобразительного искусства и архитектуры издательства «Советская энциклопедия», в 1979–1983 годах—заведующим отделом зарубежного искусства журнала «Искусство». С 1983 года работает научным (позднее—главным научным) сотрудником ФГБНУ НИИ РАХ (в отделе зарубежного искусства). В 2002–2004 годах занимал также должность заведующего редакцией искусства издательства «Российская энциклопедия», а в 2004–2007 годах — должность декана факультета церковно-исторической живописи Российского православного университета святого апостола Иоанна Богослова. Получал стипендию ЮНЕСКО (1987), гранты IREX, фондов С. Кресса, П. Гетти, Дж. Сороса, а также отечественных Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). В 1991 году стажировался в Institute for Advanced Study (Принстон). Член Московского союза художников, Комиссии по культуре Возрождения РАН, Комиссии по междисциплинарному изучению художественной деятельности РАН, а также Общества по изучению русской усадьбы. Неоднократно выступал в качестве эксперта РФФИ и РГНФ. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996). Член-корреспондент РАХ (2012).

стр. 146

Спектор Владимир Давыдович

Луганск, Украина, 1951 г. р.

Поэт, публицист. Публикуется также под псевдонимом В. Давыдов. Родился в городе Ворошиловграде (Луганске). Окончил Ворошиловградский машиностроительный институт (1973). Работал на предприятиях Харькова и Луганска. Автор двадцати пяти изобретений. В 1990-е годы получил возможность реализовать свои способности на радио и телевидении, где создал сотни авторских программ, став лауреатом региональных журналистских конкурсов. Автор более двадцати книг стихотворений и очерковой прозы. Заслуженный работник культуры Украины, лауреат международных литературных премий имени Ю. Долгорукого, В. Даля, А. Тарковского, премии «Облака» имени С. Михалкова и др. Руководитель Межрегионального Союза писателей Украины. Член Национального Союза журналистов Украины, главный редактор литературного альманаха «Свой вариант», научно-популярного журнала «Трансмаш». Член Исполкома МСПС и Президиума Международного литературного фонда.

стр. 172

Хвиловский Эдуард

Нью-Йорк, США, 1946 г. р.

Родился в Одессе. По окончании филфака университета занимался преподавательской и журналистской работой. С 1993 года живёт в США. Автор двух поэтических сборников. Публиковался в «Новом журнале», «Новой Юности», в журналах «День и ночь», «Слово», «Стороны света».

стр. 156

Чейгин Пётр Николаевич

Санкт-Петербург, 1948 г. р.

Поэт. Родился в городе Ораниенбауме. Работал разнорабочим в книжном магазине, в музее Достоевского. Публиковался в самиздате с 1978 года. Автор нескольких книг. Публикации в журналах «Звезда», «НЛО».

стр. 155

Черкесов Валерий Николаевич

Белгород, 1947 г. р.

Родился в городе Благовещенск Амурской области. Работал корреспондентом в местных газетах. В 1982 году переехал в Белгород, где также работает в газетах. Специальный корреспондент «Литературной газеты», руководитель центра развития детского литературного творчества «Родная лира» при библиотеке А. Лиханова, выпускает детскую газету «Большая переменка». Поэтические сборники: «Вечные родники» (1977), «Небо и поле» (1982), «Заповедь» (1989), «Люблю» (1993), «Летописец» (1995), «Непохожие стихи» (1999), «Камни заговорили» (2000), «У светлой реки» (2007) и другие.

стр. 203

Чернец Алексей Витальевич

Новосибирск, 1970 г. р.

Родился в Новосибирске. Окончил среднюю школу, учился в техническом вузе, работал в НИИ, студент Литературного института им. А. М. Горького (семинар С. Арутюнова). В 1993 году потерял зрение. Публикуется с 2002 года. Печатался в журналах «Встречи» (Барнаул), «Сибирские огни», «День и ночь», в газете «Вечерний Новосибирск».

стр. 207

Черных Наталия Борисовна

Москва, 1969 г. р.

Родилась на Южном Урале, училась во Львове (1985–1986). Работала библиотекарем в Литературном институте имени А. М. Горького, техником на киностудии «Союзмультфильм», преподавателем в школе; переводчиком в издательстве «Терра», рецензентом в издательстве АСТ. В 1990 году дебютировала в самиздате сборником стихотворений «Абсолютная жизнь», в 1993-м — состоялась первая официальная публикация стихов в парижской газете «Русская мысль». В середине 1990-х годов примыкала к Союзу молодых литераторов «Вавилон», публикуясь в одноимённом альманахе, и входила в литературную группу «Междуречье», участвуя в выпускаемых ею сборниках; занималась также бук-артом. В 1996 году в издательстве «АРГО-РИСК» вышел первый поэтический сборник «Приют», за которым последовал ряд других. Иллюстратор собственных сборников стихов. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Воздух», «Волга», «©оюз Писателей», «День и ночь» и др. Лауреат II-го Свято-Филаретовского конкурса религиозной поэзии (2001). Автор статей и эссе о русской классической и современной литературе. Очерки о Гоголе и Пушкине были опубликованы в газете «Первое сентября», эссе о Владиславе Ходасевиче — в альманахе «Окрестности». С 2005 года — куратор интернет-проекта «На Середине Мира», посвящённого современной русской поэзии. В 2008 году вышла книга очерков «Уроки святости: Как становятся святыми».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

по поэзии

Александр Щербаков

Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Юрий Беликов
Пермь

Светлана Василенко
Москва

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Александр Лейфер
Омск

Марина Москалюк
Красноярск

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Марина Переяслова
Москва

Евгений Попов
Москва

Лев Роднов
Ижевск

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Евгений Степанов
Москва

Михаил Тарковский
Бахта

Владимир Токмаков
Барнаул

Вероника Шелленберг
Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

О. А. Карлова
и. о. ректора Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева

А. М. Клешко
Заместитель председателя
Законодательного собрания
Красноярского края

Е. Г. Паздникова
Министр культуры Красноярского края

Т. Л. Савельева
Директор Государственной
универсальной научной
библиотеки Красноярского края

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Международное сообщество писательских союзов.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

В оформлении обложки использована картина Виталия Зотина «Кот да Винчи. Год Тигра».

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН 246 304 27 49
Расчётный счёт 407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы»
в г. Красноярске.

БИК 040 407 967
Корреспондентский счёт 301 018 100 000 000 967

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru или по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а, офис «День и ночь»

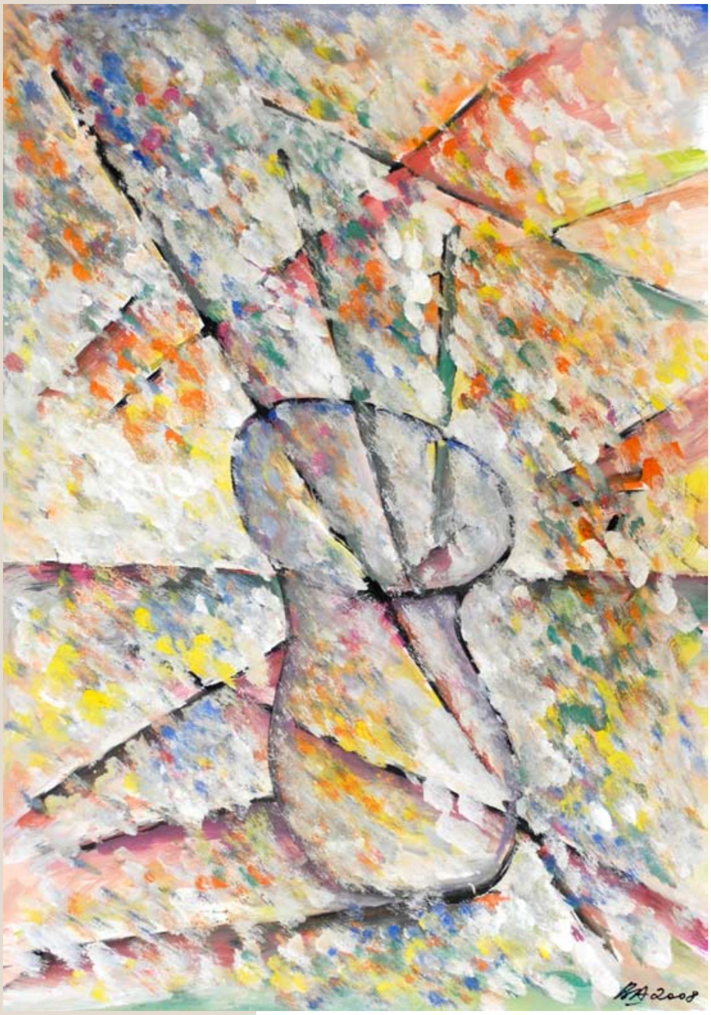
Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

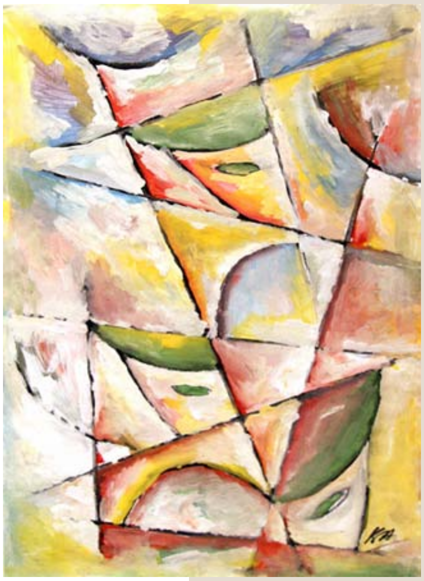
Наш сайт: www.krasdin.ru

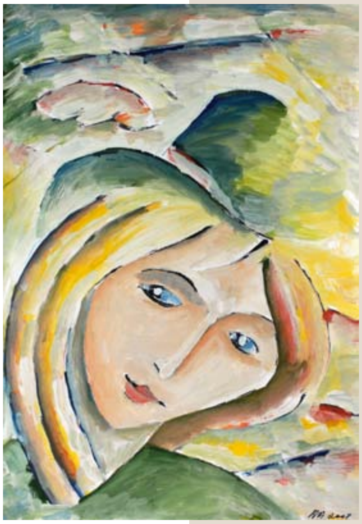
Подписано к печати: 14.11.2012

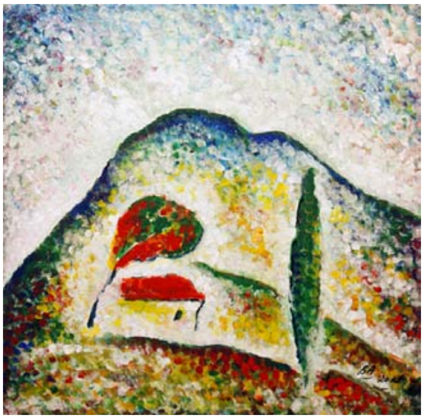
Тираж: 1500 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10
эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 294 15 77









Владимир
Алейников

Читайте в 2013 году

Сергей Есин
«Из дневника 2012 года»

Николай Переяслов
«Ветер с востока»

Бранка Такахаши
«Счастливая Далия»

Елена Янге
«Транс»

Марина Эшли
«Родионов»

Диалоги с *Юрием Беликовым*

Очерки по истории культуры
Льва Бердникова

Путевые заметки, литературные
портреты, интервью под рубрикой
«Мосты над облаками»

Новые встречи с авторами
портала «Мегалит»

«Круглые столы» и дискуссии
о животрепещущих проблемах
культуры, образования, общества

Проза *Ирины Левитес*, *Владислава Кураша*, *Марины Рябоченко*, *Елизаветы Александровой-Зориной*, *Артура Чёрного*, *Рона Палина*…

Стихи *Анатолия Аврутина*, *Вадима Керамова*, *Петра Чейгина*, *Вячеслава Тюрина*, *Александра Петрушкина*, *Александра Габриэля*…

И многое, многое другое…